

Т. М. Николаева

ЛИНГВИСТИКА
Избранное

ЛИНГВИСТИКА
Избранное

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

Т. М. Николаева

ЛИНГВИСТИКА

Избранное



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2013

УДК 811.161.1
ББК 81.031
Н 63

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
проект № 12-06-07109



Николаева Т. М.

Лингвистика. Избранное. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 624 с.

ISBN 978-5-9551-0609-0

В настоящую книгу включено несколько десятков исследований из общего числа 500 работ и 15 монографий (многие из них переиздавались трижды) Татьяны Михайловны Николаевой, члена-корреспондента РАН, иностранного члена Геттингенской академии, профессора, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института славяноведения РАН.

Книга распадается на три части. В первой опубликованы исследования автора (с 2002 г. главного редактора журнала «Вопросы языкознания») по теории языка и эволюции его структуры. Во второй части представлены труды автора по содержательным категориям и их описанию. Третья часть вся посвящена интонации, где Т. М. Николаева, по сути, занимаясь экспериментами более тридцати лет, создала теорию интонации как многомерной структуры со своими уровнями, их единицами и их функционированием. В течение многих лет (с 1983 г.) Т. М. Николаева была вице-президентом Международного фонетического общества (IPhS) и сейчас является пожизненно членом Международного фонетического общества (IPA).

Многие из публикуемых здесь работ не являются недавними, поэтому у каждого текста проставлен год его первичной публикации. Довести их все до современности просто невозможно. Но по ним видно некоторое «опрежение» автора ряду идей сегодняшнего дня.

Довольно большое число исследований Т. М. Николаевой посвящено загадкам литературных текстов и их разрешению. Они уже опубликованы в ее книге «О чем нам рассказывают тексты?». М.: ЯСК, 2012.

Бесконечная благодарность учителям автора: В. Н. Топорову, Вяч. Вс. Иванову, Н. Д. Арупоновой, Л. В. Бондарко.

ББК 81.031

ISBN 978-5-9551-0609-0

© Т. М. Николаева, 2013
© Языки славянской культуры, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	9
--------------------------	---

— I —

«Скрытая память» языка: попытка постановки проблемы	13
Диахрония или эволюция? (Об одной тенденции развития языка)	41
Функции русского «я» в индоевропейской перспективе	63
Русский и хеттский — через тысячелетия	73
Системы валоризованные и эмпирические	91
Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов	98
Базовые ментальные конструкции и дробная категоризация словосочетаний в русском языке (О концептуальной способности человека как <i>homo sapiens loquens</i>)	109
«Лингвистическая демагогия»	115
О грамматике неязыковых коммуникаций	124
Несколько слов о лингвистической теории 30-х годов XX века: фантазии и прозрения	131
Опыт классификации ученых: метод — объект	155

— II —

Пространство славянских партикул	161
*s/t — центр славянской грамматики	184

Русские дейктические частицы, их функционирование в N-мерном пространстве. Что является «ближним дейкиссом» — <i>вот, вон</i> или <i>это?</i>	201
Частицы и ситуации. «Скрытая семантика» частиц.....	209
Понятие акционального статуса и различие <i>хотя</i> и <i>хоть</i> в синхронии и диахронии	227
Словосочетания с лексемой <i>один</i> . Форма, значения и их контекстная маркированность.....	246
Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций.	266
Первичная и вторичная семантика словосочетаний с притяжательными и неопределенными местоимениями	284
История одного посессива — стремление к языковой компрессии	292
Качественные прилагательные и отражение «картины мира»	308
«Модель мира» в грамматике паремий. Грамматика паремий как социальный фактор. Различия в социализации и глубинной грамматике пословиц и загадок	322
«Зеркало рецепции»: восприятие информации. Московские диалоги	336

— III —

Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения	353
Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации.....	368
Строки прозаическая и поэтическая: проблемы первичности и вторичности.	389
О возможных причинах модификации латинской и греческой словесно-просодических моделей.....	399
Почему лингвисты не любят «про интонацию»?.....	407

Ударение — в отличие от просодической схемы.	
Акцентное выделение — в отличие от «фразового ударения».	
Изоморфизм моделей.....	417
Типология интонации и акцентное выделение.....	427
Место ударения и фонетический состав слова.....	436
Три интонационных слоя звучащей фразы.....	450
«Экстренное введение в ситуацию»: особый вид просодического выделения.....	459
Грубые ошибки или назойливая языковая тенденция?.....	469
«Компенсационный» закон А. М. Пешковского.....	475
Сходство «стереотипов» и суперсегментных просодических моделей.....	490
Понятие «валоризации», оппозиции Н. С. Трубецкого и ментальные стереотипы, определяющие вид речевого поведения.....	500
Интонация и типология. Основные интонационные модели славянских и балканских языков.....	516
Некоторые наблюдения над соотношением словесных акцентов и фразовой мелодики в сербском языке...	548
«Неоштокавский» сдвиг.....	598
Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации.....	604

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эти статьи, представленные на суд читателю-коллеге, отражают долгий путь в лингвистике их автора, выбравшего языкознание и — тем самым — свою жизнь ровно шестьдесят лет тому назад. Нечто сходное имело место в издании «От звука к тексту», опубликованном в 2000 году. Но та книга была более концептуальной, во-первых, и в ней содержался ряд исследований, относящихся к анализу художественного текста, во-вторых. Последним была посвящена уже вышедшая в 2012 году в издательстве ЯСК книга «О чем рассказывают нам тексты?».

Многие авторы, переиздавая свои давние опубликованные сочинения, стараются их «дотянуть» до настоящего времени, кое-что пересмотреть, а кое-что добавить. Такие намерения более чем похвальны. Однако это легче сделать исследователям, прошедшим свою научную жизнь по одной стезе (или по немногим). К сожалению, мои лингвистические интересы менялись и иногда — стремительно. «Дотянуть» все это невозможно.

Кроме того, цель столь разнообразных по тематике публикаций была и иная — продемонстрировать даты обращения автора к этим проблемам, возможно, иногда и показать свое забытое пионерство.

Поэтому отчасти эта книга — сборник воспоминаний, а они всегда имеют даты и не претендуют на актуальность.

— I —

«СКРЫТАЯ ПАМЯТЬ» ЯЗЫКА: ПОПЫТКА ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ*

1. Идея существования разных видов языковой «памяти» в последние годы становится все более активной: говорят о «культурной памяти», об «исторической памяти», о памяти «генетической» [Яковлева 1998; Добродомов 2002]¹. В настоящей статье я хочу обратить внимание еще на один вид языковой памяти, который я предлагаю назвать «скрытой».

Что же такое «скрытая память» языка? Как можно предположить, она существует в нескольких вариантах.

Первый ее тип. Описание его предлагается одновременно с позиций перцептивно-коммуникативных и с позиций метатеоретических. Более конкретно речь идет о тех случаях, когда в речевом употреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта (лексемы, грамматические формы, синтаксические модели и т. д.) и при этом носитель языка не может ответить на вопрос, чем они различаются в употреблении. Не может на этот вопрос ответить и лингвист-кодификатор (т. е. в описании языка представлены только пометы вроде «вариант», «разг.» и под.). И только пристальное исследование большого массива данных позволяет выявить некоторую интерпретацию их различия, существующую в виде «тенденции», а не грамматикализованной

* Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: № гранта: 01-06-80-447 и проекта № 8877 сотрудничества Российской Академии наук и CNRS (Франция).

¹ Считаю необходимым сказать в самом начале статьи о том, что значительное большинство исследований — в особенности зарубежных коллег, которые, судя по их названию, имеют непосредственное отношение к развиваемой здесь концепции и, возможно, ее и излагают, — оказалось для меня абсолютно недоступным из-за организации работы в наших библиотеках. Поэтому я заранее приношу извинения потенциальным моим единомышленникам, работы которых известны мне только из библиографических сносок.

обязательной модели. И эта интерпретация ведет к диахроническим исследованиям, иногда очень глубоким по хронологии. Отметим, что наблюдаемые тенденции обычно не сообщаются студентам-филологам, аспирантам, проще говоря, — не являются фактами обыденного научного знания.

Таким образом, в исследование вводится и фигура лингвиста-синхрониста. Личность носителя языка уже давно активно фигурирует в психолингвистике как особой области языкознания и даже является ее эпистемологическим центром. Введение в интерпретацию также и лингвиста представляется в настоящее время концептуально оправданным. Таким образом, в исследование можно ввести еще один компонент: это данные лингвистики же, т. е. показания-описания самих лингвистов. Правда, может существовать довольно осложненная ситуация, когда некие факты знает историк языка, но никак не соотносит с современным состоянием, не видя в нем рефлексов прошлого, и наоборот. Естественно, что когда «скрытая память» языка оказывается «раскрытой», она становится тоже фактом обыденного научного знания.

Другим обязательным для «скрытой памяти» первого типа феноменом может быть признана «наивная» (в буквальном смысле) реакция носителя языка (и даже филолога); в том смысле, что «можно сказать ведь и так, и так» или «а если вместо В сказать А, то ведь тоже будет правильно» и т. д. Иными словами, речь в этой нашей работе не идет о лингвистике, описываемой в строгих терминах «можно-нельзя», как это делалось в течение многих лет.

Чем же отличается излагаемая концепция от имеющего давнюю историю рассмотрения рефлексов диахронии в одном языке и генетических совпадений в нескольких? Тем, что подобные описания таких рефлексов, как, например, древних склонений типа *мать — матери, дочь — дочери*, — это не скрытая память. Описание диалектной дистрибуции *-ѣ* на месте дифтонгов — это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях имеет место «беглая гласная» (*лоб — лба*), а в других — нет (*дом — дома*), это тоже не скрытая память. Почему? Потому что лингвисты об этом знают и даже пишут в учебниках для филологов и в нормативных грамматиках. То есть эти факты входят в обыденное научное знание.

Второй тип того же явления-феномена. Категориальные формы, например, у одной и той же лексемы, различает некий формант, который не воспринимается и не описывается как носитель какого-то самостоятельного значения. Между тем обращение к диахронии

показывает, что значение именно этого форманта предопределяет описанные различия данных категориальных форм.

Третий тип. Предполагается для синхронного состояния, что все языковые воплощения одной и той же единицы языка, лексемы например, диктуются ее современным обликом. Переход к иному виду ее манифестации, воплощению на другом языковом уровне, неожиданно показывает, что возникает облик предшествующего «далекого» периода. Разумеется, будут приведены примеры на все указанные типы (думаю, что в случае признания моей гипотезы число таких примеров может все время увеличиваться). Нужно также сказать заранее, что наиболее сложным является решение вопроса в тех ситуациях, когда остается неясным, имеем ли мы дело со «скрытой памятью» или с универсалией диахронического плана. А именно — речь идет о содержательных категориях или о внутренней смысловой структуре сложных по составу лексем, которые (категории и смысловые структуры в их различии) остаются неизменными в течение многих лет или даже веков, но меняют свою лингвистическую «упаковку», как бы пробивая себе дорогу в новых обстоятельствах и рядясь в новые одежды.

Материалом в данной работе служат наблюдения коллег (со сделанной ранее оговоркой), мои собственные наблюдения и данные предшествующих моих или совместных со мной публикаций, которые не были еще рассмотрены с излагаемой здесь точки зрения².

2.1. Приведем примеры на первый тип. На современном уровне развития языков бывают представлены два варианта употребления личного местоимения 1-го лица в речи, то есть: местоимение опускается / местоимение наличествует³. К таким языкам выбора принадлежит современный русский. Например, *Люблю грозу в начале мая* (Ф. Тютчев), *Люблю тебя, Петра творенье* (А. Пушкин), но *Я люблю этот город вязевый* (С. Есенин). Подобная бифуркация обычно относилась к сфере «стилистики». Итак, всякий русский может

² Прежде всего я хочу поблагодарить моего неоднократного соавтора Ирину Фужерон, которая, обладая способностью видеть — в синхронии — содержательные различия там, где обычно видят только легко заменяемые варианты или вообще на эти различия не обращают внимания, во многом способствовала написанию этой статьи.

³ Строго говоря, можно говорить и об обратном: местоимение вставляется / местоимение не вставляется. Это связано с вопросом о маркированном члене этой оппозиции.

сказать и — *Решил поехать в Конго! — Почему? — Люблю Африку!*
 И — *Я решил поехать в Конго. — Почему? — Я люблю Африку.*

В отличие от русского, в языках типа польского, испанского, итальянского местоимение, как правило, опускают (или не вводят) в нейтральной речи. Ср. польские *stuham; jestem dzennikarzem; nie pamiętam, gdzie ona mieszka*. Однако при противопоставлении и подчеркивании местоимение возникает также и в польском: *A ja od wczoraj tam urlop; ja również jestem dzennikarzem*. (Ср. это же и об испанском: «Личное местоимение в функции подлежащего обычно опускается, если нет противопоставления» [Васильева-Шведе 1948: 530].) В этом отношении интересными для нашей речи были наблюдения Б. Нильссон о функциях эксплицитного местоимения в польских и русских высказываниях [Nilsson 1982]. Автор считает, что эксплицитный местоименный субъект — это «нормальная ситуация» русского языка, тогда как для польского «нормален» нулевой субъект, поскольку польский глагол «обеспечивает необходимую информацию для идентификации субъекта» [Nilsson 1982: 34—37]. Подробно описанная ситуация введения/невведения местоимения 1-го лица **АЗЪ** в старославянские тексты [Ефимова 2002] является тем наглядным диахроническим «отражением», глядя в которое можно видеть, что современный русский находится как бы на полпути между старославянским и языками типа английского, французского и под.

Итак, при синхронном описании языка можно разделить на языки с употреблением личного местоимения и без⁴. Но необходимо при этом вспомнить, что такая оппозиция существует только в настоящее время: *stuham* vs. *я слушаю* воспринимается как форма без местоимения, противопоставленная форме с вынесенным личным местоимением, а исторически мы имеем право говорить о другой классификации: о языке с грамматикализацией местоимения слева vs. языки с местоимением справа, ибо, например, *-т* в том же польском *stuham* — местоименного происхождения.

⁴ Разумеется, предлагаемая классификация является сильно упрощенной. Так, например, при отрицании во французском разговорном языке местоимение опускается: *Je sais — Sais pas*. И все-таки видно, как «свой» язык коммуникации влияет даже на самых великих лингвистов, начинающих считать обязательным только «свое». Так, например, Э. Бенвенист, говоря о том, что в научном трактате *я* и *ты* могут не встречаться, пишет, что «трудно вообразить даже короткий разговорный текст, где бы эти местоимения не были употреблены» [Бенвенист 1974: 286].

Исторические разыскания, как оказывается, дают возможность найти «промежуточный» этап распределения таких местоименных показателей. Так, А. А. Зализняк [Зализняк 1995: 161] пишет, что «для 1-го и 2-го лиц в берестяных грамотах соблюдается следующий основной принцип: в нормальных случаях употребляется либо модель *далъ есмь* (*виноватъ есмь*), либо модель *я далъ* (*я виноватъ*), но не трехчленная модель *я есмь далъ* (*я есмь виноватъ*)». Действительно, функциональное сходство показателей «справа и слева» для 1-го лица на этом периоде русского языка ощущались живо и потому достаточно было только одного из них.

Однако, идя далее, нельзя пройти мимо того, что утверждавшееся выше положение о том, что на раннем этапе возникновения именных и глагольных парадигм языка формировали их путем присоединения (справа — в нашей современной терминологии) местоимения или местоименного «остатка», — это вопрос, по которому литература существует огромная и, судя по библиографическим данным сегодняшнего дня, вопрос этот активно обсуждается и в самые последние годы⁵. Обобщая, можно сказать, что представлены две точки зрения (и, соответственно, две научных школы). По одной из них, словоизменительные флексии — как глагольные, так и именные — возникли из местоименного характера добавок, которые одни считают местоименными частицами, дейктическими частицами и т. д. Важно, что в этом случае речь идет о соединении двух значащих, т. е. имеющих свою семантику, компонентов. Например, уже К. Уленбек в 1901 г. отметил, что показатель субъекта *-s-*, по-видимому, является постпозитивным артиклем, восходящим к местоимению **so*. А. Эрну [Эрну 1950] прямо возводит окончания именительного и родительного множественного числа второго и первого склонений латинского имени к указательным местоимениям [Эрну 1950: 49]. Таким образом, полагают, что флексии — это, как правило, застывшие местоименные (или вообще — партикулярные) элементы. Подробно эта идея излагается А. Н. Савченко в специальной монографии [Савченко 1960]. Как он считает, первое лицо глагола связано через окончание с личным местоимением, а второе и третье — с местоимениями указательными: **so-/*to*. Комплекс «основа + флексия» обычно бинарен, но в дей-

⁵ Так, судя по общим библиографическим источникам, много работ о происхождении и.-е. флексий написано К. Шилдсом (K. Shields), но для меня пока они оказались недоступными, кроме статей [Шилдс 1988; Shields 1997; 1998].

ствительности местоименный компонент может пронизывать более протяженные отрезки. Так, Ю. С. Степанов, автор важной теории «длинного компонента» пишет: «В современных индоевропейских языках повторяющимся элементом обычно служат разнородные члены синонимического ряда... В древних индоевропейских языках повторяющимся элементом часто является какая-либо специальная дейктическая частица... *1. *-v-/-m-*; *2. *-t-*; *3. *-n-* — дейкисы трех лиц — участников акта речи» [Степанов 1989: 73]. В. Шмальштиг, обсуждая еще более далеко ведущую идею П. Кречмера о том, что и.-е. не-презентные глагольные форманты *-s-*, *-t-*, *-v-*, *-k-* были первоначальными показателями глагольного объекта, высказывает мысль о том, что форма медиа на **-to* «есть в действительности дейктическое местоимение **-to*, присоединенное к корню, как правило в нулевой ступени» [Шмальштиг 1988: 267] и далее: «...я останавливаюсь на различных формах местоимений и на том, как они постепенно превращались в глагольные окончания» [Там же: 275].

Строго говоря, положение о «местоименности» глагольных флексий есть чистая условность описательности: более точно, нужно говорить о том, что и местоимения, и глагольные флексии восходят к общему для них протоэлементу, являющемуся как правило дейктическим показателем (см. такую точку зрения [Shields 1997]). Подобный взгляд восходит к той точке зрения на реконструируемый и.-е. язык (the new image of I.-E. morphology), согласно которой первый этап развития и.-е. языка не был флективным, а на синтаксическом уровне — соединялись компоненты диффузной семантики. Частицеобразные партикулы при этом объединялись в ансамбли разных семантических оттенков⁶. Эта точка зрения вполне разделяется автором настоящей статьи.

Согласно другой школе, показатели именуется «расширителями», «формантами», «аргументами» и т. д. И вопрос о наличии у них первичного автономного значения не то чтобы отрицается, но и не ставится. Например, И. М. Тронский категорически осуждал в указанной выше книге А. Эрну идею «местоименности» глагольных и именных флексий⁷ и в своей собственной книге [Тронский 2001] говорит о флексиях только как о «личных окончаниях».

⁶ Подробный анализ таких комбинаций для берберских языков см. [Allaopa 1997].

⁷ См. примечание И. М. Тронского к с. 30 книги А. Эрну (раздел «Окончания»): «Теория “местоименного” происхождения окончаний именительного

Существенно, что принимая тезис о местоименно-партикульном возникновении словоизменительных флексий, мы не можем пройти мимо и той идеи, что и в самой глубокой древности вынесение в начало местоименного компонента (в виде полного и/или ударного) означало его подчеркивание, противопоставленность. Идеи этой придерживались многие историки языковой древности. Вариантом того же можно считать постпозитивное употребление так называемых кратких, или энклитических, форм местоимений в противопоставлении «полным» формам. За «полными формами» сохранялось употребление в эмфатической функции, т. е. подчеркивания и/или противопоставления: «Наряду с полной парадигмой ударных форм существует неполная парадигма энклитических форм» [Елизаренкова 1982: 241]; «Энклитические формы личных местоимений употребляются в тех случаях, когда не делается смыслового акцента на категорию лица (так они не употребляются при противопоставлении граммемы одного лица другому, а также с эмфатическими частицами)» [Там же: 243].

Скрывается ли какая-нибудь содержательная категория за современным различием (языки с местоимением и без него)? Как объяснить это различие в употреблении людям, изучающим русский язык? Этому вопросу посвящено уже несколько работ Ж. Брейера и И. Фужерон [Брейяр, Фужерон 2001; Breuillard, Fougeron 2001]. У авторов этих статей существует несколько концептуальных соображений по вопросу выбора / невыбора местоимения. Так, *Я* всегда ставится в предложениях с противопоставлением, вводимым через *А*, так что практически как бы возникает слитный комплекс *АЯ*, который орфография, правда, не допускает. Ср. *Говорите с моим отцом сами, а я не стану* (А. П. Чехов): **Говорите с моим отцом сами, а не стану*. *А*, требующее обязательного *Я*, может быть представлено и не в контактном комплексе *АЯ*. Например, *Прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь* (Домбровский). Здесь дистантное противопоставление представлено в одном высказывании. Оно может быть и в двух простых: *Ведро твое в кухне стоит — я в нем не мою. А Панька моет* (И. Грекова).

и родительного падежей множественного числа в первом и втором склонениях, предположение об исконной долготе *от* в родительном падеже множественного числа вызывают серьезное сомнение» [Эрну 1950: 30].

Я употребляется при наличии внутри высказывания других местоимений⁸. Но я хотела, чтобы он, отбывая наказание, знал, что я его жду, что он мне нужен (А. Маринина). Я употребляется при наличии противопоставления, хотя бы выраженного и не через *А*, вообще — любого эксплицитного противопоставления. Противопоставление может быть достаточно развернутым: ...Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура (А. П. Чехов). Оно может быть вызвано переменной топика. Так, Треплев после развернутого монолога о кризисе искусства и одновременной критики матери-актрисы говорит: Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно (Смотрит на часы). Я люблю мать, сильно люблю, но она ведет бестолковую жизнь... (А. П. Чехов). Здесь введение *Я* демонстрирует несогласие с возможным выводом дяди (Сорина) о том, что Треплев просто не любит мать.

Именно такую аналогичную ситуацию отмечает для польского и Б. Нильссон: эксплицитные местоимения характеризуют конструкции противопоставленные (*adversative constructions*), даже и при отсутствии соответствующих союзов [Nilsson 1982: 54].

Напротив, существуют коммуникативные штампы, в основном публично-этикетного характера, когда *Я* как раз не употребляется. Например, *Объявляю заседание открытым; Прошу разойтись; Стреляю; Считаю выборы не состоявшимися* и под. В этих случаях подобные реплики обычно принадлежат Начальнику (Председателю) или другому «облеченному» лицу. *Слушаю вас, — важно заметил мэтр неожиданно высоким тенорком* (А. Маринина). Но можно сказать *Прошу слова* и *Я прошу слова*. В чем разница? Юному русскому, пожалуй, объяснить ее трудно. Нашему поколению довольно просто. *Прошу слова* обычно говорил человек, о выступлении которого было, как правило, известно заранее, а *Я прошу слова* — часто бывало неожиданностью: *Ну, что там у вас? Вы, имя рек, чего хотите? — Я прошу слова.*

⁸ Интересно, что для старославянских текстов В. С. Ефимова подобных случаев не отмечает [Ефимова 2002], тогда как употребление местоимения при *А* и/или противопоставлении в них практически обязательно. Это значит, что в диапазоне употребления *Я* есть устоявшиеся семантические универсалии» требующие обязательного воплощения, и грамматикализованные — возможно, в каждом языке индивидуально — поверхностно-синтаксические комбинации.

Последний пример подводит нас к интерпретации тех случаев, когда выбор возможен. Анализ русских высказываний с *Я* и без *Я*, рассмотренных в их связи с предыдущим контекстом, как явным, так и имплицитованным, показал, что содержательной категорией, определяющей употребление личного местоимения, является **согласие / несогласие с горизонтом ожидания Другого**⁹. Этим Другим в принципе может быть и сам коммуникант. *Люблю хороший чай!* — восклицает человек, приступая к чаепитию. Это он говорил уже не раз (возможно, и самому себе). *Я люблю хороший чай* может сказать он же, объясняя гостю, почему чай заваривается так долго¹⁰. В самых простых диалогах на вопрос *Ну, ты идешь?* возможен ответ *Иду-иду*, т. е. конечно, иду, или *Я иду* (возможно, с некоторой раздраженной интонацией: *ты думаешь, что я копаюсь, а я иду*).

В диалогах вполне возможно несколько высказываний от первого лица, но в одних есть *Я*, а в других — нет. Например, посмотрим на диалогический фрагмент из повести И. Грековой (приведен в работе [Брейяр, Фужерон 2001]):

— Марианна с минуты на минуту должна вернуться. Я звоню без нее, чтобы не причинять лишней боли. Понимаешь?

— Понимаю.

— Я теперь должен быть здесь. Может быть, долго к тебе не приду. Может быть, совсем. Понимаешь?

— Я все понимаю.

Первый пример: *Я звоню* — имплицитное противопоставление ей. Второй — *Понимаю*: это коммуникативное согласие в пределах микроконтекста, двух реплик. Третий: *Я все понимаю* можно трак-

⁹ Этот вывод принадлежит Ж. Брейяру и И. Фужерон.

¹⁰ Метатеоретическим подкреплением этого положения можно считать интересные в теоретическом плане данные Й. Хельмбрехта [Helmbrecht 1999] о принципиальной противопоставленности 1-го лица остальным лицам. Эту изначальную противопоставленность он прослеживает на материале самых различных «экзотических» языков современности. Важно и то, что он подчеркивает «идиорефлексию» говорящего: «Только говорящий сам знает все о себе и может не сомневаться в своих ощущениях и реакциях» [Ibid.: 295]. Диахронические данные — в частности, как показывает Й. Хельмбрехт, то, что категория рода связывается с 1-м лицом не первоначально, ибо говорящий сам знает, какого он пола, — снимает частые возражения лингвистов «парадигматической ориентации» о том, что все три лица нужно описать в их дискурсивной установке как единую модель.

товать как: «Я понимаю гораздо больше, чем ты думаешь и хочешь сказать».

В монологе одного и того же человека *Я*-конструкция может сменяться конструкцией без *Я* и это будет выражение подтверждения, согласия с самим собой в функции Другого. См. у А. П. Чехова:

Нина. ...Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для большого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю.

Известно, что именно *Я*-конструкции в большинстве европейских языков передают именно подчеркнутость, противопоставленность, т. е. *Я*-а-не-Другой.

Это противопоставление подчеркнутости / неподчеркнутости, нейтральности, легко увидеть в монологах в пьесах. См. у А. П. Чехова («Чайка»):

Аркадина (Маше). Вот встанемте. ...Евгений Сергеевич, кто из нас моложе?

Дорн. Вы, конечно.

Аркадина. Вот-с. ...А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете...

Аркадина полемизирует с Машей, с ее стилем жизни. А вот Тригорин описывает свою жизнь Нине, не полемизируя с ней, а ища внутреннего согласия, понимания:

...каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказах, что пылыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую — авось пригодится!

Ориентация на горизонт ожидания собеседника связана не только с подтверждением / неподтверждением его мнения (ожидания), но и, естественно, с введением в коммуникацию принципиально **нового** по информации сообщения¹¹. Поэтому абсолютно инициальное

¹¹ Именно поэтому существенно наблюдение В. С. Ефимовой [Ефимова 2002: 3—7] о том, что в евангельских текстах с **АЗЪ** начинаются реплики Христа, несущего **новую** весть; также с **АЗЪ** вводятся реплики самоидентификации, столь характерные для евангельских текстов.

сообщение — начало романа или повести, например, часто начинается с Я-конструкции. При этом Я может возникнуть и при рассказе о будущем своем поведении:

— Ты не забыла, как нужно отвечать на вопросы? — Нет, я помню. Я не вмешиваюсь в политические дела мужа, мое дело — хранить семейный очаг и быть тебе крепким тылом, а твоя первая жена меня не интересуется. Я прекрасно готовлю, умею принимать гостей, собираюсь родить тебе не меньше трех детишек... (А. Маринина).

Прежде чем перейти к более общим построениям, необходимо обсудить две лингвистических сущности: в плане выражения и в плане содержания. Первое. Какова семантика «вынесения» лингвистической единицы вперед, ближе к началу высказывания? Существуют ли на этот счет устоявшиеся лингвистические воззрения? Да, существуют. Передвижение элемента ближе к началу (более «слышному» перцептивно-акустически) всегда связывается с его подчеркиванием, неким противопоставлением чему-то другому. Еще А. Мейе писал как об общем для и.-е. языков положении, что «греческий язык лучше всего сохраняет индоевропейский обычай ставить на первом месте главное слово» [Мейе 1938: 369].

Второе. Что, собственно представляет собой, глядя из прошлого, русское Я? Относительно него мы имеем прямое высказывание в ЭССЯ [ЭССЯ 1974, 1: 101], где говорится о факте «несомненно эмфатического употребления и.-е. *egom» (то есть Я. — Т. Н.), что не позволяет никак (такие идеи были) приписывать ему древнее влияние со стороны личных форм глагола.

Как показывает этимологический анализ [ЭССЯ 1974, 1: 100—103], Я [ja] соотносится с аналогичной формой (идентичной?) во всех славянских языках: ст.-слав. азъ, болг. аз, макед. јас, чеш. ја и т. д. Более широко оно связано с др.-инд. *ahām*, авест. *azəm*, арм. *es*, лат. *egō*, греч. ἔγω, лит. *ąš* и т. д. Односложную форму русского ја Р. Якобсон объяснял как моносиллабический вариант двусложного *jazь*. Говоря кратко, судя по данным ЭССЯ, актуальными проблемами для интерпретации этой формы являются: сведение воедино функционально инициального *e* и *a*, реконструкция консонанта: *eg* или *eg(h)*, а также возникновение начального *j* (или его исчезновение). Последний пункт тоже очень интересен. В указанной статье в ЭССЯ О. Н. Трубачев полагает, что *j* как вставка возникло, чтобы избежать зияния, так как очень частой в речи была конструкция с А (см. современные русские примеры) и тогда было бы *a + a > aa* (то же выяснилось и в уст-

ной беседе с О. Н. Трубачевым). Однако возможно предположить, что *j- восходит здесь к релятивному форманту, соединяющему части высказывания¹². Важное для нашей концепции дополнение находим и в статье К. Г. Красухина [Красухин 2001]. См. у него: «Частица *o/jo*, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, функционально подобная **de*, т. е. выражающая **противопоставление предшествующей конструкции** (выделено мною. — Т. Н.) и направленность на последнее сообщение» [Там же: 129].

В целом же О. Н. Трубачев склоняется к идее метатезы: **jьza* < **azъ*, объясняющей происхождение этой формы. Но сейчас более существенно для нашей работы его утверждение о том, что Я возникло как свернутое во времени выражение — оборот: **egom* < **e* + *go* + *me* 'вот я' ('*It is me*'). Итак, Я в первоначальном употреблении — это вынесенный вперед катафорический местоименный комплекс. Но нужно сказать, что после работы над книгой о частицах [Николаева 1985], не зная о более раннем выводе О. Н. Трубачева, я пришла к мысли о том, что Я представляет собой свернутый оборот: *вот* + *он* + *я*' [Николаева 1986]. Согласно этой моей гипотезе, исходный вокализм *E/A* трактовался как начальная частица-приступ (как э-в э-то), а консонант *z/з*- относился не к частице, а к третьему лицу глагола как *jego*, *m*- показатель первого лица. То есть, предлагалась реконструкция 'это + он + я'. Интересно, что подобное выражение, сходное по семантической структуре, но не идентичное лексически, а именно *вот он(а) я, я вот он(а)* и сейчас используется русскими как реплика-ответ на вопрос *А где X?*, хотя у школьников подобный ответ как правило пресекается.

Несколько иные идеи высказаны О. Семереньи [Семереньи 1980: 231], который, рассматривая корреляцию начального **egō/eg(h)om/-*em-/*m*, пришел к выводу, что личным окончанием глагола было именно *-m*, а не *eg(h)*, так как *-m* было более ранним. «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не **eg(h)*, а *-om*: **eg(h)* — это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению **em*». Действительно, многие категориальные формы, связанные с 1-м лицом, имеют в составе прежде всего *-m*, например, *m-ой*. Это форма была иначе интерпретирована В. Н. То-

¹² Так, еще Я. Гонда говорил о том, что относительное местоимение **jo* имело и чисто разделительный характер [Gonda 1954—1955: 1].

поровым (ср. [Топоров 1992] и более поздние его работы). Обращаясь к этой форме, реконструируемой им как **eg'hom*, он пишет: «и.-е. *eg'hom*, как бы его ни членить... состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере» [Там же: 131]. Соглашаясь с тем, что первым элементом является дейктический элемент (**e-*, **He-*, **Hei-*, **Hi* и т. п.), а вторым — усилительная частица (**-gh-*, **-gh-*), он основное внимание уделяет последнему элементу с *-m*, развивая далее идею совместного существования в синтагматике этой указанной формы и формы **men-*, которое выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей местоимения 1-го лица. Это **men* в свою очередь соотносится В. Н. Топоровым с корнем «общементального» значения, «тонкой духовной субстанции» (противопоставленном *ты*, соотносимом с субстанцией более грубой). Тем самым, по концепции В. Н. Топорова, сначала, в виде интродукции, вводится 'вог моя здешность', то есть *вог я*, а затем это *я* поясняется через **men-*, то есть *я* атрибутируется.

Очень интересно, что с выводами В. Н. Топорова можно соотнести недавние наблюдения Г. А. Золотовой [Золотова 2000] о том, что в русском *Мне хочется* (которое рассматривается ею в противопоставлении с *Хочется*) *мне* является полноценным субъектом высказывания, но выражающим не активное действие, а «инволютивную маркированность» [Там же]. Более того, утверждения Г. А. Золотовой интересно сравнить со специальной работой, где прослеживается социолингвистическая история двух конструкций *I think* и *Methinks* [Palander-Colin 1998] в среднеанглийском и на раннем этапе современного английского. Автор приходит к выводу, что *I think* как более категорическое высказывание свойственно «элитарным» слоям населения, а более колеблющееся по решительности *Methinks* употребляли в основном купцы и более низкие слои. То есть эти выводы полностью совпадают с положениями Г. А. Золотовой о волютивной и инволютивной маркированности.

Однако и до сих пор общепринятым является положение о «супплетивности» склонения местоимения 1-го лица, когда эта форма **men/man* считается принадлежащей только генитиву. См. у Д. И. Эдельман: «Такие (посессивные. — Т. Н.) конструкции строились по модели оборотов, зафиксированных в древнеперсидском: **ima...mana* // *mai kartam (asti)* "это сделанное у меня есть"». Здесь, по мнению автора, логический субъект выражен генитивом местоимения 1-го лица *mana* [Эдельман 2001].

Но для нас существенно наличествующее практически во всех указанных работах утверждение о «композиционном устройстве» нашего Я, которое — первоначально — подчеркивало активное объявление «сиюминутности» и актуальности делаемого заявления. С этим сопоставляется и анализируемая К. Шилдсом [Shields 1998] первоначальная структура другой и.-е. формы 'Я', восходящей к хеттскому *цк* и затем продолженной в германских языках, многое в местоименных формах которых К. Шилдс считает реликтовыми. Форму *цк* К. Шилдс объясняет как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса *и с дейктической частицей *к(е/о), «обладающей значением 'here and now'» [Shields 1998: 46]. То есть это тоже первоначально композитная форма, с тем же самым значением, что и форма Я. По нашему мнению, это тот сложный пограничный случай, когда трудно отличить «скрытую память» от семантической диахронической универсалии.

Таким образом, начальное высказывание без Я носит характер интимизации, доверительного подтверждения где-то ранее высказываемой идеи, возможно даже и прежних собственных размышлений. То есть именно такова семантика фраз *Люблю грозу в начале мая* или *Люблю тебя, Петра творенье*. Напротив, С. Есенин предполагает, что кто-то может не любить его город, и сам понимает, почему: *хоть обрызг он и одрях*, но настаивает: *Я люблю этот город вязевый...*

Заканчивая обсуждение этого примера, хочу подчеркнуть идею, что высказывание с Я при глаголе как бы «помнит» первоначальную давнюю функцию Я быть интродуктивным компонентом, вводящим новое, не присоединяющееся к предыдущему и — тем самым — часто ему противопоставленное высказывание, что в настоящее время для слова Я никак не фиксируется и нигде об этом в нормативных грамматиках не сообщается.

2.2. Другой пример. Если обратиться к современным описаниям русского языка и посмотреть, говорится ли в них о каком-либо принципиальном различии союзов *хотя* и *хоть*¹³, то обнаруживаются три варианта квалификации их соотношения: 1) *Хотя* (*хоть*) — это значит, что обе лексемы объявляются полностью синонимичными; 2) *Хотя* (разг. *хоть*) — в этом случае *хоть* квалифицируется как стилистический (или стилистико-функциональный) вариант *хотя*; 3) *Хотя*, *хоть* —

¹³ Излагаемые далее соображения опираются на материалы статьи автора совместно с И. Фужерон [Николаева, Фужерон 1999].

это перечисление через запятую сообщает как будто бы о некоем их различии, но само оно не сообщается.

Действительно, *хотя* и *хоть* кажутся вполне взаимозаменяемыми, с учетом того, что *хотя* гораздо более частотно в употреблении¹⁴. Однако, если рассмотреть большой массив примеров, то становится очевидно, что в одном случае скорее будет сказано *хоть*, а в другом — скорее *хотя*. Например, *Хоть вы и поступили со мной по-свински, но я не сержусь* (вряд ли *хотя*); *Он подолгу оставался на работе, хотя у него и дама был компьютер* (вряд ли *хоть*); *Она какая-то неинтересная, хоть и красавица* (скорее *хоть*); *Я продолжал бежать, хотя силы уже иссякали* (скорее *хотя*).

Напрашивается гипотеза, что *хотя* предпочитает появляться при описании параллельных акциональных процессов, состояний или поступков. В свою очередь *хоть* связывается уже с иным распределением временного статуса. Оно возникает, когда высказывание передает некий известный или достаточно стабильный статус явления; статус сегодняшнего дня (но не актуальное действие); наконец, действие, обращенное в прошлое или в будущее.

С этой точки зрения мною были просмотрены примеры из существующих «академических» грамматик русского языка, где примеры на *хотя* и *хоть* даются обычно вперемешку. Оказалось, что выдвигаемая гипотеза вполне «работает». Приведем несколько таких примеров. *Я обрадовался, увидев родной город, хоть он и был неласков ко мне* (Ф. Шаляпин). Здесь *хоть* соотносится с известным прошлым состоянием; *Вы хоть и мастер угадывать, однако же ошиблись* (Ф. Достоевский) — в этом примере передается известный и постоянный статус актанта; *Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тулупе и фуражке* (Ю. Олеша) — и здесь идет речь о постоянном статусе персонажа. Приведем несколько примеров на *хотя*: *Учился он порядочно, хотя часто ленился* (И. Тургенев) — передается одновременность протекания акциональных процессов; *Мой репертуар стал мне казаться заигранным, неинтересным, хотя я и продолжал работать, стараясь внести в каждую роль что-то*

¹⁴ Кроме того, различны и ритмические возможности этих двух слов. Например, *Хоть видит око, да зуб неймет*. Здесь очевидно, что выбор лексемы диктуется ритмом.

новое (Ф. Шаляпин) — также описываются два одновременно протекающих процесса.

Чему же соответствуют *хотя* и *хоть* в истории русского языка? Мне была предоставлена возможность воспользоваться материалом Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. Института русского языка РАН. Материал показал, что анализу должны подлежать не два слова, как в современном русском языке, а три: *хотя*, *хоть*¹⁵ и *хоти*. В статье [Николаева, Фужерон 1999] приводится много примеров из Картотеки на употребление этих трех слов, включая и ситуации, когда эти лексемы имеют разнообразные распространители (*бы*, *и*, *будетъ* и т. д.), но сейчас важно привести примеры на передачу акциональных соответствий/несоответствий¹⁶:

хоти:

а нынѣ тебѣ не тово, хоти еси добръ силенъ и крѣпкаго ѹмыслѹ;
и бояре и дьяки говорили: хоти госѹдарь вашъ въ то время ещѣ
на госѹдарстве не былъ, да в томъ лихово нѣтъ ничево;
и говоритъ де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за дззовъ стоять
крѣпко.

хотя:

привыльнѣе хлѣбъ ясть хотя не хочется, нежели словъ живыхъ
слѹшать;
себе ѹжъ хотя воняю, да иныхъ не соблазняю;
много и нынѣ такихъ, что много обѣщаютъ, а мало даютъ, хотя
и вѣдаютъ, что на торгѹ слова не продаютъ.

Итак, судя по древнерусским данным, *хотя* и *хоти* также различают корреляции акциональных действий: *хотя* соединяет одновременные события, *хоти* же связывает ситуации, разные по совершаемости и акциональному статусу. *Хоти*, судя по своему функциональному статусу, совпадает с современным *хоть*, которое его и вытеснило.

Причем тут тема «скрытой памяти»? Дело в том, что *хотя* по своему происхождению — деепричастие, а *хоти* — форма императива от *хотети*. Естественно, что деепричастие сохраняет, преобразившись в союз-частицу, свойство связывать одновременные со-

¹⁵ Небезынтересно, что именно число примеров с *хоть* явилось минимальным.

¹⁶ В нашей передаче оставляется графический облик материала, сохраняемого в Картотеке.

бытия, оно «помнит» свое происхождение. *Хоть* же «помнит» свое недеепричастное происхождение, что легко обнаруживается в выражениях типа *хоть стой, хоть падай; хоть умри; хоть удавись, хоть святых выноси* и под., где нельзя употребить *хотя*. Здесь, возможно, выступает отмеченное неоднократно свойство русского языка образовывать глагольные дублеты вроде *пойди возьми; возьми съешь; пойду скажу* и т. д.

2.3. Что может способствовать вытеснению «скрытой памяти» из языкового существования? Разумеется, это всеохватывающий языковую систему процесс грамматикализации, когда уже о двух равно бытующих вариантах становится говорить невозможно. В этих случаях «скрытая память» может еще обнаруживаться в субязыковых вариантах: диалектах, особых стилях и т. д.

В этом отношении интересный и свежий материал содержится в статье А. И. Рыко [Рыко 2000], исследовавшей дистрибуцию окончаний 3-го лица презенса в Северо-Западных русских говорах. По ее данным, нулевая флексия презенса противопоставлена в этих говорах флексии 3-го лица презенса с *t'* или *t*¹⁷. В работе приводится очень много фактических данных, свидетельствующих об отсутствии грамматикализации и выбора точного варианта: у одних информантов количественные предпочтения одни, у других другие. Имеет место и свободная замена одного варианта другим. Меняются количественные показатели и от деревни к деревне. Однако тенденция их функционального распределения явно пробивает себе дорогу среди свободы варьирования. То есть это та именно ситуация, которая, как было сказано вначале, характеризует явления «скрытой памяти». Какова же та тенденция, которую подметила А. И. Рыко? (см. особенно таблицу [Рыко 2000: 129]). Выводы автора таковы: «...применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии *-t*, а неактуальные — преимущественным употреблением флексии — \emptyset ». Что же в данном случае «помнит» каждый из этих двух вариантов? Глядя на данные А. И. Рыко и обращая внимание на «маркированность» в ее работе слова «актуальное» для презенса с ненулевой флексией, мы можем сделать вывод, что это *-t* является местоименным дополнением к глагольной форме именно дейктического характера, подтверждающим «здесь

¹⁷ Исследовательница считает твердое *-t* позднейшим субститутом *-t' < tь*.

и теперь» совершаемого действия¹⁸. В литературном русском языке и других диалектах произошло обобщение этих двух вариантов презенса и их унификация, а диалекты описанного А. И. Рыко региона это различие «помнят»¹⁹.

3. Второй подвид «скрытой памяти» языка, как указывалось, это та ситуация, когда категориальные формы, например, одной и той же лексемы различаются при помощи некоего форманта, который уже не воспринимается и не описывается сейчас как носитель какого-то самостоятельного значения. Между тем обращение к диахронии показывает, что значение именно этого форманта предопределяет различия категориальных форм и что семантика этого форманта еще жива и язык ее помнит, хотя и в другой «упаковке».

В многочисленных исследованиях русского (и славянского) неоднократно отмечалось, что в рамках категориальной семантики совершенного вида выделяются два значения, которые Г. А. Золотова называет «аористив» и «результатив» [Золотова 2002]²⁰. Действительно, исчезновение аориста из системы русских глагольных категорий не привело к исчезновению его семантики, хотя элемент результата, перфектности, и оказывает на него некоторое подавляющее воздействие: утрачивается компонент сиюминутности,

¹⁸ К сожалению, большая, судя по общим библиографиям, литература по этому вопросу последних лет оказалась для меня недоступной. Более ранняя литература обсуждается в работах Вяч. Вс. Иванова [Иванов 1979; 1979а; 1989 и др.]. Интересные соображения высказаны в исследовании Т. Поленовой [Поленова 2000] о совпадении в местоименности флексий в индоевропейских и енисейских языках. Она, в частности, отмечает: «Представляется возможным предположить развитие личных аффиксов глагола как в енисейском языке, так и в индоевропейском из первичных дейктических частиц с широкой семантикой» [Там же: 162]. Близки к этому и идеи о параллелях в индоевропейском и картвельском, изложенные К. Х. Шмидтом [Шмидт 1995].

¹⁹ Безусловно, наличие двух этих вариантов является древнейшим явлением в и.-е. языках; отсутствие уверенности в своей подготовке заставляет меня с большой осторожностью встать на «логическую» точку зрения, согласно которой первичной формой и должна была стать форма с нулевой флексией (как аналог *casus indefinitus*), а укрепление местоимением могло быть только результатом более позднего развития содержательных синтаксических категорий.

²⁰ Вообще исчисление всех типов семантики глагольного вида, среди которых многими авторами упоминается и аористная составляющая, сильно отвлекло бы от обсуждаемой в настоящей статье темы. Наиболее подробно все трудности в толковании семантики вида глагола на современном этапе изложены в книге [Гловинская 2001].

«неожиданности» происходящего. Так, интересно было услышать замечание одного европейского (и православного) русиста о том, что при замене *Христос воскрес!* на *Христос воскрес!* «русские утратили ощущение чуда», поскольку за формой *воскрес* может теперь стоять длительный процесс с объявленным результатом. Естественно, что аористная семантика соотносится с соответствующей формой и греческого языка. В формах греческого языка инициальным компонентом аориста и имперфекта является аугмент ϵ -, который в настоящее время преподается как чисто грамматический формант. Однако в свою очередь этот формант Вяч. Вс. Иванов, вслед за К. Уоткинсом, предлагает отождествить с инициальной частицей $*e/o$ (в палайском и других языках отраженной как $*a$). Вяч. Вс. Иванов, разбирая инициальные комплексы в и.-е. языках, дополняя эту мысль К. Уоткинса и широко привлекая славянский материал [Иванов 1979], показывает соответствие этого (ударного!) аугмента указательной инициальной частице (ударной и сейчас! — Т. Н.): ϵ в словах *э-то*, *э-тот* и т. д. Таким образом, аорист и унаследованная от него семантика в современном совершенном виде «помнит» в греческом свою ударность, а в славянских языках тоже свое «здешнее», актуальное для ситуации значение. Параллельным формообразующим компонентом для аориста является и формант $*-s$, формирующий так называемый «сигматический аорист» [Бадер 1988]. Показатель «сигматического аориста» присоединяется справа и, если принять идею партикулярного происхождения словоизменительных флексий, он может быть не только возведен к тому же $*-s$ в показателях имени и других формах глагола, но и быть функционально приравнен к анализирувавшемуся выше «аугменту» ϵ -.

Легко заметить, что практически все приведенные мною выше примеры в той или иной степени связаны с одной и той же синтаксической категорией, а именно — категорией определенности / неопределенности, которая воплощается то в актуальности, то в действительности, но каждый раз сохраняет привязку к ситуации, иногда меняя форму и/или позицию актуализатора.

Занятия славянскими частицами-партикулами в целом приводят к мысли, что эта категория практически является доминантной в диахронии [Николаева 2000], но языковая история закрепляет за каждым *Stammlaut* этих партикул более узкое значение. Это набор из 12 основных консонантов: $-b-$, $-v-$, $-j-$, $-s-$, $-z-$, $-t-$, $-d-$, $-k-$, $-c-$, $-m-$, $-n-$, $-l-$. Но каждый раз образованные от них слова коммуникативного фонда (анафорические, дейктические, местоимения и местоименные

наречия и т. д.) содержат в своей основе вопрос-указание: этот? тот? этот или тот? какой? не-этот? и т. д.

Знаменем времени в этом отношении можно считать последние работы Н. Ю. Шведовой [Шведова 1998; 1999], объявившей именно местоимения окнами в мир действительности (ранее идея их функциональной «заместительности» чего-то и анафоричности несколько принижала их лингвистический статус).

«Парадигматическая» лингвистика естественно видела все через морфологические очки. Возможно, заимствовались и наследовались и парадигмы, и формы. Но идея о том, что сегодняшняя морфология — это вчерашний синтаксис (и вчерашняя семантика!), может в свою очередь стимулировать обращение к лингвистике непарадигматической.

Если процитировать замечательное высказывание В. И. Абаева о том, что «каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации» [Абаев 1995: 61], то, как кажется, можно предположить, что его высказывание относится во многом к формальным парадигматическим различиям, диахроническим реликтам и т. д. Идея «скрытой памяти» — в том, что она не «десемантизирована» и не представлена «обрывками и клочьями», а где-то подспудно влияет на речевую деятельность.

Конечно, принять решение в этом смысле очень сложно. Так, например, кажется очевидным, что таким актуализатором, привязкой к настоящему, является **i* в «первичных» окончаниях и.-е. глагола (**-mi*, **si*, **-ti*) в отличие от «вторичных», где это *i* исчезает (**m*, **s*, **t*). Но что это за *i*? Как оно связано с другими, фонетическими близкими ему элементами формы слова и высказывания? Известно, что **i* в свою очередь представлено во флексиях имени (**Gen.*, *Plur.* и т. д.). Известно также, что именно оно модифицирует основу, создавая флексии. Например, все филологи знают, что форма дательного у существительных женского рода (ѣ) восходит к сочетанию с **i* > **gena* + *i* > *женѣ*. Но что это за *i*? И почему в одном случае дифтонг находится под восходящей мелодикой, а в другом — под нисходящей? Очевидно, что разгадка таится в неизвестной пока диахронической синтагматике.

Вяч. Вс. Иванов в уже указанной работе [Иванов 1979] показывает, что и.-е. партикулы могут в разных языках и разных диахронических слоях менять свою позиционную привязку. Известно, что

в современном русском есть некоторая частица *и*, которая обычно: а) стоит перед глаголом, б) влияет на акцентированность глагола, делая его просодически выделенным, в) создает семантику подтверждения-совершенности — легкого возражения коммуниканту. — *Вы бы поехали в «Икею».* — *Я там и купила; Ему нужно продавать компьютеры.* — *Он и продает их.* В книге [Николаева 1985] такое *и* было названо «определенным артиклем при глаголе». Однако нужно сказать, что оно же может быть при наречии или в целом при обстоятельственной группе. — *По-моему, там дешевле.* — *Это и здесь недорого* и под. Очевидно, это неясное *i* ждет детального разбора, стратификации случаев и их классификации.

4. Постараемся привести пример на указанный выше третий подвид «скрытой памяти». Речь пойдет о так называемом «неоштокавском» сдвиге в расположении сербского словесного ударения, произошедшем примерно в XV веке на территории штокавских диалектов. Суть его в том, что старая штокавская акцентуация знала два акцента: долгий и краткий. В XV веке два старых акцента — долгий нисходящий и краткий нисходящий — передвинулись на слог к началу слога и создали долгий восходящий и краткий восходящий. Инициальные же акценты, долгий нисходящий и краткий нисходящий, оставались на своих старых позициях. Таким образом, конечный слог в сербском языке потерял способность быть подударным²¹.

Экспериментальный анализ просодии языков Балканского союза, проведенный и описанный мною [Николаева 1996], выявил, в частности, семь терминальных восходящих контуров, характерных для всех языков Балкан и различающихся по тому, какова ритмическая структура слова — носителя фразового ударения, то есть, говоря иначе, где в этом слове расположено ударение: на последнем слоге (структура — ' —) или на начальном (структура —' —). В первом случае выбирается для общего вопроса фигура с терминальным повышением мелодики, во втором — фигура с дугообразным понижением после повышения. Оказалось, что сербский язык (точнее, дикторы-носители современного сербского языка) при «новых», сдвинутых к началу, акцентах регулярно выбирает ту фигуру, где в остальных языках представлено окончательное, финальное, словесное

²¹ По этому поводу, как известно, существует много трактовок, так или иначе объясняющих причины этого сдвига. Они приводятся в книге [Николаева 1996], где в свою очередь предлагается некоторая гипотеза о собственно просодических причинах появления этого «сдвига».

ударение. А в случае инициальных «старых» акцентов сербский язык выбирает фигуру, где в других языках представлено инициальное словесное ударение. Таким образом, сербская фразовая интонация как бы «помнит» ситуацию до нештокавского сдвига, когда новые восходящие акценты могли располагаться в конце слова.

5.1. Как уже говорилось вначале, к проблеме выявления «скрытой памяти» примыкают и смежные проблемы, а именно — проблема автономного существования смысловой языковой универсалии, которая с годами или даже веками хотя и меняет свою языковую «упаковку», но остается в пределах тех же содержательных «потребностей». В этом случае можно сказать, что язык не столько помнит, сколько знает, что он обязан выразить то или иное содержательное противопоставление. В качестве примера можно привести историю выражения подчеркнутой/неподчеркнутой притяжательности, исследовавшуюся на примере посессивного местоимения *свой* [Николаева 1986а].

Е. В. Падучевой была предложена стратификация значений этого местоимения [Падучева 1983], согласно которой выделялось 6 типов *свой*, из которых только *свой 1* можно считать собственно посессивным, неокрашенным, а *свой 6* — это субстанция посессивная, но значения *свой 2—5* (2 — ‘собственный’, 3 — ‘дистрибутивный’, 4 — ‘особый’, 5 — ‘надлежащий’) передают «подчеркнутый» посессив. Мною рассматривались случаи употребления существительного + местоимения *свой* в старославянском тексте²². Оказалось, что в этом тексте отношение сущ. + *свой* к *свой* + сущ. было примерно 10 : 1. Очевидно, что маркированным было сочетание с препозицией посессива. Все примеры с препозицией полностью укладывались в типы *свой 2—5*, по Е. В. Падучевой, т. е. передавали подчеркнутую, окрашенную притяжательность. В греческом же тексте типу *свой 1* (т. е. неокрашенная посессивность) соответствовали формы $\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma$, $\sigma\acute{o}\varsigma$, а формам *свой 2—5* соответствовали греческие формы $\xi\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$, $\xi\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma$, $\dot{\iota}\delta\iota\omicron\varsigma$ (последняя форма была самой частотной). Подчеркнутые формы посессива передавались в греческом тексте не только через указанные лексические различия, но и синтаксически — также через препозицию. Однако нельзя сказать, что старославянский текст точно копирует греческий. Так, к собственно притяжательным

²² Анализировался текст Мариинского Евангелия (глаголический памятник XI в. — Мариинское четвероевангелие — Codex Marianus, изданный В. Ягичем в 1883 г.).

в старославянском тексте относится *свой* дистрибутивное (*свой* 3, по Е. В. Падучевой), которое таким образом не выделено как подчеркнутое; в греческом же тексте эта семантика отмечена через препозицию и лексемы окрашенной притяжательности.

В древнерусском языке, судя по данным Картотеки, также было представлено противопоставление подчеркнутой / неподчеркнутой посессивности через препозицию / постпозицию местоимения. Однако в массиве этих текстов выявилась роль и лексической принадлежности определяемого через посессив существительного: препозиция возникает при упоминании о «чужих», не входящих в обыденный круг актанта феноменах и/или при желании явно противопоставить свое — чужому. Явления и предметы близкого окружения, как правило, представляют постпозитивную позицию посессива. Это слова типа *двор, послы, воевода, ратники, полкы, бояре* и почти всегда — имена родства. Ср.:

Наряди же полкн свои Всеволод и пусти возы своя за рѣкѣ; И поворотн конь Мѣстиславъ и съ дружиною своею от стрѣя своего; Мы, княже, за ты головы своя съкладываемъ, а ты нынѣ держиши врагы свои и наши просты.

Но ср.:

Юрон же ни нх посла к ним отпусти, ни своего к ним посла; Видѣвъ же полкы Изяславн король и тако и своим полкомъ повелѣ; И смѣсишася конждо вѣдаеть свои станъ.

К XVI в. начинает происходить смешение, и общее правило для этого периода сформулировать трудно. Очевидно, именно к этому времени русский язык начинает входить в зону универсалий Дж. Гринберга [Гринберг и др. 1970], а именно: универсалий 17, 18, 19, согласно которым постпозиция определяющего слова характерна для языков строя VSO (универсалия 17), но если описательное прилагательное предшествует существительному, то и местоимения следуют их примеру (универсалия 18), и это правило не имеет исключений. Однако если даже прилагательное и следует за существительным, то небольшое число их может всегда предшествовать существительному (универсалия 19). Весь этот процесс означал ломку синтаксической системы русского языка. Вначале выход из положения находится при помощи лексических средств: в XVIII в. в словосочетание с подчеркнутой посессивностью вводится слово *собственный*:

Пользы ваша мнѣ приятнѣе своей собственной; Определилъ онъ мнѣ двухъ человекъ своихъ собственныхъ к своимъ услугамъ; Пизнстать любилъ дочь Перопы какъ собственную свою и т. д. Затем происходит как бы перверсия основного первичного правила: именно при передаче подчеркнутой посессивности местоимение отходит вправо: ср. *У него свой дом* и *Дом у него свой*. Вводится и акцентный фактор, при котором порядок слов можно не менять, но подчеркнутая посессивность выделяется просодическими средствами: *У него своя машина* и *У него своя машина*. Таким образом, даже на этом небольшом примере можно видеть, что язык не забывает своего содержательного задания и, все время меняя средства его выражения и приспособляясь к игу диахронических универсалий, каждый раз находит способ это задание выполнить.

5.2. Интересный материал в этом смысле представляет собой корреляция формы / содержания комплексов частиц в индоевропейских языках древности и современности. В ряде случаев буквальный «словарный» перевод не говорит нам о каких-либо совпадениях и в плане выражения, и в плане содержания, но внимательный анализ этих комплексов «по элементам» демонстрирует такое же, как и для *свой*, сохранение смыслового задания.

Например, ведийская частица *сапа* переводится как 'даже', но состоит из двух элементарных частиц: *са* 'и' + *па* (отрицательная частица, *не-*) см. [Елизаренкова 1982: 406]. То есть по составляющим — это русское *и* + *не*. И, действительно, мы находим именно такую конструкцию в русском языке: *И не думайте!* *И не воображайте* и т. д., где есть значение 'даже'. Другой пример: вед. *ита* < *и* 'же' + *та* 'то'. А это — структура *же* + *то*, отличающаяся от нашего *тоже* линейным порядком тех же смысловых элементов²³. Не всегда чисто формальное совпадение «по компонентам» дает абсолютное совпадение смысловое. Например литовское *ôgi* формально состоит из *ô* 'а' и *gi* 'же', то есть должно по значению совпадать с *аже*, но имеет значение 'тоже'.

Итак, комплекс частиц может совпадать по плану выражения, но не по плану содержания, но может совпадать по плану содержа-

²³ Разумеется, необходимо сказать о том, что ситуация здесь упрощается, так как ведийские частицы (как и русские, впрочем) имели множество близких значений, образуя — каждая — нечто вроде смыслового поля, передача элементов этого поля через реальные слова-частицы же означает упрощение ситуации.

ния, составляясь из частиц, формально отличных от частиц в языках-потомках (или языках близких генетически). Таким образом, в языке реализуется проходящее сквозь время смысловое задание, которое язык «помнит». Например, в русском языке слова *только* и *один* по происхождению разные, но они совпадают в передаче значения единственности, исключительности. Но при этом семантика угрозы, предупреждения передается скорее через *только*: *Только попробуй!*, а семантика, описываемая как 'и ничего более' — через *один*. Те же модели находим в латышском: *Pameģini tikai!*, то есть *Попробуй только!*, а также *To zināja tikai viņš* «Это знал только он». Но *Te aug priedes vien*, что значит «Тут растут только сосны», т. е. одни только сосны, где *vien* = *один*.

6. В большинстве приведенных примеров речь идет о не забытой языком содержательной установке, в основном, актуализированного плана. То есть, подводя итоги, можно сказать, что — в том или ином облике — в статье затронуты следующие содержательные компоненты: 1) подчеркивание, связанное с вынесением «вперед», 2) противопоставление и 3) актуализация по отношению к ситуации «здесь и сейчас». Постепенно подобные явления начинают привлекать лингвистов. Можно с осторожностью высказать предположение о том, что сейчас наблюдается общий сдвиг лингвистической парадигмы (в смысле Т. Куна) в сторону синтагматических явлений, а диахроническая синтагматика настойчиво требует своей реконструкции. Таким образом, за реконструкцией «скрытой памяти» в обсуждавшихся выше примерах просвечивает более общая идея о реконструкции первичных диффузных по значению элементов коммуникативного фонда и о столь же диффузных грамматических элементах знаменательного фонда, присоединявшихся друг к другу (правда, если принять высказанную выше гипотезу В. Н. Топорова о **-теп*, то эти элементы могли переходить друг в друга). При этом значимым фактором являлась прежде всего позиция этих элементов по отношению друг к другу и по отношению к высказыванию. Слабым и/или уязвимым местом предложенной позиции является опора на первичное сочетание именно значимых элементов языка, и тем самым в ней не остается места для чисто формальных компонентов, объяснения и интерпретации не требующих. Можно также признаться в том, что за предложенными рассуждениями стоит непарадигматический взгляд на раннее развитие языка.

Список литературы

- Абаев 1995 — *Абаев В. И.* Понятия идеосемантики // *Абаев В. И.* Избранные труды. Т. 2: Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.
- Бадер 1988 — *Бадер Ф.* Флексии сигматического аориста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988. Вып. XXI.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Природа местоимений // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Брейяр, Фужерон 2001 — *Брейяр Ж., Фужерон И.* Когда Я нужно? // Изв. РАН. Сер. лит-ры и яз. 2001. Т. 60. № 4.
- Васильева-Шведе 1948 — *Васильева-Шведе О. К.* Курс испанского языка. М., 1948.
- Гловинская 2001 — *Гловинская М. Я.* Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.
- Гринберг и др. 1970 — *Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж.* Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. 5.
- Добродомов 2002 — *Добродомов И. Г.* Еще раз об исторической памяти в языке // *Вопр. языкознания.* 2002. № 2.
- Ефимова 2002 — *Ефимова В. С.* Местоимение первого лица в древнейших славянских текстах // *Славяноведение.* 2002. № 4.
- Елизаренкова 1982 — *Елизаренкова Т.* Грамматика ведийского языка. М., 1982.
- Зализняк 1955 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Золотова 2000 — *Золотова Г. А.* Понятие личности/безличности и его интерпретации // *Russian linguistics.* 2000. V. 24.
- Золотова 2002 — *Золотова Г. А.* Категории времени и вида с точки зрения текста // *Вопр. языкознания.* 2002. № 3.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica.* Лингвистические исследования. М., 1979.
- Иванов 1979а — *Иванов Вяч. Вс.* Сравнительно-исторический анализ категории определенности-неопределенности в славянских, балтийских и древнебалканских языках в свете индоевропеистики и ностратики // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Иванов 1989 — *Иванов Вяч. Вс.* Новые наблюдения над индоевропейской акцентологией // *Славянское и балканское языкознание.* Просодия. М., 1989.
- Красухин 2001 — *Красухин К. Г.* Некоторые особенности микенского синтаксиса // *Язык и культура. Факты и ценности: Сб. ст. к 70-летию Ю. С. Степанова.* М., 2001.

- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.; Л., 1938.
- Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985.
- Николаева 1986 — *Николаева Т. М.* Единичное и универсальное в типологической проблематике // Всесоюзная научно-практическая школа по сопоставительному и типологическому языкознанию. Звенигород, 1986.
- Николаева 1986а — *Николаева Т. М.* Средства различения посессивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986.
- Николаева 1996 — *Николаева Т. М.* Просодия Балкан. М., 1996.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* О возможной древнейшей (славянской — ?) синтаксической категории — гипотетически // *Res linguistica*. М., 2000.
- Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* 2002 — Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения // *Русский язык в научном освещении*. 2002. № 3.
- Николаева, Фужерон 1999 — *Николаева Т. М., Фужерон И.* Некоторые соображения по поводу категории уступительности // *Вопр. языкознания*. 1999. № 1.
- Падучева 1983 — *Падучева Е. В.* Местоимение «свой» и его непритяжательные значения // Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания. М., 1983.
- Поленова 2000 — *Поленова Г. Т.* К истокам индоевропейских и енисейских личных глагольных показателей // Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия; Докл. и тезисы междунар. конф. М., 2000.
- Рыко 2000 — *Рыко А. И.* Семантическое распределение 3-го лица презенса // Балто-славянские исследования 1998—1999. XVI. М., 2000.
- Савченко 1960 — *Савченко А. Н.* Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке. Ростов-на-Дону, 1960.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Топоров 1992 — *Топоров В. Н.* Из индоевропейской этимологии IV (1). И.-е. *egh-om (*He-gh-om): *теп. 1. Sg. Pron. pers. // *Этимология*. 1988—1990. М., 1992.
- Тронский 2001 — *Тронский И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 2001.

- Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю.* Местоимение и смысл: Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998.
- Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // *Вопр. языкознания.* 1999. № 1.
- Шилдс 1988 — *Шилдс К.* Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии // *Новое в зарубежной лингвистике.* М., 1988. Вып. XXI.
- Шмальштиг 1988 — *Шмальштиг В.* Морфология глагола // *Новое в зарубежной лингвистике.* М., 1988. Вып. XXI.
- Шмидт 1995 — *Шмидт К. Х.* К вопросу о личных местоимениях и категории лица в картвельском и индоевропейском // *Вопр. языкознания.* 1995. № 5.
- Эдельман 2001 — *Эдельман Д. И.* К реконструкции праиранского предложения // *Язык и культура. Факты и ценности: Сб. ст. к 70-летию Ю. С. Степанова.* М., 2001.
- Эрну 1950 — *Эрну А.* Историческая морфология латинского языка. М., 1950.
- ЭССЯ 1974 — *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева.* Вып. 1. М., 1974.
- Яковлева 1998 — *Яковлева Е. С.* О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // *Вопр. языкознания.* 1998. № 3.
- Allaona 1997 — *Allaona A.* Sur les pronoms personnels: questions d'autonomie primitive // *Acta Orientalia Societates Orientales Danica Fennica Norvegica Svecica.* 1997. LVIII.
- Breuillard, Fougeron 2001 — *Breuillard J., Fougeron I.* Avec ou sans я // *Русский язык: пересекая границы.* Дубна, 2001.
- Gonda 1954—1955 — *Gonda J.* The original character of the Indo-European relative pronoun *jo- // *Lingua.* 1954—1955. V. 4. 1.
- Helmbrecht 1999 — *Helmbrecht J.* The typology of 1st person marking and its cognitive background // *Cultural, Psychological and Typological issues in Cognitive linguistics.* Amsterdam; Philadelphia, 1999.
- Nilsson 1982 — *Nilsson B.* Personal pronouns in Russian and Polish. A study of their communicative function and placement in the sentence. Stockholm, 1982.
- Palander-Colin 1998 — *Palander-Colin M.* Grammaticalization of *I THINK* and *METHINKS* in Late Middle and Early Modern English // *Neophilologische Mitteilungen.* 1998. XCIX. 4.
- Shields 1997 — *Shields K.* On the pronominal origin of the I.-E. athematic verbal suffixes // *The journal of Indo-European studies.* 1997. V. 25. № 1—2.
- Shields 1998 — *Shields K.* Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system // *Historische Sprachforschung (Historical linguistics).* 1998. Bd. 111. Hf. 1.

ДИАХРОНИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? (Об одной тенденции развития языка)

I

При обсуждении фактов языковых изменений могут встать четыре вопроса: изменяется что (или что во что?); как?; почему? и зачем? Распространенными в сфере историко-лингвистических достижений являются обычно ответы на первые два вопроса. Вопросы третий и четвертый часто смешиваются (ср. нейтрализацию их семантики в речепотреблении: *Он сделал это из-за денег* и *Он сделал это ради денег*). В этом смысле двусемантичен часто применяемый сейчас в диахронических исследованиях термин «объяснение» (explanation) [Lass 1987; Explanation... 1981; Bichakjian 1987; Hammarström 1986]. Мыслимо ли объяснение процесса без понимания механизма этого процесса? Мыслимо ли понимание каузирующих явлений без прогнозирующих выводов? Предполагает ли телеологическая интерпретация лишь вероятность достижения цели и стремления к ней или это достижение абсолютно? И, наконец, языковые тенденции к изменению — это средство, причина или цель? Например, «принцип лени» (Е. Д. Поливанов) — это причина, но принцип экономии в языковых изменениях (А. Мартине) — может быть и целью, и причиной, и средством (экономия имеет смысл для осуществления некоей цели).

Телеология в языковых объяснениях, однако, отрицается и сторонниками объяснительного подхода в диахронии. Так, Р. Лэсс [Lass 1987: 131] считает, что все изменения возможны, но не обязательны, что язык меняется подобно моде или искусству; язык — отчасти и игра, поэтому изменения не всегда естественным образом закономерны. Между тем почти сто лет назад прозвучали слова замечательного философа Вл. Соловьева: «Ряд изменений без известной исходной точки и продолжающийся без конца, не имея никакой определенной цели, не есть развитие ... Определив закон развития, мы определим и цель его» [Соловьев 1988: 142]. «Наука, как ее по-

нимает позитивизм, отказываясь от вопросов *почему и зачем и что есть*, оставляющая для себя только неинтересный вопрос *что бывает или является*, тем самым признает свою теоретическую несостоятельность» [Соловьев 1988: 167—168].

Много позже эти идеи были обращены к языку Р. Якобсоном: «В нынешней иерархии ценностей вопрос куда котируется выше вопроса о т к у д а... Ц е л ь, эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется» [Jakobson 1962: 144].

Но в то же время и принятие телеологии языкового развития, столь многими отрицаемой, еще не означает принятие идеи единой цели: в принципе вопрос о цели может быть решен плюралистично — либо у разных языков могут быть разные цели, либо эти цели могут варьироваться в процессе изменения, либо обе эти возможности могут сочетаться. Наиболее четко понятие однонаправленности языкового движения как тенденции глобального характера (не дробящейся на обязательные дискретные стадии) было определено Э. Сэпиром, с которым и связывается концепт движения (*drift*): «...историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам» [Сэпир 1934: 95]. (Последователями Э. Сэпира эта тенденция — *drift* — прослеживается уже в различных знаковых системах: см. [Shapiro 1987].)

Однонаправленность развития неоднократно отмечалась для разных участков языковой системы и принималась в качестве бесспорного факта с полным единодушием — особенно, если эволюционирующий компонент был достаточно узким. Например, В. А. Дыбо, анализируя движение развития акцентных систем, приходит к выводу, что движение осуществляется от систем с фиксированным акцентом к системам с свободным ударением, а от них языки с парадигматическим акцентом движутся в сторону категориально-ориентированных акцентных систем [Dybo 1987].

Исследуя так называемый «прогрессивный акцентный сдвиг» в южнославянских языках [Dutch studies... 1987], В. Вермеер намечает однонаправленную схему его прохождения: шесть этапов, распределенных от перехода со слабого ера на открытый конечный слог (*sr̥tō*) до переноса от «полного» гласного на открытый следующий слог

(оѣ). Для литовского языка, например, до 1650 г. удлинение ударного происходило на неконечных низких гласных в корнях и двусложных суффиксах, потом удлинялись ударные низкие гласные в корнях у заимствованных слов, затем — все корневые ударные. Таким образом, происходил однонаправленный процесс маркирования ударного гласного через продленность [Robinson 1987].

Локальную однонаправленность языкового развития можно проиллюстрировать и примерами категориального синтаксиса. Например, среди диахронических универсалий, сформулированных Дж. Гринбергом, есть положение о том, что согласованные определения должны тяготеть к препозиции, несогласованные — к постпозиции [Гринберг 1970]. В старославянском языке порядок слов выполнял иную функцию: в препозиции к имени ставился подчеркнутый посессив, в постпозиции — нейтральный: *вѣзлюбѣши гдѣ ба твоего вѣсѣмъ срѣцемъ твоимъ и всѣмъ дѣшежъ своежъ | всѣсѣжъ мысльжъ твоєжъ* (Мф. 22—37) или *вѣзъзѣми одръ твонъ | иди въ домъ свонъ* (И. 5. 8), но *нѣбо и зѣмль прѣидеть · а моѣ словеса не прѣиджтъ* — (М. 13. 31) (более подробно о корреляции с греческим словопорядком см. [Категория... 1989]). В раннем периоде истории русского книжного языка была представлена такая же семантика посессива. Препозитивным был и родительный принадлежности: *Петров дом* и *Петра дом*. Сочетание *дом Петра* отмечается лишь в XVII в. Даже в начале XVIII в. посессивный родительный в постпозиции был представлен в 64 %, препозитивный — в 36 % [Манучарян 1984]. Таким образом, на некотором промежуточном этапе содержательная сторона словопорядка в словосочетании была нейтрализована. В дальнейшем изменяемый посессив оказался в препозиции, а родительный принадлежности перешел в постпозицию. Другими словами, русский язык в своем развитии пришел к статусу приименных определителей, сформулированному Дж. Гринбергом (см. подробнее об этом [Николаева 1986]). Число подобных примеров может с легкостью умножить любой специалист в той или иной области языкознания.

Эволюционный и единообразный (униязыковой) принцип развития отмечался и для самых ранних этапов становления тех или иных категорий. В качестве примера можно привести гипотезы трех лингвистов разных научных школ — Дж. Охала, Т. Гивона и Л. Г. Герценберга.

Дж. Охала в своих работах по тоногенезу [Hombert, Ohala 1982; Hombert et al. 1979; Ohala 1984] принимает изначальную перцептивную близость консонантов, но после глухих тон гласного оказывает-

ся выше, чем после звонких (или, говоря иначе, глухие создают высокий тон, звонкие — низкий); после этого происходит фонологизация тональных различий, перцептивно связываемых уже с гласным, а разные тоны оказываются возможными уже и после глухих, и после звонких, т. е. из *rá* и *vá* через ряд ступеней получается *rá*, *vá* и *rà*, *và*. Неясным только в его общей концепции тоногенеза остается то, почему в одних языках тоновые различия сохраняются, а в других нет (см. нашу концепцию ниже).

А. Г. Герценберг связывает становление фонем с формированием слова из слогоморфем, т. е. с переходом от языка слогоморфемного типа к языку, в котором главной единицей является слово [Герценберг 1981]. Именно так возникает гетеросиллабическое состояние корня, корень утрачивает связь со слогом. Аллофоны, зависевшие от соседних просодических характеристик, приобретают самостоятельный фонологический статус. Таким образом, и Дж. Охала, и А. Г. Герценберг конструируют и допускают некоторое состояние «до первотолчка»: до-тональное, до-фонологическое, дословное. Впоследствии подобное состояние уже не регистрируется.

Сфера интересов Т. Гивона и сходно мыслящих с ним лингвистов (см. [Николаева 1984]) направлена на грамматико-синтаксический аспект становления ранних языковых систем, поскольку в центре внимания находится коммуникативный уровень, а движущей силой при таком подходе является человек и развитие его дискурсивных установок. Наиболее архаичный порядок элементов в высказывании («прагматический код») параллелен разворачиванию элементов в коммуникативной ситуации. В дальнейшем иконическое становится знаковым. Осуществляется переход от прагматического кода к собственно языковому — «синтактизация» [Givón 1979]. При синтактизации речевая единица превращается в языковую — у каждого языка специфическим способом. Метод реконструкции протофактов приложим к синтаксису лишь с натяжкой, поскольку синтаксические модели в их различии не сводятся к единой архетипической конструкции. В свою очередь синтаксические структуры модифицируются возникающей флективной морфологией. Имеет место так называемый «реанализ», т. е. перераспределение, переформулировка, добавление или исчезновение компонентов поверхностной структуры. Движущей отправной точкой языковых изменений в этой концепции является сам говорящий и окружающий его мир. Поэтому коммуникативная значимость и подверженность изменениям членов одной и той же словоизменительной парадигмы различна. Так, развитие неопределенных местоимений и

артикулы осуществляется обычно после определенных мировоззренческих сдвигов — нужно иметь понятие о широком однородном классе; позже других времен развивается Futurum как выход за пределы реального осуществляющегося действия. Многие разнофункциональные явления в этой концепции связаны. Например, связаны появление перфекта, порядок слов (от VS к SV) и степень известности субъекта топика в древнееврейских текстах [Givón 1977]: в более поздних текстах кругозор носителей языка расширяется, возникает потребность в анафорике для отождествления объекта внутри увеличивающегося класса актантов. Выделение новых актантов и их поступков влечет за собой порядок SV и возникновение неимперфектных форм.

Таким образом, и в этой концепции ментальный статус архаического языкового состояния не равен позднему. Сделав еще шаг в сторону признания однонаправленности языкового процесса, мы переходим к пониманию диахронии как эволюции, которая неизбежно включает в себя оценочный компонент. Именно так понимал языковое развитие О. Есперсен: не даром книга Т. Гивона была названа американскими лингвистами «есперсенианской».

Итак, языковеды часто принимают однонаправленную эволюцию для отдельных участков языковой системы, но нередко решительно отрицают ее при переходе к глобальной постановке вопроса. Наиболее отчетливо эта позиция формулируется у компаративистов. Показательно следующее высказывание Э. Бенвениста: «Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться “первоначальными”. Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные» [Бенвенист 1974: 35]. С такой же убежденностью высказывается позднее и О. Семереньи: «Можно, по-видимому, считать аксиомой, что индоевропейский праязык не мог обладать свойствами, которых нет ни у одного языка на земле» [Семереньи 1980: 154].

В уже упоминавшейся книге Р. Лэсса [Lass 1987] эти положения являются базой аксиоматики. Принцип неизменности — униформитарная аксиома, «принцип пантемпоральной униформности». Таким образом, «ничто, не оправданное должным образом в настоящем, не может быть справедливым для прошлого» [Ibid.: 55], «ни одна реконструируемая единица или конфигурация единиц, процесс изменения или стимул для изменения не могут относиться только к прошедшему» [Ibid.: 50]. Следовательно, в отличие от других творений человека, языковая система не может иметь ни тупиковых образова-

ний, ни архаических состояний, далее не отмечаемых, в языке всегда настоящее является активным аргументом для верификации феноменов любой давности. Так ли это?

Если и не останавливаться на философских основах подобной концепции, не обязательных для анализа в настоящей статье, можно все же высказать относительно нее несколько соображений. Во-первых, по-видимому, за такой концепцией стоят позитивистские установки той поры, когда на языковые системы переносились методы изучения неживой природы, лишенной внутренней телеологии в своих изменениях. Стремление подогнать языкознание, объект которого, видимо, является беспрецедентно и безаналогово сложнейшим, под «точные науки» в определенное время осознавалось как желание «улучшить» лингвистику. Во-вторых, возможно, сказывалась и характерная для человека идеализация прошлого, идеализация архаики. В-третьих, очевидно, не исключено влияние теории возникновения языка независимо от человека (хотя и в этом случае можно предположить, что произошло неполное усвоение переданных ему знаний, которые впоследствии по определенной программе эволюционируют). В-четвертых, принятие телеологии вместе с эволюцией неизбежно означает и учет аксиологического компонента этой теории. Тем самым языки могут быть иерархизированы и соответствующим образом оценены. Наконец, принятие эволюционной идеи во всем ее объеме может явиться стимулом для пересмотра ряда привычных положений исторического языкознания, кажущихся сейчас аксиоматичными.

Все перечисленные выше взгляды на суть языкового изменения можно изобразить в виде ветвящейся схемы:

1. Языковая система меняет свой статус?

нет да

2. Это изменение однонаправлено?

нет да

3. Оно телеологично?

нет да

4. Цель связана с эволюцией?

нет да

II

Дж. Гринберг, говоря о возможности определения диахронических универсалий [Greenberg 1978], объясняет отсутствие в настоящее время в науке эксплицитно выраженных исторических «законов» множеством факторов. Среди них — несинхронное возникновение диахронических процессов в разных языках, ограниченность выведенных законов определенной хронологией, возможность их циклических повторений и т. д. Поэтому, как считает Дж. Гринберг, существенно построить теорию меняющихся состояний (строго говоря, обсуждается нечто близкое к теории стадиальности).

Не анализируя все поднятые Дж. Гринбергом проблемы, мы намереваемся в настоящей работе вынести на обсуждение одну подмеченную нами общую тенденцию языкового развития, которую было бы слишком ответственно именовать законом. Сформулировать эту тенденцию можно так: язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени.

На естественный вопрос: что такое информация и ее количество? — ответ пока предлагается самый наивный: информация — это все, что мы узнаем, выслушав (или прочитав) речевое сообщение. Информация — это и сведения о передаваемой ситуации (локальные, темпоральные сведения, сведения о количестве актантов и их отношениях), модально-субъективные факты, все феномены звукового строя, паралингвистические моменты и др.

Остановимся на этой тенденции подробнее (кратко об этом см. [Nikolayeva 1987; Николаева 1989]). В соотношении «языковая единица / единица времени» модифицироваться может только языковая часть. Как известно, язык характеризуется «двойным членением»: по звуковому и по смысловому основанию. Поэтому целесообразно остановиться поочередно на каждом из этих феноменов. Наблюдений и известных сведений в целом по этим проблемам так много, что они могут быть темой большой монографии, поэтому приводимые ниже примеры будут служить только иллюстративным целям.

Общие для звука и смысла положения формулируются следующим образом:

1. Тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени осуществляется в языках двумя способами: а) компрессией, б) суперсегментизацией.

2. В языках, эволюционировавших в большей степени, сформулированная тенденция реализуется в большей степени (сейчас мы оставляем в стороне оценочную сторону этого явления: хорошо ли для нас, что мы передаем и получаем все более компрессированную информацию, или нет).

Из сказанного вытекает, что возможны как звуковые, так и смысловые компрессии и суперсегментизации.

Звуковой аспект.

Самый простой способ компрессии — это говорить быстрее. Но препятствием при этом является временная ограниченность артикуляторных движений. Как показывает реальный эксперимент, временное расстояние между двумя артикуляторными единицами не может быть менее 55—70 мсек [Белявский и др. 1984]. Данные других авторов [Dermody et al. 1987] свидетельствуют о том, что требуется примерно 30 мсек для опознавания инициального звука речи. Г. Фант с соавторами приходит к выводу, что в речи не допускается обычно более двух фразовых ударений в секунду [Fant et al. 1987]. Все это говорит о пределах временного компрессирования.

Язык может, не нарушая перцептивных законов, обуславливающих указанные возможности компрессии, двигаться в сторону передачи большего объема информации в единицу времени путем модификации речевых единиц, т. е. слов и их компонентов. Это — различного рода явления коартикуляции в пределах слога и слова, модификации безударных слогов (при этом они оказываются различными по языкам [Studies... 1986]). В то же время в таких типологически неблизких языках, как французский и белорусский, обнаруживается меньшая компрессия гласных по сравнению с согласными (см. параллельные опыты [Fletcher 1987; Vygonnaya 1987]) и т. д.

Тот факт, что причиной языковых изменений, и в частности фонологических изменений, является убыстренная, аллегроявая речь, широко известен и является как бы языковедческим трюизмом. Можно поставить вопрос и иначе: язык изменяется не потому, что его носители вдруг стали говорить быстро, а люди потому говорят быстрее, что внешние и внутренние речевые обстоятельства заставляют язык перестроиться. Интересна в этом плане отмеченная в эксперименте языковая универсалия: асимметрия перехода от нормального темпа к медленному и от нормального темпа к быстрому [Vygonnaya 1987] (в первом случае языковых изменений меньше, т. е. речь как бы движется в сторону убыстрения) [Di Cristo 1985].

Однако увеличение фразово-мелодической нагрузки, суперсегментизация, осуществляются тем успешнее, чем больше в данном языке осуществляется возможность слияния слов в некоторое большее единство — так называемый речевой такт, тонально-мелодическую группу. Для того чтобы фразовый контур был воспринят и тем самым усвоена еще некая информация, в языке должно активно выражаться свойство, которое удобно назвать *слитностью*. Слитности мешают такие свойства слова, как тональное (музыкальное) ударение и фонологически значимая долгота, т. е. феномены, которые препятствуют сильной временной компрессии и дальнейшему «оконтуриванию» группы слов. Уже достаточно давно это явление было очень точно сформулировано И. М. Тронским: «Музыкальный характер греческого ударения ставил известные грани возможности использования тонального движения в синтаксической функции... Там, где современные европейские языки располагают многочисленными средствами варьировать мелодику речи, древнегреческий язык, стесненный фонологизированной тональностью своего словесного ударения, ...вынужден был прибегать к служебным словам» [Тронский 1962: 57].

Очевидно неслучайно, что политония сохраняется лишь на периферии европейского ареала (Север и Балканы). В целом же Европу — родину основных международных языков — отличает, как писал Р. Якобсон, — отчетливое стремление к монотонии [Jakobson 1962]. Интересным в этом плане является тот факт, что немецкий язык, сохраняющий в речевом потоке отдельность слова и осуществляющий компрессию, не выходя за рамки слова, все более перестает быть активным международным языком. Коллектив авторов измерял длительность немецкого ударного гласного /a/ и ударного слога /trakt-/ в последовательностях *Der Trakt gab den Ausschlag — Der Trakt ergab den Ausschlag — Der Traktor gab den Ausschlag — Der Vertrakte gab den Ausschlag... Der Vertrakteestergab den Ausschlag* [Pompino-Marschall et al. 1987]. Увеличение длины отрезка за пределами слова с корнем *trakt-* не влияло на компрессию ударного гласного /a/. В то же время на базе английского языка уже многократно делался вывод о том, что нет необходимости выделять уровень слова в английской беглой речи [Fischer-Jørgensen 1987]. Международный язык в течение долгого времени — французский — известен максимальным выражением слитности.

До сих пор речь шла как бы только об имманентных языковых свойствах, однако за всем этим стоят, разумеется, и мощно воздей-

ствующие экстралингвистические факторы. Так, развитием христианства, потребностью именно в христианских проповедях, вообще — меной европейского и ближневосточного *modus vivendi* объясняют переход в первых веках новой эры латинского и греческого языков к динамическому ударению (греческий освободился от музыкального ударения, латинский — от системы долгот) [Николаева 1989].

Таким образом, просодическая обособленность слова есть препятствие для слитности и развития парадигматики мелодических контуров и тем самым для увеличения информации в единицу времени. Отсюда вытекают и почти прогностические утверждения. Контрастивные сопоставления, параллельно проведенные для русского и болгарского языков [Стоева 1987; Николова 1987], продемонстрировали большую степень «сандхизированности» (слитности) русского языка. При этом в одном из исследований [Стоева 1987] прямо говорится о том, что в русском языке благодаря сандхи оказывается больше возможностей для мелодических контуров разного типа, чем в болгарском.

Закономерно в связи с этим, что Р. Ф. Пауфошима говорит о словном произнесении в северных русских говорах [Пауфошима 1989] и указывает, что именно в этих говорах ею обнаружены следы музыкального ударения [Пауфошима 1985]. Таким образом, эволюционная концепция может открыть дорогу и несколько непривычному, хотя, на наш взгляд, и заманчиво перспективному подходу к изучению живых диалектов: не только рассматривать их как бесценное хранилище реликтов, но и постараться понять, что отсутствует в их системах по сравнению с продвинутым и развитым литературным языком, т. е. чего диалектам не хватает или на чем они остановились. Э. Палгрэм предложил деление языков на *cursus language* — язык просодически слитный, не разделяющий поток на слова, и *pexus language* — пословный язык [Pulgramm 1975]. (Существенно в свете излагаемой нами концепции, что, по теории Э. Палгрэма, латинский «письменный» язык был курсусным, а латинский «устный» — нек-сусным.)

Естественно, что международную значимость все больше и больше завоевывали именно курсусные языки, обеспечивающие своей слитностью разнообразие смысловых мелодических контуров и обретавшие тем самым возможность не выражать дополнительных коннотаций на лексико-сегментном уровне.

Воплощение указанной эволюционной тенденции на уровне содержательного аспекта «двойной артикуляции», как мы считаем,

симметрично (или параллельно?) развитию звукового аспекта. Здесь также можно говорить о компрессии и о суперсегментизации.

Под компрессией здесь можно понимать уменьшение числа значимых единиц в пределах большей единицы, т. е. примерно то, что Т. Гивон называет синтактизацией. Иначе говоря, перед нами все больший отход от близкого к иконичности прагматического кода. Таким образом, уменьшается число дискретных единиц в пределах слова. Возникают флективно-фузионные процессы, следствием которых является «склеивание» единиц плана содержания, ранее передававшихся разными знаками. В частности, речь идет об уменьшении единиц в пределах синтаксических конструкций и становлении так называемых синтаксических оборотов, всех видов конструкций с *verba infinita* и т. д.

Суперсегментизации на звуковом уровне понимаются нами как появление дополнительной смысловой строки, относящейся ко всей речевой единице, но эксплицитно к сегментной единице не привязанной. В соответствии с этим, как мы утверждаем, суперсегментностью на содержательном уровне являются пр е с у п п о з и ц и и. Это утверждение, несомненно, требует доказательств. Например, должно быть доказано, что пресуппозитивные частицы типа *даже* появляются в истории языков позже, чем соединяющие частицы-коннекторы, столь характерные для древних языков. Кстати говоря, само понятие «древние языки» во многом амбивалентно. Это — и архаические языки, и языки высокой культуры, прошедшие большой эволюционный путь. В этом смысле, как будет показано далее, греческий язык был более зрелым по сравнению со старославянским. Понятно, что утверждение Э. Бенвениста о том, что все древние языки по своему «ценностному уровню» равны между собой, вряд ли можно считать универсальным. (Ср. в этой связи замечание М. Бауэровой о трудностях перевода с такого «созревшего» (*výspělého*) языка, как греческий, на старославянский [Bauegová 1958].)

Таким образом, на обсуждение выносится вопрос о дополнительных смысловых строках, о «теневой семантике», многочисленные факты которой демонстрирует теория пресуппозиций. Они возникают при инверсии (для этого, естественно, нужен стабилизовавшийся *ordo naturalis*, иначе инверсия не будет семантически маркированной). Теневая семантика возникает при акцентном выделении, при введении особого рода частиц и под.

Специального доказательства требует вопрос о едином по разным языкам типе движения к возникновению «теневой семантики». Сюда относится и такое явление, как постепенное элиминирование

определяющих слов в тех случаях, когда они семантически не нагружены. Например, посессивы при именах «неотчуждаемой принадлежности» или именах, входящих в семантическое поле посессора, часто элиминируются или, если вставляются, то как бы «надстрочно», с нейтральными прагматическими коннотациями. Так, анализ показывает, что в старославянских евангельских текстах по сравнению с греческим оригиналом осуществляются вставки посессивов, но не их элиминирование (см. выше о большей «зрелости» греческого). Эти вставки появляются, например, при характеристике однозначно трактуемых лиц: в речи Христа при лексеме *отец* — **мънога дѣла вѣнхъ въ вась отъ отъца моего** (И. 10.32; греч. ἐκτοῦ πατρός); **ѣко не наоучи ма отъць мон** (И. 8.28; греч. ἐδίδαξεν μεὸ πατῆρ); **ѣже видѣхъ оу отъца моего** (И. 8.38; греч. ἑώρακα παρὰτῷ πατρί). Также отмечаются вставки в текстах о близких кровных родных в непрямой речи: **гла матери своен** (И. 19.26; греч. λέγει τῇ μητρὶ); **посъла во ѣъ сѣна своего въ миръ** (И. 3.17; греч. ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν); **ѣъ възлюбн мира. ѣко сѣна своего иноуждааго — дастъ** (И. 3.16; греч. ὥστε τὸν υἱὸν μονογενῆ).

Самое большое число вставок-посессивов представлено при лексеме *ученики* (ученики Христа) в тех текстах, где принадлежность конкретизирована контекстом, и потому с современной точки зрения посессив избыточен. Например, **пристѣпиша къ нему оуѣници его** (Мф. 24.1; греч. προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταί); **оуѣници его рѣша емоу** (Мф. 15.12; греч. οἱ μαθηταί λέγουσιν αὐτῷ); **въпросиша н оуѣници его** (Мф. 17.10; греч. ἐπηρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί).

В позднейших славянских языках насыщенность высказывания посессивами начинает уменьшаться. Прежде всего посессив начинает опускаться в языках с «недоразвитым» артиклем по отношению к именам неотчуждаемой принадлежности. При этом трактовка этой неотчуждаемой принадлежности может диахронически меняться, отражая соответствующие изменения «картины мира» (о «картине мира» в связи с посессивностью см. раздел А. В. Головачевой в [Категория... 1989]).

III

Все сказанное выше является не только формулировкой общей диахронической тенденции («закона?»), но и стремлением обратить внимание на то, что хотя презумпция глобальной содержательной

неизменности меняющихся языковых систем методически «удобна», она по сути может обеднять диахронические наблюдения, которые иначе могут привести к реконструкции реликтовых состояний, никак позднейшей типологией не засвидетельствованных.

За признанием языковой неизменности и отрицанием эволюции (существенно подчеркнуть, что речь идет о целом, а не об отдельных фрагментах языковой системы), как представляется, стоит еще нежелание признать естественно вытекающие из эволюционной гипотезы идеи о первичности ряда языковых слоев, о первоэлементах плана содержания и плана выражения. Языковые системы, таким образом, предстают как в той или иной мере извечные (в отличие от всех других антропоцентрических гуманитарных систем). Возможно, что это так и есть, но само по себе — это презумпция, но не аксиома. (Не исключено, что основанием для этого служат и циклические процессы, отрицать которые невозможно, а также выравнивание по категориям, отличающееся по языкам, различные по воздействию аналогические явления.) Сказанное можно пояснить простыми примерами. Так, известно, что многие функционально значимые элементы слова по своему происхождению восходят к неразложимым минимальным элементам-частицам, которые при синтактизации, реанализе поверхностной структуры «прилипают» к разным компонентам, становясь уже грамматическими показателями. Ю. С. Степанов пишет о «парадигме частиц» [Степанов 1989: 87 и сл.]. В его книге разбираются, в частности, и.-е. частицы направления; становятся отчетливо видны межклассовые исходные звуко-семантические корреляции в формах, которые впоследствии далеко разошлись. На связь дейктической исходной частицы *и- перфектных глагольных форм указывает также Т. Марки [Markey 1979]. Вяч. Вс. Иванов показал связь частицы *е- в русск. *этот, его* с греческой частицей ε в аористе и имперфекте, ср. греч. (ἐπιδόν). Ранее эта частица относилась к предложению в целом [Иванов 1979].

Анализ фонда частиц славянских языков, показывает, что большая часть коммуникативного общеславянского пласта (частицы, союзы, местоимения, местоименные наречия) строится из относительно небольшого числа исходных компонентов — «партикул», так что весь перечень лексем как бы очень похож на детскую игру «конструктор». Ср.: *и — и + же — и + бо — и + ли — ли + бо — у + бо — у + же — а + же — да + же — е + да — е + же — е + же + ли — ли — е + то — то + ли* и т. д.

Интересно, что этот общеславянский «конструктор» продуктивен до определенного времени (наиболее четко он представлен в старославянском); позже слова подобного типа создаются из форм знаменательных классов.

Консонантные опоры этого коммуникативного пласта вполне эксплицитны. Это —

v, s, j, ž
b, t, d
k, c, č
m, n
l.

Оказывается возможным сформулировать основную семантику для каждой группы с одной и той же консонантной опорой. Например, *l* — значение разделительности с переходом в вопросительность; значение единственности — адверсативности; *m* — значение адвербиальности; *ř* — определенности, подтверждения, суживающейся идентификации и т. д. Однако общим ядром частиц с указанными консонантными опорами является семантика определенности / неопределенности (недаром Ю. С. Степанов в основном анализирует частицы в разделе «Дейксис и референция»). Сходные консонантные базы для местоименно-партикульного фонда финно-угорских частиц с близкими значениями приводит и К. Б. Майтинская [Майтинская 1982]: *-n-*, *-t-*, *-d-*, *-s-*, *-k-*, *j-*. К. Е. Майтинская называет подобные частицы первообразными, возникшими на основе звуковых комплексов междометийного характера [Там же: 152]. О первичной диффузности частиц союзов, местоименных форм и наречий в ведийском пишет и Т. Я. Елизаренкова [Елизаренкова 1982].

Но можно ли считать, что частицы (в основном CV-состава) являются как бы исходным коммуникативным фондом? Эта логичная точка зрения сразу же (но не в явном виде) отвергается в свете данных этимологических словарей. Мы узнаем, что многие «первичные» частицы восходят к застывшим формам местоимений. Например, *da* < **do(to)* (и.-е. указательное местоимение); *e* < из указательного местоимения **e*; *i* < **ei* (локатив от указательного местоимения *e*); *a* < *ēd/ōd* (Abl. Sing. от и.-е. **e/o*) и т. д. Тогда как бы получается, что частицы коммуникативно-модального пласта вторичны, а в более глубокой истории лежит некий язык с разветвленной системой падежей, с богатой морфологией, с развитой анафорикой, т. е. с изменяемыми местоимениями, часть форм которых уже успела застыть,

но без частиц и без союзов. Может ли это быть? Где же тогда частицы реконструируемого языка? Может ли сочетаться их отсутствие с богатой и давней системой местоимений с падежными формами, уже успевшими «застыть» (см. у Т. Гивона [Givón 1977] о логическом пути позднего возникновения анафорики)?

Думается, что дело обстоит здесь гораздо проще и важны здесь не факты языка, но факты лингвистики (ср. приведенное выше высказывание Э. Бенвениста: с. 45). Таким образом, первичность или диффузность фонда частиц легко признается за пределами собственно этимологического каталогизирования.

Игнорирование проблем начала языкового развития статуса языка в его архаичном состоянии оставляет нерешенным целый ряд вопросов и делает многие концепции (выводы?) исследователей разных лингвистических дисциплин по существу несопоставимыми. Правда, характеризующая современное языкознание ситуация пересечения аксиом и гипотез разных областей лингвистики не препятствует мирному сосуществованию взаимоисключающих фактов и гипотез, поскольку языкознание все меньше становится «наукой о языке», но «наукой о языках» и наукой о сущности речевого общения».

При этом трудной остается проблема соотношения реконструируемой системы стихосложения, с одной стороны, и модели фразовой просодии — с другой. Усилиями А. Мейе, Р. Якобсона, М. Веста, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, М. Л. Гаспарова и др. реконструируется тип древнейшего индоевропейского стиха. Это — силлабический стих с двумя размерами: коротким (8 слогов) и длинным (10—12 слогов), оба размера варьировали, но не совпадали. Ни динамические, ни тонические характеристики в стихе не играли роли, упорядоченной была квантитативная структура, особенно в конечной зоне строки [Гамкрелидзе, Иванов 1984; Гаспаров 1989]. Можно констатировать, что проделанный многими исследователями анализ стиха в его эволюции дает много для установления внутренней хронологии форм стиха, но не ставит вопроса о фразовой просодии. При решении его необходимо определить, считаем ли мы стих и просодию фразы древнейшего периода двумя параллельными системами (в связи с чем необходимо реконструировать две структуры) или же мы полагаем возможным вывести одну систему из другой, признав одну из них первичной. В 1979 г. [Николаева 1979] на базе экспериментально-фонетических исследований стиха нами было высказано предположение, что стих сохраняет наиболее архаиче-

ские черты просодии: сильную количественную очерченность начала и конца строки, сглаженность мелодических характеристик, пониженную интенсивность ударных и т. д. Была высказана мысль о том, что стих сохраняет реликтовую основу просодии. Параллельно сходную мысль высказала и И. Лехисте [Lehiste 1983], много работающая в последние годы над соотношением древнего стиха и древней просодии. Она пишет, что суперсегментная система языка кристаллизована в метрической структуре его традиционной поэзии.

Если и считать одну систему выводимой из другой, то первичность фразовой просодии нужно доказать, поскольку в принципе возможна и такая презумпция, что именно стих, создаваясь, упорядочил и структурировал языковую фразовую просодию, до него достаточно диффузную. Наконец, даже единообразность чтения стиховой модели носителями разных языков одной группы (например, славянских) тоже еще не является доказательством древности, поскольку допустимо и единообразие по отношению к жанру и его звуковому воплощению.

Для исторического языкознания фразовая просодия в ее современном интонологическом понимании (т. е. как многомерное пространство различным образом организованных структур, формируемых разными параметрами), строго говоря, вообще не существует. Ее заменяет идея позиций 41 слов (ударных vs. безударных), по своим синтаксическим задаткам занимающих те или иные позиции. Амбивалентность такого подхода хорошо прослеживается на примере так называемого «закона Ваккернагеля», как будто бы не являющегося дискуссионным. Действительно, в ряде своих работ [Wackernagel 1953] Я. Ваккернагель пишет о том, что, во-первых, короткие слова, включая частицы, стягиваются в и.-е. предложении на второе место (*an zweiter oder so gut wie zweiter*) и, во-вторых, что эта позиция безударна. Итак, в этом широко известном законе остается неизвестным, где причина, а где следствие. Безударные ли слова тянутся на второе место или же, напротив, второе место само по себе безударно, а почему сюда именно стягиваются клитики — это уже особая причина. Сам Ваккернагель дает основание для обеих интерпретаций. Так, в частности, он пишет, что древние языки имеют тенденцию «*hinter das erste Wort des Satzes ein betontes zu setzen*» [Ibid.], т. е. безударность приписывает слову. В то же время в указанной работе он говорит о тенденции помещать в индоевропейском глагол предаточного предложения в его конец — *wo das Verbum den Ton trug*, т. е. уже приписывает акцентированность не слову, а позиции. Точ-

но так же как соотношение позиций словарной ударности / безударности Фр. Бадер описывает акцентную структуру индоевропейского предложения [Bader 1987]. Она прямо связывает сегментные элементы, их место и акцент во фразе [Ibid.: 16]. Конечная позиция, согласно Ф. Бадер, — индифферентна по отношению к акценту (а с точки зрения интонолога, наоборот, конечное фразовое понижение, очевидно, было настолько сильным, что подавляло словесный акцент), в начальной — первое слово акцентировано. Все эти теоретические сложности, в свою очередь определяющие и трудности конкретных рассуждений и выводов, связаны с проблемой эволюционного статуса. Возможен, наконец, и принципиально различный подход к реконструкции материальных (знаменательных) и реляционных компонентов языковой структуры. Особенно — как это видно на примерах синтаксических и просодических — сложно восстановление значимости последовательных линейных моделей. Иначе говоря, корневой компонент принципиально отличен от синтаксического. В этом отношении скепсис В. Лайтфута [Lightfoot 1980] в отношении синтаксических построений вполне соотносится с мыслью К. Уоткинса: «Если мы хотим узнать, как говорили индоевропейцы, было бы полезно разобраться в том, о чем они говорили» [Watkins 1976: 314], т. е. проблема эволюционного статуса языка во многом неотделима от статуса его носителей и их умения варьировать синтаксические модели.

Все сказанное выше есть лишь призыв к дискуссии о возможностях и трудностях языковой телеологии. Вполне вероятно — и данных тому множество, — что в языковой истории новое не отменяет старое, а сосуществует с ним. Р. И. Аванесов отмечал в 1953—1954 учебном году в спецкурсе по фонологии, что языковые ярусы похожи на мастерскую столов: одни вполне готовы и ждут заказчика, другие сколачиваются, третьи существуют лишь в виде деталей и т. д. (только спустя десятки лет стали обсуждать идею несинхронности изменений членов одной парадигмы). На звуковом уровне сосуществует и по-сложная система реализации, и по-словная, и по-синтагменная, и по-фразовая. Синкретизм древней семантики часто просвечивает и в значениях как будто дифференцированных слов. Так, мы говорим: *Перед Новым Годом* (т. е. до точки отсчета) и *Нужно смотреть вперед*, т. е. по с л е точки отсчета. А что значит: *Машина остановилась перед грузовиком*, т. е. до или после?

Наконец, тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени, отмеченная выше как эволюционная, является, по нашему мнению, именно тенденцией, осуществляемой в разных

языках неединообразно со сложными компенсаторными корреляциями, пока еще не ясными. На каждом же синхронном срезе может быть представлена все более дробящаяся типологическая пестрота. Исключительно важна относительность эволюционной хронологии: древние языки уже могут эволюционно быть более развитыми, чем не только синхронные им языки, но и языки значительно более поздние. Здесь необходимо сказать об установке переводчиков, которые интуитивно движутся иногда по оси хронологии вперед, пока не найдут должного языкового уровня. В этом отношении близкую к нам позицию занимают «девелопменталисты», связывающие уровень языка с его коммуникативными возможностями. Они утверждают, в частности, что «нужно скептически относиться к идее о том, что все языки равно “полнокровны” (healthy) и хорошо приспособлены для обслуживания коммуникативных нужд их носителей» [Bailey, Harris 1985].

Все ли языковые изменения обслуживают указанную эволюционистскую тенденцию? Несомненно, не все. Многие изменения — результат сложных компенсаторных тенденций, многие подчинены внутрисистемной динамике. И, наконец, возможно и движение к регрессу, языки умирают, распадаются, деградируют. Так, например, для умирания языков отмечаются такие параллельные процессы, как структурное (и стилистическое) упрощение и стремительное возрастание вариативности. Например, для фонологических процессов «умирающих» америндейских языков чипевьян и сарси характерно наличие постоянно возникающих «беспорядочных» инноваций [Eung-Do Cook 1989].

Список литературы

- Белявский и др. 1984 — *Белявский В. М., Гейльман Н. И., Щербакова А. П.* Стиль, темп и сегментные характеристики речи // Экспериментально-фонетический анализ речи. Л., 1984.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Взгляд на развитие лингвистики // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. II. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984.
- Гаспаров 1989 — *Гаспаров М. А.* Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

- Герценберг 1981 — *Герценберг А. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
- Гринберг 1970 — *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Елизаренкова 1982 — *Елизаренкова Т. Я.* Грамматика ведийского языка. М., 1982.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
- Категория... 1989 — Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.
- Майтинская 1982 — *Майтинская К. Е.* Служебные слова в финно-угорских языках. М., 1982.
- Манучарян 1984 — *Манучарян И. К.* К вопросу о выражении принадлежности в русском языке начала XVII в. // Вестник Ереванского университета. Общественные науки. 1984. № 2.
- Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
- Николаева 1984 — *Николаева Т. М.* Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // *Вопр. языкознания*. 1984. № 3.
- Николаева 1986 — *Николаева Т. М.* Средства различения посессивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // *Славянское и балканское языкознание*. М., 1986.
- Николаева 1989 — *Николаева Т. М.* Фонетическая природа греческого и латинского ударения: преемственность, эволюция, скачок? // *Палеобалканистика и античность*. М., 1989.
- Николова 1987 — *Николова А.* Реализация согласных при сандхи (на стыке клитик и знаменательного слова) в русском и болгарском языках // *Proc. of the XI International congress of phonetic sciences*. V. 2. Tallinn, 1987.
- Пауфощима 1985 — *Пауфощима Р. Ф.* Следы музыкального ударения в современном вологодском говоре // *Диалектография русского языка*. М., 1985.
- Пауфощима 1989 — *Пауфощима Р. Ф.* Об использовании регистровых различий в русской фразовой интонации (на материале русского литературного языка и севернорусских говоров) // *Славянское и балканское языкознание*. М., 1989.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Соловьев 1988 — *Соловьев Вл.* Философские начала цельного знания // *Соловьев Вл.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1988.

- Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Стоева 1987 — *Стоева Т.* Явление сандхи и ритмическая организация синтагмы в русском и болгарском языках // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
- Сэпир 1934 — *Сэпир Э.* Язык. М.; Л., 1934.
- Тронский 1962 — *Тронский И. М.* Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
- Bader 1987 — *Bader Fr.* Structure de l'énoncé indo-européen // Papers from the 7-th International conference on historical linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Bailey, Harris 1985 — *Bailey Ch.-J., Harris R.* Editorial foreword — on developmentalism // Developmental mechanisms of language. Oxford, 1985. P. XI.
- Bauerová 1958 — *Bauerová M.* Staroslověnské spojky *bo, *nebo, neboň a ibo // Studie ze slovanské jazykovědy. Praha, 1958.
- Bichakjian 1987 — *Bichakjian B.* The evolution of word order: a paedomorphic explanation // Papers from the 7-th International conference on historical linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Dermody et al. 1987 — *Dermody Ph., Mackie K., Katsch R.* Initial speech sound processing in spoken word recognition // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 4. Tallinn, 1987.
- Di Cristo 1985 — *Di Cristo A.* De la microprosodie a l'intonosyntaxe. T. I. Aix-en-Provence, 1985.
- Dutch studies... 1987 — Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.
- Dybo 1987 — *Dybo V.* On the origin of morphonemicized accent systems // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. Tallinn, 1987.
- Eung-Do Cook 1989 — *Eung-Do Cook.* Is phonology going haywire in dying languages? Phonological variations in Chipewyan and Sarcee // Language and society. 1989. V. 18. № 2.
- Explanation... 1981 — Explanation in linguistics / Ed. by N. Hornstein, D. Lightfoot. L.; N. Y., 1981.
- Fant et al. 1987 — *Fant G., Nord L., Kruckenberg A.* Segmental and prosodic variabilities in connected speech. An applied data-bank study // Proc. of the XIth International congress of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
- Fischer-Jørgensen 1987. — *Fischer-Jørgensen F.* Segment duration in Danish words: dependency on higher-level phonological units // In honor of I. Lehiste. Dordrecht, 1987.
- Fletcher 1987 — *Fletcher J.* Some micro-effects of tempo change on timing in French // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 3. Tallinn, 1987.

- Givón 1977 — *Givón T.* The drift from VSO to SVO in Biblical Hebrew // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977.
- Givón 1979 — *Givón T.* On understanding grammar. New York; San Francisco; London, 1979.
- Greenberg 1978 — *Greenberg J. H.* Diachrony, synchrony and language universals // Universals of human language. V. I. Stanford, 1978.
- Hammarström 1986 — *Hammarström G.* Explanation in linguistics // Sprachenerwerb und Mehrsprachigkeit. Tübingen, 1986.
- Hombert et al. 1979 — *Hombert J.-M., Ohala J. J., Ewan W. G.* Phonetic explanation for the development of tones // Language. 1979. V. 55. № 1.
- Hombert, Ohala 1982 — *Hombert J.-M., Ohala J. J.* Historical development of tone patterns // Amsterdam; studies in the theory and history of linguistic science, 1982. V. IV.
- Jakobson 1962 — *Jakobson R.* К характеристике Евразийского языкового союза // *Jakobson R.* Selected writings. V. I: Phonological studies. 's-Gravenhage, 1962.
- Lass 1987 — *Lass R.* On explaining language change. Cambridge, 1987.
- Lehiste 1983 — *Lehiste I.* The Estonian translation of the elder Edda: problems of metric equivalence // IBS. 1983. V. XIX. № 3. P. 179.
- Lightfoot 1980 — *Lightfoot D.* On reconstruction of a protosyntax // Linguistic reconstruction and Indo-European syntax. Amsterdam, 1980.
- Markey 1979 — *Markey T. L.* Deixis and the U-Perfect // JIES. 1979. V. 7. № 1—2.
- Nikolayeva 1987 — *Nikolayeva T.* The typology of sentence intonation systems // Proc. of XI-th International congress, of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
- Ohala 1984 — *Ohala J. J.* Phonetic universals in phonological system and their explanation // Symposium 5. Phonetic explanations in phonology. Proc. of 10-th International congress of phonetic sciences. Dordrecht, 1984.
- Pompino-Marschall et al. 1987 — *Pompino-Marschall B., Grosser W., Hubmaier R., Wieden W.* Is German stress-timed? A study of vowel compression // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 2. Tallinn, 1987.
- Pulgramm 1975 — *Pulgramm E.* Latin-Romance phonology: prosodies and metrics. Munchen, 1975.
- Robinson 1987 — *Robinson D. F.* Vowel lengthening and métatonie rule in Lithuanian // In honor of Ilse Lehiste. Dordrecht; Providence, 1987.
- Shapiro 1987 — *Shapiro M.* Sapir's concept of drift in semiotic perspective // Semiotica. 1987. V. 67. № 3—4.
- Studies... 1986 — Studies in compensatory lengthening. Dordrecht, 1986.
- Vygonnaya 1987 — *Vygonnaya L.* The variation in the word phonetic structure caused by speech tempo variation // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 3. Tallinn, 1987.

- Wackemagel 1953 — *Wackemagel J.* Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // *Wackemagel J.* Kleine Schriften. Bd I. Göttingen, 1953. S. 1867.
- Wackemagel 1979 — *Wackemagel J.* Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung // *Wackemagel J.* Kleine Schriften. Bd. III. Göttingen, 1979.
- Watkins 1976 — *Watkins C.* Proto-Indo-European syntax: problems and pseudoproblems // *Papers from the parasession on diachronic syntax.* Chicago, 1976.

ФУНКЦИИ РУССКОГО «Я» В ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. Насколько можно судить по литературе, вопрос об употреблении/неупотреблении в речи русского местоимения первого лица имел, по сути, два решения.

Согласно первому из них, употребление *я* в русском языке является нормой. Таковы, например, выводы скандинавской исследовательницы Б. Нильссон, описавшей функции эксплицитного местоимения в польских и русских высказываниях [Nilsson 1982]. Автор считает, что эксплицитный местоименный субъект — это «нормальная ситуация» русского языка, тогда как для польского «нормален» нулевой субъект, поскольку польский глагол «обеспечивает необходимую информацию для идентификации субъекта» [ibid.: 34—37]. Таким образом, современные языки Европы как будто можно разделить на языки с обязательно выраженным местоимением первого лица и языки, где эта обязательность не предполагается. Таковы, в отличие от русского, языки типа польского, испанского, итальянского, где местоимение, как правило, опускают (или не вводят) в нейтральной речи. См. польские примеры: *śluham; jestem dzien-nikarzem; nie pamiętam, gdzie ona mieszka*. Однако (и на это обратим внимание для нужд дальнейшего изложения!) при противопоставлении и подчеркивании местоимение возникает также и в польском: *A ja od wczoraj mam urlop; ja również jestem dzennikarzem*. (См. это же положение и для испанского: «Личное местоимение в функции подлежащего обычно опускается, если нет противопоставления» [Васильева-Шведе 1948: 530].) Аналогичную ситуацию отмечает для польского и Б. Нильссон: эксплицитные местоимения характеризуют конструкции противопоставительные (*adversative constructions*), даже и при отсутствии соответствующих союзов [Nilsson 1982: 54].

К языкам с обязательным местоимением «слева» принадлежат английский, французский и др.

Но все же русский язык в этом отношении представляет для исследователя некоторую загадку, поскольку всякий русский может сказать:

— Я решил поехать в Конго! — Почему? — Люблю Африку!

и

— Я решил поехать в Конго. — Почему? — Я люблю Африку.

Тогда можно было бы говорить о втором решении: это различие стилистическое, оттенки смысла почти неуловимы, здесь имеется ситуация «свободного выбора».

Выше читателю предлагалась концепция Ж. Брейяра и И. Фужерон о мотивах употребления / неупотребления *я* в русском тексте¹. К этой концепции мы полностью присоединяемся. Исследования Ж. Брейяра и И. Фужерон показали, что существует определенная иерархия предпочтений ситуаций «с местоимением и без». Это соответствовало общей концептуальной установке, проходящей через данную монографию, а именно — там, где предполагают «свободный выбор», существуют на самом деле скрытые категории.

1) так, *я* всегда ставится в предложениях с противопоставлением, вводимым через *а*, так что практически как бы возникает слитный комплекс *ая*, который орфография, правда, не допускает. См. *Говорите с моим отцом сами, а я не стану* (А. П. Чехов). Ср. **Говорите с моим отцом сами, а не стану*. Такой комплекс может быть и дистантным. Например, *Прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь* (Домбровский). Здесь дистантное противопоставление представлено в одном высказывании. Оно может быть и в двух простых: *Ведро твое в кухне стоит — я в нем не мою. А Панька моет* (И. Грекова). Говоря шире, *я* употребляется при наличии противопоставления, хотя бы выраженного и не через *а*, вообще — любого эксплицитного противопоставления. Противопоставление может быть достаточно развернутым: *...Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура* (А. П. Чехов).

¹ В статье «“Скрытая память” языка...» некоторые положения уже излагались, ниже они будут представлены в более полном виде.

2) Я употребляется при наличии внутри высказывания других местоимений². *Но я хотела, чтобы он, отбывая наказание, знал, что я его жду, что он мне нужен* (А. Маринина).

3) Наличие я может быть вызвано переменной топика. Так, Треплев в «Чайке» после развернутого монолога о кризисе искусства и одновременной критики матери-актрисы говорит: *Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно* (Смотрит на часы). *Я люблю мать, сильно люблю, но она ведет бесполовую жизнь...* (А. П. Чехов). Здесь введение я демонстрирует несогласие с возможным выводом дяди (Сорина) о том, что Треплев просто не любит мать.

4) Напротив, существуют коммуникативные штампы, в основном публично-этикетного характера, когда я как раз не употребляется. Например: *Объявляю заседание открытым; Прошу разойтись; Стреляю; Считаю выборы не состоявшимися* и под. В этих случаях подобные реплики обычно принадлежат Начальнику (Председателю) или другому «облеченному» лицу. *Слушаю вас, — важно заметил мэтр неожиданно высоким тенорком* (А. Маринина).

Последний пример подводит нас к интерпретации случаев, когда выбор возможен. Анализ русских высказываний с я и без я, рассмотренных в их связи с предыдущим контекстом, как явным, так и имплицитным (см. работу И. Фужерон и Ж. Брейяра), показал, что содержательной категорией, определяющей употребление личного местоимения, является **согласие / несогласие с горизонтом ожидания Другого**. Этим Другим в принципе может быть и сам коммуникант. *Люблю хороший чай!* — восклицает человек, приступая к чаепитию. Это он говорил уже (возможно, и самому себе). *Я люблю хороший чай* может сказать он же, объясняя гостю, почему чай заваривается долго³. В самых простых диалогах на вопрос *Ну, ты идешь?*

² Интересно, что для старославянских текстов В. С. Ефимова подобных случаев не отмечает [Ефимова 2002], тогда как употребление местоимения при а и/или противопоставлении в них практически обязательно. Это значит, что в диапазоне употребления я есть устоявшиеся семантические универсалии, требующие обязательного воплощения, и грамматикализованные — возможно, в каждом языке индивидуально — поверхностно-синтаксические комбинации.

³ Метатеоретическим подкреплением этого положения считать интересные в теоретическом плане данные Й. Хельмбрехта [Helmbrecht 1998] о принципиальной противопоставленности 1-го лица остальным лицам. Эту изначальную противопоставленность он прослеживает на материале самых различных «эзотических» языков современности. Важно и то, что он подчеркивает «идиореф-

возможен ответ *Иду-иду*, т. е. *конечно, иду. Я иду* (возможно, с некоторой раздраженной интонацией *ты думаешь, что я копаюсь, а я иду*).

Ориентация на горизонт ожидания собеседника связана не только с подтверждением / неподтверждением его мнения (ожидания), но и, естественно, с введением в коммуникацию принципиально **нового** по информации сообщения⁴. Поэтому абсолютно инициальное сообщение — начало романа или повести, например, часто начинается с Я-конструкции.

2. В связи с этимологией и индоевропейской перспективой сочинительных союзов *а*, *и*, *но* говорилось о партикулах как основных минимальных единицах, из которых — на определенном этапе — порождались все лексемы славянского (и индоевропейского) коммуникативного фонда.

Союзы описывались как примарные единицы, неразложимые далее и имеющие зоны самостоятельного функционирования в языке.

Какое же к этому отношение может иметь русское односложное *я*, представляющееся неразложимым местоимением первого лица единственного числа? Обратимся прежде всего к Этимологическим словарям.

Наиболее подробно различные взгляды на этимологию и языковые связи славянского местоимения первого лица приводятся в «Этимологическом словаре славянских языков. Грамматические показатели и местоимения» (в дальнейшем — *Etim. slov.*), в статье *AZЪ* [*Etim. slov.* 1980: 73—78]. Прежде всего, в этой статье сообщается об особом положении первого лица местоимений практически в большинстве языков — эта форма отличается супплетивностью (это не только языки индоевропейские, но и лакский, монгольский, утрофинские и др).

лексию» говорящего: «Только говорящий сам знает все о себе и может не сомневаться в своих ощущениях и реакциях» [*Ibid.*: 295]. Диахронические данные — в частности, как показывает Й. Хельмбрехт, то, что категории рода связываются с 1-м лицом не первоначально, ибо говорящий знает, какого он пола, — снимают частые возражения лингвистов «парадигматической ориентации» о том, что все три лица описать в их дискурсивной установке как единую модель невозможно.

⁴ Именно поэтому существенно наблюдение В. С. Ефимовой [Ефимова 2002: 3—7] о том, что в евангельских текстах с *я* начинаются реплики Христа, несущего **новую** весть; так же с *азъ* вводятся реплики самоидентификации, столь характерные для евангельских текстов.

Ближайшие параллели для славянской формы — лит. *aš*, ст.-прусск. *as*, более далекие — греч. *ἐγώ*, лат. *egō*, готск. *ik*, арм. *es*, авест. *azəm*, др.-инд. *aḥam*.

Для каждой из сегментных составляющих слова *азъ* приводятся точки зрения исследователей, кстати, как правило, противоречащие друг другу. Так, древнейшей считается у одних лингвистов форма **jazъ*, у которой в дальнейшем инициальное *j* отпало и появилась форма *азъ*. Доказательством этого считается сохранение именно такой формы в большинстве славянских языков. Этой концепции придерживались: Фортунатов, Вондрак, Кнутссон, Бернекер, Преображенский, Брюкнер, Славский, Фасмер, Махек.

Существует и другая точка зрения (ее приверженцы не названы), по которой древнейшей формой была *азъ*, а *j* выполнял позднейшую функцию протезы.

Утрату конечного *-zъ* некоторые приписывают влиянию формы второго лица — *ty*, не имеющей по реконструкции консонантного исхода (Бернекер, Шмидт, Вакернагель-Дебруннер).

Сложной проблемой для этимологов оказалась реконструктивная интерпретация начального *a*. Одно из объяснений; *jazъ* < *jezъ* < *ezъ* < **egh-* (Шляков, Соболевский, Ягич, Фортунатов, Вондрак). Есть и концепция, по которой *ja* < **eg-* (в Мариинском Евангелии есть и форма *εζъ*). Предполагалось, что *i* + *азъ* могло дать *jaz*. Инициальное *e* соотнесено рядом лингвистов и с реконструкцией не только славянских данных: хеттск. *ug/uk* < **ogh-*.

Конечное *ъ* в славянском и *-m* (*-om*) в языках родства объяснялось через добавленность *-om* как частицы (значение которой нельзя определить).

Более общую схему предложил Эрхарт [Etim. slov.: 77], возводя эту форму к двум исходным: *H'A* — *GA/HA* — *GA*.

О двукомпонентности реконструируемой формы писали, кроме Эрхарта, судя по статье в Etim. slov., и другие лингвисты (Торп, Бругманн, Тромбетти, Шпехт). Так, в инициальном вокалическом компоненте видели дейктическо-прономинальный элемент (элемент того же качества находят перед *m-n-* формой местоимения первого лица и в угрофинских языках). Вторая часть слова интерпретируется так же, как дейктическая частица, близкая, например, др.-инд. *gha/ha*, греч. *υε* (такой *g-*ый элемент также находит соответствие в угрофинских формах местоимения).

Хотя общепризнанной для употребления этой полной формы является семантика противопоставленности, возможность возник-

новения инициального *a* (или, напротив, введения йотированной протезы) из-за контактности с противопоставительным союзом *a*, в Etim. slov. категорически отрицается.

Несколько иная интерпретация славянского местоимения первого лица представлена в «Этимологическом словаре славянских языков» (в дальнейшем — ЭССЯ). В ЭССЯ прежде всего говорится о факте «несомненно эмфатического употребления и.-е. **egom*» (то есть *я*. — Т. Н.) [ЭССЯ 1974, 1: 101], что не позволяет никак (такие идеи были) приписывать ему древнее влияние со стороны личных форм глагола. Как показывает этимологический анализ, согласно ЭССЯ [Там же: 100—103] *Я* [ja] соотносится с аналогичной формой (идентичной?) во всех славянских языках: ст.-слав. азъ, болг. аз, мак. јас, чеш. ja и т. д. Оно связано и с др.-инд. *aham*, авест. *azəm*, арм. es, лат. *ego*, греч. ἐγώ, лит. *aš* и т. д. Односложную форму русского *ja* Р. Якобсон (цит. по этой статье) объяснял как моносиллабический вариант двусложного *jazъ*.

Судя по статье в ЭССЯ, актуальными проблемами для интерпретации этой формы являются: сведение воедино функционально инициального *e* и *a*, реконструкция консонанта: *eg* или *eg(h)*, а также возникновение начального *j* (или его исчезновение; см. об этом выше в связи со статьей в Etim. slov.). Последний пункт тоже очень интересен. В указанной статье в ЭССЯ О. Н. Трубачев полагает, в отличие от позиции в Etim. slov., что *j* как вставка возникло именно, чтобы избежать зияния, так как очень частой в речи была конструкция с *a* (см. современные русские примеры) и тогда было бы $a + a > aa$.

Однако возможно предположить, что **j*- восходит здесь к релятивному форманту, соединяющему части высказывания⁵. Важное дополнение по этому поводу находим в статье К. Г. Красухина [Красухин 2001]. См. у него: «Частица *o/jo*, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, функционально подобная **de*, т. е. выражающая противопоставление предшествующей конструкции (выделено мною. — Т. Н.) и направленность на последнее сообщение» [Там же: 129].

В целом же О. Н. Трубачев склоняется к идее метатезы: **jъza* < **azъ*, объясняющей происхождение этой формы.

⁵ Так, еще Я. Гонда говорил о том, что относительное местоимение **jo* имело и чисто разделительный характер [Gonda 1954—1955: 1].

Но более существенно для нашей работы его утверждение о том, что *я* возникло как свернутое во времени выражение-оборот: **egom* < **e + go + me* 'вот я' (*'It is me'*). Итак, *я* (как уже писалось в первой статье) в первоначальном употреблении — это «вынесенный вперед катафорический местоименный комплекс + он + я». Интересно, что подобное выражение, сходное по семантической структуре, но не идентичное лексически, а именно: *вот н(а) я; я вот он(а)* и сейчас используется русскими как реплика-ответ на вопрос *А где X?*

О. Семереньи [Семереньи 1980: 231], рассматривая корреляцию начального **egō/eg(h)om/*-em-/*-m*, пришел к выводу, что личным окончанием глагола было именно *-m*, а не *-eg(h)*, так как *-m* было более ранним. Он пишет: «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не **eg(h)*, а *-om*; **eg(h)* — это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению **em*» [Там же]. Действительно, многие категориальные формы, связанные с 1-м лицом, имеют в составе прежде всего *-m*, например *м-ой*.

Совершенно новая гипотеза была выдвинута В. Н. Топоровым ([Топоров 1992] и более поздние его работы). Обращаясь к этой форме, реконструируемой им как **eg'hom*, он пишет: «и.-е. *eg'hom*, как бы его ни членить <...>, состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере» [Там же: 131]. Соглашаясь с тем, что первым элементом является дейктический элемент (**e-*, **H'e-*, **H'eī-*, **H'i* и т. п.), а вторым — усилительная частица (**-g'h-*, **-gh-*), он основное внимание уделяет последнему элементу с *-m*, развивая далее идею совместного существования в синтагматике этой указанной формы и формы **men-*, которое выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей местоимения 1-го лица. Это **men* в свою очередь соотносится В. Н. Топоровым с корнем «общементального» значения, «тонкой духовной субстанции». Тем самым, по концепции В. Н. Топорова, сначала, в виде интродукции, вводится 'вот моя здешность', то есть *вот я*, а затем это *я* поясняется через **men-*, то есть *я* атрибутируется. Таким образом, здесь вводятся две важных идеи: 1) первичная форма 'я' представлена комбинацией **eg'h + men*; **men* в именительном падеже было идентично (или не различалось) с формой родительного падежа, как часто было в индоевропейском имени; 2) именно **men-* и образовывало базу местоимения 1-го лица.

Очень интересно, что с выводами В. Н. Топорова можно соотнести недавние наблюдения Г. А. Золотовой о том, что в русском *Мне хочется* (которое рассматривается ею в противопоставлении

с *Хочется*) мне является полноценным субъектом высказывания, но выражающим не активное действие, а «инволютивную маркированность» [Золотова 2000]. Утверждения Г. А. Золотовой в свою очередь интересно сравнить со специальной работой, где прослеживается социолингвистическая история двух конструкций *I think* и *Methinks* [Palander-Colin 1998] в среднеанглийском и на раннем этапе современного английского. Автор приходит к выводу, что *I think* как более категорическое высказывание свойственно «элитарным» слоям населения, а более колеблющееся по решительности *Methinks* употребляли в основном купцы и более низкие слои. То есть эти выводы полностью совпадают с положениями Г. А. Золотовой о волютивной и инволютивной маркированности.

То, что «на самом деле» 1-му лицу и.-е. парадигмы соответствует именно *m*-форма, вытекает из довольно сложного построения, предлагаемого Б. Бичакжаном в связи с общей идеей возможных внутренних языковых конфликтов в рамках общей эволюционной линии [Bichakjian 2002: 191]. А именно:

You and I will go with John;
John will go with you and me.

Форма *I* обычно сочетается с последующим глаголом: *I work; I will go* etc. Но *You and I* — это целое сочетание. Оно тогда приравнивается дистрибуционно к *you and me*. И получается: *and me = with me*. Отсюда возникает исправляемое педагогами: *You and me will go with John*. Важно здесь, что Б. Бичакжан рассматривает *I*, скорее, как поздний заместитель подлинно первого лица, ориентированного на *m*-форму.

Однако и до сих пор общепринятым является положение о «супплативности» склонения местоимения 1-го лица, когда эта форма **men/man* считается принадлежащей только генитиву. См. у Д. И. Эдельман: «Такие (посессивные. — Т. Н.) конструкции строились по модели оборотов, зафиксированных в древнеперсидском: **ima...mana // mai kartam (asti)* ‘это сделанное у меня есть’». Здесь, по мнению автора, логический субъект выражен генитивом местоимения 1-го лица — *mana* [Эдельман 2001].

Но для нас существенно наличествующее практически во всех последних указанных работах утверждение о «композиционном устройстве» нашего *я*, которое — первоначально — подчеркивало активное объявление «сиюминутности» и актуальности делаемого заявления. С этим сопоставляется и анализируемая К. Шилдсом [Shields

1998]. первоначальная структура другой и.-е. формы «я», восходящей к хеттскому *UK* и затем продолженной в германских языках, многое в местоименных формах которых К. Шилдс считает реликтовыми. Форму *UK* К. Шилдс объясняет как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса (дейктической частицы) **и* с дейктической частицей **k(e/o)*, «обладающей значением 'here and now'» [Shields 1998: 46]. То есть это тоже такая же первоначально композитная форма, с тем же самым значением, что и форма *я*.

Тем самым я хочу подчеркнуть идею, что высказывание с *я* при глаголе как бы «помнит» первоначальную давнюю функцию *я* быть интродуктивным компонентом, вводящим новое, не присоединяющееся к предыдущему и — благодаря этому — часто ему противопоставленное высказывание, что в настоящее время для слова «я» никак не фиксируется и нигде об этом в нормативных грамматиках не сообщается.

Итак, древняя история местоимения *я* как свернутого комплекса партикул интродуктивной для высказывания актуализирующей семантики объясняет или подтверждает ситуацию псевдосвободы выбора этих форм в современном русском языке. То есть (напоминаем) именно таково «подтверждающее» значение фраз *Люблю грозу в начале мая (Да, я люблю...)* или *Люблю тебя, Петра творенье*. Напротив, начинающий с местоимения *С. Есенин* предполагает, что кто-то может не любить Москву, его город, и сам понимает, почему: *хоть обрызг он и одрях*, но настаивает: *Я люблю этот город вязевый*.

Люблю хороший чай! — восклицает человек, приступая к чаепитию. Это он говорил уже не раз (возможно, и самому себе). *Я люблю хороший чай* может сказать он же, объясняя гостю, почему чай заваривается так долго.

Таким образом, русский язык сохраняет восходящее к индоевропейской древности противопоставление высказываний с интродуктивным партикулярным комплексом, не присоединяющимся к предыдущему (то есть — со значением нового, актуального, противопоставленного), и высказываний, следующих за предыдущим контекстом, синсемантических текстурально.

Список литературы

Васильева-Шведе 1948 — *Васильева-Шведе О. К.* Курс испанского языка. М., 1948.

- Ефимова 2002 — *Ефимова В. С.* **нъ** и другие союзы в старославянском // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Золотова 2000 — *Золотова Г. А.* Понятие личности / безличности и его интерпретации // *Russian linguistics*. V. 24. 2000.
- Красухин 2001 — *Красухин К. Г.* Некоторые особенности микенского синтаксиса // *Язык и культура. Факты и ценности: Сб. ст. к 70-летию Ю. С. Степанова*. М., 2001.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Топоров 1992 — *Топоров В. Н.* Из индоевропейской этимологии IV (1). И.е. *eg'h-om (*He-g'h-om): *men. 1. Sg. Prop. pers. // *Этимология*. 1998—1990. М., 1992.
- Эдельман 2001 — *Эдельман Д. И.* К реконструкции праиранского предложения // *Язык и культура. Факты и ценности: Сб. ст. к 70-летию Ю. С. Степанова*. М., 2001.
- ЭССЯ — *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева*. М., 1974. Вып. 1.
- Bichakjian 2002 — *Bichakjian B. H.* Language in a Darwinian perspective. Frankfurt am Main; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2002.
- Etim. slov. 1980 — *Etimologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena*. Praha, 1973—1980. Sv. 1—2.
- Gonda 1954—1955 — *Gonda J.* The original character of the Indo-European relative pronoun *jo-* // *Lingua*. Vol. 4/1. 1954—1955.
- Helmbrecht 1999 — *Helmbrecht J.* The typology of 1-st person marking and its cognitive background // *Cultural, Psychological and Typological issues in Cognitive linguistics*. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
- Nilsson 1982 — *Nilsson B.* Personal pronouns in Russian and Polish: A study of their communicative function and placement in the sentence. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic studies. Stockholm, 1982.
- Palander-Colin 1998 — *Palander-Colin M.* Grammaticalization of I THINK and METHINKS in Late Middle and Early Modern English // *Neophilologische Mitteilungen*. XCIX/4. 1998.
- Shields 1998 — *Shields K. Jr.* Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system // *Historische Sprachforschung (Historical linguistics)*. Bd. III. 1998. Hft. 1.

РУССКИЙ И ХЕТТСКИЙ — ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Вячеславу Всеволодовичу Иванову —
к 80-летию*

Задача у настоящей статьи простая. И в то же время почти безумная: проверить многолетние наблюдения Вячеслава Всеволодовича Иванова об инициальных структурах высказываний древнейших языков на данных разговорного русского сегодняшнего дня.

Меня интересуют два вида партикулярных кластеров: а) кластеры начала, инициальные; б) кластеры внутри высказывания.

Что такое партикулы? Об этом я писала многократно и им как отдельному языковому пласту посвящена моя книга «Непарадигматическая лингвистика» [Николаева 2008]. Повторю кратко: партикулы — это минимальные единицы коммуникативного фонда, из которых слагаются демонстративы, наречия, союзы, некоторые из них становятся частицами, артиклями, детерминативами. Но ни с одним привычным таксономическим классом они не совпадают, а только пересекаются.

Эти элементы интересуют Вячеслава Всеволодовича Иванова давно.

Так, связи микенского синтаксиса и славянского (через ряд переходных этапов) посвящена много раз цитируемая работа Вяч. Вс. Иванова 1979 г. [Иванов 1979]. Обращаясь в основном к микенским данным, Иванов считает сам принцип нанизывания энклитических элементов на начальное опорное слово (речь идет в основном о местоименных элементах) общим индоевропейским принципом. Очень важно его положение о том, что «Сам по себе вводящий элемент при этом может не иметь точно фиксированного значения, поэтому он может характеризоваться тем пучком разных функций (от междометной и дейктической до союзной), которые устанавливаются и для начальных элементов славянского предложения» [Иванов 1979: 42]. Так, он, в свете этих идей, сопо-

ставляет славянское **to-*, ср. русск. *то-же* и хетск. *ta*. Такой элемент он называет катализатором. Особое внимание в этой его работе уделено катализатору **e* (ср. русское *э-то, э-во* и т. д.). Этот катализатор Вяч. Вс. Иванов отождествляет этимологически с аналогичной частицей **e/o*, вводящей предложение в анатолийских языках; возможно, именно он является «аугментом» при греческом аористе и имперфекте.

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов ([Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356] и далее) выделяют «реляционные элементы», являющиеся послелогом по отношению к именной составляющей и превербами по отношению к глагольной составляющей, и собственно частицы. Первая группа в этом случае составляет правую часть (компоненту) простого предложения. Частицы же, уже обладающие заданными функциями, составляют левую компоненту. Среди них выделяются частицы инициальные: **ni // *no*, **t[h]o*, **so*, **e/o*. Функциональными эквивалентами, находящимися в дополнительном распределении с **no // ni*, то есть также занимающими инициальную позицию, являются частицы **t[h]o* и **so // si*. Инициальной, вводящей, была также и частица **e/*o* (в лувийском выступающая как **a*). Второе позиционное место (то есть середину левой части) занимают местоименные элементы субъектно-объектного характера. Так, для 3-го лица единственного числа именительный падеж представлен через **-os*, именительный — винительный среднего рода через **-ot[h]*, дательный падеж через **-se // *si*, винительный — через **-om*. Наконец, крайнюю правую позицию левой компоненты занимают частицы, имеющие видовое или локальное значение.

Особое внимание в фундаментальном труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359] уделяется элементу **no*. *No* сопоставляется с древнеирл. **no*, литовским *ni-*, общеславянским **nъ*, старославянским *нѣ*. Существенно то, что он (и его функциональная семантика) входят в современные начинательные (для высказывания в целом) сентенциальные наречия. Он, таким образом, близок и русскому *ныне*, и английскому *now*. Из «частиц», в первоначальной своей функции подчеркивающих и выделяющих одно какое-то полнозначное слово, возникал синтаксически полноценный тип присоединения высказываний в одно целое. Таковы, например, греческие частицы и сходные с ними по функции [Мейе:1938: 375]. Ср.: сходное по функции русское *же*: *Я уговаривал его попросить прощения. Он же никак не соглашался.*

Итак, *но* возводится без особых разногласий к **ни-*, коннектору-актуализатору, передающее нечто актуальное и существенное сию минуту (то есть это семантика: 'вот-здесь-сейчас').

Это связано в свою очередь с реконструируемыми двумя формулами соединения предложения в древних индоевропейских языках. Обе они выводятся из первоначального бессоюзия, а соединяющие частицеобразные дискурсивные элементы впоследствии грамматикализуются.

1) Согласно первой модели, в абсолютном начале высказывания располагается комплекс клитик, отражающий дальнейшее развитие синтаксической цепочки из полнозначных слов. Комплекс этот как бы «навешивается» на первую, абсолютно инициальную, единицу: **ни / *но; *t[h]o; *so; e/o* [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359]

Ни- являлось в этом смысле начинательным элементом. Приведем пример хеттского текста из книги [Там же: 356]¹:

ni-uš -ša-an A.N.A. Ma-ad-du-ua-at-ta še-er za-ah-hi-ir («И они сражались за Мадуватту»); *ni-uš-ma-aš-kán LU IGI.NU.GÁL. LU.Ú.HUB pi-ra-an ar-ha[pe]-hu-da-an-zi* («И они ведут слепого и глухого перед собой»).

2) Вторая модель соединения предложений в индоевропейских языках оформлялась из начального, так же бессоюзного, примыкания. Авторы делают вывод: «Таким образом, левая компонента индоевропейского простого предложения состоит из последовательности ячеек, заполняемых соответствующими частицами в строго определенном порядке. Крайне левая ячейка представлена вводящими частицами, крайне правая — частицами с видовой и локально-эмфатической семантикой. Между ними располагаются элементы, передающие субъектно-объектные отношения, в нормальной последовательности: субъектная частица {s}, косвенно-объектная частица {ó}, объектная аккузативная частица {o}» [Там же: 361—362].

В этом очень ясном описании остается все же неопределенным вопрос о том, можно ли считать партикулами все элементы, в дальнейшем начинающие выполнять роль превербов или предлогов?

Более определенная позиция относительно членения индоевропейского предложения выражена Вяч. Вс. Ивановым в его книге 2004 г.: «Более вероятным для хеттского и индоевропейского праязыка была бы модель, предполагающая функционирование начального

¹ Существенно, что это хеттское *ни-* переводится ими всюду как 'и'.

комплекса энклитик как отдельной части предложения наряду с глаголом» [Иванов 2004: 48]. См. далее: «Наибольший интерес представляет разнообразие семантики частиц, входящих в такие комплексы в анатолийском. В них выражено все существенное, как бы сокращенный сгусток грамматической информации о предложении, выносимый в его начало как резюме статьи <...>. В полисинтетических языках соответствующие по смыслу морфы инкорпорируются в глагольную форму <...>. В языках второго типа можно принять двучленную схему предложения, включив множество обозначений субъектно-объектных отношений в глагольную фразу. В языках типа анатолийских это невозможно и предложение не менее чем трехчленно. Те группы частиц, с которых начинается в них предложение, включают и первое слово, которое вводит предложение и может быть проклитическим» [Иванов 2004: 48].

Современная наука определила не замечавшееся ранее совпадение ряда партикул у глагола и имени. Вяч. Вс. Иванов назвал их «субморфами» [Там же: 30]. См.: «Выделение субморфов может оказаться полезным для установления связей между морфами, позднее разошедшимися, но восходящими к одному источнику. В то же время нелегко избежать опасности ошибочного объединения морфов, исторически друг с другом не связанных» [Там же: 31].

Но я обращаюсь к современному русскому языку. Мною использован Национальный корпус русского языка, составленный при ИРЯ РАН, и весь дальнейший материал, на который я опираюсь, взят именно оттуда.

Но сначала несколько слов об особенностях русского языка. Русская кодификация предпочитает графическую дистантность партикул. Поэтому в Этимологических словарях будут представлены как отдельное слово *atoli, ajakže*, но русские комбинации *a + то + ли* (*А то ли еще будем!*), *a + как + же* (*А как же моя книга?*) будут рассматриваться только как словосочетания. Для меня же словосочетание вроде *Это вот как надо делать* предстает как *э + то + (в)о/е + ть + ка + къ надо делать*. Точно также *Кто это?* предстает как *къ + то + э + то*.

Графическому оформлению способствует и такой фактор, как грамматикализация партикулярных сочетаний: одни из них, соединяясь, становятся местоимениями: *нѣ + къ + то*, другие — союзами: *не + у + же + ли*, третьи — местоименными наречиями: *та + мѣ*. Наконец, некоторые грамматикализировались в изолированном виде и стали союзами, частицами, артиклоидами и под.

Что же именно определялось по данным Национального корпуса русского языка?

Определялись два фактора:

- В каких случаях в высказывании в неинициальной и нефинальной позиции появлялся кластер (скопление) партикульных элементов?
- Существуют ли в современном русском разговорном языке тенденции к оформлению начала высказывания партикулярными кластерами и с какими именно партикулами это связано?

Из данных Национального корпуса русского языка ИРЯ РАН были выбраны данные живой публичной речи (беседы на ТВ, лекции, дискуссии и под.) и данные живой непубличной речи (разговоры на улице, разговоры дома, споры подруг и т. д.).

Всего в нашем распоряжении оказалось 1276 контекстов (развернутых синтаксических целых).

Таким образом каждая партикула исследовалась на фоне как публичной, так и непубличной речи.

Какие же именно партикулы были мною отобраны? Специально подбирались два типа партикул:

1. Те, которые могут выступать в абсолютном начале высказывания: А, И, ВО + ТЪ, НУ, НО, ДА, ЧЕ-ГО, ЧЬ-ТО;
2. Те, которые как правило инициальными не являются: ЖЕ, ЛИ, ТО, НЕ (последняя партикула двуфункциональна).

Результаты исследования излагаются по следующей иерархизованной схеме.

- Партикулы как правило **грамматикализованные** настолько, что могут употребляться изолированно и иметь свое функциональное место в грамматике.
- Партикулы, вошедшие в **фразеологизованные** словосочетания.
- Кластеры партикул, группирующиеся **вокруг местоимения**.
- **Чего?** или **Что?** — различие в функциональной нагрузке в вопросе.
- **Ну** — звукоподражательное междометие или скрытая архаика?

Можно заранее себе представить, что ряд положений, излагаемых в настоящей статье, и даже конечные ее выводы будут восприняты по крайней мере скептически (если даже не удивленно). Эти предпола-

гаемые реакции определяются, как представляется автору, следующими презумптивными установками: во-первых, как уже говорилось выше, словосочетания рассматриваются с «точки зрения партикул», поэтому выражение вроде *Вот оно как!* предстает как (в) + е/о + т(ь) + он + е/о + κ(V) + къ, хотя автору прекрасно известно, что «на самом деле» с точки зрения «нормальной лингвистики» это выражение состоит из трех слов, принадлежащих к разным частям речи: частицы, местоимения и местоименного вопросительного слова; во-вторых, почти невозможно представить себе, что современный русский язык может хранить в почти неизменном как в плане выражения, так и в плане содержания виде элементы самой глубокой индоевропейской архаики (прежде всего это касается партикулы ну). Однако подобные проблемы обсуждались, как кажется, достаточно аргументированно, в моей статье о «скрытой памяти» языка (см. выше с. 13—40).

- Итак, изолированно как правило употребляются партикулы максимально **грамматикализованные**, то есть вошедшие в привычную частеречную таксономию. Такова, например, отрицательная частица *не*:

Какой ты сдержанный, даже не похоже на тебя; Фильмов пока новых не посмотрел; Монитор не работает с этой платой; Почему дома учиться не осталась?; Троллейбуса полчаса не было.

Таков и противительный союз *но*:

Есть просто МЗЗ, но он нужен; Есть какие-то училища, но ничего приличного; Там конечно красиво все, но жить там невозможно; Стажировался у Карояна, но Кароян оттуда ушел.

Грамматикализации подверглась партикула *и*, превратившаяся в сочинительный союз:

Просто приходишь к Толстяку попить чаю и записываешь все; Пришел за необходимым и решил себе взять еще всякого для развлечения; И на сиденье? — И на сиденье; Голосование проходило и на официальном сайте Премии и основной массированный удар по голосованию был сделан на выставке-форуме.

Фамилия вам безусловно известная, кроме фонетики и фонологии он еще много занимался проблематикой языковых союзов.

Необходимо обратить внимание в последних примерах, что во всех случаях *и* выступает в функции сочинительного союза в пределах *одного* предложения.

Не всегда вопрос об изолированном употреблении партикулы является столь простым. В потоке речи возникает подобие бинарного дистантного изолированного кластера партикул, каждая из которых уже грамматикализована. Такова, например, ситуация с *a* в функции сопоставительного союза, так как во всех представленных примерах *a* обязательно сопровождается партикулой *ne*:

Большое количество фирм не представляет на наше требование таких данных, а пытаются финансировать свою продукцию; Цены растут, а зарплата не прибавляется; Часть вопросов анкеты выглядят любопытно с точки зрения даже не коррупции, а оценки деятельности; Сегодняшний акцент сохранить этот строй, а не менять его.

- **Фразеологизация** в известной степени есть нечто, родственное грамматикализации. Поэтому из интересующего меня корпуса данных были удалены (и выявлены) отработанные временем фразеологизованные словосочетания партикул, ставшие как бы единым целым. Частеречно это были как правило сочетания местоимения с частицей и знаменательным словом, но могли быть только сочетания партикул или даже одной партикулы со знаменательным словом:

А как вы считаете /; А вы как считаете /; А дальше что /; А что дальше /; А что это за (праздник) /; А что касается.. /; А по большому счету.. /; А мне кажется /; А почему /; А ты что.

(Ты больной), что ли /; (У тебя на мейле), что ли /; (Сварить), что ли, (первое ему) /; (Страннопримный дом), что ли /; (В три часа), что ли /; (Вот эти), что ли /; (Коробку эту круглую), что ли /; (Ну что здесь только один продавец, что ли).

(Там совсем другой), понимаешь ли, (образ) /; (Но в общем), понимаешь ли (это такая эстрадная манера) /; (Там), понимаешь ли, (уже тесное общение) /; (И ты), понимаешь ли (значит ну выгородка стоит ширмами).

Ну да; Ну давай; Ну ладно; Ну вот; Ну надо же.

Да ну; Ну это да; Ну как вы; Ну и что.

Не надо (здесь скандалить) /; Не знаю (?).

Да что ты /; Ну и что же /;

Да ладно /;

И что /; И что там /; И вот.

Вот такие (дополнения) /; (Общие) вот такие /;

Вот так /; Так вот /; Вот это..; Вот и все.

Вот видите (уже подобрались отличные игроки) /; Вот видите (разные мнения) /;

Это же (несерьезно) /; Это же (само получилось)/; Это же (бюджетники) /;

Опять же (вашими словами) /; (Ну как «цапля» например там... «на цыпочках») опять же /; Опять же (хочется спросить) /; (Ходят смотрят) опять же (воспитывают);

А как же.

Возможно, в русском языке таких фразеологизованных словосочетаний на базе партикул гораздо больше; возможно и то, что часть приведенных примеров — это не фразеологизмы, а настоящие партикульные кластеры. Однако в любом случае приведенные примеры опровергают распространенный тезис о том, что одни только частицы (партикулы) быть законченным высказыванием не могут.

- Двигаясь от более очевидных фактов к менее очевидным и потому, быть может, более интересным, я хочу обратить внимание на тесную связь партикульного кластера с местоимением, которое часто помещается внутри кластера, что, впрочем, необязательно.

На не совсем понятную связь местоимений друг с другом, когда наличие одного из них предполагает обязательное наличие другого, которое в других ситуациях может быть опущено, обратила внимание в своих работах о местоимении я И. Фужерон [Фужерон 2004; 2007 и др.]. Приведем несколько ее примеров: *Я тебе сразу позвоню, как только что-нибудь узнаю; Я его совсем не знала; Может быть, я чего-то не понимаю.* Во всех этих примерах я опустить нельзя.

Множество примеров подобного рода находим в национальном корпусе русского языка:

Юрий / а вы что слышали; А какие они/ это уже другой вопрос; А почему вы так считаете; А уже даже сказал кто-то; Да он что-то говорил; А вы как к нему относитесь; А кто не хочет/ тот ничего и не увидит; Союз предпринимателей/ они сами / а не кто-то там еще; Подождите/ а это что мы не можем трактовать как меру забывчивости; Вот мы и пытаемся выяснить / как нам заставить их; Визуальный ряд / а как нам с вами прекрасно известно, в клипе самое главное/ это визуальный ряд; Там вообще всем все равно, как кто любит / с кем когда; Не, ну а ты что думаешь; А что это вы тут делаете; Ты дай ей-то что-нибудь почитать; Ааа/ ну слава Богу/ а то я уже напугалась; А то я уж подумал/ может/ заболела; А чего ж ты у меня не спросила;

Но ты понимаешь/ надо это мне просто позвонить; Вы нашли ему работу-то; А как он достал-то; Слушай / ну как ты съездила-то; Я же килограмм-то лука для меня когда-то заказывали; Но я с ней решила поговорить/ ну/ интересный человек; Ну и за кого они будут голосовать; Нет/ я еду не к Алене/ ну, к ней конечно тоже; Ну вы помните/ мы собирались/ наверное/ год назад; Например.... Там... ну меня в этом никто не поддерживает; Ну, приду я к нему / он меня выслушает; Ну, она типа сказала, что я с ней не хочу больше встречаться из чувства мести; Это она мне говорила, что не глупая; Так ты мне договорить не дала; Тот мне чем-то не понравился; Только вот мне кажется, что она тут как-то здоровее, что ли; Но она реально симпатичная, мне она нравится.

Число приведенных примеров можно увеличить в десятки, если не сотни раз. Анализируя их, легко увидеть две тенденции: а) местоимения тянутся друг к другу; б) местоимения почти всегда окружены партикулами: частицами, союзами, междометиями.

Интерпретировать эти данные нетрудно. Может быть, труднее выстроить иерархию причинообразующих факторов.

Во-первых, партикулы чаще всего возникают в не первой абсолютно реплике. (Более подробно об этом будет говориться ниже). Естественно, и местоимения, как правило, выполняющие анафорическую, то есть заменяющую функцию, встречаются также в не первом абсолютно высказывании. Для живой разговорной речи не первым можно считать и высказывание, вообще предваренное **чем-то**: например, невербальным действием. Скажем, если человек, долго отсутствующий, входит, его могут встретить фразой: *Ну, как вы отдохнули?* Или *Ну, как Вам они понравились?* (если объект речи известен заранее).

Во-вторых, сами местоимения (не 1-го и 2-го лица обоих чисел), как уже давно определено лингвистами, сами восходят по большей части к кластеру партикул, вроде *о + нь, то + ть, къ + то* и т. д. Грамматикализовавшись, они объединяются в одной парадигме с местоимениями не партикулярного происхождения, которые тоже втягиваются в эти разговорные модели.

Наконец, напомним, что установка настоящей статьи — показать следы глубинной архаики в современном русском языке, в его живой речи. Эта попытка есть еще одно стремление выявить «скрытую память» языка. В моей статье (см. наст. изд. с. 13—40) в качестве одного из критериев наличия «скрытой памяти» приводится возможность для носителя языка «сказать и так, и так», и обе структуры будут пра-

вильными. И в примерах, приведенных выше, можно местоимения заменить, например, на имена собственные: *Ну, приду я к Сергею / Сергей меня выслушает; Но Маша реально симпатичная, мне Маша нравится* и под. Но почему-то число таких примеров в Национальном корпусе ничтожно мало. И здесь мы сталкиваемся с той оппозицией, вернее, с тем полем, на которое еще не ступала нога лингвиста: а именно — с разницей между примерами **возможными** и **правильными** и примерами **реальными**.

- Партикулы тянутся друг к другу и без местоименного центра. И именно начало высказывания бывает украшено таким партикулярным пучком².

Ну а так вот / бежать и как бы стучать / это тоже не очень-то приветствуется;

Ну а что (че) тут сказать; А вот что значит почти / я не совсем поняла; Там понимаешь ли уже тесное общение / уже когда просто это / ну вот Маршалл она всегда вызывала такие / понимаешь/ ответную реакцию у всего зрительного зала/ но это опять-таки / это так сказать...ну...вершина что ли; Ну что ж / будет с чего начинать следующую часть нашей беседы; Ну вообще вот это / Грызлов/ орден; Ну это / прикольно/ конечно; Ну что ж это/ дождь никак не кончается; Ну так это в четверге; Чего так; Ну и чего там; Ну а чего рассказывать-то;

Но как-то чувствую/ так сказать; Да так не очень-то / на два хозяина; И вот почему; И тут / было мнение; Вот/ но как-то с Майклом я / честно говоря /не знаю.

Кластеры партикул могут быть дистантными: *Да это в принципе-то не от цвета волос зависит (да + е + то + то); А почему нет-то (а + то); А по новой переписываться / это уже только на начало сентября (а + е + у + же + то + ли + ко); Слушай, ну как ты съездила-то (ну + кА + къ + то); Так что погода-то теплая / но дождь (та + къ + чь + то + то).*

Может казаться, что кластеры возникают в центре высказывания, но на самом деле это тоже паратактическое начало, поскольку в разговорной речи внешние и внутренние союзы различаются просодически мало:

На жаре я там не хочу жариться/ но так вот / в хорошую погоду / немножечко хоть подзагореть; Они ж целый день только на гондолах

² Интересно, конечно, сравнить пучки инициальных партикул в живой речи и в пьесе, пусть даже активно имитирующей живую речь.

разъезжают / но они же деньги зарабатывают; ну а струнных у нас конечно очень мало / но тем не менее в Малом зале вот мы как-то так усядемся / и... такие не очень громкие симфонии / там ну такие как там Моцарт что-нибудь / даже там Брамс иногда играли; Она же пришла и сказала / что ей очень нравится Оля / помнишь она говорила / когда пришла / что вот Оля... а потом поменяла мнение; Это предположим / не самое мое любимое / но это вполне себе / вкус там и так далее; И вот если там выдаст она эту возвышенную пошлятину / которую она время от времени порет / мы ее прямо спросим об этом как это / получается.

Естественно возразить, что партикулы (часто изолированные и грамматикализованные) могут не начинать, а заканчивать высказывание: *Хоть кто-то приехал к ней / да; Что-то сильно много / да; Но подлечили хорошо / надо сказать / да* ведь. Очень тонкий и подробный анализ заканчивающей высказывание партикулы *а* с ее побуждающей иллокутивной семантикой дан И. А. Левонтиной [Левонтина 2000]. Левонтина сравнивает *а* с другими заканчивающими высказывание компонентами, например с *да*. Она совершенно верно говорит о невозможности перевода подобных конструкций, но все же, в заключение, в ее статье говорится о том, что *а* «вовлекает в диалог». Следовательно, это тоже начало, точнее мостик к началу реплики Другого, ее преддверие.

- Следующая проблема — различие в живой речи *чего?* и *что?*, как будто употребляющихся почти синонимично, причем *чего* звучит как грубая ошибка малоинтеллигентного человека, путающего родительный и именительный падежи вопросительного местоимения.

Действительно, иногда это выглядит так:

У Иванова спроси / может / он чего знает; Чего там написать можно; Вот чего я хотела сказать; Я / знаешь / чего / я вот это возьму; А чего она такого делала-то; Mam / чего мне надевать; Ты чего / Мить.

В некоторых случаях *чего* с такой же несомненностью является именно родительным падежом (см.: соотв. управление): *В честь чего салют; У нас и животик, и кашель, и насморк, и чего только нет; А от чего они; А по поводу чего хотела нахамить.*

И все же в ряде случаев очевидно, что *чего* приобретает в живой разговорной речи значение 'почему', 'зачем' и несомненно является их речевым синонимом:

А чего ж ты у меня не спросила; Чего так; Чего ты мерзнешь; Чего к Пушкинаревой на дачу не поехали; Ну/ чего они там встречаются; Ну, чего я тебе объясняю; Люсь/ а ты чего звонишь и т. д.

Разумеется, во многих случаях подобного рода можно (и нужно) заменить это *чего* на *что* или *почему*, *зачем*. Можно и, напротив, пренебрегая нормой, в ряде высказываний заменить *что* на *чего*:

А что это вы тут делаете; А ты что думаешь; Ты что не звонишь; Что мне делать с головой; Ну что ж это дождь не кончается.

Однако есть языковые ситуации, когда *что* невозможно заменить на *чего*, даже в речи малообразованных людей. Это — *что* после *verba dicendi* или близких к ним, когда *что* начинает придаточное предложение:

Ну, она типа сказала, что я с ней не хочу больше встречаться из чувства мести; Я сказал, что я мщу тока своим врагам, а она для меня уже никто; Она типа мне сказала, что это я — «никто»; Это она мне говорила, что не глупая; А мне кажется / что много; Только вот мне кажется / что она тут как-то здоровее / что ли; Почему-то я уверена/ что тут у меня будет возможность заработать на свой кусок хлеба с маслом; Вообще / мне/ конечно / говорили / что Москва / это жестокий город/ который ошибок не терпит и не прощает; А не боишься / что после универа начинать поиск уже поздно будет; Вот он решил что только так и надо; Сказала что в воскресенье к нам заглянут; Я потому и говорю что / там мне «ой! Ну что-о вы?».

Таким образом, *что* и *чего* «состязаются» в инициальной позиции, особенно окруженные другими кластерами партикул. Более того, *чего* как бы раздвоилось: с одной стороны, оно стало родительным падежом от *что*, войдя в его парадигму, с другой стороны, оно стало его же синонимом, приобретя дополнительный оттенок вопроса о причине. Почему? И здесь необходимо обратиться к диахронии. *Че-го* содержит ту же партикулу *-го*, что и *је-го*, *сине-го* и т. д. Об этой партикуле написано довольно много.

Так, достаточно подробно об этом пишет А. Мейе [Мейе 1938: 349]: «Что касается элемента *го*, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы *не-го* (после сравнительной степени) и соответствующей скр. *gha*, подобно тому, как же соответствует скр. *ha*. Таким образом, родительный-отложительный падеж должен был иметь старую форму **ta-go*, изменившуюся в *то-го* под влиянием других форм склонения: дат. п.

тому, местн. п. *томь*, возможно, также под влиянием сохранившегося старого род. п. **to-so*, так как показатель *-*so* сохранился в вопросительном неопределенном местоимении ЧЕСО. К тому же, вполне вероятно, что употребление *то-го* как родительного-винительного падежа является древним; в самом деле, если, как мы предположили, старое конечное *-*on* дает **то* и **ть* в зависимости от выразительности, с какой произносилось окончание, то старый вин. п. **top* должен был дать *то*, когда хотели подчеркнуть его указательное значение, и вин. п. *то-го* должен был бы явиться фонетически. И действительно, старое **jon* дает, с одной стороны, энклитическое анафорическое (указательное) местоимение *и* (*jъ*), которое в именительном падеже имеет эту форму даже в тех случаях, когда речь идет об одушевленных предметах, а с другой — ударный винительный падеж относительного местоимения *je-го* для названий одушевленных предметов. Тот факт, что тип *то-го* сохранился для названий лиц и вообще одушевленных предметов, хорошо объясняется вопросительно-неопределенным местоимением *ко-го*, противопоставляемым род. падежу *че-со*, сохраненного для названия неодушевленного предмета. Поэтому совпадение род.-отложит. п. *togo*, (замещающего **tago*) и вин. п. *togo* можно считать чисто случайным. Таким образом, употребление общей формы для родительного-отложительного и винительного падежей единственного числа мужского рода названий одушевленных предметов становится вполне ясным».

Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в книге Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на *го* состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme *jo-* und *to-* mit dem Pronominalstamm *go*. Dabej verhält sie *go* zu *ko* <...>. Da *k* und *g* im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. *hic* aus **ho-ce* mit *ke* dem *go* in slav. *to-go* sehr nahe». [«эти конструкции состоят из комбинации славянских корней *jo-* и *to-* с прономинальным корнем *go*... Так как *k* и *g* в аналауте могут заменяться, то формы типа лат. *hic* < **ho-ce* с корнем *ke* очень могут быть близки к слав. *то-го*».

Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию *го* у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям:

1. *-Го* — это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (партикул) индоевропейских языков. («A particle

in *ghe / o is traditionally reconstructed for Indo-European» [Shields 1997: 87]). В русском языке (и других славянских), употребляемая изолированно, она известна как *же*. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице *не-го*.

2. Местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»).

Таким образом, генетически ЧЬ + ТО и Ч(Ь/Е) + ГО функционально являются тождественными (но *чего* в инициальной позиции заменяет бывшее архаическое *че + со*). Это еще один довод в пользу существования «скрытой памяти» языка.

3. Последний вопрос, затрагиваемый в настоящей статье, — это вопрос о возможности / невозможности описать семантику русской частицы *ну*. В Этимологическом словаре славянских языков [ЭССЯ 1999: 31] говорится, что «Праслав. *nu — исконно, вероятно, междометие звукоподражательного происхождения, ср. соотносительные по функциям *na, *no, *nъ. На и.-е. уровне можно говорить лишь об элементарных соответствиях». Функциональная семантика этого русского слова описывается так подробно и так разнообразно (вплоть до загадочного «усиливает выразительность речи»), что вызывает некие подозрения, которые я в дальнейшем надеюсь подтвердить. В диалектной русской речи *ну* часто употребляется в функции противительного союза (впрочем, это не отрицается и в [ЭССЯ 1999]). Так, Р. и Л. Касаткины приводят примеры: *Девка на личность хорошая, ну маловата; Ели плохо, кормили нас — пятисотка. Ну я ее не ела, пятисотку, я всегда двести грамм добавочного получала; Оне понимают по-русски, ну говорить очень чижало* и под. [Касаткины 2004: 92—93].

Национальный корпус русского языка демонстрирует богатейший свод примеров с *Ну*, которое оказывается практически почти доминирующей не первой репликой. Под «не первой» я понимаю вербальную реакцию на что-то предшествующее. Оно может быть вербальным: *Расскажите же, как там было!* или невербальным: например, человек входит в комнату после отпуска и его встречают: *Ну, как? Понравился Таиланд?*

В отличие от предшествующих элементов, *ну* различается по тому, употребляется ли эта партикула в публичной или в непубличной речи. Заранее скажем: в публичной речи ее семантика менее диффузна и можно, хотя и с трудом, выявить несколько отличающихся друг от друга семантических параметров.

Например, *ну* может выступать, вводя **пояснение**:

Но я с ней решила поговорить / ну / интересный человек / и она начала себя вести / как больная; Но / возвращаясь к теме доклада / ну / об одной перспективе я сказал / до 15 % электората в ближайшие годы / это совсем не плохо; Ну / им деваться некуда; Нет / ну по крайней мере он знает / что ему хватит и на образование / и на...; Поэтому «знаменитая певица» / ну это правда / не обо мне; Ну есть первый этап / второй этап;

оно же вводит **пример**:

Ну / Болгария / Прибалтика вся / Польша / Словакия...; Ну / Бузникин / он разноплановый игрок; Почему нам / болельщикам / запрещают зажигать фэйера.. ну использовать пиротехнические средства; Это обязательное лечение / максимально хорошее из того/ что возможно в пределах России / ну/ естественно питание/ отдых; Такие люди... ну я не знаю... как Борис Гребенищikov; Был очень хороший в конце пятидесятых / ну до конца шестидесятых; Ну вот/ например/ как бы я помогла;

-*ну* в центре высказывания часто вводит **чужую прямую речь**:

Он говорит / ну/ нормально; Хорошо / ну «знаменитая» / это не нам судить;

-*ну* сопровождает **реплику-ответ**:

Ну естественно; Ну / а что в этом плохого; Ну / это к вопросу о том/ что война будет / в любом случае; Ну раз это было/ я думаю/ это для нас урок; Ну/ кричать вообще не хочется; Ну конечно / бицепсы/ во-первых; Ну / и еще какие варианты; Ну/ конечно/ «Матрица».

Однако в большинстве примеров *ну* является неким абсолютным началом, но в то же время началом-ответом, то есть, не первой репликой (лектор начинает, видя собравшуюся аудиторию):

Ну/ по той теме/ которая сегодня обозначена/ трудно сделать всеобъемлющий доклад; Ну/ для начала / конечно/ хотелось бы избежать дефиниций; Ну что ж/ будет с чего начинать следующую часть нашей беседы; Ну/ вы помните, мы собирались/ наверное/ год назад/ и были вопросы смены цвета.

Подобные примеры можно легко умножить.

Несколько иную картину демонстрирует *ну* в непубличной речи. Чаще всего — это просто начало каждой реплики при разговоре:

Ну, она типа сказала, что я с ней не хочу больше встречаться из чувства мести; Ну, у нее сначала любовь-морковь была ко мне, все дела; Ну реально позвони сама туда; Ну это-то еще он заработал/ как я поняла/ в армии; Ну как можно идти на работу в такую погоду; Ну сказали / что уже к Пасхе будет тепло; Ну мы с Наташкой с сестрой сходим на балет и т. д. Только в некоторых случаях можно увидеть отчетливую семантику побуждения: *Ну/ что здесь только один продавец что ли* или подтверждения: *Слушай/ ну кошмар/ конечно..* Именно эта размытость семантики разговорного *ну* порождает, как кажется, обилие фразеологизмов с этой партикулой: *Ну/ давай; Ну что; Ну ладно; Ну надо же; Да ну; Ну это да; Ну как вы; Ну не знаю*, — чувствуется, что именно такое *ну* нуждается в подкреплении другими партикулами.

Выше говорилось о несколько подозрительной по разнообразию спектров семантике *ну* в этимологических словарях. Представляется, что здесь именно применимы слова В. Н. Топорова по поводу и.-е. **lai*: «Вместо того, чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент» [Топоров 1984: 426]. Таким образом, наше русское *ну* представляется некоей не имеющей точной семантики единицей.

Обратимся — сквозь тысячелетия — снова к хеттскому *ни*. Как пишет Вяч. Вс. Иванов (январь 2008, личное письмо): «С точки зрения сравнительной фонетики (вост.-)славянское “ну” отличается от “но” < др.-русс. НѢ < и.-е. Nu. Начальное “ну” < праслав. Nu должно восходить к *пеи- (если бы не дифтонг, ожидался бы “ер” *ъ=и сверхкраткое, как в противительном “но”). Но такая реконструкция возможна и в случае хеттского ни, которое либо из *пи, либо из *пеи». Напоминаю, что хеттское *ни* Гамкрелидзе и Иванов переводят как «и вот», «и» [Гамкрелидзе, Иванов 1984], а семантику этой частицы Вяч. Вс. Иванов характеризует как «знак продолжения рассказа. Чаще всего что-

то должно предшествовать. Но самостоятельного значения у этого знака нет» (февраль 2008, личное письмо). Вяч. Вс. Иванов прислал мне далее по почте соображения нидерландского хеттолога, женщины, работающей в Чикаго, которая считает, что *ни* все-таки имеет значение. Так, если король не знает своего преемника, он употребляет просто *kwi* ('кто'), если же вначале добавлено *ни*, преемник известен. Исследовательница спрашивает (о других языках): «Do they have the same phenomenon, or is it typically Hittite?». Итак, в современном русском, если мы спросим: *Кто у нас выбран?* (это, может быть, и никто!), но: *Ну, кто у нас выбран?* — явно предполагает избрание состоявшимся. Или другой пример: X встречает свою одноклассницу, которую не видела давно, и спрашивает: *Кто у нас родился?*, имея в виду детей или внуков, но где-то все же допуская, что не родился никто. Вопрос: *Ну, кто у нас родился?* предполагает, что X известно, что кто-то обязательно должен родиться и что сведения эти свежие (тем самым в *ну* где-то гнездится и *нынѣ* и *now*, соотносимые с хеттским *ни*).

Заканчиваю свою статью тем, что некоторые мои соображения о сходстве русского *ну* и хеттской частицы были сообщены Вячеславу Всеволодовичу через океан и он ответил: «Очень вероятно».

Список литературы

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. Г., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 1. Тбилиси, 1984.
- Иванов 1979 — Иванов Вяч. Вс. Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
- Иванов 2004 — Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М., 2004.
- Касаткины 2004 — Касаткина Р. Ф., Касаткин А. Л. Некоторые текстовые коннекторы в региональных и социальных разновидностях русского языка (*а, но, ну*) // Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., 2004.
- Левонтина 2000 — Левонтина И. Б. Русское финальное *а*? портрет невидимки // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000.
- Мейе 1938 — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

- Николаева 2008 — Николаева Т. М. Непарадигматическая лингвистика (История «блуждающих частиц»). М., 2008.
- Топоров 1984 — Топоров В. Н. О специфике балт. **lai* и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.
- Фужерон, Брейар 2004 — Фужерон И., Брейар Ж. Местоимение «я» и построение дискурсивных связей в современном русском языке // Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., 2004.
- Фужерон 2007 — Фужерон И. И. «Я» и его капризы // Язык как материя смысла: Сб. ст. в честь акад. Н. Ю. Шведовой. М., 2007.
- ЭССЯ 1999 — Этимологический словарь славянских языков. Вып. 26. М., 1999.
- Shields 1997 — Shields K. On the origin of the Slavic pronominal genitive singular ending *-go* // International journal of Slavic linguistics and poetics. XLI. 1997.
- Specht 1947 — Specht Fr. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.

СИСТЕМЫ ВАЛОРИЗОВАННЫЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ

1. Первая из них — это все подкрепляющееся за годы работы убеждение в существовании в сознании человека, по крайней мере, двух систем. Одна из них представлена системным набором несколько абстрагированных **фактов эмпирии**, наблюдаемых и обобщенных в зависимости от возможностей данного реципиента. Вторая система, которую, вслед за Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном, я предлагаю назвать «**валоризованной**», с первой системой «соотносится», но ее единицы не являются прямым обобщением по отношению к единицам первой системы, то есть они не связываются с ними родо-видовыми отношениями, как бы эти единицы ни назывались.

Эти положения в сущности не оригинальны, именно на них опираются все исследования о «фонологизации», о перестройке фонологических систем и т. п. В большой степени они соотносятся и с учением о «холодных» и «горячих» культурах, ибо эти идеи К. Леви-Стросса можно интерпретировать так, что в «холодных» культурах единицы валоризованной системы более ригидны и наблюдаемым фактам эмпирии трудно пробиться через этот ментальный «панцирь». В «горячих» культурах отношения между этими двумя системами более гибки и реципрокны по существу.

Новой, как мне кажется, является установка на то, что сосуществование этих двух систем (по крайней мере, двух!) пронизывает всю ментальную структуру *homo sapiens*. Существенно то, что эти системы могут перестраиваться — частично или полностью, но эта перестройка не есть процесс простого накопления фактов эмпирии, к тому вынуждающих, хотя, несомненно, количественный фактор тут существенен, и обычно «валоризуется» некий феномен эмпирии, превысивший количественный порог перцепции.

Эмпирия и ее факты связаны с жизнью, которая изменяется и предлагает нам новые модели. Перцептивно-когнитивные модели при этом бывают различны: они определяются личностной гибко-

стью, прежде всего социально-интеллектуальной принадлежностью, и многими другими факторами. Поэтому не «всякий, имеющий глаза, видит». И в жизни мы считаем кого-то хорошим человеком, потому что «так принято», хотя реально добро делает (делают) совсем другой, кого-то считают «вором», хотя он ничего не воровал, считаем скромным честолюбца, мы проходим мимо очевидных явлений, не замечаем явных изменений и т. п. Девализация обычно приходит откуда-то извне — то есть уже в готовом виде. Наивно предполагать, что изменение валоризованной системы зиждется на чисто количественном фундаменте: недостаточно объяснили, мало знает... и под.

Именно поэтому интересно взглянуть иными глазами на андерсоновского мальчика из сказки о новом платье короля. Что же он, собственно, сделал: а) просто нарушил правила этикета, громко объявив то, что видели все; б) увидел то, чего другие искренне не видели; в) перевел факты эмпирии в валоризованную систему (то есть видели-то все, но заставляли себя не переводить этот факт эмпирии в явленный валоризованный феномен)? Мы считаем, что последнее, иначе сказка о детском простодушии и искренности была бы слишком пресной.

Несомненно также, что «плотность» валоризованной системы бывает различной: представляется, что для так называемых «традиционных» культур она максимизирована, поэтому они и «холодные», то есть не развивающиеся. (В этом отношении были бы очень интересны и важны исследования об эволюции «традиционных систем» и, главное, о тех узлах системы, где эта эволюция осуществляется, то есть важна динамика этих систем, какая это именно динамика и типология этих динамик.)

Валоризованную систему, несомненно, представляет и сам язык. Так, как мы его понимаем и преподносим. Как и почему язык валоризуется, я ответить не могу. Однако очевидно, что знаменитый тезис Сэпира-Уорфа о том, что язык оказывает влияние на поведение и мышление представителей той или иной нации, можно представить и симметричным образом: мы создаем себе язык сами, ибо язык (во всяком случае — на историческом отрезке времени) не дан нам извне, а сформирован нами же.

Но валоризованную систему представляет и сама лингвистика, как и всякая наука вообще. Поэтому лингвисты могут долго не замечать языковых изменений и не откликаться на данные новых исследований. Особенно это очевидно при обсуждении вопросов, связанных с системой просодии и интонации.

Очевидно, что язык сам по себе в принципе — это «горячая культура». Но для нас, лингвистов, все, что связано с языком, подлежит по сути четырем типам модификаций. Во-первых, изменяются эмпирические факты языка — каждый раз под влиянием разных факторов. Во-вторых, валоризуется надстроенная над фактами языка языковая система. В-третьих, накапливаются наблюдаемые факты языка как материал для языковеда, и в то же время вообще изменяется стиль науки каждой эпохи. И наконец, в-четвертых, модифицируется валоризованная ранее система самой лингвистики.

2. Естественно, что из первого постулата вытекает второй: твердая установка на **антропоцентричность** всякого бытия, и прежде всего — языкового. При этом, разумеется, не отрицается возможность самоперестроек языковой системы, то есть существование языка как самостоятельного целого. Иначе говоря, автор придерживается того взгляда, что история лингвистики XX века доказала несколько иную трактовку знаменитого соссюрковского тезиса. А именно — язык изменяется в самом себе, но — не для себя!

3. Третьим опорным постулатом излагаемой ниже концепции является установка (и вера!), что языковые системы движутся в определенном направлении, которое можно считать эволюцией языка (не обсуждая при этом аксиологические проблемы — хорошо это или плохо — не нам судить, возможно, так мы запрограммированы и «не можем иначе»). Эволюция, в нашем понимании, связана с телеологией, с некоторой единой целью для всех языков. Какова же эта цель? Что под этим понимается?

Автор считает, что этой целью является установка на многоканальность речевого сообщения, то есть **на передачу все большей информации в единицу времени**.

Информация при этом понимается очень широко — это и действительность, включая разные способы передачи ситуации и ее составляющих, и отношение к ней говорящего, и средства убеждения коммуниканта, и неясные «колеблющиеся значения», возникающие вокруг слова, особенно в стихе, и рефлексии диахронических моделей.

Близкие к этому утверждения высказывались. Это и идея «экономии», и «лени», и идеи опрощения, и ряд других. Но, как кажется, именно XX век поставил более четко вопрос о количестве информации, которую тот или иной язык способен передавать. Поскольку единица времени (как мы это понимаем на упрощенном уровне) меняться не может, то модификации подлежит сам язык и его вырази-

тельные средства. Как это происходит и как может происходить — будет подробно обсуждаться в следующих разделах настоящей части. Происходит ли это во всех языках? Разумеется, нет. Происходит ли этот процесс одновременно в «передовых» языках? Тоже нет. Используются ли при этом одни и те же средства в достижении указанной цели? Также нет, и это и должен изучать лингвист. Иначе говоря, языки как люди. Есть среди них и весьма продвинутые, есть и совсем не развивающиеся, есть и борющиеся за жизнь всеми возможными способами. И в этом отношении, перевернув стрелку исследовательского внимания, можно по-новому посмотреть на отношения языка и его диалектов: без пассаистского умиления, но выявив, чего же диалекту не хватило, чтобы достичь уровня литературного языка элиты.

Значит ли это, что все языки, скажем древние, были отстающими по сравнению с языками современности? Также нет. В частности, стадильная разница более зрелого греческого и создаваемого старославянского уже обсуждалась и утвердилась.

Кроме того, необходимо сразу же оговорить, что идея однопавленного языкового развития ни в коей степени не отрицает возможности языка сохранять и использовать в их активном функционировании предшествующие и даже самые ранние его модели. Так, например, активное развитие парадигматики интонационных фигур и склеивание слов в синтагмы не отрицает и не уничтожает слоговые структуры и их дистрибуции.

2. Лингвистика на исходе XX века

Подвести итоги всему, сказанному выше, удобнее всего, приведя полностью тезисы основных положений моего пленарного доклада, сделанного на Международной конференции 1995 года, «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы»:

1. Как представляется, движение лингвистики XX века было дрейфом от тезиса о функционировании языка «в самом себе и для себя» в тезис — «под влиянием внешних обстоятельств и для нас». С этим связан и дрейф интереса от того, Как язык связывает человека с Действительностью? к тому, Как язык связывает Человека с действительностью?

Эта несомненность антропоцентричности новой науки не должна, конечно, строиться на отрицании эмпирико-позитивистских достижений дескриптивной таксономии.

2. Антропоцентричность прогнозируемой лингвистической парадигмы неизбежно предполагает глубокие изменения в общей структуре многих языковедческих ветвей.

3. Прежде всего она предполагает возвращение к теории языкознания, т. е. интерес не только к **языкам**, но и к **языку**. Существенным при этом может стать функциональный аспект языковых феноменов, и тем самым повысится интерес к таксономии нового типа — с функциональной ориентацией.

4. Функциональная ориентация, понимаемая достаточно широко, приведет к отказу от ряда наивных иллюзий середины XX века об обязательности установки коммуникантов на «коммуникативную удачу», на желание как можно точнее передать сообщаемую мысль.

5. В связи с этим существенным станет выявление ряда «невных» и «потаенных» установок в коммуникации, опирающихся на социальные, прагматико-социальные, ролевые и личностно-психологические факторы.

6. Поэтому неизбежен интерес к **пресуппозитивным** факторам в речевой коммуникации и их развитию в пользовании языковой системой.

7. Отсюда важной может оказаться и теневая сторона коммуникации — определение того, что данная коммуницирующая личность **не** говорит, чего **не** употребляет, чего **не** называет и как изменяет свою речь в изменяющихся ситуациях общения.

8. Это, в свою очередь, связано с повышением интереса к социальному фактору в языке — созданию социолингвистических портретов, описанных не только с точки зрения порождаемых высказываний (текстов), но и с перцептивной точки зрения: как может быть связан социолингвистический статус и **рецепция информации** в коммуникации, и — в связи с этим — интерес к дистрибуции информации в высказывании.

9. Прогнозируемым в этом плане является новый аспект обращения к данным диалектного языка — сравнение его с литературным по степени адекватности передачи коммуникативных установок разного типа.

10. Подобные исследования не могут оставаться в пределах описания одного языка: неизбежно они приведут к созданию принципиально новой **типологии** языков, сопоставляемых не только формально, но и содержательно с изучением их функциональных возможностей.

11. Важным в типологии нового типа представляется исследовать соотношения разных языковых уровней в аспекте компенсаторных антиномий коммуникативной недостаточности и сопоставления языков в этом плане.

12. Поэтому возможно появление новой дисциплины — **коммуникативной типологии языков**.

13. Изменение парадигмы синхронного описания неизбежным образом связано и с изменением отношения к корреляции оси: типология / компаративистика, что является в настоящее время в большей степени «горячей точкой» языкознания, чем представленные выше проблемы языковой синхронии.

14. Типология диахронических изменений предполагает изменение внимания от Как? не только к Почему?, но и к Зачем? То есть неизбежно введение телеологического (и аксиологического?) компонента в диахроническое описание.

15. Мною было предложено обсуждение гипотезы о том, что **Язык развивается в сторону увеличения передаваемой информации в единицу времени**. Иначе он сдает свои коммуникативные позиции. Дальнейшие исследования могут верифицировать это положение.

16. Интересным и совершенно новым в этом плане может явиться изучение компенсаторности языковых возможностей на этом указанном этапе развития, которые определяют статус и типологию отдельных языков и будут служить основой **диахронической типологии**.

17. В связи с этим по-новому возникает вопрос о фонологизации / грамматикализации языковых феноменов (т. е. валоризации, по Трубецкому и Якобсону), которые, в свою очередь, могут обнаружить разное время валоризации элементов одного и того же ряда и/или одной языковой системы.

18. Это, несомненно, приведет к новому критерию **верификации реконструируемых систем**. То есть, иначе говоря, прежде чем поставить вопрос о том, каким было ударение в реконструируемом языке, нужно будет сначала доказать, что это был язык того диахронического типа, где ударение уже было фонологизировано.

19. Вероятно, в связи с этим вновь вызовут лингвистический интерес всевозможные классы диффузных элементов, еще не прошедших секуляризацию и валоризацию. Таким образом, реконструируемая система может в большей степени, чем теперь, отдалиться от своих языков-потомков.

20. С усилением внимания к диффузности в языковой таксономии более смелым явится признание значительного числа **исходных первичных** элементов со столь же диффузной и полифункциональной семантикой, которые нет необходимости сводить обязательно к «застывшим» формам неких иных классов, как это сейчас делается в словарях по отношению, например, к частицам.

21. Наиболее увлекательным компонентом диахронического исследования может быть облигаторность ответа на вопрос Почему? при завершении диахронического исследования. Например, ответ на вопрос, почему балтийские и славянские языки отражают общенаследованные тоны и рефлексy гласных по-разному?

22. Новая лингвистика, безусловно, поставит вопрос о возможности **тупиковых** диахронических преобразований, не сохранившихся к настоящему времени и не отраженных в синхронном состоянии. Наличие тупиковых путей характеризует развитие Человека и всех его реализаций в диахронии; в этом отношении язык не может быть принципиальным исключением.

23. Широко распространенная интерпретация языковых изменений через контактные заимствования может обогатиться теорией **сильных / слабых компонентов** языковой системы (как в универсальном, так и в типологическом плане) по их интерференционным возможностям. Возможно, это даст новый тип верификации истории и миграций каждого народа — носителя языка.

24. Общая установка на антропоцентричность языкознания приведет к большему вниманию к роли социального и историко-социального факторов в языковых изменениях и выявлению универсалий / типологии языков в этом плане.

25. Быть может, лингвистика XXI века найдет пути к решению вопроса, столь занимавшего лингвофилософов XX века. Это вопрос о соотношении трех компонентов: Языка, Действительности и Привязки языка к действительности. Очевидно, в первой половине XX века определяли, как язык описывает действительность, во второй — что вкладывает «человеческий» фактор в языковое описание действительности. Лингвистика (и/или философия) будущего, возможно, займется вопросом о том, что же представляет собой пережитая в сознание человека действительность — если ее оторвать от языковой оболочки — и возможно ли это.

МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИКОНИЗМ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ЭТИКЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ

В своей замечательной работе «В поисках сущности языка» Р. Якобсон, рассмотревший ранее в статье о шифтерах индексальные знаки, обращается к знакам иконическим, обнаруживая при этом удивительные свойства в самом, казалось бы, чисто конвенциональном языковом устройстве. См.: «Последовательность глаголов *veni, vidi, vici* сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий по времени или по степени важности. Такая последовательность, как “На собрании присутствовали президент и государственный секретарь”, гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая позиция в паре официальных членов отражает более высокое официальное положение» [Якобсон 1983: 107]. В этой же статье Р. Якобсон отмечает «иконичность» грамматики (морфологии): превосходная степень в индоевропейских языках выражена более «протяженным» словом, чем положительная. «Есть языки, в которых формы множественного числа отличаются от форм единственного дополнительной морфемой, в то время как, по данным Гринберга, нет такого языка, в котором это отношение было бы обратным» [Там же: 110].

Идею иконичности, как кажется, можно продолжить и для языковой парадигматической сферы. А именно: привычная парадигма личных местоимений Я — ТЫ — ОН (ОНА, ОНО) — МЫ — ВЫ — ОНИ представляется некоей извечной и незыблемой природной структурой. А между тем, по сути, она всего лишь факт отстоявшегося веками металингвистического описания. В принципе ведь можно представить и иную модель: Я — ТЫ — МЫ... или ТЫ — ОН — Я — ВЫ и т. д. Однако такое расположение кажется странным и немисли-

мым. Почему? Потому ли, что оно просто привычно по урокам грамматики или оно что-то отражает?

В течение очень долгого времени местоимения, в особенности личные местоимения, в грамматической теории большого места не занимали. Они рассматривались, явно или неявно, в качестве «субститутов» знаменательных слов, иначе говоря, невольно считались чем-то вторичным, замещающим, анафорическим. Только в последние годы наступил некий «взрыв» в металингвистической местоименной парадигме, после работ Н. Ю. Шведовой [Шведова 1998; 1999]. Н. Ю. Шведова предложила именно местоимения считать первичными «исходами», минимизированными единицами всеохватывающего выхода в мир, когда описание окружающего нас Универсума удовлетворяется через систему заданных Человеком Миру вопросов, то есть через местоимения.

Расположим эту парадигму в виде графической схемы:

Я	—	МЫ
↓		↓
ТЫ	—	ВЫ
↓		↓
ОН	—	ОНИ

Гипотеза наша состоит в том, что парадигматическая дистанцированность является удобным металингвистическим построением для описания личностной дистанцированности в этикетном речевом поведении.

Что является «ближайшим» для Я? По вертикали это ТЫ.

И действительно, для русского языка ТЫ служит показателем близости для Я; долгое время (до XVII века) это и было для русских основной формой обращения к Другому. Несколько стертым сейчас в нашем современном сознании является тот примечательный факт, что русские этикетные формулы, в отличие от, например, западноевропейских, ориентированы на 2-е, а не на 1-е лицо. А именно: *Здравствуй(те)* — то есть: Ты будь здоров, а не Я сообщая тебе о «хорошем дне»; *Пожалуйста* — это Ты меня пожалуй, а не Я тебя прошу (Bitte); *Спасибо* — Пусть Тебя спасет Бог, а не Я тебя благодарю.

ВЫ отделено от Я на два шага — как по вертикали, так и по горизонтали. Дистанцированность увеличивается. Однако в русском

общении одновременно действовали две противоположных по духу тенденции: 1) стремление быть близким Другому и 2) стремление к некоторому самоуничтожению, возвышению Другого в том случае, если он дистанцирован и социально. Этому стремлению удовлетворяли разные языковые средства: например, называние Я с уменьшительным суффиксом, а Другого — полным именем и отчеством: *Ивашка — Алексей Петрович*. Этому же, по сути, служат и добавления типа *милостивый государь, Ваше высокоблагородие* и т. д. Какова же их функция в свете идей Р. Якобсона об иконичности языковых структур? Они «увеличивают протяженность» именуемого лица и тем самым увеличивают его вес в соотношении с лицом Я.

Именно это делаем мы и теперь, когда добавляем нечто при письменном обращении к Другому. Все эти *Дорогой Саша, Глубокоуважаемый профессор Сергеев, Здравствуйте, Александра Михайловна* и т. д. по сути именно и являются иконическим воплощением увеличения масштабов Другого. Разумеется, интимнее (то есть дистанцированность уменьшается) обращения краткие: *Миша, Мама* и т. д. На возникающий вопрос о нарастающих суффиксальных цепочках при деминутивах и «сюсюкающих» именах можно ответить, что здесь также имеет место иконичность, но из другого семантического измерения — протяженность ласкательного имени как бы соответствует величине любви или нежности.

Естественно, что максимально удаленным от Я в парадигме личного местоимения является ОНИ. Оно удалено от Я уже на три шага при любом из двух возможных отсчетов. Именно эта форма и была характерной для называния одного лица представителями «низкого класса» в том случае, если речь шла о подчеркнутом уважении. Добавлялось еще и «слово-ерс», то есть ОНИ-С.

Это иконичное отражение «весомости» соотносится не только с обращением к Другому, но и с желанием увеличить свою речь, то есть повысить значимость Я. Речь идет о явлении, очень характерном, но, как кажется, еще никем не описанном, а именно о стремлении сделать слово более длинным и потому как бы более весомым. Несомненно, что интеллектуал выбирает более короткое слово в ниже приводимых парах, а обыватель (особенно это было характерно для лиц, занимающих некие кажущиеся им значительными «номенклатурные» должности) более длинное (часто удлинение вербальной единицы ограничивается хотя бы одним слогом).

См. такие пары: *Муж — супруг; Жена — супруга; Есть — кушать; Жить — проживать; Будьте добры — Будьте любезны; Учить*

язык — Изучать язык; Сообщать — информировать; Спать — отдышаться и т. д.

Интересно то, что этому удлинению подлежат самые простые слова, передающие базовые и важные жизненные понятия. Иначе говоря, обыватель интуитивно хочет повысить значимость таких базовых понятий, увеличивая объем эквивалентных им лексических единиц. Вероятно, прежде такую «удлиняющую» роль играло упомянутое выше «слово-ерс» и другие добавки подобного типа.

Однако существует и средство повысить значимость Я. Ближайшими парадигматическими «соседями» Я являются ТЫ и МЫ. Естественно, что по линии увеличения своего веса (движение на один шаг по горизонтали) должен осуществляться переход к МЫ. И действительно, именно такое МЫ существует в речи самых высокопоставленных особ, принято оно и в русской (и не только в русской) научной речи. Однако Я может переходить и на один шаг по вертикали — к ТЫ. В этом случае Я как бы вливается в некую общность и тем самым обобщается: *Что ты ни скажешь, все неудачно! Что посеешь, то и пожнешь* и под.

Для современного русского этикета существует правило не употреблять местоимение Он (Она) в присутствии Другого, к которому это местоимение обращено. Действительно, трудно слушать, как говорят в твоём присутствии: *А ты ей сказала, чтобы она расписалась!* и под. Почему? Думаю, потому, что ОНА находится слишком близко к ТЫ по парадигме. Выходом из этого в разных языках бывают разные этикетные речевые приемы. Например, совершенно очевидно, что польское *pan, pani, państwo* являются выходом из местоименной парадигмы и переходом в иную и тем самым по-другому дистанцированную парадигму имени. Эти польские формы являются как бы двуликими: они употребляются и при обращении, и при разговоре о человеке в третьем лице. В русской традиции этим заменяющим средством является именование: *А ты сказала Маше, чтобы она расписалась?*

Предлагаемое описание этикетных аппелятивов-стереотипов через парадигму личных местоимений, как представляется, может служить основанием для типологии языковых средств обращения к Другому. Характерно, что в тех случаях, когда обращение к Другому выходит из привычного круга второго лица (например, итальянское вежливое обращение на Lei, то есть по женскому роду единственного числа), оно всегда имеет интерпретативное подтверждение в виде именного сочетания, то есть опять-таки выхода за пределы место-

именной парадигмы (*Lei* восходит к *Vostra signoria*, то есть аналогично русскому «Ваша милость», однако не нашедшему подкрепляющего эквивалента в местоименной парадигме). В языках более древних, когда социум был минимизирован, осуществлялось только движение на один шаг в пределах местоименной парадигмы (примеры здесь излишни, так как очевидны). Максимальное расширение социального пространства порождает дистанцированное отношение к Другому: видимо, неслучайно обращение на *ВЫ* в русском этикете появилось именно во времена Петра Первого, то есть тогда, когда Россия стала империей. Таким образом, еще раз и еще раз мы можем наблюдать иконичность языковой системы употребления: расширение геопространства отражается иконическим образом в дистанцированности речевой системы обращения. Крайним случаем, безусловно, является выбор местоимения при обращении к «правлящей морями» Британии: практически только дистанцированное *ВЫ* (*You*).

Однако при создании подобной типологии необходима осторожность. Так, на первый взгляд русская и французская системы отношения Я/Другой кажутся совпадающими: есть Я и есть Ты/ВЫ с примерно аналогичными семантическими коннотациями в употреблении. Однако это не так. Как блестяще показал Ж. Лакан, французский язык расщепил Я, разделив его на дискурсивное *Je* и секуляризованное *Moi*. Тем самым, по мнению Ж. Лакана, французский язык вывел Другого как часть подсознательного Я и перевел его в сознательно употребляемую единицу речевого употребления (об этом «расщеплении» *ego* во французской коммуникации и тем самым речевой экспликации Другого в самом себе говорится во многих работах Ж. Лакана: см., в частности, [Лакан 1995; 1997] и др.).

Различие русской и французской моделей употребления местоименной парадигмы проявляет себя и в бытовых ситуациях. Так, я не раз совершала этикетную ошибку, спрашивая — в соответствии с русской моделью — в магазинах, кассах вокзалов и под.: *Вы завтра до какого часа работаете?* или *Вы в субботу когда кончаете работу?* — и только изумленный вопрос сотрудницы: *Moi, madame?* возвращал меня к иной местоименной модели.

Таким образом, открывается возможность не только первичного, собственно парадигматического сопоставления местоименных дистанций в их этикетном употреблении, но и типологии вторичной, основывающейся на способах и видах замены местоименного компонента неместоименным или частично местоименным: именем, словосочетанием, стереотипизированной конструкцией. Возможна

и «третичная» типология, сопоставляющая необязательные, но распространенные структуры в коммуникации. Так, например, можно предположить, что при общении близких людей русские люди употребляют имена собственные (вообще, русское коммуникативное общение просто насыщено именами собственными, особенно при обращении) — там, где в англоязычной традиции слышишь *darling* и под., в немецкой — *Schatzy* и под.

В семиотическом плане с возникновением отношения Я — Вы оппозиция Я // Другой становится секуляризованной, отделяясь от оппозиции Свой / Чужой. Известно, что на противоположности Я — Ты и Я — Вы в тех системах, где они различаются, строится очень большое число коммуникативных смысловых наложений и очевидное для перцепции столь же большое число их интерпретаций. Поэтому на сегодняшний день очень интересно проследить, различаются или совпадают эти две оппозиции в районах старопатриархальной культуры.

Все сказанное выше, разумеется, соотносится со ставшей широко известной монографией Брауна и Левинсона [Brown, Levinson 1987]. Вежливость в их работе разделяется на негативную, или отрицательную (*negative politeness*), и позитивную, или положительную (*positive politeness*). Негативная вежливость связана с очевидным для европейской ментальности желанием человека отгородиться от окружающих, хотеть, чтобы они никак не вторгались в его внутреннее «пространство», а соблюдали при контакте дистанцию. Позитивная вежливость связана с идеей открытости для коммуниканта, возможности сделать шаги в этом пространстве Другого. Метафорически речь идет как бы о двух «лицах» (*faces*): негативном и позитивном. Эта теория за десять лет разрабатывалась и дорабатывалась многократно. Так, в частности, она оказалась объясняющей и для русской языковой реальности: эта дихотомия помогла Р. Бенаккьо решить вопрос о выборе вида русского глагола в императиве, когда возможны оба вида. Совершенный вид, скорее, ориентирован на негативную вежливость, несовершенный — на отношения «неформальные» [Бенаккьо 1997]. Уточнению и дальнейшей разработке этой теории посвящена и более общая статья Е. А. Земской о категории вежливости в русском языке [Земская 1997]. Итак, самой существенной в их работе идеей является прямая декларация существования некоего «пространства», разделяющего коммуникантов.

Таким образом, в социальной коммуникации в этикетных обращениях непрерывно осуществляется балансирование между движе-

нием в рамках местоименной парадигмы: см. выше Я — ТЫ > Я — ВЫ; Я — ОНИ и т. д. и переводом местоименной этикетной базы в плоскость субстантивной парадигмы с возможным выходом снова в заменяющее это субстантивное сочетание местоимение.

Ванглоязычной речевой практике уже давно употреблялась некая форма аппелятива, которая одновременно была обращена и на проверку канала связи: что-нибудь вроде: *John? — Sir?!* Таким образом, в интонации, манифестирующей этот тип коммуникации, заложено обращение сразу к двум компонентам речевого акта по знаменитой шестичленной схеме Р. Якобсона: обращение к адресату и к каналу связи (проверка). Подобной структуры в русской интонационной системе еще недавно не было. В таких ситуациях русские говорили нечто вроде: *Да!?* или *Слушаю!*, даже *Что?!* и под. Но после «перестройки», с возникновением принципиально нового устройства СМИ (Средств массовой информации), особенно при возникновении Независимого Телевидения (НТВ), именно такая форма с аналогичной интонацией появилась и в русском речевом общении. Мы ее слышим обычно в начале и в конце включения корреспондента: *Татьяна!?*; *Евгений!?* Интерпретация ее в принципе оказывается полисемантической: это и проверка канала, и призыв к собеседнику включиться далее и сообщать нужную информацию, и обращение к нему лично.

Меняющееся отношение к пространству дистанцирующегося Другого демонстрирует и широко распространившееся в последние годы употребление *извините* в тех ситуативных контекстах, когда ранее употреблялось *спасибо* и *пожалуйста*. Это *извините* начинает становиться и начинающим, и заканчивающим разговор. Может казаться, что это изменение не стоит внимания или оно не столь серьезно. Между тем, в частности, на некоторую новизну употребления этого слова обратила внимание австрийская славистка Р. Ратмайр [Rathmayr 1996]. Она считает, что это новое *извините* является компрессией *спасибо* + *извините за беспокойство*. Примеры Ратмайр: *Tanja doma?.. — A ona vecerom budet? — Da. — Izvinite*. На вопрос об улице: *Ne mogu vam skazat', sama ne znaju. — Izvinite* [Ibid.: 65]. Потребность в «извинении» расширяется: звонящие просят их извинить за звонок вечером, за звонок утром, за звонок на дачу, за звонок домой (однажды я, не выдержав, спросила: *Домой, а не — куда?* Звонившая ответила прекрасно: *Да я просто так, ведь надо было как-то извиниться*).

В статье, посвященной речевому мышлению обывателя [Николаева 1999], мною были намечены три основные черты его речеповеде-

ния: 1) тенденция к укрупнению масштаба отдельного факта, 2) нелюбовь к конкретному единичному феномену, 3) нелюбовь к точной информации. К этим чертам можно добавить и 4) стремление создать зону псевдонеудобства, прося прощение за которое, он вторгается в пространство дистанцировавшегося ранее Другого. Происходит манипуляция негативной и позитивной вежливостью, если эту схему рассматривать в более широком аспекте.

К Интерпретация этого как будто бы безобидного явления может быть троякой или, при более подробном рассмотрении, трехступенчатой.

Во-первых, это может быть скрытым воздействием английского *sorry*, которое и употребляется сейчас по функциональному полю довольно близко к *извините*. Но и такое широкое употребление *sorry* в свою очередь заменяет более раннее обращение *Sir!*, к которому оно приближается по звучанию. Возможно, *sorry* повлияло и на другие языки Европы. Так, в Италии тоже говорят о неинтеллигентности *scusi* ('извините').

Во-вторых, некоторое объяснение этому наступлению на дистанцию Другого мы находим именно в самой теории Другого (L'Autre), подробно разработанной Ж.-П. Сартром [Сартр 1997]: «Другой — это скрытая смерть моих возможностей, поскольку я переживаю эту смерть как скрытую посреди мира. Со взглядом другого ситуация ускользает от меня, или... я больше не хозяин ситуации <...>. Объективация другого была бы крушением его бытия-взгляда... Объективация другого есть защита моего бытия, которое освобождает меня как раз от моего бытия для другого, придавая другому бытие для меня... Конечно, Другой есть условие моего нераскрытого бытия. Но он представляет собой индивидуальное и конкретное условие его. Он не втянут в мое бытие посреди мира в качестве одной из его составных частей <...> с того времени как Другой является мне в качестве объекта, его субъективность становится простым свойством рассматриваемого объекта. И тем самым я себя восстанавливаю: ибо я не могу быть объектом для объекта» [Сартр 1997]. В переводе на более привычную для нас терминологию это означает стремление индивида подавить личность Другого, десубъективировать его, превратить в управляемый и предсказуемый объект. Таким образом, создается некоторая определяемая не адресатом, а адресантом зона обязательных потенциальных неудобств, причиняемых адресату, за которые необходимо у него попросить прощения. Кажущаяся смиренность и скромность, как представляется, являются след-

ствием активности по превращению негативной вежливости в позитивную, то есть вторжением в «пространство» Другого. За него решается вопрос, удобно ему или неудобно, трудно или нетрудно, даже — поздно сейчас или непоздно. Тем самым он превращается из активной Личности в пассивную. Например, «А. Д. просил Вас позвонить ему в десять вечера. — Это уже для него поздно, я лучше утром пораньше» и под. (Важным свидетельством предыдущего по отношению к моему поколению является раздраженная реакция на извинения за причиненные неудобства у моего аспирантского руководителя А. А. Реформатского: «Все время теперь извиняются перед беспомощным стариком-рамолитиком!»)

Но почему эти явления привлекают к себе внимание именно в XX веке?

Ответом на это может быть третье объяснение. Это дает современная социальная психология, которая, по сути, и развилась только в XX веке, после трудов Г. Тарда и Г. Ле Бона. Дело в том, что именно в XX веке наступает век масс, век толпы (см. соответствующие названия книг: см., например, С. Московичи. Век толп. М., 1996 (я называю российские издания в переводе), С. Московичи. Машина, творящая богов. М., 1998, Г. Лебон (вариант Ле Бон). Психология толп. М., 1999, Г. Тард. Мнение и толпа. М., 1999. См. также работу З. Фрейда. Психология масс и анализ «Я». 1921). Общая идея в этих работах состоит в том, что усредненному индивиду (Обывателю — в том смысле, как это упоминалось выше) не хватает в общении некоторой энергии, *materia prima*, которую он стремится получить, вторгаясь в пространство Другой личности. В наибольшем количестве он ее получает, находясь в толпе, в которой происходит нивелировка личности и вспыхивает общая энергия коллективного бессознательного.

Почему же этой энергии стало так не хватать именно в XX веке? Несомненно, это связано в свою очередь с материальным преуспеванием капиталистического мира, которое — опять-таки — опирается на протестантский постулат (поскольку большинство преуспевающих стран исповедуют протестантскую религию) об индивидуальной (а не соборной) ответственности личности за свои поступки, ибо поодиночке все будут представлять перед Высшим судом, и — что главное для кальвинизма — благосостояние личности, ее богатство есть признак высшей отмеченности и признания заслуг [Московичи 1998: 261—263].

Таким образом, эти две противоречащие друг другу тенденции — впитывание коллективной энергии через коллективные же встречи

и неизбежное психологическое одиночество людей «рыночной экономики» — и ведут к изменению этикетных формул, когда собеседнику «навязывают» некоторую зону неудобства, за которую у него же просят прощения. Сложным образом это накладывается на прежнюю русскую модель самопринижения и на совсем новую, когда для современной молодежи оказывается одним из важнейших компонентов личности «Уверенность в себе» [Шариков, Баранова 1999].

Заканчивая это конспективное и, скорее, гипотетическое обращение еще раз взглянуть в иконическую обусловленность этикетных формул, необходимо все же оговорить, что все сказанное и цитируемое относится к психологии именно городского обывателя, в наибольшей степени знакомой автору.

Список литературы

- Бенакьо 1997 — *Бенакьо Р.* Выражение вежливости формами повелительного наклонения несовершенного и совершенного вида в русском языке // Труды аспектологического семинара филфака МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 3. М., 1997.
- Земская 1997 — *Земская Е. А.* Категория вежливости: общие вопросы — национально-культурная специфика русского языка // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. LVI. Hf. 2. 1997.
- Лакан 1995 — *Лакан Ж.* Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
- Лакан 1997 — *Лакан Ж.* Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество, 1997.
- Московичи 1998 — *Московичи С.* Машина, творящая богов. М., 1998.
- Николаева 1999 — Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого — Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // *Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию В. В. Иванова*. М., 1999.
- Сартр 1997 — *Сартр Ж.-П.* Бытие и ничто (Существование другого) // *От Я к Другому*. Минск, 1997.
- Шариков, Баранова 1999 — *Шариков А. В., Баранова Э. А.* О связи ценностных и массово-коммуникативных ориентации // «Психологический журнал», май—июнь 1999. Т. 20. № 3.
- Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю.* Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998.
- Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «русским семантическим словарем» // *Вопр. языкознания*. 1999. № 1.

Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.

Brown, Levinson 1987 — *Brown P., Levinson S. C.* Politeness. Some universals in language usage. Cambridge, 1987.

Rathmayr 1996 — *Rathmayr R.* Pragmatik der Entschuldigen. Köln; Weimar; Wien, 1996.

БАЗОВЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДРОБНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(О концептуальной способности человека
как *homo sapiens loquens*)

Всем хорошо известно, что в русском языке принято говорить: *Она подняла на меня глаза* (но не — *свои (!)*) *и улыбнулась*. Или: *Я взял Машу за руку* (но не — *ее руку (!)*) *и повел в зоопарк*; *Опустите локоть* (не — *свой локоть*). Примеры эти можно перечислять до бесконечности. И это явление давно объяснено лингвистической теорией: «неотчуждаемостью» элементов близкого окружения коммуниканта, включая и телесный код. То есть речь идет о «неотчуждаемых» элементах человеческого тела и ближайшего человеческого окружения. «Список» неотчуждаемых феноменов различается, однако, от языка к языку. Все знают, например, что по-русски обычно говорят: *Муж пришел поздно*, а по-английски, например, почему-то нужно сказать: *My husband...* По-русски можно сказать: *Его жена умерла*, если речь идет о какой-то «жене» из прошлого, и допустим при этом вопрос: «Это какая? Маша или Вера?». Но если речь идет о нынешней спутнице жизни, то скажут: *У него жена умерла*.

Однако все также знают, что, добавив детерминирующую квалификацию, уже оказывается возможным это *свой* при тех же элементах добавить. Например: *Она подняла на меня свои бархатистые глаза и улыбнулась*; *Она шла, весело топая своими маленькими ножками*. Или: *Я взял Машу за ее маленькую доверчивую ручку и повел в зоопарк*. Можно и так: *Мой рассеянный муж забыл, что мы сегодня идем в театр*; *Моя дочь опять не вернула мне книгу, а она мне так нужна*.

Будучи оппонентом по диссертациям самых известных теперь лингвистов много раз, я часто обращала внимание на то, с какой легкостью исчезает астериск, звездочка, то есть знак невозможности, даже потенциальной, если приводимые примеры немножко расши-

ритель. К сожалению, все эти примеры я не собирала, хотя картотека была бы солидной.

Нужно отметить, что способы выражения объектов неотчуждаемой принадлежности и даже сам выбор объектов, воспринимаемых как неотчуждаемые, варьируются не только от языка к языку, но и зависят от языковой эволюции, то есть развиваются в языковой диахронии. Так, в частности, создавая еще не существовавший как литературный язык старославянский, его создатели часто вставляли показатель *свой* там, где в греческом оригинале евангельских текстов определяющий посессив уже отсутствовал. Например, Христос приходит с учениками (οἱ μαθηταί), что в старославянском переводится как *со своими учениками* или *учениками его*. Он обращается к матери — в старославянском тексте возникает к «своей матери» и т. д. Интересно в этой связи обратиться в очередной раз к «Слову о полку Игореве» как памятнику древнерусского текста [Николаева 1997: 27]. Совершенно ясно, что в нем много избыточных для сегодняшнего времени посессивов. Например: *До нынѣшнего Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ; Наплѣннися ратнаго духа наведе своя храбрыя плѣкы на землю Половѣцькую за землю Рускую.*

Однако вот неожиданное исключение в дистрибуции местоимения *свой*. Оно не появляется в тех случаях, когда в тексте представлено словосочетание имени с прилагательным *золотой*: *Ступаешь в златъ стремь въ градъ Тьмотораканѣ; Ту Игорь князь выседѣ изъ сѣдла злата въ сѣдло кощиево; Вступита, господина, въ златъ стремь; Изрони жемчужну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие.*

Почему же в этих случаях притяжательное местоимение не вставлялось? А именно потому, что, согласно тому же закону неотчуждаемой принадлежности, оно было бы избыточным. Объяснение этому находим у Д. С. Лихачева: «Только княжеские вещи имеют эпитет “золотой” — “стремя”, “шлем”, “стол”» [Лихачев 1950: 279].

Но все же только ли о посессивных конструкциях идет сейчас речь? Пожалуй, нет. *Кто это, мама?* — спрашивает ребенок, если, например, где-то послышались шурушание и возня. — *Собака*, — отвечает мать. Вряд ли в этом случае она ответит своему ребенку: *Болонка* или *Ризельшнауцер*.

Я видела одну собаку. Предложение звучит для русскоязычного уха довольно странно, если не считать слово *одну* в этом случае числительным. Сравним с этим высказыванием другое: *Я видела одну*

собаку, которая свободно считает до пяти. Здесь, при более дробной квалификации объекта, это предложение так же, как и в случае посессивных конструкций, становится нормальным и воспринимаемым адекватно. Явление это касается и целых ситуаций: *Пуля ударила его* — так, в отрыве от большого контекста, сказать невозможно. Но — *Пуля ударила его, когда он все-таки решил выйти из машины*, — возможно.

Приведем в связи с этим интересный пример из книги Дж. Лакоффа, о которой будет говориться далее: *Esther Williams is a fish* (невозможно, это не так; она человек, а не рыба). Однако по сравнению с этим предложение *Esther Williams is a regular fish* возможно (т. е. она ведет себя просто как рыба) [Лакофф 2004: 190]. Создается впечатление, что мы, говоря на своем родном языке, имеем дело с номинациями (исключая и ситуационную) разной дробности. И одни номинации допускают расширения, характеризующие данный объект, а другие — нет. Явления подобного рода касаются не только состава предложения и словосочетания, но и таких феноменов, как ударение, они также касаются возможности или невозможности его сдвига.

Вот наудачу взятый чешский пример, показывающий неидиомность процесса: *strom* — дерево, *на дереве* будет — *ná stromě* с ударением, перешедшим на предлог. Но если мы говорим о высоком дереве, то скажем *na vysokém stromě*, то есть в этом случае ударение уйдет с предлога на прилагательное.

Итак, анализируя все эти как будто хорошо известные всем русские и нерусские примеры, я позволю себе высказать гипотезу, что эта дробность не относится к детерминирующей системе только языковой структуры, а коренится в концептуальной способности человека как *homo sapiens* говорящего. Подобные же мысли общего характера о различии в идентификации объектов у человека были высказаны недавно в рамках когнитивной лингвистики, в частности, Дж. Лакоффом, к положениям которого как объясняющим это явление можно только присоединиться, добавив и включив в общую концепцию приведенные выше русские примеры. Я основываюсь на позициях, описанных в его книге «Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении».

Прежде всего необходимо для проблем, поставленных нами в начале статьи, остановиться на том, что Дж. Лакофф называет базовыми категориями, проходя мимо его критики так называемой объективистской науки. С этой критикой в принципе вполне можно согласиться. Однако в определенном смысле она является избыточной,

так как все попытки предыдущих объяснений тех или иных языковых употреблений тоже, по сути, относятся к когнитивизму: например, спросим себя, что, собственно, такое неотчуждаемость и т. п., если не когнитивная категория. Единицы базового уровня соединяются Дж. Лакоффом с линнеевскими «**родами**», но не «**видами**». Как пишет Дж. Лакофф, «в общем, можно сказать, что род был установлен как такой уровень биологических делений, на котором человеческие существа могли наиболее легко воспринимать, изучать, запоминать, называть эти деления и сходиться во взглядах относительно них» [Лакофф 2004: 57]. И ведь, действительно, мы учим ребенка именно базовым концептам и, стараясь выучить именно базовые термины, постигаем иностранный язык. Но главное не это. Ссылаясь на работы своих коллег (Э. Рош и др.), Дж. Лакофф подчеркивает то, что род находится в центре неких уровней, имея «выше» исходный наивысший уровень, а ниже — разновидности этого родового уровня, который и является **базовым**.

Итак, что же такое этот базовый уровень? Это — первый уровень, осваиваемый детьми¹, это уровень с наиболее короткими (краткими) лексемами, уровень, на котором находится в систематизированном виде большая часть полученных нами знаний. Замечательно при этом и то положение, что это уровень, на котором слова используются в нейтральных контекстах. «Например, предложение *На крыльце сидит собака* может использоваться в нейтральном контексте, тогда как для предложений: *На крыльце сидит млекопитающее* или *На крыльце сидит жесткошерстный терьер* требуется специальный контекст» [Лакофф 2004: 72]. Идеи доминантности базового уровня объясняют также и стремление молодых диссертантов ставить астериски невозможности в легко расширяемых примерах или примерах, произнесенных с особой интонацией. Молодым ученым, привыкшим к не дробной типологии, конечно, хочется работать с «базовыми» примерами и базовыми концептами.

Дж. Лакофф пишет о неравной значимости базовых концептов, например высота более значима, чем низкость (ср. английское *How old are you?* и т. п., где употребляется «большее», трактуемое как «лучшее»). Однако явления подобного рода уже давно описаны «европейской и отечественной лингвистике. Например, мы говорим:

¹ Известно, что уже трехлетние дети легко осваивают базовый уровень, а мнение, что они не способны к категоризации, возникает оттого, что они не способны еще к категоризации на вышестоящем уровне.

Здание такой-то высоты (но не *низины*), *Какая ширина у этой материи?* (но не *ужина*), *Какова длина вагона?* (но не *коротчина*) и т. д. На материале разных языков это явление описывалось, например, сообщение может начинаться с некоторого отклонения от стабильности: *Bei Müllers ist jemand krank* (но не *gesund*). Однако подобные положения соотносились с понятием нормы, к которой стремится язык, отражающий картину мира, но не соотносились с понятием базовости.

В рамках концепции Дж. Лакоффа есть также и компоненты, относящиеся к более поверхностному представлению о предмете. Это — значение «по умолчанию» (default values). Например, значение по умолчанию для тигров — то, что они имеют полосы. Значение по умолчанию для золота — то, что оно желтого цвета [Лакофф 2004: 161].

Многую высказывалось ранее положение о центральности, срединности рецепции интеллектуала и бинарно-дихотомичности восприятия людей малообразованных (*Какие холода стоят!* — *А что, жарница лучше?* и т. п.), недаром акме античной культуры говорит о «золотой середине». Теория базовых концептов подтверждает эти идеи, сообщая, что концептуальная база человека находится в центре и сама она нечленима и неделима на мелкие и дробные универсальные признаки. Поэтому в критикуемой Дж. Лакоффом классической теории трактовка прилагательно-именных групп — это представленное пересечение множеств, например, *полосатое яблоко* обозначает пересечение полосатых вещей и множества яблок. Дж. Лакофф приводит удачные контрпримеры. Например, *хороший вор* — не пересечение хороших вещей и хороших воров; *имитация латуни* — не пересечение множества имитаций и множества вещей из латуни [Лакофф 2004: 197]. Таким образом, базовые категории «не соответствуют концептуальным примитивам, то есть концептам, не имеющим внутренней структуры. Концепты базового уровня находятся в середине таксономической иерархии и имеют достаточно сложную внутреннюю структуру. Но эта структура такова, что людям с ней легче оперировать — изучать, запоминать и использовать. Иными словами, то, что должно было быть когнитивно сложным с объективистской точки зрения, является реально когнитивно простым» [Там же: 264].

Итак, возвращаясь к нашим исходным примерам, число которых легко увеличит любой лингвист, можно сказать, используя теорию Лакоффа, что необходимость вводить более дробную классифика-

цию при использовании ушедшего в диахронии детерминатива (*Она показала свою забинтованную ногу*) объясняется способностью человека (врожденной или эволюционирующей?) описывать внешний мир через базовый уровень. «Именно на этом уровне опыта мы четко отличаем тигров от слонов, розы от нарциссов, спаржу от брокколи, медь от цинка и т. д. Один уровень вниз — и все усложняется. Гораздо труднее отличить один вид жирафа от другого, чем жирафа от слона. Наша способность гештальтного восприятия на базовом уровне не приспособлена для того, чтобы легко делать четкие различия на таких более низких уровнях» [Лакофф 2004: 351].

Не останавливаясь на следующем утверждении когнитивной теории о том, что вторым слоем концептов, кроме базовых, являются образно-метафорические, мы хотим закончить тем, что лингвистический материал, предоставляемый нам русским языком, безусловно даст новые возможности стратификации объектов и действий, которые в теории всегда считались равноправными и гомогенными.

Список литературы

- Лакофф 2004 — *Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. М., 2004.
Лихачев 1950 — *Лихачев Д. С.* Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Сб. статей и исслед. М; Л., 1950.
Николаева 1997 — *Николаева Т. М.* «Слово о полку Игореве». Поэтика и лингвистика текста. М., 1997.

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДЕМАГОГИЯ»*

I. Многие науки, считающиеся особенно точными и почитаемыми, изучают подвластный им объект с одной точки зрения: «Как это устроено?». Условно говоря, это науки, относящиеся к неживой природе. Биологам же уже недостаточно знать о своем объекте, как он устроен, знать его «морфологию», необходимо понять и внутренний механизм функционирования различных компонентов изучаемой системы. Им важно знать и «Как это устроено?» и «Как это функционирует? Зачем оно?». Счастливая особенность лингвистики — в объекте, язык умеет манипулировать, он умеет гримировать свои функции, умеет выдать одно за другое, умеет внушать, воздействовать, лжесвидетельствовать. Таким образом лингвистам необходимо пройти три этажа: «Как это устроено?» + «Как это функционирует?» + «Как можно всем этим манипулировать?». Иначе говоря, лингвистика — наука сложная, поскольку ее объект оказывается неизмеримо (точнее, на несколько порядков) сложнее объектов других наук, именующих себя точными.

II. Функция внушения, убеждения, воздействия установлена для языка давно. Интересно понять механизмы этой функции. Воздействие может быть прямым, «лобовым»: *Да вы не слушайте! Это же просто глупости!; Какой-же он умница; Задача слишком простая, а Вы ее не решили* и т. п. Это прямое воздействие в основном осуществляется лексическими, словообразовательными средствами — такими, где оценка входит непосредственно в словесную семантику. Однако оценка может быть «спрятана», «замаскирована». Например: *Он получил звание профессора? — Это при его-то знаниях ему*

* Ряд положений, высказывающихся в настоящей статье, обсуждался ранее в связи с докладами автора на следующих семинарах: «Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности». Школа-семинар «Телави-83»; «Семиотические аспекты формализация интеллектуальной деятельности». Школа-семинар «Кутаиси-85»; «Летняя школа по семиотике», Кяерику, 1986. См. соответствующие тезисы этих семинаров.

все-таки дали. Здесь нет прямого положения: *Он мало знает*, про-
позитивная часть семантически минимальна, а ассертивная часть
прячется под пресуппозитивную: факт его невежества всем изве-
стен. Подобные явления мы предлагаем назвать «лингвистической
демагогией». Суть ее — в оценочном воздействии на адресата, не вы-
ражающемся прямо, «в лоб». Попытаемся показать некоторые осо-
бенности такого перлокутивного феномена, а также — что на наш
взгляд более интересно — его социальный генезис.

Как мы полагаем, основной посылкой разбираемых далее «лин-
гводемагогических» феноменов является ощущение социального
одиночества. При нетерпимом отношении к этому явлению возни-
кает установка на создание коммуникативно плотного пространства
без личносно незаполненных лакун. Иначе говоря, за говорящим
индивидом должен стоять некий социум. В случае реальной «не-
заполненности» и/или вербальной невыраженности мнений этого
социума в речевом поведении говорящего манифестируются две
тенденции: построение максимального социума язы-
ковыми средствами и выражение мнения этого со-
циума. Таким образом, «генерируется» позитивная референтная
группа. Как внушает говорящий, эта группа мыслит и полагает так,
как и он, точнее, он говорит и мыслит как и «все они». Поскольку
установочной задачей здесь является плюрализм, то соответствующее
отражение он получает и в языковом употреблении.

1. Одним из первых средств «лингводемагогии» являются так
называемые «универсальные высказывания». Например, *Все муж-
чины подлецы, Не обманешь — не продашь, На всякого мудреца
довольно простоты* и т. д. Характерна здесь неоднократно отме-
чаемая свободная взаимозаменяемость сингуляриса и плюрали-
са. Эти высказывания универсальны, тем самым, согласно теории
К. Поппера, они в принципе неverifiedируемы, а потому и не под-
лежат обсуждению. По нашему мнению, стоящая за ними множе-
ственность отражает не столько множественность фактов, сколько
множественность носителей сознания, передаваемого в подобных
текстах.

2. Универсальные суждения не всегда сообщаются в прямой фор-
ме, в которой они были бы особенно уязвимы, адресату часто пред-
лагаются генерализации. Эти скрытые генерализации часто входят в
высказывания с частицами определенного типа. Например, *Работы
здесь на полчаса, Но ведь они старики*. За этим стоит генерализация:
«Старики не в состоянии быстро выполнить даже и легкую работу».

Мрачный он что-то, И на толстяков порой находит тоска. Скрытая генерализация: «Толстяки обычно жизнерадостны».

3. К универсальным высказываниям, явным или имплицитным, примыкают и высказывания, за которыми стоит понятие нормы. Норма — это скорее результат биологического существования человека и его этикетного поведения; генерализованные же высказывания, скорее, отражают как бы результат коллективного человеческого опыта. В «лингводемагогических высказываниях» имеет место создание как бы общепризнанной нормы, т. е. мнения формируемого социально плотного пространства. Например, *Она уже в десять лет прочла всего Тургенева* (очевидно, в этом возрасте читать Тургенева рано). Некоторые высказывания гримируются под норму (на самом деле обычно социально размытую). Например, *Она даже волосы не красит* (это нужно делать? или уместно оставаться седой?). *Вы моетесь уже полчаса* (А сколько нужно мыться?) и под. Как известно, высказывания типа *Вы даже дверь за собой не закрыли* воздействуют сильнее, чем простой императив: *Закройте дверь!* Частицы также являются одним из активных средств построения квази-нормы формируемого социума. При лингводемагогической установке высказывать свое собственное отношение и мнение, выдавая его за объективную норму, обычно: для каждой субъективной модели существует своя объективная, под которую она гримируется; ср.: *У нее высокая температура. Нужно вызвать врача и Уже восемь часов вечера. Не садиться же работать.*

4. И генерализация, и норма, создаваемая лингводемагогическими средствами, обычно отражают некий всеобщий социум, глобальный человеческий универсум. Более узкий круг множественного и единого мнения создается особым перлокутивным средством, состоящим в мене ассерции и пресуппозиции. А именно — коммуникативная установка, то, ради чего делается сообщение, маскируется под пресуппозицию, под общеизвестный фонд представлений, тогда как формально утверждаемая часть иллокутивно облегчается и содержательно упрощена. Как известно, ассертивное значение высказывания выражается его пропозициональной частью. Это основные компоненты главного предложения, максимально очищенного от контекстно-модальных коннотаций. Оказывается, что наиболее действенным в лингводемагогическом плане является помещение подлинно ассертивного компонента не в пропозициональную часть высказывания. Какие же именно части синтаксической структуры высказывания его заключают?

1) Обстоятельства. Он все-таки пришел после этой своей выходки. Сообщается: «Его выходка была недостойна». Его, при всей его бездарности, все-таки выдвинули в Академию. Сообщается: «Он бездарен, и, что самое главное, это все знают». Несмотря на их отношения, их все-таки послали вместе в командировку. Сообщается: 'У них «такие» отношения'. Естественно, что подобный намек на общеизвестные всем, кроме адресата, сведения, воздействует гораздо сильнее, чем прямое сообщение, например, Он бездарен. Тогда собеседник вполне может возразить: *Что Вы? А мне так не кажется.*

2) Частицы, вводимые в высказывание об индивиде и так же отсылающие к «общему» фонду знаний. Так, введение частицы *ведь* гасит силу пропозициональной ассертивности (и тем самым дискуссионности), делает высказывание более цельным, воспринимаемым как необсуждаемый факт. Ср. *Ведь она жуткая дура!* и *Она жуткая дура!* Сходные функции выполняет и частица *же*: *Он же не знает английского!* *У него же плохое произношение!* и под.

Маскируемая под пресуппозицию ассерция помещается в придаточную часть сложного предложения. Например, *Ему некогда для Вас написать, так как его всюду приглашают.* Сообщается: «Его всюду приглашают».

Во всех указанных случаях воздействие на адресата осуществляется путем отсылки его к создаваемому в процессе коммуникации фантому «общего фонда». Поэтому собеседник не решается оспаривать сообщаемое, уже как бы известное всем, кроме него. Ср. *При его трусости...* и *Он трус.* В последнем случае гораздо больше опасности услышать возражение.

5. Множественность создаваемой референтной группы выражается и в формах глагола-сказуемого типа *говорят, считают, сказали, думают* и т. д., и во введении в качестве обстоятельства-кулисы при подобных глаголах в форме множественного числа обозначения социальной институции, например, *В институте считают, что..., А в классе про тебя говорят, В секторе не любят...* и т. д. (К сожалению, нам пока не удалось решить проблему того, каково реальное соответствие этим создаваемым в коммуникации социумам. То есть: *в институте...* это кто? и сколько должно быть «их»? Каковы их социальные амплуа?).

6. К этому же виду средств «лингвистической демагогии» при- мыкает и распространившаяся в последние годы манера «говорить на «они»», при этом местоимение третьего лица множественного числа употребляется и в том случае, когда беседа шла только с о д -

и им (причем иногда и всем реально известным человеком). Например, *Я была в издательстве «Наука». Они думают дать переиздание моей книги; Зашел я в «Союз композиторов». Они думают пригласить меня на вечер встречи* и под. При этом можно вполне услышать: *Я зашла к ученому секретарю. — Ну, и что тебе сказали? Что они думают?* Подобная структура становится в настоящее время все более активной и вытесняет аналогичную структуру с безличной конструкцией: *В Издательстве хотят сделать то и то; Мне звонили из «Союза композиторов»* и под.

Представляется, что распространяющаяся конструкция с *они* в указанном значении употребляется тогда, когда речь идет об акции непрестижного представителя престижной в целом корпорации: употребление подлежащего *они* вместо безличной конструкции как бы включает в *они* и самых престижных членов корпорации. Так, человек, поговоривший с Президентом Академии наук, вряд ли употребит *они* в этом случае (таким образом мы имеем теперь нечто обратное былому *они*, относящемуся к индивиду — престижной персоне).

7. Как видно из приведенных примеров, множественность как языковая категория совмещается в большинстве подобных высказываний с неопределенностью, нереферентностью как при названии деятеля, так и при названии действия: *Говорят — Кто-то считает — Кое-кто считает — Один человек сказал — Был как-то один случай* и под. Все это хорошо известно из фольклористических исследований так называемых «быличек», т. е. рассказов о необычных сверхъестественных явлениях. Таким образом создаются фантомные члены социума: неопределенность выполняет те социальные «лингвистические функции», что и плюрализация.

8. Широкое употребление форм множественности глагола и имени, а также активное введение неопределенности совмещаются в высказываниях анализируемого типа с особыми формами глагола, так называемого неактуального статуса *Не обманешь — не продашь, Так принято, Один человек рассказывает, Говорят, что...* и под. Эти формы глагола не совмещаются обычно с наречиями-локализаторами типа *мая 1911 года в селе Петрово* и т. д. Подобная несовместимость конкретизирующих наречий с глаголами неактуального статуса является изученным фактом синтаксической семантики.

Таким образом за всеми перечисленными приемами, включающими в себя явления чисто синтаксические, тенденции к предпочтению одних типов высказывания и избеганию других, к выбору

одних грамматических категорий и неупотреблению других стоит все та же коммуникативная программа: плотное заполнение социального пространства при перлокутивной установке на убеждение. Плотный социум выгоден говорящему, который его создает и конструирует его мнение. Таким образом формируемое при помощи лингводемагогических приемов коллективное сознание предстает воплощенным в высказываниях, денотативный статус которых минимально конкретизирован, не соотношен с реальной действительностью.

9. Все сказанное распространяется не только на языковые формы построения позитивной социальной группы и ее мнения. При помощи плюрализации глагольных форм, неопределенности имени и действия, неактуальности денотативного статуса сказуемого может создаваться социум фантомообразного противника, обычно неединичного (ср. множественное и неиндивидуализированное представление русалок, чертей и под.). Существенно, что фантомы коллективного сознания здесь тоже размножены. Даже в науке существуют особые приемы совмещенности в пейоративной номинации неопределенности и множественности типа *Некоторые ученые полагают...*; *В отличие от некоторых лингвистов...* и под.² Таким образом, противостоящий «своему» корпус также плотен и гомогенен.

Если при воздействии на отдельное лицо используются, как мы уже указывали, различные формы создания социума с мнением, совпадающим с мнением говорящего, то при создании негативного плюралиса попользуются особые приемы плюрализации по отношению к поведению адресата. Интересно, что при подобных, часто встречающихся в коммуникации конструкциях, вполне обычный поступок приобретает пейоративную оценку. Это явление было нами названо «мультипликацией». К средствам мультипликации относятся: умножение имен действия, плюрализация действий, плюрализация ситуаций через превращение в итератив благодаря наречиям типа *вечно, постоянно, обычно* и под. Например, *Вот Вы по театрам все ходите, а я дома сижу* — говорится человеку, бывшему в театре, например, один раз. *Вы ведь всегда интересуетесь, сколько кому лет* — говорится лицу, всего однажды задавшему подобный вопрос. Муль-

² Ряд развиваемых в данном месте статьи мыслей переключается с положениями, высказанными А. Б. Пеньковским в докладе на «Реформатских чтениях» 1987 г., посвященном «категории чуждости» в современном русском языке.

типикация обладает свойством снижать и делать обидными даже и внешне комплиментарные высказывания. Например, *Вечно ты в новом платье!* Характерно, что к подобной форме мультипликации единичных поступков примыкают и высказывания с глаголами-сказуемыми типа *любишь, предпочитаешь, привык(ла)* и т. п. Этот вид «негативной плюрализации» также сочетается с неопределенностью (ср. примеры А. Б. Пеньковского «Ходят тут всякие» — при обращении к одному человеку).

И однако — функции позитивного и негативного плюрализма различаются. Правда, в обоих случаях плюрализация направлена против адресата и — как следствие этого — против индивидуального, но при «лингвODEмагогическом воздействии» (убеждении) умножается некий фантомный социум, мнение которого как бы отражается, в случае же негативного плюрализма умножаются поступки адресата, ситуации, когда он вел себя, по мнению говорящего, негативным образом.

10. В отношении к отдельному индивиду «лингвODEмагогической» тенденцией является мультипликация его поступков, оценивающихся как негативные, хотя бы подобный поступок и был однократным. Это приводит к тому, что уже сама по себе мультипликация, отнесенная даже к нейтральному поступку, как бы делает этот поступок если не негативным, то странным или курьезным (например, я была свидетелем обиды по поводу фразы *Вы обычно любите в командировках зубную пасту покупать*).

Другой стороной той же тенденции является упрощение характеристики адресата, не мультиплицируя признаки, а напротив, минимизируя их. Это можно назвать стремлением к характеристике одним знаком. Так, в частности, происходит характерологическое склеивание ряда оценочных прилагательных, по сути не являющихся синонимами. Нами был собран не приводимый в настоящей статье подробно материал (данные Словарной картотеки словарного сектора Института языкознания АН СССР) по употреблению трех пучков оценочных прилагательных: тихий — скромный, волевой — энергичный, пустой — легкомысленный. Все эти пары-связки совсем не синонимичны. Человек скромный по существу своему может и не быть тихим, внешне тихий может быть жестоким честолюбцем, энергичный человек вполне может быть безвольным, а волевой — сдержанным, мало тратящим энергию. Однако, как видно по данным картотеки, это объединение в одну характеристику встречается у большинства писателей. Тенденцию к разрушению

клише встретили мы только у И. С. Тургенева: *Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно («Первая любовь»); Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом («Дворянское гнездо»); Он замечательно умный человек, хотя, в сущности, пустой («Рудин»); Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице («Дворянское гнездо»).*

Названные пучки оценочных прилагательных-характеристик употребляются в основном в функции предиката или легко могут быть трансформированы в предикат в этом значении. Глубокое коммуникативное различие идентификации и предикации подчеркивалось неоднократно и разными авторами. Действительно, коммуникативные усилия на предикацию и идентификацию затрачиваются разные: так, в любой «средней» беседе огромное значение придается точности идентификации объекта речи, хотя бы объект назывался только для примера и был в сущности для развития беседы безразличен. Иными словами, коммуникативная значимость предиката бывает затемнена и/или аннулирована идентификацией субъекта. Здесь напрашивается аналогия с оценочными характеристиками неодушевленного объекта, которого обычно характеризуют по одному признаку (например, *высокий*), хотя у него есть и другие измерения. Так и за человеком при коммуникативной характеристике обычно закрепляется одна какая-то черта, которая и сообщается. Таким образом, обилие оценок, предоставляемое лексическим богатством прилагательных, в коммуникативном плане сводится к небольшому числу базовых штампов. Это способствует нивелировке характеризуемых индивидов и большей свободе манипулирования социальными ролями. Эти тенденции опять возвращают нас к «лингводемагогической» идее обязательного создания плотного коллективного социума.

III. «Лингводемагогические тенденции» можно усмотреть в коммуникативной манипуляции лексической многозначностью. Например, слово *настоящий* означает не только «соответствующий какому-то эталону, подлинный», но и «позитивный» с очень явной оценкой: *Гордость и мужество — основные качества настоящего человека — тот, кто не имеет этих качеств, недостоин уважения.* Это слово — *настоящий* часто в коммуникации закрепляется за абстрактными родовыми понятиями вроде *человек, мужчина, женщина, ребенок* и постепенно становится, употребляясь в коммуникации, неким средством семантики убеждения, аналогичным универсальным высказы-

ваниям, т. е. неверифицируемым коммуникативным приемом. Например (из словарной картотеки ИЛИ РАН): *Как все настоящие ученые, он был романтиком.* По сути это не вполне очевидно, может быть настоящим ученым и суховатый человек, но слово *настоящий* в подобных контекстах оказывает гипнотическое действие.

Еще больше можно сказать о слове *жизнь*. Именно лингводемагогическим приемом является указание на собственно максимальную приближенность к жизни, к реальной структуре мира. Небезынтересно, что как антипод этому сознанию обычно предстает образ некоего мечтателя-ученого, абсолютно далекого от соотнесения с действительностью. Этим обобщенным образом чаще всего бывает тип ученого-астронома или химика. Между тем именно астрономам принадлежат максимально точные и конкретные открытия. Так, открытие планеты на «кончике пера» есть плод оптимальной и точной включенности в действительность. Все факты подобных открытий обычно регистрируются в виде высказываний с языковыми показателями дейктического и конкретного актуального характера. Например, *В перигелии своей орбиты Плутон получает от Солнца света и тепла в 890 раз меньше, чем Земля, а в афелии в 2450 раз меньше* (БСЭ, 2-изд., т. 33, с. 302) ср. здесь языковые показатели определенности, актуального глагольного статуса, денотативной референтной приближенности и личной соотнесенности актантов.

Итак, в данном случае мы имеем дело с разными значениями слова *действительность* (*реальность, жизнь* и под.). С одной стороны, действительность — это окружающий нас материальный мир, а с другой стороны, житейские будни, повседневные приземленные заботы. Таким образом «далекие от жизни» астрономы максимально приближены к конкретной действительности в первом смысле, а создающие фантомные социумы носители «лингводемагогического» поведения — во втором смысле. Точнее, в реальном речевом употреблении обычно представлено перлокутивное изменение: перемещение квалификаций одного типа на объекты, принципиально оценивающиеся другим способом. Эта транспозиция атрибутивных моделей и создает мифологемы социальной оценки.

В настоящей статье было перечислено лишь несколько способов «лингвистической демагогии», т. е. воздействия посредством оценки, осуществляемого не прямым, «лобовым» способом, которые, как нам казалось, нам удалось заметить. Несомненно, что дальнейшие исследования углубят и расширят эту пока только намеченную область лингвистической коммуникации.

О ГРАММАТИКЕ НЕЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Очевидная строгость и логичность метода описания, предлагаемая структурной лингвистикой для описания естественных языков, уже давно оказалась крайне привлекательной для исследований более широких — унифицированного изучения всех средств человеческой коммуникации. Средства эти крайне разнообразны и специфичны как по средствам выражения, так и по составу, типу и функционированию знаков — современная семиотика по существу нуждается только в своде знаний, в компендиуме нового типа. Наиболее удобным из достижений собственно лингвистических явилось выделение уровней, внутри которых единицы высшего уровня складываются из единиц низшего уровня, а для каждого уровня как такового — выделение инвариантных единиц, манифестирующихся в непосредственном общении — в виде некоторых аллоединиц, выбор которых определяется их окружением — дистрибуцией. Стройная система инвариантов, аллоединиц и уровней оказалась универсальной и пригодной для более широких обобщений. Именно на этом построена классическая книга К. Пайка [Pike 1954]. Пафос этой книги — не в определении специфики языка «в отношении к общей теории структуры человеческого поведения», — напротив, автор ставит естественный язык в один ряд с другими коммуникативными системами и показывает сходство этих структур. Таким образом, вводится общая идея различения эмического и этического в системе коммуникации, идея различения аллоединиц, манифестирующих единицы эмического уровня, а также идея различения трех аспектов (modes) коммуникативных единиц — субстанционального, манифестационного и дистрибутивного. Таким образом, языки, совпадающие по типу дистрибуции, могут отличаться по субстанции и т. д.

Многочисленные описания разных систем и аспектов человеческой коммуникации, построенные на базе общей теории знаков,

оказались успешными и сопоставимыми¹. Однако во всех этих исследованиях делались ссылки на собственно языковую систему как наиболее изученную и изначальную (как объект исследования). Между тем именно теперь, может быть, было бы целесообразно поставить вопрос о специфике естественного языка как коммуникативной системы *sui generis* и в дальнейшем — искать различия в коммуникативных системах не только по их субстанции, но и по различию в системах. При этом не исключается заранее возможность общего противопоставления языка, с одной стороны, и неязыковых коммуникативных систем — с другой².

Каково может быть значение таких исследований? Прежде всего, необходимо знать, все ли выразительные возможности, существующие в естественном языке, возможны и допустимы для «языков» иного плана. Если ответ окажется отрицательным, то сама идея грамматики неязыковых коммуникаций окажется модифицированной, а непрерывные поиски аналогий с естественным языком заранее излишними. Таким образом грамматика естественного языка не будет являться системой — эталоном, через которую описываются другие системы, а представит собой особый случай, крайний по сложности модифицированный вариант этой еще не выведенной грамматики коммуникаций.

О специфичности грамматик неязыковых систем коммуникации писал еще Э. Сепир: «По своей структуре они (т. е. средства человеческой коммуникации — *T. H.*) значительно менее сложны, чем собственно язык» [Sapir 1951]. Позднее об этом свойстве писалось неоднократно, однако в самом общем виде.

Более конкретно вопрос о принципиальном различии системы естественного языка и других человеческих коммуникаций был поставлен Ч. Фёгелином [Voegelin 1958]. Это различие Фёгелин видит прежде всего в соотношении грамматики и словаря. Если в естественном языке словарь есть «собственно аппендикс грамматики, список основных исключений», то в языке знаков наблюдается обратное — грамматика как таковая является аппендиксом (т. е. неким

¹ Из советских исследований такого рода см. [Труды... 1965], а ранее — [Симпозиум 1962].

² Разумеется, системы, представляющие лишь перекодирование собственно языковых высказываний (азбука Морзе) в данном случае не учитываются. Речь будет идти об автономных по отношению к естественному языку средствах коммуникации.

необязательным добавлением) к словарю. Минимальным уровнем в знаковой системе Ч. Фёгелин считает морфемный.

Аналогия между языком и неязыковыми средствами коммуникации в грамматическом строе основана, как представляется, на некотором, быть может, бессознательном упрощении понятия грамматики. Рассмотрение семиотических описаний показывает, что грамматика при разного рода семиотических типологиях фигурирует иерархически упрощенной в виде трех совокупностей:

- 1) совокупностей минимальных незначащих единиц (нечто вроде фонем, но, по существу, это не фонемы);
- 2) совокупности значащих единиц, строящихся из минимальных незначащих единиц — т. н. «морфем»;
- 3) совокупности правил сочетания и выбора единиц обоих уровней — нечто вроде дистрибуционного синтаксиса.

Разумеется, это трехаспектное представление грамматики выведено нами интуитивно, в явном виде оно не сформулировано, и потому в известной степени его существование бездоказательно.

Если опираться на такое, до предела обобщенное представление о грамматике естественного языка, то разница между языковыми и неязыковыми системами человеческой коммуникации не будет ощутимой. Именно таковы фонемы и морфемы, выделяемые в книге Пайка (см. выше).

Однако естественный язык представляет собой неизмеримо более сложное явление. Прежде всего это относится к двум его особенностям — наличию специальных реляционных единиц, не передающих единицы окружающей действительности, но лишь отношения одной значащей единицы к другой и, во-вторых, наличию параллельных способов выражения: 1) комбинацией значащих единиц и 2) комбинацией значащих единиц и реляционных.

Эти реляционные единицы прежде всего выражаются в морфологии: посредством их передаются категории числа, времени, падежа и т. д. Однако сами они, взятые изолированно, не имеют значения по своей самой сущности. Широкое употребление слова «морфема» в применении к единицам неязыковых коммуникативных систем привело к некоторому смешению основных понятий. А именно — представляется необходимым (чтобы избежать опасности разночтения одних и тех же терминов) различать морфемнику и морфологию и, соответственно, их исходные единицы. Так, можно считать морфему минимальной единицей языка [Bloomfield 1933] (как это было принято в так называемой дескриптивной лингвистической традиции),

тогда морфемика есть совокупность этих значащих единиц графемы или фонемы — низший уровень, а высказывание — высший уровень, точнее последовательность морфем. В этом смысле естественный язык может не отличаться от неязыковых систем коммуникаций.

Однако в другом понимании морфема есть единица морфологии, выражающая определенные грамматические (морфологические) категории — в этом случае вся грамматическая система смещается: высказывание есть последовательность слов, а не морфем, словообразование выделяется как самостоятельная часть грамматики и т. д. Сомнительно, чтобы морфология, понимаемая в этом последнем смысле, была представлена в неязыковых системах коммуникации. Морфемы как единицы метаязыка являются абстракциями высшего порядка — путь многих языков есть путь грамматикализации первоначально лексических единиц. Характерно, что так называемые корневые морфемы, собственно и передающие элементы действительности, не представляют центрального интереса в сфере морфологии. Это неразличение морфемы как единицы морфемики (см. выше) и морфемы как единицы морфологии ведет уже к неясностям и при собственно лингвистическом описании. Так, считая морфему единицей морфологии, трудно принять существование так называемых интонационных морфем; не различая же морфемiku и морфологию, с таким терминологизированием спорить трудно.

Таким образом, представляется, что грамматика неязыковых коммуникаций должна быть упрощенной — в частности, не различать морфологию и словообразование: т. е. не обладать особыми словоизменятельными и деривационными морфами.

Иначе говоря, анализируя язык и грамматику несобственно лингвистической системы коммуникаций, возможно исходить из презумпции, что этот «язык» не может быть флективным, точнее, что ему неизвестна фузия.

Не различаются в таких грамматиках и специальные классы слов указателей и актуализаторов типа предлогов, артиклей и т. д. Таким образом, если идти далее, в грамматике неязыковых коммуникаций не должны различаться грамматические классы слов, подобные частям речи в естественном языке. Возможное различие в знаках, напоминающее классификацию рода, будет аналогией классификации по частям речи лишь в том случае, когда части речи рассматриваются лишь как семантические классы. Однако при отсутствии собственно грамматических признаков оформленности слова как вы-

разителя некоторой грамматической формы, необходимость в различении классов слов — частей речи — исчезают, и знаки «делать», «хороший» «стол» и т. д. становятся грамматически равными.

Итак, какой же представляется грамматика неязыковых коммуникаций, рассматриваемая а priori?

1. Существуют некоторые минимальные исходные незначащие элементы, («фигуры», по Ельмслеву).

2. Существуют исходные значащие единицы, комбинации незначащих единиц. К этим значащим единицам, быть может, крайне осторожно нужно применять слово «морфемы». Слово «бехевиоремы» также не является пригодным в данном случае, поскольку речь идет о системах коммуникации, т. е. об обусловленных знаках, а не об элементах человеческого поведения. Так, *закуривание сигареты* слагается из бехевиорем, но не морфем (кроме случаев особых криптограмм).

3. Сочетание этих значащих единиц составляет высказывание, передающее отношение к действительности и отношение значащих единиц друг к другу.

4. Сочетание этих значащих единиц может обозначать единицу той же системы (но не высказывание). Таким образом различаются первичные, минимальные единицы и единицы составные.

В грамматике такого рода различаются два основных грамматических способа — слово- (или морфо-) сложение и словорасположение. Т. е. должны существовать способы различать «водопровод» и «воду проводят».

Однако рассмотренные таким образом грамматики неязыковых коммуникаций могут эволюционировать во времени. Эволюция должна происходить в появлении все более обобщенных значений у ряда значащих единиц, — т. е. должна иметь место грамматикализация. Эта грамматикализация может привести к появлению собственно грамматических классов — иероглифов, в отличие от первичных пиктограмм. Полученный язык нового типа может приближаться к аналитическому языку, но не к флективному. Последнее объясняется принципиальной особенностью звучащей речи — сукцессивный поток минимальных незначащих единиц под воздействием факторов самой системы плана выражения оказывает влияние на перераспределение, разложение и комбинацию этих единиц — звуков, в результате чего создаются сложные сочетания значащих единиц (см. объяснение этих процессов в работах Бодуэна де Куртене — Крушевского).

Анализ типов жестовой коммуникации, в частности, показывает близость имеющихся отношений к предложенным гипотетически выше. Так, Кребер, описывая язык жестов индейцев Америки, приводит примеры грамматических конструкций [Кроебер 1958]: множественное число выражается добавлением «всё», время выражается лексически, отрицание выражается специальным знаком, третье лицо отсутствует, императив как категория отсутствует.

Интересно в данном случае, выражение абстрактных понятий. Так, «злой» выражается как сумма понятий «мозг» + «вращаться»; «осень» — «—» — «—» — «—» — «—» — «дерево» + «лист» + «падать»; «холостяк» — «—» — «—» — «—» — «—» — «человек» + «жениться» + «нет»; «пушка» — «—» — «—» — «—» — «—» — «—» — «ружье» + «большой»; «развод» — «—» — «—» — «—» — «—» — «—» — «—» — «—» «женщина» + «выбрасывать» + «прочь»; «отсутствовать» — «—/—» — «—» — «—» — «—» «сидеть» + «нет» и т. д.

Принципиально внутренняя форма сложного слова — абстрактного понятия не обусловлена. Так, одно и то же понятие в одной коммуникативной системе может быть сложным, производным, а в другой — простым, производящим. Например, понятие «массы» в языке монахов-траппистов складывалось из знака хлеба + знак вина + знак креста, а в жестовом языке монахов-бенедиктинцев просто выражалось знаком креста [Paget 1935]. Таким образом, при передаче собственно языкового высказывания средствами других человеческих коммуникативных систем происходит принципиальное перекодирование с переводом грамматики на содержательном уровне. Так, например, выглядит перевод английской фразы на языке жестов: *While you were dancing there I was weeping here alone* — «вне» + «Вы» + «танцевать» + «одна» + «я» + «здесь» + «плакать».

В связи с этим уместно поставить вопрос — не является ли естественный язык специфическим, принципиально отличным по своей грамматике от любых средств человеческой коммуникации, по своей грамматике в свою очередь совпадающим: так, «язык науки» в принятом его понимании и в применении к любой абстрактной или конкретной науке также обладает лишь средствами сложения и расположения элементов. Именно по структуре выражения элементов отличается система родства, не располагающая иными средствами отношения элементов.

Различие в грамматике делает в свою очередь весьма сложным семиотическое определение высказываний, состоящих из смешанных кодов — собственно языкового и сопровождающего его или

пересекающегося с ним кода другой коммуникации. А именно — это может быть речевое высказывание, комбинируемое с жестом — знаком³, письменное высказывание, комбинируемое с формулой, или сопровождающим рисунком, речевые команды, сопровождаемые флажками, знаками и т. д. Вероятно, в таком случае такое креолизованное высказывание, части которого суть представители знаковых систем с принципиальной грамматикой, будет приравнено не к языковой, но к неязыковой коммуникативной системе и иметь грамматику по типу, гипотетически выведенному выше.

Список литературы

- Николаева, Успенский 1966 — Николаева Т. М., Успенский Б. А. Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.
- Симпозиум 1962 — Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962.
- Труды... 1965 — Труды по знаковым системам. II. Тарту, 1965.
- Bloomfield 1933 — *Bloomfield L. Language*. N. Y., 1933.
- Кroeber 1958 — Kroeber A. L. IYAL., 1. 1958.
- Paget 1935 — *Paget R. Sign language as a form to speech*. London, 1935.
- Pike 1954 — *Pike K. I. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior*. P. 1. Glendale, 1954.
- Sapir 1951 — *Sapir E. Communication // Selected writings of E. Sapir...* Berkeley; Los Angeles, 1951.
- Voegelin 1958 — *Voegelin C. F. Sign language analysis: one level of two? // International Journal of American linguistics*. V. 1. 1958.

³ О различении знаковой и незнаковой функций явлений, сопровождающих речь, см. [Николаева, Успенский 1966].

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 30-х ГОДОВ XX ВЕКА: ФАНТАЗИИ И ПРОЗРЕНИЯ*

I

1. Конец эпохи, как правило, характеризуется подведением итогов, уточнением набора сменявших друг друга парадигм. Межвоенная эпоха в России сейчас обычно связывается с Московским лингвистическим кружком, ОПОЯЗом и, конечно, с серьезными исследованиями в компаративистике и конкретных областях языкознания. Межвоенное языкознание Германии известно у нас мало и еще реже сопоставляется с российскими теориями того же времени.

Поэтому сейчас, стараясь, насколько это возможно, сохранять объективность, имеет смысл сопоставить одно достаточно четко обозначенное, но полузабытое направление немецкой лингвистики (Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн — известные как «телеологи») ¹ и общелингвистические концепции наиболее значительных представителей так называемого «нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, В. И. Абаев, С. Д. Кацнельсон и др.) ². К сопоставлению побуждает здесь многое: представители обоих направлений были примерно одного возраста, многие из них успешно начинали работать перед Первой мировой войной, имея превосходную подготовку в области древних языков и древних культур, основные их теоретические ра-

* Подробный вариант предлагаемого анализа печатается в швейцарском издании и является частью швейцарско-русско-чешского проекта, посвященного изучению лингвистики 1920—1930-х годов в Европе.

¹ Из работ, специально посвященных этому направлению, нам известны только труды А. Адамска-Салачак [Adamska-Salaciak 1986; 1989].

² Необходимо заметить, что нам удалось ознакомиться далеко не со всеми трудами анализируемого направления, поэтому многие факты хронометрируются лишь пунктирно.

боты написаны в конце 20-х годов и в 30-е годы, т. е. основная эпоха их творчества — между Первой и Второй мировыми войнами. Наконец, время первых — тоталитарная фашистская Германия, время вторых — тоталитарная советская империя (и никогда так близко не сходились идеологии этих стран, как именно в это время).

Разумеется, интерес представляет возможное типологическое сходство их теоретических *credo*, во-первых, и интерес к тем или иным фрагментам языковой структуры и речепорождения, во-вторых.

2. Время выхода на научную арену для В. Хаверса — 1911 г. [Havers 1911], для В. Хорна — 1908 г. [Horn 1908], для Э. Херманна — 1912 г. [Hermann 1912; 1914]. Разумеется, это было время еще явного господства и утверждения младограмматических идей.

Сам Н. Я. Марр начинал свою научную деятельность как кавказовед-востоковед. Он обратил на себя внимание как блестящий интерпретатор древнейших грузинских и армянских текстов. (В 1908 г. им созданы «Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка».) Участвовал во многих археологических экспедициях. В 1911 г. в Париже Марр работал над этрусскими текстами. Одна из первых его ярких теорий — отрицание чистоты индоевропейской принадлежности армянского языка. Десять работ Н. Я. Марра начиная с 1915 г. посвящены халдскому языку, древним клинописным надписям Вана. В это же время он занимается и шумерским, месопотамской клинописью и др. Одной из основ марризма является положение о «третьем этническом элементе» — яфетическом.

Первые работы И. И. Мещанинова датируются 1909 годом. Правда, это описи и описания древнерусских грамот в петербургских собраниях, но уже с 1917 г. он вполне сложившийся востоковед (так, он публикует статью об эламских древностях в «Вестнике археологии и истории» за 1917 г.).

3. Древние языки были вообще предметом изучения и исследования для ученых обоих направлений. Прежде всего для «телеологов» это было великолепное знание древнегреческого [Hermann 1943], включая и гомеровский греческий [Hermann 1914; 1943a], и раннегреческие диалекты [Hermann 1912]. Знание латинских фактов — на том же уровне [Hermann 1943]. Безусловное знание общеславянских фактов, видимо, пассивное знание русского языка и русских диалектов. Для Херманна — особо: глубокие исследования прусских материалов [Hermann 1948a; 1949], превосходное знание

литовского и литовских диалектных фактов [Hermann 1948; 1948b; 1949], для Хорна — знание древнеанглийского и готского ([Horn 1908; 1950] и др.), для Хаверса — типичный для тех лет блестящий комплекс знаний индоевропеиста ([Havets 1911; 1931] и др.).

И. И. Мещанинов — также исследователь древности: урартолог, кавказовед и тюрколог, исследователь древнейших клинописных текстов халдов и урартов, древних памятников доисторического Азербайджана. Интересы его охватывали не только языковые факты, но и изображения, каменные статуи, доисторическую керамику Китая, древние кромлехи, циклопические сооружения Закавказья, даже вопросы ирригации в древних культурах. Он создавал и теорию раскопок и анализировал собственные имена огромного региона древнего Востока (см. [Список 1937]).

4. Для обоих направлений характерен интерес к «экзотическим» языкам и культурам и к невербальной стороне человеческой коммуникации. И в том, и в другом случае этот интерес определялся целевой установкой на поиск движущих механизмов возникновения человеческого языка вообще, на выявление его эмбриональных, первичных элементов, на явную (у марристов) или подспудную идею о единстве глоттогонического процесса и единонаправленности языковой эволюции.

Для «телеологов» невербальная сторона коммуникации была важна, во-первых, со стороны «семиотической», т. е. как возможность изучения звуковых сигнальных систем экзотических племен, а во-вторых, и с точки зрения теории интонации как языковой подсистемы, которая (теория) только начинала тогда развиваться и которая, в сущности, сводилась тогда к месторасположению так называемого «тона». Древние формы языка вообще были связаны с тоном, звуком, дописьменной оболочкой, поэтому телеологам были интересны и разные формы невербальных звуковых сигналов (Schallsignale) у племен Африки и островной Америки [Hermann 1943].

Для сторонников же «нового учения о языке» именно жестово-мимический язык был первичным вообще. Они подчеркивали, что на некотором этапе звуковая речь сосуществовала с кинетической, которая и была исходной. Жестово-мимическая речь приравнивалась к пиктограммам, которые, в свою очередь, трактовались не как знаки, а как целые высказывания [Мещанинов 1931]. Итак, самым ранним периодом коммуникации яфетидология, т. е. «новое учение

о языке», считает невербальный язык: «В языковом материале установлены ясные пережитки периодов иного способа общения, путем жестов и мимики» [Мещанинов 1930: 8]. Поэтому в их работах подчеркивается, что путь к развитию идей происхождения языка идет от изучения древних языков к поиску языков-примитивов [Мещанинов 1929: 47]. Например, строгий германист С. Д. Кацнельсон пишет о меланезийских и австралийских языковых фактах, о языках индейцев Америки.

Иначе говоря, они пытались исследовать ретроспективу — тропу от языков далекой, но зафиксированной древности к некоему эмбриональному состоянию человеческой речи. Вполне очевидно теперь, что новые данные и теории о происхождении языка и данные реконструкции того или иного «праязыка» в лингвистической теории не «стыкуются», разделены некоей «завесой», пройти сквозь которую современные методы не всегда позволяют (см. об этом: [Николаева 1996]).

Для «нового учения о языке» безусловной была установка не на отдельные семьи языков, а на единство эволюционного процесса, и это многократно подчеркивалось. Задача выявить единство «всех языков земного шара» понималась как *conditio sine qua non*. Значительно и то, что немецкие ученые в межвоенную эпоху — в духе времени — стали привлекать «экзотические» факты: языков Южной и Северной Америки, островов Меланезии и Полинезии, австралийских диалектов [Havers 1946; Hermann 1943a].

5. Какими же представлялись те минимальные первичные элементы, из которых впоследствии создавались разветвленные и семантически сложные системы языков более поздней эпохи?

Э. Херманн видит начало звукового языка в междометных вскриках неопределенной семантики. Языковая древность, по его мнению, должна существовать в виде неопределенных и неформленных *Wortern*, такого уровня, который понимают и дети. Но каждое из этих «междометий» имело консонантную опору (*Stammlaut*), которая в дальнейшем модифицировала сопровождающий вокал, становясь формой CV, таких модификаций становилось все больше и они приобретали более ясное функциональное значение, как правило связанное с указательностью [Hermann 1943: 15]. Самой древней единицей он считает *wo-* «где», которая по-разному воплощается в и.-е. языках. Поэтому само возникновение языка, как он считает, начинается с однословных вопросов. Почему же именно с вопро-

сов? — Человек хотел убедиться в том, что ему оставалось неясным. Вопрос всегда связан с повышением интонации, а однословные вопросительные слова, помещаясь в начале, притягивают к себе высокий тон [Hermann 1942: 367].

Таким образом, для телеологов первичными были мелкие словечки протяженностью не больше слога, вначале вопросительные, затем указательные, они далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова-местоимения. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. Согласно концепции цитируемых исследователей, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности является синтаксис. (Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще — на становление морфологии.)

Как уже говорилось, для идеологов «нового учения о языке» развитие языка начинается с длительного периода кинетической, незвуковой речи. Звуковая речь рождается из ритуальных звуков магического характера. Первичный звуковой комплекс, по мнению марристов, не имел значения, он сопровождал кинетическую речь. Затем далее появилась звуковая речь, разлагавшаяся не на звуки — и уж никак не на фонемы, — а «на отдельные звуковые комплексы. Этими цельными комплексами еще не расчленившихся звуков и пользовалось первоначально человечество как цельными словами» [Мещанинов 1929: 181]. Первичных речевых элементов было четыре, они были везде и были «асемантические», т. е. прикреплялись к любому смысловому комплексу. Ставши потом членораздельными, эти комплексы выделили четыре первичных элемента (*сал, бер, рош, йон*) и только потом, когда «культурное состояние человека достигало определенной высоты, постепенно вели к выделению фонем и к дальнейшему продвижению начинающегося процесса словотворчества. Поэтому бессельны всякие поиски единой прародины зарождения человеческой звуковой речи» [Там же: 182]. Эти легендарные четыре элемента сначала считались чисто тотемными именованьями, и даже показатели флексиионного типа возводились к ним же, то есть к тотемам. Однако потом гибкая — в духе времени — теория марристов пересмотрела это и выявила, что они «были изначально не племенными названиями, а терминами иного порядка, приближающимися к основным выкри-

кам человека» [Мещанинов 1926: 6]. Ранее в этой же книге он говорит о том, что «определенные народы *рошат, салят, берут, ионят* в различных значениях говорения и действия» [Мещанинов 1926: 6].

Однако, как и телеологи, марристы опирались на первичную огромную роль неких «местоименных» элементов, образующих потом глагольные и именные флексии. Существенно то, что этот «пассивный местоименный элемент вначале не был ни глагольным, ни именным, а позже мог быть использован и для образования глаголов, и для образования имен. Тем более что эти частицы обнаруживаются в индоевропейских языках в былом значении притяжательных частиц неотчуждаемой принадлежности» [Кацнельсон 1936: 97]. Остается неясным вопрос: эти пассивные местоименные элементы тоже должны были быть сведены к пресловутым четырем «основным выкрикам человечества» или они возникали сепаратно?

Итак, для марристов первичными были трехзвучные структуры: *сал, бер, рош, йон*, изначально — ритуально-тотемного значения. Из них происходили все остальные, причем возможна была их многократная редупликация в усеченной форме. Поэтому интерес к семантике, в понимании марристов — палеосемантике, был связан с самыми первичными элементами человеческого восприятия. Нужно сказать (выходя за пределы установки на позитивистскую объективность нашего изложения), что именно в области палеосемантики фантазии наблюдались безбрежные: например, все названия птиц сводились к концепту «небо», выявлялся комплекс: *женщина — рука — вода* и т. д.

Сторонники «нового учения о языке» обычно декларировали результаты исследований через соответствия основным положениям самой же марристской теории. Создание точных методов здесь, как правило, представлялось делом будущего. Очень характерны в этом смысле слова Мещанинова, безусловно ощущавшего необходимость хоть какого-то объяснения для выведения (обнаружения?) «пресловутых» магических элементов: «Спрашивается, как возникли эти четыре элемента и какое объяснение им дается? Категорически полный ответ дать пока трудно, так как мы вынуждены углубляться в состояние человечества, о котором сейчас человек уже забыл» [Мещанинов 1929: 175]. Ответ, вполне достойный жреца упоминаемого им периода!

6. Вся теория сторонников «нового учения о языке» опиралась на синтагматику (парадигматическая ориентация языкознания прихо-

дит позже). Как уже говорилось, центральным пунктом системы эволюции, предлагаемой обоими направлениями, является синтаксис. Синтаксис был краеугольным камнем в «новом учении о языке» и отправной точкой для диахронических разработок. Опираясь на motto теории о том, что «морфология лишь техника для синтаксиса» (в соответствии с разделением в языке идеологии и техники), марристы разработали положение о «синтаксической технике». Для самого Марра синтаксис был в начале языковой истории некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантические звуковые комплексы. В этом пространстве было много нерасчлененного и неосознанного в полном параллелизме с мышлением первобытного общества. Поэтому важно понять, что в рамках этой теории высказывание понималось непосредственно и как таковое, без расчленяющей на языковые элементы ментально-когнитивной процедуры. «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н. Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием» [Кацнельсон 1949: 36]. Иначе говоря, центром теории является не слово, а предложение. «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 41]. Иначе говоря, синтаксис не мыслился вне связи с конкретным мышлением человечества на разных его стадиях. «Новое учение о языке» категорически отрицало подлежащее вообще и сказуемое вообще.

Итак, именно синтаксис, точнее, высказывание является для представителей «нового учения о языке» центром языковых изменений и ареной их реализации. Очевидно, что «парадигматическое мышление», ставшее центральным в лингвистике в последующие десятилетия, еще считается для них второстепенным. Как уже говорилось, звуковая речь начинается, по Н. Марру, не только не со звуков, но и не со слов, а с предложения. Предложение — это мысль активная, в отличие от пассивной. Из предложения выделяются члены предложения, затем оформляются слова, потом — грамматический строй. Далее, как пишет С. Д. Кацнельсон: «Не слова составлялись из готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» [Там же: 16]. Из предшественников «нового учения о языке» отмечало и принимало А. А. Потемню, который «с огромной силой подчеркнул роль предложения как стихии, где совершаются все грамматические процессы» [Кацнельсон 1939: 1].

Наиболее подробно процесс первичного вычленения компонентов синтаксического целого изложен И. И. Мещаниновым в монографии «К вопросу о стадильности в письме и языке»: «...постепенно вырабатывался новый способ конструкции речи, использовавший для характеристики данного слова другие слова своей же речи, могущие придать требуемый оттенок, иначе самый смысл фразы оставался бы непонятным. Выделились так называемые вспомогательные слова, присоединение которых к другим выявляло действующую роль последних во фразе. И тогда как слова росли в своем объеме, превращаясь в процессе скрещения в многосложные, вспомогательные частицы сохранялись в своей более архаичной форме односложных слов, и, таким образом, при построении фраз упор стал делаться уже на эти функциональные частицы, осмыслявшие построение фразы оттенком служебной роли каждого входящего в ее состав слова. Следовательно, упор стал делаться на те односложные слова, которые обратились в вспомогательные частицы и которые постепенно утрачивали свое самостоятельное значение когда-то бывших слов. Благодаря этому упор стал делаться уже на слоги» [Мещанинов 1931: 63].

Иначе говоря, основной идеей марристов была идея непрерывного членения на подсмыслы первичного нерасчлененного смыслового комплекса и непрерывной их грамматикализации и дифференциации. Разумеется, богатый материал здесь давала и ранее известная энантиосемия языков древности.

Семантический аспект «нового учения» был разработан в трудах В. И. Абаева, введшего понятие «идеологическая семантика», или «идеосемантика» [Абаев 1934]. Идеологическая семантика — это не этимология, как можно подумать первоначально (хотя этимология, по его утверждению, «вскрывает идеосемантику»), — это нечто близкое к тому, что теперь принято называть «картиной мира». Согласно концепции В. И. Абаева, люди в процессе взаимного осознания и наречения мира сходным образом смотрят на явление, оно именуется в соответствии с «идеологией». Впоследствии эта внутренняя форма идеологии «выдыхается» и происходит «технизация». Для новых людей идеология уже неощутима. Так, сама грамматика, по мнению Абаева, есть результат технизации: «Самое существование грамматики как системы есть прямой результат технизации» [Абаев 1995: 51]. Но в каком-то смысле эта технизация, «выдохшаяся» идеология, есть для общества благодеяние, так как она экономит его силы. Поэтому процесс технизации влечет за собой, по Аба-

еву два последствия: закон социализации и закон преемственности [Абаев 1995: 57]. Интересно, что Абаев так же, как и телеологи, исследует принципы аналогии и принцип фонетических законов «без исключений». Здесь он так же точно, как и они, обращается к идеям Г. Шухардта о важности частотности слова в коммуникации [Там же: 57—59]. Пожалуй, именно В. Абаев оказывается наиболее близким немецким телеологам. Системность языка, по его мнению, есть результат технизации, а в древности практически языки состояли из «исключений». Дело в том, что «каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации» [Там же: 61]. Сходные идеи высказывает и С. Д. Кацнельсон; он подчеркивает, что именно самые повседневные, элементарные понятия человеческой жизни связаны с супплетивизмом — т. е., иначе говоря, с набором исключений [Кацнельсон 1936: 13].

Идея языкового развития, таким образом, была как бы обратной «порождающей грамматике» генеративистской школы и обратной той картине строения языковой системы, которая общепринята при обучении будущего лингвиста: не из четко дифференцированных по функции «кирпичиков» нижнего уровня строятся единицы более высокого уровня, а, напротив, из диффузного «синтаксического дыма» начинает на протяжении веков что-то вычленяться и вырисовываться как оформленная дискретизированная цельность. Попытка проследить именно такой путь языкового развития была предпринята В. Хаверсом в работе о языковом табуировании [Havers 1946]. Интересно заметить, что именно в этой большой работе используется очень много русского материала, в основном по трудам Д. Зеленина. Описывая «первобытный» способ мышления и видения мира, В. Хаверс четко разделяет *причины* табуирования, что именно табуируется и то, *каким образом* происходит табуирование. То есть он старается через язык проникнуть в то, что можно назвать «душой» народа.

Однако понятие «народ» у телеологов явно не совпадает с привычным русским словоупотреблением. По их мнению, народ (*das Volk*) — это обозначение некоей людской общности на примитивных ступенях развития, но у культурных народов это низовые слои (*als Volk gilt die Gesamtheit auf primitiven Stufen, die Unterschicht bei Kulturvolkern* [Havers 1931: 30]). Поэтому в одном смысле «народ» — это нация (древняя) или масса, а в другом — простонародность.

Синтаксис и построение высказывания были в центре и «телеологической» теории. Ядром телеологического направления является книга В. Хаверса с необычным названием «Объясняющий синтаксис» [Havers 1931]. Однако эта книга — не синтаксис в нашем современном понимании. Просто высказывание (Ausdruck) является как бы той территорией, на базе которой происходят языковые изменения, через высказывание демонстрируются особенности того или иного употребления слов и словоформ. (К сожалению, трудна для нашего времени и поучительна для истории лингвистики та стилевая особенность телеологов, которая наиболее ярко обрисована Э. Херманном в его книге о покойном учителе Б. Дельбрюке [Hermann 1923]: «...ist in erster Linie ein stärkeres Zusammenarbeiten des Materials zu Erklärungen und Hypothesen», т. е. основные идеи и выводы перемешиваются в тексте с детализированным разбором примеров.) Основная идея Хаверса состоит в том, что при описании языковых процессов нужно четко разделять *условия-предпосылки* (Bedingungen) и *движущие силы* развития (Triebkräfte). Только понимание конкретной комбинации того и другого в каждом отдельном случае может способствовать *объясняющей силе* (Erklärung).

Где же нужно, по его мнению, искать условия-предпосылки? — 1. В самом языке. 2. У говорящих. 3. В окружающем мире.

К собственно языковым средствам Хаверс относит разную частоту употребления слов и словосочетаний, интонационные возможности. Сюда же он относит и народные модели синтаксиса — например, лишние повторяющиеся союзы, употребление диминутивов, любовь к множественному числу, излишнее употребление имперфекта, неумение правильно выражать просьбы и приказания.

К условиям «говорящего» он причисляет эгоцентрическую манеру выражения, ведущую к ассоциативной речи. В. Хаверс считает, что это связано со склонностью народа к фантазии и к «сукцессивному мышлению», благодаря чему порядок слов становится, как мы бы теперь сказали, «иконическим». К условиям «говорящего» он также относит и разного рода синтаксические ошибки. И тут интересным образом он связывает синтаксические ошибки с частотой употребления конструкций: главное предложение употребляется чаще, чем придаточное, финитные формы — чаще причастных и т. д. Перечисляются ошибки по аналогии, эмоциональные смещения, ошибки при смещении интереса и т. п.

К третьему кругу условий он относит три типа явлений: Natur, Kultur und Mitmenschen. В первом случае обсуждается вопрос о воз-

можном влиянии природных явлений на языковые структуры. Во втором Хаверс снова переходит к вопросу о так называемых «первобытном мышлении» и «народной речи». Так, по его мнению, очевидно, что дерево дает плоды. Поэтому оно — женщина. Обсуждается вопрос о связи Impersonalia (особенно в русском языке) с древнейшими представлениями о религии. Минимизация союзов в устной речи связывается с интересной мыслью о том, что в народном восприятии жизнь — это сукцессивный поток моментальных фотографий. Социальное окружение связывается Хаверсом и с проблемой пранарода, с возможным или невозможным семантическим субстратом. И здесь он излагает (без оценок) учение Н. Я. Марра о яфетическом субстрате и о «третьем этническом слое» в Европе.

Итак, условия — это предпосылки для действия неких движущих сил (Triebkräfte). Язык сам по себе не имеет скрытых сил изменения, но условия-предпосылки толкают его к этому [Hermann 1931: 63].

Необходимо заметить, что телеологи стояли на плечах двух знаменитых предшественников — Б. Дельбрюка, завершителя младограмматического синтаксиса, которому его ученик, Э. Херманн, посвятил после его смерти целую книгу [Hermann 1923], и О. Вакернагеля, известные положения которого о втором, ослабленном, месте в высказывании тогда усиленно обсуждались (каково это место — второе слово или второй член предложения?).

7. Общим свойством теории двух межвоенных направлений была также установка на антропоцентричность эволюционного языкового процесса. Иначе говоря, послышки о том, что язык развивается и функционирует в «самом себе и для себя» были неприемлемыми для представителей обоих направлений.

«Новое учение о языке» категорически отрицало идею языка как саморазвивающейся гомеостатичной системы. Имея в виду Ф. де Соссюра, но не называя его имени, С. Д. Кацнельсон писал: «...объявляют язык “автономным царством”, покоящимся на “внутренних зависимостях”. Язык в извращенном представлении буржуазных языковедов — это мистическая саморазвивающаяся сущность, отрешенная от жизни... Н. Я. Марр жестоко обличал этот порок буржуазного языкознания» [Кацнельсон 1949].

Движущей антропоцентрической силой у марристов является некая народная масса, социум. Однако и грамматические становления объясняются прежде всего через личность. Так, С. Д. Кацнельсон объясняет возникновение категории лица следующим образом:

«Уже в первобытном сознании, где личность выступает в неразрывной связи с предметами объективного мира, 3-е лицо или, вернее, третьи лица выступают с преимущественно объективной значимостью, 1-е лицо — с преимущественно субъективной. В сознании позднейших эпох этот разрыв усугубляется» [Кацнельсон 1936: 22]. Через личность практически объясняется весь процесс грамматической эволюции при переходе от эргативного строя к номинативному: «Безличные предложения с субъектом в дательном или творительном падеже отражают колебания первобытного ума при определении реальной субстанции выражаемого глаголом действия или состояния» [Там же: 35]. Он ссылается на более резкие положения самого Н. Я. Марра о том, что основы глаголов являются собственно именами, что они первично, в зависимости от мировоззрения тех времен, являются тотемами или духами и объектами культа различного рода (N. Marr: *Verba impersonalia, defectiva, substantiva und auxiliaria*).

Все стадии интерпретируются через процесс выделения личности из первобытного коллектива и осознания раздельности человека, живого существа и предмета. Иначе говоря, это разложение первичного диффузного целого. Важно, например, что некие недифференцированные частицы принимают значение отнесения к общественной собственности, тогда основа освобождается от этих показателей и ее семантика делается более четкой. С. Кацнельсон особенно большое внимание уделяет различению отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности [Кацнельсон 1936]. «Абсолютные формы имен и глаголов возникли в результате разложения первобытно-коммунистических отношений» [Там же: 88]. В сознании происходит отчленение Я от Не-Я. Однако есть в каждой эпохе и господствующие речемыслительные установки. «Во все периоды развития человеческой речи выделяются эпохи, характеризующиеся господствующим мировоззрением. Такие эпохи именуются стадиями» [Мещанинов 1929: 18].

Марристы считали основой языка социальность (совместный труд). «Не только развитие звуковой речи, но и само возникновение ее покоится не на физиологических особенностях, изначально присущих отдельным расам, а на социальной основе» [Мещанинов 1930: 9]. В послевоенные годы социальный момент декларируется еще резче: «Являясь важнейшим средством человеческого общения, язык социально обусловлен во всех своих частях, не исключая построения отдельных фонем» [Мещанинов 1949: 31].

Именно поэтому критике подвергается Ф. де Соссюр, который изменчивые и социально обусловленные языковые явления сравнивал с застывшей шахматной доской. Уже в послевоенные годы Мещанинов обвиняет и индоевропеистов не только в «научном» отходе от единого эволюционного процесса, но и в «отрыве от народа», от социальных масс. «История развития народа полностью отрывается от истории развития языка. Праязыковая схема заменяет эту связь и отводит в сторону подлинный историзм» [Мещанинов 1949: 27]. В этом же обвиняется и всё «буржуазное языкознание» в целом. Все это уже было полностью в духе времени. Слово народ всегда было у русских гипнотическим, и это понятие никак нельзя сравнивать с *Unterschicht der Kulturnation* В. Хаверса (см. выше). В 40-е годы социальный момент отчетливо стал связываться уже с идеями Ф. Энгельса о роли труда в развитии языка и мышления (см. [Кацнельсон 1949]).

Антропоцентричность, как уже было сказано, является лозунгом и у телеологов. Они вводят особое понятие «чувства языка для говорящего» (*Sprachgefühl*). «*Sprachgefühl ist die Resultante zwischen Gedachtnis und Analogie*» [Hermann 1931: 107]. Память же народа можно теперь объяснить как некий генный код, о котором тогда еще ничего не знали. Поэтому и частотность употреблений слов и форм они считают более сильным фактором, чем аналогические пропорции. «Чувству языка» соответствует и его «смысл» (*Sprachsinn*).

Социальный момент, как видно, у телеологов безусловен. Однако, у телеологов четко различается народ далекого прошлого — это как бы все племя — и народ современности, в котором выделяются два слоя: *Unterschicht* и *Oberschicht*.

8. Наибольшие различия между сторонниками «нового учения о языке» и телеологами — это различия во взглядах на языковую эволюцию.

Для «нового учения о языке» безусловной была установка не на отдельные семьи языков, а на единство эволюционного процесса, и это многократно подчеркивалось. Задача выявить единство «всех языков земного шара» понималась как *conditio sine qua non*. Идеи эволюционной семантики связывались у обоих направлений прежде всего с попыткой понять, как развивалось первобытное мышление и вместе с ним первобытный язык.

Наиболее важной общей стороной обеих излагаемых теорий является отношение к движущим силам языковых изменений.

Они четко изложены в «объясняющем синтаксисе» В. Хаверса [Havers 1931], на книгу которого и ссылаются все телеологи. Движущие силы — Die Triebkräfte (treibenden Kräfte), по мнению Хаверса, это «всегда те силы, которые исходят из человеческой души» [Ibid.: 144].

Какие же это движущие силы? 1. Это — *стремление к наглядности, образительности (Anschaulichkeit)*. Так, народ в своей речи³ не любит абстракции. Поэтому предпочитает сказать: Sie arbeitet von früh bis in die Nacht. За этим стоит и употребление исторического настоящего, вообще — все речевые явления, в результате которых события предстают как Gesehene und Gehörte.

Вторая движущая сила — стремление к эмоциональной разрядке (Entladung). Это аффективные факторы речи: стремление к повторам, обилие синонимов, постанова в начале предиката. Это — аффективное множественное, сгущение прилагательных вместо одного в превосходной степени. Им отмечена любовь простого народа к отрицательным выражениям, к брани в широком смысле (Negationfreudigkeit der Volkssprache).

Третья движущая сила — *стремление к экономии сил* (или — к экономии энергии). В целом речь идет здесь о синтаксической контракции.

Четвертая сила — *тенденция к порядку* — тяготеет к «сцеплению», что в основном влияет на систему анафоры и катафоры.

Пятая сила — любовь к красоте.

Шестая сила — *социальные требования*. Здесь Хаверс снова демонстрирует особенности простонародной речи. Это — повторение предыдущей реплики, а также установка на то, что Unbestimmtheit wirkt bescheidener, Deutlichkeit unhöflicher [Havers 1931: 185], это и псевдовежливое нежелание употреблять императив.

Хотя немецкие ученые о своей принадлежности к телеологам заявляют открыто, однако их цель — это поиск цели. И здесь интересно, что этот поиск цели для них связывается с идеями Н. Трубецкого о фонемах и фонологии. Для телеологов поиск главной движущей силы неотделим от не всегда явно выраженной установки на единство человеческой души (Gleichheit der seelischen Grundlagen [Havers

³ Вообще необходимо заметить, что в качестве объяснений, интерпретаций языковых инноваций авторы-телеологи в основном приводят факты простонародного употребления, практически не объясняя движение и телеологию литературных языков.

1931: 11]). Язык, по их мнению, стремится быть основной связью нации. Более того, он делит языковые элементы на любимые и нелюбимые народом, и эту тенденцию телеологи последовательно выявляют и для языков новых, и для самых древних. Более реально — только переплетение предпосылок и движущих сил определяет эволюцию языка в его конкретном воплощении. Поэтому для В. Хаверса реальная история языка прогнозируется пересечением его, этого языка, условий развития (а они могут быть разными) и доминирующих для него движущих сил. Тем самым создается пестрота языковой диахронии, на самом деле легко распутываемая. За лексемной эволюцией часто стоит мировоззрение народа и перемены в этом мировоззрении, за синтактико-морфологической — стремления к экономии, сукцессивности и т. д.

Иной подход к эволюции языка у марристов. Эволюция понимается ими, как уже говорилось, в виде единого направленного процесса перехода от одной языковой стадии к другой. Объяснение тому в целом тоже антропоцентрическое. Однако декларируемая неизбежность перехода от одной стадии к другой и сама стадийная теория языкового развития поразительно напоминают исторический материализм марксистской теории, с неизбежным переходом от одного строя к другому и с конечной застывшей «стадией» — коммунизмом. Роль коммунизма в «новом учении о языке» играет номинативный строй языка.

На самом деле, будучи лингвистами старой хорошей подготовки, марристы понимали нереальность такого единообразного описания всех диахронических явлений. Уже в 1934 г. Мещанинов считает нужным оговаривать сложность реальных результатов при такой яркой униформитарности: «Так, установив единый процесс языкового развития, новое учение констатирует многообразие внешнего его выявления и, тем самым, в целях познания единства процесса уходит в детальную проработку выступающего его разнообразия как в отдельно взятых исторических периодах, так и в отдельно взятых языковых представителях» [Мещанинов 1934: 4]. Установка на разнообразии декларированного единого процесса подчеркивается и в более поздних работах С. Д. Кацнельсона: «...это единство процесса языкотворчества, обусловленное единством путей формирования материальной общественной жизни, нигде и никогда не переходит в простое и пустое тождество, оно сквозит в живом многообразии языков, по-разному реализуясь в каждом языке» [Кацнельсон 1949: 21].

9. Совершенно естественно, что, будучи по своей подготовке индоевропейцами хорошей старой школы, представители обоих направлений должны были так или иначе выразить свое отношение к компаративистским построениям.

Однако для телеологов изучать процессы родственных языков важно прежде всего потому, что они демонстрируют возможность расхождений и — тем самым — неуниверсальность явления [Havers 1931: 7]. Можно сказать, что их больше интересуют факты влияния неблизких языков. Именно установка на то, что эволюция есть переплетение условий и движущих сил и это для каждого языка индивидуально благодаря внешним воздействиям, и заставила Э. Херманна написать очень большую книгу [Hermann 1931] против «безыключительности» звуковых законов (тезис А. Лескина), в которой на каждом шагу не только демонстрируются, но и интерпретируются «исключения» из фонетических законов и нерегулярность действия законов аналогии. По мнению Э. Херманна, компаративисты просто ловко лавируют между запутанными *Lautgesetzen*, но на самом деле их методы нуждаются в улучшении [Ibid.: 6]. Интересно требование Херманна о том, что необходим *единый метод* изучения для живых и мертвых языков, и только тогда общее языкознание обогатится новыми выводами.

Телеологи связывают интерес индоевропейцев к аналогии и ее законам с самим реконструируемым праязыком. Как его характеризует Э. Херманн, индоевропейский был очень *тяжелым* языком: с восемью падежами, тремя числами, множеством глагольных времен, сложнейшей акцентуацией и т. д. Естественно, что языки-потомки, применяя аналогию, стремились освободиться от этой тяжести [Ibid.: 170]. В отличие от классических индоевропейцев, телеологи интересуются не методами реконструкции, а требуют построения идущей в праисторию линии синтаксических изменений и затем — выведения универсальной эволюционной диахронической структуры. Именно эта установка на поиск универсалий заставила Э. Херманна [Hermann 1942] обратиться к детальному обследованию фактов фразовой интонации в языках самых разных, в том числе и самых экзотических.

Несомненно, что компаративистика классического толка отличала и подготовку марристов. Однако, в связи с их общими позициями, они прежде всего выступали против миграционных процессов как основы языковых изменений. «Яфетидология определенно выступила против обычного объяснения смен культурных периодов

исключительно сменой этнических составов. В целом ряде работ указывалось на несостоятельность миграционных построений» [Мещанинов 1930: 5]. И далее: «...миграционная теория неминуемо ведет к пранародам и пракультурам, восстанавливаемым научно-исследовательской мыслью в весьма нереальной обстановке... И когда яфетидология отмечает затруднительное положение индоевропейской лингвистики, зашедшей в тупик, совершенно аналогичную оценку вынуждены мы дать и итогам современных археологических исследований» [Там же: 6—7]. Первоначально «яфетическим» считался «кавказский» неиндоевропейский компонент. С невероятной быстротой сфера этого компонента стала расширяться. Во второй половине 20-х годов уже господствовала теория «третьего этнического элемента» — «третьего этнического элемента в созидаании Средиземноморской культуры, то есть до-индоевропейской и до-семитической расы, когда-то раскинутой по всему обширному району юга Европы и Передней Азии и потом залитой семитической и индоевропейской волнами с сохранением нетронутых оазисов на Пиренеях, Кавказе и Средней Азии у Памира» [Мещанинов 1926: 5]. Ясно было, что первоначальная кавказская привязка термина «яфетический» уже не годилась, и потому термин «яфетический» был назван «условным библейским» [Там же]. Шли поиски реликтов третьего элемента. Интересен здесь методический подход. Выявляются древние термины действительно диффузной семантики. Эта диффузность говорит о древности. Они все имеют простую фонетическую структуру. Но эта простота опять же говорит о древности. Следовательно, это слова яфетического фонда.

Однако уже в книге 1929 г. Мещанинов формулирует теорию о том, что «индоевропейские языки Средиземноморья никогда и ниоткуда не явились. Н. Я. Марр признает, что индоевропейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызванного переворотом в общественности в зависимости от новых форм производства» [Мещанинов 1929: 55]. Поэтому постепенно Марр переходит от идей гибризованности к идеям переходных типов и переходных стадий. «Индоевропейские языки, равно как и языки других семей, признаются дальнейшей стадией развития яфетических, а сама яфетидология обращается в общее учение об языке» [Там же: 74]. Таким образом, термин «яфетический» уже начинает терять свой объект.

С самого начала было ясно, что яфетический субстрат не может расширяться бесконечно. И тогда теория стадильности была рас-

пространена и на генетический статус языков: как уже говорилось выше, переходя от одной стадии к другой, языки могли менять свою принадлежность. Постепенно индоевропейский язык сам становился как бы промежуточным этапом. Эту логическую ловушку «нового учения» в 1949 г. трезво оценил сам И. И. Мещанинов. «Яфетиды с их яфетическими языками оказались повсеместным субстратом в его уже более ярко выраженном изначальном положении» [Мещанинов 1949: 29]. Таким образом, отрицая праязык, Марр к 1922 г. в этот статус неизбежно возвел свой яфетический слой. (Предвосхищая ностраттику сегодняшнего дня, в 1910 г. Марр объединил языки семитские, хамитские и кавказские и назвал их *ноетическими*.) Потом яфетическим объявлялось уже все: «Единство глоттогонического процесса получило праязыковое содержание» [Там же: 30]. «Остроумным» выходом из положения явилось различие *систем и стадий*. «Наиболее ясное различие существа систем и стадий будет, при таких условиях, заключаться в том, что стадии представляют собой ступени в историческом ходе развития единого языкового процесса и потому прослеживаются на всем языковом материале, тогда как под системой понимается определенная языковая группировка со специфическими характеризующими ее признаками» [Мещанинов 1934: 10]. Так, например, кельтские языки объявляются переходной ступенью стадияльного развития между древнейшими языками Европы и языками индоевропейской системы. Они, оказывается, находятся на той же ступени, что и языки Кавказа [Там же: 13].

В более поздних работах часть марристов стремится как бы «вработать» компаративистику в их собственную теорию, считая, что «индоевропейская школа лишь дополняет» новое учение о языке [Мещанинов 1934: 5]. Критика индоевропейцев сводится к тому, что они восстанавливают достаточно поздний период общезыковой эволюции («Начало же языка не идет глубже древнейшего обнаруженного письменного источника или, в крайнем случае, искусственно восстанавливаемого праязыка, уже носящего в себе все характеризующие основы последующего эволюционного развития речи узко взятой группировки» [Там же: 5]. Некоторые упреки, обращенные к индоевропейцам, — это и упреки в том, что реконструируемое состояние объявляется ими стабильным, в то время как оно было и остается непрерывно изменчивым [Там же].

Поводом для упрека была и установка индоевропейцев только на явления одной языковой семьи. «Беда индоевропейистики

не в том, что она плохо справилась со своим материалом — она справилась с ним прекрасно. Беда ее в том, что законы и положения, установленные на одной семье языков, представляющей не более как крошечный отрезок глоттогонии, она склонна возвести в вечные и незыблемые законы человеческой речи» [Абаев 1995: 1962].

II

Подводя некоторые итоги, можно сказать и о «веяниях» времени, и о «фантазиях», и о «прозрениях», т. е. об идеях, возникших и утверждающихся практически пятьдесят лет спустя.

1) Прежде всего, идеологическая печать лежит на обоих направлениях. Как уже говорилось, теория «стадий» у марристов с вершиной — номинативным строем — необыкновенно напоминала исторический материализм со сменой «формаций», где коммунизм декларировался как конечная и непреходящая цель единого направленного процесса.

Единонаправленность процесса эволюции также легко соотносилась с идеями интернационализма и устремленности на «мировую революцию» 1920—1930-х годов. Не случайно марризм был разгромлен именно после войны, когда СССР начал объединять вокруг себя прилегающие «родственные славянские» страны.

У телеологов несколько удивляющее внимание к языку только народа, на базе речи которого строятся выводы о его склонности к негативности, к брани, к отсутствию логического мышления и неумению видеть что-либо, кроме сиюминутности, тоже наводит на мысль о «скрытом» отрицательном отношении старых интеллигентов к Германии 30-х (но, возможно, я ошибаюсь).

2) Знаменитые четыре элемента до сих пор остаются «пресловутыми» и никак не объясняющимися. Нам не удалось выяснить, хотя бы как они появились в этом своем облике.

3) Гибкая теория превращения «яфетического компонента» из чисто кавказского субстратного феномена в «третий этнический» элемент Европы и Средиземноморья, а затем в нечто универсальное, на базе которого возникали ответвления вроде индоевропейских языков, которые еще и были переходной зоной, и теперь кажется чисто фантастической, поиском некоего лингвистического *perpetuum mobile*, хотя за этим и просвечивает явно не декларируемая теория моногенеза.

4) Недалеким от этого теоретически кажется и материал телеологов, никогда не обращавшихся к фактам литературных языков. Их интересовали истоки народной речи, естественно близкие к архаике и, тем самым, к единству языковой истории.

5) Однако, несомненно, интересной и стимулирующей кажется идея диффузных по семантике первичных элементов (от междометий — к частицам — к союзам и далее), простых по фонетике, с опорой на некий консонант (Stammlaut), далее практически не изменяющихся. Их семантическое ядро — указательность — вопросительность — неопределенность. Идея сохранения (сохранности) первичных простых по фонетике коммуникативных компонентов партикулярного типа кажется «объясняющей» гораздо больший круг явлений, чем принятая традиция считать частицы типа *e-, *a-, *i- и др. некими «застывшими» падежными формами указательных местоимений. В таком случае вырисовывается своеобразный язык прошлого с богатой и уже успевшей частично «застыть» системой местоимений, но — без какого-либо партикулярного фонда. Кроме того, работа по описанию частиц одного только славянского фонда [Николаева 1985] неизбежно привела к выявлению вполне перечислимого набора C /V/ конструкций (термин Stammlaut представляется более удачным), основную семантику каждого такого сочетания оказывается возможным определить, и она действительно соотносима с полем определенности—неопределенности—вопросительности—разделительности. В. Хаверс, как указывалось, считал первословом вопрос *wo-?*. Некоторую близость к таким идеям мы видим и в последней книге Н. Ю. Шведовой [Шведова 1999], где именно местоимения предстают в качестве первичных «окон» в мир.

6) Важным оказался и антропоцентрический принцип обоих направлений, позволяющий расчлнить парадигматические изменения в зависимости от дискурсивной значимости и отношения к говорящему — слушающему. Сходные идеи стали появляться в американской лингвистике в конце 70-х (T. Givón, T. Markey, S. Steele, S. Tompson, S. Li, A. Timberlake и др.), когда было высказано мнение о том, что парадигма формируется в разное время и время этих изменений определяется прежде всего дискурсивной значимостью для говорящего. Идеи Т. Гивона о «прагматическом коде», универсальном, с последующими трансформациями уже в «синтаксический код», как кажется, полностью повторяют мысли В. И. Абаева о языке как «идеологии» и языке как «технике» (см. [Абаев 1936]).

7) Интересна и идея никак не пытаться прямо соотносить реконструируемый язык и языки более поздние, ибо каждая языковая система, как предполагается, должна быть адекватна ментальному уровню говорящего на нем народа. С этим хочется согласиться, ибо, например, при реконструкции «фонологического строя» праязыка X, очевидно, нужно сначала решить вопрос о том, а были ли у данного языка-состояния ясно валоризованные фонемы или только звуки диффузного асемантического толка? А было ли у него ударение? и проч., и проч. Однако подобные идеи противоречат часто провозглашаемому понятию «униформитарности», разделяемому такими знаменитыми лингвистами, как Э. Бенвенист и др., согласно которому «ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться “первоначальными”. Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные» [Бенвенист 1974: 35]. Ср. также посвященные этому работы Р. Лэсса (см., например [Lass 1987]).

Итак, мы видим три образа языка древности: 1) он такой же по сложности, как и языки сегодняшнего дня, 2) это как бы обнаженный скелет древа языка сегодняшнего, на котором потом расцветут кое-где зеленые побеги, 3) это туманное неясное облако с неопределенными неотчетливыми сгущениями, о котором мы, в сущности, ничего не знаем. Так понимали первичный язык наши авторы, и этот странный образ, пожалуй, ближе всего к современным картинам возникновения нашей Планеты.

8) Идеи однонаправленности языкового эволюционного процесса высказывались в языкознании XX века многократно. Наиболее известна позиция Э. Сэпира — его так называемый drift: «...язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, он движется бессознательно от одного типа к другому и сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом приходят к схожим в общем морфологическим системам» [Сэпир 1934: 95]. Странным образом идеи однонаправленности принимаются практически всеми на более детальном уровне — так называемые диахронические универсалии, число которых все увеличивается, однако глобальная идея все время остается как бы незамечаемой.

9) Точно так же время от времени возникает идея телеологической направленности языкового процесса, связанной логически с его однонаправленностью. Телеологические идеи объявляются мисти-

ческими (см., в частности, критику «девелопменталистов» в [Aitchison 1981; Lightfoot 1981; 1984] и др.). В то же время можно вспомнить слова Р. Якобсона: «Цель, эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется» [Jakobson 1962].

Итак, можно сказать, что действительно всякое новое бывает хорошо забытым старым.

Список литературы

- Абаев 1934 — *Абаев В. И.* Язык как идеология и язык как техника // *Язык и мышление*. Т. 2. Л., 1934.
- Абаев 1936 — *Абаев В. И.* Еще о языке как идеологии и как технике // *Язык и мышление*. Т. 6—7. Л., 1936.
- Абаев 1995 — *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики (1948) // *Абаев В. И.* Избранные труды. Т. 2: Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Взгляд на развитие лингвистики // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Кацнельсон 1936 — *Кацнельсон С. Д.* К генезису номинативного предложения. М.; Л., 1936.
- Кацнельсон 1939 — *Кацнельсон С. Д.* Номинативный строй речи. 1. Атрибутивные и предикативные отношения: Тезисы дис. ... док. филол. наук. Л., 1939.
- Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон С. Д.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.
- Мещанинов 1926 — *Мещанинов И. И.* Основные начала яфетидологии. Баку, 1926.
- Мещанинов 1929 — *Мещанинов И. И.* Введение в яфетидологию. Л., 1929.
- Мещанинов 1930 — *Мещанинов И. И.* Палеоэтнология и Homo sapiens. Л., 1930.
- Мещанинов 1931 — *Мещанинов И. И.* К вопросу о стадильности в письме и языке. Л., 1931.
- Мещанинов 1934 — *Мещанинов И. И.* Проблема классификации языков в свете нового учения о языке. Л., 1934.
- Мещанинов 1949 — *Мещанинов И. И.* К истории отечественного языкознания. М., 1949.
- Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М.: Наука, 1985.
- Николаева 1996 — *Николаева Т. М.* Теории происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании // *Вопр. языкознания*. 1996. № 2.

Список 1937 — Список печатных работ академика Ивана Ивановича Мещанинова (1912—1937). М.; Л., 1937.

Сэпир 1934 — *Сэпир Э.* Язык. М.; Л., 1934.

Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // *Вопр. языкознания.* 1999. № 1.

Adamska-Sałaciak 1986 — *Adamska-Sałaciak A.* Teleological explanations in diachronic phonology. PhD diss. Adam Mickiewicz University, 1986.

Adamska-Sałaciak 1989 — *Adamska-Sałaciak A.* On explaining language change teleologically // *Studia anglica posnaniensia.* 1989. XXII.

Aitchison 1981 — *Aitchison J.* Language change: progress or decay? Bungay, 1981.

Havers 1911 — *Havers W.* Untersuchungen zur Kasussyntax der indogermanschen Sprachen. Strassburg, 1911.

Havers 1931 — *Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931.

Havers 1946 — *Havers W.* Neuere Literatur zum Sprachtabu. Heidelberg, 1946.

Hermann 1912 — *Hermann E.* Die Nebensätze in den Griechischen Dialektschriften und die Gebildeten Sprache im Griechischen und Deutschen. Berlin, 1912.

Hermann 1914 — *Hermann E.* Sprachwissenschaftlicher Kommentar zu ausgewählten Stücken aus Homer. Heidelberg, 1914.

Hermann 1923 — *Hermann E.* Berthold Delbruck. Ein Gelehrtenleben aus Deutschland grosser Zeit. Jena, 1923.

Hermann 1931 — *Hermann E.* Lautgesetz und Analogie. Berlin, 1931.

Hermann 1942 — *Hermann E.* Probleme der Frage. Göttingen, 1942.

Hermann 1943 — *Hermann E.* Die homerischen Benennungen der Schiffteile // *J. Endzelin zum 70. Geburtstag.* Göttingen, 1943.

Hermann 1943a — *Hermann E.* Schallsignalsprachen in Melanesien und Afrika // *J. Endzelin zum 70. Geburtstag.* Göttingen, 1943.

Hermann 1948 — *Hermann E.* Einleitung der litauischen Mundarten // *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Jahren 1945—1948).* Göttingen, 1948.

Hermann 1948a — *Hermann E.* Lautharmonie // *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Jahren 1945—1948).* Göttingen, 1948.

Hermann 1948b — *Hermann E.* Ist Simon Grunau lettisch? // *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Jahren 1945—1948).* Göttingen, 1948.

Hermann 1949 — *Hermann E.* Eine unbeachtete Überlieferung des preussischen Vokabulars Simon Grunaus // *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen.* Göttingen, 1949.

- Horn 1908 — *Horn W.* Historische neuenglische Grammatik. Strassburg, 1908.
- Horn 1950 — *Horn W.* Beiträge zur englischen Wortgeschichte. Wiesbaden, 1950.
- Jakobson 1962 — *Jakobson R.* К характеристике евразийского языкового союза // Selected writings. Vol. 1. 's-Gravenhage, 1962.
- Lass 1987 — *Lass R.* On explaining language change. Cambridge, 1987.
- Lightfoot 1981 — *Lightfoot D.* Explaining syntactic change // Explanation in linguistics. London; N. Y., 1981.
- Lightfoot 1984 — *Lightfoot D.* Explaining syntactic change // Explanations for linguistic universals. N. Y.; Amsterdam, 1984.

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ УЧЕНЫХ: МЕТОД — ОБЪЕКТ

*В. А. Успенскому —
к 60-летию*

Автор классифицирует ученых по четырем типам — по методу и по объекту, в пределах каждого класса оперируя понятием старого и нового.

Классификационная четкость научного мышления Владимира Андреевича Успенского действовала на нас (филологов конца пятидесятых — начала шестидесятых годов) ошеломляюще. Таксономическое воспитание, полученное тогда нами, можно теперь квалифицировать как «оценки без критериев». Квалификации соответствовали спискам, списки задавались извне, извне приходили и оценки. Оценки иногда менялись — в наше время уже мало, стагнация торжествовала. Соответственно менялись списки и про- и прескрипции. Интуитивное желание уйти от навязанных оценок загоняло исследователя в область по определению не оцениваемых фактов, то есть в позитивизм чистого толка.

В. А. Успенский открыл для многих радость мучительных размышлений о критериях классификаций. Показал, как увлекателен этот поиск — с удачей или неудачей в конце.

Возможно, уже пора сравнить лингвистику шестидесятых с наукой сегодняшнего дня, когда, как представляется, осевая шкала ценностей незаметно опять перевернулась, но уже с другой системой оценок и с осознанно размытой нечеткостью нового типа. Добротные критерии оказались сейчас во многом откровенно произвольными, а аксиологические установки переместились в инсайт, интроспекцию ученого. Постепенно удачей становится не удачность описания, а найденная имманентная «суть» явления.

Поэтому необходимо сказать сразу, что предлагаемая ниже классификация ученых — из области «игр начала семидесятых». Таким

образом, она характеризует не только ученых, но и эпоху своего построения.

Предложенная мной классификация характеризует ученых (имелись в виду, конечно, лингвисты) по двум критериям: 1) по применяемым методам, научному мировоззрению; 2) по объекту исследования, совокупности привлекаемых фактов. В обоих случаях существовал выбор только из двух возможностей: «старое» или «новое».

Таким образом формируются четыре группы ученых, четыре исследовательских типа (все это, как уже было сказано выше, относится к состоянию науки двадцать лет назад).

Тип 1 — «Старое о старом».

Тип 2 — «Старое о новом».

Тип 3 — «Новое о старом».

Тип 4 — «Новое о новом».

Остается только кратко охарактеризовать эти типы.

Тип 1. Старое о старом

Может показаться, что подобный тип ученого должен быть представлен минимально, так как он науке вроде бы и не требуется. На самом деле его формирует большой массив лиц, требующихся, очевидно, не столько науке, сколько тому, что можно назвать «научной жизнью». Люди этого типа обычно перелагают достижения других в обширные и необширные книги обзорного типа. Естественно, что именно они бывают авторами разного рода «Введений», фундаментальных описаний, базирующихся на уже построенной основе. Они могут пересказать кратко и находчиво тяжеловесный труд первопроходца, но и, напротив, могут создать нелегкое для восприятия компилятивное сочинение.

Ученые такого типа обычно уважаемы без восхищения и обильного их цитирования, их охотно приглашают быть членами Ученых советов, оппонентами, рецензентами и под.

Тип 2. Старое о новом

Исследователи этого типа обычно применяют апробированный достойный метод к чему-то совсем новому. Новым при этом может быть и целая большая область (например, целый язык) и некая сово-

купность фактов, ранее в научный обиход не вводившаяся. Например, метод филологического описания по дифференциальным признакам Якобсона—Фанта—Хелле применяется к малоизвестному языку. Или, скажем, описывается поле оценочных слов в произведении древнего писателя так, как это сделано для современного поэта, и т. д. Существенно, таким образом, что у ученых этого типа всегда бывают, яркие предшественники, они должны от чего-то отталкиваться, от «старого». Но, чтобы ориентироваться в «новом» и применять к нему «старое», нужно это новое хорошо знать. Поэтому среди ученых этой группы много редких специалистов, знатоков нетривиальных систем, малоизвестных языков и т. д., что само по себе обычно вызывает уважение. Наконец, если новым является что-то известное и существующее, но ранее таким методом не исследовавшееся, то достойной уважения является и находчивость исследователя в выборе объекта.

Таким образом, уже очевидно, что эта категория исследователей — наиболее уважаемая и быть в ней очень престижно. Именно они составляют видный массив «академической» науки. Кроме того, выбрать подобный путь — значит, действовать в каком-то смысле наверняка, поскольку метод уже оправдал себя, а знание малоизвестного материала делает ученого квалифицированным и редким специалистом.

Обе указанных группы объединяет часто свойственное им геллертерство, обширная эрудиция.

Тип 3. Новое о старом

К этому типу принадлежат немногие ученые, взявшие на себя недостоверную по результатам задачу взглянуть новыми глазами на нечто давным-давно и как будто хорошо описанное, на факты, которые кажутся хрестоматийно известными, включенными в учебный минимум знаний, являющимися исходной базой для дипломных и кандидатских сочинений. Объектом исследования в этом случае чаще всего бывают факты родного языка или «великих» языков, вроде английского или французского, известнейшие тексты отечественной или зарубежной литературы; факты как синхронии, так и диахронии. При подобном подходе «новизна» есть действительно новизна, поэтому новый подход возникает путем некоторого прорыва, близкого к озарению. Подход этот требует прежде всего непредвзятости,

внутренней свободы, в том числе и по отношению к знаменитостям, авторитетам. Разумеется, он требует и природной талантливости, поскольку само по себе смелое обращение к пересмотру очевидностей может дать и нулевой результат. Поэтому попытки, не отмеченные удачей таланта, приводят к забвению и разочарованию. Зато удача вызывает у аудитории реакции удивления, восторга и — обычно — немедленного принятия и признания.

Условно говоря, тип этот можно считать моцартианским. Однако если успешно действующие ученые второго типа вызывают не только уважение, но и желание следовать им, то ученые третьего типа вызывают восхищение, а следовать им невозможно, как невозможна конгениальность озарения.

Тип 4. Новое о новом

Если первые две группы глубоко социально успешны, третья завоевывает социальный успех довольно легко — если действительно удастся сообщить новое об общеизвестном. В этом случае это новое бывает перцептивно убедительным.

Иной тип — ученые четвертой группы, сообщающие новые идеи, соотносимые с новым или непривычным материалом. Их часто не понимают, не ценят, иногда просто не слушают. Обычно коллеги стремятся их квалифицировать или по объекту («Это который про детскую речь?»), или по подходу («Это который про золотое сечение?» и под.). Однако именно из этой группы выходят вожди новых направлений с ярким научным будущим или, напротив, непризнанные и амбициозные новаторы-неудачники. Занимаясь новым о новом, исследователь должен быть готов к отсутствию заданного социального локтя единомышленников, поэтому от его общественного и/или психологического темперамента зависит то, будет ли он научным главой, лидером, или аутсайдером-одиночкой.

Если тяга к эрудиции, знанию научной литературы для первых двух групп обычна, то вторые две группы могут и не образовываться из эрудитов, они как бы сами определяют для себя необходимый минимум образованности.

— II —

ПРОСТРАНСТВО СЛАВЯНСКИХ ПАРТИКУЛ

1. Вводная часть

1. Всякий, кто занимается словами так называемого «коммуникативного фонда»: частицами, местоимениями, местоименными наречиями и т. д., не может не обратить внимания на то, что в этих словах можно найти повторяющиеся элементы, которые в свою очередь складываются в комплексы, а некоторые из них и существуют как единичный элемент (такие мы в дальнейшем будем называть *примарными*). Например, *та + м(ъ), та + к(ъ), къ + то, ко + (j)ь, та + ко + (j)ь, а + же, и + же, да + же* и т. д.

Эти небольшие «частички» слов коммуникативного фонда мы предлагаем в дальнейшем именовать *партикулами*. К счастью, русский язык позволяет видеть терминологическое различие между «частицами» и «партикулами».

Таксономически партикулы обычно связаны с так называемыми «дискурсивными словами»; однако отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с набором партикул. Так, например, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» [Дискурсивные 1998] включают в их число такие слова, как *по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем* и др., которые не состоят из партикул; но в этом же списке находятся и слова из партикулярного фонда: *только < to + li + ko, дай < да + и, не + у + же + ли, не + бо + съ* и под.

Так же подобные партикулы в грамматиках предлагают отнести к общей категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью партикулярного фонда лишь частично, поскольку в этот класс вводят и предлоги. Предваряя дальнейшие рассуждения, скажем заранее, что объединять партикулы и предлоги, как это часто делают, теоретически нерационально и информационно бессмысленно, так как партикулы относятся, как было сказано, к «коммуникативному фонду», а предлоги — к денотативной стороне сообщения. Предлог помогает описывать кон-

кретный кусочек действительности, а партикулы, как и дискурсивные слова, «не имеют денотата в общепринятом смысле; их значения непредметны, поэтому их можно изучать только через их употребление» [Дискурсивные 1998: 8].

Значительное число партикулярных образований входит в разряды местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения. Например, не из партикул состоит [*кто*]-*нибудь*, *пусть*, *пускай*, *нехай*.

Так, в составе «Словника частиц», представленном в «Словаре русских частиц» Э. Шимчук и М. Щур [Шимчук, Щур 1999: 24], мы находим частицы, не восходящие к партикулярному фонду: *буквально*, *вправду*, *впрямь*, *вообще*, *исключительно*, *попросту* и т. д. Наконец, первичные партикулы часто выступают в роли союзов. Исключений достаточно и тут. Например, это союз *хотя*. И класс междометий тоже включает в себя значительное число партикул. И тоже не совпадает с ним, например: *Ах!*, *Ох!*, *Увы!* и т. д.

Наконец, предельно простая фонетическая структура примарных партикул — а они состоят либо из одного гласного (V), либо из комплекса: консонант + вокал (CV) — может привести к мысли об их соответствии слогам языка. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда партикул, однако знаменательные слова распадаются на них легко, например *хо-ро-шо*.

А между тем в пределах славянского континуума большинство партикул и/или их комплексов совпадает либо полностью, либо легко пересчитывается по правилам фонетики. Но при этом — от языка к языку — они могут различаться функционально. Они могут различаться по степени принадлежности к языку литературному, к диалекту, к языку жаргонному. Графически они могут быть контактными в одном языке и дистантными — в другом. Однако несомненно то, что — внутри славянского языкового континуума (с возможным выходом в более глубокие индоевропейские общности, как мы постараемся показать далее) — существует практически единый набор простейших партикул и довольно единообразно работающий «порождающий конструктор», создающий из них комплексы. Несомненно и то, что отрицать существование этого фонда уже невозможно.

Несомненно также, что на каком-то этапе развития славянских языков этот «порождающий конструктор» перестает функционировать, и в той зоне, где раньше были партикулы и их комплексы, появляются «застывшие» формы знаменательных слов, т. е. не происходящих из партикул. Причины остановки работы порождающего

конструктора пока остаются неясными, так как неиспользованных возможностей порождения остается очень много.

Очевидно также, что лингвистика в течение долгого времени просто избегала всерьез принимать этот партикулярный фонд и, как было показано выше, как бы «замешивала» партикулы в подходящие к ним по функции или по так называемой «частеречной принадлежности» классы слов не только партикулярного происхождения.

Ясно, что вопрос о возникновении таких партикул и их первичной семантике связан с еще недавно запретной темой о происхождении языка вообще и о его эволюции. В отечественном языкознании это еще в большей степени подкреплялось негативным отношением к Н. Я. Марру и его теории, сводящей все языковые формы к четырехэлементным первичным исходам. Поэтому примарные (некомплексные партикулы) в течение долгого времени было принято возводить к каким-нибудь «застывшим» формам — как правило, падежным формам местоимений.

В последние годы в мировой лингвистике интерес к происхождению языка и его самым ранним этапам растет. Естественно, что растет и интерес к первичным языковым единицам. Из этого следует, что в первую очередь при этом встает вопрос о том, что же является в языке первичным: Именованное или Указание. В первом случае партикулярные компоненты «указывают» на нечто уже названное; тем самым они вторичны. Во втором случае дейктизм партикулярных компонентов заставляет задуматься над тем, как и каким образом возникали так называемые «знаменательные слова», и над тем, что в языковом механизме работают как бы две параллельных шестеренки.

2. Нужно отметить, что соответственно двум языковым наборам можно говорить о двух лингвистиках, т. е. метасистемах, претендующих на адекватное отражение языка. Так, например, С. И. Карцевский в начале естественного языка видел синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний; впоследствии они становились «внешними» союзами, иницилирующими высказывание-фразу, а затем интериоризовались, превращаясь во внутренние союзы. То есть то, что мы называем партикулами, в известном смысле для Карцевского было первичным. Звуковой сегментный строй, фонетику и фонологию, Карцевский считал последним этапом освоения языковой структуры. Слово для С. Карцевского было не основой основ, как, например, для А. А. Потебни, а всего лишь «частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]. То есть в на-

чале для него было высказывание, а сегментная фонетика и фонология считалась последним элементом освоения языковой структуры. В этом приоритетном отношении к высказыванию как основе языкового существования Карцевский сходился с марристами, о которых он никогда не упоминал и которые ему были, вероятно, внутренне чужды. Для марристов язык тоже начинался с высказывания, доминантой был синтаксис.

Параллельно с этим развивалось все более побеждающее направление, которое господствует и сейчас, — оно начинается с фонемы и идет далее «по уровням»; конечно, это гораздо удобнее для метаописания. Очевидно только одно, что система, начинающаяся с фонологического уровня, как будто бы ориентирована на левое полушарие, а система, начинающаяся с высказывания, — на правое. Сейчас уже можно сказать прямо, что эти две системы, вероятно, абсолютно автономны, и одну из них можно назвать ориентацией на валоризацию, а другую — ориентацией на эмпирию.

То, что эти две системы сосуществуют, и то, что между ними должна была найтись какая-то «перемычка», почувствовал практически только Э. Бенвенист, писавший прямо в своем знаменитом докладе на Лингвистическом конгрессе 1963 года: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (*le discours*).

В самом деле, это два различных мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разные лингвистики, пути которых, однако, все время пересекаются. С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующихся в структуры и системы; с другой — проявление языка в живом общении» [Бенвенист 1974: 139].

Победа поуровневой лингвистики естественно привела к некоторому ценностному оттеснению слов коммуникативного фонда, к признанию их чем-то анафорическим, т. е. замещающим, вторичным.

Знаком времени в отечественной лингвистике последнего времени стала книга Н. Ю. Шведовой о местоимениях (словах, практически исключительно состоящих из партикул) [Шведова 1998; 1999]. Н. Ю. Шведова прямо говорит о первичности местоимений как класса, отражающего все основы бытия: «Местоимения ничего не называют: они означают смыслы, восходящие к глобальным понятиям

материального и духовного мира» [Шведова 1999: 7]. Интересно, что «исходных» местоимений Н. Ю. Шведова насчитывает всего 22.

3. Возвращаясь к партикулам как таковым, мы можем говорить о трех видах их существования. А именно:

- А) они существуют как примарные единицы;
- В) они «слипаются» между собой, образуя комплексы партикул;
- С) они «прилипают» к знаменательному слову справа от него или слева.

А) В качестве примарных единиц партикулы обычно выступают или как междометия, или как частицы, или как союзы. Одно здесь достаточно часто переходит в другое. Именно эти примарные партикулы с автономной функцией обычно доставляют трудности для языковедов — как в плане этимологическом: к чему они восходят?, так и в плане таксономическом: с чем в данном случае мы имеем дело: с частицей?, с союзом?, с междометием? Более подробно эти вопросы будут рассматриваться в собственно «славянском» разделе, пока же остановимся на этимологиях основных сочинительных союзов: *и*, *а*, *но*. Русское *но* восходит, по частому мнению, к инициальной и.-е. частице **Ni*, которая связывается этимологами с др.-ирл. **no*, лит. *ни-*, тох. *ne*, ст.-слав. *ни* [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359; Фасмер 3: 77]. Эта древняя частица есть и в английском *now*, и в русском *ныне*. Итак, *но* возводится к древнему коннектору-актуализатору, передающему нечто актуальное и существенное: семантика 'здесь и сейчас'. Коннектор этот обычно занимал инициальную позицию. Интересно, что для *но* дальнейшей этимологизации не производится сопоставление с древними языками есть в определенном смысле лишь диахроническая переадресация. Иной подход демонстрируется при обращении к союзам *и* и *а*. Так, *а* (**a*) возводится к падежной форме местоименной основы и.-е. **e/o*, т. е. **a* < **ēd/od* — к аблативу единственного числа местоимения [ЭССЯ 1974: 34, где обсуждаются разные точки зрения на этот счет]. *И*(*i*), в свою очередь, возводится к и.-е. **ei-*, первоначально форме местного падежа единственного числа от указательного местоимения **e* [ЭССЯ 1981: 167].

Сейчас очевидно, что такая позиция тотального этимологизирования партикул неотделима от лингвистики поуровневой. Иначе пришлось бы пересматривать многие методы (или, точнее, диахронические пределы) реконструктивных возможностей. Поэтому и высказывавшиеся ранее [Николаева 1985] возражения относительно того, что странно представить себе язык, где широко распространена сис-

тема парадигм местоимений и уже отмечены их «застывшие» формы, но нет простых частиц-коннекторов, по сути не имеют смысла, так как относятся только к принятой лингвистической теории, для которой отказ от «первичных» партикул есть *conditio sine quâ pop.*

В) Интересным метатеоретически является частеречный состав **комплексов** партикул. Это может быть частица. Это может быть местоимение. Это может быть местоименное наречие. Это может быть определяющийся графической нормой и/или позиционной дистантностью комплекс партикул, вообще не квалифицирующийся по частеречной принадлежности.

Так, из 10 русских партикул: *не, къ, то, ли, и, у, же, да, а, но*, дающих в сумме 726 сочетаний по два и по три элемента с возможными перестановками¹, лишь около 50 комбинаций могут быть признаны реализовавшимися. Приведем для иллюстрации фрагмент цепочки двукомпонентных партикульных комплексов из девяти русских партикул: *и, а, не, но, да, оке, ли, къ, то*, порожденных указанной компьютерной программой, способной породить до десяти компонентных образований:

и + а, и + но, и + да, и + же, и + ли, и + то, и + къ, и + не, ... но + а, но + да, но + же, но + ли, но + то, но-къ, но-не, да-а, да-и, да-но, да-же, да-ли, да-то, да-къ, да-не, же-а, же-и, же-но, же-да, же-ли, оке-то, же-къ, же-не, ли-а, ли-и, ли-у, ли-но, ли-да, ли-же, ли-то, ли-къ, ли-не, то-а, то-и, то-у, то-но, то-да, тоже, то-ли, то-къ, то-не, къ-а, къ-и, къ-у, къ-но, къ-да, къ-же, къ-ли, къ-то, къне, не-а, не-и, не-но, не-да, не-же, не-ли, не-то, не-къ, а-и, а-но, а-да, а-же, али, а-то, а-къ, а-не. Итак, мы видим здесь 84 сочетания из девяти партикул (*и, а, не, но, да, же, ли, къ, то*).

Что же находится среди них?

Во-первых, это привычные для нас современные «цельные» слова: *или, даже, тоже, къто*. Во-вторых, это слова, ставшие архаичными, но отмеченные в более древних текстах: *ино, неже, нели, къда, аже, али*. В-третьих, это дистантные графические компоненты, часто требующие контекстного продолжения, однако вполне для нас привычные: *и + да, и + то, и + не, но + а, но + не, не + то, да + и, да + ли, да + но, да + не, то + и, то + ли, то + не, а + то, а + не*. На каждое такое сочетание легко привести соответствующие текстовые верификации. В-четвертых, мы видим здесь не собственно русские, но сла-

¹ У автора существует специальная компьютерная программа, обеспечивающая порождение партикульных комплексов из числа партикул от 2 до 10.

вянские нормативные сочетания: *ано* («да» — чешское и словацкое), *дали* (болгарское вопросительное слово). В-пятых, комплекс становится привычным, если принять первый элемент в качестве междометия: *да-а...*, *не + а...*, *а, да...* В-шестых, представлены двучленные партикулярные сочетания, явно требующие третьего партикулярного члена для завершения комплекса: *и + къ*, *но + къ*, *да + къ*, *то + къ*, *къ + а*, *къ + и*, *а + къ* и т. д. Наконец, в-седьмых, мы видим в этом небольшом списке нереализованные комплексы или возможные только при дистанцирующем их контексте: *но + же*, *но + ли*, *же + а*, *же + и*, *же + да*, *ли + а*, *ли + и*, *ли + то* и т. д.

Выводы о формальной структуре трехчленных партикулярных сочетаний могут быть представлены в виде пяти возможных формул-комбинаций, на которые мы приводим по несколько примеров из общего числа комбинаций, порожденных указанной программой:

1. $\alpha + \beta + \chi$: не-то-и; и-то-же; но-то-ли
2. $(\alpha + \beta + \chi)$: у-же-ли
3. $\alpha + (\beta + \chi)$: и-а-же; и-а-ли; и-у-же; и-да-же; не-къ-то; и-то-же; но-да-же; то-да-же
4. $(\alpha + \beta) + \chi$: и-но-не; и-же-но; и-ли-же; и-же-а; не-же-и; у-же-не, и-же-ли; и-но-а; и-то-а
5. $\alpha + \beta + (\chi - \delta)$: и-но-къ(); и-же-къ(); и-ли-къ(); у-же-къ()

В трехчленных партикулярных комплексах обнаруживается еще больше комбинаций, вообще не реализованных языком, и естественно, что в еще более сложных по составу многокомпонентных комплексах, порожденных указанной программой, таких не реализованных ни одним языком комбинаций оказывается во много раз больше. Это возвращает нас к поднятому в начале пока загадочному вопросу о том, почему славянский порождающий конструктор практически в одну и ту же для славянских языков эпоху перестал работать, тогда как нереализованных потенциальных комбинаций оставалось еще множество.

Выше были продемонстрированы возможности соединения партикул в разные комплексы из них же. Но то, что сам механизм постоянного «прилипания» остается неизменным, видно на примере таких «новых» частиц-союзов, как русские *хоть* и *хотя*. Они тут же обрастают распространителями вроде *и*, *бы*, *то* и т. д.

Вопрос о «прилипании» партикул к знаменательным словам обычно обсуждался в связи с проблемой возникновения именных и глагольных флексий. Вплоть до последних десятилетий этот вопрос

решается двояко: одни лингвисты окончания и инициальные формы именных и глагольных парадигм именуют формантами, флексиями, аугментами, и тогда вопрос об их собственном значении не ставится, обходится стороной. Согласно другой точке зрения — а она была высказана еще Ф. Боппом и повторена в 1901 г. К. Уленбеком, — и глагольные, и именные флексии по большей части восходят к формам местоимения. Так, например, показатель именительного падежа единственного числа и.-е. существительного (*domu-s*) — это некий постпозитивный артикль, восходящий к местоимению *so*. Например, А. Эрну возводит окончания именительного и родительного множественного числа второго и первого склонений латинского имени к указательным местоимениям [Эрну 1950: 49]. Странником первой точки зрения был И. М. Тронский, который убежденно возражал А. Эрну [Тронский 2001]. А. Н. Савченко в специальной монографии [Савченко 1960] доказывает, что первое лицо глагола связано через окончание с личным местоимением, а второе и третье — с указательными местоимениями: **so-*, **to-*. Существует большая литература о «местоименности» и.-е. первичных глагольных флексий: **mi*, **si*, **ti* и флексий вторичных: **m*, **s*, **t* отличающихся отсутствием показателя **i*.

Таким образом, довольно долгое время говорилось об истории и.-е. флексий как о слиянии двух элементов, каждый из которых входил в парадигматические ряды. Причем, вероятно, местоименные парадигмы предполагались более ранними, поскольку к глаголу или имени присоединялись «застывшие» или какие-то осколочные элементы местоименных форм.

Если разделить факты языка и факты языкознания, то можно понять, что за «местоименностью» флективных показателей стоит — в теории — все то же опасение перед неэтимологизируемыми и не совсем понятными частицами-партикулами. Но все же идея, что за флексиями стоят именно партикулы, а не фрагменты местоимений, уже высказывалась. Например, Ю. С. Степанов, говоря о редупликации одного и того же показателя в имени и глаголе, пишет: «В древних индоевропейских языках повторяющимся элементом часто является какая-либо специальная дейктическая частица... **l-v // -m*; **2/ -t*; **3.-n* — дейксисы трех лиц — участников акта речи» [Степанов 1989: 73]. Говоря о параллелизме (или о родственности?) развития индоевропейских и енисейских языков и о сходстве их парадигматических моделей, Т. Поленова отмечает, что «представляется возможным предположить развитие личных аффиксов глагола как

в енисейском, так и в индоевропейском из первичных дейктических частиц с широкой семантикой» [Поленова 2000: 162]. Но эти замечания все же не отделялись в сознании лингвиста от идеи «местоименности» флексий и как будто бы с ней совпадали. Это смешение местоимений как оформленного класса и партикулярных элементов нашло свое отражение и в моей статье [Николаева 2002].

Однако в последние годы в индоевропеистике развилось новое направление, которое пересмотрело привычные представления об облике реконструируемого индоевропейского языка. И это подтверждает высказанную нами в начале мысль о том, что, казалось бы, незначительные по важности партикулы-частички ведут неизбежно к глобальному пересмотру принятой языковедческой парадигмы в целом.

Так, в 1992 г. вышла статья Ф. Адрадоса «О новом облике индоевропейского: история одной революции» [Adrados 1992]. У этой теории нашлось много сторонников, в частности такие известные индоевропеисты позднего поколения, как К. Шилдс, опубликовавший очень много работ о происхождении флексий в индоевропейском, У. Марки, В. Леман и др. Суть «нового облика» Ф. Адрадос излагает следующим образом.

Индоевропейский язык прошел три реконструируемых стадии:

1. Протоиндоевропейский. Он не был флективным и не имел парадигм.
2. Тот облик и.-е. языка, который засвидетельствован анатолийскими данными.
3. Поздний и.-е. язык, который до сих пор и принято было считать древнейшим состоянием и который уже обладал парадигматическим устройством.

Многое в этой теории «нового облика» связано с постепенным и параллельным (!) развитием компонентов парадигм глагола и имени, но для нас важно то, что именно эти дейктические частички-партикулы, а отнюдь не местоимения, по мнению приверженцев «новой теории», лежали в основе и.-е. начальной грамматики. Значение их было достаточно диффузным, и это объясняет, по мнению К. Шилдса, автономность развития глаголов, имен и местоимений как особых — семантически и функционально — частей речи [Shields 1997].

Обращаясь снова к идее двух лингвистик и их (подспудной?) борьбе в межвоенные годы, мы убеждаемся в том, что именно первичность этих мелких компонентов — партикул и была тем *enfant*

terrible — основанием, которое либо старались не заметить, либо не принять, либо признать в том или ином вторичном виде.

Признание таких в общем-то загадочных по происхождению и времени происхождения партикул влечет за собой и признание неформальности элементов предложения на раннем этапе и перенос языковедческого интереса от парадигм и словаря к неизвестно как пока для нас оформленной речевой цепочке раннего этапа.

Легко заметить, что во всех приведенных выше ситуациях партикулы располагались *после* знаменательной части, были постпозитивны. Можно предположить, что такова и была формирующаяся структура члена будущей парадигмы. Между тем Вяч. Вс. Иванов вслед за К. Уоткинсом предложил [Иванов 1979] отождествить аугмент ϵ — инициальный компонент греческого аориста и имперфекта — с инициальной частицей индоевропейского $*e/o$ (в палайском и других языках отраженной как $*a$). Вяч. Вс. Иванов показал соответствие этого элемента начальной частице (партикуле) ϵ в русских словах *это, э-тот*. Интересно, что этот «аугмент» в греческих формах ударен и ударна партикула в указанных русских словах. То есть она как бы «помнит» свою древнейшую акцентную историю. Таким образом, аористные формы образуются через партикулы, прилипающие как справа, так и слева. В этом смысле указанный элемент ϵ можно приравнять к форманту $*-s$, формирующему так называемый «сигматический» аорист (см. об этом подробнее [Бадер 1988] и другие работы).

Все сказанное выше сводится лишь к констатации того факта, что в последние годы XX в. явно наметилась тенденция к пересмотру лингвистической парадигмы в целом. Это связано и с интересом к происхождению языка, его ранним истокам и эволюции на этих ранних этапах. Это связано и с повышением интереса к интонации и сквозным синтаксическим категориям. Примечательно, что именно партикулы (не гриммируемые под форманты, застывшие формы местоимений и под.) на этом этапе лингвистической эволюции стали напрямую связываться с развитием парадигм и формированием привычных нам форм языка.

4. Если считать, что флексии индоевропейских языков — это не местоимения, а некие партикулы, к которым восходят также и местоимения, то тогда, как кажется, индоевропейские языки можно разделить на те, в которых обязательное употребление местоимения предваряет глагольную форму (например, французский, английский, немецкий и др.), и те, в которых введение в препозицию личного

местоимения не предполагается, а осуществляется лишь в случаях маркированных: противопоставление, подчеркивание и т. д. (итальянский, испанский, польский и др.). Не выходя за пределы обращения к партикулярному фонду, нужно сказать, что ситуация выглядит намного сложнее. Дело в том, что партикулярные комплексы, как и знаменательные слова, подлежат снашиванию и упрощению. Это легко проследить на примере русского я. Оно представлено во всех славянских языках (ст.-слав. азъ, болг. аз, макед. јас, чешск. ја и т. д.). На индоевропейском уровне оно связано с др.-инд. aham, авест. azm, арм. es, греч. ἐγώ, лат. ego, лит. aš и т. д. Как видно из этих примеров; актуальными для реконструирования общей формы являются: сведение воедино инициального e и a, реконструкция консонанта: eg, eg(h), eg'(h)?, а также квалификация начального j.

Однако для обсуждения нашей темы важнее иное. Усилиями ряда ученых русское местоимение я (Трубачев, Топоров, Семереньи и др.) описывается как свернутое во времени выражение-оборот: *egom < *e + go + m со значением 'вот я', 'вот моя здешность', 'it is me'. Совершенно очевидно, что это инициальный партикулярный комплекс, актуализирующий действие как настоящее и «здесьнее» и привязывающий первое лицо, т. е. говорящего, к этой ситуации. В этом случае, правда, проблемным остается статус форманта -m².

(Интересно, что и сейчас русские, особенно дети, на переключках отвечают именно так: «Я вот он»!)

Существенно, что К. Шилдс [Shields 1997] разлагает, по сути, на элементы с такой же семантикой другую индоевропейскую форму местоимения 1-го лица, восходящую к хеттскому UK. (С этой формой соотносится; в частности, и немецкое ich.) Он видит в ней тот же структурный состав: дейктическая частица *u + ослабившая свою семантику частица *k-, тоже дейктического происхождения. Таким образом, эта вторая и.-е. форма местоимения первого лица выступала также как актуализирующий комплекс партикул 'here and now'.

² По этому поводу существует гипотеза В. Н. Топорова [Топоров 1992], состоящая в том, что «на самом деле» этот партикулярный комплекс состоит из вступительной актуализирующей конструкции: eg'(h) < e + g'(h) и элемента -m, который и относится к первому лицу (ср. супплетивное — я / меня / мне / мой). Этот комплекс m- В. Топоров соотносит с и.-е. знаменательным «корнем» mep-, обозначающим «тонкую духовную субстанцию». К этому отчасти примыкает и позиция О. Семереньи [Семереньи 1980], который считает, что *eg(h) было чем-то присоединявшимся к личному окончанию глагола -(e)m, соотносимому с местоимением первого лица

Примечательно, что этот комплекс, запрятанный внутри русского *я* так же, как дейктически-актуализаторское начало, спрятанное в аугменте *ε*, до сих пор — в виде скрытой памяти (об этом см. [Николаева 2002]) — влияет на выбор в русской речи глагольной формы первого лица с *я* и без *я*. Так, все конструкции, вводящие новое, подчеркнутое, противопоставленное предыдущему сообщение, обязательно передается через *я*-конструкцию. Напротив, сообщение с семантикой согласия, подтверждения, присоединения к предыдущему часто вводится без конструкции с *я*. (См. об этом на русском материале подробно: [Брейяр, Фужерон 2001].) Таким образом, «скрытая память» языка реагирует даже на сильно видоизменившийся со временем комплекс партикул.

Общая классификация комплексов партикул будет обсуждаться в следующем разделе, посвященном уже собственно славянским языкам.

II. Славянские данные

5. Анализ всего славянского материала показывает, как это и можно было предположить, принципиально иные результаты, чем анализ партикул в пределах одного языка.

Прежде всего, он демонстрирует, что существует некий сквозной партикулярный континуум в пределах всего массива. А именно: одни и те же компоненты — партикулы — в одном языке квалифицируются как союзы, в другом — как междометия, в третьем — как частицы и т. д. Например, партикула *no* в русском языке квалифицируется как союз (однако мы знаем и отрицающее-понукающее междометие *Ho-o!*). А в других славянских языках (кроме белорусского, македонского и болгарского) это междометие: например, польский: *No, chopcy*; *No, coż tam takiego?*, словенский: *No, govori*, чешский: *No, přestaň už*, сербский: *Ho синко, како је било?* В то же время русское *ну*, считающееся в литературном языке междометием или усилительным компонентом в смысле *ну же!*, в диалектной речи (см. [Касаткины 2000]) функционирует именно как противопоставительный союз. Авторы «Этимологического словаря славянских языков» [Et. Slovník 1980: 507]) описывают оба слова восходящими к одной лексеме, соотносящейся с **o* + *no*.

Кроме того, в одном и том же языке на разных этапах его развития некоторые партикулы исчезают совсем, например русское *ино* из

и + *но* и многочисленные комплексы с *же*, другие — закрепляются только в разговорном статусе, вроде *аж*, третьи — остаются (или известны) в части диалектов и т. д. Между тем в соседних славянских языках стилевая дистрибуция может быть диаметрально противоположной. Наконец, как и говорилось выше, партикулярные комплексы представлены в разной графике, кодифицированной в том или ином славянском языке. См. во многих славянских языках слитные комплексы с *že*: ст.-слав. *kъdyže*, славц. *kdyže*, ст.-польск. *ktoż*, чеш. *takž* и др., в русской традиции *же* пишется раздельно или слитно по специальному правилу. Так же разнообразно написание с конечным *by* или *li*. Партикулы и партикулярные комплексы тождественной функциональной семантики в одних языках могут быть примарными, а в других комплексными. Например, русское *да* и чешское *a* + *no*; русское *да* и польское *ta* + *k(ъ)*.

К этому нужно добавить, что внимательное рассмотрение изолированно функционирующих партикул в одном языке (вместе с его историей и диалектологией) показывает, что лексическое воплощение семантически тождественных единиц, обычно описывающееся в сопоставительных грамматиках славянских языков как типологически противопоставленное, на самом деле иллюзорно: отчетливо проступает некая общая база, восходящая к общеславянскому (или — глубже) состоянию. Возможно, продуманный эксперимент даст возможность здесь говорить и о «скрытой» или даже генетической памяти. Можно привести примеры на базе четырех общеславянских примарных партикул, служащих сочинительными союзами. Это *a*, *i*, *no*, *da*. Продемонстрируем, что каждая из них семантически неотделима в полноте своего функционирования от остальных. Например, известно, что в чешском и словацком *a* выступает в функции русского *и*. Но это представлено и в украинском: *Стояв межи двором а селом*, и древнерусском: *От рыдания а слезь его скрatchesя глась его*. Значение *a* = *но* представлено практически во всех славянских языках. См. значение подтверждения, т. е. 'да?', в примерах типа: *Ты ведь придешь, а?* Значение 'и' у *да* также хорошо известно: *Иван да Марья*, употребляется оно и в значении 'но': *Хотел, да не успел*. *И также* имеет значение 'но': сербское: *Лаћан бих и не напитасте ме*, болгарское: *Знаеш и не ма обаждаш*. Однако *и no* имеет значение 'и': *Skoro już pragnię się z tobą zobaczyć, no to może idź do niej* и т. д.

6. Наш материал базировался на «Этимологическом словаре славянских языков: Слова с грамматической функцией и местоимения» [Et. slovník 1980]. Его данные привлекались нами для работы

над монографией о функциях частиц [Николаева 1985], но нужно еще раз подчеркнуть, что в настоящем исследовании изучаются не частицы, не дискурсивные слова, не местоимения, а особая составляющая языка — партикулярный фонд, из которого, как правило, и состоит коммуникативный фонд языка.

Необходимо отметить также, что, поскольку для нужд типологического сопоставления неосуществимо было — в данном объеме доклада — использовать достаточно представительный объем текстов на всех славянских языках, то мы можем говорить лишь о представленности того или иного партикулярного комплекса (или одной партикулы) в каждом языке — есть такая или нет, но не о частотности этих единиц в реальных текстах, т. е. о предпочтениях их употребления.

Разумеется, для системного описания нужно было решить проблему отождествления единиц. Некоторые из них отождествлялись просто — при признании общих правил пересчета фонетических систем внутри славянских языков. В других случаях оказалось довольно несложно, путем расщепления консонантного кластера, разложить партикулярный комплекс на простые составляющие. Например, русск. *ažno* < *a* + *že* + *no*, н.-луж. *dyžli* < (*h*) + *dy* + *ž* + *li*, белорусск. *ejsje* < *e* + *i* + *se*, русск. *entot* < *e* + *nъ* + *to* + *tъ*, общеслав. *jъnogda* < *i* + *nъ* + *gъ* + *da*; влн. арх. *dardo* < *da* + *že* + *da*³.

Более сложной оказалась проблема отождествления глухих и звонких консонантов, что очень важно для решения вопроса о семантике каждой единицы с консонантной опорой. Реально в первую очередь это относилось к отождествлению *t* и *d*. Вопрос этот был явно мучительным и для составителей «Этимологического словаря» [Et. slovník 1980]. Вероятно, здесь может быть принято только чисто «волевое» решение. Объединение этих консонантов позволит увидеть, с одной стороны, единый «союз»: *ta/da*, функционирующий часто в славянских языках синонимично (например, в русском и украинском). Но, с другой стороны, оно обратит внимание на отсутствие глухого или звонкого аналога в окончаниях местоименных

³ Основная трудность идентификации элемента как партикулы была связана с комплексами с окончанием на *-od*, *-ad*, *-od*, где консонант был конечным, а также не совсем понятно фонетически было появление назального. Как раз в русском языке эти комплексы — местоименные наречия типа *оттуда*, *туда*, *откуда* и под. — вполне разложимы на примарные партикулы. Поэтому, с некоторой долей осторожности, соответственные славянские единицы были включены в общий список.

наречий, вопросительных местоимений и т. д. Близкой к этому является проблема отождествления задненебных исходов с их палатализованными манифестациями.

Еще более проблемным теоретически оказывается отождествление партикул с различием вокала при тождественной консонантной опоре. В этом случае мы следовали за составителями [Ibid.].

Таким образом, было выявлено 570 единиц партикулярного славянского фонда. Часть из них можно признать общеславянской — как исходных, примарных, так и на уровне комбинаций. Из всего состава [Et. slovník 1980] авторская помета «общеславянский» была только у 70 единиц. Это означает, что 500 остальных партикул и их комплексов распределяются либо по разным славянским языкам сегодняшнего дня, либо они были отмечены в тех или иных старых текстах. Партикулярные комплексы, как правило, не доходят до состава, превышающего четыре единицы.

Дальнейшее изложение будет посвящено следующим собственно славянским типологическим проблемам.

Это:

- вопрос о функциях односложных, примарных, партикул;
- вопрос о ведущей содержательной категории, стоящей за примарными, односложными партикулами;
- вопрос о «грамматике порядка» в комплексах партикул;
- вопрос о частеречно-семантическом тяготении у партикулярных комплексов,
- проблема фонетико-географических предпочтений партикул и их комплексов на всей Terra Slavica.

7. Если отвлечься от вокалического наполнения партикул и сосредоточиться на консонантной опоре (Stammlaut, в немецкой лингвистической традиции), то для каждого консонантного типа можно выделить «основные», т. е. не связанные имплицативно с другими, значения. Попытаемся их коротко перечислить.

Опора на N:

- а) значение указательности, неближнего дейксиса: *онъ, опьль, вон, оно, воно* и т. д.;
- б) значение адверсативности, противопоставления: *но, нь*;
- в) значение неопределенности: *нѣ (нѣкто, нѣкий* и т. д.);
- г) значение отрицательности: *ни, не*.

Опора на T:

- а) значение указательности с отчетливой определенностью: *ть, тотъ*;

б) значение неопределенности: *кѣто-то, какой-то, как-то.*

Опора на D:

- а) значение соединения: *да* (Иван да Марья; собака да кошка да щей немножко);
- б) значение локализатора времени: *да/ды/де: когѣда, кады, покуда;*
- в) значение локализатора места: *да/ды/де: туда, гѣде, куды, откуда, отсюда.*

Опора на K:

- а) указание на нечто реальное, но требующее еще выяснения: *ко: колико, кой, котер, кѣт.*
- б) создание идентифицирующего адвербиального начала: *тако, овако, онавако, яко, како.*

Опора на V:

- а) установка на характеристику: *таковѣ, каковѣ, сицевѣ, това, туткива, эва;*
- б) значение дальнего дейксиса: *овѣ.*

Опора на B:

- а) значение разделительности для событий: *або, альбо, ибо, либо, небо, алибо;*
- б) значение пояснительности для событий: *бо.*

Опора на M:

Общее значение адвербиальности: *там, сям, овамо, камо, онамо.*

Опора на S:

Так же, как и для партикул на -T, этот тип одновременно служит и для

- а) указания на отчетливую определенность: *се: се бо јестъ законъ и пророци, утрось, вечорась, и для*
- б) создания семантики неопределенности: *кѣдеси, кѣтоси, хтось.*

Опора на Z (Ž):

- а) семантика суживающей идентификации: *же: Он же не пришел; Я окончу свою работу, а кончу же я ее в пятницу.*

Опора на L:

- а) значение разделительности, альтернативности с естественным переходом в вопросительность: *лѣ, или: Не знаю, ты ли, он ли, или кто-нибудь другой это сделал; знаете ли шта?;*

- б) значение единственности, уникальности с переходом в адверсативность: слвн. *Le pridi, sem sama doma, le idi*; чешск. *leda blázen by to udělal!; je leda pro zlost*.

Опора на J:

- а) Значение ограничивающей указательности: *jь > i*: *иже: глаголь ісоусовъ іже рече јемоу*.

Таким образом, все партикулы в той или иной степени тяготеют к полю определенности / неопределенности, хотя здесь мы должны говорить именно о *поле*, а не о жестком бинарном разделении. Внутри этого диффузного поля одни партикулы в большей степени тяготеют к указательности, другие — к определенности как к относительности, третьи — совмещают определенность и неопределенность как бы в «одном ящике», например, *t*-вые, *s*-вые. Четвертые соединяют определенность с отрицательностью: *n*-вые; пятые комбинируют определенность с неясностью и — тем самым — с выяснением через вопрос: *k*-вые; шестые — вносят при неопределенности установку на вопрос с разделительностью и потому — уникальностью: *l*-вые.

То, что ведущей содержательной категорией, стоящей в той или иной мере за семантикой партикул и партикулярных комплексов, оказывается именно категория определенности / неопределенности, во многом проясняет сами истоки реконструируемого древнего отношения к описываемой (воспринимаемой) ситуации.

Славянские данные подтверждают те идеи «new image morphology», о которых говорилось в первой части; они выдвигают на первый план именно дейктические элементы, из которых формируются флексии и из которых же формируются и местоимения. Иначе говоря, первичными оказываются дейктические элементы диффузной семантики. Это же относится и к и.-е. местоимениям первого лица, исторически восходящим к дейктическим конструкциям типа «Вот он я», о чем говорилось в первой части.

Таким образом, партикулярные элементы относятся в диахронии только к окружающим объектам и передаваемой (воспринимаемой) ситуации. Они служат идентифицирующими актуализаторами. Как выясняется, они не передают отношения говорящего к чему-либо. Поэтому они не являются в своих истоках модальными словами, дискурсивными словами, именно поэтому и возникают потом частицы типа *ведь, пусть, нехай, мол*, связывающие говорящего с говорящим же или с объектами. Точно так же они не соотносятся с предлогами, которые создают объекты или описывают отношения между объектами и/или их частями. Поэтому партикулярные элементы не могут

рассматриваться, как уже говорилось; при корректном к ним отношении, в классе незнаменательных слов вперемешку с предлогами, как часто это делают.

Сказанное выше, как кажется, помогает выявить первичную коммуникативную установку Человека на идентификацию и объяснить, почему с определенного времени порождающий партикулярный «конструктор» перестает создавать комплексы только из своих первичных единиц.

Итак, все значения, которые теория дискурсивных слов связывает с частицами, а не с партикулами как с их исходными «кирпичиками», при предложенном анализе не выявляются, но впоследствии они приобретают приписываемую им «скрытую» семантику: начинают связываться с указаниями на оценку, норму, характеризацию, на намек на состоявшиеся иные события, понятные при пресуппозитивном фонде знаний, и под. По всей видимости, весь этот огромный мир коммуникативных аллюзий, воплощаемый через частицы, связан с более поздним этапом человеческого коммуникативного обмена.

Почему же именно партикулы (и присоединившиеся к ним новые частицы) приняли эту нагрузку? По всей вероятности, это объясняется их изначально запрограммированной коммуникативной размытостью, семантической диффузностью. Это соответствует стремлению человека повысить многоканальность речевого потока, не увеличивая его абсолютной протяженности. Интересную мысль в этом плане находим у И. И. Мещанинова: «И тогда как слова росли в своем объеме, превращаясь в процессе скрещения в многосложные, частицы сохранялись в своей более архаичной форме односложных слов и, таким образом, при построении фраз упор стал делаться уже на эти функциональные частицы, осмыслявшие построение фразы оттенком служебной роли каждого входящего в ее состав слова» [Мещанинов 1931: 63].

8. В рамках настоящего исследования мы попытались построить для комплексов партикул то, что принято называть «грамматикой порядка». Это значит — определить, какие позиции в комплексе могут или не могут быть заняты теми или иными примарными партикулами. Для этого была построена таблица с пятью вертикальными столбцами и в каждый столбец выписывались те партикулы, которые могут занимать соответствующее порядковое место.

Результат показал, что только очень незначительное число партикул, о которых мы скажем ниже, имеет какие-либо позиционные

предпочтения. Большинство из них в своих позиционных перемещениях оказались гораздо свободнее, чем это можно было заранее предположить. Приведем несколько примеров, так как всю таблицу приводить из-за ограничений места нецелесообразно. (После каждой лексемы в скобках стоит порядковый номер позиции.)

ВО: *boli* (1), *libo* (2), *alebo* (3);

ЛІ: *libo* (1), *all* (2), *etoliko* (3);

ТІ: *tija* (1), *neti* (2), *anti <a + nъ + ti* (3);

КО: *kogъdaže* (1), *dokole* (2), *ovako* (3), *etoliko* (4);

ДУ: *dyžli* (1), *jady* (2), *kogъdy* (3), *nikogъdy* (4), *jedinoždy* (5).

Число примеров можно легко умножить. К небольшому числу исключений — партикулам, занимающим определенное место, — можно отнести, во-первых, *a*, являющееся всегда начальным, в отличие от *ja*, которое может быть и в центре комплекса. Во-вторых, всегда начальную позицию занимают и все частицы с опорным консонантом — палатализованным *s*: *сь, се, си*. В-третьих, напротив, всегда конечным является особый элемент, оканчивающийся на *-d*: *-od, -qd, -qd* и т. д., о котором говорилось выше.

Таким образом, на уровне отдельных примарных партикул говорить о «грамматике порядка» еще пока затруднительно. Ее элементы начинают появляться тогда, когда партикулы начинают объединяться в комплексы, по большей части бинарные, за каждым из которых закрепляется возникающее определенное значение. Эти бинарные комплексы могут становиться **словами** в нашем современном понимании, например местоимениями: *кѣто, чѣто*, союзами: *иже, либо*, частицами: *даже, уже*, местоименными наречиями: *такъ, тамъ* и т. д. Но они также могут становиться чем-то вроде грамматических словообразовательных формантов с понятным словообразовательным значением. Например, бинарный комплекс *ли + ко(ѣ)* приобретает значение как показатель количественности: *селико, толико, колико*; комплекс *a + мо(ѣ)* — значение локуса: *тамо, овамо, онамо*; *a + ко(ѣ)* — значение показателя способа действия: *такъ, овако, онако, како*.

Несмотря на то, что строгого порядка позиций для каждой партикулы найти, как оказалось, было нельзя, просмотр примеров показывает, что какие-то позиционные предпочтения все же прослеживаются. Их, как выяснилось, легче обнаружить, обращаясь не к формальной, но к содержательной стороне партикул, если принять тот обсуждавшийся выше факт, что все они в той или иной степени

связаны содержательно с категорией определенности / неопределенности. Тогда можно предположить, что некоторые партикулы можно считать партикулами сильной семантики по отчетливо выраженной определенности (т. е. они ее сохраняют при всех комбинациях и перестановках). Это, например, партикулы с опорным консонантом *s*- (здесь сильная определенность: сема указательности); это партикулы с опорным консонантом *t*- (здесь изначально объединяется и нейтрализуется вся категория в целом)⁴. Мы считаем свидетельством сильной семантики выдвигание на первое место в комплексе именно сильного показателя.

Это деление на сильные и слабые по семантике партикулы очевидно, например, при соединении этих партикул с партикулами с опорным консонантом *l* (*li*). *Li* не обладает сильной семантикой (она связана с неясностью, разделительностью, выбором, вопросом), поэтому значение определенности / неопределенности вполне сохраняется у этой партикулы не в комбинации, а в изолированном употреблении. Сохраняется оно и в комбинации с партикулой *bo*, где *li* оказывается в первой позиции: *li + bo*. Однако сема единственности оказывается недостаточно устойчивой в сочетании с сильным по семантике *to*: *to + li + ko*. Но *li* сохраняет свое значение в *ali, dali, ili*. И — по этому же принципу — сильная семантика *t*- побеждает сему неопределенности в комбинации с неопределенным *k*: *takъ: Так поступайте, а не иначе*.

9. В заключительном разделе будут представлены некоторые краткие соображения о фонетических и чисто словарных предпочтениях на территории славянства. На самом деле именно эта проблема оказывается в языкознании метатеоретически неразработанной и оставляющей для исследователя много вопросов. Например, существует всеславянская форма партикулярного комплекса *колико*. См. ст.-слав. *колико*, чешск. *kolik*, словц. *kol'ko*, сербск. *колико*, макед. *колку*, болг. *колко*, белорусск. *колькі*. Однако в русском и украинском, включая и диалектный материал, появляется *s-mobile*: *с-колько, с-коко; скільки, скілько*. Причины подобных вариаций пока понять трудно. Почти для каждой лексемы общеславянского пар-

⁴ Интересно, что в работе о финноугорских частицах К. Е. Майтинская тоже выделяет в связи с семой «указательности», т. е. дейксисом, частицы, которые она называет «первообразными». И это именно *t*-вые, *n*-вые, *s*-вые первообразные элементы [Майтинская 1982: 144]; как видно, совпадающие с славянскими данными.

тикулярного фонда можно выявить подобные же наращения и/или опрощения.

Однако о некоторых общетипологических наблюдениях все же говорить можно. Например, различается зона [jako] с фонетическими вариантами — это, скорее, западнославянские языки — и зона [kako] — это, скорее, южнославянские и восточнославянские языки. Но и тут можно возразить, что те же самые языки в более старых своих формах зафиксировали и обратное: старопольский и старочешский — *kako*, старосербский и древнерусский — *яко*. На основании указанного можно как будто сделать вывод, что западнославянские языки предпочитают инициальную йотацию. Но и это не будет точно, так как для элемента *jed(ъ)* именно западнославянские языки и часть восточнославянских отмечают *led(ъ)*: слвц. *ledva*, польск. *ledwie*, укр. *ледве*, белорусск. *ледзьве*. Интерпретация [1] как элемента вторичного не объясняет ничего, так как инициальная йотация в этих языках тоже представлена.

И все-таки в целом можно говорить о некотором предпочтении в южнославянской зоне консонантных опор на *v*, *m*, *n*, *d*, а для западнославянской зоны — опор на *s*, *z*, *ž*. Таким образом можно с осторожностью высказать гипотезу о том, что для южнославянских языков предпочтительна большая соноризация и потому в соответствии с этим выбирается тот или иной член из общего набора синонимичных партикул.

Интересно, что в работе «Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском» А. А. Зализняк [Зализняк 1981] отмечает сосуществование в древнерусском языке двух параллельных моделей сочетаний местоимений с частицами-«релятивизаторами»: *кѣто же* и *кѣто то*. Обе эти модели имеют типологические параллели в других славянских языках. Так, несмотря на высокую частотность партикулы *же* в старославянском языке (см. об этом [Добрев 1962]), эту частицу в качестве «релятивизатора» присоединяют к местоименному исходу охотнее именно западнославянские языки: см. чеш. *tyž, tenže*, слвц. *tenže*, польск. *tenże*. Но в этих же языках при конструировании местоимения неопределенной семантики присоединяют *-s* (*s*, *š*, *si*). Таким образом, в западнославянских языках сильнее выражена преференция фрикативных шумных (что вполне и соответствует обывательскому о них представлению).

Итак, в небольшом тексте мы постарались очертить особый класс элементов — партикул — в рамках одной, славянской, группы языков, показать особенность существования этого класса, его вхожде-

ние в другие частеречные, функциональные, синтаксические классы, в которые этот партикулярный класс никогда не входит полностью, а сохраняет следы своей еще не описанной лингвистикой, но вполне реально ощутимой далекой общности.

Список литературы

- Бадер 1988 — *Бадер Ф.* Флексии сигматического аориста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988. Вып. 21.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Уровни лингвистического анализа // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Брейяр, Фужерон 2001 — *Брейяр Ж., Фужерон И.* Когда Я нужно? // Изв. РАН. Сер. лит-ры и яз. 2001. Т. 60. № 4.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 1.
- Дискурсивные 1998 — Дискурсивные слова русского языка: Опыт контекстно-семантического описания. М., 1998.
- Добрев 1962 — *Добрев И.* Към историята на старобългарската морфема *же* // Изв. на Института за българския език. 1962. Кн. 8.
- Зализняк 1981 — *Зализняк А. А.* Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica.* Лингвистические исследования. М., 1979.
- Карцевский 2000 — *Карцевский С. И.* Из лингвистического наследия. М., 2000.
- Касаткины 2000 — *Касаткин А. А., Касаткина Р. Ф.* Союзы и частицы А, НО и НУ в русской диалектной речи // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Майтинская 1982 — *Майтинская К. Е.* Служебные слова в финноугорских языках. М., 1982.
- Мещанинов 1931 — *Мещанинов И. И.* К вопросу о стадиальности в письме и языке. Л., 1931.
- Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985.
- Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* «Скрытая память» языка: постановка проблемы // *Вопр. языкознания.* 2002. № 4.
- Поленова 2000 — *Поленова Г. Т.* К истокам индоевропейских и енисейских личных глагольных показателей // Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия: Докл. и тезисы междунар. конф. М., 2000.

- Савченко 1960 — *Савченко А. Н.* Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке. Ростов-на-Дону, 1960.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Топоров 1992 — *Топоров В. Н.* Из индоевропейской этимологии. IV (1). И-е. *eg'h-om (*He-g'h-om): men. 1 Sg. pron. pers. // *Этимология.* 1998—1990. М., 1992.
- Тройский 2001 — *Тройский И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 2001.
- Фасмер 3 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. 3.
- Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю.* Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998.
- Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // *Вопр. языкознания.* 1999. № 1.
- Шимчук, Щур 1999 — *Шимчук Э., Щур М.* Словарь русских частиц. Frankfurt-am-Main; Berlin; Bern etc., 1999.
- Эрну 1950 — *Эрну А.* Историческая морфология латинского языка. М., 1950.
- ЭССЯ 1974 — *Этимологический словарь славянских языков.* Праславянский лексический фонд. М., 1974. Вып. 1.
- ЭССЯ 1981 — *Этимологический словарь славянских языков.* Праславянский лексический фонд. М., 1981. Вып. 8.
- Adrados 1992 — *Adrados Fr.* The New Image of I.-E.: The History of a Revolution // *Indogermanische Forschungen.* 1997. V. 39. P. 2.
- Et. slovník 1980 — *Etymologický slovník slovanských jazyků.* Slova gramatická a záměna. Praha, 1973—1980. Sv. 1—2.
- Shields 1997 — *Shields K.* On the Pronominal Origin of the I.-E. Athematic Verbal Suffixes // *The Journal of I.-E. Studies.* 1997. Vol. 25. № 1—2.

*s/*t — ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ

1. Исходные позиции предполагаемого сообщения состоят в следующем. Предполагается, что в языке и речепорождении крутятся две «шестеренки»: 1) то, что является основой слов знаменательных, и 2) то, из чего в дальнейшем создается коммуникативный фонд. Эта концепция неоригинальна, ибо впервые предложена Фр. Боппом в первой трети XIX в. См. что он пишет по поводу этой концепции: «Wir müssen hier vorläufig daran erinnern, dass im Sanskrit und den mit ihm verwandten Sprachen die Personal-Endungen der Zeitwörter mindestens eben so grosse Ähnlichkeit mit isolirten Pronomina zeigen, als im Arabischen» [‘Мы обязаны постоянно помнить о том, что в санскрите и в родственных с ним языках личные окончания глаголов очень близки к изолированным местоимениям, подобно тому, как это имеет место в арабском’] [Ворр 1833: 109]¹. Эта модификация местоимения в глагольную флексию объясняется, по мнению Ф. Боппа, тенденцией к уменьшению слогов в словосочетании. См. у него далее: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina (Substantive und Adjective) welche mit Verben in brüderlichem, nicht in einem Abstammungs-Verhältnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schosse entsprungen sind, Wir nennen sie jedoch, de Unterscheidung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln <...> Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urpräpositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese “Pronominalwurzeln”, weil sie sämtlich einen Pronominalbegriff ausdrücken, der in den Präpositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt» [‘В санскрите и в родственных ему языках существует два класса корней; из одного, более распространен-

¹ Чтение этого текста, почти двухсотлетней давности, невольно вызывает умиление и восхищение. Поистине верно положение о том, что часто «новое — это хорошо забытое старое».

ного, возникают глаголы и имена; последние находятся с глаголами в родственных, если даже не сказать об обменных отношениях, не возникая из них, но происходя из одной и той же основы. Мы называем их, ради различия и следуя традиции, глагольными корнями <...> Из другого класса выходят местоимения, все древние предлоги, союзы и частицы; мы называем этот класс «местоименные корни», поскольку они все в той или иной мере выражают некую местоименную семантику, которая спрятана в предлогах, союзах и частицах» [Ворр 1833: 14].

В 1992 г., спустя более 150 лет, вышла статья Ф. Адрадоса «О новом облике индоевропейского: история одной революции» [Adrados 1992]. Суть «нового облика» Фр. Адрадос излагает следующим образом:

Индоевропейский язык прошел три реконструируемых стадии:

- 1) Протоиндоевропейский. Он не был флективным и не имел парадигм.
- 2) Тот облик индоевропейского языка, который засвидетельствован анатолийскими данными.
- 3) Поздний индоевропейский язык, который до сих пор и принято было считать древнейшим состоянием и который уже обладал парадигматическим устройством [Ibid.: 1].

В предыдущие периоды лингвистической реконструкцией протоиндоевропейского, как считает Ф. Адрадос, было лишь два направления: «унитарное», «плоское» (plain), по которому реконструировался некий единый язык, близкий к более поздним состояниям, и язык с реконструируемой «глубиной», т. е. тот язык, в котором принципиально выявляются лингвистами возможные иные состояния, но в общем виде они никогда ими не формулируются. У Ф. Адрадоса появились сторонники, среди которых У. Леман, Т. Марки и, в первую очередь, К. Шилдз мл. В нашей работе предлагается несколько иное деление первичных языковых единиц, чем у Ф. Адрадоса, К. Шилдза и их предшественников, начиная от Ф. Боппа. Так как деление исходных единиц на два класса: глагольно-именные и прономинально-адвербиальные, все же ведет к привычной частеречной таксономии, однако сильно укрупненной, то единицы коммуникативного фонда в нашей книге именуются **партикулами**. Тем самым я подчеркиваю их принципиальное отличие от привычных таксономических **частей**, которые могут по своему происхождению и не быть партикулами, и не состоять из них. Это и не «служебные слова», происхождение и формирование которых также достаточно разнообразно.

Их строение как правило моносиллабично, для славянского мира оно описывается как CV или только V (см. об этом более подробно в работе: [Николаева 2008]). Приведем примеры славянских партикул:

Da; De; Dě; Do; Dy; Na; Ne; Ně; No; Nъ; Ni; Nu; Ga; Go; Ha; Že; Ka; Ko;
 Kъ; Ta; Te; Tě; Terъ; Ti; To; Tu; Tъ; Ba; Bo; Sa; Se; Si; Sb; Lě; Le; Li; Va; Ve;
 Vě; Ća; Će; Ći; Ćъ; Ce; Ci; Cъ; A; E; O; I; (I)u; (I)ь; Ei; Oнь; Oвь.

Сколько же в нашем языке (в наших языках) элементов, из которых в дальнейшем возникают знаменательные слова и их частеречные классы? Как представляется, их бесконечно много. Десятки и даже сотни тысяч. А сколько — для каждого индоевропейского языка — мы знаем партикул? Как видно из приведенного списка, очень немного, просто мало — примерно до двух десятков единиц при любой классификации. И, что самое поразительное, число их практически не меняется. *Новые не возникают!* Значит, где-то здесь заложена одна из основных языковых тайн, разгадать которые пока еще невозможно. Обычно те лингвисты, которые ощущали роль партикул в языковой истории, называли их «дейктическими частицами». Я избегала и избегаю этого определения, так как оно претендует на слишком близкое знакомство с функциональной семантикой единиц языка эпох, слишком для нас отдаленных.

Партикулы участвуют во многих языковых системах, создавая то, что мы теперь называем словами и словоформами. Из них создаются тематические компоненты основ, а потом к основам — из того же набора — прибавляются флексии, может быть, по несколько сливающихся затем единиц. Из этого же набора мы видим, как возникают категориальные показатели, примыкающие к «хозяину» как справа (например, аугмент), так и слева. Наиболее сложным видом потенциально определяемых партикул являются так называемые **клитки**, так как несмотря на огромное число исследований до сих пор не определено, как отличить клитику от не-клитики и как фонология слова связана здесь с синтаксической интонацией. Из партикул создаются парадигмы. Парадигмы имени, глагола, прилагательного. Большинство местоимений (кроме местоимений 1-го и 2-го лица) целиком состоят из партикул. Из них же состоят и многие «местоименные» наречия. Так, в истории языка просвечивает былая **агглютинация**.

Таким образом, партикулы, оставаясь исходно 'неизменными, могут налагаться друг на друга, контаминироваться, перекомбинироваться, подвергаться ре-анализу, наконец, менять свои позиции

во фразе. Одни и те же частицы могут «прилипнуть» к будущим глагольным формам, к будущим именным, могут создавать союзы, традиционные частицы, наречия. Могут как бы «перебегать» из одной парадигмы в другую. Но интересно то, что их свойства — присоединяться (хотя бы друг к другу) и менять свои позиции — должны были бы продолжаться и продолжать возникновение новых парадигм и новых частицных сочетаний. Однако этот почти детский «конструктор» на каком-то этапе начинает приостанавливать свой механизм. Для славянского мира это примерно XVI век. Очевидно, что для создания языковой истории начинают действовать какие-то новые механизмы, о которых я писать не хочу, так как все предположения по этому поводу остаются на уровне догадки.

Я считаю (хотя отдельные высказывания по таким же поводам есть и в литературе коллег и в более ранних работах), что создание парадигм, точнее, словоформ, основывается на некоем еще не описанном «минисинтаксисе», когда к основе присоединяется элемент определенного значения. Например, *i*, создающее «вторичные» глагольные окончания, расшифровывается как некая «частица» со значением 'here and now'. Несомненно, что **-s* в именительном падеже имени и оно же в сигматическом аористе семантически тождественно, так как оно привязывает происходящее в случае аориста (или его тему, топик — в случае имени) к наглядной ситуации. В дальнейшей языковой истории близкие по семантике частицы могут подменять друг друга, функционально смешиваться.

Но все же основное значение всех единиц частицного фонда — это отношение к **категории определенности / неопределенности**.

2. Более подробное описание частиц показывает, что их можно разделить на употребляющиеся изолированно и те, которые в основном существуют, присоединяясь к чему-то другому — к таким же частицам или к знаменательным элементам. Первую группу частиц мы называем **примарными**. Например, это союзы вроде *а, и, но*; частицы вроде *же, ли, ни* и т. д. На уровне общеславянского пространства определить функциональную семантику каждой частицы (примарной или нет) бывает достаточно трудно, так как они являются неким потенциальным материалом общедиффузного значения. Но уже при контактном соединении даже двух частиц начинается проходить грамматикализация частицных кластеров, создаются некие элементы с достаточно ясной семантикой. Они

тоже могут функционировать изолированно или становиться чем-то похожим на значимый аффикс. Например, *a + ko* есть показатель образа действия, *a + mo* — показатель места, но *кь + то*, *чь-со* — это уже существующие изолированно местоимения. Разумеется, на многие вопросы, особенно те, которые касаются партикулярной грамматики порядка, ответить невозможно. Например, почему *та + кь* это наречие, а *кь + то* — местоимение? Почему *то + ли* (в смысле *То ли еще будет!*) существует, а *ли + то* — нет? И т. д.

Конечно, при сопоставлении славянских партикулярных систем большую роль играли и играют графико-оптические привычки. Так, мы знаем о существовании ряда партикул в славянских языках потому, что они пишутся контактно, а в русском языке много таких партикул с дистантным графическим расположением: *Да ответишь ли ты мне, наконец?*

Наконец, как эволюционируют эти элементы в пределах славянского пространства? Как представляется, эволюционная схема здесь такова:

□ На первом этапе консонантные опоры партикулы не различают глухих и звонких. Семантика их диффузна и в дальнейшем может различаться даже в пределах родственных языков. В. Н. Топоровым высказывалась мысль, которая могла бы быть эпиграфом ко всей нашей работе: «Вместо того, чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент» [Топоров 1984: 426].

□ На втором этапе выделяются будущие «изолированно функционирующие партикулы». Происходит формирование кластеров. Партикулы приобретают более четкое значение. Например, *o + va + ko* — образ действия, а *o + va + mo* — локальность.

□ На третьем этапе (точнее, последнем) происходит окончательная грамматикализация: изолированных партикул, распределившихся по союзам, частицам, местоимениям, словоформ с партикулами-флексиями, партикулярных кластеров разной таксономии.

3. Хотя, как уже говорилось выше, партикулярный набор количественно ограничен, у него все же существуют «лидеры», формирующие большинство словоформ в частеречных парадигмах. Наиболее определенно об этом высказался в свое время Фр. Шпехт [Specht 1947], подчеркнувший, что у «местоименных» расширителей только три лидера: *k/g, t/d, s*.

Но пара *s/t* все же выдвигается на первое место. Об этом пишет и Фр. Адрадос [Adradoc 2000], предполагая, что множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства является результатом эволюции элементов **-so* и **-to*.

Детальный анализ большинства самых серьезных работ по реконструкции протоструктуры индоевропейского показывает, что эта пара — особенно **s* — участвует и в создании парадигмы имени, и в создании глагольных форм (правда, по-разному в разных позднейших ветвях), и внедряется в основы знаменательных слов. Перечислять все функции **s* в индоевропейском в докладе, посвященном славистическим феноменам, не имеет смысла. Судьба этой пары в славянском пространстве была сложной.

Общеизвестно, что славянское отпадение конечных согласных, «закон открытого слога», отбросил многие более древние флексии индоевропейского и высветил инициальную часть слова, анлаут. Но что же все-таки сохранилось от этой ведущей пары индоевропейской парадигматики в грамматическом пространстве славянских языков? Совершенно очевидно, что славянские языки сохранили на всех своих уровнях лишь какие-то осколки когда-то мощной грамматической корреляции партикул **-s* и **t*, партикул, пронизывавших грамматику языков гораздо более древних. Славянский же язык не только многое не сохранил, он всеми силами многое **преобразовал**.

Не вдаваясь в глубокие причины таких потерь и такого отталкивания, постараемся показать, что же стояло в утраченных и преобразованных позициях в дославянскую эпоху в парадигмах индоевропейского Стадии III (по К. Шилдзу и Ф. Адрадосу), когда партикулы **-s* и **t* переживали свой, если так можно выразиться, звездный час.

4. В данном случае нас интересует не судьба элементов **s* и **t* в эволюции индоевропейского пространства, а те концепции, которые определяли механизм их дистрибуции, при том, что эта пара считалась именно парой, что смутно ощущали все, кто с ними соприкасались. Можно ведь в принципе, например, описать функциональные расхождения формантов *e/o* и *i* или *k/g* и *l*, но почему-то этим

специально никто не занимался, подобные объединения не возникали и специальных работ по этому поводу как будто не было.

Для пары **s/*t* самым простым для лингвистов было объединение этих элементов через запятую — так, как объединяют, упрощая, *уже и уж, хотя и хоть* и т. д. Так, например, поступает Ф. Адрадос [Adrados 2000].

Обратимся к разным концепциям, анализирующим функциональную комплементарность членов этой пары².

• **Самая распространенная точка зрения.** Формант на *s* отмечает именительный падеж; косвенные падежи формируются через *t*. Так, К. Бругманн и Б. Дельбрюк [Brugmann 1892; 1897; Delbrück 1893], называя «корнями» (Stämme) те элементы, которые мы называем партикулами, пишут, что для именительного падежа единственного числа рода выбирается корень **so-*, **sā*, а для всех остальных падежей выбирается второй корень **to-*, **tā*³.

К этой точке зрения присоединяется и Ф. Шпехт [Specht 1947]. Хотя он приводит много примеров изолированного функционирования S-Stämme (например, формирование абстрактных прилагательных, создание Nomina acti и Nomina actionis etc.), само создание индоевропейской парадигмы он видит в том, что через окончание *-s* возникает именительный падеж: «Die Herkunft der idg. Kasusendungen. Die Einführung der Endung *s* für den Nom. Sing. Dieses *s* ist aber nichts anderes als seine deiktische Partikel, die zum Demonstrativum geworden ist. Das *-s* neutral sehr früh zum Stamm gezogen ist» [‘Возникновение индоевропейских падежных окончаний. Введение окончания *s* для именительного единственного. Это *s* есть не что иное, как соотносящаяся с ним дейктическая частица, которая стала демонстративом *s* в среднем роде очень рано вошло в основу’] [Ibid.: 353—354].

П. Схрайвер [Schrijver 1997] считает также оба элемента членами единой парадигмы, сохранившейся в большинстве индоевропейских языков, где все формы, кроме номинатива, начинаются с консонан-

² Я вполне допускаю и даже знаю, что малая доступность лингвистической литературы последних лет в отечественных библиотеках поневоле делает мой обзор-анализ более чем скромным и ограниченным.

³ Однако у Б. Дельбрюка читаем, что в литовском и славянском: «Nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrängt worden ist» [Delbrück 1893: 510].

та *t. Но только элемент *so воплощается в синонимах: а именно, форму *sa* после непалатальных звуков и форму *se* после палатальных.

□ Некоторые концепции близки к вышеперечисленным, особенно если попытаться сделать некоторые обобщения. Так, К. Уоткинс, полагая *-s* рефлексом более древнего деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, считает, что именно *s вскоре стал показателем 3-го лица глагола. По его мнению, это просто «фонетический расширитель, не имевший значения». Во многих и.-е. языках он используется во втором лице, а в тохарском — как показатель 3-го лица [Watkins 1962].

□ К. Шилдз [Шилдз 1988] считает, что *so употреблялось при передаче эргативности, а *tod — когда необходимо было указание на Casus Absolutus. (Эта идея высказывалась и ранее при обсуждении сущности эргативной конструкции [Эргативная... 1950].) Сложную судьбу *s* он интерпретирует следующим образом: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены 2-м лицом [Шилдз 1988: 241—245].

□ Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356], описывая местоименные элементы субъектно-объектного характера (то есть элементы второго позиционного места), для 3-го лица единственного числа именительный падеж представляют через *-os, а именительный-винительный среднего рода через *-ot [h].

Что можно сказать об этом первом концептуальном цикле? Все эти гипотетические построения демонстрируют по сути одно: зыбкость и слабую грамматикализованность первичных падежных и глагольных словоформ, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы.

Совершенно ясно, что древними коммуникантами выделяется некий «он» (напомним, что и в русском языке у местоимения 3-го лица именительный падеж выражен иначе, чем падежи косвенные: *он—его—ему* и т. д.; *они—их—им* и т. д.). «Он» находится где-то близко и маркируется через *s. Но это могут быть и «они», поэтому *s может появиться и во множественном числе (и в некоторых языках там и остается). Остальные актанты или находятся дальше, или являются предметом беседы, занимая неосновное место. К ним

добавляется **t*. Начинается новый этап грамматикализации и более распространенное **s* являет себя каким-то хамелеоном, внедряясь то в разные формы презенса, то в медий, то в претерит, то в оба залога. Очевидно, что в реальных языках эпоха грамматикализации и становление парадигм происходили в разное время, однако пара *s/t* все равно не меняла своей значимости.

По мысли К. Шилдза [Shields 1992], по мере создания глагольной парадигмы происходил активный процесс контаминации дейктиков, в результате чего появились такие комбинации, как *-st* (2-е лицо) и т. д. В этой же книге он высказывает мысль о том, что само это легендарное **so* есть результат контаминации *(*e/o*)*s* + **o*. Ранее сходную мысль высказывал в 1927 году Х. Хирт [Hirt 1927: 11—12].

□ **Существуют и другие точки зрения.** Так, например, Э. Стертевант предположил в 1939 году, что эта пара восходит к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз **so* употреблялся в предложениях без замены субъекта, а **to* — в предложениях с заменой субъекта. Впоследствии союз **so* был реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. Вообще, по мысли Э. Стертеванта, эти «индо-хеттские» конгломераты приобретали значение местоимений позже, а в более древнем хеттском они сохраняли свое первичное значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, а хеттские союзы возникают позднее. Эту гипотезу отвергает и Т. В. Гамкрелидзе, показывая на фактах хеттского синтаксиса, что замена или не-замена субъекта не соотносится с типом союза [Гамкрелидзе 1957]. Однако все приводимые ранее факты, возможно, нуждаются в пересмотре с точки зрения темарематического членения и выявления анафорических связей.

□ В. М. Иллич-Свитыч среди 10 примарных единиц, классифицируемых им по консонантным опорам, выделяет две: *t/s* (V) и *s* (V), т. е. не чередующееся с *t* [Иллич-Свитыч 1971]. Расподобление *s/t* у Иллича-Свитыча решается так: 1) *s* — дейксис у одушевленного класса⁴; 2) *t* — указательное местоимение неодушевленного класса. Что касается глагольных форм, то *t* может служить показателем каузатива и рефлексива, а *s* — показателем дезидератива.

⁴ Уже в позднеанатолийском, возможно, сверххархаичном индоевропейском лидийском, *-*s* связывается с одушевленными именами.

Однако обе формы — на *t* и на *s* — описываются В. М. Илличем-Свитычем как варьирующиеся показатели формы 2-го лица единственного числа. Точно так же формант на *t*- может, по Илличу-Свитычу, обозначать и 'тот', и 'этот'. Наконец, *t/s* — показатели косвенных падежей имени. Тот показатель на *s*-, который, по Илличу-Свитычу, не смешивается с консонантной опорой на *t*-, имеет значение дейксиса 3-го лица, значение притяжательности, для глагола — значение рефлексива [Иллич-Свитыч: 1971].

• Еще одна гипотеза предложена Г. Дункелем [Дункель 1992]. По его мнению, существовало личное местоимение 3-го лица единственного числа на **s*: форма **si* передавала женский род, а форма **so* — неженский. При этом оротонические формы, т. е. ударные, были связаны с консонантной опорой на **t*, а формы энклитические — с консонантной опорой на **s*. См. у него: «Итак, основными формами частиц были — в ударном положении **só*, в безударном — **se*; можно также допустить существование двух суплетивных алломорфов **su*, **si*. Таким образом, позднее и.-е. ***só/-se* как с формальной, так и с функциональной точки зрения существовало параллельно с **to/te/* <...> Видимо, здесь мы имеем дело лишь со сближением изначально конкурирующих элементов» [Там же: 21].

Напротив, О. Семереньи [Семереньи 1980: 232] считает маркированной форму 2-го лица единственного числа, передающуюся через опорный консонант **t*, а **s* считает показателем не-единственности. Поэтому исходная форма второго лица множественного числа в идеальном (агглютинированном?) виде демонстрирует три формы: второе лицо + первое лицо + множественность. Это **t* + **we* + **s*. (При этом он отказывается от предлагаемой ему соблазнительной интерпретации финали *nsme* > *n* + *s* + *me*, т. е. как 'того + его + меня', что, собственно, и значит 'нас'.) Вспомним, как разлагал форму *ανέρες* Ф. Шпехт: «Plurals *ανέρες*, ursprünglich geheissen "ein Mann, hier einer und dort einer". Demnach bedeutet der Plural zunächst eine Dreierheit» ['Форма множественного числа *ανέρες* первоначально означала: «человек, и здесь еще один, и там еще один». Таким образом множественное число первоначально обозначало тройственность'] [Specht 1947: 366].

Относительно происхождения этой пары тот же К. Шилдз [Shields 1992: 30] полагает, что исходная форма для обеих партикул (basic variant) была здесь *(*e/o*)DH, а остальные были ее производными. Однако и **t* развивался самостоятельно и легко контамини-

ровался с другими частицами⁵. Изначальное значение этой частицы с звонким исходом **-dh* было 'not — here — now'. Отсюда: **me-dhi* ('in the midst of') и предлог μέτα, то есть 'then and there'.

Это же значение К. Шилдз видит в сочетании вокалической частицы с сигматическим формантом **(e/o)s*. Сигматический показатель формирует аорист, будущее время, субъюнктив, дезитератив, претерит, отчасти презенс и участвует в показателе 2-го и 3-го лиц. Каким же образом это **-s* могло появиться в настоящем времени? Шилдз считает это результатом сложного ре-анализа и комбинации с **t*, который являлся показателем презенса.

В последнее время к функциональной дистрибуции формантов **s* и **t* вернулась в связи с галльским и ирландским претеритом Н. О'Шей [О'Шей 2005]. Она видит в их дистрибуции фонетическую причину: *s*-претерит связывается с исходом на ларингальный, а *t*-претерит связан с исходом на сонорный.

Итак, можно высказать и собственное мнение. А именно — безусловно пара *s/t* занимала первое место среди элементов, формирующих индоевропейские парадигмы. Из них двоих, конечно, первое место занимало *s*. (Обо всех его грамматических следах мы сознательно не говорили.) Скорее всего, *s* выражает определенность, при этом демонстрируя указание на «близность». Можно привести доказательства самые простые, опираясь на то, что мы назвали «скрытой памятью» языка. Известно, что множественное число в большей степени тяготеет к неопределенности, чем единственное. Поэтому многие языки, вроде английского и французского, закрепляют определенность через *s*, формируя множественность. Но это уже поздняя грамматикализация. Точно так же *'s* в английском родительном (*special clitics*, по А. Звики [Zwicky 1977]) закрепляет определенность, постепенно превращаясь в факт грамматики.

⁵ Это окончание в глаголе *-t[ъ]* давно привлекало к себе внимание исследователей. Так, В. Шмальштиг, занимаясь этим окончанием в славянском аористе в сопоставлении с древнепрусским претеритным окончанием *-ts*, приводит множество теорий по поводу генезиса этой флексии, в основном возводящих ее к другим глагольным формам. С негодованием и без конкретных ссылок он говорит об идеях «местоименного» происхождения этого окончания: «Some have thought that these forms were derived by the addition of a personal pronoun *tъ*» [Шмальштиг 1988: 197].

5. Что же осталось от этой лидерствующей пары индоевропейских формообразующих партикул в славянском пространстве?

Прежде всего это разнообразные частицы, как примарные, то есть употребляющиеся изолированно, так и кластерного происхождения.

Например, это партикула *da* (вариант *do*), партикула *de*, а также *dy*.

Это партикулы на *t-: *ta*, *to*, *tv*, *tu*, *ti*. Многие из них выполняют функции междометия, частицы и союза — по-разному в разных славянских языках и диалектах.

Проблемой *t/d* является вопрос о том, считать ли эти партикулы восходящими к одной единице по звонкости/глухости или на славянском уровне эти единицы уже разошлись. (Согласно глоттальной теории, *d = *t.) Считаем, что на хронологическом срезе, посвященном исключительно славянским данным, ответ будет отрицательным, так как на протяжении веков уже произошла грамматикализация в каждом из рядов по глухости и звонкости, включая даже примарные партикулы. Например, *tu* связано с темпоральностью и стадийностью, а аналогичной партикулы-наречия *du* — нет. Зато есть спациальное *de* (*kv*+ *de* и под.), но *te* и *tv* с ним по смыслу не соотносятся. «Та-та-та», — говорит человек, стремясь поправить коммуниканта и сомневаясь в сказанном. Но «Да-да-да» означает, напротив, подтверждение.

Элемент *t* остался в словоизменении и словообразовании.

Это второе лицо множественного числа — *те*.

Это третье лицо настоящего времени единственного и множественного числа в древнерусском: *дѣлаеть* и *-тъ* в современном русском;

это *-тъ* как окончание супина (после глаголов, означающих движение).

Это *-ти* под ударением в инфинитиве глагола и *-ть* с ослабленным вокалом конца.

Это формы страдательного причастия типа *уби-т-ый*, то есть обладающий неким свойством и в этом смысле соотносимый с *борода-т-ый*, *зуба-т-ый* и т. д. Это сохранившиеся старые основы на *-t* вроде *локоть*, *ноготь*⁶ (следы классного деления). Это основы слов

⁶ В последнем случае может быть представлена метатеза: ср. лувийское *tamuga*.

типа *теля-те, дитя-ти* (они восходят, по мнению Р. Якобсона и Л. Во, к особому архаическому типу преназализации: **-nt*) и т. д.

Это существительные типа *зла-то, доло-то, боло-то*, существительные от прилагательных, например, *живо-тъ* и т. д. На базе партикулы *-to* развились суффиксы: *-itje-, -ost', -tvo (-tva), -bstvo*.

Но прежде всего нужно сказать о местоимениях *тъ (томъ), та, то*, считающихся показателем «дальнего дейксиса». На этой базе возникают как неопределенные местоимения достаточно сложной структуры: *нѣ-къ-то, къ-то-то, ко-је-къ-то* и т. д., так и определенные: *то-тъ-то*, артиклеобразные сочетания: *домъ-ом, девка-та* и под.

Перейдем теперь к партикулам на **-s*. Напомним честное признание по поводу этой партикулы: «элемент *-s* стоит совершенно вне системы и его происхождение неясно» [Шмальштиг 1988: 283]. Напоминаем также, что в книге Фр. Шпехта этот «расширитель» является одним из трех основных, наряду с *t/d, k/g*, расширителей индоевропейской именной системы. (В славянском языке *c < *k* палатальному как сатэмное изменение; поэтому в славянском произошло объединение того, что в индоевропейском отчетливо различалось.)

Прежде всего этот элемент представлен в виде партикулы *se/sъ*. Эти два вида иногда разделяются этимологами, считающими, что *съ* выступает исконно как указательное местоимение, а *se* — как междометие. Первый вариант выступает и как опора деривативных цепочек: *с-его дня, с-ию минуту, утро-сь, по-ся-мест*, древнерусск. *си-ночь*, мак. *си-нока* и т. д. Интересно в этой связи замечание о семантике порядка *съ* в препозиции *съ родъ*. Тогда это значит «именно этот род», а *родось* значит просто «этот род» [Мейе 1938: 383].

В славянских языках эта частица принимает разные фонетические виды, в основном меняя вокалический исход. Таковы славянские частицы *sa, se, si, sъ*. Особое место занимает так называемое *s-mobile*: *с-мерть, ш-кура (s > š-kora), сколько* и т. д.

Как и в случае с *-t-*, партикула *-s-* сохраняет свои следы как тематический показатель основы некоторых слов, например, *небе-с-е, сло-ве-с-е* и др.

Как и партикула **-t*, **-s* партикула служит в славянских языках в качестве показателя определенности, например, польское *kto-ś*. Таким образом, обе партикулы могут быть амбивалентны, что говорит об их древности и первоначальной энантиосемии.

Легко заметить, что следы партикулы *-s* исчезают в словесном ауслате. Ее неинициальной сохранности способствует часто при-

крытие в виде *-t*. Таковы формы *-st* в *да-ст*, окончание суффикса сравнительной степени прилагательного и наречия: *-jos, is, jeis*.

В эпоху, гораздо более позднюю, чем индоевропейское единство, то есть в эпоху развития восточных индоевропейских диалектов, в славянских языках широко развился так называемый «сигматический» аорист. Его показателем был *s-*, к нему же присоединялись вторичные глагольные окончания. В результате получались формы *-ss, -st*. Впоследствии конечные согласные исчезали, что и привело к совпадению форм 2-го и 3-го лица единственного числа. По так называемому «правилу *r, u, k, i*» окончание сигматического аориста переходило в *xъ*, например, *rĕk-s > rĕxъ* и под. Исчезало и *-s-* в местном падеже: **-su > xъ (домъxъ)*. Таким образом, грамматический формант *-s* в славянских языках постепенно исчезал, сохраняясь лишь спорадически.

Выше мы уже говорили о словоформах типа *даст*. Могут ли обе эти частицы сочетаться в одной словоформе или в одном идиоме? Да, таких словосочетаний довольно много и они кажутся неслучайными. Это обороты типа *туда-сюда, там-сям* и т. д.

Что же касается парадигматики, то можно отметить, что язык, сохранивший показатель **-so* в родительном падеже *че-со*, заменил при местоимении *тѣ* аналогичную форму на *то-го*. Как пишет А. Мейе, «что касается элемента *-go*, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы *не-го* (после сравнительной степени) и соответствующей санскритскому *gha*, подобно тому, как же соответствует санскритскому *ha*» [Мейе 1938: 348]⁷.

⁷ Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в уже не раз упоминавшейся нами работе Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на *-go* состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme *jo-* und *to-* mit dem Pronominalstamm *go*. Dabej verhält sie *go* zu *ko...* Da *k* und *g* im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. *hic* aus **ho-ce* mit *ke* dem *go* in slav. *to-go* sehr nahe» [«эти конструкции состоят из комбинации славянских корней *jo-* и *to-* с прономинальным корнем *go...* Так как *k* и *g* в аналауте могут заменяться, то формы типа лат. *hic* < **ho-ce* с корнем *ke* очень могут быть близки к слав. *то-го*].

Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию *-go* у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям: *-go* — это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (частиц) индоевропейских языков («A particle in **ghelo* is traditionally reconstructed for Indo-European» [Ibid.: 87]). В русском языке (и других славянских), употребляемая изолированно, она известна как *же*. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице *не-го*.

б. Но все же — почему именно эта пара заняла первое место, начиная от времен глубокой архаики? В этом случае, как нам кажется, и должен помочь фонетический эксперимент, который никогда никто не проводил — так же, как никто не проводил реальный эксперимент с клитиками / не-клитиками, хотя все единодушно утверждали, что не-кли-тики «полноударны» и что клитики, в отличие от «ударных» не-клитик, образуют одно фонологическое слово с «хозяином».

Что же можно сказать именно об этой паре согласных с фонетической точки зрения?

Оба звука — консонанты, оба глухие. Оба — переднеязычные. Но они различаются: по способу образования. Звуки группы [S] — фрикативные (щелевые), звуки группы [T] — смычные. Но различаются они, по сути, одним признаком — этим уже упомянутым способом образования.

Однако язык располагает и другими парами глухих консонантов. Почему такое предпочтение было именно для этой пары глухих? Обратимся сначала к самому популярному российскому учебнику фонетики А. Р. Зиндера [Зиндер 1979]. Читаем довольно простое и убедительное объяснение «силы» глухих: «В пределах одного языка звонкие обычно слабее глухих. Это, очевидно, связано с тем, что присутствие голоса делает согласный слышимым, даже при слабой артикуляции. Чтобы достичь такой же слышимости глухого согласного, его нужно произносить сильнее. Слышимость же играет в речи далеко не последнюю роль; она так же важна для понимания сказанного, как и другие фонетические факторы» [Там же: 124].

Итак, глухие консонанты — сильные. Но ведь существуют и другие глухие пары. Для определения силы согласных *s/t* в Лаборатории фонетики ИРЯ РАН в 2007 году нами был проделан простой эксперимент. Записывались логотомы:

К. Шилдз считает, что местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»). Развитие известной нам многопадежной парадигмы поэтому происходило у местоимений постепенно. И он высказывает гипотезу о первоначальном локативном значении генитивных форм в индоевропейском: «The original unity of the locative and the genitive cases is further suggested by the intimate relationship between locative and genitive constructions in the world's languages» [Первоначальное единство местного и родительного падежей просматривается у глубинных связей между локативными и генитивными конструкциями во многих языках мира] [Shields 1997: 85].

ТАСА - ТАСА́;
 ТАТА — ТАТА́;
 ТАКА — ТАКА́;
 ТАПА — ТАПА́.

При этом выявилась преобладающая «сила» пары глухих [S]/[T]. Тогда возникает естественное объяснение, что при коммуникации в древности стремились употреблять «сильнозвучащие» звуки.

(Для дальнейших разысканий дистрибуции этой пары в парадигматических рамках, как кажется, необходимо было бы определить их сущность с позиций Л. В. Щербы, выделившего три типа согласных: сильноначальные, сильноконечные и двувершинные.)

Список литературы

- Гамкрелидзе 1957 — Гамкрелидзе Т. В. Местоимение *so, *sā, *tod и «индохеттская» гипотеза Э. Стертеванта // Сообщения АН Грузинской ССР. 1957. Т. XVIII. № 2.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. Г., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 1. Тбилиси, 1984.
- Дункель 1992 — Дункель Г. Грамматика частиц // Вопр. языкознания. 1992. № 5.
- Зиндер 1979 — Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1979.
- Илич-Свитыч 1971 — Илич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (В—К). М., 1971.
- Мейе 1938 — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Николаева 2003 — Николаева Т. М. Пространство славянских партикул // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов в Любляне: Докл. российской делегации. М., 2003.
- Николаева 2008 — Николаева Т. М. Непарадигматическая лингвистика (История «блуждающих частиц»). М.: ЯСК, 2008.
- О'Шей 2005 — О'Шей И. А. Галльские и лепонтийские формы претерита — традиции, инновации и вопрос диалектного распределения // Вопр. языкознания. 2005. № 5.
- Семереньи 1980 — Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Топоров 1984 — Топоров В. Н. О специфике балт. *lai и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.

- Шилдз 1988 — *Шилдз К.* Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. М., 1988.
- Шмальштиг 1988 — *Шмальштиг В.* Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в современной индоевропейской лингвистике. М., 1988.
- Эргативная... 1950 — Эргативная конструкция предложения / Сост. Е. А. Бокарев. М., 1950.
- Adrados 1992 — *Adrados Fr.* The new image of I.-E.: the history of a revolution // *Indogermanische Forschungen*. 1992. Bd. 97.
- Adrados 2000 — *Adrados Fr.* Towards the syntax of Proto-Indo-European // *Indogermanische Forschungen*. 2000. Bd. 105.
- Bopp 1833 — *Bopp Fr.* Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen. Berlin, 1833.
- Brugmann 1892 — *Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indo-germanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Zweiter Band. Wortbildungslehre (Stammbildungs- und Flexionslehre). Strassburg, 1892.
- Brugmann 1897 — *Brugmann K.* Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der Indogermanischen Sprachen. Erster Band. Strassburg, 1897 // *Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen 8 Sprachen. Erster Band. Strassburg, 1897.
- Delbrück 1893 — *Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Erster Theil // *Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Drifter band. Strassburg, 1893.
- Hirt 1927 — *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. III. Heidelberg, 1927.
- Schrijver 1997 — *Schrijver P.* Studies in the history of Celtic pronouns and particles. Maynooth, 1997.
- Shields 1992 — *Shields K. C.* A history of I.-E. verb morphology. Amsterdam; Philadelphia, 1992.
- Shields 1997 — *Shields K.* On the origin of the Slavic pronominal genitive singular ending *-go* // *International journal of Slavic linguistics and poetics*. XLI. 1997.
- Specht 1947 — *Specht Fr.* Der Ursprung der Indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.
- Watkins 1962 — *Watkins I.-E.* origins of the Celtic verb. Dublin, 1962.
- Zwicky 1977 — *Zwicky A.* On clitics. Bloomington, 1977.

**РУССКИЕ ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ,
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В N-МЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ «БЛИЖНИМ ДЕЙКСИСОМ» —
ВОТ, ВОН ИЛИ ЭТО?**

Публикуемый ниже текст исследования о трех основных дейктических частицах — *вот, вон, это*, посвящен пересмотру, казалось бы, незыблемых позиций грамматики: о распределении «ближнего» и «дальнего» дейксисов. Оказывается, что проблема требует более внимательного подхода. Важным является целый ряд признаков, по которым и идет квалификационное «ветвление»: наличие / отсутствие глагольного сказуемого, временная форма этого сказуемого, акцентированность / неакцентированность частицы в безглагольном высказывании, родо-видовые отношения в функции связки и т. д.

Подчеркнем, что сама коммуникативная функция частиц — быть коннекторами — говорит о том, что высказывания с включенными в них частицами принципиально не могут передавать изолированное событие «без комментариев». Если по отношению к таким частицам, как *-то* (*Он-то придет!*), *же, даже* и др., эту концепцию, как представляется, можно принять без обсуждений, то более проблематичным остается вопрос о возможности / невозможности прямого введения ситуации изолированной и/или глобальной в коммуникативную среду.

Представляется, что для частиц необходимо различать степени дейктических возможностей.

Непосредственное введение ситуации как таковой в коммуникативную среду, без текстовых переключек и конситуационных аллюзий, и было бы тем, что можно назвать дейктической актуализацией ситуации. Частицами-претендентами на роль дейктических актуализаторов могут, очевидно, выступать три частицы: *вот, вон, это*. В каждой из них прослеживается рефлекс указательного местоимения — *тѣ, онѣ* (см. более раннее *се* — *Се ветри, Стрибожи вну-*

ци, веють сь моря стрелами нахрабрыя плькы Игоревы: се связано с указательным местоимением *сь*, о его судьбе подробно см. [Элсберг 1967]). Анализ дейктических значений этих частиц и выявление иерархии их коммуникативных значений в рамках этой содержательной категории позволит сделать выводы о типах дейктического введения ситуации в целом.

Оказывается, что принципиально существенным является наличие в данном высказывании глагольного сказуемого или его отсутствие; при отсутствии глагольного сказуемого ситуация, как будет видно далее, предстает более глобализованной.

1. Разберем примеры с акциональным глагольным сказуемым в презентной форме.

Вон тучи собираются.
Вот тучи собираются. } *Домой пора.*
Это тучи собираются.

По нашему мнению, наибольшая непосредственность дейксиса выражена в примере с *вон*. В *вот* присутствует не только дейктический, но и анафорико-катафорический компонент: *Что же Вы домой спешите? — Вот тучи собираются* или — *Видимо, пора уходить. Вот тучи собираются* и т. д.; см. аналогичное замечание у Т. П. Вязовик о совмещении нескольких функций у конструкций с *вот*, а не только о наличии чистой указательности [Вязовик 1981: 6—7]. *Вот*-конструкции оказываются обычно, по мнению Т. П. Вязовик, «гибкими и полифункциональными». Об анафорической отнесенности *это* с предшествующей ситуацией, обычно глобальной, говорилось. Доказательством этого служат четыре аргумента: 1) конечность позиции антецедента для *это* — если он есть, т. е. построение предложения по законам словоупотребления в описательной глобальной ситуации с новым компонентом в конце; 2) возможность введения референтного неопределенного показателя даже при имени собственном — *Сегодня нам лекцию читал /некто/ Сергеев. Это...;* 3) несочетаемость реальной *это*-конструкции с нереперентностью предшествующего имени — *Мне нужны какие-нибудь туфли. *Это хорошие туфли;* т. е. предшествующая ситуация должна быть реальной; 4) она не должна иметь негированный антецедент — т. е. быть + TOT + LIMIT + EXIST. Таким образом, у *это* анафорический момент бесспорен: *Что это? — Это тучи собираются. Домой пора.*

Намечается для ситуации презенса иерархия: *вон* → *вот* → *это*.

Несомненно, что *это* в разбираемых ниже конструкциях *изофункционально вот и вон*. Статус частиц для последних в современной русистике не отрицается. Поэтому нет оснований для *это* в подобных высказываниях утверждать статус местоимения. Все три частицы могут быть ударными и безударными, поэтому критерий ударности / безударности не оказывается здесь рабочим; справедливо, однако, и положение о комплексной функциональной семантике лексемы, поэтому диапазон функций *это* неизмеримо больше, чем, например, *у вон*.

В применении к пласту прошлого о дейксисе в максимальной степени, очевидно, можно говорить о сочетаниях частиц с Praesens historicum. Обычно при этом появляется дополнительное значение, которое можно назвать «дейксисом издалека».

1) Считаем его значением № 1: *Вот вижу Ваше лицо, улыбающиеся глаза, как я рассказываю Вам много, много; На пир любви душой стремлюсь я. Вот вижу вас, вот милых обнимаю; Разговор с Легостаевым надолго запомнился мне. Вот сидит передо мной — решительное и спокойное лицо, коротко стриженная голова; Вот раздается «ау!» вдалеке, вот над колосьями в синем венке черная быстро мелькнула головка*. Здесь, в этих примерах, возможна замена *вот* на *вон*.

Это в дейксисе издалека обязательно требует анафорического пространства, необходимого и для обобщенных высказываний (*/Что у нас ладу нет в семье, / это /я чувствую, и тяжело мне/; /Должно быть, везде и на всех попрощах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью/. Это /так нужно/*). См.: *Вы думаете — это бредит малярия? Это было, было в Одессе*. Пространство текста здесь заполнено: *Вы думаете*. В том случае, если это пространство заполнено и для *вот*-конструкций, *вот* можно заменить на *это*: *Из каждого дома, из-за опущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка*.

Таким образом, для значения № 1 *вон* = *вот* без условий интродуктивного фрагмента, *вот* = *это* с интродуктивным фрагментом.

2) Второе значение — начало некоторого эпизода, нарративной ситуации, текстовая интродуктивность. *Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; Вот едет могучий Олег со двора; Боярыня Мамелфа сегодня вот мне говорит про Глеба*. В данных примерах *вот* невозможно заменить на *вон*: возникает значение непосредственного дейксиса — *Вон мчится тройка почтовая; Вон едет*

могучий Олег со двора, что подтверждает гипотезу о первичности именно *вон* в функции непосредственно дейктической актуализации ситуации. Это в подобном значении как бы ищет выхода из требований интродуктивного текстового прикрытия. Этим минимальным выходом может быть инициальное введение *verba sentiendi* — *И я увидел: это идет ко мне знакомый*, а чаще всего — сдвиг *это* не в начальную позицию, как бы псевдоприкрытие — *Иду это я по улице, как шарахнет мимо рысак...*; *Она это руку подставляет, а слезы кап-кап...* (по наблюдению Н. Ю. Шведовой, это в подобной позиции часто произносится как *эт-та* [Шведова 1960]).

Для значения № 2 возможны *вот* и *это*.

3) Значение 3 — значение результативности, законченности фрагмента, переход к новому, т. е. значение рубежа, вообще характерное для Praesens historicum: *Вот кибитка подъезжает; Люди долго и упорно идут по горам. Вот они достигли перевала*. Здесь невозможна замена на *это*, т. к. *это* поясняет, но не результирует, невозможна замена на *вон* — возникает значение «дейксиса издалека».

Таким образом, 3-е значение Praesens historicum с указательной частицей допускает только *вот*.

При переходе к прошедшему времени в актуализируемом высказывании с частицей дейктичность ослабляется и для *вон*. Чистая иллюстративность, наглядность, свойственная *вон*, переходит в наглядность примера, поскольку всякий пример по сути иллюстративен: *Чувствуем по-другому. Я вон мужа в четырнадцатом году провожала. Слезами изошлась; Наши из молодых да ранних были — мой вон техникой увлекался* (это значение примера есть и в настоящем времени: *Знаете, я не умею сердиться. Ничего не выходит. Вон с рабочими начну кричать, даже ногами потопаю, а выходит смешно* и т. д.). С иллюстративной показательностью примера связаны содержательно два контактных смысловых явления — итеративности: *Разглядишь какую-нибудь птицу в синем прозрачном воздухе и долго следишь за ее полетом, вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой* (в этом случае дейктичность издалека также присутствует и *вот* может заменить *вон*), и обобщения: *А старуха грызла меня: книжник! Книжники вон распутству учат* (замена на *вот* меняет нагрузку примера, делает более конкретным, но без значения непосредственного дейксиса).

Таким образом, создается впечатление, что в высказываниях с активным сказуемым сама дальность дейктического значения, ха-

ракторная для новых форм, как бы сберегает дейктическое значение *вон*, тогда как более «ближние» товые формы (*это* и *вот*) более активно подвергаются текстовым коннотациям. В ситуации «дейксиса издаалека» в прошлом *вон* сближается с *вот* (см. об этом [Маслова 1977]). Однако в русском языке, как представляется, их объединение не заходит настолько далеко, чтобы можно было говорить об объединенной единице, какова, например, артефактивная английская единица *'dthat'* [Kaplan 1979].

2. В актуализируемых ситуациях второй группы, воплощаемых высказываниями с *вон*, *вот*, *это* без глагольного сказуемого, мы имеем все три частицы (о предикативном характере русского *вот* см. [Блажев 1973]).

Вот
Вон } *стерляди кусочек.*
Это

Существенным для всех трех частиц является при этом акцентированность / неакцентированность частицы. При ее акцентировании вводится категория предупоминания — *Вот стерляди кусочек*; *Вон стерляди кусочек*; *Это стерляди кусочек*, и тем самым проблема непосредственного дейксиса снимается. При неакцентированной частице и неакцентированном имени, т. е. при обычной нейтральной интонации, дейктическое значение присутствует. Однако оказывается, что существенным является сдвиг в иерархии: с одной стороны, на первый план выходит *это*, затем *вот*, затем *вон*; с другой стороны, небезразличной оказывается категориально-лексическая принадлежность имен, связанных с частицей. Для *это* существенна степень индивидуализации имени. Максимально индивидуализированы местоимения и имена собственные: *Это я*, *Это он*, *Это Петр* есть целостные высказывания и целостные ситуации, имплицитные бытийную связку *есть*. Наиболее распространена конструкция *Это я*. И здесь, несколько отвлекаясь в сторону, правомерно сказать об отличии именно русского этикетного поведения в инициальной телефонной фразе, отделяющей русский этикет не только от славянского, но и шире — европейского употребления, когда говорят *здесь*: *Здесь Милка*; *Здесь Эльжбета*; *Здесь Кристиан Саппок* и т. д. По этому поводу предлагается тезис о том, что русское *здесь* не предполагает включенность говорящего в локализацию, т. е. это поле «чужого», а не «своего»: *Здесь построили школу*; *Здесь растут грибы*; *Здесь хорошо* — все это имеет место помимо говорящего (*Я здесь живу*;

Я купил здесь книгу, по нашему мнению, свидетельствует о локализованности, а не об активной ангажированности). Поэтому интродуктивное *Здесь Ирена* воспринимается как сообщение о третьем лице.

Итак, *Это я, Это Сережа* — самодостаточные ситуации. Но *Это кошка, Это птица* уже имплицитно некоторое предварительно воспринятое действие: *Это птица /кричит/, Это кошка /шуршала/* и т. д., т. е. содержат элемент пояснения. Элемент и дейксиса, и пояснения отчетлив при соединении с именами неодушевленными, хотя здесь действие не примысливается: *Это брюква, Это валерьянка, Это мое новое платье* и т. д. См. очень тонкий пример И. С. Тургенева, вообще часто использующего игру с кодом: *А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин* (т. е. «внезапное» употребление *это* с неодушевленным именем нетипично для ситуации *In medias res*).

Вот в подобных ситуациях действует по противоположной схеме. *Вот я, Вот Х, Вот Петр* (еще раз с акцентными ограничениями) — высказывания неполные, нереализующиеся, возможно *Вот и я, Вот и Петр*, но это не столько дейксис, сколько сильный результатив, ожидаемое событие. Особенно крайним является максимально индивидуализированное *Вот я*, поэтому интересна разговорная некодифицированная форма *Я вот он*, на возможной двоякой трактовке которой мы остановимся ниже. Зато *Вот брюква, Вот мельница, Вот ручка* представляют собой полноценные дейктические ситуации. Они заменимы на *Вон*. Ср.: *Я недавно приехал в Коринф. Вот ступени, а вот колоннада (вот → вон); «Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович, — умер славную смертью от руки неприятеля. Вон его победитель», — при этих словах он указал на Дефоржа (вон → вот).*

Таким образом, *вон* и *вот* ближе к нарицательному имени, неиндивидуализированному, а *это*, напротив, к индивидуализированному. Категории ближе / дальше как относительные необходимо выявить, поскольку всякое текстовое употребление не абсолютно и организовано по принципу поля. Кроме того, все время нужно помнить о дейктическом значении, обсуждаемом в данном разделе.

3. Третьей возможной сферой употребления частиц является значение связочное, как бы ушедшее от дейксиса и переходящее во вневременное существование. И здесь еще раз выявляется доминантность дейктической семьи именно у *вон*: оно связывается с ситуацией непосредственно — ср.: *Государство — это я; Ученость — вот чума*, но не: **Ученость вон чума; Государство вон я*. Это объ-

ясняется и тем, что *вон* не нуждается в ситуационном и текстовом предварении и потому не привлекается для связочной функции. *Это* и *вот*, таким образом, являются связками (идея о глагольно-связочной функции французских *voici, voilà* указывалась Гено, см. [Genaust 1975]).

Однако контексты *это* и *вот* не совпадают. В связочной функции еще отчетливее проступает ось максимально-минимальной индивидуализации. Она значима для *вот*, но не для *это*. Ср.: *Любовь — это сон упоительный* и *Любовь — вот сон упоительный*. Но невозможно: **Убийца вот Петров*. Но: *Петров — вот убийца* (ср.: *Убийца — это Петров* и *Петров — это убийца*), поскольку *вот* сопоставляет конкретное или видовое понятие с более обобщенным, родовым (*Убийцы — вот зло*), т. е. как бы поднимает на ступень по абстракции. *Это* более толерантно, оно требует другого: текстово-ситуационного введения.

Возвращаясь снова к конструкции *Я вот он; Мы вот они*, можно предложить два толкования; 1) *Я /Вот он/*, где *я* приравнивается к ситуации *Вот он*, дейктической, глобальной, и 2) *Я — вот — он* 'я есть он', поскольку *он* обобщеннее *я*, а *вот* требует обобщения. Оба объяснения не исключают друг друга: см. тенденции у *вот* при дейксисе безглагольной ситуации и реализации их в функции связки.

Сведение всего сказанного о трех дейктических частицах можно представить в следующей табличной форме:

Тип высказывания		Допустимость частиц			Иерархия их веса
		Вот	Вон	Это	
Высказывания с глагольным сказуемым	Непосредственное настоящее	+	+	+	Вон → Вот → Это
	Настоящее в прошедшем	+	+	+	Вот → Вон → Это 1) Вот = Вон; Вот = Это 2) Вот = Это 3) Вот
Высказывание без сказуемого		+	+	+	Это → Вот → Вон
Функция связки		+	-	+	Это → Вот

Список литературы

- Блажев 1973 — *Блажев Бл.* Съдържат ли подлог и сказуемо изреченията от типа «Вот дом» в русские език? // *Език и литература.* 1973. № 4.
- Вязовик 1981 — *Вязовик Т. П.* Указательные местоимения, включающие частицу *вот* // *Русский язык в школе.* 1980. № 1.
- Маслова 1977 — *Маслова Д. М.* Частицы «вот» и «вон» как показатели семантико-синтаксической связи между предложениями в тексте // *Неполнозначные слова.* Ставрополь, 1977. Вып. 11.
- Шведова 1960 — *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
- Элсберг 1967 — *Элсберг И. А.* Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке XII — нач. XIII вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1967.
- Genaust 1975 — *Genaust H.* *Voici and voilà* (eine textsyntaktische Analyse) // *Textgrammatik.* Tübingen, 1975.
- Kaplan 1979 — *Kaplan D.* *Dthat* // *Contemporary perspectives in the philosophy of language.* Minnesota, 1979.

ЧАСТИЦЫ И СИТУАЦИИ. «СКРЫТАЯ СЕМАНТИКА» ЧАСТИЦ

Акцентируя или нет, но частицы добавляют некоторое смысловое содержание, дополнительные смысловые строки. Таким образом, ихмир — это мир дополнительной скрытой семантики. В этой неявной семантике есть два полюса — субъективная информация и объективная. В ряду субъективной информации также можно выделить два потока: 1) говорящий выражает свое собственное отношение и 2) говорящий предлагает некоторое общее отношение воспринимающему, как бы навязывает его, например: 1) *А ведь он дурак; Вот и рассказывай после этого;* 2) *Даже Сидоров слушал доклад Петрова с восторгом* — слушателю предлагается характеристика Сидорова. В объективной информации различаются пласты, связывающие данное высказывание: 1) с нормой, относящейся к этой действительности: *Он шел уже задыхаясь*, т. е. его состояние не соответствовало норме; 2) с генерализацией, обобщением: *Еще в марте начали цвести розы* — в марте розы еще не цветут.

Наконец, в пределах дополнительной объективной семантики мы узнаем о каких-то дополнительных компонентах события: *Вернулся только Петя*, т. е. а) были и другие, б) они не вернулись. Кроме того, мы можем узнать о других ситуациях (или событиях), связанных с обсуждаемым. Например: *Раздается только крик чаек*. Очевидно, до этого имела место ситуация *Все тихо* или нечто подобное. На основании сказанного могут встать вопросы, а отражают ли сами частицы действительность хоть в какой-то мере, не исключено, что она отражается пропозиционной структурой высказывания? По нашему мнению, это не так. В высказывании *У нее было только одно платье* фрагмент *только одно платье* передает именно кусочек реальности: отношения платья и его владелицы. Поэтому, если пользоваться терминологией Р. Якобсона, введенной им в работе о шифтерах [Якобсон 1972], частицы есть одновременно и десигнаторы, и коннекторы: они передают отношение к факту — Е^п,

отношение к другому факту — Е^ПЕ^П и отношение к сообщаемому. В дальнейшем мы укажем еще на одну особенность мира скрытой семантики в высказываниях с частицами: они в пределах указанных объективных импликаций могут обманывать воспринимающего, выдавая ложную норму или несуществующую генерализацию за реальную (см. об этом [Николаева 1983]). Обман при этом не соотносим с обычным человеческим обманом — сообщением о несуществующем, а есть как бы загримированное под общепринятую истину ложное внушение, делаемое чисто языковыми средствами.

Однако частицы не только соотносятся с действительностью и не только сообщают дополнительные смысловые строки, но также являются компонентом того высказывания, в которое данная частица входит. В первую очередь частица есть участник сообщения, по Р. Якобсону, различающему сообщаемый факт и факт сообщения. Структура этой среды, как уже указывалось, во многом определяет функциональную семантику частицы, что и служит, по ряду концепций, подтверждением той идеи, что частицы не имеют своей собственной лексической семантики. Например, с изменением формы глагола меняется семантика высказываний с частицей *вот*: *Вот возьму и скажу — Вот и сказал! — Вот взял и сказал — Вот взять и сказать...*; огромное значение имеют и просодические характеристики высказывания, наличие других частиц, повторы частиц вплоть до высказываний, по сути состоящих из одних частиц: *вот то-то и оно* и пр. (именно подобным почти фразеологизированным структурам во многом посвящена книга Н. Ю. Шведовой [Шведова 1960]). Итак, можно говорить о мире высказывания.

Но частицы подобны двуликому Янусу: они никогда не являются только членом одного какого-либо высказывания. Не являясь обязательно компонентом собственно анафорическим, частицы входят в текст. Некой альтернативой текста может быть и конситуация, вербально непосредственно выраженная. В рамках текста различается микротекст, контекст, т. е. непосредственное окружение, и макротекст — собственно весь текст. Как будет показано далее, в одних случаях частицы реализуют свою семантику в контексте, в других — в тексте. Разницу между контекстом и текстом легче всего продемонстрировать на примере так называемых генерализованных, т. е. обобщающих, высказываний. Общеизвестна автосемантичность высказываний: *Все люди смертны; Злые языки страшнее пистолета; Каждый кулик свое болото хвалит* и т. д. Действительно, они не связаны кореферирующими отношениями анафорики и катафо-

рики с окружающими высказываниями, как синсемантические предложения вроде *Это ее глубоко огорчило; Она не ожидала такого поступка* и пр. И вместе с тем эти, свободные от контекста генерализации, являются максимально привязанными к тексту. Действительно, человек, ни с того ни с сего произносящий *В жизни всегда есть место подвигам; Собака — друг человека* и т. д. и никак это не раскрывающий далее, будет сочтен по меньшей мере странным. Соответственно и сфера действия частиц может быть и микро- и макроконтэкстной. Таким образом, помимо мира самого высказывания, в сферу семантики частиц входит и мир текста, мир скрытой семантики и мир реальности (см. характеризацию семантики как отношения к *Textwelten, möglichen Welten und die reale Welt* — [Bernáth, Csúri 1980]).

Для нужд описания частиц через ситуацию ситуация должна быть расчленена, дискретизирована, нужно представить ее основные компоненты. По мнению М. Хэллiday, ситуация состоит из трех компонентов: социального действия, ролевой структуры, организации первого и второго [Halliday 1977]. По нашему мнению, в ситуацию входят актаны, показатели состояния (действия), локализаторы. Ситуация должна быть законченной, т. е. предикативной. Сложной теоретически является проблема отношения ситуация / высказывание, поскольку всякая видимая ситуация реальна и актуальна, но для языковой передачи она еще виртуальна, так как только в процессе языкового воплощения мы актуализируем ситуацию. Расчлененность этого акта передачи ситуации через высказывание описывается З. Генчевой, употребляющей для этого термин *repérage* (ориентация): «*Chaque énoncé réfère à une occurrence d'un "événement" (construit par prédication) qui est relié par une relation dite de repérage à l'acte énonciatif. Ce repérage, contribue à fixer les valeurs référentielles de l'énoncé et permet ainsi d'analyser des catégories comme personnes, deictiques, temps, aspect, détermination*» [Guentcheva 1978: 116].

Не случайно, что в большинстве исследований, указанных выше, понятие ситуации (события) оказывается необходимым в связи с анализом славянского вида глагола. Именно вид является квалификатором ситуации: определяет ее как глобальную (*event*), расчлененную (*action*), длящуюся (*process*) или статальную (*state*). Вид глагола, как будет проанализировано, определяет не только действие, но и ситуацию в целом.

Как показывают исследования по синтаксической семантике, всякое описание ситуации есть описание с некоторой точки зрения.

Эта точка зрения, несомненно, связана с понятием нормы; но и в пределах нормы, и, напротив, за пределами нормы все равно существует выбранный угол зрения, и он определяет освещение ситуации. Существенно, что язык умеет показывать специфику этой точки зрения и находит ее. Так, вошедшее в лингвистический обиход понятие эмпатии соотносится с тем, как именно, описывая событие, говорящий демонстрирует свое отношение к его участникам. Например, ситуация *John hit Mary* описывается объективно в отдалении от Джона и Мэри; *John hit his wife* — с точки зрения Джона, точнее, вблизи от Джона; *Mary's husband hit her* — камера приближается к Мэри [Kuno, Kaburaki 1977; Kuno 1976]. Поэтому вряд ли возможно в высказывании совмещение двух точек зрения — *?John's wife was hit by him?* или *?His wife was hit by John?* Таким образом, эта точка зрения может свидетельствовать о солидарности/несолидарности с актантом, о наличии симпатии к нему — см.: *Вася нам сказал, что мама часто читает ему свои любимые сказки*, здесь говорящий любит Васю [Yokoyama, Klenin 1977]. Йокояма и Кленин считают далее, что русское притяжательное местоимение *свой* в 1-м лице — это как бы «выход на публику», а *мой* — нечто внутреннее: *Я пережил свои желанья*, но *Я предаюсь моим мечтам* [Ibid.: 259—260]. См. также интересные замечания Е. В. Падучевой [Падучева 1982] о смысловой противопоставленности высказываний. *Она обнаружила важное для себя обстоятельство* — оценка принадлежит субъекту и *Она не заметила важного для нее обстоятельства* — точка зрения принадлежит говорящему [Там же: 30]. Эта точка зрения выражается иногда неожиданными, точнее малоизученными, языковыми средствами. Так, многократно интересовавшие синтаксистов и интонологов фразы с не совсем объяснимым ударением на первом слове: *Дождь пошел*; *Тише, папа спит* и пр. (см. об этом подробно выше), объясняемые в нашей работе как инвертирование глобальной ситуации с целью «экстренного введения в ситуацию», были несколько иначе интерпретированы французскими лингвистами К. Бонно и И. Фужерон [Bonnot, Fougeron 1982]: они объясняют эту постановку фразового ударения как показатель активной включенности говорящего в излагаемую ситуацию вместо ее чисто дескриптивного изложения.

Однако точка зрения может охватывать не только соотношенность или несоотношенность с актантами: языковые средства могут указать на точную дату события, описываемого в тексте. В частности, таким средством оказывается наличие определенного артикля *the* или его отсутствие [Allen, Hill 1979]. Например, фраза *Two weeks*

ago Frank said he would return next Monday, сказанная 15 июля, в среду, означает, что он должен вернуться 20 июля; а фраза *Two weeks ago Frank said he would return the next Monday*, сказанная тогда же, означает, что он должен был вернуться 5 июля ([Ibid.: 134], здесь артиклем указывается ориентация на говорящего или воспринимающего и время поступка).

Не случайно это обращение к точке отсчета, к вариабельности квалификации является необходимым отступлением в книге Й. Бломквиста, целиком посвященной греческой противопоставительной частице *καί* [Blomkvist 1979: 18]. Объясняя сливающиеся в одной частице копулятивное и адверсативное значения, он приводит примеры с немецкими *und* и *aber*. Ответом на вопрос *Wie ist das Wetter?* могут быть два: (1) *Die Sonne scheint, und es ist sehr windig*; (2) *Die Sonne scheint, aber es ist sehr windig* [Ibid.: 20]. Разница определяется этногеографической психологией говорящего и тем, что именно он понимает под хорошей погодой.

Таким образом, частицы не только отражают ситуацию, но и отражают ее с определенной точки отсчета. В первую очередь это относится к частицам, описывающим тип протекания действия в пределах ситуации. Например, два разных временных значения 'только' (only): 1) 'не более, чем': *Мы мало знакомы, увиделись только вчера* и 2) 'не раньше, чем': *Он понял это только в старости* — могут быть переданы через некоторую ось отсчета [Jørgensen 1974]. В первом случае есть точка в прошлом, от которой смотрят вперед, и это движение заканчивается где-то недалеко от настоящего, не переходя в будущее. Во втором случае говорящий смотрит из настоящего и охватывает некий период, размеры которого не определены и могут охватывать будущее.

Существование некоторого центра временной и пространственной ориентации прослеживалось для интересующей нас группы слов А. И. Моисеевым на базе русских *уже* и *еще* [Моисеев 1978] и Е. А. Волковой для немецких *schon-noch* [Волкова 1977]. Авторы отмечают возможность обеих этих лексем сочетаться только с теми понятиями, которые по сути своей динамичны: *Она ^{еще} _{уже} красавица*; *Он ^{уже} _{еще} подросток*; *Он ^{уже} _{еще} спит* и т. д. На предельном состоянии, как начальном, так и конечном, может употребляться только одно из них. При этом, как отмечает А. И. Моисеев, существенна пространственная ориентированность ситуации и отношение к ней: *Уже высоко* (при подъеме), *Еще высоко* (при спуске); но *Уже низко* (при спуске), *Еще низко* (при подъеме) [Моисеев 1978: 359].

Включаясь в пространственную или временную ориентацию, высказывания с частицами, отражая ситуацию, объединяют, таким образом, мир реальности с миром дополнительной, скрытой семантики:

Итак, выявился набор из шести возможных смысловых признаков, связанных со «скрытой семантикой» частиц.

1. Определение отношения говорящего к сообщаемому.
2. Сообщаемое и норма.
3. Сообщаемое и генерализация.
4. Внесение характеристик в основную ситуацию.
5. Выявление других объективных фактов.
6. Сообщение об отношении высказывания к контексту.

Этот перечень типов «скрытой семантики» включает в себя выражение личности говорящего, дополнительные сведения об излагаемом событии (подтекст события), отношение говорящего к той картине мира, которую он, как предполагается, разделяет со слушающим, сообщение об анафоричности или катафоричности данного высказывания в рамках более широкого контекста. Таким образом, он, кажется, более явно описывает внутренний мир частицы, чем безликий набор терминов; кроме того, его обобщенность тем самым и предполагает вариативность наполнения. Приведем примеры на каждый из намеченных типов.

1. Собственное отрицательное отношение демонстрируется при повторах с частицами: *Он все читает и читает; Жена, ну и жена* [Шведова 1960: 325—326].

2. Отношение к норме: *Что-то есть хочется; Он заснул уже через несколько минут (слишком быстро); И вздохнуть не смел* (несовершение физического минимума).

3. Отношение к генерализованному опыту: *Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже* (в мирные монастыри не проникают сведения о светских распутниках).

4. Дополнительные характеристики участников ситуации: *Не навидел он даже Алешу* (Алешу нельзя ненавидеть).

5. Дополнительные объективные факты — *Еще пуце старуха бранится* (Бранилась и раньше, и довольно сильно).

6. Потребность в контексте: *А вот майора Петрова не помню* — ранее непременно должно было говориться о майоре Петрове; *Вот приходит он раз ко мне* — будет контекстное продолжение.

Однако необходима экспликация очень важной посылки: частицы — коварная часть речи. За этими словами стоит бесспорность

наблюдений, связанных не только с размытостью, диффузностью семантики частиц, но и с тем фактом, что введение частицы в конструкцию, работающую на некий вид скрытой семантики, создает как бы обратную связь: этот вид семантики прочитывается или воспринимается там, где его нет, и часто желательным для говорящего образом. В наибольшей степени это касается оси: субъективное отношение — норма — генерализация — квалификация. Связано это, бесспорно, с такой особой категорией, как оценка, аккумулирующей, по сути, всю эту ось. Как пишет Н. Д. Арутюнова, иерархия ценностей субъективна и ценностное сравнение учитывает субъективную модальность желания [Арутюнова 1983: 331—333]. Таким образом, как показывает Н. Д. Арутюнова, «быть лучше» вполне совместимо со свойством «быть плохим». С эталоном, с нормой связано понятие «хороший» [Там же: 333]. Однако область употребления частиц в еще большей степени, чем при употреблении оценочного компаратива, соотносится с желанием высказать свое собственное отношение, гримируя его под объективность, под норму, взгляд на которую разделяется и собеседником (воспринимающим). Если же последний, возможно, и стоит на других позициях, ему как бы дают понять, что спорить против трюизма бесполезно: *Ведь любовь пройдет. Это же пошлая истина* (ср.: *По-моему, любовь обычно проходит*). Таким образом, первая зона контаминации указанных типов скрытой семантики происходит для частиц по оси: оценка — факт. Обычно для каждой субъективной модели существует своя объективная, под которую она гримируется. Например: *Уже очень темно. Нужно идти домой и Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Нужно кого-нибудь искать; Он разговаривает даже во сне и Она занимается наукой даже по вечерам; Ведь все истины относительны и Ведь он всегда был глуповат; Он знал латынь еще ребенком и Она научилась читать еще до школы* и т. д. Все эти опорные и псевдоопорные пункты: норма, обобщения — суть прагматические импликации, конвенциональные импликации (или, в другой традиции, прагматические пресуппозиции), на базе которых строится общение. Как уже говорилось, они не обязаны быть истинностными. Но они стремятся быть таковыми. Однако и мы, слушающие, узнаем из этих импликаций о собеседнике — что он считает позитивным и даже — что он хочет нам внушить; но узнаем также и о неких объективных нормах, позициях социума, возможно, нам неизвестных: *Это хорошее для елки яблоко. Его и золотить не надо*. Мы узнаем, что: 1) для елки золотили яблоки; 2) некоторые яблоки, признаваемые «хорошими», почему-то золотить было не нужно. Из-за желтого его

цвета? Тогда, вероятно, 3) хорошее яблоко — это ярко-желтое; 4) упоминаемое в разговоре яблоко было ярко-желтым.

Выражение семантики генерализации кажется неотделимым от нормы и ее содержательной интерпретации. Однако генерализация и норма связаны между собой отношениями близкого категориального контакта, но не совпадения. Можно сказать, конечно: *Все женщины стремятся нравиться*. Это норма. И наоборот: *При всяком нарушении режима язва желудка всегда обостряется*. И, однако, к норме и генерализации наблюдается разное поведенческое отношение, а исследование семантики частиц как раз и изучает типы отношения к сообщаемому, реализуемые в высказываниях с частицами. Норма как бы осознается чем-то отличным от человеческого кодекса поведения, она опирается на объективные законы природы и человека в рамках этой природы. Ее соблюдать нужно (отсюда сема прескрипции), если она соблюдается, это хорошо (отсюда связь с оценкой). Однако позитивность соблюдения нормы, которая сама позитивна и должна быть стабильна в позитивности, как наша жизнь (маркируются отклонения от позитива), тем самым вводит в коммуникативный оборот и другой полюс антиномии: норму соблюдать хорошо, но в принципе она может и не соблюдаться (хотя это и плохо). Поэтому высказывания с частицами напоминают о норме: *Журча еще бежит за мельницу ручей; Он спит даже при ходьбе; Что-то холодное лето нынче!; Уже через пять минут мы успели позавтракать; Какой-то ты мрачный сегодня; Они моются только раз в месяц; С какой-то грустью смотрел я на веселую свадьбу; Они заплатили за ремонт только сто рублей; Такой красавицы я уже не видел никогда* и т. д.

Генерализациями в нашей работе считаются обобщения человеческого опыта: *В сумерках все кошки серы, все женщины красавы; Краткость — сестра таланта; Злые языки страшнее пистолета; Самой нежной любви наступает конец* и т. д. Генерализации придуманы людьми, и человеческий социум это осознает. И тут намечается своеобразный парадокс по отношению к норме: норма существует независимо от человека и, однако, может абсолютизироваться и не абсолютизироваться, не соблюдаться, хотя она априори бесспорна. Генерализация же создается людьми, поэтому она по определению не бесспорна, однако она подается как абсолютная. Поэтому в высказываниях с частицами генерализация привносится, утверждается. Так же, разумеется, как и в случае нормы, генерализация может быть ложной, может быть индивидуальным построением,

но выдаваемым за социальное обобщение. Не останавливаясь подробно на текстовых функциях генерализации (а выше говорилось о том, что это наиболее отчетливое средство, демонстрирующее различие микро- и макроконтекста: генерализованные высказывания минимально связаны с контекстом, но ни с того ни с сего их не произносят), скажем, что в русском языке есть много тонких средств передачи скрытой генерализации, не только частицы. Например, это даже запятая (или ее отсутствие) перед *как*: *Он трудится как врач* и *Он трудится, как врач* — 1) Он работает в качестве врача; 2) Все врачи много трудятся.

Практически все частицы, не являющиеся частицами неопределенности, участвуют в выражении скрытой семантики генерализации. Однако здесь существенным представляется не столько семантика частицы, сколько синтаксическая структура высказывания с частицей и тот компонент, к которому данная частица относится. Прежде всего обращает на себя внимание частая соотнесенность частиц с субъектом высказывания: *И веревочка на что-нибудь пригодится; Их разве слепой не заметит; Только бесчувственный человек не помог бы ей в ее страданиях; Вот гусар не оставил бы поля боя просто так; Что ты хочешь от нее? Она же глупа и необразованна; Да, работы здесь на полчаса. Но ведь они старики; Он ведь не учился в университете, потому и латыни не знает; Помочь совсем не захотела. А еще сестра родная!* Во всех этих высказываниях включена опора на генерализацию как на средство полемики: скрытая генерализация, будь то позитив или негатив, всегда противоположна констатируемому: такие пустяки, как веревочка, считаются непригодными; слепые не замечают женской стати; люди с чувствительным сердцем помогают несчастному ближнему; гусары — отчаянные вояки; глупые и необразованные женщины неспособны на поступок X; старики не в состоянии быстро выполнять легкую для молодого работу; учившиеся в университете знают латынь; родные сестры — надежные помощники и т. д. Полемичность генерализованных высказываний подчеркивается и усиленным акцентным подчеркиванием коммуникативно важного члена.

Синтаксическая структура высказывания с частицами со скрытой опорой на генерализацию может быть и такой, при которой указанные частицы относятся к объекту: *Это только артисту читать; Это рассмешило бы и умирающего; Подобную задачу можно дать даже троечникам; Это зрелище могло обратить на себя внимание только чувствительного сердца; Вот родных внуков бабушка*

туда бы не пустила; Ведь и безнадежно больным что-то хочется; Не нужно вести подобные дела с еще совсем молодыми людьми. Обращает на себя внимание особая позиция частицы *же* в высказываниях с объектами, вводимых частицами, где эта частица подчеркнута противопоставительно: *Но эта грязная работа не для красивых же женщин!*

Отнесение частиц к сказуемому в случае опоры на скрытую семантику генерализации связано в подобных случаях с поясняющим обстоятельством, включающим субъект подразумеваемой генерализации: *Для старухи ее лет это еще легкая работа* (Старухи не могут выполнять трудную работу); *Это уже большая победа для женщины с такой внешностью* (Женщины с подобной внешностью на большие победы рассчитывать не могут).

Еще раз необходимо подчеркнуть, что поскольку генерализации, преподносимые в имплицитном виде, употребляются в основном в полемических целях, то самая эта имплицитность затуманивает для воспринимающего истинность / неистинность генерализованного обобщения-опоры. Генерализация связана не только с частицами, передающими связь с изолированными высказываниями, но и со связанными контекстом несколькими ситуациями: *Он жених, ты невеста. Только ты будешь сидеть в своей комнате под надзором; До чего же Вы пугливы! А еще девушек беретесь провожать.* И в этих случаях имеется полемичность, обращающаяся в этих случаях в противопоставленность. Но, кроме противопоставленности, скрытая генерализация привносит смысл уступительности: Хотя вы жених и невеста, а жених и невеста могут много встречаться...; Хотя такие пугливые девушек не провожают и т. д. Эта имплицитная уступительность, строящаяся на генерализации, отличает подобные структуры от чистого противопоставления: *С нетерпением жду от Вас писем, от Вас же нет никаких известий.*

Темы скрытой семантики, представленные выше, сообщают достаточное количество информации о подтекстовой стороне сообщаемого: об отношении говорящего к сообщаемому, о его взглядах на норму и предписанное к ней отношение, о тех общих суждениях, которые он разделяет вместе с воспринимающим (или хочет с ним разделять). Однако они не сообщают ничего нового о фактической стороне явления. Эта фактическая дополнительная информация также выявляется в скрытой семантике высказываний с частицами. *В нашем классе только Маша носит длинные волосы* — отсюда мы узнаем, что другие девочки в этом классе носят короткие волосы.

Однако из высказывания *Я получил за эту работу только десять рублей* мы узнаем факт субъективной оценки — мало! — и кое-что об этой работе: говорящий считает, что подобная работа должна оцениваться дороже, но ничего не узнаем о других ситуациях, выполнял ли говорящий такую работу уже ранее, выполняли ли другие эту работу, сколько им платили. Во многих работах, обсуждающих частицу *даже* или ее эквиваленты (*sogar, even*), приводятся высказывания — фактические следствия: *Even Bill likes Mary* → *Other people besides Bill like Mary* [Karttunen, Peters 1979: 11]; *Even Max tried on the pants* → *Other people tried on the pants* [Fraser 1970: 152] и т. д. Подобные пресуппозиции называются экзистенциальными импликациями, семантическими пресуппозициями, следствиями. Однако в ряде работ *even* с его пресуппозициями сравнивается с глаголами типа *to fail, to manage* и их пресуппозициями [Karttunen, Peters 1979: 27]: *Mary failed to arrive* → *Mary didn't arrive*; *John managed to sit through a Chinese opera* → *John sat through a Chinese opera*. Рассмотрим подобные следствия: *Маше удалось приехать в Крым* → Маша приехала в Крым; *Он потерпел неудачу в попытке получить эту книгу* → Он не получил этой книги. Узнаем ли мы что-нибудь новое, новые ситуации? Для этого необходимо вспомнить введенную раньше модель ситуации. Она состоит из актантов, обстоятельств действия и самого действия. В высказываниях: *John managed to get the ticket* — *John has got the ticket* не меняется ни один из указанных компонентов события, ситуация остается той же самой; возьмем русское высказывание с *даже*: *Он разглядел иголку даже в темноте* — есть ли в нем скрытая семантика? Да, это имплицированная норма: в темноте что-либо разглядеть трудно. Но нового факта это высказывание не сообщает. Рассмотрим другое высказывание: *Он стал заниматься спортом еще с детских лет*. Теперь это цветущий и абсолютно здоровый человек. Можем ли мы вывести второй факт из первого? Нет, не можем: герой сообщения может быть больным и хилым, несмотря на многолетние занятия спортом. Еще один пример: *Он читает только детективы*. И здесь нет фактических выводов, только оценка: мало! и ссылка на прескрипционную норму: интеллигентному человеку, каким он, очевидно, является (как и говорящий), не годится читать только детективы. Но добавим обстоятельство: *В последние годы он читает только детективы* → Прежде он читал нечто более серьезное (и это уже, очевидно, факт). Таким образом, скрытая семантика дополнительных ситуаций выявляется совсем не для всех частиц (ср.: *Вон птица пролетела* — нет подобных след-

ствий; *Он ведь просто глупец* — нет следствий и т. д.), и даже для одних и тех же частиц скрытые ситуации могут как имплицироваться, так и не имплицироваться. Прежде всего, и ситуация основного высказывания, и скрытая ситуация фактивны (это — *irrefutable meaning* — [Auwera 1979: 260]). Поэтому имплицированная норма *В темноте что-либо разглядеть трудно* не есть факт; *Он читает только детективы* есть не факт, а характеристика. *Теперь это цветущий и абсолютно здоровый человек* — гипотетический факт, не абсолютизированный первым высказыванием.

Как же охарактеризовать конструктивно два соединяемых частицей факта: явный и скрытый? Прежде всего они должны пересекаться по каким-то формальным компонентам. Например, из ситуации *У Вашей внучки недавно родился сын* следует фактическая ситуация — *Теперь Вы стали прабабушкой*, но это не есть, по нашему мнению, скрытая имплицированная семантика, содержащаяся в первом высказывании. С точки зрения чисто структурной у обоих высказываний нет совпадающих точек (понятийно-лексических). *Я накупила себе парижских туалетов* — *Теперь я элегантная женщина*. Здесь уже есть совпадение: идентичный местоименный субъект. Однако и подобные случаи не приводятся в пресуппозитивной теории.

Каковы же предпосылки возникновения дополнительного фактивного имплицированного события?

Прежде всего, частицы должны относиться к компоненту внутри основной ситуации, а не ко всей ситуации в целом. Например: *Вы в основном правы. Только / я ездила в Ленинград не в прошлом, а в позапрошлом году; И еще — поставьте здесь свою подпись; Он очень посвежел. И даже / все время улыбается*. В подобных высказываниях частицы являются сигналом контекстной (конситуационной) ориентированности, но не вызывают имплицированного события.

Вторая посылка: в данном высказывании не должна имплицироваться норма (объективная), как соблюдаемая, так и несоблюдаемая или несоответственно реализуемая: *Еще не наступил вечер, но в воздухе уже чувствуется сырость; Еще волнуются туманы; Он не успел даже вздрогнуть; На небе ничего не осталось, только две полосы; На юге было тепло, даже жарко; Уже в два года он знал все буквы; Они ходили в баню только раз в месяц*. Норма уже как бы есть фактически имплицированная ситуация.

Третья посылка: дополнительные ситуации не имплицировываются частями неопределенности, которые выражают либо неопреде-

ленность самой ситуации, либо коммуникативную «дыру» в определенной ситуации, либо субъективную оценку.

Четвертая посылка относится к семантике имени при частице: оно должно представлять собой член некоторого альтернативного множества (включающего в себя хотя бы два компонента: X и не-X). Ср.: *Даже дети поняли это правило; Еще дети поняли это правило; И дети поняли это правило; Только дети поняли это правило; Одни дети поняли это правило; Дети-то поняли это правило.* Поэтому исключаются из данной группы частицы *вот* и *вон*, указывающие безальтернативно на один компонент: *Вот тот самый цветок; Вон туда бежит река; исключаются это и ведь*, относящиеся к ситуации в целом (*это* еще и соотносится с *вот* и *вон*).

Именно этой безальтернативностью высказываний с *вот* и *вон*, их способностью представлять ситуацию сиюминутную, видимо, объясняется подмеченная Бл. Блажевым неспособность таких высказываний к негации: *Вот цветок — (Не) вот цветок* [Блажев 1973].

Пятая посылка связывается с типом сказуемого в основном высказывании. Семантика глагольного сказуемого должна удовлетворять следующим требованиям: 1) глагол может означать действие, которое в принципе может повторяться: *Он отхлебнул еще и пошел домой* → Уже отхлебывал; 2) глагол может передавать действие, допускающее шкалярное усиление означенного состояния: *Он еще помрачнел* → Ранее уже был мрачным. В это шкалярное усиление может быть включена градация и других отнотипных действий: *Она только крикнула на него тогда* (Не подняла на него руку); 3) эта шкалярность может привести к результату — прекращению действия: *Он уже не спит* → Раньше спал.

Таким образом, не дают скрытой семантики дополнительного события высказывания со сказуемым экзистенциального значения, длящегося, неопределенно длящегося, вневременного и однократного с относящимися к нему частицами: *Он еще спит; Он только улыбнулся; Она к вам еще придет; Я даже не понимаю, чего Вы, собственно, хотите; Мы только гуляли, спали и ни о чем не думали.* Введение имен с частицами может перечеркнуть семантику подобных глаголов ср.: *Я даже по-своему любил Машу и Даже я любил Машу; Я любил даже Машу.*

Для одного и того же высказывания могут суммироваться дополнительные фактивные ситуации, если в нем представлено несколько частиц, удовлетворяющих поставленным выше условиям: *Даже*

Петя попросил еще чаю — 1) Другие попросили еще чаю; 2) Все уже получили чай ранее.

Последний вопрос — как сформулировать правила построения подобных фактивных импликаций? В том случае, если частицы сопровождают субъект, то для частиц *даже, еще, и* +X производится замена на *другие* или *не только X* с соответственным оформлением формы сказуемого во множественном или единственном числе:

<i>Даже</i>	}	<i>Другие прочли эту книгу</i>	→	<i>или</i>
<i>Еще</i>		<i>Кольцов прочел эту книгу</i>		
<i>И</i>		<i>Не только Кольцов прочел эту книгу.</i>		

Для сочетания *только* + X добавляется к указанному правилу введение отрицания при сказуемом или его ликвидация, если оно есть: *Только Кольцов не читал этой книги* → *Другие читали эту книгу*; *Только Кольцов читал эту книгу* → *Другие не читали этой книги*. Для понимания других трансформаций необходимо сказать об особой роли *еще* и рассматривать два *еще* — ударное (*еще₁*) и безударное (*еще₂*). Тогда правило при объекте формулируется следующим образом. Например,

<i>X купил</i>	}	<i>даже У</i>
<i>еще₂ У.</i>		<i>и У</i>

Тогда частица заменяется на *не только*. Для *еще₁* происходит замена: *У + уже* + страдательная форма от глагола — *X купил еще₁ книги* → *Книги уже были куплены*. Для *только* осуществляется замена на *ничего, кроме* и вводится отрицание при глаголе: *X купил только книги* → *X не купил ничего, кроме книг*.

При сказуемом повторного действия + частица *еще* происходит смена *еще* на *уже* + постановка глагола в прошедшем времени, если глагол был в прошедшем времени, необходимо добавить ранее: *Еще радуюсь Вашему примирению* → *Уже радовался*; *Еще радовался Вашему примирению* → *Уже радовался ранее*.

Для глагола результативной семантики с *уже не* добавляется вместо частицы *ранее* и глагол ставится в прошедшем времени: *Он уже не читает книг* → *Ранее читал книги*.

При сравнительных конструкциях с *еще* и формой *стать* → *стал(а)* происходит замена глагола *стать* на *быть*, *еще* на *уже* и компаратива на позитив: *Она стала еще красивее* → *Она уже была красивой*.

Во многих исследованиях, посвященных выявлению пресуппозитивной семантики, связанной с употреблением частиц, помимо сведений фактического характера описываются и некие квалификативные импликации:

Even Bill likes Mary.

a. *Other people besides Bill like Mary.*

b. *Of the people under consideration, Bill is the least likely to like Mary.*

Тем самым мы узнаем нечто и о Билле. В данном случае немного [Karttunen, Peters 1979: 12].

Посмотрим примеры с более точной характеристикой. *Он не способен оценить даже «Прощание с Матерой»*. «Прощание с Матерой» — хорошая книга, и это свойство бросается в глаза. Напротив, *Ему нравится даже Франсуаза Саган*. Франсуаза Саган — очевидно, писатель для невысокой требовательности вкуса, а «он» таков, что ему это нравится. Тем самым, мы получили две характеристики: «Его» и Франсуазы Саган — от говорящего. Но полностью мы имеем три характеристики — еще и мнение о говорящем, чей вкус и психохарактерологические данные мы разделяем или не разделяем.

Подобные характеристики: *Мэри любить трудно, Билл не способен любить* и т. д. называются иногда скалярными импликатурами (scalar implicatures [Karttunen, Peters 1979: 25]). Ср.: *Он ненавидел даже Алешу* — Алешу ненавидеть нельзя, он кроткий.

Однако выведение подобных индивидуальных характеристик не всегда бывает простым из-за наложения индивидуальной, прескрипционной и генерализованной информации: *Он не уступил места в метро даже старушке*. Мы узнаем только о «нем», о нарушении им прескрипционных законов, но о старушке дополнительная информация не появляется. Поэтому объем дополнительной информации связан со степенью индивидуализации всех ситуационных актантов, отраженных в высказывании:

- (1) *И только Петрову в этой задаче не разобраться*. Петров глуповат. Задача легкая.
- (2) *Только и Петрову в этой задаче не разобраться*. Петров умен. Задача трудная.
- (3) *И только дураку в этой задаче не разобраться*. Задача легкая.
- (4) *Только и умному в этой задаче не разобраться*. Задача трудная.

Этот баланс от общего к индивидуальному и определяет индивидуальность имплицированной характеристики, ср.: *Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца и От женщин бегают и даже от меня.*

Индивидуальные характеристики связаны с теми частицами, которые способствуют выражению крайности: *только, даже, и, уже.* Второй посылкой является, как указывается, степень индивидуальности актантов. Интересной особенностью подобных импликаций является способность иррадиировать квалификацию не только на актанта, связанного с частицей, но и на другие компоненты высказывания (ситуации): *Я без очков я сумела обнаружить X* → *X* есть нечто трудно обнаруживаемое, видимо мелкое; *Даже для старой женщины она полновата* → Она — старая женщина.

От характеристик предыдущей группы данные отличаются конструктивной несвязанностью с основным высказыванием. Например, *Она уже не так хороша собой* — Она была раньше хороша собой; *Она стала еще красивее* — Она уже была красивой, тоже, по сути, есть характеристики актанта. Но они говорят о реальных, неоспоримых или неоспариваемых ситуациях. Между тем из высказывания *Он уже Петрова критикует* можно сделать вывод о каких-то свойствах Петрова, согласно которым его не критикуют, в ситуативно-реальной форме эти свойства не предстают.

Таким образом, позиционные заполненности частиц-импликаторов связаны с теми же местами, которые характерны и для имплицированной нормы: *Он видел уже Тихий океан* (Тихий океан не рядовое и волнующее зрелище); *Он смог купить уже стенку «Джордано Бруно»* (стенка «Джордано Бруно», видимо, вещь дорогая); *Она читает только Агату Кристи* (более сложное выведение индивидуальной характеристики, основанной и на норме, и на разделяемых взглядах, ср.: *Он ценит только Германа Гессе*); *Ты так избалована, что и Саша тебе не понравится*; *Ты так избалована, что только Саша тебе понравится*; *Ты так избалована, что даже Саша тебе не понравится* (характеристика Саши представляется отчетливой и сходной по всем трем высказываниям); *Ты так избалована, что Саша уже тебе не понравится* (образ Саши более снижен).

Итак, для имен существенно различие, во-первых, индивидуализированного и обобщенного, и, во-вторых, различие частиц при субъекте основного (главного) предложения и при именах других позиций, например: *А я, одна лишь я, любви до смерти трушу* — не общается никаких дополнительных характеристик. *Даже я* — сооб-

щает эту характеристику, *еще, уже и и* — нет. *Даже я люблю буфетчика Петрушу* — дает обе характеристики.

Таким образом, *даже* оказывается максимально квалифицирующей частицей, распространяющей, при максимальной индивидуализированности актантов, квалификацию на субъект и на объект.

Список литературы

- Арутюнова 1983 — Арутюнова Н. Д. Сравнительная оценка ситуаций // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1983. Т. 42. № 4.
- Блажев 1973 — Блажев Бл. Съдържат ли подлог и сказуемо изреченията от типа «Вот дом» в русские език? // Език и литература. 1973. № 4.
- Волкова 1977 — Волкова Е. А. О роли наречий в формировании аспектуальных и темпоральных значений // Норма реализации. Варьирования языковых средств. Вып. 3. Горький, 1977.
- Моисеев 1978 — Моисеев А. И. Частицы *уже и еще* в современном русском языке // *Slavia orientalis*. 1978. R. 111.
- Николаева 1983 — Николаева Т. М. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Изв. Сер. лит-ры и яз. 1983. Т. 42. № 4.
- Падучева 1982 — Падучева Е. В. Значение и синтаксические функции слова *это* // Проблемы структурной лингвистики 1980. М., 1982.
- Шведова 1960 — Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
- Якобсон 1972 — Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Allen, Hill 1979 — Allen R. L., Hill Cl. A. Contrast between *O* and *The* in spatial and temporal predication // *Lingua*. V 48. 1979. № 2/3.
- Auwera 1979 — Auwera J. von der. Pragmatic presupposition: shared beliefs in a theory of irrefutable meaning // *Syntax and semantics*. V. 11. Pronouns in discourse. N. Y., 1979.
- Bernáth, Csúri 1980 — Bernáth A., Csúri K. «Mögliche Welten» unter literaturtheoretischen Aspekt // *Literary semantics and possible words*. *Studia poetica*. 2. Szeged, 1980.
- Blomkvist 1979 — Blomkvist J. Das sogenannte *kai* adverstivum. Uppsala, 1979.
- Bonnot, Fougeron 1982 — Bonnot Chr., Fougeron I. L'accent de phrase initial en russe est-il toujours un signe d'expressivité ou de familiarité // *Bulletin de société linguistique de Paris*. 1982. T. LXXVII, fasc. 1.

- Fraser 1970 — *Fraser B.* An analysis of «even» in English // *Studies in linguistic semantics*. N. Y., 1970.
- Guentcheva 1978 — *Guentcheva Zl.* Spécificité de l'aspect en bulgare (interaction entre aspect et détermination) // *Révue des études slaves*. 1978. T. LI. № 1/2.
- Halliday 1977 — *Halliday M. A. K.* Text as semantic choice in social contexts // *Grammar and descriptions*. Berlin; N. Y., 1977.
- Jørgensen 1974 — *Jørgensen E.* «Only» with a temporal value // *English Studies*. V. 55. 1974. № 3.
- Karttunen, Peters 1979 — *Karttunen L., Peters St.* Conventional implicature // *Syntax and semantics*. V. 12. N. Y., 1979.
- Kuno 1976 — *Kuno S.* Subject, theme and speaker's empathy — a reexamination of relativization phenomena // *Subject and Topic*. 1976.
- Kuno, Kaburaki 1977 — *Kuno S., Kaburaki E.* Empathy and syntax // *Linguistic inquiry*. V. 8. 1977. № 4.
- Yokoyama, Klenin 1977 — *Yokoyama O., Klenin E.* The semantics of «optional» rules. Russian personal and reflexive possessive // *Sound. Sign. Shape*. Ann Arbor, 1977.

ПОНЯТИЕ АКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И РАЗЛИЧИЕ *ХОТЯ* И *ХОТЬ* В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

В течение долгого времени в славянских языках работает некий «конструктор», создающий все лексические единицы партикулярного фонда — *и + бо*, *ли + бо*, *и + ли* и т. д. С некоторого времени он почему-то перестает порождать новые структуры, хотя число возможных комбинаций еще не исчерпано. В эволюцию вовлекаются слова знаменательного фонда в их «застывших» формах либо даже заимствованные партикулы. Однако и новые компоненты соблюдают все те же «правила игры», добавляя элементы из старого фонда и входя в отношения синонимии-многозначности.

Задачей, поставленной нами, была проблема различения *хотя* и *хоть*, во многих грамматиках признаваемых вариантами с разными пометами (разг.? устар.? и проч.). Оказалось, что их различие ведет к довольно глубокому дистанцированию по акциональному статусу, то есть по тому фактору, совпадает ли действие с уступительным компонентом с действием основным или как-то ему противопоставляется. Естественно, что в своей основе это различие ведет к исходной грамматической форме этих слов: деепричастие vs императив.

Однако и тут, как и в случае с выделением «лексического ударения» через пик интенсивности, можно возразить: ведь неразличение или смешение этих союзов-частиц будет допустимо в пределах нормы! Да и именно анализ таких случаев, как можно сказать еще раз, отличает лингвиста-исследователя от лингвиста-нормализатора или преподавателя. И в этом случае мы обнаруживаем те самые «обрывки и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации», о которых писал В. И. Абаев.

Итак, задача — найти (обнаружить) семантико-функциональные различия уступительных союзов *хотя* и *хоть*.

Квалифицируются эти союзы в литературе по-разному. Существуют следующие варианты:

1) *Хотя* (*хоть*). То есть тем самым они объявляются полностью синонимичными.

2) *Хотя* (разг. *хоть*). Здесь *хоть* объявляется стилистическим (или стилистико-функциональным?) вариантом.

3) *Хотя, хоть...* Таким способом они объявляются разными союзами, но об их различии, как правило, не сообщается, и в дальнейшем они фигурируют именно такой сдвоенной парой.

Существует мнение, что *хоть* — феномен фольклора: пословиц, былин, поговорок. Не исключает его и трактовка *хоть* как фактора ритмического, как бы «краткого» односложного варианта *хотя*. Наконец, *хоть* считается признаком несколько простонародного употребления. И, разумеется, все эти наблюдения справедливы.

По поводу функциональных различий *хотя* и *хоть* существует публикация Н. П. Перфильевой [Перфильева 1977]. Автор ощущает отсутствие обоснований для объявления *хоть* «фонетическим» вариантом от *хотя* и обследует составленную ей картотеку из 220 примеров сплошной выборки (художественная литература XIX и XX веков). Кратко ее выводы можно характеризовать так, что *хоть* чаще встречается в «нереально-уступительных» конструкциях, а *хотя* — в «реально-уступительных» и сопоставительно-противительных. Кроме того, *хоть*, по ее мнению, ближе к частице, выполняя ограничительную функцию, и потому — это таксономически гибридная лексема, а *хотя* — ближе к собственно союзу. Тем самым, «функтивы *хотя* и *хоть* не являются вариантами» [Там же: 69].

И все же функциональные различия этих союзов, именно как союзов, ощущаются и в современном русском литературном языке¹.

Например, скорее всего будет сказано:

Хоть Вы меня всегда и обижали, а я к Вам все равно хорошо отношусь (но не *хотя*);

Он подолгу оставался на работе, хотя у него и дома были все условия (не *хоть*);

Она какая-то нескладная, хоть и красавица (скорее *хоть*, а не *хотя*);

Я продолжал бежать, хотя силы уже иссякали (здесь вряд ли *хоть*).

¹ Еще раз напоминаем о том, что речь будет идти не о невозможности / возможности, а о некоторой обнаруживаемой **тенденции** употребления этих союзов.

Можно предположить, что *хотя* до сих пор сохраняет свою исходную функцию быть деепричастием (причастием) настоящего времени от глагола *хотеть*². Иначе говоря, *хотя* стремится передавать параллельные акциональные процессы, состояния, поступки.

Тогда естественно предположить, что *хоть* связывается с иной сферой временного статуса. Действительно, *хоть* передает, как правило, состояние статальное, как бы извечный статус, или статус сегодняшнего дня, но **не действие в настоящем**, наконец, этот союз передает действие, совершенное в прошлом, или даже действие, предполагаемое в будущем.

См., например, прекрасно иллюстрирующий этот тезис пример из «Моцарта и Сальери» Пушкина:

И никогда на шопот искушенья
Не преклонился я,
Хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко.

Здесь очевидно постоянство признака в первом случае — с *хоть* и одновременность состояния двух акциональных феноменов во втором — с *хотя*.

Итак, *хоть* как бы отходит от неопределенности сейчас свершающегося события, в отличие от совпадающего с ним по времени *хотя*.

Поэтому именно *хоть* гораздо чаще сопрягается с *и*, которое уводит восприятие от настоящего момента, переводя происходящий факт в сферу известности, определенности, некоторой анафоричности: *Утро было светлое, хоть и холодное*.

Подобное *и* связано с категорией определенности, известности, так что высказывалось даже предположение, что такое русское *и* можно считать (условно!) чем-то вроде «определенного артикля» при глаголе. Например,

- А Вы бы поискали это в «Доме книги»!
- Я и был там. (Или — *Я там и был*).

Необходимо заметить, что здесь еще раз встает проблема требования / нетребования дистантности или контактности при квали-

² О существующих неясностях в определении происхождения союза *хоть* будет говориться далее.

фикации лексемы как цельного единства. Иначе говоря, если завтра будет принято решение о слитном написании с частицей *бы*, то тут же — как естественный факт — возникнет союз-частица *хоть бы*, подобно *даже* или *неужели*. Поэтому не так просто ответить на вопрос, не существует ли как цельность союз *хоть и* (и даже *хоть и*), или это все-таки комбинация двух союзов. К этому же кругу проблем относится и вопрос (более остро он встанет ниже, при обсуждении древнерусских данных) о синонимии союзных лексем с «распространителями» и без них. В частности, очевидно, что и *хоть*, и *хотя* в сочетании с существительными конкретного значения имеют семантику минимизации, однако они не противопоставлены друг другу. «прямо», то есть нельзя сказать: *Дайте хоть кусок хлеба vs Дайте хотя кусок хлеба*, но *хоть* в таких конструкциях противопоставит *хоть бы*, то есть *хоть* с распространителем *бы*. Семантическое противопоставление в этом случае, как представляется, следующее: *Хоть* ориентировано на ноль, на возможную опасность не получить ничего, а *хоть бы* — на некий исходный, но ожидаемый минимум с надеждой на нечто большее. То есть *Дайте хоть два рубля* имеет в presupпозиции: если у Вас так плохо с деньгами и Вы не хотите ничего давать, а *Дайте хотя бы два рубля* подразумевает: а если больше, то было бы еще лучше.

В свете всего вышесказанного важно отметить, что сформулированная выше функциональная дистрибуция примеров с *хоть* и *хотя* вполне отчетливо просматривается в наших «академических» грамматиках русского языка, однако, по нашим наблюдениям, на это ранее просто не обращали внимания.

Например (используем приведенные там данные):

Я обрадовался, увидев родной город, хоть и неласков он был ко мне (Ф. Шаляпин) — известное предшествующее состояние;

Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персоне и ходил в учительской тужурке и фуражке (Ю. Олеша) — постоянный статус персонажа.

Вы хоть и мастер угадывать, однако же ошиблись (Ф. Достоевский) — также известный постоянный статус.

Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно. / На сей однако ж раз послушал их Зевес (И. Крылов) — известное постоянное свойство богов.

Приведем примеры на *хотя*:

Ей пробовали рассказать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было точно передать того, что он сказал (Л. Толстой) — одновременный процесс речи и непонимания.

Мой репертуар стал казаться мне заигранным, неинтересным, хотя я и продолжал работать, стараясь внести в каждую роль что-то новое (Ф. Шаляпин) — одновременность акции и внутреннего состояния.

Учился он порядочно, хотя часто ленился (И. Тургенев) — одновременность протекания акциональных процессов.

Хотя было еще рано, но ворота оказались закрытыми (В. Короленко) — одновременность двух состояний.

Хотя ложь еще живет, но совершенствуется только правда (М. Горький) — одновременность двух процессов.

Хотя в комнате были только эти двое товарищей — друзей, начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа (А. Толстой) — одновременность действия и состояния.

Можно ли, отметив подобную тенденцию, тут же фиксировать случаи контрпримеров, то есть случаев, когда эти союзы употребляются не так, как мы предположили выше? Разумеется, можно.

Прежде всего большая краткость *хоть*, его неоспариваемая «разговорность», ведет к его предпочтительному использованию в кратких поэтических жанрах, особенно — в баснях, эпиграммах, частушках и под. При этом нужно учитывать и иные, чем у *хотя*, ритмические возможности *хоть*: двусложное слово vs односложное. Например, у И. А. Крылова: *Хоть видит око, да зуб неймет* — при несомненной одновременности действия, *хоть* обеспечивает ритмический рисунок.

Кроме того, *хотя* — слово протяженное и более «книжное» — является более предпочтительным у писателей при описаниях разного типа, при рассказе о разворачивающихся событиях и т. д. Несомненно, что деловой язык предпочитает именно *хотя* (возможно, и из-за своей большей ориентированности на «презентное» состояние).

Таким образом, целесообразнее говорить не о семантической оппозиции этих двух союзов, а о тяготении каждого из них к разным полюсам некоей общей семантической шкалы.

В связи со всем вышесказанным было существенно понять пути эволюции *хотя* и *хоть* в диахронии, а также их схождения и расхождения на разных этапах истории русского языка. В Словаре И. Срезневского анализируется только *хотя*³. Словарь русского языка XI—XVII веков, издаваемый Институтом русского языка РАН и Словарь русского языка XVIII века, издаваемый Институтом лингвистических исследований РАН, до этих слов в своих выпусках еще не дошли. Таким образом, основным источником явилось использование материалов Картотеки Словаря русского языка XI—XVII веков Института русского языка РАН⁴. (Мы пользуемся случаем поблагодарить за эту возможность руководство Словаря и сотрудников отдела.) Собранный материал показал, что анализу подлежат **не два слова: *хотя* / *хоть*, а три: *хотя*, *хоть* и *хоти***. Последний союз, в настоящее время не употребляющийся, в древнерусском языке книжного стиля представлен широко и, несомненно, по своему происхождению является «застывшей» формой императива от *хотети*, подобно тому как императивами являются и другие уступительные союзы: *пускай* и *пусть*. *Хотя* же, как уже говорилось, — это форма деепричастия от того же глагола, аналогичная *несмотря* от *смотреть*. О происхождении лексемы *хоть* будет говориться специально. Сейчас же необходимо заметить, что именно этот союз-частица *хоть* оказался представленным в Картотеке минимальным числом примеров, в отличие от *хоти* и особенно — от *хотя*. В дальнейшем используются только примеры на *хоть* из Картотеки, встреченные в книжных текстах, и не привлекаются данные, почерпнутые из сборников пословиц, поговорок, народных речений и проч., как плохо датируемые.

Заметим, что оппозиция *хотя* / *хоти* не отмечается для текстов не книжного характера. Например, А. А. Зализняк в своей фундаментальной монографии о древненовгородском диалекте [Зализняк 1995] не фиксирует ни *хоти*, ни *хоть*, но приводит четыре контекста с *хотя* (ХОТѦ).

³ ХОТѦ — со значением: 'по крайней мере' и со значениями 'хотя, хотя бы, если' [Срезневский 1959: 1394].

⁴ Для уточнений и расшифровок использовался: Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1984.

1) Грамота № 605 (конец XI — нач. XII в.):

...**МОЖЕ МИ ЛИХО МЪЛВАШЕ И ПОКЛАНАЮ ТИ СЯ БРАТЬЧЕ МОИ ТО СИ ХОТЪ МЪЛВИ ТЫ ЕСИ МОИ А БЪ ТВОИ** [Зализняк 1995: 246]. Здесь несомненно значение минимизации «хотя бы».

2) Грамота № 724 (предположительно 1161—1167 гг.):

и **заславъ захарьа въ вѣрь ѡроклъ не данте савѣ ни одного песца хотъ на нихъ емати и самъ** [Зализняк 1995: 295]. Здесь определить значение затруднительно. Возможны два варианта, и А. А. Зализняк это отмечает в переводе [Там же: 296]: «я сам хочу за это взяться», тогда деепричастие предлагает как бы «галлицизм» для этой эпохи. Второй вариант — «Сава хочет сам за это взяться». Но в любом случае эта форма представляется деепричастной.

3) Грамота № 489 (первая половина XIV века):

Ѡ попа. ко монсею. воступиса

...[А]м. хотъ? бы. истерати

...[А]зо во томо.а дома п[р]о. [Зализняк 1995: 452]. Здесь *хотя* переводится уступительно-условным комплексом «если даже».

4) Грамота № 317 (вторая половина XIV века):

...а **нынѣ покантеса того безаконна а не то дѣло шканѣное немного поводитъ а тыхъ бы хотъ и не постыдѣтиса** [Там же: 463]. Это сложное для понимания место А. А. Зализняк переводит как: «Покайтесь же теперь в том беззаконии! А на то дело окаянное немногих попускает; а [вам] бы их хотя б не стесняться (т. е. хорошо бы, чтобы вы хотя бы не боялись осуждения с их стороны)» [Там же]. Эти четыре примера приведены специально для сравнения с неидентичным по семантике и структуре материалом книжных текстов Словаря РАН.

Понимая всю сложность представления функциональной семантики древнерусского материала, после обдумывания различных способов его представления, мы пришли к выводу, что изложение целесообразно строить следующим образом.

Сначала сообщается о некотором сложно определяемом «кусте» значений полифункционального типа, который соответствует всем анализируемым союзам. После чего представляются менее диффузные моносемантические употребления⁵.

⁵ Графический облик примера точно повторяет тот вид, в котором он представлен в Картотеке. Необходимо уточнить также, что представляются именно **примеры**, а не весь **материал** в Картотеке. Не сообщается также источник для каждого приводимого примера, так как это сильно увеличило бы объем статьи.

Вторая часть описывает семантику указанных трех союзов с распространителями (с вниманием к тем таксономическим трудностям, о которых говорилось выше).

В третьей части сообщаются факты, относящиеся только к одному из союзов — 1) уникальные семантические особенности и 2) не характерный для других распространитель.

В четвертой части делаются некоторые выводы о смысловом и функциональном различиях союзов-частиц *хотя*, *хоти* и *хоть* в древнерусском языке.

1. Первый семантический комплекс — 'пусть — если — хотя бы.'

Хотя:

прибыльнее хлѣбъ ясть, хотя не хочется, нежели словъ лживыхъ слушать;

Фрол Скобеев сказал... хотя животь свой утрачу, а от Аннушки не отстану.

Хоти — подобные примеры не встретились.

Хоть — ситуация аналогичная.

Второй семантический комплекс — 'пусть — если.'

Хотя:

нашъ царь приказался накрепко: кто станетъ хотя царемъ назваться, повелель съсечь его;

как ни ѣсть хотя нетъ согласия между ими и другъ друга укоряешъ обаче всѣ согласно заповѣдь магометскую сохраняють.

Хоти:

у брата своего у царя я не живу, а хоти коли у него буду, и онъ меня таится, а в князя дѣла еще со мною не дѣлываль.

Хоть:

есть в томъ государстве води тепліе, в которыхъ мощно изварити яйце без огня и рибу хоть без дровъ и без огня⁶.

Первое одиночное значение — уступительности: 'пусть' ('хотя');

Хотя:

дѣша еси моя милая двѣца хотя ты меня много хулиши і лаеши і без чести і соромотиши а я на тебя не могу злобы ни досады держати;

а воду то святить, хотя истинный крестъ погружается, да молитву дѣвольскую говорить;

хотя мнѣ голова своя положити, а тебѣ послужу.

⁶ Очевидно, что последний пример можно рассматривать как сложное предложение с большой натяжкой, то есть считать часть после *хоть* эллипсисом.

Хоти:

и бояре и дьяки говорили: хоти государь вошь въ то время еще на государстве не былъ... да въ томъ лихово нѣтъ ничего; хоти мнѣ шаха лѣта все дожидатца, а къ шаху мнѣ безъ людей не езживать, и говорить де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за Азовъ стоять крепко.

Хоть — примеры не обнаружены.

Второе одиночное значение — **условия**.

Хотя:

а хотя кто что вынеслъ или на поле, на огороды, или въ греблю, то все пламенемъ взялось;

а хотя коли повелимъ имати или на тѣхъ, у кого будутъ грамоты наши жаловальныи, на монастырскихъ людехъ ни тогда никто не емли ничего по сей нашей грамотѣ.

Хоти:

хоти придет к царю и на двор, а свѣдаетъ, что у Леонтья царя Турского или Кизилбашского шаха послы или посланники и ему к царю не ходити, а ѣхати к себѣ на подворье;

кто украдешъ хоти что не своихъ 6 алтынъ будет хоти дерзнул на государя своего рукою до оружія.

Хоть — примеры не обнаружены.

Третье одиночное значение — **временное** ('когда').

Хотя:

а хотя он после нѣсколько сот годами опят в жидовскую землю пришошь, и онъ все пусто нашель.

Примеров с *хоти* и *хоть* в этом значении не обнаружено.

Четвертое одиночное значение — **минимизации** ('хотя бы').

Хотя:

аще ли кто въ печали челоуѣка призритъ, хотя студеною водою напоит во узноенный ден, не лишен будет царства небесного;

и ежели иного кого не сыщетца, то извольте послать хотя Федосью Грекову;

довлаѣть, чтобъ тѣ анбары, хотя не всѣ, были въ городѣ.

Хоти:

и по ся мѣста мочно было изготовити хотя два отпуска такихъ.

Хоть — примеры не обнаружены.

К этому значению примыкает более общее значение «крайности», доведения до предела: *и такъ тонцовали что и сорочки их хотя выжми отъ поту их*.

2. Прежде чем перейти к семантике анализируемых союзов с «распространителями», в качестве «гибридной» конструкции приведем примеры на **разделительное** значение союза *хотя*, который, дублируясь, передает значения: 'или... или; будь то... или' и под.:

а за кормилица 12, такоже и за кормилцю, хотя си буди холопь, хотя си роба;

слыша же блаженный Андрѣй, еже вопіаху, помилуй нас, хотя, либо не хотя, начася смѣяти;

а на Кемчике де острог хотя ставити, хотя и нет;

и о томъ объяви Курляничкомъ, и вели збирать, хотя хотятъ, хотя нѣтъ.

Хоти в данном значении не представлено.

Хоть:

а ты де, Савка, ей, царевне, о томъ хоть извѣщай хоть нетъ, я де про то сама съ Ульяною переговорю въ Покровском у церкви, у ранней обедни;

і ты стафъ хоть 1000-чи хоть 100, хоть 10 и опъ томъ не думай, хоть многое число напередъ, хоть малое, толко чтобъ правая сторона была равна.

Несколько смешивая композицию, заметим, что в подобном значении выступает и структура *хотя... или*:

а речеть тако: хотя богатырь или не богатырь, однако если холопь государевъ и ко мнѣ имени не прибудеть;

я же вездѣ въ равномъ разстояніи стоять не смотря на то хотя прямо или криво идутъ.

3. Наиболее частотным распространителем для всех трех союзов безусловно является *и*.

Первое значение — комплекс **уступительности + условия**: 'пусть — если — если даже'⁷.

Хотя:

а будетъ сыщется, что жили болши трехъ мѣсяць и на тѣхъ людей кабалы давать и поневоля, хотя они к ним итти въ холопи и не похотятъ;

ко всемъ милой другъ заежжаетъ, онъ к одной ко мнѣ не заедет, а хотя онъ ко мнѣ и заедет, он тайны мнѣ онъ (так! — Т. Н.) не скажетъ.

⁷ Разумеется, *даже* — это почти синоним *и*: *Вдова должна и гробу быть верна = даже гробу*, но семантика *и* часто приближается к грамматикализованности, тогда как *даже* воспринимается более «отчетливо».

Хоти:

а хоти и тѣхъ людей на Крымской сторонѣ не будетъ, и ему крымскою стороною отъ астроханскихъ воровъ не пройти;

а хоти и цесарского или королевского или какова вельможного роду къ тому рыцарскому братству пристать хочеть, сперва долженъ о томъ прошение принестъ.

Хоть:

а хоть поедет басурман через мою землю, яз и его вею проводить с честью, а то ведь царевич, да мне и свой;

если якій скоть на що наколется или стрѣлою прострѣлень будетъ хоть и наскрозь то тимъ коренемъ исцѣлѣется.

Второе значение — одиночное — **чистой уступительности:**

Хотя:

Ляховъ въ мукахъ учили, хотя и сами холопы;

а намъ до Ржевскихъ дѣла нѣтъ, а Хима Ржевской хотя и будетъ Карповыхъ роду и Ржевским с Карповыми далеко разошлись.

Хоти:

и государь вашъ хоти нашимъ рѣчемъ съ тобою и не говорить и не повѣрять, и государь вашъ повѣрять государя нашего грамоте;

и нынѣ ты братъ мой въ мыслѣ себѣ такъ взялъ, хоти есмь отъ тебя и далече, а ты бы насъ близко себя чинилъ.

Хоть:

климать нашъ хоть и суровъ, однако же не всегда же ненастья да туманы, бываетъ и ведро.

Третье значение, также одиночное, — **минимизации**, близкое к современному «хотя бы». Обнаружено только с союзом *хотя*:

обо всемъ что вы нынѣ чините и где обрѣтаетесь, писать по вся недѣли, а не хуже хотя и по дважды въ неделю.

4. Вторым по частотности распространителем уступительных союзов *хоти* — *хоть* является отглагольная частица *бы*.

Общим семантически является компонент **условно-уступительного** значения: 'пусть / если'.

Хотя:

когда лошадь будетъ иметь черные мяса сухи, тогда хотя бы имѣла задние кости широки будетъ казатца не статна.

Хоти:

а хоти бѣ государь вашъ надъ ними что и учинилъ и государь нашъ по своей правдѣ о томъ взысканіе учинить.

Первое одиночное значение — **уступительности**: смысловой показатель 'пусть':

Хотя:

и если, государь, милость ваша к нему будеть, чтобъ ему объявить чрезъ письмо, хотя бь, государь, его малымъ потъшеньемъ что дать.

Хоти:

что вамъ мне въ беломъ платьи положити, хоти бы язъ и здоровъ былъ, но мысль моя... предлежитъ в черничество.

К нему примыкает «субзначение» — 'пусть даже', то есть как бы **усиленная уступительность**:

И Ильдеджерта гораздо лутче убралась, і в консилиуме о войнѣ предлагала такъ порядочно хотя бы самому знающему все военные обряды.

Хоти — примеров в этом значении не обнаружено.

Второе одиночное значение — **условия**: 'если':

Хотя:

прежде всего надобно смотреть воздухъ и положете того мѣста гдѣ лошадей содержать. Ибо хотя бь кто Арапскихъ, Турецкихъ и Неполитанскихъ жеребцовъ имѣлъ, но ежели мѣсто и воздухъ къ тому неспособно, то никакого успѣху не будеть.

Хоти:

хоти б которая меж Келмашетем... была с Будачеем и с Муцаломъ и ссора и чем было бити челомъ великому государю, а не им, Алечуке и Хотаджуку... управливатца.

Третье одиночное значение — **минимизации**, некоего изначального, но необходимого минимального отсчета.

Хотя:

и требуетъ от вас хотя бь словесно благословили заочно.

Хоти:

онъ бы хоти въ Астрахань послаалъ людей своихъ.

5. Последняя разбираемая нами конструкция является общей для трех союзов — это их сочетания с показателями **количества**. Будет справедливо заметить, что многие высказывания, приведенные нами выше в качестве примеров на отдельные значения, на самом деле почти синонимичны, и проводимые семантические границы часто искусственны. Кроме того, несомненно, что в приводимых

далее примерах *хотя* / *хоть* / *хоти* являются, скорее, частицами, а не союзами, недаром В. В. Виноградов именовал их «частицами-союзами».

5.1. Комбинация союза с распространителем-показателем *мало*⁸.

Хотя:

а мы ныня хотя мало поболим или жена, или дѣтя то стальше бга вра-
га дшамъ и тѣломъ ищемъ проклятыхъ бабъ чаробѣицъ;
печаль преложить и отдохновене хотя мало сотворить ми;
а ежели что хотя мало что в доимку упущено будетъ і оная взыскана
будетъ на Колской воевоцкой канцеляриі несомненно;
надежать приехавъ на станъ давать онымъ лошадымъ хотя мало есть
отрубей моченыхъ чтоб те отруби прочистили горло.

Хоти:

хоти маленько побѣлее золотово ся покажетъ то дешевле емли.

Хоть:

что бы, государь, спустити 6 дней или въ два, что было, то судить хоть
мало болѣзни твоей облегчения.

5.2. С тем же значением *минимизации* выступает сочетание со- юза-частицы с числительным *один*:

Хотя:

аще къ ней прикоснется хотя единымъ словомъ, то не можетъ сей
день живъ бытии;
а кто утаитъ хотя одну обжу, а уличимъ его, и мы того скажемъ сво-
имъ государемъ.

Хоти:

а ты молви хоти одно то: царево слово на головѣ держу;
яко ни у меня с собою нет, ни в Литве остана, такова хоти едина пи-
щаль, еже столь далече шествие пути кажет.

Хоть:

я готовъ тотчас умереть, говорил Гардвин, ежели у меня хоть одна
капля крове что иное думаетъ, кроме спокойствия моей милос-
тивной принцессы;
а будетъ я... образцовъ против сей маювной записи хоть въ единомъ
въ словѣ своемъ не устою.

⁸ Примеров на эту конструкцию приводится несколько больше, чтобы по-
казать — хотя бы иконически — степень ее распространенности и грамматика-
лизованности.

6. Итак, выше были продемонстрированы основные значения уступительности, передаваемой через союзы *хотя* / *хоти* / *хоть* и модификации этих значений при введении в высказывания «распространителей» при этих союзах. Нетрудно заметить, что выделяемые значения могут оказаться абсолютно синонимичными в высказываниях с распространителями и без них; наконец, в современном русском языке в одних случаях распространитель был бы элиминирован, а в других — введен. Все это еще раз подтверждает нашу неоднократно высказываемую мысль о практически непрерывно работающем «конструкторе», формирующем из партикулярных компонентов разнообразные сочетания и комбинации. В языковой эволюции они могут объединяться, и разъединяться, по-разному комбинироваться — именно по указанному принципу.

Кроме того (подобные примеры не приводились из-за боязни слишком перегрузить наш текст) все эти распространители могут быть представлены в разных внутривидовых сочетаниях. Таким образом, возникают квазикомплексы типа *бы + и*, *бы + и + один*, *будеть + и* и т. д., сходные с теми комплексами клитик, которые известны для синтаксиса древних языков (например, хеттского), для романских языков, для южнославянских и т. д.

В заключение остановимся на тех комбинациях, которые характерны для одного какого-либо союза из анализированных трех.

6.1. В первую очередь это относится к сочетанию *хотя* с инфинитивом. То есть здесь *хотя* выступает в своей исконной функции деепричастия от глагола *хотети*. В современном русском языке такое *хотя* было бы передано как: *желая*.

прииде в Киев Дионисии архиепископъ Суздальскій... и хотѣ ити на Москву, хотя быти митрополитомъ на Руси;
 король бо поведе его на великого князя, хотя разорити христианство;
 и прихотя он, Сумчалеи,.. великую нам тесноту и изгоню чинит, хотя нас к себе в холопи взять и от твое царские милости отлучить;
 бедный... умысли себе смерти предати, бросися прямо с мосту в ров, хотя ушибьтиса до смерти;
 имѣмъ примѣръ памятнои о взятіи буржа ілі бурга. Того ради что хотя его спасті его отъ здравого, убережень онъ былъ на нужду римлянѣмъ.

Естественно, что в подобных конструкциях не выступают ни *хоти*, ни *хоть*.

6.2. Второй не общераспространенной конструкцией является модель, где в основном выступает *хоти*. Это: *хоти + ино*.

Если в предыдущих примерах *хотя* четко выступает в функции деепричастия, то в этой — несомненна союзная функция *хоти*. Синтаксис соответствует правилу строгого параллелизма двух сообщаемых ситуаций.

Ино можно рассматривать и как целостную лексему, и как партикулярный комплекс: *и + но*. Тогда он может анализироваться как дистанцировавшееся *и*, столь обычное для уступительных союзов *хотя/хоти/хоть*, в сочетании со столь же распространенным противительным *но*. Однако эта лексема, несомненно, имела диффузную семантику. В Этимологическом словаре славянских языков для уровня древнерусского языка *ино* приписывается значение 'но', 'то', 'так и так', 'разве', 'только' [ЭССЯ, 8: 168]. И. И. Срезневский приписывает ему значения 'то', 'но', однако несомненно, что ряд примеров и для него остался семантически непрозрачным:

А подале пошедь, ино темница Господа нашего Иисуса Христа;

А въ црковь ту влезши, ино на правѣ Гурзинскія службы, Гурзи служатъ;

и т. д. [Срезневский 1958, 1: 1102].

Для указанной конструкции очевидно, что союз (союзная часть?) связывает синтаксически параллельные действия, где обсуждение говорящим второй ситуации обусловлено ситуацией первой:

а говорилъ де брату своему Кедяю Алей царевичъ: хоти де послать проведать про посланника своего про Чирючюя ино де послать человека с 2 или с 3;

хоти низок потолок, ино огня не страх;

и бояре и дьяки говорили: хоти государь вошь въ то время ещо на государстве не былъ, ино отецъ его шахъ... о томъ ко государю нашему, приказываль, да въ томъ лихово нѣтъ ничево.

6.3. Последняя конструкция является не столько не общей для союзов, сколько реликтовой, и потому рассматривается в этом же разделе. Это — сочетание союзов с распространителем *будет + и* (без *и* подобная конструкция в Картотеке не была представлена). Все высказывания с *будет* имеют значение **футуральной условности + уступительности** (последнее не во всех случаях)⁹.

⁹ Интересно отметить, что сейчас сочетание *хотя будет* воспринимается как некий неупотребляемый архаизм, но в то же время *если будет* вполне укла-

Хотя:

а будетъ проведаять или хотя будетъ и Александровых, а посадилъ его шах, к тому новому царю не ходить;

сказал: такова разряду не помню, а хотя будетъ таковъ разрядъ и былъ и Юмранъ былъ менши чюлка;

Азовъ сталъ некрѣпокъ, мочно его взять... только безъ государева повелѣнья учинить того не смѣють, хотя будетъ и возьмутъ, а ему, государю, будетъ неприятно, попржнему Азова у нихъ принять не велить.

Хоти:

и того бѣ образа просити за изборскихъ людей пятьдесятъ человекъ, да хоти будетъ къ тому и прибавити, ино прибавит и Фому Мотукѣва.

Как видно из предшествующего изложения, *хотя*, *хоти* и *хоть* (последнее, как уже говорилось, было представлено в картотеке минимально) по смысловому заданию оказались очень близкими. Формальные различия относятся к уникальному употреблению *хотя* с инфинитивом, а *хоти* — с *ино*.

Есть ли все же какие-то различия между этими союзами на древнерусском уровне? Если есть, то искать их нужно, видимо, на каком-то особом смысловом пласте.

Обратимся к примерам с *хоти* и проанализируем их категориальную структуру:

и бояре и дьяки говорили: хоти государь вашъ въ то время еще ни государстве не былъ, да въ томъ лихово нѣтъ ничево;
и говоритъ де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за Азовъ стоять крѣпко;
а нынѣ тебѣ не до тово, хоти еси добрѣ силенъ и крѣпкаго умыслу;
а хоти и тѣхъ людей на Крымской сторонѣ не будетъ, и ему крымскою стороною отъ астроханскихъ воровъ не пройти.

Ср. примеры с *хотя*:

бей Яловецкой ничего не делаетъ и дѣлать не хочеть, а хотя спаги и янычеме на него кричать, что безъ дровъ и безъ воды быти немогутъ, сказывають, что дѣ дѣлаю, что мнѣ велять, хотя бы и пропасть довелось;

послаалъ меня къ бутдыханову величеству, и хотя не вразумѣлъ царское величество, какимъ обычаемъ писалъ въ листу своемъ бутдыханово величество;

дывается в современные нормы, однако с ощущением полноты глагола *быть*.

прибыльнее хлѣбъ ясть хотя не хочется, нежели словъ лживыхъ слушать;
 воеводство Поморское и подскарбство Прушское и другое надворное, хотя на многихъ стоить, толко указу королевского на нихъ нѣтъ;
 а воду то святить, хотя истинный крестъ погружается, да молитву дѣвольскую говорить;
 себе ужь хотя воняю, да иныхъ не соблазняю;
 Фрол Скобеев сказал... хотя живот свои утрачу, а отъ Аннушки не остану.

Посмотрим на примеры с распространителями.

Примеры с *хотя*:

много и нынѣ такихъ, что много общають, а мало даютъ, хотя и вѣдаютъ, что на торгу за слова не продають;
 и сказали ему иные рабы, хотя ты и ничего не понесешь, мы нужды не имѣемъ;
 лядунки неудобны... одна тягостна, а другая хотя бы и не тягостна, толко къ даннымъ походамъ не вечна.

Примеры с *хоти*:

что хочеть нашего царствія величества титла и печати учинити, и ты обезумѣвъ, хоти и вселенней назовешься государемъ, да хто тебя послушаетъ;
 и того хотимъ, чтобъ тѣ наши подданные, которые вашъ гнѣвъ принесли, хоти и поучени будутъ толко бы впереди болши того об нихъ писанья не было;
 что вамъ мне въ беломъ платъи положить, хоти бы язъ и здоровъ был.

Итак, как кажется, и в древнерусском языке два союза: *хотя* и *хоти* — отличаются корреляцией акциональных состояний в обоих событиях, соединяемых союзом. *Хотя* соединяет **одновременные** события. *Хоти* связывает **разные по совершаемости** ситуации: при этом могут комбинироваться настоящее и «вечное», настоящее и давно прошедшее, настоящее и будущее и т. д.

Естественно, что интерпретация этого приводит к исходной функции *хотя* как деепричастия настоящего времени, предполагающего акциональную одновременность. Это объясняет тот факт, что *хотя* почти не встречается в конструкциях с *ино*, так как здесь описывается ситуация условная, а не реальная. Это объясняет также частое тяготение контекстов с *хоти* к будущему времени: это

и есть сентенциональный рефлекс на происхождение *хоти* от императива.

Таким образом, именно *хоти* оказывается наиболее близким к современному русскому *хоть*, если его рассматривать в противопоставлении *хотя*.

Логически из этого вытекает, что *хоти* было в русском языке вытеснено партикулой *хоть*¹⁰.

Последний вопрос — это проблема происхождения союза (частицы) *хоть*.

Как уже указывалось, во многих современных работах *хоть* объявляется либо «фонетическим» вариантом *хотя*, либо его «разговорным» вариантом. Наиболее внимательно к этому вопросу подошел Б. Лавров [Лавров 1941: 118—121]. Он обращает внимание на не анализированный нами вариант уступительного союза *хошь*: *Хошь черта впряги, инь не тянетъ; Изловя вошь, отпусти хошь* и под. По его мнению, безусловно, *хошь* здесь — вариант от *хочеши*, но семантика его стерта и не всегда можно сказать, имеем ли мы дело со сказуемым или с частицей: *Злорѣчивой хошь языкъ отрѣзати, и она перстомъ киваетъ*. Б. Лавров обращает внимание на то, что такое *хошь* часто встречается в севернорусских говорах, где наблюдается и *мошь* вместо *можешь*. В памятниках встречается и форма *хочь* как форма 2-го лица. Б. Лавров полагает, что это форма повелительного наклонения, которая функционирует в роли формы наклонения изъявительного. Что касается *хоть* и *хоти*, то обе они, по мнению Б. Лаврова, являются формами повелительного наклонения. *Хоти*, по его данным, встречается редко, а *хоть* связано главным образом с фольклорными текстами (напоминаем, что речь идет о древнерусском языке). Далее, Б. Лавров сомневается и в общепринятом мнении (которое он, однако, принимает) о том, что *хотя* — наиболее распространенный союз современного русского языка — является изначально причастно-деепричастной формой. Дело в том, что в польском языке ему эквивалентен союз *chocia*, тогда как нормативное соответствие русским деепричастным формам должно иметь на конце носовое *a*. «Так как русск. *хотя* не вполне соответствует польск. *chocia*, то это заставляет с большой осторожностью определять исходную форму союза» [Лавров 1941: 121].

¹⁰ Процесс вытеснения *хоти* партикулой *хоть*, очевидно, нужно проследить начиная со второй половины XVIII века. По данным Словаря русского языка XI—XVII вв. это сделать не удалось.

Однако, по нашему мнению, более загадочным является генезис формы *хоть*.

Возможны при этом следующие гипотезы.

1) Это форма повелительного наклонения, имеющая функционирование в диалектах, подобно *положь, гляннь, становь* и под., и перешедшая в современный язык после вытеснения *хоти*, которое, как мы старались показать, в древнерусском языке было аналогичным современному *хоть*. Тогда неясно — почему *хоти* было вытеснено, во-первых, и когда именно возникла эта диалектная форма, во-вторых?

2) *Хоть* является «фонетическим вариантом». Но — какой формы: от *хотя* или от *хоти*? Скорее, вероятно второе, так как *хоти* исчезло из употребления. Тогда можно построить теорию двух *хоть*, и «новое» *хоть* могло совпасть со «старым» и диалектным. Важно осознать, что существует еще чисто «металингвистическая» привычка определять диалектные формы как некие «отражения» литературных, и тем самым им приписывать — хотя бы неявно — историческую вторичность.

3) Можно предположить иначе: на каком-то периоде развития русского языка (вероятно, это период постпетровский) произошло перераспределение функциональной парадигмы трех лексем: *хотя / хоти / хоть* (последнее из некой параллельной «народной» формы). *Хоть* стало восприниматься и описываться как вариант от *хотя*, что фонетически было облегчено ударением на первом слоге в слове *хотя*, на самом же деле оно разделило с ним ряд функций (как мы показывали выше), а *хоти* было вытеснено как функционально избыточное.

Список литературы

- Зализняк 1995 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
 Лавров 1941 — Лавров Б. В. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М., 1941.
 Перфильева 1977 — Перфильева Н. П. Являются ли *хотя* и *хоть* вариантами? // Материалы Всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». Филология. Новосибирск, 1977.
 Срезневский 1958—1959 — Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. I—II. 1958—1959.
 ЭССЯ, т. 8 — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—10. М., 1974—1983.

СЛОВСОЧЕТАНИЯ С ЛЕКСЕМОЙ *ОДИН*. ФОРМА, ЗНАЧЕНИЯ И ИХ КОНТЕКСТНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ

1.

Лексема «один» и семантика ее сочетаний уже служила предметом подробного изучения [Мишина 1960; Birkenmaier 1976]. Однако в последние годы интерес к этому слову у исследователей разных языков возрос [Чураева 1967; Harweg 1969; 1973]. Причина в тех интересных свойствах этой лексико-грамматически разноплановой единицы, которые связаны с выражением столь оживленно обсуждаемых категорий, как, например, определенность-неопределенность имени в высказывании. Артиклеобразные функции этой лексемы отмечены и для безартиклевых языков, что в особенности существенно для славянских языков Балканского языкового союза (см. [Ивић 1971]). Своеобразным свойством этой лексемы является способность функционировать как числительное и как местоимение-артикле в зависимости от места главного ударения в словосочетании; формулировалось как будто бы простое правило: при *один* числительном ударение падает на него, при *один* местоимении-артикле ударение падает на существительное: *Я познакомился с одной девушкой* (а не с двумя), но *Я познакомился с одной де ву ш к о й*¹.

При более подробном анализе распределение ударения в русских словосочетаниях с *один* демонстрирует картину значительно более сложную. Более того, оказывается, что необходимо различать не только место ударения, но и его силу: *Одна старуха рассказала мне занимательную историю* и *Все молчали, никто не вы-*

¹ См. этот тезис для чешского материала [Hlavsa 1972: 3]; для болгарского [Ревзин 1977]; для языков Балканского языкового союза в целом: Анкета по категории определенности—неопределенности. Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков: Предварит. материалы. М., 1973. С. 53.

молвил ни слова. Одна старуха рассказала мне занимательную историю.

По сравнению с первой фразой во втором случае наблюдаются три изменения:

- 1) слово *старуха* выделено более сильно.
- 2) значение словосочетания меняется: вместо *некая старуха* — *только старуха*; меняется и статус лексемы *один* — из местоимения артиклеобразного свойства оно становится ограничительной частью.
- 3) меняется отношение имени к категории определенности—неопределенности: из имени неопределенного специфического значения оно становится определенным.

Специфическая неопределенность — это вид неопределенности, при котором называемый предмет известен говорящему, но не слушающему, он конкретен, но установка говорящего — дать ему квалификацию на уровне класса: *Вчера я купил одну книжку*. Неспецифическая неопределенность — *Пойди купи себе какую-нибудь книжку*, т. е. любую, равно неизвестную участникам коммуникации.

Проблема различения этих видов неопределенности особенно актуальна для артиклевых языков: *Tom and John want to meet pretty girl* (сколько девушек?) *I shall ask a doctor. And so do Jane* (одного и того же?) и т. п.²

Существенным оказывается и тип имени, сочетающегося с *один*, например: *В одном Свинбёрне вспыхивают проблески несомненно-го таланта. Хорошо ему было с одной Катей*?³ Имя собственное как бы диктует значение «только». Возможное включение в класс должно быть здесь маркировано контекстом: *Нырклов посмотрел его карточку и сказал: — Еще один Весельчаков. Надеюсь, другого сорта.*

Уникальные по своему референтному статусу личные местоимения также диктуют значение ограничительности и, соответственно, усиленное ударение: *В одной тебе я зрю свою богиню*. В некоторых случаях мена места и типа ударения модифицирует смысл высказывания.

² О возможных классификациях типов неопределенности и о приемах различения специфического (неспецифического) ее вариантов см., в частности [Burton-Roberts 1976; Kasher, Gabbay 1976].

³ Все приводимые далее примеры взяты из Картотеки Большого словаря словарного сектора Л О АН СССР на слова *один* и *только*. Примеры в ряде случаев несколько упрощены, поэтому имя автора и названия произведения не сообщаются.

звания очень существенно: *Одна женщина способна на подвиг* (существует некая женщина с этим свойством); *Одна женщина способна на подвиг* (существует хотя бы одна женщина с этим свойством); *Одна женщина способна на подвиг* (существует единственная женщина с этим свойством); *Одна женщина способна на подвиг* (только класс женщин обладает этим свойством. Другой класс (мужчины) этим свойством не обладает).

Напротив, в сочетании с лексемой иного типа — например, именем абстрактного значения, ударение может изменяться достаточно произвольно, смысл высказывания не изменится: *Не одна наружность в нем не изменилась; Кто на все смотрит глазами одного рас­судка, все понимает просто, тот гадок и отвратителен.*

Наконец, существуют, как кажется, и словосочетания, которые произносятся как бы на одной ноте, с равным подчеркиванием слова *один* и имени, с ним связанного:

Не свищет ночью над водами Певец весны, и вместо роз Один растопленный на в о з.

Тип произношения словосочетания с *один* и, следовательно, семантика этого сочетания, а вслед за ним — и высказывания, определяется в значительной мере текстовыми предпосылками. Значительную роль играют и пресуппозитивные факторы: *Порой одним поклоном встретит, Порою вовсе не заметит.* Встретит, конечно, только поклоном, но ведь возможна система этикета, в которой число поклонов значимо.

Одним престолом тебя я выше буду. Только на престол, но в чужой цивилизации исключать идею иерархии престолов нельзя.

Рассмотреть виды и семантику именных словосочетаний с *один*, обращая особое внимание на требования контекстной маркированности для каждого из выделяемых значений — цель настоящей статьи⁴.

⁴ Таким образом, не рассматриваются глагольные сочетания с *один*, а также многочисленные фразеологические выражения (*один на один, один за всех, один раз* и т. д.). Не выявляется также и специфика именно русского употребления слова *один* — хотя бы в сравнении с родственными славянскими языками, несмотря на интересность этого пути. Так, в частности, для русского языка невозможны значения *один*, определяемые М. Ивич как специфические именно для лексемы *један* — функция выделения типового представителя (*имао је лице једног Квазимода*) и функция подчеркивания достоверности квалификации (*Ти си један безобразник*) [Ивић 1971: 120]. Сопоставление *один* в восточнославянских языках см. [Киселев 1976]. Однако такой анализ потребовал бы совершенно иного опи-

В центре внимания исследования оказываются соответственно четыре комплекса фактов: акцентное воплощение словосочетания; тип имени, сочетающегося с *один*; значения словосочетания, контекстная обусловленность этого значения.

Первый аспект — исследование роли акцентного выделения в рамках семантики высказывания — представляется чуть ли не самым актуальным. Вес акцентно-семантических показателей в высказывании оказывается, при углублении исследований, все более значительным, далеко выходящим за рамки актуального членения и так называемого логического ударения. В первую очередь акцентное выделение оказывается связанным с проблемой кореферентности имени: *Джордж ударил Билла, а тогда Том ударил его* (тип акцентного выделения *его* показывает соотнесенность); с проблемой определенности/неопределенности имени и с проблемой связи актантов внутри высказывания: *Джон пишет матери по вторникам, а Мэри — по пятницам* (при разном распределении ударений будет: *Джон пишет матери* и *Джон пишет Мэри* или *Джон пишет матери* и *Мэри пишет матери*)⁵. Подробное изучение акцентно-семантических моделей всех сочетаний данного языка с установкой на создание перечня передаваемых значений явится предпосылкой для создания грамматики звучащего текста. Грамматика текста, как это очевидно, наиболее близко соприкасается с современным функционально-синтаксическим направлением. Не случайно первые работы по лингвистике текста еще не отпочковались от идей актуального членения. Однако представляется, что в настоящее время можно говорить о двух ветвях функционального анализа. Первое, более традиционное и «классическое», при обращении к тексту исследует его как таковой — именно текст (и высказывание) является как ареной, так и объектом анализа. Второе, более позднее, интересуется функционированием в тексте отдельных единиц, или классов единиц, или даже отдельных лексем⁶.

сания *один*, чем то, которое предлагается, а именно: конфронтации этой лексемы с местоимениями типа *какой-то*, *какой-нибудь*, *некий*, *некоторый* и т. п.

⁵ О роли акцентно-просодических средств в организации текста (и, соответственно, в лингвистике текста) см. [Николаева 1977]. Высказывалось предположение, что «поскольку большое число различий в восприятии текста связано именно с интонационным разнообразием, оно и должно быть отправной точкой в лингвистических исследованиях этого плана». [Cantrall 1975: 45].

⁶ См. характерные названия для работ этого типа [Eraser 1970; Anderson 1972; Крейдин 1975; 1976; Яковлева 1971], а также многочисленные статьи сходных

Настоящая работа написана с ориентацией на функциональный анализ второго типа, с пониманием того, что при этом подходе явления общие могут быть ошибочно квалифицированы как закономерности более частные.

2

Всего выделяется нами пять акцентно-семантических структур: один + S, *один* + S, один + S, **один** + S, **один** + S.

1. Один + S. В этой комбинации передается артиклеобразное значение *один*. Словосочетание может занимать любую позицию в высказывании и быть как подлежащим, так и дополнением.

При этом реализуется значение специфической неопределенности, т. е. неопределенности конкретного объекта, известного говорящему, но не слушающему, получающему лишь частичную информацию о классе имен.

Лексемы-имена обычно имеют либо значение конкретного объекта, либо называют класс. Это — имена нарицательные⁷.

- (1) Хворала я долго в монастыре одном. Ухаживала за мной одна девушка, полька;
- (2) А меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору;
- (3) Тут, сударыня, одна полоумная попрошайка все таскается;
- (4) Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало;
- (5) Я только что кончил курс учительской семинарии и отправился на лето на урок к одному помещику;
- (6) Я сегодня подала грош одной нищей;
- (7) Генерал решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме;
- (8) Когда я был еще ребенком, одна старушка гадала про меня моей матери;

наименований в сборниках, издаваемых Чикагским лингвистическим кружком (Chicago Linguistic Society). См. выше ссылку на специальный сборник этого общества, целиком посвященный функционализму.

⁷ [Мишина 1960]. Автор высказывает интересную мысль о непересечении классов имен, употребляющихся с *один* — местоимением и *один* — числительным. Однако это соблюдается лишь частично и определяется сложными законами трансформации видов неопределенности/определенности в высказывании (см.: *Я достал одну книжку* — здесь *одну* может быть и местоимением-артиклем, и числительным, и частицей).

- (9) Мне представляется одна операция, на которую я прежде не считывал;
- (10) У меня в детстве была книжка с картинками; я одной картинке очень боялась. Было нарисовано, как к одному бедняку приходит какой-то странный человек;
- (11) Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенов увидел отменно-схожий, отличный бюст Инсарова;
- (12) Сенатор Волгин увидел однажды одну его статуэтку у его тетки;
- (13) Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь;
- (14) Я был поражен необыкновенным сходством, которое Вы имеете с одной женщиной, мне когда-то знакомой.

При опущении слова *один* в предложениях 1 (2), 3, 5, 6, 7, 9, 10 (2), 12, 13, 14 значение неопределенности сохраняется; в предложениях 1 (1), (2), 4, 8, 11 имя приобретает значение определенности; в предложении 10 (1) *один* опустить нельзя. Неясность этого механизма, как представляется, связана с общим текстовым явлением сочетаемости / несочетаемости с *один* — артиклеобразным местоимением — имен, первоначально кажущихся однородными по своей конкретности, однако: **Вчера я съела один помидор, но Вчера я читала одну книжку*. Это, возможно, связано с частой инициальной, катафорической функцией *один* в тексте. Кроме того, при элиминировании *один* оказывается существенной и позиция словосочетания в высказывании: в ряде случаев имена, лишённые предвещающего *один*, стоящие в начальной позиции, начинают связываться с темой, т. е. с определенностью.

Было бы неверно связывать *один* в артиклеобразной функции с неопределенностью в ее противопоставленности определенности. Как видно и из приведенных примеров, элиминирование *один* необязательно приводит к определенности имени. *Один* может противопоставляться отсутствию *один* и как неопределенность определенности, и как *один* вид неопределенности — другому. (Как подчеркивает В. Биркенмайер, «в русском языке необыкновенно богато представлены разные средства выражения неопределенности» [Birkenmaier 1976: 44].) В той же статье В. Биркенмайера приводятся и примеры противопоставления словосочетаний с *один* и без *один* как противопоставления неопределенности (в смысле индивидуализации) генерализации. Например: *История любви — История одной любви; Это компетенция журналиста — Это компетенция одного журналиста; Размышления над смертью — Размышления над одной смертью* и т. д. [ibid.: 48—57] Эти функции *один* входят в сложный ряд отношений с другими средствами индивидуализации

и неопределенности типа *кое-кто*, *некто*, *какой-то*, *кто-то*, *кто-либо*, *какой-либо* и т. д. В. Биркенмайер считает даже, что можно уже говорить о некотором пока не регулярном ряде соответствий:

<i>кое-кто</i>	<i>один человек</i>
<i>кое-что</i>	<i>одно дело, одна вещь</i>
<i>кое-какой</i>	<i>один</i>

2. *Один* + S. В этой комбинации *один* является числительным⁸. Имена представляют тот же набор лексем, что и выше: названия конкретных, исчисляемых предметов.

- (1) Он вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле;
- (2) С одного вола две шкуры не дерут;
- (3) От одного берега не отстану, к другому не пристану;
- (4) Одной бедой не кончилось: чуть справились с бесхлебицей — рекрутчина пришла;
- (5) Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец;
- (6) Двух воробьев одним камнем убить?

В сочетаниях с *один* — числительным на необходимость именно такого чтения (и соответственно — такой интерпретации) указывает контекст. Поэтому ударение на *один* может быть слабым и даже перемещаться на имя. Такое смещение недопустимо для предыдущего типа, где контекст не маркирован, и при сдвиге ударения артиклекобразность нарушается: *Я подала грош одной нищей*, т. е. не двум или более. Именно сила контекста здесь порождает слабость ударения. Поэтому из класса сочетаний *один* + S и выходят фразеологизмы типа *одним ударом*, *одним взмахом пера*, *в один месяц*, *год*, *неделю*, *одной рукой* и т. д., где ударение на *один* аннулировано.

3. *Один* + S. В этой акцентно-семантической модели выражается значение «только». *Один* сочетается с именами собственными, местоимениями, именами абстрактными и именами конкретными⁹.

⁸ Поэтому мы никак не можем согласиться с К. И. Мишиной, что «произношение слова *один* в значении местоимения и числительного очень сходно» [Мишина 1960: 104].

⁹ К. И. Мишина особо выделяет существительные *pluralia tantum* и существительные множественного числа как влияющие именно на такую трактовку словосочетания с *один* [Мишина 1960: 99].

- (1) Все спали или молчали, одна Елена не закрывала глаз;
- (2) Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежовикина;
- (3) Да и всем вообще не до разговоров. Один Федоров не вешает носа;
- (4) Он ходил веселый. Одна Даша переживала молча эту трагедию;
- (5) И полно, свет, одну тебя он любит,
- (6) Он не раз уверял нас, что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей;
- (7) Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире;
- (8) Один ребенок спал тихим безмятежным сном, один он не понимал всей горечи понесенной им утраты;
- (9) Все наши давно уже были во Владычине. Один папа, как всегда, оставался в Туле;
- (10) Жители принуждены были свои дома топить одною соломой;
- (11) И тут никому княгиня не жалобилась — с одной подушкой горевала;
- (12) Одна эта сопка — целая картина;
- (13) Степушка возился втихомолку, словно муравей, и все для еды, для одной еды.

Значение ограничительности выделяет объект из класса однородных предметов, имя при нем определено или генерализовано — в последнем случае значение определяется контекстом.

При опущении *один* в предложениях 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13 создается значение несколько нарочитого, стилизованного контраста, с тем же сильным акцентированием имени. В предложениях 2, 6, 8, 12 имя имеет значение простой кореферентности, в предложении 10 — передается значение генерализованности, в предложении 11 — значение неспецифической неопределенности.

В высказываниях с конкретным именем сдвиг ударения невозможен — возникает значение числительного. В сочетаниях с лексемами абстрактного и генерализованного содержания при сдвиге акцента такого принципиального изменения значения нет: *одною соломой* и *одною соломой* в обоих случаях означает «только соломой».

4. **Один + S.** В этой акцентной комбинации ограничительное значение накладывается на значение числительного *один* и возникает значение «только один». Лексемы имени означают, как и в комбинации *один + S*, либо перечислимые конкретные объекты, либо конкретизированные до перечислимости свойства (*одна забота* — это одна из забот, а не сплошная забота):

- (1) Есть люди, которые обречены судьбою любить всю жизнь одну женщину, как есть люди, которые всю жизнь пишут одну книгу;
- (2) Одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан;
- (3) Критика должна быть одна, и разносторонность взглядов должна выходить из одного общего источника, из одной системы;
- (4) Сколько лет ждали мы, чтобы Иванов кончил свою картину, свою одну картину, и как-то мысль свыклась с тем, что одна только и будет картина от него;
- (5) Каждый народ выражает собою одну какую-то сторону жизни человечества;
- (6) Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на одну женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка;
- (7) Одну заботу ведал он, Чтоб дочери любимой доля как вешний день, ясна;
- (8) Ведь у нас одна беседа: ближних судить. А мне некогда;
- (9) Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь;
- (10) А вам одна забота: завалиться где подальше;
- (11) Нельзя было и помыслить о полной замене старого коллектива новым. Оставалась одна возможность: создать новый коллектив из старого;
- (12) Куда бы ныне Я путь беспечный устремил Один предмет в твоей пустыне Мою душу поразил. Одна скала, гробница славы;
- (13) Душа, душа, которая всецело Одной заветной предалась любви И ей одной дышала и болела;
- (14) История менее всего может похвалиться единством направления, исключительным господством одной какой-нибудь идеи или одного стремления, которым бы подчинялись все остальные.

Опущение *один* оказывается невозможным (смысл исчезает полностью) в высказываниях 3 (1 и 3), 4, 7, 12, 13 (2), 14. В следующих предложениях элиминирование *один* создает значение генерализованности: 1, 2, 6; в предложениях 3 (1), 8, 10, 13 появляется значение определенности объекта с переходом его из класса исчислимых объектов в зону неисчислимой абстракции; в предложениях 5, 11, 14 возникает значение неспецифической неопределенности.

Смысловые модификации возникают и при сдвиге ударения, при переносе его на имя. В предложениях 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13 у имени возникает значение специфической неопределенности, т. е. конкретного объекта. В предложениях 7, 8, 9, 10 возникает значение

некоторого абсолютно распространяемого свойства: *одна утеха, одна радость*, т. е. абсолютно счастливая жизнь, это смысл, уже противоположный первоначальному. Предложения 5, 14 оказываются безразличными к сдвигу ударения из-за более сильного артиклеобразного показателя *какой-нибудь*. Таким образом, акцентирование *один* меняет значение лексем имени: для имен с генерализованным значением контекст должен быть маркированным, чтобы это значение генерализации сохранилось — необходимо существование слов типа *надо, нельзя, должны, каждый*, т. е. индикаторов генерализации.

5. **Один + S.** Эта акцентная реализация соответствует, по нашим наблюдениям, двум смысловым группам, деление на которые соответствует двум типам S.

В первую очередь входят словосочетания с существительными абстрактного значения. Смысл этой структуры можно с некоторой натяжкой передать как «абсолютное воплощение какого-то качества». При этом, как и в случае со значением «только» (*один + S*), есть противопоставление объекта, обозначаемого именем, ср.: *Говорила одна старуха* (т. е. остальные молчали). Но в данном случае утверждается противопоставление не остальным коммуникативно известным объектам, а как бы всему универсуму.

- (1) Бог знает, что пишут, чего никогда не бывает — одни фантазии;
- (2) Лесная трава — мягкая и жирная, и косить ее — одна забава;
- (3) Возьмем в пример несчастный дом, где муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость;
- (4) Я ищу одной истины;
- (5) Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость;
- (6) У них и маменька. Одна серьезность и строгость;
- (7) Но кто на все смотрит глазами одного рассудка, все понимает просто, тот гадок и отвратителен;
- (8) Если заря свободы восходит для всех, ужели одна женщина останется рабой?;
- (9) Хорошенькое именище? Дрянь совершенная: один песок;
- (10) Сытому и одетому мороз — одно удовольствие;
- (11) Привык он тучи видеть под ногами, а над собой один лазурный свет.

Особенность этой акцентно-семантической модели в том, что *один* может быть в данном случае элиминирован без нарушения смысла (ср. более сильное искажение смысла в таких случаях в словосочетаниях со значением чистого «только»). В приведенных при-

мерах всегда оказывается возможным заменить *один* на *только*, таким образом, артиклеобразное свойство лексемы *один* в этих конструкциях не выражается. Это и попятно: *один* в функции артикля включало бы имя в некий класс, в некое множество, в приведенных же выше конструкциях имена являются как бы воплощением явления, они неперечислимы.

При переносе акцента на имя модель приобретает чисто ограничительное значение, близкое к значению «абсолютного воплощения» при абстрактных словах: *Анненков прислал мне письмо моей дочери, которое все состоит из одного вопля.*

Вторая группа словосочетаний — это словосочетания с лексемами конкретного содержания. В отличие от первой группы, где обе лексемы произносятся не только с подчеркиванием, но и с временным растягиванием, эти словосочетания произносятся как бы в виде одного фонетического слова:

Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное; Замечено, что медведь, живя долгое время в одном месте, ходит на жировку всегда одной и той же тропкой; Каин и Авель были тоже братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем; С тех пор, как я стал себя чувствовать, мы жили с ней одной жизнью, совокупно радовались одними и теми же радостями; Они были ровесники, жили на одной улице, в школе сидели на одной парте.

В этих словосочетаниях элиминирование *один* невозможно, фразы становятся бессмысленными, значение *один* здесь трактуется как «один и тот же, тот же самый».

Если ударение в этих словосочетаниях перенести на имя, значение теряется, при переносе ударения на *один* возникает значение «только один».

3

Во всех перечисленных выше группах сочетаний с *один* рассматривался прямой порядок слов внутри словосочетания *один* + *S*. Для выявления и идентификации акцентно-семантических моделей интерес представляют и словосочетания с обратным порядком: *S* + *один*.

Существенно при этом выяснить, сохраняются ли описанные акцентно-семантические модели при изменении общей фразовой

просодической структуры: в русском языке, при преобразованиях инверсионного характера, она становится из нейтральной экспрессивно-отмеченной (см. об этом [Ковтунова 1976]).

Акцентно-семантическая модель *один + S* при инверсии не меняется, автоматически преобразуясь в *S + один*:

А уже слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну; Есть тут, говорят, хорошая книжка одна; В этой избушке живет старушка одна.

Так же автоматически модифицируется модель со значением числительного: *один + S → S + один*.

Подумал, верно, иль сказал, что дважды из груди одной Не вылетает звук такой;

Сегодня сына одного Ты преждевременно хоронишь. Галуб, покорен будь судьбе: другого я привел тебе;

Пусть каждый сбросит черногорца одного,

а также модель со значением ограничительности: **один + S**:

Как истина одна, так и путь к ней один;

Но, в горькой злобе свирепея, теперь порыву одному оно послушно;

У меня закон один: Жажды полная свобода И терпимость всяких вин.

Изменения претерпевает модель **один + S** в обоих своих воплощениях: она обнаруживает стремление к указанным выше акцентным сдвигам — 1) **Один + S → S + один**; 2) **Один + S → S + один**:

Где работниками вести дело? Разор один;

Места какие у нас: Выйдешь утром — воздух аромат один;

Здесь дым один, как пятая стихия, Дым безотрадный, бесконечный дым;

Так мало мы жили под кровлей одной, Так редко друг друга видали, Парень уходит — судьба решена: дума одна и дорога одна.

Самые же яркие превращения претерпевает модель *один + S* при именах собственных и местоимениях (при существительных нарицательных модель сохраняется):

Ты один мне поддержка и опора;

Четыре тысячи душ великолепнейшего имени достались ему одному безраздельно;

...те особенности духа, которые принадлежат только ему одному,
 Не для меня одной нужна его жизнь;
 Все любили его, только Радада одна не смотрит на парня.

Эта перестройка акцентной модели кажется, на наш взгляд, путем к переразложению подобных словосочетаний: *один* начинает относиться к группе сказуемого параллельно с именем: *Одна не смотрит, Радада не смотрит*, но еще не происходит слияния с приглагольной моделью: *Радада не смотрит одна*.

4

Высказывалось предположение, что введение в текст ограничительных частиц *только* и *лишь* ослабляет соответственно значение у *один* и усиливает его количественную характеристику.

Однако введение в двучленную акцентно-семантическую структуру третьего элемента *только* и *лишь* создает новые модели, интерпретация которых разнообразна. С этими частицами по понятным причинам не сочетается модель *один + S* (артиклеобразное местоимение), поскольку *только* не вводит объект в класс однородных явлений, а выводит его из этого класса. Далее, модель *один + S* при введении *только* сливается с моделью *один + S*, и тогда *один* приобретает значение «только один».

Таким образом, создаются следующие акцентно-семантические модели:

1. Один + только + S:

Все стали смотреть вдаль, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками;
 А я, одна лишь я, любви до смерти трушу;
 Одна только св. София гласит о прежней славе Новгорода;
 Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством не по душе, а по крови может один только человек.

Во всех этих примерах введение *только* в некотором смысле избыточно, его элиминирование не препятствует ограничительному смыслу, его включение не делает *один* количественным словом.

Для имен неместоименного характера сдвиг акцента на *один* меняет смысл словосочетания — *один только Вася*, т. е. не несколько.

2. *Один* + только + S:

Воскресный день во многих семействах один только свободный день в неделе;

В соборе св. Софии в Киеве при Ярославе был один только главный алтарь соборный.

В примерах этого типа *только* элиминировать нельзя, в этом случае *один* становится контекстно непривязанным и стремится принять артиклеобразное значение.

3. *Один* + *только* + S:

Летний дождик — одно только удовольствие;

Каждый чувствовал, что в подобные мгновения позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное или умное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным;

Она посмотрела так безразлично-холодно, точно перед ней стояла одна лишь тень.

В этих примерах *только* может быть элиминировано. При изменении места ударения все равно не возникает количественного значения.

4. Только + один + S. По нашему мнению, эта модель есть вариант модели *один* + только + S:

Только одна Ксения Васильевна, женщина с большими средствами, не думает, живет как птица;

Говорила о Семене так, как могла бы сказать только одна мать о сыне;

Подавайте только одной Елене Ивановне, на всех гостей я не поставщик.

5. Только + *один* + S. Это вариант модели *один* + только + S:

У меня теперь только одна надежда — выйти за хорошего человека;

Вопрос о сохранении общинного владения составляет только одну сторону дела;

По закону, каждая партия золотопромышленников имеет право занять только один участок;

Бедный, помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист, конечно, был он сам.

б. *Только + один + S*. Это вариант модели *один + только + S*:

У меня нет ничего: у меня одна только чистота, непорочность, зачем же я ее грязнить стану?;

Уже как я Вас понимаю — только одно удивление.

Типы словосочетаний с начальным *только* в реальном высказывании обнаруживают тенденцию предстать как *только + (один + S)*. Тогда *только* может отойти к глаголу либо соотноситься с высказыванием в целом: *Как могла бы сказать только / одна мать о сыне; У меня теперь только / одна надежда; У меня нет ничего: у меня только / одна чистота.*

Тенденция к распаду возникает, как в случае *S + один*, при инверсии. При дальнейшем изменении словоупорядка она усиливается: *И просит важно позволения лишь талью прометнуть одну; Если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен.*

5

В одном и том же высказывании может быть несколько типов словосочетаний с *один*, при этом, если лексемный тип имени совпадает и может возникнуть разночтение, то одно значение (при альтернативе: числительное — артикль, это должно быть числительное) маркируется контекстом: *А я в то время уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством.*

Эта первичность артиклеобразного значения (не требует маркированного контекста) может специально обыгрываться: *Обвеело меня воздухом, и одна мысль в голову пришла... Одна? — спросил Егор и, вздохнув, добавил: Я думаю, ей там не тесно.*

Итак, все перечисленные типы акцентно-семантических моделей сочетания имени с *один*, как видно из изложения, сводятся к следующему перечню:

Акцентная модель	Значение
<i>один + S</i>	числительного
<i>один + S</i>	артиклеобразное
<i>один + S</i>	ограничительное («только»)
один + S	ограничительное («только один»)
<i>один + S₁</i>	тождества («один и тот же»)
один + S₂	абсолютного воплощения

В реальных отрывках текста небольшой протяженности могут встречаться сочетания с *один* с неясной, альтернативной трактовкой. Возможны различные комбинации соперничающих значений.

А именно — попарные:

1) Артиклеобразное или числительное? — *Займусь еще одним исследованием* (займусь еще или займусь еще одним?)

2) Артиклеобразное или числительное с ограничением на нем? — *В моей ссыльной карьере была, между прочим, одна черта, которая, пожалуй, могла подать повод к сближению с толстовским исповеданием; Играли какую-то разудалую пьесу, живо, остроумно, изящно, только одну арию, довольно скабрзного содержания, героиня сопровождала уж очень смелыми жестами; Разговор должен быть об одном предмете, именно о том, о котором ты хочешь говорить.*

3) Артикль или значение тождества? — *Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил его по лесу, и все вокруг одной поляны; Она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее.*

4) Артикль или абсолютное воплощение? — *Одни стихи ему читала И щеки рделися у ней.*

5) Числительное или абсолютное воплощение? — *В займище была всего одна улица, огибавшая полукругом большое озеро.*

6) Числительное с ограничением или имя с ограничением? — *Он отвечал ей одной улыбкой.*

7) Числительное с ограничением или значение тождества? (только одна или одна и та же?). — *В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье; Варианты, конечно, могут быть разные, но тема все одна.*

Возможны и комбинации трех значений:

1) Артикль — числительное с ограничением — абсолютное воплощение? — *Голова, заполненная одной мыслью, болела.*

2) Артикль — числительное с ограничением — имя с ограничением?

Уснуло все под сенью ночи.

Еврейской хижины одной

Не посетил отрадный сон.

3) Числительное — ограничение на имя — абсолютное воплощение? *Гроза разразилась одной молнией; Одна беда: без крыльев*

сесть-то на землю хорошенько не сумеешь; Но если воле нашей грозит беда, Ее одной молитвой не изживешь.

Число таких комбинаций можно легко умножить, особенно если включить в анализ не рассматриваемые нами прилагательные сочетания с *один*: *Одна рыдала пташечка* (одна пташечка или рыдала одна?); *Один я не скучаю* (один я или не скучаю, будучи один?); *Но в темном зеркале одна Дрожит печальная луна* (только одна или дрожит, одинокая?).

6

Представленный анализ семантики, акцентной структуры и контекстной обусловленности сочетаний имени с *один* говорит о разнообразии факторов, определяющих тип значения словосочетания, с одной стороны, и разнообразии запретов / разрешений при введении в материал некоторых преобразований, с другой стороны (элиминирование *один*, введение *только*, инверсия).

Все эти сведения целесообразно представить в табличной форме, где каждой акцентной структуре будут приписываться следующие характеристики:

- 1) Значение словосочетания (см. табл. 1).
- 2) Тип лексемы имени.
- 3) Тип определенности / неопределенности имени.
- 4) Маркированность контекста.
- 5) Возможность опущения *один* в данном словосочетании.
- 6) Возможность сдвига ударения в данном словосочетании без резкого изменения его семантики.
- 7) Модификация акцентно-семантической модели словосочетания при его внутренней инверсии.
- 8) Возможность сочетания данной модели с частицей *только*.
- 9) Возможность элиминирования *только* в трехсловных моделях *один + только + S*.

Обращаясь в заключение вновь к проблеме семантики словосочетания и ее контекстной обусловленности, мы хотим отметить в первую очередь не столько роль контекста в трактовке той или иной модели (а эта роль несомненна, и недостаточность контекста ведет, как мы старались показать, к существенным смысловым изменениям), сколько значительность лексемы имени, сочетающегося с *один*. Тип имени часто предопределяет трактовку всего

Таблица 1

Тип акцентной структуры	Значение	Тип лексемы	Определенность/неопределенность имени	Маркированность контекста	Возможность опущения <i>один</i>	Возможность акцентного сдвига	Модификация при инверсии	Возможность сочетания с <i>только</i>	Возможность взаиминирования <i>только</i>
один + S	артиклеобр.	конкр. или клас.	специф. неопр.	-	+	-	-	-	-
один + S	числит.	конкр. или клас.	0	+	-	+	-	-	-
один + S	огранич.	конкр. сущ. мест, абстр.	опред. генерализ.	+	+	-/+	+	+	+
один + S	числ. + огранич.	конкр. или клас.	0	+/-	-	-	-	-	-
один + S	абсол. вопл.	абстр. имена	опред. или генерализ.	-	+	+	+	+	+
один + S	тождество	конкр. имена	опред.	+	-	+	+/-	-	-

словосочетания, поэтому вес собственно акцентного параметра в таких случаях снижается. На втором месте по значимости стоит контекстная достаточность, на третьем месте — различие только по акцентной модели: *Я купил одну книжку*, в таком контексте только тип прочтения (акцентная структура) укажет, какое значение было вложено автором текста — числительное, артиклеобразное или ограничительное.

Необходимо также заметить, что выводимая нами трехуровневая иерархия есть факт металингвистический и принадлежит тому типу описания, когда описывается движение от письменного текста к звучащему, и акцентное воплощение есть тем самым конечный результат. Можно представить и обратное: сначала тип фразы определяется «на слух», и только при смазанной реализации пониманию должен помогать тип лексемы или тип текста.

Список литературы

- Ивић 1971 — *Ивић М.* Лексема *jedan* и проблем неодређеног члана // Зборник за филологију и лингвистику. Т. 14 (I, 1971).
- Киселев 1976 — *Киселев И. А.* Частицы в современных восточнославянских языках. Минск, 1976.
- Ковтунова 1976 — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М.: Наука, 1976.
- Крейдлин 1975 — *Крейдлин Г. Е.* Лексема *даже* // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975.
- Крейдлин 1976 — *Крейдлин Г. Е.* Значение и употребление слова *наоборот* // Семиотика и информатика. Вып. 7. М., 1976.
- Мишина 1960 — *Мишина К. И.* Значение и употребление слова «один» в русском языке // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 1960. № 148.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. № 4.
- Ревзин 1977 — *Ревзин И. И.* Структура языка как моделирующей системы. М., 1977.
- Чураева 1967 — *Чураева М. И.* К вопросу о неопределенности имени существительного // Учен. зап. Горьковского пед. ин-та иностр. яз. 1967. Вып. 32.
- Яковлева 1971 — *Яковлева Н. С.* Функции слова *наоборот* в тексте // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. Вып. 2. М., 1971.
- Anderson 1972 — *Anderson S. R.* How to get *even* // Language. 1972. V. 48. № 4.

- Birkenmaier 1976 — *Birkenmaier W.* Die Funktion von *odin* im Russischen // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1976. Bd. 29. Hf. 1.
- Burton-Roberts 1976 — *Burton-Roberts N.* On the generic indefinite article // Language. V. 52. 1976. № 2.
- Cantrall 1975 — *Cantrall W. R.* Favored structures and intonational limitations // Papers from the parasessions on Functionalism. Chicago Linguistic Society. Chicago, 1975, april.
- Eraser 1970 — *Eraser B. R.* An analysis of *even* in English // Studies in linguistic semantics. N. Y., 1970.
- Harweg 1969 — *Harweg R.* Unbestimmter und bestimmter Artikel in generalisierender Funktion // Orbis. 1969. T. 18. № 2.
- Harweg 1973 — *Harweg R.* Grunzzahlwort und unbestimmter Artikel // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationforschung. 1973. Bd. 26. Hf. 3/4.
- Hlavsa 1972 — *Hlavsa Z.* K protikladu určnosti v češtině // Slovo a slovesnost. 1972. № 3.
- Kasher, Gabbay 1976 — *Kasher A., Gabbay D. M.* On the semantics and pragmatics of specific and non-specific indefinite expressions // Theoretical Linguistics. 1976. V. 3. № 1/2.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ТИПОЛОГИЯ СИТУАЦИЙ

I

Функции неопределенных местоимений в русском языке стали описываться поздно и то лишь спорадически. Впервые подробно эту группу слов описал И. И. Давыдов, сам же термин «неопределенность» встречается только у Н. И. Греча (об истории изучения неопределенных местоимений в России см. [Маловицкий 1971]). В настоящее время библиография работ по этой тематике все растет. Как выясняется, категориальная сторона неопределенных дескрипций, их логическая интерпретация вообще более сложны и интересны [Арутюнова 1976: 196]. В русском же языке система неопределенных местоимений оказалась чуть ли не самой богатой и все время обновляющейся [Мигирин 1949], сложной не только для неславянских артиклевых языков, но и для славянских артиклевых [Birkepiäier 1979] и даже для славянских неартиклевых [Дончева 1970; Фурсенко 1963].

Многokrатно предпринимаемые последнее время попытки описывать неопределенные местоимения систематизируются в целом в виде нескольких направлений: 1) описание проводится по-словно, т. е. отдельно анализируются *ничто, кто-то, кто-нибудь, кое-кто* и т. д. с их функциями и семантикой; 2) описание есть попарное противопоставление: например, *кто-то* противопоставляется *кто-нибудь, кто-нибудь* — *кто-либо* т. д.; 3) описание представляет собой противопоставление групп местоимений: группа *кое-* целиком противопоставляется группе *-нибудь* и т. д.

В том, что касается содержательной стороны классификации, наблюдаются три отчетливых тенденции: 1) представить систему неопределенных местоимений как цепочку объектов $X_1 + X_2 + X_3 \dots, X_n$, где члены цепочки располагаются по степени возрастания или

убывания некоторого определенного качества («более известный — мало известный — неизвестный; менее — неопределенный — ... максимально неопределенный» и т. п.) (см. семантическую градуальную триаду в [Левин 1973]); 2) соотносить совокупность неопределенных местоимений с неким многомерным пространством выбранных признаков (именно такая система представлена в часто цитируемых работах на эту тему О. Н. Селиверстовой, в частности [Селиверстова 1964]); 3) приписать местоимению (или форманту-частице) общее инвариантное значение, например 'неизвестность' — при *-то*, 'несущественность, безразличность выбора' — при *-нибудь*, 'неполнота охвата' — при *кое-, некоторый* (поиску таких инвариантных единиц посвящена большая и подробная работа М. А. Шелякина [Шелякин 1978]; см. также [Янко-Триницкая 1977]).

При этом многие исследователи, стремясь учесть объективные данные всех контекстов с неопределенными местоимениями, отмечают и такие показатели, как градуальность отношений между содержательной стороной употребления этих местоимений, отсутствие четких границ между ними; разнообразные по силе контекстно-языковые ограничения, налагающиеся на реализацию отдельного слова; различие точек зрения говорящего и слушающего, т. е. прагматический момент в восприятии и порождении местоимений.

Представляется, что все это вместе взятое лежит в природе самих неопределенных местоимений, рассмотренных как отдельный большой класс (ниже будут охарактеризованы лексемы *один, некий, некто, некоторый, кто-то, кто-нибудь, кто-либо, кто бы то ни было* и их корреляты, возможно, попарное или пословное их рассмотрение дало бы несколько иную картину).

Применительно к русским неопределенным местоимениям можно говорить о совокупности следующих парадоксов.

1. Неопределенные местоимения имеют свои собственные инвариантные значения, поэтому их мена модифицирует смысл высказывания: *К нам кое-кто придет* ≠ *К нам кто-нибудь придет* ≠ *К нам кто-то придет*.

Однако существуют высказывания, где их замена допустима и смысл при этом принципиально не меняется: *Далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь (кто-то) варил кашу*¹; *Лихорадящим больным есть не хочется*,

¹ Значительная часть приводимых здесь и далее примеров взята из Словарной картотеки Словарного сектора ЛО ИЯ АН СССР.

но чего-то хочется. Так и мне хочется чего-то (чего-нибудь) кисленького; Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо (что-нибудь) изменять в устройстве жизни и т. д.

2. Тип грамматико-категориальной реализации сказуемого определяет выбор местоимений, накладывая запрет на одни и диктуя другие: *Вчера к нам в дверь позвонили. Я открыл дверь и увидел, что кто-то (*кто-нибудь) стоит на пороге.* Здесь совершенный вид глагола в прошедшем времени исключает употребление формы *-нибудь*.

Однако *-нибудь* возможно и при этой форме: *К нам позвонили. Кто-нибудь ошибся дверью.* Правда, в этих случаях, как это впервые описала С. Ф. Молчанова [Молчанова 1964] (см. также [Кобозева 1981]), возникает значение предположительности, но важен сам факт: при той же форме сказуемого запрет снимается.

3. Синтаксическая позиция сочетания имени с неопределенным местоимением как будто бы несущественна. См. *Какая-то женщина вошла в комнату и В комнату вошла какая-то женщина; От одной знакомой я услышал эту забавную историю и Эту забавную историю я услышал от одной знакомой.*

Но см. следующие трансформации: *Одна женщина рассказала мне некую интересную историю → Одна женщина рассказала мне интересную историю* (неопределенность имени остается и при элиминировании местоимения). Ср. *Женщина рассказала мне некую интересную историю* (имя становится определенным). Поэтому становится очевидным «субстрат» позиции, как-то влияющий на суть местоименного функционирования.

4. На сочетаемость неопределенного местоимения с именем как будто бы не влияет число имени: *Ко мне вчера пришел какой-человек и Ко мне вчера пришли какие-то люди.* Или: *Если придет какой-нибудь сосед, скажите ему и Если придут какие-нибудь соседи, скажите им.*

Однако реальные показатели числа примеров в Картотеке ИЯ АН СССР при тотальном расписании многих тысяч страниц текстов одних и тех же авторов говорят о том, что число примеров с именем в единственном числе во много раз больше числа примеров с именем во множественном числе:

5. Функциональное пространство неопределенных местоимений обычно описывается единообразно, с допущением их равномерной по контекстам дистрибуции. Но это не так: контексты с *ко-* невелики, с *-либо* минимальны (о *либо* мы будем говорить далее),

но *-то*-контексты практически неограниченны, что даже дало возможность говорить об «экспансии *-то*» [Фурсенко 1963].

6. Неопределенные местоимения неадъективного типа, т. е. *кто-то* (*что-то*), *некто* (*нечто*), *кое-кто* (*кое-что*), *кто-нибудь* (*что-нибудь*), могут как бы в равной степени сопровождаться или не сопровождаться атрибутирующими распространителями: *Я увидел, что кто-то стоит на берегу* → *Я увидел, что кто-то в белом стоит на берегу*. Тем не менее степень их контекстной прогнозируемой расширительности различна. Ограничиваясь пока пределами одного высказывания, можем говорить о том, что *некто* почти обязательно требует атрибутирования, особенно в более поздних русских текстах: *Вдруг с живописцем поравнялся некто в плаще, с убогим свертком и спросил; «Город сквернейший», — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа*. Поэтому через *некто* часто вводится протагонист небольшого эпизода. *Кто-то* требует атрибутирования в меньшей степени, но если бывает распространенным, то во многих случаях коррелирует со сказуемым (оно выражается чаще всего имперфектной формой *verba sentiendi*), и весь смысл высказывания окрашивается модальной рамкой нереальности: *Мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; Мне все представлялось, будто за снегом кто-то страшный прячется* и т. п. Если выйти за рамки одного высказывания, то различие смысловой ориентации неопределенных местоимений в горизонте контекстного ожидания сказывается в еще большей степени. Так, *один* выполняет интродуктивную функцию, предваряя обычно довольно длительный по протяженности текст, *нибудь* в модальном значении обязательно требует контекстного или конситуативного введения: *Звонок. Кто-нибудь ошибся дверью; Дует. Кто-нибудь открыл форточку*, тогда как немодальное употребление *-нибудь* маркирования вводящим контекстом не требует: *Дайте какую-нибудь ручку, пожалуйста; Если придет кто-нибудь из соседей, передайте ему этот сверток* и т. д.

7. Принято считать, что неопределенное местоимение связано в высказывании в функциональном отношении со всеми теми нагрузками, которые на себя принимает имя, иначе говоря, замещая имя или входя в состав именного словосочетания, неопределенное местоимение как бы заполняет некие функциональные точки имени внутри высказывания.

Между тем можно попытаться очертить границы тех ситуаций, когда неопределенное местоимение относится ко всему высказыванию в целом, а не к некоторой точке

внутри его смыслового состава. Ситуации, когда дейктические, выражающие определенность частицы (*вот, вон, это, се*) относятся к целому высказыванию, очевидны: *Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл...* Одной из универсалий диахронической типологии можно считать положение о том, что показатели неопределенности в целом развиваются позже, чем показатели определенности, и если в языке есть только один артикль, то это артикль определенный. Это относится и к актуализации комплексного целого — высказывания. И все же показатели неопределенности при целом высказывании обычно не выявлялись, хотя бы из-за большей категориально-грамматической яркости состава высказываний с неопределенным местоимением.

Однако мы предлагаем на обсуждение ряд структур, где неопределенные местоимения относятся, по нашему мнению, к высказыванию в целом: *Что-то сон одолевает; Давай сядем на лавочку, что-то я устала; Мать скажет: что-то у тебя глаза несвежи сегодня; Я что-то вышел из колеи умственной работы; «Второй раз что-то не приходит», — задумчиво сказала она и т. д. Какой-то хлеб сегодня несвежий; Какой-то Петя неразговорчивый стал.* Здесь какой-то, внешне согласующийся с именем, входит в ситуацию в целом. Это выражается и интонационно, в этих примерах невозможно вычленить конструкции *какой-то хлеб* (ср. *Там лежит какой-то хлеб*) и *какой-то Петя* (ср. *Какой-то Петя ухаживает за его дочерью*).

Во всех этих примерах с *что-то* и *какой-то* передается по сути одно значение: несоответствия, отклонения от некоторой нормы, от позитивного сценария событий: *Что-то сон одолевает* не произносится людьми, укладывающимися спать в позднюю ночную пору. То же можно сказать и о высказываниях группы *Какой-то хлеб несвежий!* Поэтому возможно в дискуссионном порядке предложить в качестве переходной примыкающую сюда группу высказываний, где неопределенное местоимение сочетается с именем — названием чувства: *С какой-то грустью смотрел я на веселящуюся молодежь (? С какой-то грустью смотрел я на умирающего больного)* с тем же общим значением несоответствия ситуации.

8. Неопределенные местоимения аъективного типа могут сочетаться как с именами конкретными, так и с именами отвлеченными, абстрактными.

Но при этом оказывается, что в сочетании с именем абстрактным неопределенное местоимение может иметь другое значение, чем с именем счетным: *На всех был отпечаток некоторого удовольствия, вызванного сознанием совершения великого общественного*

дела и Единственное, что было красиво, это — гиганты сибирские кедры. Некоторые из деревьев были в два обхвата. Или: На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы и Я ушел из подвала с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоской в сердце.

Однако и в рамках конкретных имен мы можем выделить *Nomina upica* (включая *Nomina propria*) и имена неререферентные, обозначающие представитель класса. См. *Какой-то Петя сделал мне предложение!* (выражается оценка, отношение) и *Какой-то мальчик сделал мне замечание* (отмечается факт). При этом существенно для имен собственных, идет ли речь о реальных, но обычных людях, о реальных, но выдающихся людях или об ирреальных персонажах (литературных или вымышленных). Ср. *Это какой-нибудь Петя Сидоров* (не исключено, что и он сам) и *Это какая-нибудь Настасья Филипповна* или *Это какой-нибудь Леонардо да Винчи*. В последнем случае манифестируется значение 'такие, как', 'подобные'. Эта разница в активных коннотациях, связанных с именем собственным и именем счетным, легко демонстрируется, например, на предикативной конструкции. Если взять рамку-вопрос: *А кто его жена?* и подставлять, меняя детерминативы, слова *студентка* и *Петрова*, то это различие выявится отчетливо:

А кто его жена?

	<i>Студентка</i>	<i>Петрова</i>
	+	+
отсутствие детерминатива	(значение неопределенное)	(значение определенное)
<i>одна</i>	+	-
<i>некто</i>	-	+
		('Вы ее не знаете')
<i>некая</i>	+	+
	('небезызвестная, но Вы не знаете')	('небезызвестная, не мешало бы знать')
<i>какая-то</i>	+	+
		('неизвестная никому')
<i>какая-нибудь</i>	+	+
	(значение вероятности)	(такая, как Петрова; возможно, сама Петрова; русская).

Определенная иерархия выявляется и в рамках конкретных счетных имен. Например, *Я вчера прочла один интересный рассказ*, но *?Я вчера съела один помидор* (в последнем случае это, скорее, числительное). Точно так же в ситуации, если кто-нибудь проскользнет вдоль дачного забора, на вопрос *Кто там?* возможно получить ответ *Одна девочка*, но просто *Кошка*, а не *Одна кошка*.

Здесь, казалось бы, проявляет себя предложенная А. Тимберлейком [Timberlake 1977] иерархия объектов, выведенная им для проявления преференции аккузатива или генитива при негации или глаголов с управлением в русском языке: Одуш. чел. > Одуш. жив. > Опред. > Неопр. Но эта иерархия не совсем здесь проходит, поскольку можно ожидать и *Я вчера видела одну вывеску*, но не **Я вчера купила одну простыню*. Более того, прагматические ограничения оказываются при этом столь тонкими, что ответ *Я вчера встретил здесь человека* или *одного человека* будет различаться в зависимости от вопроса: *Да обитаем ли этот остров вообще?* или *Да живут ли люди в этой деревне?* В первом случае скорее будет ответ *Встретил человека*, во втором — возможно, *Встретил одного человека*.

II

Сказанное выше подводит к идее определения сущности функционирования неопределенных местоимений в русском языке. Здесь на обсуждение предлагаются два тезиса, составляющие концептуальную часть настоящей статьи.

Первый тезис связан с распространенным мнением о том, что русские неопределенные местоимения, и в первую очередь слово *один*, являются неким, хотя бы и приблизительным, эквивалентом неопределенного артикля в западноевропейских языках (см., например, [Birkenmaier 1979]). Между тем можно обратить внимание на особое функциональное поведение местоименных неопределенных слов, вводящих имя, в русском языке. Дело в том, что в очень многих ситуациях, когда был бы употреблен в артиклевом языке неопределенный артикль, в русском языке вряд ли можно употребить такие слова, как *один*, *некий*, *некто*. Например, уже говорилось о том, что если, услышав шум, кто-нибудь спросит: *Что это? Кто там?*, то скорее получит ответ *Кошка* или *Ворона*, но вряд ли *Одна кошка* или *Некая ворона*. Между тем, если речь будет идти о каком-нибудь цирковом выступлении животных, на вопрос *И кто же был*

лучше всех? вполне можно ожидать ответа *Одна кошка*. Точно так же подобное употребление *один* можно услышать в нарративных ситуациях вроде *Тут я видела одну кошку, так вы не представляете себе, какой длины у нее была шерсть*. И в то же время невозможно подставить неопределенное местоимение в генерализованное высказывание-дефиницию *Агава — это растение (*одна агава, какая-то агава и т. д.)*. Известно, что местоимение *какой-нибудь*, передающее, как принято считать, свободу выбора, выбора «любого» предмета, предполагает его некую отличность от других: так, если на столе лежит коробка абсолютно одинаковых карандашей, то никто не скажет *Дайте мне какой-нибудь карандаш* (а ведь именно тут, казалось бы, и осуществляется полная безразличность выбора), а скажет *Дайте мне карандаш* [Шелякин 1978: 8]. *Какой-нибудь* означает 'все равно, какой', т. е. большой, маленький, красный, синий и т. д. Это значит, что в понятие свободы выбора включено понятие выбора, т. е. потенциальной разности и особенности объектов. Точно так же *бы то ни было* уже подразумевает наличие совокупности вообще гетерогенных объектов: *Слепо преданный слуга, который не поколеблется исполнить какое бы то ни было приказание своего господина* (это сильнее, чем *какое-нибудь* или *какое-либо*).

Тем самым, как мы полагаем, неопределенное местоимение выделяет объект из числа ему подобных, утверждая его особенность, т. е. речь идет о нереферентной индивидуализации. В этом коренится кардинальное отличие неопределенного местоимения от неопределенного артикля, который, напротив, вводит объект в класс ему подобных (см. анализ неопределенного артикля при генерализации у О. Дюкро [Дюкро 1982]). В русском языке функции неопределенного артикля, т. е. инклюзивные по отношению к классу, передает существительное без детерминанта. — *У нее родилась девочка; Там сидит ворона* и т. д. Именно этой особенностью неопределенных местоимений — их установкой на утверждение индивидуальности объекта — и объясняется неупотребление неопределенных местоимений в конструкциях типа *Агава — это растение*, поскольку здесь утверждается, что всякая агава есть растение, и весь смысл высказывания состоит в снятии особенности, в ее перечеркивании.

Однако не все может быть потенциально особенным в равной степени. Поэтому книга, рассказ, фильм, повесть потенциально индивидуальнее яблок, карандашей и т. п. Отсюда большая вероятность *Вчера я слышала некую историю, но не *Вчера я купила себе некий*

карандаш. В этом отношении в классификацию А. Тимберлейка включаются и объекты-названия, обозначающие такие ментальные эксплицируемые вещи, как книги, истории, рассказы, случаи и т. д. Они могут быть первичным звеном развертываемой далее нарративной цепи. Именно эта интродуктивность свойственна конструкциям с *один, некий, некоторый* и *какой-то* (об этой функции «введения в бытие» у подобных слов см. [Арутюнова 1976: 359]).

Исходя из вышесказанного может быть предложен на обсуждение вопрос о том, почему в одном высказывании маловероятны сочетания двух таких местоимений: *Один кит столкнулся с одним кораблем; Некий человек увидел некую обезьяну и говорит* и т. д. В принципе объяснение может быть двояким.

А. Известно, что порядок слов в русском языке таков, что неопределенный объект располагается в конце высказывания, максимальной же точкой определенности является начальная позиция, где чаще всего помещается анафорический субъект. Поэтому введение неопределенного местоимения в крайнюю левую позицию аннулирует позиционную определенность субъекта. Однако это объяснение не обеспечивает различие в интерпретации высказываний *Вчера я купил себе пальто (*одно)* и *Вчера я слышал интересную историю (= одну)*.

Б. Второе возможное объяснение связано с феноменом так называемой эмпатии [Kuno 1976; Linde 1979], т. е. наличием в высказывании некоторого фокуса говорения, исходной точки зрения. Очевидно, этот фокус может быть только один. Поэтому *Однажды один человек увидел кита* — это история про человека и его контакт с китом, а *Однажды корабль столкнулся с одним китом* — очевидно, продолжение рассказа об упомянутом корабле и начало истории с введенным новым активным актантом (о роли неопределенного артикля в сказках см. [Цивьян 1979]).

Говоря о том, что русские неопределенные местоимения противоположны по функции неопределенному артиклю, мы имеем в виду некий абстрагированный эталон неопределенного артикля, но не неопределенные артикли артиклевых языков во всем многообразии их функций, которые, конечно, шире и разнообразнее того значения, которое имеет русская неопределенная дескрипция с именем без местоименного сопровождения (*Его отец — врач; Там сидит ворона; Я купил ручку* и т. д.). Поэтому многие высказывания с игрой артиклем очень трудно перевести на русский язык: *Lamartine n'est pas un poète, mais le poète; It is not a precious stone, it is the precious stone.*

В. Биркенмайер обращает внимание на отличие русского *один* от немецкого неопределенного артикля по всем признакам, выделяемым для *ein*. Русское *один* он соотносит с английским *certain*, по Есперсену. Интересно далее его утверждение о некоторой упрощенности системы немецкой неопределенности по сравнению с русской [Birkenmaier 1976], вообще многими исследователями признаваемой за сложнейшую.

Если первый тезис связан с утверждением отличия русских неопределенных местоимений от неопределенного артикля по установке на индивидуализацию, а не на включение в существующий класс подобных объектов, то второй тезис вытекает из той особенности русских неопределенных местоимений, согласно которой они имеют как бы два типа значений: некоторое основное значение, оценочно-нейтральное, и значение (значения) как бы второго ранга, с несомненным оценочно-модальными оттенком. Например:

Какой-то — I 'неизвестный' — *Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка.*

II 'непрестижный' — *Княгиня Ласова какая-то здесь есть; 'не стоящий внимания', 'недостойный внимания' — Будучи родом из каких-то немков, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела; Женщина, с детьми, в каком-то сарае, сосредоточенная, и печальная;*

'минимальный' — *В какие-то полчаса он написал письмо самое обстоятельное.*

Какой-нибудь (кто-) — I 'любой' — *Приданое дадите хорошее, и образованную кто-нибудь возьмет.*

II 'вероятный' — *Гляжу, катят мне прямо во двор. Кого-нибудь бог несет;*

'непрестижный' — *Я вам не какая-нибудь дура; Не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты;*

'минимальный' — *В каких-нибудь три года он нажил целое состояние.*

Некоторый — I 'неполный, не укладывающийся в эталон' — *Студенческая форма на нем была в меру поношенной, что могло означать некоторое пренебрежение внешностью;*

II 'небезызвестный' — *Я надеюсь, что Вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь.*

Некоторые — I 'часть из X' — *На улице показалось несколько прохожих. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки;*

II 'неназываемый' — *Он даже не старается для оригинальности (по примеру некоторых лиц) писать теми же ямбами.*

Кое-кто — I 'часть из' — *Начало светать: в лагере кое-кто проснулся;*

II 'неназываемый, небезызвестный' — *Ты все еще надеешься, что кое-кто придет сегодня?*

В каких же ситуациях употребляются местоимения в первой или во второй группе значений?

Здесь предлагается на обсуждение второй тезис настоящей статьи: в тех случаях, когда неопределенное местоимение налагается на потенциальный неопределенный артикль, создавая нереферентную дескрипцию индивидуализированного объекта (неопределенной оригинальности), употребляются типы значений группы I. В тех же случаях, когда неопределенный артикль не может иметь места (дескрипция определенная) или имеется установка на включение объекта в класс (предикатная позиция, генерализация), при введении неопределенных местоимений возникают значения группы II.

Обратимся к примерам с определенным именем. Это может быть известный говорящему уникальный объект: — *В чем ты пойдешь на банкет! — У меня есть для этого какое-то платье.* Здесь *какое-то* соответствует сознательно демонстрируемому говорящей пренебрежению к объекту речи.

Это могут быть имена собственные: *Это был человек замечательный по своим непрерывным и анекдотическим неудачам. Некто Филипп Александрович Барашков (некто здесь 'безвестный'); А знает с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительным помещиком и раскапиталистом (некий — 'неизвестный вам, но далеко не безызвестный'); Живет она где-то в какой-то Матросской улице (какой-то — 'непрестижной и жалкой').*

Это могут быть имена уникальные — *Какой-то владелец киношки «Одеон» делает мне замечания.*

Это могут быть числительные — *В каких-нибудь два часа он набросал весьма дельный проект.*

Неопределенные дескрипции со значением включения в класс при введении неопределенных местоимений также создают значения

II ранга: *Ее муж — учитель и Ее муж — какой-то учитель; Мышь — млекопитающее и Какая-то мышь — млекопитающее!*

Особое место занимают имена, передающие некие абстрактные качества, чаще всего чувства. Они по своей сущности не могут быть индивидуализированными представителями некоторого класса. Поэтому неопределенные местоимения, присоединяясь к ним, выполняют именно эту функцию: они создают из них класс, но особый, чем-то отличающийся, со значением 'вроде': *Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке; Вино в нем производило прежде всего нечто вроде меланхолии; Все почувствовали некоторый трепет; Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость.* Эта особенность может доходить до полного несоответствия ситуации нормы (см. выше).

Итак, употребленные не на «своем месте» неопределенные местоимения модифицируют свое значение, создают значения II класса, коннотативно-оценочно-модальные. В этом отношении их употребление сопоставимо с употреблением ИК не в основных, характерных для них типах высказывания, как это показывает Е. А. Брызгунова в [РГ-80].

Следующий вопрос, возникающий в связи с выдвинутым тезисом: как передается дополнительный смысл в тех случаях, когда неопределенные местоимения находятся на своем месте, т. е. на месте потенциального неопределенного артикля? В этом случае дополнительное значение выражается суперсегментными средствами — *Дайте какой-нибудь еды* (любой) и *Дайте какой-нибудь еды* (хотя бы какой-нибудь минимум, говорящий очень голоден)². Вводятся также и лексические средства, например добавление *да* или *хоть*: — *У меня ум практический. — Ну, благодари творца, что хоть какой-нибудь есть; Такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей.*

III

Согласно утверждаемым выше тезисам, неопределенные местоимения, во-первых, индивидуализируют нереферентный объект, во-вторых, оказавшись не на своем месте, модифицируют значение предсказуемым образом. Обратимся теперь к высказываниям класса

² Наиболее сложная семантика словосочетания создается при изменении суперсегментной схемы словосочетания с *один*.

Звонят. Кто-нибудь ошибся дверью. Почему же в этом случае возникает значение модального плана? Ведь это значение дополнительное, коннотативное, а заданная неопределенность имени диктует здесь выбор значения I класса. В этих и подобных случаях причина появления модального значения коренится тоже в несоответствии, в употреблении местоимения не на своем месте. Но это употребление уже связано не с семантикой именного словосочетания, а с совокупностью категориально-грамматических показателей высказывания в целом, а именно с тем, что при наличии сказуемого в форме совершенного вида глагола по правилам русского словоупотребления должна быть форма на *-то*, а не форма с *-нибудь*: *Вчера я отворил двери и увидел что кто-то стоит на пороге (*кто-нибудь)*. См. также пример, приводимый в [Кобозева 1981]: *На двор въехал экипаж и кто-то спрашивал Обломова. — Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, — сказал Обломов.*

Таким образом выявляется и второй пласт иерархии дистрибуции неопределенных местоимений в русском языке: они распределяются по контекстуально-грамматическим типам высказываний. В рамках каждой из этих групп можно говорить о связанности категорий, о соотношенности грамматических показателей друг с другом, что в первую очередь относится к корреляции показателей имени и глагола-сказуемого. Связанность грамматических показателей высказывания в целом во многом объясняется, на наш взгляд, общей установкой всего высказывания на передачу некоторого фрагмента действительности и отношения к нему. В этом мы подходим к понятию ситуации, через которое можно попытаться также описать функции и семантику русских неопределенных местоимений. Иначе говоря, их смысловая заданность определяется в данном тексте через совокупность двух феноменов: типа дескрипции имени и типа категориального набора высказывания как целого; именно последний соотносится с ситуацией.

Всего мы выделяем два больших класса ситуаций: I — определенные, II — неопределенные. Они различаются наличием — отсутствием параметра существования — EXIST³. Например, определенные высказывания: *Вчера к нам пришел какой-то старик; В очаге всегда видишь какие-нибудь картины; Он отверг какие бы то ни*

³ Этот параметр существования использует О. Даль, занимаясь данной темой, различая типы употреблений русских *-то*-местоимений и *-нибудь*-местоимений [Dahl 1970].

было попытки ему помочь и т. д. Ситуации неопределенные, лишенные параметра EXIST, т. е. еще не воплощенные: *Надо послать кого-нибудь за доктором; К нам приходил кто-нибудь?; Сыграйте что-нибудь печальное; Если придет кто-нибудь из соседей, передайте эту записку* и т. д.

В пределах первого класса целесообразно различать ситуации, соответствующие эталону, норме, и не соответствующие, хотя столь же реально воплощенные. Этот параметр различения условно называем NORM. Тогда ситуация *К нам пришла какая-то девочка* описывается как (+EXIST, +NORM), а *Какой-то хлеб несвежий сегодня!* — как (+EXIST, -NORM).

Внутри высказываний, описывающих ситуации определенные и нормативные, выделяется максимально определенное событие — однократное, как бы снимок мгновенного события, слепок с действительности. По этому признаку тогда различаются высказывания типа *Некий человек получил в наследство большую сумму денег* (+EXIST, +NORM, +UN) и *Он часто приносил домой какую-нибудь новость* (+EXIST, +NORM, -UN), где UN означает однократность.

Таким образом, не останавливаясь на каждой ситуации подробно, перечислим их общим списком.

I. Определенные. 1. Нормативные:

- а) единичные — *Вчера пришел ко мне некий незнакомец, московский доктор;*
- б) итеративные — *Являясь неожиданно, он всегда озадачивал учеников чем-нибудь чрезвычайным;*
- в) длительные — v_1 , со сказуемым — *Чего-то ждешь, о чем-то думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь;* v_2 — с глаголом континуального значения — *Я вечно что-нибудь ищу;*
- г) генерализованные — *В очаге всегда видишь какие-нибудь картины. Верно!*

2. Ненормативные:

- а) глобальные — *Мне что-то грустно, скучно: конечно, ждет меня беда;*
- б) с локализованным центром — *Какой-то ты неразговорчивый сегодня!*

II. Неопределенные:

- 1) условные — *Если она его за чем-нибудь посылала, то он бежал со всех ног, чтобы выполнить это скорее;*

- 2) удостоверительные — *У тебя кто-то был?*;
- 3) выяснения — *К нам приходил кто-нибудь?*;
- 4) выбора — *Зина, сыграй нам что-нибудь или, нет, лучше спой;*
- 5) дикто-модальные — *Надо срочно что-нибудь бросить на помощь команде Ершова.*

Необходимо сделать несколько замечаний по поводу приведенного списка.

Во-первых, он представляет собой шкалу от максимальной достоверности события к минимальной. Поэтому и в рамках второго класса ситуаций это движение соблюдается. Если вопрос *Кто-то был у нас?* предполагает ситуацию состоявшейся, то дикто-модальная ситуация как бы заранее предполагает известным тот факт, что некоторое положение дел еще не начинало складываться.

Во-вторых, особая сложность связана с не решенным здесь полностью вопросом о негированной ситуации. Двигаясь по шкале неопределенности местоимений от *-то* к *-нибудь*, *-либо* и *бы то ни было*, мы попадаем снова к полюсу полной определенности, всего и всяческого отрицания. Тем самым кольцо как бы замыкается. Тем самым ситуацию с *бы то ни было* и некоторые высказывания с *-либо* мы относим к определенным ситуациям как их негированный вариант. Проблематичной при этом остается не языковая, а лингвистическая сложность: считать ли группы негированных высказываний передающими особую «минусовую» ситуацию, которую необходимо отмечать в классификации отдельно, или при каждой ситуации описывать ее негированный вариант. Об отрицательном контексте, связывающемся с русским *-либо*, которое ранее считали книжным вариантом *-нибудь*, впервые написал Ж. Вейренк [Veugens 1964]. В случае с *-либо* негирование может быть и скрытым: *Первый раз Клим Самгин видел этого человека без башлыка и был удивлен тем, что Яков оказался ли ш е н н ы м каки х-ли бо особ ы х прим ет; Исполком предписывает вам немедленно прек р а т и т ь в Юксинской тайге какие-ли бо приискательские работы; Идти? Я заметил, что е д в а л и бу д е т ка кой-ли бо толк от его свидания.*

Интересным свойством негированных высказываний является то, что в этом случае мы опять обнаруживаем дистрибутивную заданность значений I и II классов у неопределенных местоимений. В ситуации употребления неопределенного местоимения в значении I класса отрицание приводит к замене местоимения: *К нам кто-то придет* → *К нам не придет никто*; *Спойте, пожалуйста, какую-*

нибудь песню → *Не пойте, пожалуйста, никаких песен; Он обычно рассказывал какие-нибудь новые анекдоты* → *Он не рассказывал никаких новых анекдотов*. В значениях же II класса, коннотативно-модальных, допустимо отрицание только при глаголе, без трансформации местоимения: *Он вам не какой-нибудь студент; Не давайте мне какой-нибудь еды, а давайте хорошую; Если некий человек не придет, расстраиваться не буду; В каких-нибудь два часа статью не напишешь; Кое-кто не приходил?* и т. д. Таким образом, значения II ранга могут выявляться и на этом, третьем уровне, как бы суперсинтаксическом по отношению к высказыванию в целом. И в этом случае также речь идет о нарушении некоторого первичного правила дистрибуции, нормативности позиции, места.

В-третьих, зоны перехода от одной ситуации к другой характеризуются возможной нейтрализацией семантики неопределенных местоимений, их функциональным смешением. Особенно это видно на переходе от определенной ситуации однократной к итеративной. Осложняющим фактором является здесь двойственное значение имперфектности, часто в этих высказываниях представленное (соответствующее и симультанности, и многократности), коррелирующее с таким же значением русского *всегда*: *Я всегда любил эту женщину* и *Я всегда садился только на пятый троллейбус*. Именно на базе этой двойственности создается семантическая ловушка: *Сколько я ни приходил к ним, она была всегда занята вышиваньем* (каким-нибудь или каким-то?, поскольку при *-то* речь идет об одном и том же объекте, а при *-нибудь* — о разных).

Поэтому возникают возможности нейтрализации *-то* и *-нибудь*, несущественность различия этих смысловых категорий или их обозначенность контекстом; все это несколько упрощенно представлено в [Růžička 1973], где эти различия жестко представляются на примерах: *У постели больного всегда сидит какой-то товарищ (какой-нибудь) и Андрей постоянно насвистывает какой-то мотив (какой-нибудь)*. Примеры подобной нейтрализации: *Семка всегда о ком-то заботился: то выхаживал больного котенка, то выпрашивал у ребят выдранного из гнезда воробья, то пытался оживить в банке с водой пойманную рыбу; Теперь у нас много друзей. Идешь по улице — кто-то снимает шляпу, кланяется; Она едва вслушивалась в то, что говорил муж. А он всегда говорил о чем-то, останавливаясь, чтобы перевести дыхание; Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье; Не проходило почти дня, чтобы Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внукам.*

* * *

Таким образом, особенности функционирования русских неопределенных местоимений рассматривались как определяющиеся: 1) их индивидуальными смысловыми и контекстообразующими возможностями — раздел I; 2) их соотносительностью с типом дескрипции имени, определенной или неопределенной, и соответственно реализацией значения первого или второго класса — раздел II; 3) их возможностью/невозможностью быть употребленными в определенных типах высказываний, соответствующих перечисленному списку ситуаций, — раздел III.

Список литературы

- Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
- Дончева 1970 — *Дончева Д.* Руските неопределителни местоимения и наречия от типа *-то, -нибудь (-либо), ни было* и техните еквивалента в български език // *Български език*. 1970. Т. XX. Кн. 5.
- Дюкро 1982 — *Дюкро О.* Неопределенные выражения и высказывания // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XIII. М., 1982.
- Кобозева 1981 — *Кобозева И. М.* Опыт прагматического анализа *-то* и *-нибудь* местоимений // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка*. 1981. Т. 40. № 2.
- Левин 1973 — *Левин Ю. И.* О семантике местоимений // *Проблемы грамматического моделирования*. М., 1973.
- Маловицкий 1971 — *Маловицкий Л. Я.* Вопросы истории предметно-личных местоимений // *Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, Череповец*, 1971. Т. 517. Местоимения.
- Мигирин 1949 — *Мигирин В. Н.* О некоторых случаях образования местоимений и местоименных выражений // *Известия Крымского пединститута им. М. В. Фрунзе. Симферополь*, 1949. Т. XIV.
- Молчанова 1964 — *Молчанова С. Ф.* О модальности частицы *-нибудь* // *Доклады на научных конф.* Т. III. Вып. Филологические науки. Ярославский госпединститут им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 1964.
- РГ-80 — *Русская грамматика*. М., 1980. Т. II.
- Селиверстова 1964 — *Селиверстова О. Н.* Опыт семантического анализа слов типа *все* и типа *кто-нибудь* // *Вопр. языкознания*. 1964. № 4.
- Фурсенко 1963 — *Фурсенко Д. И.* О разграничении значений и условиях употребления неопределенных местоимений в современном русском языке // *Материалы VIII и IX Междунар. семинаров преподавателей русского языка стран социализма*. М., 1963.

- Цивьян 1979 — Цивьян Т. В. Категория определенности-неопределенности в структуре волшебной сказки // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Шелякин 1978 — Шелякин М. А. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Семантика номинации и семиотика устной речи. Тарту, 1978.
- Янко-Триницкая 1977 — Янко-Триницкая Н. А. Местоименные слова со значением неопределенности // Русск. язык в школе. 1977. № 1.
- Birkenmaier 1976 — Birkenmaier W. Die Function von o d i n im Russischen // Z. Slavische Philologie. 1976. Bd. XXIX. Hf. 1.
- Birkenmaier 1979 — Birkenmaier W. Artikelfunktionen in einer artikellosen Sprache. München, 1979.
- Dahl 1970 — Dahl Ö. Some notes on indefinites // Language. 1970. V. 46. № 1.
- Kuno 1976 — Kuno S. Subject, Theme and the Speaker's empathy — a reexamination of relativization phenomena // Subject and Topic. N. Y.; San Francisco; L., 1976.
- Linde 1979 — Linde Ch. Focus or attention and the choice of pronouns of discourse // Syntax and semantics. N. Y., 1979. V. 12.
- Růžička 1973 — Růžička R. Кто-то und Кто-нибудь // Z. Slawistik. 1973. B. XVIII. № 5.
- Timberlake 1977 — Timberlake A. Reanalysis and actualization in syntactic change // Mechanisms of syntactic change. N. Y.; San. Francisco; L., 1977.
- Veyrenc 1964 — Veyrenc J. Кто-нибудь et Кто-либо formes concurrentes? // Revue des études slaves. Mélanges à Vaillant. 1964. T. XIV.

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ СЕМАНТИКА СЛОВСОЧЕТАНИЙ С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ МЕСТОИМЕНИЯМИ

Данная статья посвящена конкретным вопросам семантики употребления приименных сочетаний с местоимениями неопределенными и посессивными, поэтому собственно теоретические проблемы в ней трактоваться не будут. Но даже и изложение этих фактов русского синтаксиса мы считаем нужным начать с экспликации основных авторских позиций — иначе и конкретный анализ повиснет в воздухе.

Итак, автор считает, что
языковая система меняет свою структуру;
это изменение однонаправлено;
оно телеологично;
цель языкового развития связана с эволюцией.

Эволюция же понимается так: язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени.

Предлагается самый простой ответ на возникающий вопрос: что такое информация? Информация — это все, что мы узнаем, выслушаем (или прочитав) речевое сообщение. Таким образом, это — и сведения о передаваемой ситуации (сведения локальные, темпоральные, сведения о количестве актантов и их отношениях), модально-субъективный аспект, все феномены паралингвистического характера и т. д.

Очевидно, что в соотношении: языковая единица / единица времени изменению может подлежать только языковая часть, поскольку единица времени неизменна. Известно, что язык характеризуется «двойным членением»: по звуковому и смысловому основанию. Каждый из этих аспектов в соответствии с указанной тенденцией заслуживает специального изучения на предмет верификации указанного выше эволюционного стремления.

1. Тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени осуществляется в языках двумя способами: а) компрессией, б) суперсегментизацией;

2. В языках, эволюционировавших в большой степени, в большой степени осуществляется эта тенденция и, следовательно, реализуются указанные способы.

Из сказанного вытекает, что возможны как звуковые, так и смысловые компрессии и суперсегментизации.

Звуковой аспект подробно рассматривается в другой нашей работе.

На синтаксическом уровне под компрессией мы понимаем элиминирование определяющих слов в тех случаях, когда они семантически не нагружены. Суперсегментизацией на смысловом уровне, функционально аналогичной развитию звуковых суперсегментных средств, мы считаем пресуппозиции. Благодаря этому передаваемое сообщение имеет возможность увеличить число каналов и таким образом — передать больше информации в единицу времени. Необходимо заметить еще два обстоятельства.

Первое — эволюционный процесс не соотносим с реальной абсолютной хронологией, поэтому древность не есть непременно архаичность: из античности, греческий и латынь, были например, «зреее» старославянского, о чем писалось уже неоднократно.

Второе — в языках возможны сложные компенсаторные соотношения даже при сохранении общей указанной тенденции; поэтому было бы наивно утверждать категорически, что если в языке А какое-то явление уже элиминируется, а в языке Б уже нет, то А является языком более высокого ранга. Это и так, и не так. Ответить на такие вопросы должна диахроническая типология языков, строящаяся на диахронических универсалиях. Эта область языкознания практически еще не начинала развиваться.

Местоименные определители имени неотделимы от «картины мира»; посессивы вводят в ситуацию актанта-обладателя в его отношении к обладаемому, неопределенные относят объект к «иному миру», определенные к «этому».

Элиминирование посессивов производится в языке параллельно с осознанием, развитием категории неотчуждаемой принадлежности, формирующей взгляд на упоминание «очевидных» объектов обладания как избыточных. Современный русский язык зашел в этом отношении очень далеко. Однако, на заре развития литературных славянских текстов вставки посессивов — по сравнению с греческим

евангельским оригиналом осуществлялись практически регулярно. Вставки, а не элиминирование¹. Особенно отчетливо это видно в словосочетаниях, характеризующих сферу Христа — Бог Отец, Мать Христа, его ученики. Например, *мънога дѣла вѣнухъ въ васъ отъ отъца моего* — И. 10.32 (ἐκ Πατρὸς); *ѣко отецъ мой воли мене естъ* — И. 14.28 (ὅτι ὁ Πατὴρ μέλων μου); *ѣко же наоучи ма отъца мой* — И. 8.28 (ἐδίδαξεν με ὁ Πατὴρ); *вждеть дано емоу отъ оца моего — ма; гла матери своеи, жено се снѣ твои* — И. 19.26 (λέγει αὐτῷ μητρὶ); *во бѣ сѣна своего въ миръ* — И. 3.17 (ὁ θεὸς τὸν υἱόν); *ѣко сѣна своего иночлѣдаага* И. 3.16 (τὸν υἱόν τὸν μονογενῆ);

Примеры эти легко умножить. Наиболее регулярно осуществляются вставки к лексеме «ученики»: *пристѣпиша къ нему оученици его* — Мф. 24.1. (προσῆλθον αὐτῷ μαθηταί); *и глаша емоу оученици его* — Мф. 19.10 (λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί); *и въпросиша оученици его* — Мф. 17.10 (ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταί); *въпросиша и оученици его* — Мф. 17.10. и т. д.

Несомненно, старославянский текст как бы не рассчитывает на межсловную запоминающуюся связь, на осознанную ситуацию, не нуждающуюся в экспликации.

В древнерусском языке насыщенность посессивами начинает уменьшаться. Выделяется группа слов непосредственного окружения, типа *дом, брат, сын, воевода, дружина* с препозицией обладателя, а не обладаемого, где в дальнейшем посессив начинает опускаться². Поэтому «С дружиной своей» (А. С. Пушкин) является красивой и достоверной стилизацией. Однако трактовка возникающей категории «неотчуждаемой принадлежности» меняется, отражая изменение «картины мира» и иерархию важности отношений к объектам обладания. Так, в «Слове о полку Игореве» посессив СВОЙ скрепляет как предметы собственности почти все предметы и явления отраженного там человеческого микрокосмоса. Но исключением оказалось слово ЗОЛОТОЙ: *Тогда вступи Игорь князь въ златъ стремя и поѣха по чистому полю; Ступаетъ в златъ стремя въ градъ Тьмутороканѣ; Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата въ сѣдло кощиево; Вступита, господина, въ злата стремя; Изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злата ожерелие.* Д. С. Лихачев [1950], описывая реалии того времени, сообщает

¹ Примеры взяты из [Ягич 1883].

² Примеры по истории русских посессивов взяты из Картотеки Древнерусского словаря Института русского языка АН СССР.

что только княжеские вещи имеют эпитет «золотой» — «стремя», «шлем», «стол». Таким образом не было необходимости для читателя той поры добавлять слово «свой» к золотому аксессуару. Между тем в издании «Слова» 1800 г. эта тонкость миропонимания никак не отмечена: *Тогда Игорь князь изъ своего золотого сѣдла пересѣлъ; Вступите, Государи, въ свои златые стремена.* Как представляется, подобные корреляции лексем с «картиной мира» могли быть мощным подкреплением аутентичности памятника.

В настоящее время русский язык далеко зашел на пути семантического компрессирования, элиминируя посессив и там, где он может быть употреблен в славянских языках и там, где он сохраняется в неславянских языках Европы. Сочетания, подобные *Это сестра мужа, Мы с мужем ходили на днях в театр, Дочь мне сообщила ужасную новость, Да вот стою, жду жену* и под. являются обыденными речевыми единицами. Правда, необходимо отметить, что возможны и параллельные сочетания с посессивом, и в этих случаях посессив не носит подчеркнутого характера.

Анализ способов выражения подчеркнутой посессивности [Николаева 1989: 238 и далее] показал, что способ ее выражения меняется — сначала в русском языке подчеркнутость выражалась через оппозицию линейного характера: неподчеркнутая посессивность передавалась постпозицией местоимения — *Наряди же полкы свои Всеволод и пусти возы своя за рѣку* и под., подчеркнутая — препозицией: *Видѣвъ же полкы Изяслави король и тако и своим полкомъ повелѣ* и т. д. От XVI века русский словопорядок начал меняться, и эта оппозиция оказалась близкой к нейтрализации. К XVIII веку для подчеркнутой посессивности укрепилась лексема *собственный*: *Живу я в собственном своем доме* и т. д. Можно высказать как эмпирическую гипотезу то, что в настоящее время слово *собственный* постепенно употребляется реже, заменяясь акцентным выделением слова *свой*: *У него с в о я д а ч а?* — *Д а, с в о я.* Таким образом делается еще один шаг на пути смысловой компрессии.

Однако, элиминирование местоименного атрибута, точнее, его избыточность, делает возможным его возвращение, т. е. создание некоей вторичной семантики, дополнительной окраски сочетания с посессивом, которая не появляется при неизбыточном посессиве, например, во фразах типа: *Он с трудом разыскал свою папку среди множества папок, валявшихся на столе.*

Таким образом возникают новые смысловые противопоставления привычного, повседневного и нейтрального: *Каждый день в три*

часа он съедает свою кашу, оппозиция любимого, бенефактивного и нейтрального: *У меня есть моя работа, мой дом*; наконец, просто противопоставление положительного и нейтрального (см. об этом подробно [Вольф 1974]). Все позитивные коннотации обычно связываются с первым лицом. Напротив, употребление посессива с вторым лицом часто носит пейоративный оттенок. Например, *Твоя Валя, помоему, очень назойлива* (это о часто упоминаемой подруге или родственнице). Пейоративность второго лица настолько отчетлива, что можно слышать диалоги супругов, когда один из них, критикуя их общего (без сомнений!) ребенка может сказать: *Твоя дочь совершенно невыносима!* или *Посмотри, как распущен твой ребенок!*

Отмеченная тенденция к элиминированию избыточных для «картины мира» эксплицитных лексемных показателей и/или развитие вторичной семантики в тех случаях, когда эти показатели все же оказываются на «избыточном» месте, может усложняться теми ситуациями, когда местоименный лексемный показатель употребляется с именами, по своему статусу такового показателя не требующего. Это относится, в частности, ко второму классу местоимений русского языка — к неопределенным местоимениям.

Русские неопределенные местоимения часто уподобляли по функции европейским неопределенным артиклям. Между тем нами уже утверждалось (ср. [Николаева 1985]), что русские неопределенные местоимения в этом смысле отличаются не только от европейских неопределенных артиклей, но и от славянских неопределенных артиклоидов, например, от аналогов в болгарском, сербохорватском и чешском языках. Основным различием является несоотнесенность русских неопределенных местоимений с квалификативными предложениями типа *Мой брат — инженер*, где первое имя вводится в более широкий класс. В русском языке эти функции неопределенного артикля, т. е. инклюзивные по отношению к классу, передает обычно существительное без детерминанта: *У них родился мальчик; Кто там сидит? — Собака* и т. д. Напротив, сочетание с *один* тяготеет к нарративному развертыванию: *Я вчера наблюдала за одной вороной...* Это значит, что далее будет какой-то рассказ об этой вороне. Точно также местоимение *какой-нибудь*, предполагающее свободу выбора, позволяет выбор из числа чем-то отличных предметов: *Дайте мне какой-нибудь карандаш* — это значит, что речь не идет об одинаковых карандашах, лежащих на столе (ср. [Шелякин 1978]).

Таким образом, оказывается возможной классификация предметов и явлений, точнее, их шкалирование, по их «нарративному гори-

зонту», что не совсем соотносится с известными классификациями типа живое-неживое, активное-пассивное и т. д. В этом отношении, например, *книга, вывеска* и т. д. могут быть нарративно значительнее слов типа *яблоко, простыня* и т. д.

Русский язык не употребляет артиклеобразно неопределенные местоимения в конструкциях типа *Липа — это растение*, поскольку здесь утверждается, что всякая липа ест дерево, и весь смысл высказывания состоит в перечеркивании особенности, ее снятии.

Как и в европейских артиклевых языках в этом значении неопределенные местоимения не сочетаются с именами собственными, именами уникальной семантики, т. е. с именами референтными. Не сочетаются они в этом артиклевом фактивном значении и с именами абстрактными, передающими например, эмоции; не сочетаются с именами числительными и синонимичными им выражениями.

Таким образом, как и в случае с посессивами, язык элиминирует избыточные экспликации (напомним, что в древнегреческом языке, например, с именами собственными нормативен был определенный артикль в первично семантическом аспекте). Так осуществляется необходимая языковая компрессия в отношении: единица языка / единица времени.

Однако язык употребляет эти конструкции. Как и в случае с посессивами, в подобных ситуациях создается вторичная семантика и тем самым высказывание содержит больше семантических строк, возникает смысловая суперсегментность. Эта вторичная семантика в свою очередь зависит от семантики имен, формирующих высказывание. Например, можно сказать *Его жена — студентка. Его жена — какая-нибудь студентка* означает, что по всей вероятности это студентка. Но невозможно: *Мой брат — какой-нибудь студент* (про брата это уже должно быть известно!), как и невозможно *Его жена — какой-нибудь министр* (хотя министров не так мало, но женщина-министр — явление редкое). Сказанное про министра как будто бы противоречит указанному выше свойству русского неопределенного местоимения подчеркивать особенное, однако противоречия здесь нет: местоимение выделяет явление из потенциально большого (многочисленного) класса, класс же министров априори малочисленен.

Вообще эта тема — корреляция неопределенных местоимений с именами самого разного по семантике диапазона — еще не изучена даже в самой малой степени. Например, недостаточно сказать, что неопределенные местоимения как правило не характеризуют на уровне первичной семантики имена собственные. Можно предло-

жить по крайней мере три-четыре семантических прочтения в зависимости от класса имени собственного. Например, это может быть имя литературного персонажа: *Какая-то Наташа Ростова* — т. е. ведущая себя, как Наташа Ростова. Просто реальное имя без коннотаций: *Какая-то Маша Сергеева*, т. е. «неизвестная». Может возникать и расово-шовинистический семантический компонент, когда фамилия или имя национально «типичны»: *Тут вышел какой-то Рабинович* (*Амбрацумян, Гоги* или *Ванька*).

Итак, в целом можно говорить о первичной семантике неопределенных местоимений (основной и нейтральной) и вторичной (т. е. создающей дополнительную семантическую строку и тем самым увеличивающей смысловую многоканальность высказывания). Например,

какой-то: первичная семантика «неизвестный» — *В дверь быстро вошел какой-то человек*; вторичная «непрестижный» — *Какая-то Петрова становится женой знаменитости*; «минимальный» — *В какие-то полчаса он сумел понять ситуацию*.

какой-нибудь: первичная семантика «любой» — *Купите каких-нибудь овощей*; вторичная «вероятный» — *Кто-то въехал во двор. Какой-нибудь знакомый приехал*; «непрестижный» — *Я вам не какая-нибудь девчонка*; «минимальный» — *В каких-нибудь три года он нажил целое состояние*.

некоторый: первичная семантика «неполный, не укладывающийся в эталон» — *С некоторым неопределенным чувством смотрел он на веселящуюся молодежь*; вторичная семантика «небезызвестный» — *Я надеюсь, что Вы не позволите себе намекнуть на некоторые вчерашние обстоятельства*.

кое-кто: первичная семантика «часть из» — *Стемнело, кое-кто из студентов поспешил вернуться*; вторичная семантика «не называемый, небезызвестный» — *Ты все еще ждешь, что кто-то придет сегодня?*

Таким образом, утверждается, что неопределенные местоимения, употребленные «не на своем месте», т. е. там, где язык уже их элиминировал за избыточностью, переводя в пресуппозитивный фонд передаваемые ими значения, создают семантику вторичную, коннотативно-сигнификативную. В этом случае увеличивается смысловая многоканальность высказывания и соблюдается отмеченная нами в начале основная тенденция языковой эволюции: стремление к передаче большего числа информации в единицу времени.

В тех же случаях, когда возникает потребность создать вторичную семантику, а местоимения не элиминированы языковым употреблением, используется дополнительная система языковых средств. Так, и в случае посессивных, и в случае неопределенных местоимений таким средством (возможно, есть еще и ряд других) является акцентное выделение. Например, у Е. Евтушенко: *Люблю свою жену. С в о ю. Я это акцентирую...; Я живу в своем доме* и т. д. Или — *Дайте какой-нибудь еды* (т. е. я очень голоден + выбор безразличен).

Это соотносится с выдвинутым ранее (ср. [Николаева 1982]) положением о том, что акцентное выделение обязательно должно удовлетворять двум требованиям: 1) быть перцептивно активным, т. е., проще говоря, быть слышимым и слышным для всех коммуникантов, 2) вносить в высказывание дополнительную смысловую строку, т. е. увеличивать пресуппозитивный фонд.

Итак, компрессия высказывания в соответствии с языковой эволюцией тесным образом связана с суперсегментизацией, т. е. развитием дополнительных смысловых корреляций на участках эволюционного элиминирования бывших употреблений.

Список литературы

- Вольф 1974 — Вольф Е. М. Грамматика и семантика местоимений. М., 1974.
- Лихачев 1950 — Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» (Историко-литературный очерк) // «Слово о полку Игореве»: Сб. статей и исслед. М.; Л., 1950.
- Николаева 1982 — Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Николаева 1985 — Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании. М., 1985.
- Николаева 1989 — Николаева Т. М. Категория посессивности в славянских и балканских языках. Гл. IV. М., 1989.
- Шелякин 1978 — Шелякин М. А. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Семантика номинации и семиотика устной речи. Тарту, 1978.
- Ягич 1883 — Ягич И. В. (изд.). Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. СПб., 1883.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСЕССИВА — СТРЕМЛЕНИЕ К ЯЗЫКОВОЙ КОМПРЕССИИ

За современной семантикой подчеркнутой / неподчеркнутой посессивности стоит более архаическая индоевропейская языковая категория, формулируемая как противопоставление отношений *proprius / privatus* [Markey 1984]. Все компоненты этого семантического ряда восходят к корню **s* (*we/o*). Но в ходе языкового развития появляются уже специфические показатели посессивности подчеркнутой. Например, это греческое *ἴδιος* (**Fhedios* < **sFedio* < **swedio*). В германских языках к выражению подчеркнутой посессивности привлекаются глаголы. Ср. готск. *aigan*, немецкое *eigen*.

В анализированных нами славянских языках подчеркнутая посессивность выражается тремя способами: инверсией, лексической вставкой слов типа *собственный* и акцентным выделением. Все эти возможности прослеживаются на диахронической оси на примере русского посессива *свой*.

Собственно лингвистическая задача носила, скорее, характер эксперимента, как его понимали лингвисты-теоретики. А именно — как и до какой степени можно углублять интерпретацию материала и что дает такое углубление, выход на все новые уровни, помогающие первичной интерпретации? Поэтому изложение строится следующим образом. Сначала идет просто диахроническое описание данных. Потом — слои экспликативные. Данные древнерусского языка сопоставлялись со специально фактографированными данными старославянского языка (*Codex Marianus*). Следующий этап — сопоставление с оборотами греческого текста Нового Завета. Последний этап — сопоставление всех совокупностей полученных фактов с теорией диахронических универсалий и с известными положениями Дж. Гринберга о тяготении приименных посессивов: к препозиции (согласованные) и постпозиции (несогласованные). Текст исследования специально строился так, что на каждом этапе выводы как бы казались исчерпанными и должны бы были удовле-

творить поклонников «материала» в его минимально интерпретированном виде: Нам не дано понять, насколько этот метод представления «по матрешкам» оказался удачным.

Можем добавить все же важную вещь, что семантическая модель противопоставлений оказывается необыкновенно живучей. Она только время от времени сбрасывает форму в соответствии с законами диахронии.

1. *Свой*: языковые данные

В качестве объекта исследования были взяты словосочетания со словом *свой* в русском языке на ранних этапах его развития: от древнерусского периода до конца XVIII в. Цель исследования — определить, какие именно аспекты посессивной семантики язык стремился различить формальными способами; выявить, как именно это реализовалось в разные периоды эволюции языка. В работе использовались: 1) данные Картотеки ДРС Института русского языка РАН; 2) данные Картотеки Словаря XVIII в. словарного сектора ЛО Института языкознания АН СССР; 3) данные дистрибуции типов номинации и посессивных форм в «Слове о полку Игореве». Графика примеров соответствует их представлению в картотеках.

1) *Данные древнерусского языка (до XV в. включительно)*

Два обстоятельства обращают на себя внимание в описываемый период. Первое: словосочетания со словом *свой* могут иметь атрибут как в препозиции, так и в постпозиции. Второе: отмечается довольно устойчивая группа лексики, допускающая только один порядок элементов словосочетания, а именно — постпозицию *свой*.

По поводу первого из указанных обстоятельств необходимо отметить количественное преобладание конструкции N + *свой*, т. е. препозиции N и постпозиции *свой*. Так, по данным картотеки ДРС конструкции N + *свой* относятся к *свой* + N как 1,9:1.

В каких же случаях употребляется маркированная конструкция *свой* + N? Она встречается всюду, где есть противопоставление, как явное, так и имплицитное. Прежде всего, это прямое противопоставление своего и чужого, выраженное в тексте: *Тако же и Изяславъ ись с в о и х ъ полковъ наперед одинъ в полкъ противных и*

прииде; Видѣвъ же полкы Изяслави король и тако и своим полкомъ велѣ; Юрой же ни их посла к ним отпусти, ни своего к ним посла; Написаша и свои хъ книгъ немало, о великихъ тайнахъ сказавъ. Значение, близкое к указанному: 'свой, а не чужой' — и приближающееся к нему — 'свой собственный', также выражается препозицией *свой*: *И видѣ его сестра его Рогнѣдъ велми изнемагающа, и нача ему молитися, да ляжет въ Смоленсѣ въ своем здании; Аще познаеть кто чюжъ конь, любо оружје въ своемъ миру, то взати ему свое, а 3 гривнѣ за обиду.* На базе этих значений возникают устойчивые сочетания типа *своим умом, своими глазами, своими руками* с окрашенной посессивной семантикой 'свой собственный', сохраняющейся в подобных сочетаниях и в настоящее время: *Цареградци же умориша его, глаголюще, яко умре своею смертію; А кабалу писал Грідя своею рукою; Се язъ пишу душевную грамоту, и да в Орду, ни кимъ не нуженъ, цѣлымъ своимъ умомъ, въ своемъ здоровьи; А мы холопу вашему подали сказку за своими знаменами, а в сказки им написано; Бѣху же Угри первое въ православие крещение от Грек приемше, но не поспѣвшим им своимъ языкомъ грамоту изложити* и т. д.

К значению подчеркнутой индивидуальной собственности примыкает значение дистрибутивности, распределения индивидуальной принадлежности владения: *Они же не постряпуче поткоша еси с ними кыждо въ свои бродѣ; А доводчику у нихъ изъ стану въ станъ не переѣзжати, кождо бо искаше своего съпротивника побѣдити. И смѣсишася кождо въдаеть свои станъ.* Таким образом, в плане линейного распределения словосочетания у указанного периода подчеркнутое выражение притяжательности, обладания, окрашенное дополнительной семантикой 'свой, а не чужой', 'свой собственный', 'каждому свое', выражается препозицией притяжательного местоимения. Нейтральное, немаркированное выражение притяжательности выражается постпозицией *свой*: *Мы, княже, за ты главы своя съкладываемъ, а ты нынѣ держишь врагы свои и наши просты; Наряди же полкы свои Всеволод и пусти возы своя зарюку; И повороти конь Мѣстиславъ и съ дружиною своею от стрья своего; А самъ Рюрикъ на том же цѣлова к ним крестъ, и распусти дружину свою и дѣти свое, и Половци отпусти въ вѣжи свои, одаривъ их дарми многими, а самъ иде во Вручиши орудии своихъ дѣля; Онъ же не поѣха, но и сына своего выведе из Орѣхова, князя Александра, токмо намѣстники своя.* Именно вокруг этого неокрашенного посессивного значения группируется лексическое поле

имен, относящихся к непосредственной сфере окружения актанта: слова типа *двор, послы, воевода, град, ратники, полки, бояре*, а особенно — имена родства.

Оппозиция *свой / подчеркнуто свой*, т. е. противопоставленное *своей*, отчетливо проступает при именах-этнонимах: литовцы, половцы для автора текста не *свои*, они «*свои*» для чужого. См.: *Олгерд посла с вою Литву во сторожѣхъ передѣ полкы; Олгердъ же и Кестутеи повелѣша опять с во ей Литвѣ бродитися за Великую рѣку; Олгердъ же и Кестутеи со сво ею Литвою отрекошася пойти противу Немецкои рати; А по иныхъ сво ихъ Половцевѣ послаша*. Ср. с этим: *И еще убо князь Мстиславъ уготовися на брань съ Ростовци сво ими* и многие примеры подобного типа. Некоторые сочетания с лексемами *отчина, власть, сторона, град*, оказались, судя по материалу, допускающими обе конструкции, с пост- и препозицией посессива без явного их содержательного различия в тексте: *Возврати же ся князь Михаиле во градъ сво и с великою побѣдою и возвратишася во сво е отечество с великою радостью; Но жаль мне сво еѣ отчины; Прииде с пожалованьемъ въ сво ю отчину; Тогда вборзѣ буду въ сво ю отчину; Глѣбъ Борисович иде на Бѣлоозеро въ сво ю отчину; Онъ же иде Смоленску въ сво ю отчину; Брате, ты тамо сво е отчину от Юрья постереги; Отпусти его почестивъ во сво ю отчину; Поидоша к Батыеву про сво ю отчину; Помысли въ сердци своемъ церковь въздвигнути въ отчинѣ сво ей в Серпоховѣ; Обнови отчину сво ю* (вариант: *сво ю отчину*); *Положилъ гнѣвъ сво и на отчину сво ю; Пожалованъ царемъ Озбякомъ отчиною сво ею Тферьскою землею*. Подобное смешение конструкций наблюдается и у других слов указанной группы лексики. Ее прагматическое отличие от предыдущей группы (родственники, послы, полки, дом, двор и т. д.) можно увидеть в следующем: группа с твердым порядком *N + свой* соответствует неким объектам, безусловно подчиненным какому-то смысловому центру, первичному актанту (обычно это князь, о котором повествует летописец), это как бы нулевое подчинение, а *отчина, власть, град, сторона* могут принадлежать и параллельному для летописца, и столь же полномочному актанту, поэтому в таких примерах можно усмотреть оттенок подчеркнутой дистрибутивной посессивности.

Таким образом, несомненно и вполне доказуемо утверждение, что для древнерусского языка описанного периода различается собственно посессивность, не окрашенная дополнительной семантикой, и принадлежность подчеркнутая, окрашенная. Средством их

различия служит порядок компонентов в словосочетании: N + *свой* — немаркированная посессивность, *свой* + N — маркированная посессивность. Количественно из них преобладает N + *свой*, поскольку обычно всякая не отмеченная особо структура, по определению, преобладает и статистически. Прагматический фактор обеспечивает наличие определенной группы лексики, тяготеющей к чистой посессивности — обычно это круг непосредственного владения актанта.

2) Данные XVI—XVII вв.

Отличительными чертами этого периода можно считать четыре явления: 1) резкое увеличение числа примеров с конструкцией *свой* + N, т. е. препозицией посессива; 2) появление двух разных значений у структуры N + *свой*; 3) частые случаи необъяснимого с предшествующих позиций смещения семантики употребления обеих конструкций: это становится очевидным при одном и том же N и совпадении смысла высказываний; 4) появление слова *собственный* как частого лексического подкрепления к соответствующему значению *свой*.

Так, структура *свой* + N сохраняется при подчеркнутой притязательности ('свой, а не чужой', 'свой собственный', 'каждому свое'): *И опричь бы того таможенного вѣсу, никакие люди въ свои вѣсх хлѣба не покупали и не продавали; Велель имъ жалованную грамоту переписать на свое государево имя; А называютъ ту его Ондрушкы кину тоню своею тоню и владѣють тою тоню насильствомъ сами; Для сыску волочились мы, холопы твои, во многие годы своею охотою; Всѣ мы, наручники, живемъ своими дворы; Ужъу него и своя сѣда борода, а гораздо почитаетъ отца и боится его. Препозиция посессива все больше начинает характеризовать те словосочетания, которые в более ранний период были бы отмечены постпозицией *свой*: *Первому полку воевода поставляетъ единокровного своего боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского; Се азъ, князь Михаилло Андреевичъ, менял еси все с своимъ слугою с Офонасом со Внуковымъ землями... А променил еси Афонасу своему слуге Липние Боярской Лукинскои; Ученици восплакаша, яко оставше доброго своего пастыря и по бозѣ учителя; Оумилостивися государь Федоръ Ивановичъ, пожалуй вели, государь, на того своего бобыля дать свои правѣной судѣ и оуправу в той гибели;**

Се язъ, Ѳедоръ Игнатъевъ сынъ, с в о и м ъ сыномъ съ Мокиемъ, да язъ Олексіи Микифоровъ сынъ, с в о и м ъ сыномъ с Ыгнатъемъ и т. д.

У структуры N + свой остается значение неокрашенной посессивности: *Турские дервиши на груди у себя... рѣжутъ и на голове и на телѣ с в о е м ъ... зелье жгутъ; А к девицу монастырю даль вкладъ по родителех с в о и х ъ Андрей Яковлевъ; А товары с в о и привозятъ и въ лавкахъ торгуютъ; Въ приезде с в о е м ъ запоздуютъ; Всеа Русі и Московского царства царевичъ Дмитреи изгнанъ ото отечества с в о е г о.* Однако у постпозиции свой возникает как новое значение окрашенной посессивности. В этом случае посессив является предикативом (в современном прочтении он обязательно ударен): *А языкъ де у хана с в о и и говорятъ по своему; Королевство земли Шпанскія земля же на велми пространна, а языкъ с в о и и люди воинские зѣло храбры; У которыхъ пищали с в о и и тѣмъ дати по пяти рублевъ.*

В словосочетании со свой все чаще появляется слово-вставка *собственный*: *Ренское королевство не было еще подъ чужую властію, но имѣло собственныхъ с в о и х ъ владетелей и самодержавного с в о е г о короля именемъ Григориуса.* Появление этой вставной лексемы объясняется смешением препозиции и постпозиции свой, характеризующим этот период. Смешение это сказывается как в разнообразных вариантах порядка слов в словосочетаниях с одним N (*Созда человекъ во образъ с в о и — Первого человека Адама созда Господь по с в о е м у образу*), так и в непротивопоставленном функционально введении обеих структур в один текст: *И охотники приняли подъ с в о и дворы и под огороды с в о ѣ десятинные пашенные земли*, хотя в некоторых текстах это функциональное различие увидеть все же можно: *Вѣдаю и то, что я в отписки с в о и к великому государю многая рѣчи на с в о ю статью написалъ, которая не в чинъ; Янь Казимеръ... присылалъ езувита с в о е г о о том, что вашему бѣ королевину в-ву потомужъ воину вести съ с в о е и стороны.*

3) Данные Петровской эпохи

В этот период наблюдается дальнейшее функциональное смешение конструкций N + свой и свой + N. Приведем количественные данные по четырем материалам, имеющимся в Картотеке Словаря XVIII в. ИЛИ РАН: 1) письмам Петра I 90-х годов XVII в., 2) книге

И. Посошкова «О скудости и богатстве», 3) Походному журналу Петра 1713—1715 гг., 4) сатирам А. Кантемира. Распределение функциональных стилей литературного языка в этот период было настолько жестким, что недифференцированный подход к текстам может затуманить картину функциональной дистрибуции.

В письмах Петра I структура N + *свой* относится к *свой* + N как 1,2:1, т. е. примерно поровну. Обращает на себя внимание факт, отмеченный и для предыдущей эпохи: если перед именем стоит еще одно определение-прилагательное, то *свой* обязательно препозитивно, при этом оно непосредственно примыкает к имени: *Благодарствую и впредь такоже по вѣрной своей службѣ служить общаюся; Князь Иванъ Дмитріевичъ отъ тяжкія своея раны... переселился въ вѣчныя крѣпы* и т. д. Смешение обеих структур видно при сопоставлении идентичных этикетных формул: *Здравствуй на многие лѣта со сажителницею своею, а моею государынею невѣстушкою*. Сравним с этим в той же формуле обращения *Братецъ государь царь Иоаннъ Алексѣевичъ съ невѣстушкою, а съ своею супругою и съ рождениемъ своимъ в милости Божіеи здравствуете*. Ср. также: *Реи да спустить въ знакъ своему началнику, что онъ то учинить можетъ и Тогда точас долженъ о томъ прислать къ началнику своему*.

У Посошкова преобладает препозиция над постпозицией (3:1), что может объясняться дидактичностью, а не чистой информативностью его текстов, поэтому преобладают устойчивые сочетания с именем типа *свое состояние, своя воля, свой вѣк* и т. д.

В Походном журнале 1713—1715 гг. соотношение препозиции *свой* к постпозиции 4:1, причем представлена препозиция в тех контекстах, в которых в древнерусский период была бы возможна только постпозиция: *Агличане украшали свои корабли флагами и палицы со всѣхъ своихъ кораблей*.

У А. Кантемира соотношение обеих конструкций 1:1; в ряде случаев их параллелизм может быть, вероятно, объяснен соображениями метрического характера: *Зналъ бы лишь ружье свое да своево капрала; Воинъ ропщетъ, что своимъ полкомъ не владѣтъ. Когда ужъ имя свое подписать умѣтъ; Отъ жены, дѣтей своихъ долгое посольство отправить тебѣ, Потомъ свое недовольство явить*.

Таким образом, значение противопоставления, дистрибутивной собственности, подчеркнутой собственности остается при *свой* + N (*Нелзѣ говорить, себе ради не щадить крови людской црь Петрѣ*:

шляпа свидетельствует, что и свои крови не щадить; При которых онъ и свои литовские роты имѣетъ и т. д.). Но учащающееся добавление атрибута-прилагательного, расширение именной группы, перетягивает посессив в препозицию. Таким образом, именно: препозиция постепенно становится нормой, преобладающей конструкцией.

4) Данные второй половины XVIII в.

Наиболее характерной чертой именно этой эпохи является резкое увеличение числа примеров с включением лексемы *собственный* в сочетании с функциональным значением подчеркнутой принадлежности: *Пользы ваша мнѣ приятнѣ своей собственной; Пизистратъ любилъ дочь Стеропы как собственную свою; Болѣ печется о поступкахъ и дѣлахъ ближнего нежели о своихъ собственныхъ; И говорилъ имъ собственную свою персоною следующее; И о благополучи ихъ такъ пекутся, какъ о своемъ собственномъ; Опредѣлилъ онъ мнѣ двухъ человекъ своихъ собственныхъ къ моимъ услугамъ* и т. д. Функционально близким является указанное выше постпозитивное употребление *свой* в предикативе и под ударением: *Братъ мой, а умъ у него свой*.

Победу препозитивной структуры *свой* + N (или, напротив, потерю ею функциональной маркированности) можно продемонстрировать данными журнала «Трутенъ», полностью представленного за 1769 г. Соотношение препозиции к постпозиции равно 4 : 1. В ряде случаев в пределах одного предложения встречаются обе структуры: *И правда никтоль приличного со нравомъ своимъ прозвища не имѣетъ как сего господя, ибо вертять дѣла по своимъ прибыткамъ; Присматривать за своимъ домостроительствомъ и примеромъ своимъ служителей своихъ поощрять к трудамъ; На конецъ вмѣсто бещестия взялъ обратно свой вексель съ надписью, что по оному деньги получены, да для наступившей зимы супруги своей не худой на шубу мѣхъ; Сей вельможа, подобясь дикому медвѣдю, сосущему свои лапы, сдѣлалъ домъ свои навсегда лѣтнюю и зимнюю для себя берлогу или лучше сказать онъ сдѣлалъ домъ свой домою бѣшеныхъ.*

Таким образом, оказывается постоянно значимой разница между чистым значением притяжательности и значением окрашенной притяжательности. В раннем периоде развития русского языка она выражается оппозицией места *свой* в словосочетании, т. е. порядком

слов. Постепенно модель *свой* + N, представленная только в отмеченных по смыслу контекстах, побеждает количественно и становится выражением нейтральной посессивности, немаркированной. Тогда окрашенное значение *свой* начинает искать маркированные формы для своего выражения и находит их либо в добавлениях лексического плана, либо в акцентной выделенности, либо в особой конструкции с постпозицией: *У него свой собственный дом; У него свой дом; Дом у него свой.*

2. Опыт иерархии лингвистических интерпретаций

Изложенные выше языковые факты, как представляется, достаточно объективны, но недостаточно интерпретированы. Описание, составляющее п. 1, есть только дескрипция, только факты — без каких-либо гипотез, объясняющих механизм языковой эволюции или дающих право на лингвистический подход к подмеченным языковым явлениям. Какой же может быть предлагаемая интерпретация? Прежде всего существенно, что всякая интерпретация есть сопоставление двух систем: системы описания и некоторой другой системы X. Удачность выбранной системы X определит степень углубленности в трактовке языкового материала. В нашем случае X-системой могут быть факты того же языка (русского) как современного нам этапа, так и категориально близкие факты того этапа, который описывался. Это могут быть факты другого языка (других языков), возможно повлиявшего на описываемый. Наконец, это может быть система общезыковых законов, как диахронических, так и панхронических. Представляется, что все эти перечисленные системы-интерпретации не исключают, а дополняют друг друга и могут быть описаны через градацию объясняющих феноменов.

1. В плане синхронного описания полученные диахронические факты находят соответствие в типах функциональной семантики посессива «свой», выведенных и описанных Е. В. Падучевой [Падучева 1983: 3—33]. Помимо основного значения 'свой'₁ = 'себя + притяжательность', Е. В. Падучева выделяет 'свой'₂ = 'собственный', 'свой'₃ = 'свой'₁ + дистрибутивность, 'свой'₄ = 'особый', 'свой'₅ = 'надлежащий' и 'свой'₆ в значении 'свой человек' (*Кто там? — Свои*). Е. В. Падучева определяет контексты, допускающие употребление *свой* только в несобственно притяжательных значениях 2—6. Эта классификация, накладываемая на приведенные нами данные диахронии, отчетли-

во демонстрирует стремление языка сохранить различие 'свой'₁ и 'свой'₂₋₅ (структуры 'свой'₆, т. е. субстантивированные, в нашей работе не рассматривались), обеспечить это различие формальными средствами. Примечательно, что формы реализации этой смысловой дифференциации меняются, вплоть до противоположного воплощения: от немаркированного $N + \text{свой} = \text{'свой}'_1$ в начале развития до немаркированного $\text{свой} + N = \text{'свой}'_1$ в конце процесса. Однако категориальная суть различия сохраняется. Таким образом, система значений, выведенная Е. В. Падучевой для современного русского языка, проливает свет на ту тенденцию, которую русский язык стремится сохранить, несмотря на мощное давление каких-то участков системы, благодаря которым формальные способы выражения этой тенденции претерпели столь существенные изменения.

2. Каковы же причины этих изменений? Наиболее логично в их поисках обратиться к иным способам выражения посессивности в истории русского языка, а именно адъективному и генитивному, и выявить эволюцию линейной структуры этих словосочетаний. Работа эта была проделана М. Виднэс [Виднэс 1958]. Разбирая четыре теоретических возможности: *Петров дом, дом Петров, дом Петра и Петра дом*, М. Виднэс демонстрирует, что препозиция атрибута была явлением, свойственным русскому языку, а постпозиция его — фактом либо поздним, либо иноязычным. Так, сочетание *дом Петра* появляется лишь в середине XVII в. («Повесть о Савве Грудцыне»). Даже у классиков XVIII в. Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова очень много препозитивных посессивных определений, выраженных генитивом и отыменным прилагательным. Решительным переходом к постпозитивному посессивному генитиву можно считать «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, где он составляет 75 %. М. Виднэс делает вывод о том, что постпозиция выражения принадлежности, представленная родительным падежом, исконно чужда русскому языку [Там же: 175]. Сравнивая эти данные с нашими данными, мы можем сделать вывод о том, что обе линии выражения притяжательности как бы поменялись местами: *свой* перешло в препозицию, а родительный принадлежности — в постпозицию. Итак, хронологически оба явления примерно совпадают. Тогда можно сделать еще один вывод: на постоянную тенденцию сохранения различия 'свой'₁ и 'свой'₂₋₅ (по Е. В. Падучевой) накладывается перестройка линейных структур двух типов выражения притяжательности, приведшая к их симметричному преобразованию.

3. Но имеем ли мы право, решая этот вопрос, ограничиваться только средствами выражения посессивности и не заинтересоваться более общим вопросом об изменении / неизменении порядка элементов в именном словосочетании в русском языке. Этот вопрос был детально изучен О. А. Лаптевой [Лаптева 1959]. Рассматривая словосочетания с *многий, великий, малый*, О. А. Лаптева показывает тонкую сетку закономерностей их линейной структуры, многие из которых на современном этапе могут быть интерпретированы, исходя из прагматического подхода. Так, О. А. Лаптева также отмечает наличие определенной группы слов, у которых атрибут находится только в препозиции, например, *время, лета, дни, часть, годы* (см. именно групповое объединение лексики со *свой* в препозиции и постпозиции в нашем материале). Ею отмечены *Новгородъ Великий* (но *Великий Римъ, Великая Пермь*). Ср. выше *Ростовци своими*, но *своя Литва*. То есть препозиция посессива как бы отчуждает денотат словосочетания в этот период. О. А. Лаптева показывает, что закрепленность линейного порядка зависит не только от типа лексики имени, но и от членности / нечленности прилагательного, и даже от типа памятника. В целом же выявляется неуклонный рост препозитивных употреблений в конце древнерусского периода (в работе приводится библиография исследований других историков словоупотребления в русском языке, единодушно пришедших к этому же выводу).

Таким образом, поднявшись еще на один уровень интерпретации, можем добавить, что отмеченные нами закономерности могут быть подкреплены более общим тезисом: в русском языке укреплялась тенденция помещать изменяемый атрибут в препозицию, а неизменяемый — в постпозицию, т. е. *свой дом, новый дом, но дом Петра, дом соседа*. Тенденция эта, как очевидно, выходит за пределы собственно посессивной сферы.

4. Каковы же тогда движущие силы этих изменений? М. Виднэс высказала предположение, что *домъ Петровъ* есть форма, возникшая под старославянским влиянием. Необходимо поэтому обратиться к анализу старославянской ситуации. Исследований о позиции слова СВОИ в именных словосочетаниях старославянского языка нам не удалось обнаружить, поэтому был проведен специальный анализ порядка элементов в сочетаниях слова СВОИ в Мариинском Евангелии. В старославянском тексте отношение N + СВОИ к СВОИ + N примерно равно 10 : 1. Поскольку маркированной является, несомненно, препозиция СВОИ, остановимся на случаях препозиции.

Все подобные примеры укладываются полностью в классификацию Е. В. Падучевой; препозицией отмечены значения 'свой'₂₋₅. Это значения:

1) 'свой собственный', 'свой'₂ — ꙗко прѣкъ въ своемъ отъчъствини не имать чьсти (И. IV.44); егда крѣпъкы оуржжъ сѧ хранитъ свои дворъ (Л. XI.21); вълѣзъ въ корабль истъ прѣвѣде. | приде (въ) свои градъ (Мф. IX.1); | овъца гласъ его слышатъ. | своимъ овъца глашаатъ по имени. | изгонитъ сѧ | егда своимъ овъца ижденетъ прѣдъ ними ходитъ (И. X.3); ꙗкоже члвкъ отъхода призъва своимъ рабы. | прѣдастъ имъ имѣние свое (Мф. XXV.14); въсаждъ же и на свои скотъ приведе и въ гостиницѧ (Л. X.34);

2) 'дистрибутивно свой', 'свой'₃ — и на вѣахъ вси къждо напсати сѧ въ свои градъ (Л. II.3);

3) 'надлежащий', 'свой'₅ възврати ножъ свои въ свое мѣсто (Мф. XXVI.52).

Конструкция N + *свой* более частотна, не маркирована, передает неокрашенную притяжательность и, как в древнерусском языке, чаще всего соотносится с именами, денотатами которых являются феномены непосредственного окружения и непосредственного владения актанта: сего ради оставитъ члвкъ отца своего и мать своих | прилѣпитъ сѧ женѣ своей (Мф. XIX.5); ꙗкоже члвкъ отъхода остави домъ свои. | давъ рабомъ своимъ власть и комуждо дѣло свое (Мф. XIII.34) и т. д.

Таким образом, исходная древнерусская модель может быть соотнесена со старославянской.

5. Однако решать вопрос о корреляции этих двух языков в области порядка слов мы не можем без обращения к греческим евангельским текстам, словопорядок которых в старославянских текстах обычно копировался.

Старославянским формам 'свой'₁ в греческом тексте обычно соответствуют формы местоимений αὐτός, σός, формам со значениям 'свой'₂₋₅ — греческие формы ἐαυτοῦ, ἐαυτῆς, ἰδιος (последняя чаще всего):

възъметъ крстъ свои — ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ;

извлѣче ножъ свои — αὐτοζἀπόστρεψον τὴν μάχαιραν σου;

иже во аште хоштеть дшж своих спсти — ὅς γὰρ ἐὰν θήλῃ τὴν ψυχὴν αὐίόν σώσαι;

маригѣ... възврати сѧ въ домъ свои — ὑρέστρεψεν εἰς τὸν ὄκον αὐτῆς;

ВЪЗВЕДЪШЕ ЖЕ ОЧИ СВОИ — ἐνάραντες δ' τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν;
ВЪЗВЕДЪ ОЧИ СВОИ — ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ и т. д.

Сравниваем порядок слов в старославянском словосочетании, где греческим эквивалентом является ἴδιος, ἑαυτοῦ:

ѢКО ПРѢКЪ ВЪ СВОЕМЪ ОТГЪЧЪСТВНИ — ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πα-
 τριδί;

ХРАНИТЬ СВОИ ДВОРЪ — φυλάσσει τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν;

И НА СВОИ СКОТЪ — ἐπὶ τὸ ἴδιον κτήνος;

КЪЖДО НАПѢСАТИ СѦ ВЪ СВОИ ГРАДЪ — ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ
 πόλιν;

І ПРИДЕ (ВЪ) СВОИ ГРАДЪ — ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν;

І СВОИ ОВЪЦА ГЛАШААТЪ — καὶ τὰ ἰδιά πρόβατα φωνεῖ.

Исходя из этих примеров, мы можем принять решение, что значения посессивности: 'свой'₂₋₅ в греческом языке различались лексически. Но это было бы неточно. Практически всякое несобственно притяжательное употребление соответствует греческим ἴδιος, ἑαυτοῦ (исключение — **ВЪЗВРАТИ НОЖЪ СВОИ ВЪ СВОЕ МѢСТО** — ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, об этом будет сказано ниже). Но не наоборот. Сочетаниям N + *свой* могут соответствовать эти же греческие лексемы:

ВЪ ІМѦ СВОЕ ТОГО ПРИЕМЛЕТЕ — ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ (Н. V.43);

ГЛѦИ О СЕБѢ СЛАВЫ СВОЕИ ИШТЕТЪ — τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ
 (И. VIII.18);

ОВРѢТЕ СЪ ПРѢЖДЕ ВРАТРА СВОЕГО СИМОНА — τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον
 Σίμωνα (Н. I.41);

НЪ І ОЦА СВОЕГО ГЛАШЕ БА — ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν
 Θεόν (М. V.18);

ВЪВРѢЖЕ ВЪ ВРЪТГОРАДЪ СВОИ — ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ
 (Л. XIII.19).

Что же тогда важнее для греческого — лексическое различие или порядок элементов? Если первое, то многие наши выводы для ранних этапов русского требуют дополнительной верификации, поскольку тогда старославянский порядок слов есть просто копирование греческого, где существенна только лексика, нейтрализуемая в старославянском в одном посессиве СВОИ, русский же язык все повторяет за старославянским. Но это противоречило бы обнаруженной контекстной семантике различия притяжательности

окрашенной и неокрашенной, характеризующей и русские, и старославянские тексты. Существенным здесь является указание исследователей греческого евангельского текста о том, что в греческом языке подчеркнутая «окрашенная» посессивность передавалась препозицией местоимения. Таким образом, старославянский язык заимствует некоторую общую установку: передавать несобственно посессивные значения через препозицию СВОИ [Blass, Debrunner 1979].

Подлинным исключением оказались лишь три случая в тексте всего Мариинского Евангелия: **вѣсько во дрѣво отъ плода своего познаатъ сѧ** — ἑκάστων γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ (Л. VI.44); **комоужьдо противѣ силѣ свои** — ἐκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν (М. XXV.15); **ѣкоже кокошь гнѣздо свое подъ крилѣ** — ὄρνις τὴν ἐσθλὴν νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτερυγὰς (Л. XIII.34). В этих примерах обращает на себя внимание специфическое значение 'свой'₃ — значение дистрибутивности. Возможно, реализация именно этого значения отличала старославянский порядок от греческого аналога. Тогда это соотносится с примером **свое мѣсто** — τὸν τόπον αὐτῆς и может свидетельствовать об активном становлении значений 'свой'₃₋₅ в старославянском. Возможно, значение 'свой'₅, 'надлежащий', обрело маркированную форму выражения ранее 'свой'₃. С другой стороны, для старославянского языка 'свой'₅ подчеркивается лексически — **вьсьѣко, комоужьдо** и **ѣко**, и тогда линейный фактор может быть функционально избыточным.

6. Однако оценить факты старославянского и греческого языков, а также движение словоупотребления в русском языке невозможно без обращения к позициям универсальной грамматики, в первую очередь к той ее части, которая относится к функциям порядка слов. Некоторые интересующие нас положения обнаруживаются в известной работе Дж. Гринберга [Гринберг 1970], в трактовке Универсалий 17 и 18. Универсалия 17: «С вероятностью, большей, чем случайная, можно ожидать, что в языках с доминирующим порядком VSO прилагательное стоит после существительного». Дж. Гринберг пишет: «Можно отметить, что количественные местоимения (например, "некоторый", "все"), вопросительные местоимения и притяжательные прилагательные проявляют ту же самую тенденцию предшествовать существительному, что наблюдается, например, в романских языках, но такие случаи не изучены. В связи с этим получаем следующие Универсалии: Универсалия 18. Когда описательное прилагательное предшествует существительному, указательное местоимение и числи-

тельное в подавляющем большинстве случаев также предшествуют существительному... Универсалия 19. Общее правило, устанавливающее, что описательное прилагательное следует за существительным, может не распространяться на небольшое число прилагательных, которые обычно предшествуют существительному; но когда общее правило гласит, что описательные прилагательные предшествуют существительному, то это правило не имеет исключений» [Гринберг 1970: 129—130].

Таким образом, русский язык в своем развитии пришел к статусу определителей имени, указанному Дж. Гринбергом: согласованные определения препозитивны, несогласованные — постпозитивны.

7. Последний вопрос — это вопрос о соотношении русского и старославянского словопорядков. Можно здесь принять или отвергнуть некоторые положения активно сейчас развивающейся диахронической типологии. А именно — можно считать, что русской системе исконно был свойствен иной порядок слов, чем старославянской, поэтому автохтонные русские тенденции взяли верх над старославянскими формами, т. е. рассматривать интерференцию чисто структурно и ахронически. Можно считать и иначе: русский язык пошел дальше старославянского по пути, описанному Дж. Гринбергом. Обратимся снова к старославянско-греческим параллелям. Несомненно, что в большинстве случаев греческий язык соответствует модели современного русского языка, а именно — в постпозиции размещаются неадъективные определители $\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma$, $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$ и т. д., т. е. несогласованные, в препозиции — согласованные определители. Ср. $\acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\lambda\epsilon\sigma\epsilon\nu\ \tau\omicron\upsilon\varsigma\ \iota\delta\iota\omicron\upsilon\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \pi\alpha\rho\acute{\epsilon}\delta\omega\kappa\epsilon\nu\ \dots\ \tau\acute{\alpha}\ \upsilon\pi\alpha\rho\chi\omicron\nu\tau\alpha\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$. Старославянский язык употребляет в обоих случаях согласованное определение: **призъва своѧ рабы і прѣдасть имъ имѣние свое** (Мф. XXV.14) Тогда дифференциация типов значений 'свой' в греческом языке осуществляется и позицией, и лексикой, в старославянском же — только позицией. В современном русском языке различие собственно и несобственно притяжательных значений выражается несколькими способами. Таким образом, будучи генетически близким к старославянскому языку, в своем типологическом пути, в том, что касается функций элементов и правил их словопорядка, русский язык оказался близким к греческому. Эволюционно старославянский оказывается как бы промежуточным: С некоторой осторожностью можно здесь сослаться и на мнение М. Бауэровой о средствах, вырабатываемых, когда «новый литературный язык столкнулся с теми выразительными потребностями,

которые встали при переводе такого зрелого языка, каким был греческий» [Bauerová 1958].

Проведенный анализ показал, что различие собственно притяжательных и несобственно притяжательных значений характеризует все языки анализа: русский, старославянский и греческий. Однако формы выражения этого различия могут по языкам не совпадать, могут и меняться в пределах одного языка (вплоть до диаметрально противоположных изменений). Обнаруженные факты могут быть интерпретированы путем введения иерархически организованной системы интерпретаций: от более частных до самых общих. Внутренняя непротиворечивость уровней интерпретации еще раз подтверждает выведенные фактические закономерности.

Список литературы

- Виднэс 1958 — Виднэс М. О выражении принадлежности притяжательным прилагательным и родительным падежом принадлежности в русском языке XVIII—XIX веков // Scandoslavica. Т. IV. 1958.
- Гринберг 1970 — Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Лаптева 1959 — Лаптева О. А. Расположение компонентов устойчивого словосочетания как элемент его структуры // Вопр. языкознания. 1959. № 3.
- Падучева 1983 — Падучева Е. В. Возвратное местоимение с косвенным антецедентом и семантика рефлексивности // Семиотика и информатика. Вып. 21. М., 1983.
- Blass, Debrunner 1979 — Blass F, Debrunner A. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen, 1979.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ОТРАЖЕНИЕ «КАРТИНЫ МИРА»

Свойство естественного языка передавать в рамках категориально-грамматических отношений отношение к миру, его «видение» отмечалось в последние годы в ряде исследований по функциональной семантике (см., в особенности [Арутюнова 1976; Wierzbicka 1979; 1980]), обратившей внимание не только на способность к адекватной передаче внеязыковых явлений, но и на возможности посредством языка убеждать, передавать свое отношение, выражать себя через язык. Эти языковые свойства связываются преимущественно с прагматическим подходом в лингвистическом анализе. В рамках прагматического подхода выявляются, при исследовании языковых фактов, два направления: изучаются средства собственно семантические, т. е. компоненты грамматики и лексики как показатель отношения к миру, и изучаются особенности контекстов, отличающихся разной прагматической направленностью. Уже подвергались детальному анализу категории вида и времени, лексические группы имен семантики [Wierzbicka 1979; Николаева 1981], в данной же статье делается попытка обобщить коммуникативно-прагматические особенности прилагательных (П), «одной из наименее изученных и сложных для исследования частей речи» [Вольф 1977: 7]. Коммуникативная специфика прилагательных состоит прежде всего в том, что «П совмещает в своей структуре семантический и прагматический аспекты языка, что отражается как в значении лексических единиц, относящихся к классу П, так и в их употреблении. Для П как класса слов характерно наличие субъективно-оценочных значений и соответствующих коннотаций. Таким образом, в самой семантике П оказываются связанными собственно семантический и прагматический планы высказывания» [Там же: 8]. Оказывается, что тип выбора прилагательного и строгость (точность) употребления прилагательных являются ведущим показателем различия языка упрощенного (restricted, commun) и ин-

теллектуального (*elaborated, formel*) — двух кодов, существование и функционирование которых описано на английском материале Б. Бернштейном [Bernstein 1975].

Так, для упрощенного языка употребление прилагательных и наречий очень ограничено и набор их перечислим.

Сопоставление данных, полученных для прилагательных как класса, включающего прагматический аспект в свою лексико-категориальную сущность, позволяет обобщить их и сделать следующие выводы:

1) приписывая предметам окружающего мира те или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое небезразличие к этим свойствам — посредством иерархии в приписывании этих признаков;

2) за выбором грамматических показателей адъектива стоит позитивная программа человека, его представление о нормативном статусе и позитивном сценарии событий;

3) человеку свойственно отличать признаки, относящиеся к предметам и лицам, как бы относительные, восходящие к человеку как субъекту, и признаки объективные, имманентные;

4) таким образом, благодаря приадъективным конструкциям может происходить различение и выделение человека как объекта описания и человека как субъекта описания, т. е. его автора.

Основным приводящимся далее языковым материалом являются данные польского, русского и английского языков; необходимо еще раз подчеркнуть, что предметом изложения является не столько лексическая, сколько лексико-грамматическая и тексто-грамматическая специфика прилагательных.

1. Прилагательные и характеристики внешних объектов

Оказалось, что для пар квалификативных прилагательных со значением размера: длинный — короткий, широкий — узкий и т. д. одно является в исходных конструкциях предпочтительным, употребление же другого маркировано, ограничено. Например, говорится: *10 Wagen Lang (*kurz)*, *250 Meter breit (*schmal)*, *200 Meter hoch (*niedrig)*, *35 Jahre alt (*jung)* [Bierwisch 1967].

Иначе говоря, несомненна определенная направленность человека в употреблении подобных слов, М. Бирвиш связывает такую модель употребления с «основными измерениями человеческого перцептивного аппарата». Более того, более внимательный анализ

демонстрирует достаточно большую сложность в различении объектов и их признаков:

Der Wagen ist lang = Der Wagen ist hoch;
 Die Strange ist lang = Die Strange ist hoch.
 Die Zigarette ist lang ≠ *Die Zigarette ist hoch;
 *Der Turm ist lang ≠ Der Turm ist hoch.

Сходные наблюдения о структуре пространственных отношений, отраженной в человеческом сознании, были сделаны на материале английских прилагательных [Givón 1970]. Выяснилось, что из двух антонимически связанных прилагательных размера одно, относящееся к большему размеру, является обобщенным, генерализованным, сфера же употребления другого более узка.

Так, ответ на вопрос — *How big is it?* может быть и *It is very big*, и *It is very small*. Но вопрос *How small it?* допускает только *It is very small* как ответ, но не **It-is very big*.

Соответственно: *How long is it?* — *Very long, very short*.

Но: *How short is it?* — *Very short; *Very long*. Именно эти генерализованные прилагательные являются словообразовательной базой соответствующих обозначений размера, выраженных существительными: *length* — *long* — *short*; *thickness* — *thick* — *thin* (см. по-русски: *длина*, но не *коротчина*; *ширина*, но не *ужина* и т. п.).

В работе А. Н. Журина, посвященной русским прилагательным, пространственные прилагательные вполне определенно связываются с человеком как вертикально ориентированным существом [Журинский 1971].

Так, *высокий* — это вовсе не любой длинный вертикальный, а самостоятельный и изолированный: так, водосточная труба — нет, сосулька — нет; более того, высоки те предметы, которые сами по себе таковы, а не имеют такую форму по воле человека: так, свеча — нет, бутылка — нет. Т. е. правильно воспринимаемые как высокие предметы имеют сходство с самим человеком. Свойство быть высоким оказывается, как замечает А. Н. Журинский, очень важным — так, некоторые толстые люди, если бы были на голову выше, не считались бы толстыми, вернее, это свойство не выдвигалось бы на первый план. А. Н. Журинский вводит понятие нормальной ориентации (НО) — это наиболее частое расположение ведущей пространственной характеристики предмета по отношению к говорящему. Возможная и мгновенная НО — расположение в момент речи. Мы говорим: *широкое здание*, если мы напротив него, и *длинное здание*, если проходим

мимо. Наоборот, нестандартная ориентация отражает «переходы от поперечной к вертикальной ориентации», т. е. нечто, человеку не свойственное.

Таким образом, пользуясь прилагательными размера, человек характеризует предметы, соотносясь с самим собой как с эталоном пространственного описания; исходной грамматической и словообразовательной формой является прилагательное, обозначающее большой размер.

2. Прилагательные и представление о нормативном статусе мира

Анализ грамматических конструкций, связанных с прилагательными, и анализ их текстового употребления демонстрирует еще одну черту самовыражения через язык: оказывается, что, характеризуя то или иное явление через атрибуты, носители языка имеют представление о норме, более того, сценарий мировых событий должен быть позитивным, негативное и отклоняющееся от нормы маркируется.

Например, при ассоциативном анализе антонимических связей, в тех случаях, когда требовалось назвать антоним, позитивный член назывался «дружнее» чем негативный, называвшийся как бы неохотно и иногда заменяемый неожиданным по парности словом [Decse 1965].

Таким образом, частотность ассоциаций оказывается для антонимов необоудной. Приведем данные Диза (цифры показывают число ответов; группа испытуемых количественно оставалась неизменной): *bad — good — 43; good — bad — 29; black — white — 39; white — black — 23; dirty — clean — 21; clean — dirty — 15.*

Эта склонность иметь последовательную установку на позитивную программу отмечена и в расположении однородных членов в привычных английских словосочетаниях, обследованных В. Купером и Дж. Россом [Cooper, Ross 1975]. Выяснилось, что порядок расположения этих компонентов неслучаен: недаром работа называется *World Order*, т. е. то, что стоит за *Word Order*; так, в первую очередь называется:

ближайшее — *here and there, in and out, this and that, now and then...*

- мужское — *man and woman...*¹
 взрослое — *cat and kitten...*
 позитивное — *plus or minus, all or none...*
 одушевленное — *men and machines...*
 активное — *speaker and hearer; cat and mouse...*
 основательное — *land and sea; Army and Navy...*
 источник энергии — *bow and arrow; gine and tonic...*, и т. д.

Все эти качества — позитивные; собранные вместе, по мнению авторов, и характеризуют среднего киногероя: он — *Here, Now, Adult, Male, Positive*.

Возвращаясь к собственно прилагательным, можно также отметить, что выражаемое в тексте отношение к миру, выведенное из их текстового распределения, ориентируется на позитивную стабильность мира. Р. Харвег, анализируя дистрибуцию прилагательных в тексте, определил, что они делятся на два класса — в зависимости от того, могут или нет они появляться в абсолютно инициальных фразах. Так, прилагательные *gesund, heil, zufrieden, nüchtern, normal, da, klar* и т. п. не могут быть абсолютно начальными, они «прилагательные следования» — *Nachfolgeradjektive*, у них обязательно должны быть текстовые предшественники — *krank, kaputt, betrunken, weg, komisch* [Harweg 1969]. Поэтому **Bei Müllers ist jemand gesund*; **Da hinten ist eine Frau nüchtern*. Но: *Bei Müllers ist jemand krank; Da hinten ist eine Frau betrunken*.

Прилагательные следования могут все же стать инициальными — через добавление *wieder*. Но это слово, добавленное к прилагательным следования, означает возвращение к исходной ситуации — *Karl снова здоров*; добавленное же к их антиподам, оно означает повторяемость событий: *Karl опять заболел*. За всем этим стоит, по мнению Р. Харвега, потребность в нормализации, когда нормальное есть позитивное, и это есть отражение мира в сознании человека: «Основанием этой нормализации, очевидно, является существование некоторого определенного мировоззрения, в рамках которого именно то состояние из двух возможных считается нормативным, когда оно обеспечивает позитивность» [ibid.: 342].

Показателем состояния объектов внешнего мира с ориентацией на норму является и семантика форм сравнительной степени прила-

¹ Этот порядок не является, однако, универсальным: так, в аналогичных сочетаниях, например в картвельском, последовательность обратная.

гательных [Tory Higgins 1976]. Так, из фраз *Эллен безобразнее Мэри, Том хуже Боба; Джек пьянее Билла*, мы понимаем, что статус обоих актантов не позитивен: и Мэри нехороша собой, и Билл достаточно пьян. Но по фразам *Эллен красивее Мэри, Том лучше Боба, Джек умнее Билла* мы не можем сказать определенно, что Мэри красива, Боб хорош, а Билл умен: очевидно разделение в языке и негативного, и нормативного.

Особое место в подобного рода исследованиях семантики форм прилагательного занимает анализ данных польского языка, принятый Ф. Кифером [Kiefer 1980]. Существенным для способа выражения отношения к миру дает — для польского языка — возможность как аналитического, так и синтетического выражения форм сравнения: *Kazia jest wysza niż Julia, Kazia jest bardziej wysoka niż Elżbieta; Janina jest tadniejsza niż Elżbieta, Janina jest bardziej ładna niż Elżbieta*.

Различия обеих компаративных форм на первый взгляд кажутся стилистическими. Ф. Кифер вводит особый тест на их различие — тест отрицания. При этом выявляется расслоение форм компаративов: *Kazia jest wyzsza niż Julia, Kazia jest bardziej wysoka niż Julia*.

Таким образом, формы аналитические отличаются от синтетических тем, что в них непременно содержится «пресуппозиция наличия качества»: таким образом, во фразе *Janina jest bardziej ładna niż Elżbieta* включается красота Янины, а во фразе *Janina jest ładniejsza niż Elżbieta* — нет. Однако, как замечает далее Ф. Кифер, не всегда эта пресуппозиция наличия качества входит во все аналитические формы — независимо от семантики прилагательного. Так, у прилагательных меры это различие незначимо [Ibid.: 163]:

*Herbata jest tańsza niż kawa; Herbata jest bardziej tanie niż kawa;
Ten film jest dłuższy niż tamten; Ten film jest bardziej długi niż tamten;
Ten film jest krótszy niż tamten; Ten film jest bardziej krótki niż tamten;
Kawa jest droższa niż herbata; Kawa jest bardziej droga niż herbata.*

Это же относится и к оценочным прилагательным: *Dzisiaj pogoda jest brzydsza niż wczoraj, Dzisiaj pogoda jest bardziej brzydka niż wczoraj*.

Польский язык, таким образом, обладает языковыми средствами семантико-разрешающей силы, которыми не располагает, в частно-

сти, шведский, немецкий и др. Польский язык, как видно из приводимых Кифером материалов, обладает тонкой моделью сохранения/отсутствия пресуппозиции качества в компаративе. В частности, по этому критерию различаются некоторые антонимические пары: *suchy* сохраняет пресуппозицию аналитически и синтетически, но *tokry* может иметь ее в синтетической форме, не имея аналитической, напротив *krzywy* может быть сравниваемо лишь аналитически — в отличие от *prosty*. В целом же польский язык различает два типа антонимичности: отрицание по контрасту и отрицание по противоречию. Если отрицаемое, негативное, прилагательное есть член противоречащей пары, то компаративные пресуппозиции имеют место всегда. Тогда, таким образом, достаточно синтетического компаратива. Если же негирующее прилагательное входит в оппозицию контраста, то оно может не иметь пресуппозиции, и может быть сравниваемо как аналитически, так и синтетически. Оказывается далее, что по этому критерию различаются и прилагательные цвета: *zielony*, *brązowy* могут быть сравниваемы только аналитически, *biały*, *czarny*, *czzerwony* имеют оба способа сравнения, так как их семантика многозначна.

Выше мы говорили о месте нормативного статуса в функциональной семантике прилагательного. Возвращаясь к этому еще раз, это стремление отделить — через язык — норму от не(-)нормы можно увидеть и в этих же формах компаратива. Так, прилагательные с высшей степенью качества (т. е. ненорма!) уже содержат пресуппозицию наличия: *doskonały*, *swietny*, *wybitny*, *wspaniały*. Ср. в русском: *Анна блистательнее Марии*; *Петр талантливее Павла*. Таким образом, грамматические и текстовые формы прилагательных выявляют присущее человеку устремление понимать норму — в ее отличие от не-нормы, ненормативным является и просто непозитивное и экстрапозитивное.

3. Прилагательные и субъективно-объективные свойства

Как уже говорилось выше, человеку свойственно не только выражать объективные свойства, опираясь на свой перцептивный аппарат, не только стабилизировать мир, проецируя на него свои представления о норме, но и отличать те свойства объектов, которые являются их имманентными характеристиками, объективными, и свойства заведомо приписываемые, исходящие от субъекта.

Различению последних посвящена диссертация И. А. Елисейвой [Елисейва 1981]. В работе анализируется функциональная семантика словосочетаний с прилагательным-управляющим словом: *добрый с детьми, известный среди художников, нужный для шитья, робкий с женщинами* и т. д. Во всех этих конструкциях присутствует значение ограничения, относительности признака. Оказывается, что та группа прилагательных, которая включает слова, приписывающие характеристики, а не объективные свойства, гораздо более разветвлена и входит во множество словосочетаний. Таким образом, человек как бы заранее предопределяет некоторую замкнутую локальность, или социальную ограниченность даваемых характеристик: *интересный — кому?, добрый — к кому?, покорный — кому? выгодный — для кого?* и т. д. Поэтому типичнейшей формой имени в подобных словосочетаниях является дательный субъекта. Напротив, во второй группе, в прилагательных, определяющих объективные свойства объектов, семантика имен связана не с лицами, т. е. с социальными, а в основном, с объективными же ограничениями — *бледный от усталости, смуглый от загара, золотой в солнечных лучах* и т. д. Однако в этой последней группе более отчетливо проступает пресуппозиция относительности этого, хотя и объективного, признака: вообще, видимо, не бледный, не смуглый, не золотого цвета и т. д. Точно так же *робкий с женщинами* предполагает, что не всегда робкий и т. д. Итак, выявляется еще одна особенность семантики прилагательных: социально приписываемые — в отличие от имманентных — даются как бы с большой осторожностью, с оговоркой.

Выше, в начале, отправным пунктом исследования явились прилагательные меры. Как оказалось, эти прилагательные не абсолютно коммуникативно безразличны, а имеют личностно-социальную ориентацию. Как выяснилось далее, прилагательные меры можно условно разделить на три группы: всегда относительные: *chief, actual, tall* и т. д., абсолютные: *four-legged, aged*, объединяющие оба свойства: *definite, clever, present* [Siegel 1979]. Эта особенность прилагательных мер связана с их свойством быть как предикативами, так и атрибутами. В этом плане они соотносятся уже с как будто противоположной по семантике группой — группой социально направленной оценки лица. Обратимся к полю прилагательных этой группы, попытавшись описать ее внутреннюю структуру.

4. Прилагательные оценки лица

Оказывается, что приписываемые прилагательные со значением оценки лица вообще обладают диффузностью значения и стремятся как бы соединиться в семантически размытые пучки. Как отмечает и Е. М. Вольф: «семантические связи П в синтагматике могут быть направлены на другие П — и в этом случае два П часто оказываются в грамматически (синтаксически) параллельных структурах». Нами собран материал по употреблению трех таких пучков: *тихий—скромный; волевой—энергичный; пустой—легкомысленный*.

Приведем примеры по первому из этих пучков (примеры взяты из материалов Словарной картотеки Словарного сектора ЛО Института языкознания АН СССР):

Человек богатый, но самый простой, и меня за тихое и скромное поведение очень полюбивший (А. Болотов);

Профессор Бек есть тихой, скромный человек, осторожный в своих суждениях (Н. Карамзин);

Так я уж веки здесь: тих, скромн завсегда (И. Крылов);

Пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый (В. Одоевский);

Но он жил тихо и скромно, никого не приглашая к себе (Н. Полевой);

Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком (А. Пушкин);

Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность (Н. Лесков);

Вообще в классе было сравнительно тихо и скромно (Н. Помяловский);

Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромн и тих, даже больше, чем следовало (А. Писемский);

— Дуня? — Скромная да тихая, воды не замутиг (Д. Мамин-Сибиряк);

А про Бурдовского и говорить было нечего: человек тихий и скромный (Ф. Достоевский);

И, снявши шубу, пошел своей скромной, тихой и легкой походкой прикладываться к местным образам (Л. Толстой);

В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек (М. Горький);

Тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком (А. Чехов);

Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском (С. Соловьев).

Все эти пары-связки совсем не синонимичных прилагательных. Человек скромный по существу своему может и не быть тихим, внешне тихий может быть честолюбцем и жестоким деспотом, энергичный вполне способен оказаться безвольным, а волевой — сдержанным, мало тратящим энергию. Однако, как видно по примерам, эти пучки встречаются у многих писателей. Пожалуй, судя по собранным материалам, желание разрушить клиширующуюся последовательность можно обнаружить в явной форме лишь у И. С. Тургенева:

Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно (Первая любовь);

Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом (Дворянское гнездо);

Он замечательно умный человек, хотя, в сущности, пустой (Рудин);

Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице (Дворянское гнездо).

Синтаксическая структура приведенных примеров свидетельствует о том, что названные пучки употребляются в основном в функции предиката или легко могут быть трансформированы в сочетания в этом значении. «Прилагательные, как известно, принадлежат к предикатным словам. Это основное свойство — их предикатный характер — определяет и их значение, и их употребление.

Так, в частности, классические предикаты сочетают в себе два аспекта — обозначение собственно признака и обозначение оценки, с этим связана их способность выступать в двух структурах — денотативной и квалификативной, которые обычно реализуются вместе, в пределах одного высказывания» [Вольф 1977: 6].

На глубокое коммуникативное различие идентификации и предикации неоднократно указывалось Н. Д. Арутюновой, отмечавшей стремление идентификации к точности и предикации к размытости, подчеркивавшей «простую и в то же время основополагающую идею о функциональном (коммуникативном) различии субъекта и предиката, об отношении первого из них к миру, а второго к мышлению о мире» [Арутюнова 1978]. В самом деле, и коммуникативные усилия при этом затрачиваются различные: так, в любой «средней» беседе огромное значение придается точности идентификации объекта, хотя бы объект назывался только для примера и был в сущности безразличен. Иными словами, коммуникативная значимость предиката бывает затемнена и аннулирована идентификацией субъекта. Нечто подобное можно заметить и при восприятии научных сообщений, когда в дискуссии обсуждается скорее «тема», а не «рема» сообщаемого. Характерны при этом и ассоциативные добавки к теме, часто не имеющие отношения к основной теме (мысли) сообщения и никак на нее не влияющие. Более того, о психическом здоровье человека судят по тому, «узнает» ли он, чем по тому, насколько разумные вещи он сообщает об известных объектах.

Особое положение прилагательных, отмеченное выше, диктует их объединение в диффузный семантический пучок в связи, как представляется, с двумя обстоятельствами.

Первое из них мы предлагаем назвать стремлением к характеристизации одним признаком.

Если еще раз вернуться к делению признаков на оценивающие, приписываемые и имманентные, то для вторых в упоминавшейся работе А. Л. Журина устанавливается наличие главных размеров в человеческом восприятии. Это длина, высота и глубина. При этом мы стремимся назвать предметы по одному главному размеру, не сообщая при этом об остальных его характеристиках, хотя бы они были очевидны для восприятия: «Когда мы называем длинным забор, мы никак не учитываем у него высоты». Со всей очевидностью здесь напрашивается аналогия с оценочными характеристиками человека. При коммуникативной характеристизации за отдельным лицом обычно закрепляется одна какая-то черта, ко-

торая и сообщается. Таким образом, обилие оценок, предоставляемое лексическим богатством прилагательных, в коммуникативном плане сводится к небольшому числу базовых штампов. «Базовая система специфицирующихся дескрипций — это нотация того типа, когда объекты характеризуются некоторыми базовыми атрибутами. Сами эти атрибуты, в целях эффективности дескрипций, являются одномерными и некоррелируемыми, как и все базовые прилагательные в языке».

Возникновение семантических пучков связано таким образом с тенденцией к уменьшению возможных характеристик.

Второе обстоятельство, препятствующее дифференцированному употреблению оценочных прилагательных и способствующее их объединению в пучок, связано с формой и сущностью у приписываемого качества, с отдельностью формы и сущности. А именно: такие качества, как быть волевым, скромным, пустым, должны как-то проявляться. Иногда установка на подчеркивание формы проявления положительно оцениваемых качеств может даже приводить к их ликвидации. Например, широко известно поведение на конференциях, собраниях людей, входящих с опозданием и демонстрирующих «деликатное» поведение: всячески показывая всем, чтобы о них не беспокоились, они в конце концов устраиваются подчеркнуто неудобно или стоят. Понимают ли носители подобных социальных ролей, что быстро пройти в первый ряд и там сесть было бы гораздо более деликатно «по существу»? Вероятно, да, но в данном случае побеждает столь характерная для социокоммуникативных отношений боязнь, хотя бы в случае легких изменений внешних форм, получить другую социальную роль.

Если с этой точки зрения рассмотреть названные выше пучки прилагательных, то окажется, что из объединяемых в пары прилагательных одно является более «внешним», другое более «внутренним». Так, внешние — это *тихий, энергичный, легкомысленный*. Таким образом, можно, устанавливая или имитируя более легко воспринимаемое внешнее свойство, вызвать квалификацию данного объекта и вторым словом. Это открывает возможности и для манипулирования социальными ролями. См. у Б. Бернштейна, согласно которому «ограниченное употребление прилагательных свойственно общему языку, возникающему там, где идет нивелировка индивидов, т. е. распределение социальных ролей» [Bernstein 1975: 31]. Именно сходную мысль о склеивании двух прилагательных при оценке, когда один образ может быть представлен на размерной шкале, а второй

расплавчат, мы находим в статье Д. И. Шапиро [Шапиро 1978], когда оценка «красивая женская нога» представляется как стройная нога + длинная нога.

Резюмируя сказанное, можно обобщить.

1. Характеризуя через прилагательные внешние объекты, человек опирается при этом на особенности своего перцептивного аппарата.
2. При характеристике существенным является и представление о мире: установка на позитивную норму, отклонения от которой маркируются.
3. Человек различает характеристики имманентные, присущие объектам, и приписываемые им субъектом.
4. Прилагательные, оценивающие лица, часто объединяются в контексте, в синтагматике, в диффузные семантические пучки, поскольку они наиболее отчетливо демонстрируют скрытую предикацию.
5. При этом наблюдается тенденция к квалификации объекта одной характеристикой.
6. В объединении и предпочтении одной из характеристик значительную роль играет отношение «форма—сущность», выбирается в качестве основной характеристика по форме.

Список литературы

- Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
- Арутюнова 1978 — *Арутюнова Н. Д.* Синтаксические функции прилагательных // ИАН СЛЯ. 1978. Т. 37. № 6.
- Вольф 1977 — *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика прилагательного. М., 1977.
- Елисеева 1981 — *Елисеева И. А.* Семантические и синтаксические свойства классов имен прилагательных: Автореф. ... дис. канд. филол. наук. М., 1981.
- Журицкий 1971 — *Журицкий А. Н.* О семантической структуре пространственных прилагательных // Семантическая структура слова. М., 1971.
- Николаева 1981 — *Николаева Т. М.* Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект // ИАН СЛЯ. 1981. Т. 40. № 1.

- Шапиро 1978 — *Шапиро Д. И.* Об использовании «распывчатых образов» как средства изучения неосознаваемой психической деятельности // Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Т. III. Тбилиси, 1978.
- Bernstein 1975 — *Bernstein B.* Uhe theorie sociologique de l'apprentissage // *Bernstein B.* Langage et classes sociales. Paris, 1975.
- Bierwisch 1967 — *Bierwisch M.* Some semantic universals of German adjectives // Foundations of language. 1967. V. 3. № 1.
- Cooper, Ross 1975 — *Cooper W., Ross J. R.* World order // Functionalism. Chicago, 1975.
- Decse 1975 — *Decse J.* The structure of associations in language and thought. Baltimore, 1965.
- Givón 1970 — *Givón T.* Notes on the semantic structures of English adjectives // Language. 1970. V. 46. № 4.
- Harweg 1969 — *Harweg R.* Nachfolgeradjektive // Folia linguistica. 1969. T. III. № 3/4.
- Kiefer 1980 — *Kiefer F.* Adjectives and presuppositions // Theoretical linguistics. 1980. № 1.
- Siegel 1979 — *Siegel M. E.* Measure adjectives in Montague Grammar // Linguistics Philosophy, and Montague grammar. Univ. of Texas Press, Austin, 1979.
- Tory Higgins 1976 — *Tory Higgins E.* Effects of presupposition on deductive reasoning // Journal of verbal learning and verbal behavior. 1976. V. 15. № 4.
- Wierzbicka 1979 — *Wierzbicka A.* Ethno-syntax and the philosophy of grammar // Studies in language. 1979. № 3.
- Wierzbicka 1980 — *Wierzbicka A.* Lingua mentalis. Sydney; London; New York, 1980.

«МОДЕЛЬ МИРА» В ГРАММАТИКЕ ПАРЕМИЙ. ГРАММАТИКА ПАРЕМИЙ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР. РАЗЛИЧИЕ В СОЦИАЛИЗАЦИИ И ГЛУБИННОЙ ГРАММАТИКЕ ПОСЛОВИЦ И ЗАГАДОК

1. Социальные функции паремий

1. Предметом настоящего исследования¹ является грамматика основных видов паремии — пословицы и загадки, — рассмотренная с разных точек зрения. Это — вхождение ее в общенормативную грамматику набором употребляемых категориальных форм, выявление дополнительной семантической нагрузки у грамматики в ее соответствии с социальными установками паремии, определение типовых ситуаций в рамках паремийного высказывания, наконец, соотнесение этих ситуаций с древнейшими реконструируемыми типами индоевропейского предложения.

Кроме того, паремийный материал, собранный по соответствующим сборникам загадок и пословиц на славянских языках², дает возможность сопоставления русских данных в пределах семьи родственных языков, а собранные по разным источникам переводы русских паремий на языки с системой артиклей предоставляют возможность понять колебания в интерпретации глубинной семантики привычных русских текстов.

2. Как представляется, долгое время паремии, пословицы и загадки, изучались в основном в пределах фольклора и методами фольклористических исследований в изоляции от грамматики в ее теоретико-функциональном аспекте. Между тем историю лингвист-

¹ Настоящая публикация является обобщением части исследования большего объема, входящего в коллективную монографию «Загадка как текст» (М.: Индрик, 1994).

² Использовались данные всех основных литературных славянских языков, за исключением словенского и серболоужицких.

тики XX в. можно по существу свести к преобразованию знаменитого положения Ф. де Соссюра о том, что язык существует «в себе и для себя», в тезис «в себе, но не для себя». Как пишут современные социолингвисты: «Значение всегда является значением для кого-либо. Нет такой сущности, как значение предложения само по себе, вне зависимости от каких-либо людей. Когда мы говорим о значении предложения, это всегда значение для кого-либо, для реального лица или гипотетического типичного представителя языкового сообщества» [Лакофф, Джонсон 1987: 170]. Обратим внимание на названного выше последнего адресата. Именно к нему и обращается перлокутивная установка паремий. Они создаются обществом для себя в целом и для каждого его члена. Их цели: 1) сообщить нечто основное и/или изначальное о мире и о человеке; 2) способствовать гомеостазированию общества в целом; 3) воздействовать на потенциального «блудного сына», одиночку, с тем чтобы вернуть его в лоно соборного Коллективного Разума. Необходимо, однако, сразу же оговорить, что эти три цели реализуются обеими паремиями по-разному, в разной степени и модифицирующимися в отдельные эпохи существования и развития общества способами.

И пословицы, и загадки обладают своей коммуникативной спецификой, будучи в предельной степени включенными в коммуникативный контекст, ибо если можно представить себе изолированные высказывания вроде *Сегодня как будто бы обойдется без дождя*, то человек «ни с того ни с сего» произносящий *С волками жить — по-волчьи выть* покажется более чем странным. Однако, функционируя только на макроконтэкстном уровне, паремии не могут быть встроены в нейтральные высказывания путем разного рода анафорических и собственно синтаксических средств. Поэтому их перлокутивная структура должна быть особой.

Кроме того, в большинстве нейтральных высказываний мир представляется как система, потенциально преобразуемая. «Мир моделируется как набор суждений, которые представляют наши знания о его статических характеристиках. Этот мир изменяется посредством действий, которые могут рассматриваться как параметрированные процедуры» [Аллен, Перро 1986: 320]. А в паремийных же высказываниях воздействие ориентировано на поведение типизированное, целью которого является не преобразуемый мир, а стабилизированный. Пословицы, по определению А. А. Крикмана, есть не гносеологические, а прагматические орудия [Крикман 1984: 165]. Поэтому даже пословицы, сообщающие о природе, рас-

тениях, животных и т. д., суть на самом деле сообщения о человеке и его действиях. При этом сообщаемое и не универсально, и не конкретно только, но соединено с социальным как с промежуточным звеном.

Причину психологической готовности к применению пословиц в коммуникации видят не только в том, что это одна из наиболее действенных структур убеждения, но и в их свойстве способствовать установлению общности у членов коммуницирующего социума. Так, в настоящее время псевдопаремийный материал с успехом применяется в психотерапии, когда сначала квазипословицы сплачивают людей, а потом служат в качестве ностальгических реминисценций, чем-то связанным с началом выздоровления, и тем самым служат вторичным средством стабилизации [Rogers 1989]. Естественно, что пословичная модель легко находит свое продолжение в политических лозунгах и призывах унитарных систем [Militz 1991].

Может создаваться впечатление, что загадка, в отличие от пословицы, социально нейтральна и эволюционно нетрансформируема. Однако это вовсе не так. На заре своего существования загадка обращена прежде всего к осознаваемому человеком Космосу, Вселенной, при том особом мироощущении, когда Макромир и Микромир воспринимаются как идентичные и сосуществующие в Едином. Можно полагать, что архаичное мышление не знало ни дедукции, ни индукции в нашем современном понимании, т. е. того позитивистского подхода, который всегда предполагает укрупнение феноменов в родовые и видовые понятия без субстанциального перерыва в мышлении. То есть отгадывание Вселенной по архаической модели есть Отображение (Мимесис), нечто гомогенное искусству. Однако очевидно, что на этом древнем этапе не все владели тайным знанием и тайным умением Отображения. Поэтому подобные знания являлись и социальной характеристикой приобщенности к некоей социальной группе. При этом само отгадывание имело место как результат Отображения. В. Н. Топоров и Т. Я. Елизаренкова в работе о ведийской загадке подчеркивают, что при разгадывании ведийской загадки «найденный смысл всегда нов и единствен», что «открытие, обретение смысла всегда нечто сверхъестественное, всегда чудо, доступное лишь для носителя высокой мудрости» [Елизаренкова, Топоров 1984: 15].

В более поздние и гораздо более поздние эпохи члены социума заучивают соответствующие ответы с детства, уже не постигая ин-

дидуально некие смыслы отгадок, заучиванием они страхуют себя от подозрений в социальном аутсайдерстве.

При возникновении письменных культур с их ярко выраженным в более позднее время логоцентризмом, культом отдельного слова и новой графической формой выражения загадка обязательно должна была обновить одежду и войти в письменную культуру, не меняя при этом установки на социальное единодушие и сдвиг «горизонта ожидания» при отгадывании. Возникают так называемые автонимические загадки. См. *А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе? — Союз И; Что находится центре Парижа? — Буква Р; Чем кончается всё? — Буквой Ё* и под. Естественно, что никаким высшим жреческим озарением ответ на автонимическую загадку быть получен не может. Его можно только знать, поскольку базирующиеся на графике автонимические загадки суть продукт Микромира и к Микромиру и обращены. Они в еще большей степени выполняют задачу проверки на социальную включенность и в еще большей степени мучительны для потенциального аутайдера, каким обычно оказывается уже умеющий читать и писать ребенок младшего школьного возраста.

По мере развития европоцентрической цивилизации для входящего в нее лица факт потенциального незнания ответа на загадку перестает быть социально опасным. И теперь загадка оборачивается второй своей стороной — обманутым ожиданием; принципиальной неразгадываемостью. Загадка становится забавным загадкоанекдотом. *Что такое: зеленое, висит и пищит? — Селедка; Что такое — четыре черных ноги? — Это одноногий негр играет на рояле* и под. Важно то, что в коммуникативно-социальном плане анекдот как бы противоположен загадке: знать его вовсе не обязательно, напротив, незнание в данном случае дает возможность собеседнику рассказать его еще раз. Таким образом, загадкоанекдоты также сплачивают общество, но другими коммуникативными методами, чем архаические загадки и загадки автонимические.

Итак, и загадка, и пословица являются, по Аристотелю, энтимемами, средствами убеждения [Green, Pepicello 1986]. Воздействие энтимемического характера — это особый вид риторической стратегии, который не строится по правилам логики и развития силлогизма; а основывается на общем фонде знаний слушающего и говорящего [Todorov 1978: 227].

Можно предположить, что аналогия, принцип аналогического соотнесения ситуации, является фактором, объединяющим загадку

и поговорку. Такими путями фольклорные тексты, направленные на стагнацию, аннулируют выбор, т. е. именно то, что порождает личность.

3. В последние десятилетия произошел большой сдвиг в языкознании, пройти мимо которого для нужд паремиологии, на наш взгляд, невозможно. Мы говорим о двух языковедческих направлениях.

Первое — это направление, изучающее целевую установку при речевом поведении. Оно прежде всего связано с именем Дж. Остина, различавшего локуцию, иллокуцию и перлокуцию. Связано оно и с теорией речевых актов, с идеями речевой кооперации, с так называемой когнитивной лингвистикой, описывающей язык как социализированное пространство.

Вторым обещающим направлением является новый подход к трактовке категорий грамматики. Прежнее разделение грамматического описания на два слоя: парадигматическое представление с таксономией форм и так называемые правила употребления — оказалось недостаточным, и перемещение в сторону человека потребовало антропоцентрического подхода к категориальной грамматике. С этим направлением связан круг работ, посвященных так называемой картине мира в каждом языке.

Мною был произведен анализ двух феноменов грамматики паремий: 1) квалификационно-содержательное определение типа вербального предиката в поговорке и загадке; 2) референционного статуса имени в обеих паремиях. Анализ проводился как бы остренно, исключительно путем сопоставления самих грамматических форм и их квалификации в наиболее фундаментальных работах по грамматике современного русского языка. Прежде всего использовались тома Функциональной грамматики русского языка, издаваемой в последние годы под руководством А. В. Бондарко [Теория функциональной... 1990, Теория функциональной... 1991], две академические грамматики [АГ-1952—54; АГ-80] и труды Е. В. Падучевой и О. Н. Селиверстовой по референционному статусу имени, а также отдельные специальные работы по универсальным высказываниям и именам с абстрактным и универсальным значениями (Е. Н. Гаврилова, Л. И. Лебедева и др.). Эта установка на «чужую» интерпретацию категориальной семантики была выбрана совершенно сознательно — чтобы избежать гипнотического воздействия самого паремийного материала.

Полученные результаты.

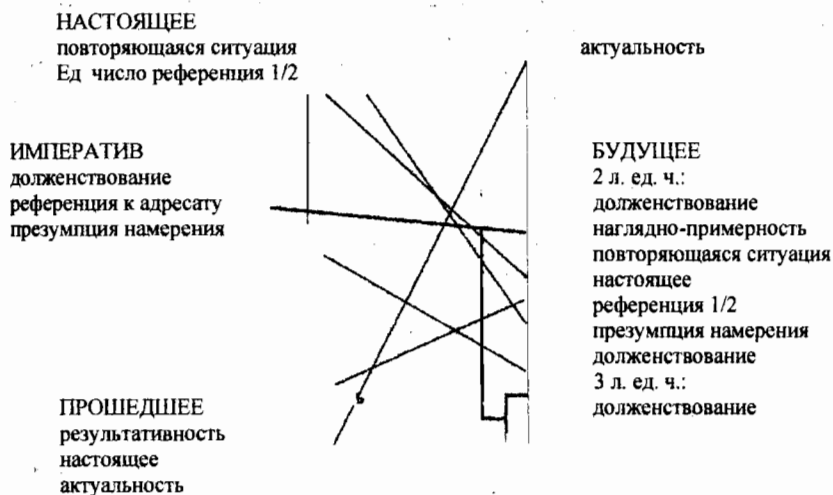
2. Предикат в пословице и загадке

1. О семантике предиката в безусловных пословичных структурах можно сказать следующее:

а) В славянских пословицах безусловной структуры употребляются преимущественно непериферийные формы глагола: настоящее время, прошедшее, будущее время, императив (т. е. это ядро глагольной парадигмы).

б) Формы числа и вида не равноправны и не равнозначны. Императив функционирует только в единственном числе. Есть различия по персональности в сфере настоящего: *Рыбак рыбака видит издалека* и *Цыплят по осени считают*.

в) Самым существенным оказалось то, что при непериферийности формы глагола пословицы, как правило, используют разнообразные периферийные оттенки, или семантические наложения, функциональной семантики форм, т. е. неосложненная категориальность практически не используется. Эти дополнительные для каждой категории смысловые наложения сближаются, объединяя категории функционально. Таким образом, сквозь различия категориальных форм просвечивает некая общая диффузирванная семантика паремии, общность которой видна только при расчлененном семантическом анализе каждой из парадигматических единиц. Эти смысловые корреляции глагольных форм пословичных структур можно представить наглядным образом:



Таким образом, непредставленность семантики возможных миров в семантике пословичных глагольных форм компенсируется обилием «супервременных», или первично синкретичных, привходящих коннотаций.

2. Обращенная практически к каждому и во все времена, поговорка все же не игнорирует возможности быть советчиком при некотором ограниченном числе случаев, т. е. при ситуациях потенциальных. Очевидно, что условность понимается здесь широко, т. е. имеется в виду реализация некоторой ситуации только в качестве функции от переменной — другой ситуации X. При таком подходе условную семантику имеют и сложные предложения со значением причинности, уступительности, собственно условия, множество бессоюзных структур самой разнообразной семантики. Именно такое понимание условности и представлено в АГ-80 [АГ-80, т. II: 562]. Таким образом, разнообразные формы предикатов в условных структурах как бы описывают разнообразие возможных моделируемых ситуаций, в которые может привести исходная обусловленная ситуация. Однако эта свобода выбора предрешенным образом оказывается обреченной именно при наложении на онтологическую дидактичность поговорки. Совершенно очевидно, что в безусловных предикатных структурах «проработанность» глагольных категорий значительно больше, чем в условных. Поэтому в них коммуникативная установка как таковая сама более тесно сплетена с категориальной семантикой формы. А в «условных» же предложениях речения повернуты к адресату не самим сообщаемым, а некой дополнительной ситуацией, потенцируемой или нереализованной. Эти «теневые» структуры входят в модели грамматики паремий и могут, по нашему мнению, быть описаны и истолкованы тремя возможными наложениями:

А. 'Может (могло) быть и хуже'

Пакуль ёсць хлеб ды вада — усё не бяда (бел.);
Покі хліб та вода, то ще не беда (укр.).

Б. 'А может (могло) быть лучше и иначе'

Не замесіт густа, як у амбары пуста (бел.);
Тягни, кобыло, хоч тобі не міло (укр.).

В. Пословичные высказывания, теневая семантика которых может быть определена по аксиологии только в контексте. Обычно они

характеризуют некую ситуацию как результативную, стабилизирующуюся:

Як граюць, так і таінуюць (бел.);

Каквото повикнало, тавоз се откликнало (болг.);

Назвался груздем — полезай в кузов (рус.).

3. Предикат в загадке выполняет совершенно иную функцию, чем предикат в пословице. Смысловым центром пословицы обычно является проскрибируемое действие, предикат. Центр загадки — это имя. Именно имя, т. е. явление, предмет, феномен, и отгадывается; к нему и обращены предикаты, которые служат как бы связующим звеном между ним и миром. Пословица обращена к действующему человеку, загадка обращает человека вовне. Потому в загадке возникает некий стоп-кадр. Внутри этого стоп-кадра перемещение и движение возможно, но это кадр с семиотической рамкой. Макромир, как мы и говорили, равен здесь Микромиру. Поэтому времена в глаголе могут и меняться: даже стагнированный кадр может быть именован по-иному: *Яблоки рассыпались, Лежат рассыпанные яблоки, Кто-то рассыпал яблоки*, но это всегда — *la nature morte*. Именно поэтому в предикатах загадки глагольных форм много, но нет периферийных форм, описывающих альтернативные миры, тогда как пословица и в обусловленных ситуациях диктует *modus vivendi*.

Итак, какие модели состояния описывают предикаты загадок:

а) результат, перфективность, то, что мы видим сейчас как следствие первичного действия:

Рассыпался стакан по всем городам; Олена-царевна по городу ходила, ключи оборонила; Сивка море перескочил, а копыта не смочил и т. д. (рус.); *Червоне коромисло через річку повисло: Летіло золото, а стало болото* (укр.); *Бела кабыла увесь лес паела: Месяц бачыў, а сонца украла* (бел.) и т. д.;

б) вечно длящееся действие, имеющее место вчера, сегодня и завтра:

Лежит кучка поросят, кто ни тронет — завизжат (рус.); *Живе без тіла, говорить без языка, ніхто його не банить, тільки чує* (укр.); *Цервен ус чърно тело лиже* (болг.); *Брат брата гониць, ніколі не да-гониць* (бел.) и под.

Загадка демонстрирует две модели описания мира, две картины. На одной изображено извечное действие, часто глагол типа *стоит, лежит, сидит* и под., но вместо глагола может быть именная характеристика: *С хвостом, а не мышью* и т. д.

Вторая картинка — результат, по которому мы можем догадываться о происшедших событиях: *Червоне коромісло через річку повисло*.

Итак, основные ситуации: результативное прошедшее и длежащее настоящее. Так как первое свидетельствует о преобразованиях при мировом творении, а второе — о сегодняшнем статусе сотворенных элементов, то возможны свободные замены категориальных форм в разных фиксациях загадок: при этом перфект соответствует обычно настоящему, а настоящее длежащее — имперфекту: *Сидел птах на белых горах — Сидит птах на белых горах* (Курица на яйцах); *Летит пан, на воду пал и воды не всколыхнул, В лесу летало, в воду упало, не булькнулось* (Пух или перо) и т. д.

3. Референциальный статус имени

1. Известно, что референциальный статус имени в пословицах связывается с обобщенностью, к имени добавляется значение квантора всеобщности 'всякий', 'любой'. В языке это значение связано с денотативным референциальным статусом неопределенности. Поэтому, кроме повторения этого очевидного наблюдения, казалось существенным понять, какое же расслоение характеризуемых моделей встает при более детальном анализе пословичных высказываний. Для этого привлекались данные артиклевых языков, во-первых, и собранные по разным паремиологическим работам примеры переводов на артиклевые языки русских пословиц, во-вторых.

Кроме того, предваряя эти данные, необходимо заметить, что, говоря о статусе имени в пословице, на самом деле говорят не обо всех именах пословиц, а обычно об одном имени, просто первом по порядку или о локализирующем имени. Например, *В тихом омуте черти водятся* — это во всяком тихом омуте, а не *В тихом омуте водятся всякие черти* и под.

При наличии двух имен при переводе оказались возможными следующие артиклевые комбинации: О — определенный, Н — неопределенный, 0 — нулевой.

O — O:

*Яйца курицу учат — Die Eier lehren das Huhn.**Игра не стоит свеч — Das Spiel lohn nicht die Kerzen.**Куда иголка, туда и нитка — Wohin die Nadel, dahin auch der Faden.**На воре шапка горит — Auf dem Dieb brennt die Mütze.*

O — H:

*Из-за деревьев не видит леса — Er sieht den Wald vor Bäumen nicht.**Нашла коса на камень — Die Sense stiess auf einen Stein.*

O — H:

У страха глаза велики — Furcht hat grosse Augen.

H — H:

*И на старуху бывает проруха — Auch eine Alte macht einen Fehler.**С больной головы да на здоровую — Vom einen Kranken Kopf auf einen Gesunden.*

H — O:

*Будет свинка, будет и щетинка — Wird es ein Schweinchen geben, wird es auch Borsten gehen.**В чужой монастырь со своим уставом не ходят — In eines fremdes Kloster geht man mit seinen Regeln nicht hinein.*

O — O:

Нет дыма без огня — Wo Feuer ist, da ist auch Rauch.

Когда в пословице представлено только одно имя, то возможны три решения:

O — *Куй железо, пока горячо — Schmiede das Eisen, solange es heiss ist.*H — *Бедя никогда не приходит одна — Ein Unglück kommt selten allein; Misfortunes never come alone; Un malheur n'arrive jamais seul.*O — *Чужой мед горек — Fremder Honig ist bitter.*

Какие из этого можно сделать выводы?

1) Абстрактное имя (свойство, качество) передается, как правило, нулевым артиклем. Однако интересным исключением является слово *беда* в трех языках — с неопределенным артиклем. Это вполне соотносится с принципиальной «неосваиваемостью» беды, которая была нами подмечена при опросе информантов по вопросам посещивности.

2) При двух единообразных неопределенных артиклях ситуация представляется как цельная.

3) Возможно изображение ситуации как центрированной. Тогда окружающие явления входят в сферу интересов этого центра. Артикли определенные: *Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm; Wohin die Nadel, dahin auch der Faden.*

2. Для загадки существенно отношение имени с разными типами артикля в самой загадке и в отгадке. Для имени-отгадки выявились три возможности:

а) имя-отгадка представлено нулевым артиклем:

Sidit девица в темнице, коса на улице. — Морковь.
Es sitzt ein Mädchen in einem Kerker, der Zopfist draussen. — Rübe.
Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька. — Кошка.
Ist völlig zottellog, hat vier Pfötchen und einen Schnurrbart. — Katze.
Стоит копытце, полно водицы. — Колодец.
Es steht ein Trog, voll vom Wasser. — Brunnen.
Дядя Афанасий лыком подпоясан. — Веник.
Onkel Aranasij mit Bast umgürtelt. — Besen.
Черен — да не ворон, рогат — да не бык. — Таракан.
Schwarz, aber keine Rabe, gehört aber kein Stier. — Kuchenschabe.

б) имя-отгадка передается неопределенным артиклем:

Что не корыстно? — Коромысло.
Was ist uneigenmützig? — Ein Tragejoch.
Стоит сноха, ноги развела. — Соха.
Es steht eine Schwiegertochter, sie hat die Beine auseinandergestellt. —
 Hakenpflug.
Два Петра в избе. — Ведро.
Deux Pierres a la maison. — Des seaux.

в) имя-отгадка передается определенным артиклем:

Самсонца в избе. — Солоница.
Dame Samson à la maison. — La salière.
Нет ни окон, ни дверей, посередине архиерей. — Орех.
Pas de fenêtres, ni de portes. Au milieu un évêque. — La noix.
Что в избе бодро? — Ведро.
Was ist in der Hütte Erfrischendes? — Der Eimer.
Что в избе Фрол? — Стол.
Was in der Hütte Frol? — Der Tisch.

Попытаемся ответить на вопрос о различии в артикле отгадки в соотнесении с ситуацией загадочного текста?

В первой группе отгадка понимается как воплощение класса, а не как его представитель, т. е., так сказать, таксономическая кошка или вообще зверь. Как видно по примерам, текст загадки при этом характеризующий: *Вся мохнатенька...*

Ответ во второй группе представляет не общее родовое понятие, а некоего представителя этого рода. Текст загадки, как видно также по примерам, является описанием ситуации, а не характеристикой: *Скребется в углу пузырчатый мышонок в брюхе.* — (Всякая) беременная женщина.

В третьей группе загадывается единственно возможный для данного локуса объект. Определенный артикль отгадки в данном случае предрешен.

Однако необходимо заметить, что рассматривались примеры с артиклями-данностями. На самом деле передать артиклем современной категориальной семантики значение имени в русской архаической загадке достаточно сложно. *По горам по долам* гуляет и единичный баран, и баран вообще, и Первобаран начала творения. Именно этот пример был переведен нашими информантами на французский язык и с определенным артиклем, и с неопределенным.

4. Корреляты пропозиции

Следующий этап анализа — попытка найти корреляты пропозиции, т. е. осуществить ситуативное прочтение оси предикат—имя. В пословице вычленить семантическую обусловленность пропозициональных структур не удалось. Актанты пословиц подобны героям басен: это может быть слон, бочка, мартышка, стареющая красавица — морализаторская значимость при этом не изменится.

Иное положение в загадке. Для загадок архаической структуры соотношение имени загадываемого и имени отгадываемого во многом предсказуемо. Это корреляция трех основных компонентов: Феномен Природы (1); Одушевленное живое существо (2); Артефакт, продукт цивилизации (3). Таким образом, возможны отношения: 1/2; 2/1; 1/3; 3/1; 2/3; 3/2; 1/1; 2/2; 3/3. Например:

Выше сарая две куклы играют. — Солнце и Месяц (3/1); *Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка.* — Месяц (3/1); *Белы хоромы, красны подпоры.* — Гусь (3/2); *Лежит холм, а за холмом две*

ямы. — Глаза (1/2); Месяц-новой днем на поле блестел, к ночи в небо слетел. — Серп (1/3) и т. д.

Предикаты в загадке архаической структуры также во многих примерах тяготеют к определенной семантике. Чаще всего это семантика стабильности, покоя: *сидит, лежит, стоит* и под. Такие соотношения анализируются в книге Ю. С. Степанова, ориентированной на лексические вхождения в структурные схемы предложения [Степанов 1989].

И вот здесь, как представляется, общий текст загадки демонстрирует интересную тенденцию. Типы I и II индоевропейского предложения, т. е. различающиеся по степени активности / инактивности субъекта, в загадке стремятся к объединению. А именно — если активно имя загадки, то инактивно имя отгадки. И наоборот. Например:

За окошком стоит Антошка. — Месяц; Среди леса, среди леса лежит шмат железа. — Змея; Под мостом, мостом лежит гиря с хвостом. — Змея; Зимой калачом, летом пирогом. — Собака.

Предикат архаических загадок также тяготеет к стагнированности: *стоит, лежит*; стагнированный результат описывает и перфектная форма, и медиальная, связанные с древнейшим *hi*-спряжением.

Таким образом, постепенное погружение в семантику паремии может дать основание для объявления синтаксиса загадки синтаксисом древней индоевропейской модели по сравнению с пословицей, очевидно, более позднего происхождения. За лексической структурой текста загадки проступает корреляция живого / неживого (последний класс представлен как явлениями Природы, так и Продуктами деятельности человека). Центром пословицы является глагол, грамматика которого осложнена категориальными коннотациями проскрипционного характера, центром загадки является имя.

Принятые сокращения

АГ-1952—54 — Грамматика русского языка. М., 1952—1854.

АГ-80 I — Русская грамматика I. М., 1980.

АГ-80 II — Русская грамматика II. М., 1980.

Список литературы

- Аллен, Перро 1986 — Аллен Дж. Ф., Перро Р. Выявление коммуникативно-го намерения, содержащегося в высказывании // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1986.
- Елизаренкова, Топоров 1984 — Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. О ведийской загадке типа *brahmodya* // Паремиологические исследования. М., 1984.
- Крикман 1984 — Крикман А. А. Опыт объяснения некоторых семантических механизмов пословицы // Паремиологические исследования. М., 1984.
- Лакофф, Джонсон 1987 — Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Степанов 1989 — Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Теория функциональной... 1990 — Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А. В. Бондарко. Л., 1990.
- Теория функциональной... 1991 — Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб., 1991.
- Green, Pepicello 1986 — Green Th., Pepicello W. The proverb and riddle as folk enthymemes // Proverbium 3. Ohio, 1986.
- Militz 1991 — Militz H.-M. Das Antisprichwort als semantische Variante eines sprichworten Textes // Proverbium 8. Vermont, 1991.
- Rogers 1989 — Rogers T. B. The use of slogans, colloquialisms and proverbs in the treatment of substance addiction: a psychological application of proverbs // Proverbium 6. Vermont, 1989.
- Todorov 1978 — Todorov T. La devinette // Todorov T. Les genres du discours. Paris, 1978.

**«ЗЕРКАЛО РЕЦЕПЦИИ»:
ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ.
МОСКОВСКИЕ ДИАЛОГИ**

1

В работе [Николаева 1990] говорилось о принципах «не-кооперации» в официальных диалогах Москвы, когда советские продавцы, библиографы, работники аптеки и т. д. ощущали себя хранителями «общешоковой» информации, а не знающий ее представал неким аутсайдером, социальным отщепенцем.

Несколько примеров из той поры, опубликованных в указанной работе.

(1) <В библиотеке им. В. И. Ленина.>

Посетитель:

— *А где я могу взять требования?*

Сотрудник:

— *А там нет?*

— *Где там?*

— *А где всегда лежали?*

— *А я что-то не вижу.*

— *А на обычном месте, около шкафа, посмотрите.*

Или:

(2)

— *Скажите, у вас валокордин жидкий или в таблетках?*

— *Можете платить 30 копеек!*

— *А это жидкий или в таблетках?*

— *Я же сказала: платите 30 копеек.*

(3)

— *Скажите, спички по две копейки?*

— *И когда это было? и под.*

Резко изменившаяся жизнь России потребовала иного отношения к посетителю (клиенту, покупателю, туристу и т. д.), когда важно понять, чего он хочет, и ответить ему желанной информацией.

2

В нашей статье высказывается гипотеза, что: 1) «зеркало рецепции», восприятие сообщаемой информации, в принципе может быть (и бывает) неадекватным коммуникативной интенции говорящего, 2) что эта асимметрия во многом обусловлена социальными и общефоновыми культурными различиями, 3) что так называемые «коммуникативные неудачи» не случайны, но за ними стоят определенные перцептивные структуры, 4) что (иногда) перцепция информации у людей «на работе» и дома различается и это различие может быть описано.

Через всю монографию «От звука к тексту» [Николаева 2000] проходит идея сосуществования двух систем: валоризованной и эмпирической. Первая изменяется под влиянием второй, при определенном накоплении данных, переходящем через когнитивный порог перцепции. В работе [Николаева 1999] предлагаются три признака, определяющих речевое мышление того огромного слоя, который условно называется «обывательским». Это —

1) дуальная организация системы оппозиций по модели:

— Холодно сегодня что-то.

— А что, жарыща, это лучше было бы?

При этом сообщаемые компоненты разводятся по «крайним полюсам»;

2) «укрупнение масштаба отдельного факта». Это условное именование многих жизненных ситуаций. Например, преувеличивается холод или жара (говорят, завтра градусов сорок будет — если объявили 32), преувеличивается разница в возрасте супружеской пары (особенно если «она» старше), преувеличивается возраст известной личности и т. д., преувеличивается количество людей в толпе и т. д.;

3) нелюбовь к сообщению конкретного и точного факта. Это — название на «они», неясное определение должности, сообщаемого явления и т. д.

Таким образом, не-обывателя, то есть интеллектуальную элиту, характеризует понимание значимости центра, «средней нормы»,

понимание изменений, описываемых в системе градуальных оппозиций.

С целью проверки этой гипотезы, а также желая выявить, происходит ли изменение обмена информацией в российской действительности в современной реальности, мною записывались в Москве 2001—2004 года диалоги с искаженной при перцепции информацией. То есть искажение демонстрировал реципиент, а не первый участник диалога, хотя и такие искажения тоже можно зафиксировать. Все диалоги записаны с абсолютной точностью, без каких-либо сокращений или синонимических замен. Все диалоги датированы. Всего мною за эти три года записано более шестидесяти диалогических единств. В основном записи осуществлялись мною лично, некоторые примеры предоставлены мне моими дочерью и внучкой, которым я искренне благодарна.

3

Какие же факторы влияют на искажение «зеркала рецепции»? Можно предположить, что это факторы следующие:

1. **Ситуационный.** То есть реципиент не понимает ситуацию в целом.

2. **Социальный.** Говорящий и воспринимающий различаются по социальному статусу и социальным установкам.

3. **Фоновый.** Это различие по общекультурному багажу говорящего и слушающего.

4. **Концептуальный.** Под этим термином понимается некий особый тип восприятия, когда при перцепции главенствуют концепты, воплощающиеся реально в виде ключевых слов, стереотипизированных словосочетаний, квазиключевых слов и близких к ним явлений.

5. **Собственно лингвистический.** Это восприятие только определенной части высказывания, неумение найти нужную (допустимую) перифразу, неправильное категориальное определение объекта и т. д.

Более подробный анализ показывал, что доминирующими факторами при искажении «зеркала рецепции» являются концептуальный и собственно лингвистический. Поэтому на них мы остановимся подробнее, по поводу остальных будут приведены лишь иллюстративные примеры.

4

Концептуальный фактор: восприятие по «ключевым словам»

У этой перцептивной категории существуют определенные подвиды, например:

1. Воспринимаются привычные ключевые концепты:

(4) <в магазине>

— *Вы что-то хотите?*

— *Да, я хотела бы, если есть, темно-серый жакет моего размера, хотелось бы, под цвет этой юбки.*

— *Вот Ваш размер* <Протягивает жакет ярко-красного цвета>.

— *Да я серый хотела.*

— *А вот еще Ваш размер* <Протягивает вязаную кофту зеленого цвета>.

— *Да нет, я хотела ведь темно-серый жакет.*

— *Сами не знаете, чего хотите!*

Ключевое слово у продавщицы — **размер**.

(5) <Х протягивает продавщице черные кожаные туфли-«лодочки»>

— *У вас есть точно такие 39 размер?*

— *Да, вот 39-й* <Продавщица протягивает замшевые светлые босоножки>.

Ключевое слово здесь также — **размер**.

(6) <21.10.2002. Почта. Х (начальнице):>

— *Я хочу с Вами поговорить о том, что не все аккуратно доставляется.*

— *А именно?*

— *Вот я, научный работник, участвую в международном проекте. Нам присылают извещения, что на наше имя пришел чек во Внешторгбанк. Так мои коллеги получили, а я нет. А ведь это немалая за полгода сумма долларов.*

— *Вы что думаете, доллары прямо в письмах посылают?*

— *Да нет, это письмо, а в нем извещение только. И вообще я иногда узнаю из электронной своей почты, что мне что-то послали по почтовому адресу, а этого и нет.*

— *Ну, электронная почта — это нас не касается.*

Ключевые слова: **письма, доллары, электронная почта.**

2. Ключевое слово может быть искажено:

(7) <В магазине.>

— *Х. Скажите, сами пельменины в упаковке «Богатырские» большие?*

— *Упаковки есть по килограмму, есть и по полкило.*

Пельменины и упаковки пельменей не одно и то же.

(8) <Поездка на частной машине.>

— *Вам куда?*

— *Нам угол Сретенского бульвара и Мясницкой.*

Водитель едет.

— *Куда же Вы?*

— *К Проспекту Мира. Ведь Вы сказали: Сретенка. А это около Проспекта Мира.*

Сретенка не есть угол Сретенского бульвара и Мясницкой.

(9) <Х в магазине.>

— *Скажите, а вон там у вас какие-то дорогие пельмени. «Деликатесные» называются. Они с чем?*

— *А пельмени всегда с мясом.*

Продавщица не обратила внимания на определение «Деликатесные».

3. Ключевое слово может попасть в «горизонт ожидания» продавца:

(10)

— *У вас есть какой-нибудь оттеночный шампунь для седых волос? Голубоватый или серебристый?*

— *Вот, возьмите краску «Палетте». Она хорошо седину прокрашивает.*

Ключевые слова — **седые волосы, что-то красящее.**

(11)

— *У вас есть что-нибудь для седых волос? Шампунь оттеночный?*

— *А почему только для седых? Он и на любые ложится.*

Ключевое слово здесь другое: **оттеночный шампунь.**

(12) <Студентка спрашивает в буфете:>

— *А пирожки с чем?*

— *Четыре пятьдесят.*

(13) <X покупает в магазине.>

— *И еще дайте ту булочку, но скажите, она мягкая?*

— *С корицей.*

Само по себе ключевое слово в таких случаях может и не упоминаться.

4. За нарушенным «горизонтом ожидания» может стоять и различие в самой трактовке концептов:

(14) <Метро «Новогиреево». X продавщице:>

— *Хочу купить что-нибудь в банке попить, но только не пиво.*

— *Не понимаю Вас, чего Вы хотите.*

— *Да попить что-нибудь из банки, только не пиво.*

— *Так кроме пива есть еще только коктейли в банках.*

— *Ну, дайте коктейль.*

— *Так бы сразу и сказали.*

Для продавщицы существует только номенклатура ее ларька.

(15) <В мастерской металлоремонта. X — мастеру:>

— *Когда к Вам лучше зайти?*

— *После обеда.*

— *А когда Вы обедаете?*

— *А я вообще не обедаю.*

Ключевое слово русского рабочего дня — **обед** — никак не соотносится у мастера с реальным приемом пищи.

(16) <У X испортился мобильный телефон — не может поймать сеть.

Его сдают в сервис-центр. X звонит:>

— *Починка Вашего телефона будет стоить 1050 рублей. Вы согласны?*

— *Да. Согласна. А скажите, что с ним такое?*

— *Сейчас скажу... Это ремонт третьей степени.*

<Вешает трубку.>

Для сотрудницы ателье ремонта существуют только их ключевые слова.

(17) <X покупает куриные грудки. На прилавке разные упаковки.>

— *А можно, чтобы грудок было три?*

— *Нет, нельзя! Берите упаковку!*

— *А сколько в ней грудок?*

— *Три!*

Последний пример очень интересен. Продавщица слышит некую просьбу, не соответствующую привычным ключевым словам ее торговли. В подобных случаях всегда — как реакция на неизвестное — отвечают хотя бы сначала **отрицательно**:

(18)

- У вас есть какой-нибудь отеночный шампунь для седых волос? Чтобы голубоватый оттенок? или серебристый?
 — Нет, у нас ничего нет. Вот, возьмите «Регенал», он голубоватый оттенок дает.

(19) Сравнить с этим можно услышанный ответ в диалектологической экспедиции в 1953 году:

- Вы знаете такое слово: «гай»?
 — Нет, такого слова я не знаю, нет. Лес по-нашему.

(20) <X хочет в ларьке купить тмин. Выставлены повсюду пакетики по 3 р., помятые.>

- У вас тмин только такой, в таких пакетиках?
 — Да. Других нет.
 — Что-то они какие-то неприглядные!
 — А не нравится — берите польские, они у нас по 5 р.

(21) <Российская библиотека. X — консультанту:>

- Скажите, у вас теперь по-прежнему есть сводный каталог последних поступлений иностранных книг в библиотеки Москвы?
 — Нет, у нас такого нет.
 — И не будет?
 — Нет.
 — А жаль, он был в конце этого ряда и тогда можно было узнать про книгу, что она, например, поступила в Библиотеку иностранной литературы!
 — А это с 36 ряда и далее.
 — А Вы же сказали, что нет такого каталога.
 — Я сначала не подумала.

(22) <Российская библиотека. Зал «Интернет-каталога».>

- Я могу использовать Каталог ИНИОНА?
 — Пожалуйста. Вот девушка Вас подключит.
 — А вот я пользовалась наверху библиографией МЛА, там можно было нужные позиции сбрасывать на дискету, а пометать номера карандашиком, который отмечал карточку.
 — Нет, у нас этого нет.
 — Тогда дайте бумагу, я буду отмечать номера на бумажке.
 <Долгая работа. X сдает.>
 — Жаль, что у вас нельзя выводить на дискету!
 <Библиограф за стойкой:>
 — Как нельзя? Пожалуйста. Это пометка «Релевантен», там в углу. Ой. Сколько же Вы зря намучились.

5. **Ключевым словом восприятия может стать некое «яркое пятно» в предыдущем сообщении, которое в дальнейшем будет истолковано неправильно:**

(23) <Разговор:>

Мать:

— Ты знаешь, какая-то несчастная, видимо бездомная, собака бегает по двору.

Дочь:

— А какой породы?

— Да что-то вроде болонки, пушистая, волосы свисают, глаз совсем не видно.

Некоторое время спустя.

Дочь:

— Ну, как там эта слепая собака?

— А почему слепая?

— Так ты же сказала, что у нее нет глаз.

6. **Искаженное восприятие может возникать из комбинации непонятой ситуации и ключевого слова:**

(24) <Управление УВС при Президиуме РАН. Х должна получить новый заграничный паспорт. Основной сотрудницы на месте нет. Сидит ее коллега.>

— Она ездит в УВИР только по понедельникам. Так что принесите гражданский для штампа что-нибудь в четверг или даже в пятницу.

— А можно в среду? так мне удобнее?

— Что же Вы думаете: она ради Вас специально в четверг поедет?

(25) <Х в абонементе библиотеки ИНИОН.>

— У меня книги конца XIX и начала XX века. Не знаю, дают ли такие?

— Пишите требования в двух экземплярах с шифрами.

<Х — долго пишет. Подает.>

— Что это Вы? Так ведь мы после 1930 года на дом не выдаем!

(26) <Х читает объявление: «Меняем и заправляем картриджи. Выезжаем на дом».>

Х звонит: — Вы можете приехать на заправку?

— Да. А как вы называетесь?

— То есть, как меня зовут?

— Нет, как называется ваша фирма?

— Да нет, я частное лицо.

— К частным лицам не выезжаем!

Подобные случаи нужно отличать *от полного непонимания ситуации*, не связанного никак с ключевыми словами. См. выше о ситуационном факторе. Например:

(27) <Х приехала в Библиотеку иностранной литературы. Понедельник. Объявление: «Библиотека сегодня закрыта по техническим причинам».>

Х: — *А что случилось?*

— *Почему-то сегодня перебои с электричеством.*

— *Как жалко! А я ехала издалека.*

— *А Вы бы в пятницу позвонили!*

Примечание: *В субботу и воскресенье Библиотека не работает.*

(28) <Х привозит книги в абонемент библиотеки. 11 утра.>

— *А абонемент работает только с 1 до 5.*

— *Я не знала.*

— *А это всегда так.*

— *Я записалась только на прошлой неделе, и мне не сказали.*

— *А это уже ведь давно так.*

(29) <Троллейбус едет мимо площади у метро «Краснопресненская». Пассажирка лет 50—55:>

— *А тут повсюду фашисты.*

— *???*

— *Да в ларьках.*

— *Но ведь это кавказцы!*

— *Ну да. Это они и есть. Я в газете читала.*

— *Неужели?*

— *Да, в газете. Там было сказано, что на этих ларьках нарисованы свастики и кресты. Значит, это фашисты и есть.*

(30) <Х. звонит домой к незнакомой ей жене сотрудника ИРЯ.>

— *Здравствуйте. Это такая-то. Ваш муж просил меня сегодня прийти к ним в Институт в два часа. А я забыла, куда именно.*

— *А он на лекции, и в два будет тоже там же.*

— *Ну да. Он потому меня и просил, что сам не может в это время. А я забыла, куда прийти.*

— *А Вы вечером позвоните. Он дома будет.*

(31) Х (входит в уличный магазин «Деликатесы»):

— *Скажите, я могу у вас съесть салат?*

(продавщица) — *Да ешьте! мне не жалко.*

— *Но тогда дайте мне вилку и салфетку!*

— *А, так Вы у нас его купить хотите?*

— Да.

— Так бы и сказали, «Я хочу ваш салат здесь съесть».

(32) <Внучка Х., студентка, очень юно выглядящая, записывается в Российскую библиотеку:>

— Вам 18 есть?

— Мне 19.

— Ну, а у нас только с 18-ти.

5

Ситуационное непонимание связано в диалогах и с *социальным фактором*.

(33) <Библиотека им. Ленина. Зал электронного каталога.>

— Скажите, я могу подключиться к Электронному каталогу ИНИОН?

Сотрудник: — Придется Вам прийти в среду. В среду и поработаете.

— А сегодня?

— Сегодня не получится.

— Но ведь сегодня только суббота, что же он, только один раз в неделю работает?

— Почему? Он и сейчас работает.

— Так в чем же дело?

— Но Вам придется тогда заплатить, а в среду — бесплатно.

Сотрудник библиотеки «берет на себя» трудовое расписание посетителя, увидев его преклонный возраст и уже заранее предполагая, что посетитель(ница) не в состоянии заплатить 28 рублей в час за пользование каталогом.

6

Факторы собственно языковые

Восприятие информационного заказа по ключевым концептам может осуществляться параллельно с чисто языковым непониманием, когда говорящий и слушающий как бы владеют разными языками (см. выше об *обед* и *обедаю*).

1. Например, это может быть *незнание языка, точнее, малограмотность*.

(34) <X в универмаге. На витрине выставлено:

Простыня — 56 р.

Простынь — 54 р.

X — продавщице:>

— А почему у вас одно простыня, а другое — простынь?

Продавщица выходит из-за прилавка, подходит к витрине и рассматривает:

— А потому что это простыня, а это — простынь!

(35) <Владелец электронной почты звонит к провайдеру, там говорят:>

— Мы Вам напоминаем, что наш номер теперь такой-то...

— Но я это впервые слышу!

— Ну да, мы поэтому Вам напоминаем.

— Но ведь обычно слово «напоминаем» означает, что это уже человек знает.

— Да нет, только что сменили. Вот мы Вам и напоминаем.

2. Это может быть **незнание значения слова, связанное с незнанием ситуации**:

(36) <Вечер. Магазин.>

— Приходите, у нас завтра с утра будет пасха.

— У вас привезли пасху?

— Да, вот по 40 рублей.

— Да ведь это кулич!

— Ну да. Пасха — это праздник, а это к ней. <Вторая продавщица (что-то вспоминая):>

— Кажется, пасха — это что-то из творога. Спросите в молочном отделе.

<Молочный отдел.>

— У вас есть пасха?

— Сегодня их привезли, по 40 рублей. Пойдите, где хлеб.

3. Это может быть очень интересный и, на мой взгляд, не описанный до сих пор факт **плохого восприятия имени собственнoго**, что свидетельствует, быть может, об особости положения имен собственных в языковой системе.

(37) <Из метро «Б-ка им. Ленина» выходит молодая интеллигентного вида девушка и обращается к X:>

— Скажите, Вавилова 40, это где тут?

— Это совсем в другом месте Москвы. Вам нужно туда поехать...

<Девушка вынимает бумажку, читает...>

— О, господи, ведь тут метро «Ленинский проспект»... А я куда поехала...

(38) <По улице Качалова идет мужчина средних лет (скорее, пожилой) с газетой в руках. Обращается к Х:>

— Где здесь мастерская по ремонту мужской одежды?

— У нас на улице таких нет.

— Ну, как же <Протягивает газету>.

— Но ведь здесь написано: улица Чкалова, а это — Качалова.

— Ну да, я и пришел по объявлению.

— Так там Чкалова, а это Качалова.

— Так и написано.

— Это был Чкалов, летчик, а это Качалов, актер МХАТа.

— Ну вот так и написано в газете.

Идет дальше с газетой.

(39) <В троллейбусе. Голос объявляет:>

— Следующая остановка: Скарятинский.

Два пассажира, старики.

— Карятинский. Карятинский... А кто это был, Карятин?

— Это князь такой был знаменитый, Карятин. В честь него и названо.

(40) Простая женщина, малообразованная, все время говорит, что она получает журнал ЖОС, все отчетливо это слышат много лет. Приносит. Оказывается, он называется ЗОЖ.

4. В плане языкового выражения на искажение «зеркала восприятия» может влиять и тот факт, что люди чаще всего запоминают (и воспринимают) именно **последнее слово высказывания**:

(41) <Беседа филолога, русской, с итальянской коллегой, которая приехала в Москву на конференцию и хочет заранее подготовить свой доклад.>

(русская) — А у тебя есть дискета?

— Да.

— А что это, IBM или Макинтош?

— IBM.

— Вот это хорошо. Ты сиди, а я вечером помогу.

— Ну, как? Ты занималась?

— Нет.

— Почему?

— Так ты ведь сказала, что у тебя Макинтош.

(42) <На радио беседа с телеобозревателем Ириной Петровской. >

Она:

— *Уже трудно придумать что-нибудь новенькое на новогоднюю ночь. Просто уже все было. Разве что заставить великих певцов петь что-нибудь блатное. Например, Галина Вишневская поет «Мурку».*

Тут же звонок. Старик:

— *До какой же степени нравственного падения Вы дошли, что хотите заставить русский народ в новогоднюю ночь слушать «Мурку». Вы сказали, что на новогоднюю ночь Вишневская поет Мурку.*

Этот, приведенный выше, фактор восприятия по последнему слову, как представляется, более типичен для людей, находящихся «не на работе», для лиц неофициальных. (Как сообщил мне мой сослуживец А. А. Гиппиус, именно это свойство обыгрывается в фильме «Семнадцать мгновений весны», когда Штирлиц произносит некий заранее заготовленный текст, зная, что из него запомнят только последние слова.)

5. Диалог затрудняется потому, что носители нужной информации **не знают эвфемизмов и перифраз**, но ощущают неуместность прямой номинации:

(43) <Магазин «Нон-стоп» у метро «Краснопресненская». Люди входят, а продавщицы нет. У входа жметесь худенький охранник.>

— *Ну, где же она?*

— *Отошла.*

— *Ну, на сколько?*

— *Стоит ждать?*

— *Она скоро? или надолго?*

Он, мучаясь, молчит.

— *Ну сколько ее ждать?*

Он:

— *Уж и пописать нельзя!*

6. Восприятие информации искажают и интересные для лингвиста **категориальные сдвиги, например, при выражении категории определенности/неопределенности**:

(44) <Сотрудница МГУ, работающая в другом корпусе, спрашивает у охранника:>

— *Как пройти в зону Е?*

— *Зачем Вам туда?*

— *Завизировать бумаги в юридическом управлении.*

- А у Вас есть с собой какой-нибудь документ?
 — У меня с собой их очень много.
 — Ну, покажите хоть паспорт, раз у Вас ничего другого нет.
 <Х. Показывает удостоверение МГУ.>
 Охранник:
 — Ну, вот, показали бы сразу и шли спокойно. Проходите.
 — А где же зона Е?
 — Там узнаете.

В этом диалоге охранник употребил «базовую структуру», по Дж. Лакоффу, снабдив ее показателем неопределенности: *У Вас есть с собой какой-нибудь документ?* Ему нужно было сказать: *какой-нибудь документ, удостоверяющий право входить в МГУ.*

Сотрудница МГУ «ловит» его, сообщая, что документов у нее очень много. Но он не понимает своей ошибки и считает, что у нее ничего нет.

Приведем другой пример:

- (45) <Х показывают врачу. Профессор:>
 — Я хочу, чтобы Вы пришли к двум, чтобы Вас посмотрели хирурги.
 — Хирурги? (окончание множественного числа подчеркивается).
 А почему несколько? Это такой сложный случай?
 — Да нет, просто они к двум кончают операции и хоть какой-нибудь освободится.

В этом примере профессор употребляет множественное число как показатель неопределенности — модель У вас гости. Посетительница же понимает множественность буквально и пугается, что ее случай так сложен.

* * *

Таким образом, взаимное непонимание зависит от множества гетерогенных факторов, иногда сплетающихся в сложный клубок. Это непонимание во многих случаях или остается непроявленным, или обречено уже заранее на «коммуникативную неудачу», или требует дополнительных разъяснений от адресанта, на которые он в свою очередь не всегда способен.

Цель настоящей работы — показать, что реальная коммуникация никак не похожа на стерилизованные диалоги учебников иностран-

ных языков или отработанные примеры «лабораторной лингвистики».

Список литературы

- Николаева 1990 — Николаева Т. М. О принципе «не-кооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Николаева 1999 — Николаева Т. М. Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого — Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.

— III —

МНОГОМЕРНОСТЬ ИНТОНАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ*

1. Широко известен тот факт, что именно область просодии, включая в нее и фразовую интонацию, есть та область языкознания, где терминологические и метаструктурные расхождения делают взаимное понимание почти невыносимым: минимальными единицами считаются разные феномены, по-разному иерархизируется план выражения, по-разному понимается план содержания, дискуссионным остается вопрос о поиске инварианта.

Широко известен (или как бы считается само собой разумеющимся), тот факт, что рядовой носитель языка, довольно легко отвечающий на вопросы, относящиеся к сегментной языковой структуре, практически оказывается беспомощным перед просодическим анкетированием — интроспекция здесь затруднена.

Известно также, что вопросами фразовой интонации стали вплотную заниматься только в XX веке, для древнейшего прасостояния она пока никак и не реконструируется, тогда как не менее сложные проблемы реконструкции синтаксического состояния решаются с завидной отвагой, а морфологические парадигмы описываются для любой эпохи, и даже с легкостью.

Можно сказать по этому поводу; что древнее состояние фразовой просодии было недоступно для нашего слуха, но также недоступны были конец слова в старославянском, древнегерманское ударение, чередования гласных в ведийских корнях и многое другое.

И все же — нельзя сказать, что просодические факты вообще в диахроническом описании игнорировались. Все знают, что есть компенсаторное продление корня после падения редуцированных

* Данная работа выполнена при финансовой поддержке общего проекта INTAS «The Typology of Intonation, Stress and Lexical Tones in Slavic, Baltic and Germanic Languages» № 9900795.

в русском языке (то есть можно предположить, что за этим стоит пословное произношение с обязательной изохронией речевых единиц), биномы Бенвениста (если к корню C_1VC_2 присоединяется суффикс структуры — VC , то полная огласовка корня предполагает нулевую огласовку суффикса, и наоборот [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 225]), знают три ступени санскритского корня, то, что слова связывались в словосочетания, на границе которых была восходящая мелодика¹, даже, например, то, что дифтонг *oi при нисходящей интонации переходил в *i, а при восходящей — в *k̄. Но вопрос о том, почему же такие процессы имели место вообще, — этот глобальный вопрос всегда осторожно обходился, просодическая интерпретация была всегда связана с какой-то не ставящейся на обсуждение загадкой.

2. Однако, быть может, можно попытаться решить эту загадку или хотя бы приблизиться к ее решению, проследив — по необходимости кратко — эволюцию описания языкового строя параллельно с общими проблемами человеческого отображения представляющего перед нами жизненного кадра.

Итак, для описания просодии древних языков ранее существовало по сути одно понятие — т о н. Не обсуждая сейчас, что это значит точно, можем явственно увидеть отчетливое противоречие в трактовке этого термина даже в трудах самых известных и относительно недавних исследователей-компаративистов. Тон в этих описаниях принадлежал слову, но в то же время тон зависел также и от позиции, что почему-то никого не смущало. Точно так же безударными (лишенными тона) были то слова, то позиции, где эти слова располагались. Именно так описывает безударность (лишенность тона) известный своим законом Я. Вакернагель: то ли безударные слова попадают во вторую позицию, то ли сама позиция безударна (ослаблена) и притягивает поэтому мелкие и не самые важные слова². Параллельно с термином *тон* существовал и термин *сила*, силовое ударение, но оставалось все-таки неясным то, как соотносились между собой эти понятия. Лучше всего эти противоречия выявляются, в частности, в известной книге А. Мейе [Мейе 1938]. См. у Мейе о том, что

¹ См. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 223]: «В синтагматическом сочетании морфем только одна морфема может выступать в нормальной степени огласовки»; [Мейе 1938: 371]: «Два связанных по смыслу слова, если стояли рядом, то одно из них могло иметь тон, а другое могло быть без тона».

² См. это отчетливое противоречие в его же текстах: [Wackernagel 1953; 1979].

в индоевропейском слове может быть только один тонический слог: «Особую высоту слога мы будем называть тоном... Ударение новогреческого обычно занимает место древнегреческого тона. И общепольский, и общеславянский тон передается ударением» [Мейе 1938: 162]. Однако далее, глядя с позиций современной интонологии, вполне можно увидеть намек на существование именно фразовой интонации — как с сильными, так и со слабыми позициями: «Каждая глагольная форма, смотря по ее положению и роли в предложении, могла нести на себе тон или не иметь тона» [Там же: 253]. И далее: «Большинство слов в предложении могли быть либо тоническими, либо лишенными тона, смотря по обстоятельствам» [Там же: 371]. Обнаруживается у него и описание полукаденции на границе соединения главного (конечного) и придаточного (инициального): зная, что глагол занимая финальную позицию, мы понимаем, что глагол придаточного был под восходящим ударением: «вообще тоничен глагол такого предложения, которое отсылает к другому предложению. Тон в этого рода случаях показывает, следовательно, что одно слово находится в каком-то отношении к другому слову» [Там же: 372]. Строго говоря, удивляет следующее положение А. Мейе: «Нет никакого указания на то, какова была особенность произношения, характерная для вопроса» [Там же: 74], хотя во всех работах по древнегреческому языку (и реконструируемому более древнему индоевропейскому состоянию этого слова) говорится, что местоимение τίς является вопросительным, когда оно тонично, и неопределенным — если оно атонично. То есть это все та же модель специального вопроса в оппозиции к неопределенности, которую мы имеем и сейчас в современном русском языке в неизменном виде; ср.: *Кто там пришел?* и *Может, там пришел кто.*

Позволю себе предложить объяснение для этих совсем не случайных противоречий, обратившись к эволюции человеческой интроспекции, — для осознания того, что существует просодия, отдельная от слова, нужно было оторваться от зрительного (графического) отображения языкового фрагмента. Все мы как будто бы знаем, что звуковая речь первична, а письменная вторична, но как это укладывается (укладывалось) в человеческом сознании? И здесь уместно обратиться к замечательным идеям Мишеля Фуко. Так, о самой ранней «эпистеме» западной трактовки отношения мира и вещей он пишет, что «переплетение языка и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности. <...> Отныне первоприрода языка — письменность. Звуки го-

лоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова: Адам, когда он впервые надеялся животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. <...> Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность» [Фуко 1994: 75]. Поэтому просодические знаки были графическими и, что более важно, ставились они над словом и приписывались слову или слогу слова. До сих пор аксиоматичной считается постанова древними писцами некоего знака именно на ударном слоге, хотя это не всегда подтверждается. Так, в ведийском языке различались три вида слогов: *udātta-* (высокий, то есть «ударный»), *svarita-* («звучный», заударный), *anudātta-* (как видно по форме, просто — «без-ударный»). Однако в наиболее распространенной системе деванагари «слог, несущий главное ударение — *удатту*, специально не маркируется, маркируется предшествующий ему безударный слог, т. е. *анудатта*, <...> и следующий за ним заударный слог — энклитическое ударение *сварита*» [Елизаренкова 1982: 105].

Как ни странно (потому что уже практически в современную эпоху), именно так трудность просодической интроспекции объясняет — через письменность — и И. А. Бодуэн де Куртенэ: «Усвоение письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически передаваемые явления. <...> Память грамотного человека регрессирует и уже не может обойтись без помощи чтения и письма. <.:> Я, например, принадлежу к числу грамотных, и когда хочу представить себе что-либо, мыслимое с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, — я уже не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом направлении» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 331]. Можно предположить, что затрудненность просодической интроспекции основывается не только или не столько на письменности, сколько на изначальной концептуальной презумпции отображения мира, в том числе и услышанного, только в графическом пространстве.

3. Но в начале XX века лингвистика уже обладала двумя совокупностями поистине революционных знаний. Прежде всего (в собственно лингвистическом плане) — это знание о том, что существуют суперсегментные сведения, явно функционирующие отдельно и имеющие право на отдельное же их метаотображение. И тут встала

проблема структурной и терминологической организации этого метаотображения.

Вторая революция, гораздо более важная и, собственно, определившая первую, состояла в отчетливом отделении образа, существующего в нашем сознании, и впечатления от непосредственно данных нам в восприятии феноменов. Выражаясь языком современного психоанализа, в XX веке пошел активный процесс преобразования бессознательного в сознательное («трансцендентная функция»), и именно это породило в конце концов идеи построения абстрагированной языковой системы, существующей в нашем сознании. Как кажется, именно Бодуэн де Куртэнэ это понял впервые, и термин «психический» у него нужно понимать как образ сознания, так же, как «логический» целесообразно связывать не с логикой, а просто со смыслом. Таким образом, повторяя слова К. Г. Юнга, можно сказать, что: «Психическое существование — это единственная категория существования, о котором мы имеем *непосредственное* знание, так как ни о чем невозможно узнать, если это сначала не появится как психический образ. Только психическое существование непосредственно поддается проверке. В той степени, в какой мир не принимает форму психического образа, он, фактически, не существует» [Юнг 1997: 507]. Как это подробно описала в своей книге Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1988], знания, факты располагаются в нашем сознании, и только сенсорика реагирует на актуальные события. Таким образом, можно поставить вопрос о том, какой именно образ языка предпочитает человеческое сознание на каждом этапе?

Итак, проблема метапостроения стояла следующим образом: вписываем интонацию в язык или все же ее отторгаем? И даже признавая ее, описываем где-то отдельно или пытаемся совместить с другими языковыми феноменами в метаописании?

И вот, как можно теперь реконструировать, в межвоенный период XX века (приблизительно!) шла очень серьезная и подспудная битва двух метаподходов к языку — битва именно из-за интонации, о которой реально говорилось немного, но которая в конце концов закончилась метатеоретической секуляризацией интонации.

Гладиатором первого направления был С. И. Карцевский. В целом можно сказать, что Карцевского в первую очередь интересовало то, что в сосюррианской теории именуется *le langage*, речевая деятельность. Поэтому его лингвистическую установку можно характеризовать как синтагматическую, ориентированную на последовательность речевых отрезков. По его теории, речевая деятельность

начинается с фразы. Фразе создает интонация. Синтаксис интонации имеет свой план содержания и план выражения. В сущности, именно Карцевский был пионером исследования межфразовых отношений, передаваемых интонацией, поскольку его предшественники обычно ограничивались описанием интонации одной изолированной фразы. Например, он не описывал только мелодику, как это было традиционно принято, а понимал интонацию как многопараметрическое единство акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Так, он выделяет четыре смысловые категории, семантемы, передаваемые интонацией, и сопоставляет с ними формальные интонационные средства, для того времени очень точно. Эти четыре категории — симметрия, асимметрия, тождество и градация.

Итак, для Карцевского язык состоит: 1) из слов, 2) грамматики, 3) интонации. Для него: «L'intonation semble ignorer l'existence de la grammaire, tandis que celle-ci tient à comter avec l'intonation». Только в пределах фразы он различал слова, которые были для «него» вовсе не основой основ, как, например, для А. А. Потебни, а всего лишь частицей фразы («слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44], и связующие фразу компоненты). Несомненно, что в последние годы, женевские, Карцевского все больше и больше интересовало именно возникновение фразы как единицы языка у человека, хотя он и продолжал считать себя синхронистом. В начале естественного языка он видел синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний; впоследствии они становились «внешними» союзами, иницилирующими высказывание-фразу, а затем интериоризировались, превращаясь во внутренние союзы. Итак, звуковой сегментный строй, фонетику и фонологию, Карцевский считал последним этапом освоения языковой структуры.

Как ни удивительно, в этом приоритетном отношении к высказыванию как основе языкового существования Карцевский сходился с марристами, о которых он никогда не упоминал и которые ему были, вероятно, внутренне чужды. Вся теория сторонников «нового учения о языке» опиралась на синтагматику, центральным пунктом системы эволюции являлся синтаксис. Синтаксис был краеугольным камнем в «новом учении о языке» и отправной точкой для диахронических разработок. Для самого Марра синтаксис был в начале языковой истории некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантические звуковые комплексы. В этом пространстве было много нерасчлененного и неосознанного в пол-

ном параллелизме с мышлением первобытного общества. «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н. Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием» [Кацнельсон 1949: 36]. Иначе говоря, центром теории является не слово, а предложение. «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 41]. Как пишет С. Д. Кацнельсон: «Не слова составлялись из готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» [Там же: 16].

Где-то близким к этому направлению, отталкивающимся концептуально от синтагматики, был и А. В. Щерба, и, возможно, отмечаемый рядом ученых некоторый эклектизм его металингвистического подхода был логическим здравомыслием. С одной стороны, он писал: «Мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека, <...> эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической. <...> В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто “языками”, но которые будем называть “языковыми системами”» [Щерба 1974: 25]. Более важным является, на наш взгляд, его следующее утверждение: «Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами (! — Т. Н.), в непосредственном (выделено А. В. Щербой.— Т. Н.) опыте <...> нам вовсе не даны» [Там же: 26].

Параллельно с этим развивалось все более побеждающее направление, которое господствует и сейчас, — оно начинается с фонемы и идет далее «по уровням» и, конечно, гораздо более удобно для метаописания. Однако в его рамках интонации никак не находилось места и найтись не могло принципиально — не даром и Трубецкой, и Якобсон с просодическими явлениями явно не справились и постепенно к ним охладели.

Какова же была этому причина?

Для Трубецкого — в теории — просодические признаки были признаками звука. Функций у подобных признаков, по Трубецкому, может быть три: 1) вершинообразующая, или кульминативная; 2) раз-

граничительная, или делимитативная, 3) смысловозначительная, или диссертивная. Тогда получается, что одно и то же просодическое явление — ударение — в польском языке выполняет одну функцию, в чешском — вторую, а в русском — третью. Выход Н. С. Трубецкой нашел все в той же секуляризации просодии и в своих «Основах фонологии» выделил особый раздел — «Просодические признаки», где собраны откровенно в кучу и корреляции толчка, и интонация переспроса, и фразовое ударение и фразовые паузы, иначе говоря, единицы одноплановые и двухплановые, — то есть то, что уже никак не могло быть привязано к звуку. Трубецкой ввел при этом новую единицу — просодему, соотношение которой с фонемой он никак не объяснял. «Под просодемой мы понимаем минимальную просодическую единицу данного языка, иными словами — слог в слога-считающих языках и мору в моросчитающих языках» [Трубецкой 1960: 222].

Р. Якобсон практически из всей просодии занимался только ударением, то есть опять же тем, что может быть надписано над словом и стихом, также графически отражаемым. Правда, многие его просодические наблюдения (например, о просодическом принципе расположения грамматических классов слов в поэтической строке), можно сейчас считать просто прозрениями. Но просодические признаки он считал только «привязками» к фонеме, переводящими ее на ось комбинации. Это — «просодические свойства, имеющие отношение только к оси последовательности» [Якобсон 1985].

Причины подобного расхождения обеих метатеорий очень глубоки, и можно надеяться на серьезное их обсуждение. Очевидно только одно, что система, начинающаяся с фонологического уровня, как бы ориентирована на левое полушарие, а система, начинающаяся с высказывания, — на правое.

4. Именно сейчас небезынтересно осознать, что — при стремительном распространении электронной почты — филологи, русские и русисты, легко принимают латинскую оболочку при переписке, даже не запоминая выбранный тип транслитерации у коммуниканта, поскольку у лингвиста система языка уже валоризована, фонологизирована и переведена в абстрактную систему. Для нелингвиста «писать по-русски» означает, что русский — это еще и обязательно кириллическая упаковка.

Существенным и общим было в обеих обсуждаемых системах то, что валоризованную систему отделили от эмпирической и там и там.

То, что эти две системы сосуществуют, и то, что между ними должна была найтись какая-то «перемычка», почувствовал практически только Э. Бенвенист, писавший прямо в своем знаменитом докладе на Лингвистическом конгрессе 1963 года: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (*le discours*)» [Бенвенист 1974: 139].

В самом деле, это два различных мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разные лингвистики, пути которых, однако, все время пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующихся в структуры и системы; с другой — проявление языка в живом общении» [Там же].

Итак, в по-уровневой системе интонации места не нашлось, во второй же системе низшие единицы тонули в тумане высказывания-фразы³. Говоря прямо, фонология как начало по-уровневой системы с интонацией в той же системе не сосуществует принципиально. Легко интерпретировать также и глобальную нелюбовь метатеоретических построений к интонологии: хочется усвоить нечто минимальное — и пройти мимо? И это не случайно. Даже в самых современных по методам исследования языковой семантики фразовая интонация фигурирует в некотором инвариантном, «лабораторном», виде. И исследователи, конечно, имеют на это право, но тогда нужно принять инвариантность предлагаемой интонационной формы. Много раз, выступая оппонентом на защитах диссертаций, я видела, как быстро преобразуются «подзвездочные», то есть недопустимые для диссертанта фразы, в допустимые при легком изменении контекста или в более маркированном произнесении. И в этих случаях мне обычно говорили: «Ну, это если с такой интонацией...» Однако именно интонация (пока еще не совсем понятно, при помощи какого механизма) позволяет отличить высказывания абсолютно правильные, но — виртуальные, от высказываний, име-

³ Важно понять, что на самом деле в межвоенный период практически существовало понятие фонологии и морфонологии (грамматики). Детальная разработка системы уровней пришла позже. См. об этом в очень важной для проблемы главе Т. В. Булыгиной [Булыгина 1972]; существенно что прилагаемая к этой главе подробная библиография отражает в основном работы, начиная с 60-х годов XX века.

ющих право на реальность⁴. Не случайна также нелюбовь к фразовой интонации (то есть интонации высказывания) исследователей древних текстов⁵ и... акцентологов (поскольку акцентология в целом парадигматична).

Диакроническое языкознание, как и по-уровневое представление, ориентируется в основном на парагидигматику. Второе направление — безусловно, синтагматическое. Безусловно также, что парадигматика как факт метаописания проще, так как минимальные единицы уже известны и определены.

Итак, интонация была отброшена на самостоятельные рельсы. Интересно обратить внимание и на сам факт того, что именно в эту межвоенную эпоху стали существовать регулярно созываемые фонетические конгрессы (первый конгресс состоялся в 1932 году в Амстердаме под руководством Й. ван Гиннекена), в то время как для других языковых слоев таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.

Она, суперсегментная фонетика, начала свое автономное, но активное существование по сути в одном и том же направлении, — все время раздвигаясь, в свою очередь, на уровень абстрактности и уровень эмпирического отображения. Сначала интонацией считалась только мелодика с обязательной привязкой к так называемому синтаксическому типу. И перечень мелодических фигур и был описанием интонации. Затем включились в систему другие параметры — темпоральные характеристики, спектральные, акцентные. У каждого из этих параметров выявился свой план содержания и свои проблемы выявления единиц. Различили акцентный фокус и нейтральное «фразовое ударение». (В основном многое было сделано именно в русской традиции, во многих же традициях и до сих пор простодушно считают, что там, где громко, там и рема, а где конец — там логическое ударение, а если громко в начале, то в конце фразовое ударение отсутствует.) Описаны и перечислены фигуры коммуникативного фокуса, функции длительности — даже для иконических показателей, важным оказалось и абсолютное начало

⁴ Например, простая фраза *Саша красивее Маши* с нейтральной, не фокусированной интонацией имеет право на существование только в контексте типа: *Это название нового спектакля или Так начиналась эта повесть* и т. д. В речи же здесь будет обязательно акцентное выделение на одном из этих трех слов.

⁵ Так, одна очень серьезная и добросовестная исследовательница древних славянских текстов в Институте славяноведения РАН сказала мне предельно просто: «А я в интонацию вообще не верю!».

фразы, место пиков интенсивности и мелодики, сама скорость изменения интонационного параметра и многое, многое другое. Таким образом, внутреннее пространство интонации становилось и стало многомерным. Сколько же именно в нем измерений — пока не определено⁶.

Разумеется, в интонационных данных есть еще много таинственного и неинтерпретированного. Так, непонятно, почему в ведущих европейских языках обязательно подчеркивается лексема, следующая за частицей *даже, even, sogar* или *только, only, nur* и под., хотя для передачи смысла сочетания с частицей вполне достаточно? Более того, явно в этих ведущих языках акцентные подчеркивания выполняют одну и ту же функцию и располагаются на тех же позициях (например, *De Gaulle ist gestorben!; De Gaulle died!; Де Голль умер!* — о неожиданном событии), хотя мелодика этих языков и другие интонационные параметры резко отличаются. Напротив, подобные модели акцентного выделения не только не присутствуют в финно-угорских языках, но и в русских примерах (например, финнами) не воспринимаются, хотя именно мелодические фигуры, в частности, русского общего вопроса (ИК-3 в системе Е. А. Брызгуновой) с конечным подъемом-повышением у языков — русского и контактных финно-угорских — схожи. Создается впечатление, что эволюция интонационных параметров создает по-разному для каждого из них свои функционально-типологические совпадения и несовпадения.

Многие достижения российской интонологии можно объяснить и самим языком анализа, то есть русским. Его интонационные фигуры отличаются шириной диапазона, временным размахом, яркостью выделения ударных (ни один славянский язык в этом отношении с русским не сопоставим). Функциональная нагрузка порядка слов, отсутствие во многих высказываниях связки, вообще бедность глагольной системы, делают интонацию в русской речи одним из основных функциональных средств. Например, именно интонационно выражается нечто, близкое к категории эвиденциальности, в других языках имеющее глагольные корреляции вроде: *Гроза начинается!*; результативность: *Пришел поезд!*; определенность имени: *Поезд пришел*; контрастность: *Пришел поезд*. По мнению многих зарубеж-

⁶ Нужно сказать прямо, российская интонологическая школа сделала очень много: достаточно назвать имена Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера, Е. А. Брызгуновой, М. В. Гординой, Р. Ф. Касаткиной, Н. Д. Светозаровой, И. Г. Торсуевой, Л. В. Златоустовой, О. Ф. Кривновой, С. В. Кодзасова и многих других.

ных интонологов, нейтральные русские интонационные фигуры воспринимаются как эмоционально насыщенные — именно благодаря своему размаху. Русская интонология XX века обращалась не только к системе общего стандарта, но и к диалектным различиям, детальным описаниям всех акустических параметров фразы, интонации разговорной речи в ее отличии от кодифицированного произношения, вариантам театральной выразительности и многому еще другому. Смело можно сказать, что такой развернутой интонологической палитры нет в других школах, более богатых технически и более, быть может, прагматических.

Однако и до сих пор метатеоретически человечество не может выйти за пределы графических пространств в метаотображении, поэтому новые системы (программы) просодического анализа в сущности делали одно и то же: разделяли на графически воспринимаемые подразделы интонационные характеристики, представляемые двумя координатами + время. Существенно также, что для интонации пространство по сути и есть время.

В этом смысле общеобъединяющей находкой стали работы по синтезу речи. Но и самые лучшие образцы синтеза суть воспроизводство речи, но не ее метаотображения. Издавна также объединяющим средством и по сути еще никем не описанной лингвистикой стала лингвистика преподавания языка, которая обычно начинается именно с фонетики, и там вполне находится место и просодии, включая и фразовую интонацию. По каким именно единицам идет преподавание языка, если взглянуть на это с точки зрения общей теории, я сказать не могу.

Необходимо, однако, отметить, что в самые последние годы в мировой интонологии распространяется новый принцип представления интонации высказывания: через показатели L (low), H (high), * (ударный слог), — (система движения). Эта система, быстро модифицирующаяся (ToBl, ToDi etc.), восходящая к нотационной системе [Breckenbridge-Pierrehumben 1980], снова является очередным поворотом; метатеоретического представления интонации к сингулярным знакам, то есть опять-таки к графическому, алфавитному отображению.

Необходимо понять, далее, что наше восприятие также ограничено. А. В. Бондарко пишет о трех теориях отображения звука [Bondarko 2000]. По одной из них пространство восприятия идентично с фонологическим пространством. По другой — «the perceptual space does not relate to the phonological system». Третья точка зрения (самой

Л. В. Бондарко) — человек различает больше звуков, чем существует фонем в системе его языка, но его отображение этой способности ограничено фонологической системой.

По доводу интонации можно сказать и еще больше. Так, например, в 70-е годы мне довелось быть на вечере Б. Окуджавы в ЦДЛ. Татьяна и Сергей Никитины пели там дуэт лисы Алисы и кота Базилио о «Стране дураков». «Антиортодоксальный подтекст» был понят залом мгновенно, трижды Никитины пели на бис, зал подхватывал единодушно-мировоззренчески: «Какое небо голубое...» На следующий день я пошла в магазин и купила пластинку с песнями из того же кинофильма, но... в исполнении певца Олега Ануфриева. При прослушивании стало ясно, что — ничего из «того» нет!!! Как так? Где? и в каких компонентах речевого потока таилась эта всеми одинаково воспринимаемая семантика интонации? Популярное одно время «Старые песни о главном», особенно времен Отечественной войны, теперь кажутся чем-то не тем, что-то потерявшими. Но что же именно? Кое-что можно понять: уменьшилась в исполнении длительность ударных слогов и протяженность слов в целом, усилилась динамическая компонента ударения⁷. Но какими метаединицами мы располагаем, чтобы описать эту утерянную семантику, передававшуюся темпоральной структурой, например у Марка Бернеса? Трудно описать и особенность интонации даже простого анекдота, например: *Человек обращается к Золотой рыбке и просит: «Рыбка, рыбка, сделай так, чтобы у меня все было». А рыбка отвечает: «Мужик у тебя все было». Не все и не было, а некоторая протяженность монотонного было.*

Интерес к интонации сейчас растет. Как кажется, он неотделим от вновь возникающего интереса к происхождению языка, его истокам и самым ранним ступеням эволюции (конференции и симпозиумы по темам «Language origins» и «Language evolution» и под.). Неотделим он и от вопроса, на какие же, собственно, единицы членилось высказывание у самых древних наших предков.

⁷ Несомненно, усиление роли динамического компонента (ударности) в нашем эстрадном пении за счет ослабления квантитативной структуры во многом объясняется влиянием западных языков (английского, немецкого). В этом отношении очень интересным оказалось прослушанное мною 30 ноября 1997 года по радио «Эхо Москвы» интервью с нашим певцом Александром Барыкиным. Он сказал, что, выезжая за границу, старается переводить старые песни вроде «Катюши» на немецкий язык, поскольку европейцы «без сильных ударений ничего не воспринимают».

Таким образом, ключевой проблемой языкознания являлось и является постепенное преодоление разрыва между восприятием и отображением воспринятого. Так, например, человек широко употребляет неопределенные местоимения и другие конструкции для описания воспринятых ощущений: *Я сразу почувствовал что-то неприятное в атмосфере*, но не обладает способами описания этого точно и адекватно, или это умеют только гениальные писатели. Разрыв же между отображением и метаописанием — это еще один эпистемологический уровень эволюции. Очевидно, идеи того же Карцевского об асимметрии языкового знака (то есть знака вообще) стали забываться слишком рано. Возможно, существуют определенные, не описанные лингвистами, кванты корреляции речи и смысла, не соотносящиеся с известной и традиционной «системой языка».

Закончить хочется некоторой игрой слов. Безусловно, в языкознании назревает новая парадигма (в терминах: Т. Куна [Кун 1975]). Почему-то кажется, что эта парадигма может быть синтагматической.

Список литературы

- Арутюнова 1988 — Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 — Бодуэн де Куртенэ И. А. Влияние языка на мировоззрение и настроение // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963.
- Булыгина 1972 — Булыгина Т. В. Уровни языковой структуры // Общее языкознание. Внутренняя структура языка: Сб. статей. М., 1972.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 2. Тбилиси, 1984.
- Елизаренкова 1982 — Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982.
- Карцевский 2000 — Карцевский С. И. О формально-грамматическом направлении // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. М., 2000.
- Кацнельсон 1949 — Кацнельсон С. Д. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.
- Кун 1975 — Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.

- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков: М.; Л., 1938.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
- Фуко 1994 — *Фуко М.* Слова и вещи. СПб., 1994.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность: Сб. статей. Л., 1974.
- Юнг 1997 — *Юнг К. Г.* Различие между восточным и западным мышлением // *Юнг К. Г.* Сознание и бессознательное: Сб. статей. СПб.; М., 1997.
- Якобсон 1985 — *Якобсон Р. О.* Принципы исторической фонологии // *Якобсон Р. О.* Избранные работы. М., 1985.
- Bondarko 2000 — *Bondarko L. V.* Language contacts: phonetic aspects // *Languages in contact. Studies in Slavic and General linguistics. Vol. 28.* Amsterdam, 2000.
- Brekenbridge-Pierrehumbert 1980 — *Brekenbridge-Pierrehumbert J.* The Phonology and Phonetics of English Intonation: D. of Ph. dissertation. MIT. Cambridge (Mass.), 1980.
- Wackernagel 1953 — *Wackernagel J.* Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // *Wackernagel J.* Kleine Schriften. Bd. 1. Göttingen, 1953.
- Wackernagel 1979 — *Wackernagel J.* Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung // *Wackernagel J.* Kleine Schriften. Bd. 3. Göttingen, 1979.

ПРОСОДИЧЕСКАЯ СХЕМА СЛОВА И УДАРЕНИЕ. УДАРЕНИЕ КАК ФАКТ ФОНОЛОГИЗАЦИИ

Настоящая статья является обобщением исследований и наблюдений автора, начиная с 1973 г. На протяжении этих лет экспериментальное изучение просодии славянских и балканских языков, а также попытки осознать теоретико-лингвистический статус просодических единиц языка привели к некоторой, как кажется, единонаправленной концепции, которая в полном и эксплицированном виде излагается впервые.

Конечная установка изложения — сопоставить современные экспериментальные результаты и комплекс идей языковой реконструкции. Концептуально данная статья примыкает, будучи в то же время более конкретной, к положениям, изложенным в работе [Николаева 1991].

Необходимо сразу же заметить, что в статье не рассматриваются вопросы генезиса так называемого музыкального, или тонального, ударения. Речь будет идти в основном об ударении вообще и о динамическом ударении — в частности.

I

С тем, что ударение априори может выражаться любым из основных акустических параметров или любым набором этих параметров, соглашались и соглашаются практически все исследователи звукового строя. См., например: «Ударение можно определить как вершинообразующее выделение, реализуемое разными путями: с помощью экспираторного усиления, с помощью повышения высоты тона, с помощью удлинения, с помощью тщательной и энергичной артикуляции того или иного гласного или согласного» [Трубецкой 1960: 230]; «...ударение может выражаться и повышением голоса, и усилением его» [Jakobson 1962: 107]; «...ударение, будь то силовое ударение или

музыкальное, “интонация”...) [Сэпир 1934: 62]; «Ударение — это выделение одного слога внутри слова по сравнению с другими его слогами. Важнейшими средствами такого выделения являются интенсивность, выдыхание, высота тона и длительность» [Семереньи 1980: 86] и т. д.

Это единодушие в признании параметрической вариативности выражения ударения (сознательно приводились высказывания несовременные и неэксперименталистские), разделяемое и учеными самого позднего времени, не препятствует тому, что в языкознании существует два способа категоризации статуса ударения: фонологический и фонетический. Фонологический, более абстрактный, обычно представлен в трудах фонетистов, осознавших методические трудности и экспериментальные парадоксы нахождения признаков ударения в конкретном звуковом потоке. При этом подходе ударение обычно трактуется как выделение одного из слогов слова, воспринимаемое на слух. В последнее время, когда активно исследуется взаимодействие со словесным фразового ударения, в отличие от словесного, не имеющего заранее данной сегментной «привязки», словесное ударение стало определяться как словарный факт, лексическое свойство слова [Cutler 1984: 77]. «Ударение — это то, что отмечается в словарях» [Keijsper 1987: 115].

Фонетическим подходом к ударению можно назвать такой, когда ударение тоже понимается как выделение одного из слогов слова, но при этом связывается с конкретными акустическими параметрами. Фонетический подход к ударению свойствен и фонетистам и — что более сейчас существенно — историкам фонетических изменений, акцентологам и индоевропеистам в целом.

Самым общепризнанным претендентом на роль выразителя ударения в слове является интенсивность (обычно синоним экспираторности или силы). Роль динамической характеристики при выражении словесного ударения как бы настолько очевидна («любое ударение является динамическим» [Семереньи 1980: 80]), что несомненность этого привела по сути к терминологической омонимии. Речь идет о следующем: «ударение» — это и идея выделения слога в слове, концепт, это и способ этого выделения (т. е. под ударением понимается именно силовое ударение). Эта двойственность термина в синхроническом описании обычно не доставляет трудностей исследователю, поскольку конкретный контекст и знание сути дела легко эту омонимию снимают.

Более сложной и методологически необходимой для настоящей работы является квалификация статуса динамического ударе-

ния в диахронии. Здесь важным является ответ на такие вопросы: 1) существовало ли в реконструируемый период динамическое ударение вообще? 2) было ли оно параллельным с другими средствами выделения слога, например тональными? 3) налагалось ли оно на тональные средства или располагалось в слове на другом месте? 4) если оно существовало в другой позиции, то куда же исчезало после того, когда старое музыкальное ударение в ряде языков, как известно, стало передаваться нетональными средствами?

По этим вопросам существуют самые различные мнения. Например, А. Мейе говорит о динамическом ударении достаточно глухо: «и.-е. тон сводился к повышению голоса, без заметного усиления. Нет никаких следов, чтобы в и.-е. фонетике играло какую бы то ни было роль силовое ударение» [Мейе 1938: 163—164]. Ф. Ф. Фортунатов: «Ударение в и.-е. было свободным» [Фортунатов 1956, 1: 444]. У исследователей более позднего времени уже читаем о параллелизме силового и музыкального ударений в раннем периоде. См., например, у Л. Г. Герценберга: «...наряду с тонами в праязыке существовало кульминативное словесное ударение. Оно, по-видимому, падало на первый слог, не имело фонологического значения; объяснялось это тем, что первый слог был корневым, язык же был суффицирующего типа» [Герценберг 1979]; у него же: «...удаление первоначально выделяло важную часть слова, словесное ударение и слоговые интонации не связаны» [Герценберг 1981: 321]. Итак, речь идет о первом слоге слова в и.-е. как подударном. И в то же время «ясно, что связанное ударение представляет собой инновацию по сравнению со свободным и что, следовательно, реконструкция индоевропейского ударения должна опираться на языки со свободным ударением» [Семереньи 1980: 89].

Итак, находилось ли ударение на первом слоге или было свободным?

Аналогичные проблемы возникают не только для языка прапериода, но и при реконструкции древнейших состояний древних языков. В ведийском языке «...ударение было музыкальным по преимуществу и характеризовалось высотой гласного» [Елизаренкова 1984: 104]. Загадкой же латинского языка является гипотетическое существование первичного «динамического ударения» на первом слоге в «праисторическом» периоде латинского языка (свидетельством этого служит фонетическое богатство первого слога, явления синкопы раннего периода и под. [Vendryes 1902]). Таким образом, по ряду концепций, латинский язык как бы проделал круг просодического

развития: динамическое ударение — квантитативно-позиционные различия — динамическое ударение позднего типа (см. об этом подробнее [Николаева 1989]).

Более того, та же проблема встает и для финно-угорских языков. Только то, что для и.-е. языков соотносится с отдаленным реконструируемым периодом, в финно-угорском соотносится с недавним прошлым и даже с настоящим. Так, по сути со всей группой языков связана дискуссия о месте эрзя-мокшанского ударения [Ravila 1973]. Согласно одной точке зрения, ударение в эрзя свободное, оно варьируется в зависимости от говорящего и в зависимости от ситуации. По другому предположению, есть слабое ударение на первом слоге, во всяком случае — в изолированных словах. Для древнейшего ирафинно-угорского состояния В. И. Лыткин восстанавливает свободное ударение.

Обратим внимание на еще одно обстоятельство, связанное с реконструкцией ударения.

С. Д. Кацнельсон, занимаясь акцентологией германских языков и фонетическим воплощением акцентов, пишет о том, что «помимо словесного ударения, в шведском и норвежском языках имеется два «акцента», создающих возможность дополнительного смысловаразличия в слове» [Кацнельсон 1966: 13]. И далее он показывает, что «основными средствами фонетических реализаций акцентов являются интенсивность и тон» [Николаева 1989: 29]. Таким образом, акцент ≠ ударению, но в слове две точки выделены интенсивностью. Это в принципе верно, и повышение тона, как правило, влечет за собой динамическое усиление, которое потом может фонологизироваться, т. е. стать ударением. «Параллелизм интенсивности и тона в акцентах уже не раз отмечался исследователями», — пишет в той же книге С. Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1966: 21]. Именно эта верная фонетическая идея привела В. А. Дыбо к важной концепции замены архаических и.-е. тонов динамическим (силовым) ударением: «Рассмотрение типологически аналогичных систем и их сравнительно-исторический анализ показывает, что такого рода системы возникают из тоновых систем с силовым контуром, сопряженным с тонами, при фонологизации силового контура, вызванной падением тоновых различий» [Дыбо 1981: 10]. Эта же идея связана и с исследованием А. Г. Герценберга: формированием свободного ударения из тоновых сандхи [Герценберг 1981: 159].

Однако за всеми этими убедительными построениями стоит неясной тенью судьба загадочного силового ударения, отдельного

от словесного ударения-акцента. Если выше задавался вопрос о том, где оно размещалось, то теперь можно поставить и другой вопрос: куда же оно исчезло после фонологизации силового ударения на месте архаических тонов?

Что касается более поздней истории языка, то о судьбе этого столь привычно декларируемого силового и.-е. ударения обычно не упоминают. Или о нем «забывают», или оно — артефакт. Более того, в акцентологических работах под ударением обычно и имеют в виду акценты: сдвиг ударения, мена ударения — это мена акцентов. Между тем если быть строгим и держать в памяти положение об «отдельном» силовом ударении, то, глядя на акцентную парадигму, мы ничего не узнаем о судьбе «ударения», а узнаем только о судьбе акцентов и их рефлексов.

Можно предположить, что вся эта явная и скрытая запутанность в вопросе о диахронии силового ударения заставила А. А. Зализняка вообще избегать термина «ударение», оставляя за ним лишь четкие узкие границы: «Соответственно, термин “акцентуация” может употребляться, в частности, применительно к языку в целом (например, “праславянская акцентуация”, “современная русская акцентуация”). В этом случае возможен также термин “ударение”, но он уместен лишь там, где существует только один тип просодического выделения (например, “современное русское ударение”, но не “праславянское ударение”)» [Зализняк 1985: 6].

II

Между тем, как кажется, все эти терминологические и экспланаторные трудности могут быть разрешены в рамках единой объясняющей модели, если принять в качестве нового концепта просодической теории соответствующее ему явление, которое в наших работах было названо схемой слова или просодической схемой слова (см., например, [Николаева 1977; Nikolayeva 1983; Nikolaeva 1991]). Под просодической схемой слова понимается модель распределения сильных и слабых (т. е. максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова, независимых от места и способа реализации ударения.

Для большинства исследованных языков (на типологической стороне этого явления мы остановимся ниже) просодическая схема

слова организована таким образом, что сильной точкой интенсивности является начало слова, а сильной точкой для длительностного параметра, темпоральной, является его конец.

Приведем ряд примеров, демонстрирующих объективность просодической схемы слова.

Данные итальянского языка (по работе П.-М. Бертинетто [Bertinetto 1981]):

Слово с начальным ударением:	+	-	-
Интенсивность	8:08	2:91	2:57
Слово с пеньюльтым ударением:	-	+	-
Интенсивность	6,74	4,91	3,49
Слово с конечным ударением:	-	-	+
Интенсивность	6,87	4,99	5,62

Из приведенных данных видно, что акцентная кривая слова во всех случаях остается нисходящей, но под влиянием конкретного ударения подударный слог несколько усиливается.

Продемонстрируем собственные результаты анализа языков Балкан. Анализировались слова пяти ритмических структур: — —, — —, — — —, — — —, — — —. Рассматривались следующие языки: румынский, албанский, новогреческий, македонский, болгарский, сербскохорватский. Ритмические структуры были подобраны единообразно: с вокальным анлаутом на /a/ и консонантным анлаутом на /b/. Там, где это оказалось возможным, анализировались пары слов, отличающихся местом ударения. Все параметрические данные, полученные в Лабораториях ИРЯ РАН, ИСАА, Университета дружбы народов, МГЛУ, Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, регистрировались и сравнивались. Примеры пар: рум.: *ágă* — *agá*; *bába* — *babă*; *bárem* — *barém*; *amářă* — *atará*; н.-греч.: *ἄλλα* — *ἄλλᾶ*; *ἄμῃ* — *ἄμῆ*; *ἄρα* — *ἄρά*; *ἄλκῃ* — *ἄλκή*; *ἄκόπος* — *ἄκπως*; алб.: *ármë* — *armë*; *átë* — *átë*; болг. *Бáкан* — *бакán*; *áртък* — *артък*; *áрка* — *аркá*; *блúжа* — *ближá*; *бúча* — *бучá*; *бéден* — *бедén*; *брáва* — *бравá*; *áрмия* — *армéя*.

Приведем обобщенный вариант фиксирования просодических параметров слова. Каждый из возможных показателей ударения йотировался как: f (высота тона), t (длительность) и i (интенсивность). Затем регистрировались данные в следующем виде. Например, если слог выражался максимумами всех трех параметров, то это передавалось как ftí. Соответственно tí означало и длительность, и интен-

сивность, ft — высоту и длительность, fi — высоту и интенсивность, i — только интенсивность и т. д.

Конкретные показатели: цифры показывают число (в %) в тех случаях, когда интенсивность входит в число акустических параметров, характеризующих слог (стлб. i); когда интенсивность является единственным показателем ударности слога (стлб. 2):

Румынский язык	1	2
— —	41,8	17,6
— —	30,4	0
— — —	33,3	20
— — —	66,6	9
— — —	11	0

Новогреческий язык:

— —	50	28
— —	35	0
— — —	52	9
— — —	43,7	16
— — —	23,8	0

Болгарский язык:

— —	36	24,4
— —	30,2	0
— — —	36,3	90
— — —	28	0
— — —	38,4	0

Вполне очевидно, что тенденция к понижению акцентной кривой, т. е. компонент просодической схемы слова, функционирует параллельно с выделительными тенденциями ударности.

Наконец, реальность просодической схемы слова очевидным образом демонстрируют огибающие интенсивности в соответствующих интонограммах. Так, изменение места ударения не влияло на распределение сильных точек в просодической схеме слова в македонских словах *báсмен*, *apóma*, *balón*. Это же отмечалось для албанских слов *bóre*, *baléne*, *boí*, *afró*. Явным было доминирование первого слога в двусложных словах румынского языка *bábă* и *babá*, *ágă* и *agá* и сходных с ними структурах.

Однако необходимо сказать о том, что просодическая схема слова есть некий концепт, реализующийся в виде сильно или слабо проступающей тенденции. В реальном слове тенденция сохранить просодическую схему слова и тенденция выделить динамическими

средствами фонологизировавшееся ударение находится в сложных отношениях, то единонаправленности, то противодействия. Так, например, на интонограмме было видно, насколько интенсивность первого слога при *bábā* сильнее, чем при *babá*, т. е. это именно тот случай, когда увеличение интенсивности переходит через когнитивный порог и воспринимается как ударение. Но было очевидно также, что и второй слог в *babá*, становясь ударным, как бы стремится подняться, хотя и не дотягивает до первого. Напоминаем, что мы в данной работе говорим о динамических средствах и об общей теории ударения — в реальных же случаях выраженность ударения имеет много фонетических компенсаторных средств, вплоть до психофонетических.

Выделенность непервого слога — ударного через интенсивность может выражаться и в том, что, рисунок просодической схемы нарушается: ударный оказывается выше первого слога. Наконец, выделенность непервого слога может выражаться и не абсолютными показателями. Например, при структуре — — отношение первого слога ко второму по интенсивности будет 1:0,4, а при структуре — — будет отношением 1:0,9 и т. д. Наконец, существенны и общезыковые тенденции выделять ударение сильно или слабо, т. е. будучи фонологическим фактором, на уровне плана выражения степень выделенности ударения есть факт градуальный.

Существует и типология предпочтительного параметра выражения немзыкального ударения: одни языки ориентируются на высотный, другие — на динамический, третьи — на длительностный параметр. Так, например, несомненно, что зона длительностной преференции охватывает не только русский и украинский языки, но и греческий, албанский и итальянский.

III

Очертив концепт просодической схемы слова, мы хотим снова вернуться к динамическому ударению и показать связь этих двух просодических феноменов, но уже рассматриваемых отдельно.

При изучении ударения в самых разных аспектах как бы не принимается во внимание (или забывается) тот факт, что ударение есть то, что слышно как ударение. Иначе говоря, оно проходит некий порог нашей перцептивной тренированности. Т. е. ударение слышно всем как таковое и может быть всеми в таком качестве идентифи-

цировано. Это — факт интроспективного языкового метасознания (возможно, эволюционно неранний). Сильные же точки просодической схемы слова не являются еще ударными слогами, однако расположенные на них сегментные конфигурации (слоги) слышатся (воспринимаются) лучше других. Если их усиливать, то эта увеличенная «слышность» пройдет через тот порог перцепции, после которого слог уже воспринимается как ударный. Таким образом, сильные точки просодической схемы акцентогенны.

Как уже говорилось, сильной точкой интенсивности слова является начало слова, его первый слог. Фонологизация просодических явлений есть кодификация в парадигматике явлений, потенциально для этого пригодных, но градуальных по сути. Поэтому, вероятно, начало слова было усилено и в индоевропейском (см. теорию первого слога у Л. Г. Герценберга) — так, как оно усилено и в современном русском языке, и это было автоматизировано так же, как и в современном языке. Тем самым выделялось слово, очерчивалась в сознании воспринимающего его начальная граница (слово в данном случае мы понимаем широко), но слово не воспринималось как кодифицированный фонологический элемент. Смыслосоздающую функцию, видимо, выполняло тональное (музыкальное) ударение. После падения тоновых различий у языков оказывалось три возможности: 1) сохранить вообще тональные акценты; 2) кодифицировать те силовые увеличения, которые сопровождали тоновый акцент; 3) кодифицировать сильное динамическое начало, т. е., проще говоря, довести первый слог до состояния ударности. Все эти три вариации мы и имеем в общеиндоевропейском и — по группам — более узком наследии. Поскольку сейчас мы не говорим о другой сильной точке — длительностном конце слова, мы не анализируем возможности этого акцентогенного региона, но очевидно, что на его базе возникает пеньultimate и конечное «ударения».

Предлагаемая нами теория, как представляется, распутывает указанные загадки с реконструируемым силовым праударением. Более того, она показывает, что по сути правы все авторы, как будто бы противоречащие друг другу. Это и идеи Л. Г. Герценберга об ударении на первом слоге, динамическом, но не несущем смысловой функции, это и мысли Р. Якобсона о так называемом «рецессивном» ударении, когда оно возникало в отдельных языках достаточно поздно, это и концепция В. А. Дыбо, выводящего позднее силовое ударение из динамического усиления при тональных акцентах (в этом смысле прав и О. Семереньи, утверждавший, что всякое ударение в конце концов

«динамическое»), это и взгляды А. Мейе, сомневавшегося в наличии силового ударения в индоевропейском, и позиции тех, кто считал и.-е. ударение «свободным», поскольку в данном случае речь шла об ударении из акцентов.

Акцентогенная активность первого слога имеет место и в наши дни. Так, исследовательница типологии акцентов М. Бекман [Beckman 1986] определяет три излюбленных места размещения акцента в анализируемых ею языках. Это: 1) начальный слог, 2) конечный, 3) предпоследний. Наша теория просодической схемы слова, как кажется, и объясняет расположение именно этих трех точек. Понятие акцентной зоны было разработано в связи с изучением, размещения ударения в латинском и древнегреческом языках. Эта зона получила название «конечного ансамбля» (см. [Тронский 1953; 1962]). Вариации расположения ударения в конечном ансамбле определяются количественным критерием: долготой—краткостью трех последних слогов.

Замечательной в этом плане является идея Н. С. Трубецкого о том, что в искусственном международном языке целесообразно иметь ударение на первом слоге [Трубецкой 1987а: 27]. С возможным в данном случае стремлением выдать желаемое за действительное можно прочесть у него, что «начальное ударение вспомогательного языка не представит затруднений и для тех народов, в родном языке которых место ударения свободно». Интересно в этой связи замечание Р. О. Якобсона о том, что при ярких эмоциях даже во французском языке возможно ударение на первом слоге: *fórmidable*.

Вообще о значимости первого слога как потенциально ударного написано очень много. Так, П. Мертенс [Mertens 1991] показывает, что во французском языке есть два места словесного ударения: конечное и начальное, эмфатическое. В английском языке при нежелательном стыке двух ударных ударение переносится именно на первый слог: *Mississippi river* — *Míssissippi* [Shattuck-Hufnagel 1991]. Даже в слабоударном грузинском речь может идти именно об ударении на первом слоге [McCoу 1991]. К этому же относятся, видимо, и такие явления, как «ляпанье», перенос ударения в говорах на первый слог [Тер-Аванесова 1989: 30]. Разумеется, акцентогенная точка слова создает условия для употреблений типа *включить, принять, начать* и т. д. Кстати говоря, экспериментально важным в таких случаях было бы обращение к говорящим с просьбой расставить ударение в этих словах, в том числе и в тексте. Весьма возможно, это не совпало бы с их произнесением, что еще раз подтвердит ги-

потезу о нераннем возникновении ударения как фонологического феномена.

Введение категории осознанной слышности ударения обращает наше внимание и на возможное несовпадение данных экспериментального анализа и осознанного восприятия звуковых единиц человеком. Например, в трехсложном слове типа — — — первый слог может быть самым интенсивным, а последний — самым длительным, однако все будут «правильно» слышать ударение в середине. Обращение к человеческой перцепции и когнитивным факторам продемонстрировало асимметрию анализа и синтеза звукового потока.

Если принять ударение как некий факт становления, как результат процесса, то можно сделать ряд серьезных выводов. Во-первых, возможно, что в ряде языков фонологизация ударения еще не произошла. Поэтому в таких языках экспериментальный анализ будет выявлять, и с весьма возможной регулярностью, точки самые интенсивные, самые длительные, самые высокие и т. д., и все же об ударении здесь говорить нельзя. Это факт языковой интроспекции носителей языка. Поэтому языки без ударения вполне возможны, как это и показывает типология. Сложные компенсаторные отношения внутри языка могут и заместить непооявившиеся ударения.

Во-вторых, для того чтобы реконструировать ударение в языке древнейшего периода, нужно сначала быть убежденным в том, что в данном периоде оно было, т. е. что это был язык, где ударение уже фонологизировалось. Для подобных доказательств, бесспорно, требуется глубокая разработанность теории диахронической типологии.

В-третьих, функции ударения меняются. Во многих языках оно настолько фонологизировано, что начинает выполнять все более разнообразные категориальные функции — от частеречной словообразовательной до самой тонкой семантики: ср. (професс.) *лифты́*, *болéй*, *компасá* и т. д. Иначе говоря, ударение и его функция сейчас — это не то, что было даже семьсот лет назад.

Это еще раз возвращает к основной идее Н. С. Трубецкого об осознанности фонологических компонентов как воспринимаемых элементов: «...наличие в сознании каждого члена языковой общности единого языка является предпосылкой любого речевого акта... Язык существует в сознании всех членов данной языковой общности» [Трубецкой 1960: 7].

Необходимо обратить внимание на то, что само слово «фонологизация» имеет два значения: процесс и результат. О первом значении как-то пишут мало, считая фонологическую систему стабильной. Но эта идея процесса подчеркивается в работах Р. О. Якобсона: «Возникновение фонологического различия можно назвать “фонологизацией” (или “фонологической валоризацией”), т. е. приобретением фонологической значимости» [Якобсон 1985: 119].

Фонологизации противостоит: для сегментных единиц смешивание их в некий диффузный класс, а для суперсегментных, более сложных по интроспекции, — их автоматизированная выполняемость, неосознанность их различительной способности.

Таким образом, фонологизация может быть результатом длительной эволюции, и потому если в языках-потомках нечто фонологизировано, то в языке-источнике оно может быть еще «до-фонологизировано».

Между тем для просодических феноменов существует изначальное препятствие в их движении к фонологизации. Дело в том, что, как пишет Н. С. Трубецкой, фонологические звуковые различия в отличие от фонетических не знают «переходных зон» [Трубецкой 1987б: 33]. Просодические фонологические особенности реализации ударения характеризуются тем, что ударение, став таковым, начинает входить в привативную оппозицию: «наличие/отсутствие ударения», тогда как фонетические данные шкалированы и градуальны: «ударный слог» может по своим параметрам отличаться от неударного практически минимально. Таким образом, фонологизация ударения есть по своей сути кодификация, перевод явления в парадигматический феномен. Кодифицировать — значит усилить потенциально акцентогенные компоненты просодической схемы слова до того порога, после которого усиленное место будет восприниматься как ударение.

IV

Итак, выше было предложено различать просодическую схему слова (автоматизированный феномен, интроспективно не замечаемый), и ударение (факт воспринимаемый, когнитивно осознаваемый, перцептивно значимый). Это можно показать на самом простом эксперименте. На вопрос: «Скажите, где в этом слове ударение?» или даже: «Где вы слышали ударение в этом слове?» средний носитель

языка ответить должен. Но просьба: «Опишите движение интенсивности и длительности в слове» или вопрос: «Где в слове более громкие и более растянутые участки?», как представляется, могут быть осознаны только изошренным исследователем-специалистом.

Различие перцептивного статуса двух описанных феноменов словесной просодии строго параллельно отношению двух фразовых просодических феноменов [Николаева 1982]. Было предложено выделение фразовой интонации с фразовым центром и «автоматизированным» (термин И. И. Ковтуновой) оформлением и потенциально возможного выделения слова или составляющей — акцентного выделения (АВ). Акцентное выделение предлагалось считать таковым при соблюдении двух условий. Первое: оно должно быть слышимым, каждый носитель языка должен понять, где было подчеркивание, и воспринять это правильно. Второе условие, видимо, объясняется более высоким семантическим статусом высказывания в отличие от слова. Перцептивно яркое акцентное выделение создает вокруг себя дополнительную смысловую ауру, теневое высказывание: *Это был мой первый неудачный брак* (остальные тоже были неудачными); *Витя поехал в Москву* (были какие-то препятствия или колебания); *даже Петя не решил задачи* (Петя обычно решает их хорошо); *В школу пойдет папа* (а не кто-то другой, как обычно) и т. д.

В такой же степени, как трудно носителям сильноударных языков представить себе, что слово может быть без ударения, оказалось сложным представить высказывание без яркого «фокуса», столь обязательного в фонологических представлениях высказывания. Собственно говоря, возможность наличия двух гетерогенных центров в высказывании — 1) автоматизированного, показывающего терминальный контур фразы и ее коммуникативный тип, и 2) отчетливого по восприятию и демонстрирующего сознательное подчеркивание — является сейчас в мировой интонологии наименее воспринимаемой. Так, сообщение на XI Международном конгрессе фонетических наук Н. Торсен-Гроннум [Torsen-Grønnum 1991] о том, что не во всяком датском предложении есть «фокус», а возможны простые описательные предложения без теневой семантики, было воспринято как сообщение о некоей датской экзотике. Таким образом, почему-то оказывается легче принять идею особенности языка (ср. характерную фразу английской фонетистки Э. Катлер: «In a language which has sentence accent...» [Cutler 1991]), чем идею нескольких функционально и формально различающихся интонационных самовоплощений.

V

Просодическая схема слова выше описывалась как треугольник с повышенным в начале и пониженным к концу движением интенсивности и движением длительности с растяжением к концу. Существует большое число данных по разным языкам в пользу универсальности этой схемы [Lehiste 1970]. Однако примеры из тюркских и монгольских языков в ряде случаев свидетельствуют о повышении, а не о понижении акцентной кривой к концу слова. Например, А. Орусбаев пишет: «Если для русского языка типично увеличение интенсивности к началу слова, то для киргизского, напротив, характерно повышение интенсивности к концу слова. Подобное явление наблюдается и в другом тюркском языке — азербайджанском» [Орусбаев 1971: 8]. В целом это подтверждают Д. А. Павлов и Т. С. Есенова [Павлов, Есенова 1986]. Они считают, что монгольские языки отличаются от индоевропейских именно повышением интенсивности к концу слова. По их данным, и слово с начальным ударным (если принять позицию об обязательности ударения) может также иметь восходящую акцентную кривую, а ударность выражать иными средствами.

Существенно то, что феномен такого рода способен оказывать влияние на территориально близкие, но не родственные языки. Отмечалось иное распределение интенсивности в русском слове в говорах, соседящих с татарскими [Альмухаметова 1970]. Д. Тилков отмечает, что в болгарском языке, наряду с понижением динамической линии, есть и такие случаи, как *nína* (18—20, интенсивность слогов в условных цифровых единицах), *níша* (18—22), *неперѹда* (10—35—20—25), где явно имеет место восхождение акцентной кривой к концу слова [Тилков 1983].

Все сказанное выше относилось к интенсивности, т. е. к акцентно-динамическому феномену просодической схемы слова. Между тем в нее входит и длительность. И здесь также языки Балкан в ряде случаев демонстрируют увеличение длительности к началу, а не к концу слова. (К сожалению, мы не располагаем более широкой типологической базой данных.)

Тенденцию к долготному усилению словесного анаута демонстрируют и сербскохорватские говоры (исследовались данные говоров по их фонетическому описанию [Fonološki opisi... 1981]). Интересно при этом, что в кайкавских и чакавских говорах, т. е. там, где не прошел так называемый «неоштокавский сдвиг», усилена долгота

предударного слога, а в штокавских говорах усилен долготно посттоник.

Таким образом, по нашему мнению, во всем регионе осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов, т. е. был усилен «начальный ансамбль». В одних говорах первый слог так и оставался долгим предударным, в другом его долгота превышала соответствующий порог перцепции, необходимый для фонологизации ударения, и этот слог становился «ударным», а второй в долготном ансамбле — долгим посттоником. Вероятно, это движение к началу и было той причиной, которая приостановила для сербско-хорватских говоров распространившееся движение регрессивного, т. е. правоориентированного долготного сдвига, который успел осуществить только словенский (о причинах неоштокавского сдвига см. подробно [Fonološki opisi... 1981]).

Трудно говорить о том, случайно ли неоштокавское перемещение к началу совпало с увеличением контакта с тюркскими элементами, хотя выше говорилось о своеобразии просодической схемы в тюркских языках. Создается впечатление, что сложным движением долготы в просодической схеме слова была охвачена значительная часть Балкан. Фонетически же в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных начальных слогов, однако предположить точные топохронологические датировки слишком сложно.

Возвращаясь к нашей гипотезе, можно сказать далее, что долготное балансирование временного параметра просодической схемы слова «прояснило» в штокавских говорах первый слог до порога ударности (тоновое движение), но новый ударный не оторвался от своего контактного соседа — посттоника, в результате чего возникла двусложная структура восходящих тонов.

Таким образом, можно предложить новую терминологию, базирующуюся на классическом представлении о фонологизации. А именно — мы имеем дело не с переносом ударения, а с увеличением просодических характеристик на новом участке слова, в результате чего другой слог, с увеличенными характеристиками до нужного порога перцепции, после фонологизации становится ударным.

О причинах перестройки просодических схем слова говорить можно: они связаны с общим изменением функциональных установок языковой системы, и в частности просодии, тогда как назвать объективную причину «переносов» ударения, не выходя за плоскость непосредственной эмпирики, часто бывает затруднительно.

VI

Приняв просодическую схему слова как феномен, автономный по отношению к ударению, существенно остановиться еще на одном важном обстоятельстве. В нашем метасознании ударение обычно связывается со слогом. В просодической же схеме значимы у ч а с т к и слова: начало — середина — конец; напрямую со слогом не соотносимые. Иначе говоря, существует еще один вид членения звукового потока, параллельный со слоговым и им не определяющийся. Многоканальность звукового сообщения служит для этого достаточно фундаментальной опорой. Ближе всего членение на уровне просодической схемы соответствует тому членению, при котором в слове различается инициаль, средняя часть и финаль. В данной статье говорилось лишь о просодии слова, но указанные части различаются достаточно регулярно сегментным наполнением. Наиболее подробно значимость инициали для слова показана в последней монографии А. Г. Зубковой [Зубкова 1990: 197]. Вообще А. Г. Зубковой впервые отчетливо сформулирована переплетенность в слове сегментных и суперсегментных характеристик, обусловленность первых последними. Многолетние наблюдения эксперименталистов приводят к гипотезе о существовании некоторой промежуточной единицы между слогом и словом. Так, еще в 1876 г. тартуский ученый А. Мазинг [Masing 1876], занимаясь анализом сербскохорватских акцентов, заметил, что рисунок мелодики (тона) при восходящем акценте — / — соотносится с рисунком при нисходящем акценте \cap так, что второй слог восходящего акцента сходен по тону с ударным слогом нисходящего акцента. Если снова вспомнить тот факт, что / появился в результате «переноса» прежнего акцента \cap на один слог к началу (а в наших терминах — в результате увеличения показателей предударного до порога ударности), то станет ясно, как об этом и писал А. Мазинг, что речь идет о битональной фигуре, одной по сути, но по-разному расположенной по отношению к «ударному» слогу. Именно такие битональные рисунки в зоне ударного слога были нами обнаружены для болгарского языка, от которого таким образом сербскохорватский отличается фонологизированностью этих битональных фигур. К сожалению, не была еще произведена работа по анализу лексемной закреплённости этих фигур в болгарском, что дало бы возможность понять, какова корневая дистрибуция этих фигур и достаточно ли она регулярна.

Американская исследовательница Дж. Брекенбридж-Пьерхамберт в диссертации об английской интонации [Breckenbridge-Pierre-

humbert 1980] в качестве смыслоносителей интонации фразы обнаружила именно такие как бы спаянные битональные фигуры (LH, HL, L*H, H*L), непрямо соотносящиеся со слогами и формирующие индивидуальный рисунок высказывания на фоне основной мелодической линии (baseline).

Идея диффонного синтеза звучащей речи принята сейчас как базовая в Институте перцептивных исследований в Эйндрховене (Нидерланды) (см. [Collier et al. 1992]).

Двойной компонент выявляется и для интенсивности слога. Так, в славянских языках интенсивность второго слога слова близка к первому и часто резко отличается от третьего, где наступает перепад вниз. Впервые на это применительно к чешскому языку указал в 1924 г. Ф. Травничек [Travniček 1924]. О двусложной структуре чешского языка писал и А. М. Селищев, представляя ее как трехсложную с двумя краткими слогами и одним долгим [Селищев 1941]. Можно привести и конкретные экспериментальные данные. Так, например, в структуре — — ударный был выделен, но подсчет отношения ударного слога к предударному давал приблизительно 1 : 0,9, а подсчет отношения ударного к заударному давал 1 : 0,3—0,25, т. е. ударный и предударный в этой структуре различались мало. Ср. в белорусском языке: слово *вільчыках* — интенсивность 9/8/3—1, т. е. опять объединяются два первых слога.

Что же касается длительности, можно обратиться еще к временам античности, когда было известно о значимости как минимум двух последних слогов, «конечного ансамбля». Таким образом, каждый акустический параметр слова (тон, интенсивность, длительность) вычленяет в слове некоторые участки вокруг ударения, приблизительно по протяженности соответствующие двум слогам.

* * *

Итак, на обсуждение предлагались следующие положения.

1) Просодическая схема слова — расположение максимумов и минимумов просодических показателей — представлена в слове как автономный феномен по отношению к ударению.

2) Просодические показатели схемы слова носят автоматизированный, неосознаваемый характер; ударение же есть осознаваемый в интроспекции мета-компонент.

3) Однако сильные точки, схемы (максимумы) акцентогенны: увеличение их показателей до определенного перцептивного порога делает этот участок осознанно воспринимаемым как ударение.

4) Когда усиленный участок слова осознается как ударение, имеет место фонологизация ударения.

5) Ударение есть то, что и воспринимается как ударение, поэтому чисто фонетические показатели (поиск и нахождение максимумов) для определения ударения недостаточны.

6) Таким образом, возможно существование языков, где не имеет (не имела) места фонологизация ударения как осознанного феномена; тем самым ударения в них нет.

7) Во многих языках сильной динамической точкой просодической схемы слова является его начало, поэтому бесспорные положения о развитости фонетики и о содержательной значимости словесной инициали еще не свидетельствуют, строго говоря, что в начале слова было ударение в нашем современном понимании.

8) Фонологизация ударения может быть длительным процессом, и содержательные функции ударения могут на протяжении исторического процесса меняться.

9) Реконструкция ударения для некоторого раннего исторического периода должна быть верифицирована уверенностью (доказанностью) в том, что в реконструируемый период ударение было действительно фонологизировано, т. е. существовало как таковое.

10) Просодическая схема слова неуниверсальна, возможны типологически различные ее воплощения; возможны и контактные заимствования модели.

11) Просодическая схема слова не дискретизируется на слоги адекватным образом; высказывается предположение о существовании в звуковом потоке бикомпонентных единиц, промежуточных между словом и слогом.

Список литературы

- Альмухаметова 1970 — Альмухаметова З. М. Из наблюдений над поволжской интонацией // Вопросы грамматического строя русского языка. Казань, 1970.
- Герценберг 1979 — Герценберг А. Г. Реконструкция индоевропейских слоговых интонаций // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.

- Герценберг 1981 — *Герценберг А. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
- Дыбо 1981 — *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. М., 1981.
- Елизаренкова 1982 — *Елизаренкова Т. Я.* Грамматика ведийского языка. М., 1982.
- Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зубкова 1990 — *Зубкова А. Г.* Фонологическая типология слова. М., 1990.
- Кацнельсон 1966 — *Кацнельсон С. Д.* Сравнительная акцентология германских языков. М.; Л., 1966.
- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Николаева 1989 — *Николаева Т. М.* Фонетическая природа греческого и латинского ударения // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
- Николаева 1991 — *Николаева Т. М.* Диахрония или эволюция? // Вopr. языкознания. 1991. № 2.
- Орусбаев 1971 — *Орусбаев А.* Киргизская акцентология. Опыт экспериментально-фонетического исследования ударения в слове и фразе: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1971.
- Павлов, Есенова 1986 — *Павлов Д. А., Есенова Т. С.* Фонетическая характеристика и фонологический статус гласных калмыцкого и монгольского языков // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986.
- Селищев 1941 — *Селищев А. М.* Славянское языкознание. Т. I. М., 1941.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Сэпир 1934 — *Сэпир Э.* Язык. М., 1934.
- Тер-Аванесова 1989 — *Тер-Аванесова А. В.* Об одной славянской акцентной инновации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989.
- Тилков 1983 — *Тилков Д.* Някои наблюдения върху промените на интензитета при ударените и неударените гласни // *Тилков Д.* Изследвания върху българския език. София, 1983.
- Тронский 1953 — *Тронский И. М.* Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.
- Тронский 1962 — *Тронский И. М.* Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
- Трубецкой 1987а — *Трубецкой Н. С.* Как следует создавать фонетическую систему искусственного международного вспомогательного языка // *Трубецкой Н. С.* Избр. труды по филологии. М., 1987.

- Трубецкой 1987б — *Трубецкой Н. С.* Фонология и лингвистическая география // *Трубецкой Н. С.* Избр. труды по филологии. М., 1987.
- Фортунагов 1956 — *Фортунагов Ф. Ф.* Избр. труды. Т. I. М., 1956.
- Якобсон 1985 — *Якобсон Р. О.* Принципы исторической фонологии // *Якобсон Р.* Избр. работы. М., 1985.
- Beckman 1986 — *Beckman M. E.* Stress and non-stress accent. Dordrecht; Riverton, 1986.
- Bertinetto 1981 — *Bertinetto P.* Strutture prosodiche dell'italiano. Firenze, 1981.
- Breckenbridge-Pierrehumbert 1980 — *Breckenbridge-Pierrehumbert J.* The phonology and phonetics of English intonation: Ph. D. Cambridge (Mass.), 1980.
- Collier et al. 1992 — *Collier R., van Leeuwen H. C., Willems L. F.* Speech synthesis today and tomorrow // *Philips journal of research.* 1992. V. 47. № 1.
- Cutler 1984 — *Cutler A.* Stress and accent in language production and understanding // *Intonation. Accent and rhythm.* B.; N. Y., 1984.
- Cutler 1991 — *Cutler A.* Prosody in situations of communication: salience and segmentation // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Fonološki opisi 1981 — *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih, i makedonskih govora obuvačenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom.* Sarajevo, 1981.
- Jakobson 1962 — *Jakobson R.* Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie // *Jakobson R.* Selected writings. T. 1. 's-Gravenhage, 1962.
- Keijsper 1987 — *Keijsper C. E.* Studying neoštokavian Serbocroatian prosody // *Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics.* 1987. V. 10.
- Lehiste 1970 — *Lehiste I.* Suprasegmentals. Cambridge (Mass.); London, 1970.
- Masing 1876 — *Masing L.* Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents // *Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.* 1876. VII. ser. T. XXIII. № 5.
- McCoy 1991 — *McCoy P.* Word stress in Georgian // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Mertens 1991 — *Mertens P.* Local prominence of acoustic and psychoacoustic functions and perceived stress in French // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Nikolaeva 1991 — *Nikolaeva T.* Two intensity phenomena in the word prosody // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Nikolayeva 1983 — *Nikolayeva T.* Slavic word stress and its acoustic realization. Preprint. M., 1983.

- Ravila 1973 — *Ravila P.* Der Akzent im Erzmordwinischen // *FuF.* 1973. Bd. XL. Hf. 1—3.
- Shattuck-Hufhagel 1991 — *Shattuck-Hufhagel S.* Acoustic correlates of stress shift // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Torsen-Grønnum 1991 — *Torsen-Grønnum N.* Terminality and completion in Danish, Swedish and German // *Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques.* Aix-en-Provence, 1991.
- Travniček 1924 — *Travniček F.* Příspěvky k nauce o českém přízvuku. Brno, 1924.
- Vendryes 1902 — *Vendryes J.* Recherches sur l'histoire et les effets de l'intensité initiée en Latin. Paris, 1902.

СТРОКИ ПРОЗАИЧЕСКАЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОСТИ И ВТОРИЧНОСТИ

Мы уже неоднократно говорили, что все связанное с акцентным выделением «работает» только, и только, на фоне сопоставления с нейтральным, немаркированным произношением других слов, не отмеченных просодической маркированностью. Только на некотором фоне нейтральности, реально перцептивно присутствующей, информация дополнительная может восприниматься вообще. Все приведенные тонкие различия смыслов высказываний с АВ (акцентное выделение) и без него не возникнут, например, при громком пословном скандировании или тихом ровном шепоте. Видимо, не случайно примерно в одно и то же время Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, обратившись к древнегреческому слову «знак» [Ivanov 1993] и славянскому **ЗНАКЪ** [Топоров 1991], прежде всего возвели его к чему-то ярко вертикально выделявшемуся на нейтральной плоскости. Знак должен быть заметен.

Не стоит подробного доказательства тот уже исследованный факт, что акцентное выделение лучше всего реализуется на базе простого развернутого повествовательного предложения, мелодическая часть которого в наибольшей степени является рыхлой и служит хорошим полем для того, чтобы знак — акцентное выделение — стал заметным. Мелодические контуры (интонационные фигуры) с более четкой нагрузкой (wh-вопрос, переспрос и др.) слишком компактны перцептивно, и акцентное выделение может оказаться слабым или — при его излишнем усилении — погасить семантику интонационного контура.

Между тем было замечено (в особенности [Ковтунова 1976; Невзглядова 1998]), что интонационные, особенно мелодические рисунки стихотворной строки менее функционально выразительны, и — что важно — вся семантическая гамма возможностей акцентного выделения в стихотворной строке как бы не «работает». Если все же придерживаться концепции о позднем развитии всех языковых

средств создания дополнительных смыслов, то естественно встанет вопрос о том, не является ли стихотворная строка первичной просодически по отношению к просодии строки прозаической? Очевидно, что прямых доказательств тому нет.

Однако цепь однонаправленных косвенных свидетельств, убеждающих сопоставлений и логических построений может нас к этому привести.

1. Занимаясь разработкой общей системы реконструкции праславянского текста, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров значительное место уделяют восстановлению исходной структуры праславянского стиха [Иванов, Топоров 1963]. Наиболее сохранными при этом оказываются, по их наблюдениям, традиции русского и сербского эпического стиха («в настоящее время наиболее достоверные реконструкции праславянского эпического стиха основываются именно на сравнении этих двух традиций») [Там же: 96]. См. также у Р. Якобсона: «Русские и южнославянские эпические данные демонстрируют материал, чрезвычайно ценный для сопоставительного исследования, поскольку невозможно их вывести друг из друга непосредственным генетическим путем» [Jakobson 1966: 427]. Еще один исследователь видит сходство — и наибольшую общеславянскую сохранность — в русской и болгарской стихотворной традициях, с большей древностью именно болгарской ветви [Шервинский 1963].

Таким образом, выявляется тенденция, объединяющая линию языков южнославянской группы (славянская часть БЯС) и русскую эпическую стихотворную традицию. Примечательно при этом, что, как подчеркивает Р. Якобсон, эта реконструируемая форма «остаётся чужой в неславянском окружении, т. е. у греков, румын, турков и финноугров» [Jakobson 1966: 421]¹.

Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров рассматривают девять основных типов праславянского стиха, различающихся в известной степени по жанровой соотнесенности, а также по большей или меньшей связанности с соответствующей национальной традицией.

Не занимаясь вопросом о первичности одной какой-либо стихотворной пра-формы (например, десятисложника, сопоставляемого с сербским «десетерацем» — *Уронила / Кѡсѡвка дѣвѡјка //..*), мож-

¹ Р. Якобсон приводит данные исследователей тюркского и албанского стихосложения. Существенно в данном случае, изучая факты языков БЯС, выявлять не только схождения, но и расхождения глубинно-генетического характера.

но обнаружить во всех приводимых формах общие черты фразово-просодического плана.

Основной характеристикой при этом можно считать наличие двух фразовых (т. е. входящих в строку) ударений: одно в начале строки (1-й слог в «десетеряце», 3-й в русской стихотворной традиции), другое — в конце строки. Возможно и третье ударение — в том случае, если строка рассечена цезурой — ударение перед цезурой. Эти два ударения как бы скрепляют строку, создают ее жесткую просодическую рамку.

Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров приводят три разновидности русского былинного стиха, восходящие к праславянскому десяти-сложнику:

- I. Как во-стольном городе во Киеве
А у-славна князя Володимера
XX ẊX ẊXX ẊXX.
- II. Как во-стольном во городе во Киеве
А у-ласкава князя Володимера
XX ẊXX ẊXXX ẊXX.
- III. Как во-стольном было городе во Киеве
А у-ласкава у князя Володимера
XX ẊXXX ẊXXX ẊXX.

При сопоставлении этих трех типов былинного стиха обращает на себя внимание та же жесткость рамки: обязательно ударение на 3-м слоге (двусложная анакруза) и ударение на 3-м слоге от конца (дактилическая клаузула). Разнообразие создается лишь за счет усложнений более свободной середины². Таким образом, средняя часть строки демонстрирует способность сжиматься и растягиваться.

Итак, цельность строки создается двумя граничными ударениями. В случае третьего ударения сама связанность его с цезурой заставляет предполагать, что мы имеем дело с отражением двучастной синтаксической структуры (*С волками жить / по-волчьи выть*), в противоположность исходной одночастной (см.: «...место цезуры в известных славянских народных размерах отражает в преобразованном виде членение текста на такие многосложные группы, которые в то

² На это обратил внимание Вяч. Вс. Иванов в докладе, сделанном в Институте славяноведения и балканистики АН СССР в декабре 1973 г.

же время можно рассматривать и как элементарные синтаксические единства» [Иванов, Топоров 1963: 95])³.

2. Обратимся теперь к просодической модели славянской фразы — в той ее части, которая свойственна всем славянским просодическим структурам и так, как она выводится на основании экспериментальных данных [Николаева 1977: 243].

А именно — для общеславянского просодического каркаса отмечается такая же рамочная обрамленность фразы, причем всеми просодическими параметрами. Основной центр — фразовое ударение — приходится на ударный слог последнего слова законченной фразы. Второй центр располагается на начальной ее части, как правило — это ударный слог первого полнозначного слова. Временные показатели отмечают, таким образом, три сильных (продленных) точки: 1) последний ударный слог, 2) первый ударный слог, 3) факультативная, или потенциальная продленная, точка — абсолютно конечный слог, который может по-разному реализоваться в разных славянских языках: быть короче конечного ударного, быть равным ему или быть более длительным. Середина фразы допускает временную компрессию вплоть до той степени деформации, когда ударные слоги могут сравняться с заударными; это явление связано с тенденцией речевой единицы к изохронности, поэтому вставка новых слогов связана с укорачиванием слогов середины. В начале фразы есть и потенциальная сильная точка — это предударный слог, т. е. аналог абсолютно конечному слогу.

Таким образом, временная структура выявляется очень четко, жесткую рамку составляют начало и конец с двумя усиленными точками в каждом случае (предударный + первый ударный vs последний ударный + заударный конечный), середина оказывается более мобильной и допускающей вставки, сокращения и растягивания. При этом середина может как бы выделяться из этой рамки, тогда стихотворная строка делается трехчастной⁴.

Акцентная, т. е. силовая, структура отмечает начало фразы большей громкостью, понижающейся к концу.

³ Существенно также упомянуть при этом и работу О. М. Брика, указавшего на синтаксическую заданность русской стихотворной строки и перечислимость ритмико-синтаксических моделей [Брик 1927].

⁴ Якобсон [Jakobson 1966: 443] указывает именно на выбор такой трехчастной структуры для русского стиха, причем эти три просодических компонента соответственно заполняются и тремя отдельными смысловыми группами.

Таким образом, самые сильные точки фразы: по акцентной линии — начало, по временной — конечная часть. При слуховом восприятии эти два центра (при компенсации и неразличении параметров) могут казаться равно выделенными: неискушенный слух отмечает «ударение» вообще, не различая, акцентное оно или временное. Кроме того, как это приходится видеть и в настоящее время, в лингвистическом сознании «силовое» ударение — это на самом деле не силовое, т. е. акцентное, динамическое, а просто «немузыкальное»; таким образом, идея не силовой, не музыкальной, а временной выраженности славянского ударения, несмотря на множество подтверждающих этот факт экспериментальных работ, почему-то упорно не принимается.

Два рамочных центра характерны и для мелодических рисунков славянской фразы.

3. Как было отмечено выше, интонационный центр общеславянской фразы располагается в конце, в зоне ударного слога последнего слова. И в стихе «главное ударение, действительно, падает в громадном числе случаев на последний ударенный слог» [Шервинский 1963: 408]. Существенно также важное указание Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова о том, что «перед цезурой и перед концом строки два последних слога принадлежат к одной словесной группе» [Иванов, Топоров 1963: 97], т. е. единицей просодии — как и в обычной фразе — является не слог, а фонетическое слово.

Итак, несомненно совпадение просодической модели праславянской стихотворной строки и общей для всех славянских языков модели фразы, т. е. коммуникативной минимальной речевой единицы. Таким образом, стихотворная строка на одном из своих звуковых пластов оформляется как фраза, а фраза есть как бы потенциальная стихотворная строка. «Фраза содержит целое число строк, обычно одну» [Jakobson 1966: 453] (разрядка наша. — Т. Н.). И не случайно в качестве прообраза минимальной речевой единицы славянского текста Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров в указанной работе выбирают стихотворную строку, хотя априори это не задано (см. далее их анализ сказки в конце реконструкции).

Если бы фразовое оформление стихотворной славянской строки совпадало с выведенной общей фразово-просодической моделью и этим бы все ограничивалось, то можно было бы говорить только о том, что стихотворная единица была, сверх того, и собственно речевой.

Однако оказывается, что нестихотворные славянские речевые единицы знают модификации исходной общей формы, далеко от нее отклоняющиеся, и что эти модификации недоступны (или нерелевантны) для стихотворной строки.

Для русского материала такого рода расхождения наиболее убедительно показаны И. И. Ковтуновой [Ковтунова 1976]. По ее данным, инверсионное расположение в словосочетании или во фразе обязательно влечет за собой транспозицию фразового ударения и прикрепление его к инвертированному члену: *Редки деревни на Белом море; Широкие открывались взору пространства; Я лебедчиком работаю; Чистая комната; Удивился Иван* и т. д.

Существенно, что в прозаической речи оказывается «в области порядка слов стройная система стилистических противопоставлений: стилистически нейтральные варианты с восходящим расположением акцентов противопоставлены экспрессивным и стилистически окрашенным вариантам с нисходящим по силе расположением акцентов или с рамочной акцентной структурой.

В стихах эта система распадается» [Ковтунова 1976: 49].

Важно, что далее И. И. Ковтунова, разбирая те случаи искажения стиха, к которым привело бы его прозаически правильное чтение, указывает на систему интонационно сильных позиций в стихе, и в первую очередь — на положение в конце строки.

Таким образом получается, что именно стихотворная строка тождественна выведенному экспериментально общеславянскому фразово-просодическому каркасу-эталону, а прозаическая строка знает значительные отклонения от эталона и отклонения эти неслучайны и значимы.

Какие гипотезы могут быть сформулированы в связи с этим? Первая. Славянский стих отражает самую древнюю, исходную форму фразово-просодической структуры, или, иначе говоря, та фразовая структура, которая есть в стихотворной строке (а стихотворная строка содержит и другие специфические звуковые стихотворные структуры — ритмо-мелодические и квантитативно-слоговые), соответствует самой древней форме фразово-интонационной модели⁵. Вторая. Древняя фор-

⁵ Необходимо подчеркнуть, что мы не рассматриваем собственно стиховой язык, считая его как бы особым пластом по сравнению с фразово-просодической моделью стихотворной строки. Идеи соотношения стихового языка и естественного языка отдельных эпох см. [Kurýłowicz 1976].

ма славянского сообщения и была стихом в его начальном варианте.

Гипотезы эти неальтернативны, они могут быть приняты одновременно, но вторая кажется нам слишком смелой и уводящей в иную по материалу сферу анализа семантики и функции первых реконструируемых текстов. Строго говоря, на эту проблему «работают» исследования по сопоставлению типа метра и жанра стихотворного текста, т. е. выявлению семантики метра и ритма; снова возвращаясь к работе Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, упомянем также, что десятисложник, разбираемый первым, есть размер эпоса, т. е. сообщения. Точно так же Р. Якобсон обнаруживает греческие формы стиха, аналогичные славянскому десятисложнику, именно в стихах пословиц, гномических и ритуальных формул, т. е. «самых древних формах эпической поэзии», возникшей задолго до гекзаметра [Jakobson 1966: 461].

И в первой, более осторожной, гипотезе есть слабое место, состоящее в том, что общеславянская модель-каркас, описанная выше, еще не есть непременно древняя модель: в принципе возможна и конвергентность позднейших трансформаций.

Однако эта гипотеза смыкается с другой нашей гипотезой — о более позднем появлении в славянских языках семантически-синтаксически осмысленных вариаций в порядке слов (ср. нерелевантность этого в стихе)⁶.

Сохранение древней славянской фразовой структуры именно в стихе доказывается, на наш взгляд, еще одной группой данных.

4. Все сказанное выше об акцентно-просодической структуре славянского стиха носит общий характер и основано на слуховых данных. Между тем было бы очень важно посмотреть, на что же похожа фразовая просодия стиха в свете подробно представленных и современных по методу получения экспериментально-фонетических данных. Эту возможность предоставляет работа Л. В. Златоустовой [Златоустова 1977].

Л. В. Златоустова показывает следующие специфические характеристики акустической структуры стиха:

⁶ [Николаева 1977: 262], где высказывается тезис о том, что наиболее древним формам славянских языков свойственны следующие признаки: негибкость порядка слов, семантическое усиление конца фразы, пословное (а не посинтагменное) распределение интонации, распространенность частиц-актуализаторов предложения.

1) ритмическая структура, т. е. фонетическое слово, в стиховом тексте выделена в большей степени, чем в прозаическом. Таким образом, интонация распределяется пословно. (Важно также, в этой связи, замечание К. Тарановского о том, что синтагматический стиховой контраст между слогами разных слов для славянского стиха почти неприемлем [Tarasovsky 1956]);

2) общее время звучания увеличено. Особенно увеличены ударные гласные, гласные первых предупредных слогов и гласные абсолютного исхода ритмической структуры, «на границах синтагм и, особенно, на границах синтагмы, совпадающей с границей строки» [Златоустова 1977: 12];

3) интонация в собственном смысле, т. е. мелодика, гораздо более сглажена, чем в прозаическом тексте, «мелодические изменения происходят в узком сравнительно частотном диапазоне», тональный контур в основном служит для оформления цельности строки.

Этот последний вывод может показаться несколько неожиданным для тех, кто привык считать стих связанным с яркими модуляциями, эффектными голосовыми перепадами.

Но соответствует ли русский стих с его приведенными выше акустическими характеристиками какой-либо фразово-просодической модели в рамках славянской группы языков или это — особая стихотворная ипостась именно русской просодии?

5. Оказывается, что все эти характеристики соответствуют фразовой интонации — в ее общем виде — одного из славянских языков, а именно — украинского.

В украинском языке, по сравнению, в частности, с русским: 1) модулятивность меньшая, 2) средняя длительность во фразе большая, 3) фразовое ударение обычно приходится на конечную часть. При этом ударный слог сильно продлен, но — что более важно — продлен и абсолютно конечный заударный слог: он может быть даже длительнее конечного, ему предшествующего ударного, иногда он длительнее ударного в несколько раз. Таким образом, конечная часть фразы в украинском языке оказывается сильно протяженной по длительности, что ощущается и при слуховом восприятии. Недаром украинскую речь часто называют «певучей».

Случайно ли это совпадение? В заключительной части нашей книги «Фразовая интонация славянских языков» [Николаева 1977] помещены три таблицы, в которых приводятся данные о числе схождений интонационных признаков для каждой пары славянских языков. Если же суммировать все показатели попарной языковой близости

(а в книге такой общий подсчет не был произведен), то оказывается, что украинский язык занимает первое место среди восточнославянских и западнославянских языков по близости к каждому из остальных. Приводим общие цифры совпадений:

Русский язык —	81;	Польский язык —	79;
Украинский —	94;	Чешский —	77;
Белорусский —	80;	Словацкий —	74.

Таким образом, украинский язык как бы является в просодическом отношении носителем максимального числа схождений, некоторой исходной точкой отсчета. О причинах этой просодической «центральности» судить трудно, возможно, немалую роль играют здесь ареальные моменты, так как украинский язык оказывался наиболее далеким от неславянских контактов.

6. В начале статьи говорилось о просодической сохранности южнославянской стихотворной традиции, наряду с русской. И эти факты вполне согласуются с данными попарных языковых схождений. Заметим, что восточнославянские языки близки к южнославянским, а не западнославянским. Именно южнославянские языки по тому же критерию суммы признаков демонстрируют высокую степень общеславянской близости: болгарский язык — 95, сербский — 83.

Таким образом, русский стих, согласно данным Л. В. Златоустовой, оказывается более близким к общеславянской фразово-просодической структуре, чем русская прозаическая речь.

Как представляется, все приводившиеся факты и соображения согласуются с высказанной гипотезой о том, что праславянская форма стихотворной строки отражает древнюю структуру просодии славянской фразы.

Список литературы

- Брик 1927 — Брик О. М. Ритм и синтаксис // Новый ЛЕФ. 1927. № 3.
 Златоустова 1977 — Златоустова Л. В. Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами // Контекст-1976. М., 1977.
 Иванов, Топоров 1963 — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание: Докл. сов. делегации. V Междунар. съезд славистов. М., 1963.

- Ковтунова 1976 — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Невзглядова 1998 — *Невзглядова Е.* Звук и смысл. СПб., 1998.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М.: Наука, 1977.
- Топоров 1991 — *Топоров В. Н.* Др.-греч. сем- и др. (знаковое пространство, знак, мотивировка обозначения знака: заметки к теме) // Балканские древности. Балканские чтения 1: Материалы по итогам симпозиума. М., 1991.
- Шервинский 1963 — *Шервинский С. В.* Смысловое ударение как стихологический элемент // Славянское языкознание: Докл. сов. делегации. V Междунар. съезд славистов. М., 1963.
- Ivanov 1993 — *Ivanov V.* Origin, history and meaning of the term «semiotics» // Elementa. V. 1. 1993. № 2.
- Jakobson 1966 — *Jakobson R.* Epic verse. Studies in comparative metrics // *Jakobson R.* Selected writings. IV. The Hague; Paris, 1966.
- Kuryłowicz 1976 — *Kuryłowicz J.* The linguistic foundation of metre // Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. 1976. Z. XXXIX.
- Taranovsky 1956 — *Taranovsky K. B.* The Identity of the Prosodic Bases of Russian Folk and Literary Verse // For Roman Jakobson. The Hague, 1956.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ МОДИФИКАЦИИ ЛАТИНСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ СЛОВЕСНО-ПРОСОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

«То, что в индоевропейском было правилом синтаксической акцентуации, в славянском переосмысливается как особенность интонации определенного слова» [Иванов 1979: 53]. За этими словами Вяч. Вс. Иванова вырисовывается возможность существования просодических конструкций, не привязанных к слову как имманентной единице, но связанных с некими просодическими эпохами, осознав различие которых, можно и вновь вернуться к просодии отдельного слова.

При отчетливо осознаваемом различии систем словесного ударения история просодии греческого и латинского языков оказалась во многом тесно сплетенной: факты эволюции латинского часто объяснялись греческим влиянием — различным на разных этапах; наконец, оба языка, согласно историческим данным, примерно в одно и то же время изменили свой просодический тип, приобретая так называемое «динамическое ударение».

Общеизвестен тот факт, что греческий язык периода расцвета был языком с музыкальным ударением; это означало, что ударный слог отличался от безударных более высокой тональностью, во-первых, и что ударные слоги различались типом этой тональности, во-вторых¹. В системе греческого стихосложения господствует нетональная, а в соответствии с ней количественная («квантитативная») структура, которая строится на упорядоченном чередовании долгих и кратких слогов без учета места ударения.

В слове вне стиха можно говорить о двух типах движения: повышающемся и понижающемся и о комбинации этих движений (*circum-*

¹ Мы не касаемся здесь истории и историографии вопроса, поскольку ставятся не описательные, но общие проблемы. См., в частности: [Тронский 1962; Allen 1973].

flex); поэтому так называемое облеченное ударение есть комбинация восходящего + нисходящего тона. Естественно, что подобная комбинация требует для своей реализации долготы подударного слога.

Если традиционное учение давало четкий список и определение типов греческого ударения (~, /, \), то в течение долгого времени менее ясной оставалась система, регулирующая место греческого ударения, которая определялась то как «закон трех слогов», то как «закон трех мор». Р. О. Jakobsonу удалось обобщить все гипотезы, сформулировав простое правило: «...гласные моры, расположенные между ударной морой и конечной морой, не могут принадлежать разным слогам» [Jakobson 1962b: 263—268]. Таким образом, как граница существенно начало слога, содержащего предпоследнюю мору (начало «конечного ансамбля», по Е. Куриловичу). Прогрессивный акцент — когда ударная мора следует за указанным началом «конечного ансамбля»: γαμέτις, καλῶς, πολιτις. Регрессивный акцент — это акцент, предшествующий этой границе: μέλανος, μελάνων, ἦγαγον. Итак, пенultimate слог является единственным, на котором может оказаться и прогрессивный, и регрессивный акцент: πυρῆνων — πυρῆνες, μητέρων — μητέρες. Древнегреческий язык ведет, таким образом, двойной отсчет: по морам и по слогам.

С первых веков нашей эры словесная просодия греческого слова меняется: осуществляется переход от музыкального ударения к динамическому. Это конструируется на основании анализа ранних христианских гимнов (II в. — нач. III в. н. э., Климент Александрийский), особенно — Григорий Назианзин (IV в. н. э.) [Allen 1973: 268—269]. Именно влиянием греческих псалмов этой поры и ритмичкой греческих христианских проповедей объясняют появление динамического акцента в поздней латыни [Szelestey-Nagy 1974].

Возникновение динамического акцента Х. Зайлер приписывает акустической природе циркумфлекса, создающего как бы некий высотный пик, сопровождающийся громкостью звучания; ударную «тяжесть» слога под новым динамическим ударением формулировали и поддерживали также долгие гласные и дифтонги и геминированные согласные [Seiler 1959].

Просодия слова и фразы современного греческого языка изучены практически минимально (см. [Николаева 1996]). Однако тип акустической реализации словесного ударения все же подвергался экспериментально-фонетическому анализу. Прежде всего оказалось, что необязательно ударный слог выделялся силовым способом, «динамически» (на вопросе о том, что такое динамическое ударение

в понимании фонетистов и в понимании фонологов, мы остановимся ниже). Сила, громкость, аллофонически чередуется с высотой тона на ударном слоге. Ударный слог в греческом вообще ненамного сильнее безударного, а при сильном восхождении фразового тона безударный слог может в конечном положении быть и громче ударного [Jones 1967]. Кроме того, ударность слога обязательно сопровождается его продленностью, что особенно становится очевидным при экспериментальном продлении или ускорении темпа. Особенно продленным бывает ударный начальный слог [Fourakis 1986].

Возвращаясь к древнегреческому языку, мы, таким образом, отметим для начала христианской эры один фундаментальный переход: от музыкального ударения к динамическому. Этот переход не был фактом чистой просодики, он повлек за собой и изменения строевой структуры языка. Так, именно с переходом к динамическому ударению связывают резкое уменьшение употребительности греческих частиц, которые ярко характеризовали своим обилием греческий язык классической поры [Тронский 1962: 57; Denniston 1954]. На неизбежности этого процесса мы также остановимся далее.

Гораздо более сложной представляется реконструируемая картина эволюции латинского ударения. Ударение классической латыни было связано с предопределенным ритмическим рисунком слова, соотношением долгих и кратких слогов, недопустимостью на конечном слоге многосложного слова. В отличие от греческого, латинское ударение не определяется двойной системой оппозиции, а является поморным. Считая краткий слог одноморным, а долгий двуморным, определяют, что латинское ударение отстоит от конца слова на расстоянии одного слога + две моры (определяя с конца): *ŭ-tí-li-tās, lau-dá-mus, cás-ti-tās* etc. Слова отличаются, при совпадении тактического места ударения, долготой: *invēnit — invēnit*.

В начале христианской эры латинское ударение, как и греческое, становится динамическим. Этот факт описывается и представителями античной грамматической теории²: сначала хронологию изменения характера латинского ударения возводили к V в. н. э., затем — к более ранней поре (стих. Амвросия), наконец, возможно, к раннехристианской литературе Северной Африки II в. н. э. [Szelestei-Nagy 1974: 76]. С изменением ударения связывается потеря количественных различий и кваликативные вокалические изменения [Janson 1979]. Особняком стоит точка зрения Э. Палгрэма о постоянстве ди-

² См. об этом подробно в [Тронский 1953: 162].

намического ударения в латинском языке (об этом ниже) [Pulgram 1975].

Как уже указывалось, изменение количественных различий и переход к динамическому ударению иногда приписывают раннехристианскому греческому влиянию (оставляя в стороне тем самым вопрос о том, почему это явление произошло в самом греческом). Просодическая судьба романских языков оказалась различной [Ettmayer 1925]. Однако и тут, как и для новогреческого, экспериментальные исследования демонстрируют акустическую сложность и комплексность параметров словесного ударения. Например, принято было считать, что ударение в итальянском — ударение динамическое, выражающееся через интенсивность. Последние экспериментальные исследования показали, что ведущая роль в просодии итальянского словесного ударения принадлежит длительности (как в русском языке), а не высоте и не интенсивности [Dørum 1985].

Однако особенностью латинского языка, его загадкой, является многократно обсуждавшаяся гипотеза о «первичном» динамическом ударении на первом слоге в «праисторическом» периоде латинского языка (за это говорит фонетическое богатство первого слога, явления синкопы раннего периода и под.)³. Таким образом латинский язык как бы описывает круг просодического развития: динамическое ударение — количественно-позиционные различия — динамическое ударение позднего этапа.

Назывались самые различные причины возникновения динамического ударения в латинском языке и его позднейшей перестройки.

1. «Пралатинское» динамическое ударение восходит прямо к праиндоевропейскому динамическому ударению (это, по выражению Э. Палгрэма, объяснение *ignotum per ignotius*).

2. Первичное динамическое ударение появилось под влиянием лингвистической среды, в частности этрусской⁴.

3. Было влияние некоторого параллельно существующего протороманского языка.

4. Имел место обычный, точнее, распространенный переход от гипотетического музыкального ударения к динамическому, который латинский язык почему-то осуществил ранее других языков [Тронский 1962; 1953].

³ Очень подробно эти вопросы обсуждаются в фундаментальной книге Ж. Вандриеса [Vendryes 1902].

⁴ Развернутую критику этой теории см. [Тронский 1953].

В свою очередь перестройка ударения и введение квантитативно-позиционных различий возникли в латинском под греческим влиянием. Так, Э. Палгрэм пишет об эллинизированном характере классической латыни, о влиянии греческих учителей и греческой ораторской школы на латинскую произносительную манеру [Pulgram 1975].

5. Существование в латинском бытовании двух языков-стандартов (точка зрения Э. Палгрэма, представляющаяся наиболее соответствующей концепции общей просодической эволюции, предлагаемой в настоящей статье). Согласно Э. Палгрэму, в латинском языке существовали и развивались параллельно два языковых стандарта: письменный латинский и устный латинский.

Письменная форма с V в. до н. э. долгое время находилась под греческим влиянием; затем, до VII в. н. э., наступил постклассический средневековый период; с VII по X в. н. э. — «каролингское Возрождение», к которому по стандарту примыкает письменная «вульгарная» латынь. Устная латынь имела непрерывающуюся историю, и она-то являлась протороманским источником, началом романских языков. Просодические системы обоих стандартов различны. Письменный стандарт характеризуется просодемой (т. е. значимой) квантитативностью гласных, непросодемым акцентом, квантитативной метрикой. Напротив, устный вариант характеризуется просодемым акцентом, непросодемым количеством гласных, акцентно ориентированной метрикой.

Обе системы по-разному отражали просодические компоненты заимствованных греческих слов; ср. типы корреляций.

0.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	=	Греч. ударению
	<i>apothéca</i>		ἀποθήκη
	(письм. латынь, устная латынь)		

I.A.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению
	(не финальному)		
	<i>cámēra</i>		καμάρα
	(письм. латынь)		

I.B.	Лат. количество	≠	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению
	<i>dialéctus</i>		διάλεκτος
	(письм. латынь)		

I.C.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению (финальному)
	<i>basilica</i>		βασιλική
	(письм. латынь)		
II.	Лат. количество	≠	Греч. количеству
	Лат. ударение	=	Греч. ударению
	<i>áncora</i>		ἄγκυρα
	(устная латынь)		

Существенным для различия двух стандартов латинского языка является их различие по принципу пословного или посинтагменного произнесения звукового потока. Э. Палгрэм называет *cursus language* — язык просодически слитный, не разделяющий поток на слова. *Nexus language* — это пословный язык. Таким образом, «курсусным» является только латинский письменный (например, и литературный французский также), латинский же устный и литературный греческий — это языки нексусные [Pulgram 1975].

Вопрос о курсусно-нексусных языках связан, в свою очередь, с проблемой ударения. Как выясняется, само понятие ударения трактуется по-разному, по крайней мере, тремя группами специалистов; 1) фонетистами, 2) фонологами, 3) сравнительно-историческими акцентологами.

История типов фонетики ударения и их эволюции в языках, подобных латинскому, не может быть проинтерпретирована полностью без обращения к двум системам. Первая из них — это фразовая интонация анализируемого языка и ее тип, поскольку и в древности слова не передвигались как бусины на проволочке, каждое со своей ударностью / безударностью, а включались разнообразным по сложности образом в систему фразовой интонации.

В связи с этим в настоящей статье мы хотим повторить ранее высказанную уже нами гипотезу об эволюции языка и его механизме, опирающуюся на его в широком смысле суперсегментные структуры.

Таким образом, второй этап перестройки латинского ударения — переход к динамическому ударению и пословному произнесению может быть объяснен и социальными причинами: меной социума коммуникантов, говорящих на этом языке.

Итак, в статье предлагалась гипотеза о единоподвижном процессе языковой эволюции, с установкой на увеличение информации в единицу времени. Социальные катаклизмы могут влиять на этот

процесс, так как он во многом опирается на уровень менталитета его носителей.

Значит ли это, что факты просодического изменения слова не могут заимствоваться, наследоваться и влиять на развитие другого языка? Наверняка могут, как и другие пласты языковых уровней. Но в просодии слова есть компоненты структурные, строевые, модификации которых в родственных языках в основном и изучаются сравнительно-исторической акцентологией, с одной стороны; с другой стороны, в просодии слова есть универсально-эволюционные факты и факты эволюции именно этого языка. Ими должна заниматься теория диахронических универсалий.

Список литературы

- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
- Тронский 1953 — *Тронский И. М.* Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.
- Тронский 1962 — *Тронский И. М.* Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
- Allen 1973 — *Allen W. S.* Accent and Rhythm. Prosodic features of latin and Greek: a study in theory and reconstruction. Cambridge, 1973.
- Denniston 1954 — *Denniston J. D.* The Greek particles. Oxford, 1954.
- Dørum 1985 — *Dørum H.* L'accento tonico in Italiano // *Studia neophilologica*. 1985.
- Ettmayer 1925 — *Ettmayer K.* Zur Intonation der Romanen // *Neusprachliche Studien*. «Die neueren Sprachen». 6. Beiheft, 1925.
- Fourakis 1986 — *Fourakis M.* An acoustic study of the effect of tempo and stress on segmental interval in Modern Greek // *Glotta*. 1967. XLIV.
- Jakobson 1962b — *Jakobson R.* On ancient Greek prosody // *Jakobson R.* Selected writings. T. 1. s'Gravenhage, 1962.
- Janson 1979 — *Janson T.* Mechanisms of language change in Latin. Stockholm, 1979.
- Jones 1967 — *Jones A.* Stress and intonation in modern Greek // *Glotta*. 1967. XLIV.
- Pulgram 1975 — *Pulgram E.* Latin-Romance phonology: prosodics and metrics. München, 1975.
- Seiler 1959 — *Seiler H.* Ein Hauptunterschied zwischen Gemeinneugriechischen und Sudostdialekten: Intonation und Silbenstruktur // *Berliner Byzantinistische Arbeiten*. Bd. 14. 1959. Probleme der neugriechischen Literatur. I.

- Szelestei-Nagy 1974 — *Szelestei-Nagy L.* Zeitmass und Wortbetonung in den fruhchristlichen Hymnen in lateinischen Sprachen // *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae. Sectio classica.* T. 11. 1974.
- Vendryes 1902 — *Vendryes J.* Recherches sur l'histoire et les effets l'intensité initiale en latin. Paris, 1902.

ПОЧЕМУ ЛИНГВИСТЫ НЕ ЛЮБЯТ «ПРО ИНТОНАЦИЮ»?

А я в интонацию вообще не верю!

(Высказывание высококвалифицированной лингвистики, доктора филологических наук и серьезного ученого.)

Разумеется, работ по интонации много и очень интересных, и прежде всего — труды С. В. Кодзасова. Более того, интонология вполне развилась в самостоятельную область языкознания, и те, кто занимается (или занимался) ею, считают своим долгом не отставать от самых последних достижений в этой области.

И все-таки. Не понимать, что такое фонология, считается для лингвиста недопустимым, недопустимо также не разбираться в вопросах словоизменения, хорошо быть в курсе того, что такое акцентная парадигма, эффектно знать последние американские теории, но что такое «интонема», что именно выражает акцентное подчеркивание слова в высказывании, что такое «фразовое ударение», что значит на самом деле словосочетание «логическое ударение», может ли слово быть «полноударным» и что это такое реально, наконец, каковы фонетические корреляты ударения хотя бы в русском языке, — вот этого стараются избегать и не вникать в неприятные трудности современной фонетики и интонации.

Можно наудачу привести несколько примеров. В фундаментальной книге Я. Г. Тестельца «Введение в общий синтаксис», рекомендованной университетам Российской Федерации в качестве учебника [Тестелец 2001] представлена очень большая библиография, в том числе и несколько работ С. В. Кодзасова и других отечественных интонологов. Есть в библиографии и некое (небольшое) количество работ зарубежных интонологов, правда, работ довольно давних: примерно двадцатипятилетней давности (и более ранних), что можно было предсказать заранее. Однако в предметном указателе слова

«интонация» нет. Не говорится о ней и в других трудах и в тексте книги, хотя, казалось бы, с чем в первую очередь связана интонация: конечно, с синтаксисом. Я вовсе при этом не критикую книгу-учебник Я. Г. Тестельца — он и хорош, и полезен, но то, что можно назвать «казусом интонации», вполне закономерно.

Есть и совсем недавние и более специализированные работы. Так, в 2007 году вышла на русском языке книга известного слависта В. Лефельдта «Акцент и ударение в русском языке» ([Лефельдт 2007], ранее: [Lehfeldt 2003]). Книга построена очень интересно. Две трети ее занимает описание русского «акцента», то есть выделенного в слове слога на абстрактном уровне его представления. Остановившись сейчас на этой перфекционистски выполненной части не стоит. Треть же книги занимает описание «ударения», которое понимается автором как эмпирическое воплощение акцента, реализующееся по всем правилам реально существующей русской просодической системы. Идея автора вполне заманчива, так как обычно акцентологи ограничивались только тем, что отражено в первой части этой книги. Но, разумеется, и здесь широко представленная в библиографии литература по интонации и по просодии русского ударения отражена в монографии минимально. Создается впечатление, что автор не отдает себе отчета в том, что и в интонологии есть свои абстрактные парадигмы и есть конкретные модели их реализации (множественно описанные), что акустические параметры выражения словесного ударения, например длительность, модифицируются в зависимости от реализации в рамках той или иной интонационной модели и в зависимости от позиции данного фонетического слова («тактовой группы») в пределах высказывания и, наконец, что все это обусловлено и стилем речи, и социально-регионально-этнической принадлежностью говорящего.

Почему же по отношению к интонации у большинства лингвистов существует нечто вроде фрейдистского «вытеснения»?

Причин этому много, и я постараюсь назвать хотя бы основные.

□ Во-первых, экспериментальная фонетика в целом и изучение фразовой интонации и словесной просодии организованы как специализированная наука таким образом, что незнание даже как будто бы незначительных предыдущих достижений уже может исказить интерпретацию выводов лингвиста. Говоря метафорически, это что-то вроде стены из кирпичиков, которые новый мастер должен хорошо знать, прежде чем положить в стену что-то свое. То есть стена должна быть общей и без дыр. Могу сказать, как бы мне ни возра-

жали, что для других областей языкознания такого глубокого знания не требуется.

□ Изучение фразовой интонации и словесной просодии жестко требует знакомства с экспериментальной техникой фонетических исследований сегодняшнего дня. Регулярно созываемые международные фонетические конгрессы демонстрируют стремительное изменение качества этой техники в странах: Швеции, Германии, Нидерландах, США, Великобритании и др. Сравниться с ними, увы, необходимо, хотя можно при этом иметь дома устаревшую модель компьютера или старую бытовую технику. Короче говоря, **заниматься интонацией трудно**, и здесь необходимо большое число непрерывных усилий. Собственно интонацией стали заниматься только с начала двадцатого века. И за этот век стало видно, как стремительно расслаивается эта дисциплина, и уследить за этим углубленному в иные занятия лингвисту довольно трудно. Так, сначала было одно понятие — тон. Под «тоном» понимали только повышение частоты основного тона. То, что, например, финальная часть повествовательной фразы выражается через фразовую интонацию особой мелодической фигурой **понижения** частоты, просто не понимали и считали отсутствием тона. Наконец, слову приписывали то, что на самом деле являлось реализацией просодии фразы. Например, говоря о реконструкции индоевропейского (чаще всего — греческого) ударения, утверждают, что глагол в конце высказывания не имел тона, а в конце придаточного имел. На самом деле, это общеиндоевропейская тенденция повышать интонацию к концу незавершенной части высказывания и понижать к концу. Точно так же говорится, что греческое местоимение *τίς* имеет тон, когда оно является вопросительным, и не имеет, когда является неопределенным местоимением. Конечно, это же можно наблюдать и в современном русском: ср. *Кто там пришел?* и *Посмотри, не пришел ли кто*, но это факт не слова, а семантики самой фразы. Недаром уже знаменитый Я. Вакернагель колебался в том, приписывать ли тон слову или высказыванию. Следующим этапом было признание мелодики. Интонацией высказывания считали только мелодику, и наступила эпоха (примерно до половины двадцатого века), когда интонация языка описывалась как перечень парадигматически противопоставленных мелодических фигур. Потом стало ясно, что важны и другие акустические параметры: длительность как дистрибуированная структура, интенсивность, или динамическая акцентная кривая, тембр, описываемый через спектральные характеристики. Под интономой стала пониматься не толь-

ко мелодическая фигура, но определенным образом организованная совокупность «фигур» других параметров, их общий пучок. И в мелодике оказались важными более дробные показатели, более мелкая оптика. Например, не только высота основного тона, но и крутизна восхождения на эту высоту. До сих пор еще многие лингвисты верят, что в высказывании есть одно, «главное» ударение и в случае выделения какого-либо слова оно на него переходит, тогда как в этом случае фразовое ударение сохраняется, а в высказывании участвуют дополнительные просодические средства. Относительно недавно стало ясно, что в интонации высказывания существуют два функциональных слоя: некий обязательный, без которого высказывание не было бы таковым (О. Ф. Кривнова назвала его «несущим» тоном¹) и функционально семантический, как бы «узор, вышивающийся по канве», каждый из этих слоев имеет свои реализации в плане выражения и в плане содержания.

Переходим к интерпретации причин более глубоких. Дело в том, что описание языковой системы, как это ясно видно, например по книге В. Лефельда, это описание **абстракций**. Абстрактное описание, по-уровневое, удобно для преподавания и удобно для описания. Акцентные парадигмы существуют, в частности, только в сознании лингвистов, хотя они и существуют в языке и в речи. Понять это сложно, но необходимо. Поэтому интонация не есть факт языкового мира и не факт речи, но факт иного языкового существования со своими абстракциями и своими моделями реализации этих абстракций. В работе [Николаева 2002] мы приводили в связи с возможностями отражения интонации слова Э. Бенвениста из его доклада на Лингвистическом конгрессе 1963 года. Считаем нужным повторить их и здесь. Э. Бенвенист понимал, что существуют два разных языковых мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разные лингвистики, пути которых, однако, пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующимся в структуры, и системы; с другой — проявление языка в живом общении» [Бенвенист 1974: 139]. См. у него далее: «С предложением

¹ Все-таки считаю необходимым сказать, что в этой моей статье библиографические указания и соответствующее цитирование сознательно минимизированы, так как их должно быть или очень много, или очень мало. В первом случае важные для меня теоретические положения могут быть затемнены.

мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения (le discours) [Бенвенист 1974: 139].

Важно понять и то, что в языкознании двадцатого века произошли большие и закономерные изменения в определенном и прогнозируемом направлении: оно стало тем, что Т. Кун уже много лет тому назад назвал «нормальной наукой» [Кун 1975]. Итак, «нормальная наука... основывается па допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир» [Там же: 21]. Тогда исследования — это «упорная и настойчивая попытка навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование» [Там же: 21].

Ранее мною была предложена классификация ученых, опирающаяся на следующие два признака: 1) метод и 2) материал. Каждый признак мог быть представлен двумя манифестациями-признаками: *старый/новый*.

Таким образом получилось четыре возможных типа ученых: 1) старое о старом, 2) новое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом. Как это следует из положений Т. Куна, к «нормальной науке» должны принадлежать два средних типа.

Итак, по Т. Куну, цель нормальной науки «ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений» [Кун 1975: 43]. Исследование в нормальной науке направлено на «разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Там же: 44].

Т. Кун предсказывает, что наука, ставшая «нормальной», устремляется на поиски «головоломок» и дешифровочных задач, а сама становится все более и более изысканной и эзотеричной, обрастая мелкими «Теориями». Очень интересные наблюдения над эволюцией лингвистики во второй половине XX века, которые можно соотнести с концепцией Т. Куна, содержатся в статье Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1996]. См. «Со временем “новая” лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку» [Кун 1975: 57] и ранее: «Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о “теориях среднего уровня” не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной» [Там же].

Нормальная наука становится все более точной. Развивается эзотерический для непосвященных словарь и профессиональное мастерство. «Поскольку в науке реже, чем в других областях человеческой деятельности, есть несовместимые точки зрения», научное

сообщество начинает объединять то, что Т. Кун называет «дисциплинарной матрицей» [Кун 1975: 229]. Дисциплинарная матрица характеризуется: 1) общностью символических обозначений, 2) метафизической парадигмой, т. е. общепризнанными предписаниями, 3) ценностями. Последние должны быть более общего свойства. Например, установка на прикладную полезность науки — это одна из ценностей парадигмы. См. определение такой ценности в «новой лингвистике», которая становится нормальной наукой, как **строгость**, которая на определенном этапе противопоставлялась психологизму как «расплывчатым умозрениям» [Фрумкина 1996: 58]. Вскоре после появления публикаций Т. Куна появились и голоса ученых, утверждавших, что к лингвистике его положения в принципе неприменимы. Так, например, В. К. Персиваль [Percival 1976] опирается на тот факт, что «научная революция» по Т. Куну, есть следствие появления какого-то одного научного гения. Кроме того, понятие парадигмы в теории Т. Куна есть понятие социальное, но научная революция создается отдельной личностью, и тем самым в этой теории есть внутренние противоречия. Сама же лингвистика строится на том, что у всех новых теорий есть обязательно свои предшественники.

Однако история лингвистики второй половины XX века (и особенно — последней его трети), на наш взгляд, подтверждает прогностические положения Т. Куна.

А именно: нетрудно заметить, что «нормальная наука» — лингвистика возникла (в отечественной теории, во всяком случае) в середине 50-х годов и развивалась с тех пор, абсолютно следуя прогнозам Т. Куна.

Несомненно также, что мы можем обнаружить и этап «головоломок». Это — начало 60-х, когда возникли (разумеется, как бы спонтанно) так называемые «лингвистические задачи». Можно заметить, что многое из указанного выше появилось и появляется случайно. Занимаясь мелкими частичками-партикулами, из которых состоит практически весь коммуникативный фонд (*кь + то, кь + то + то, та + кь, то + ли, ли + бо, да + же, и + бо, и + же* и т. д.), я делала о них доклад и мне был задан вопрос: «А к какой части речи относятся эти частицы?», и на мой ответ: «Ни к какой!» последовала реплика «Так быть не может». За ней явно следовало глубокое убеждение, что современная лингвистика все описала и все определила по классам и ничего «в остатке» быть не может. Именно такая наука называется «нормальной наукой», по Т. Куну [Кун 1975].

А между тем на предпарадигмальной стадии развития науки (эта стадия, естественно, является одновременно и концом предыдущей парадигмы и шагом к новой) еще возможны, по Т. Куну, сосуществующие прочтения одного и того же материала науки, парадигмы, находящиеся, пользуясь языком физики, в «отношениях дополнителности». Обращаясь к лингвистике XX века, можно предположить, что такая возможность была. Это был, по нашему мнению, межвоенный период, когда сосуществовали две лингвистики. Однако в прямой форме это никак не формулировалось.

Как это ни покажется странным, именно второстепенные явления языка — интонация и «мелкие» слова — стали ключевым моментом при разделении двух подходов к языку.

Говоря о первом направлении, нужно в первую очередь вспомнить, труды С. И. Карцевского. Его подход в целом можно назвать синтагматическим, ориентированным на реальную фразу, на высказывание. Фразу создает интонация. Она имеет свою грамматику, и он практически первый — описал эту грамматику, перечислив интонационный набор мажфразовых связей. Его предшественники обычно ограничивались одной фразой. Интонацию он понимал не только как мелодику, а как многопараметрическое единство ее акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Соединяя фразы, интонация может выражать четыре категории: симметрия, асимметрия, тождество и градации. Язык, по С. Карцевскому состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Самое важное в его теории было то, что слово не было для него основой основ, оно было лишь частицей фразы: «...слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]. Обращаясь же к «мелким» словам, Карцевский видел в начале существования естественного языка синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний. Впоследствии они превращались во «внешние союзы», иницирующие высказывание-фразу, затем они интериоризировались, становясь нашими современными «внутренними» союзами. А привычное таксономическое начало — фонетику и фонологию — Карцевский считал уже последним этапом освоения языковой структуры. Таким образом, синтаксис был для него первичен. Труды С. Карцевского до последнего времени не были широко известны мировой лингвистике — так, как, например, труды Р. Якобсона. Думается, что причины этому самые простые: он жил много лет вне России, писал по-французски, но примеры приводил из русского языка, то есть не имел своей понимающей его аудитории.

Синтаксис был первичным и для сторонников «нового учения о языке», он был краеугольным камнем и отправной точкой для диахронических разработок марристов. Архаический синтаксис был для них некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантические звуковые комплексы. Предполагалось, что эта диффузность и нерасчлененность высказывания вполне соответствовала мышлению первобытного общества. Как пишет С. Д. Кацнельсон, «таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н. Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием» [Кацнельсон 1949: 36]. См. там же: «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 16]. В известной степени схожие идеи можно найти и у А. В. Щербы. Говоря о грамматиках и словарях языков, создаваемых в разное время, А. В. Щерба пишет: «Однако при этом прежде всего забывали то, что вообще все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном (выделено А. В. Щербой. — Т. Н.) опыте <...> нам вовсе не даны» [Щерба 1974: 25].

Необходимо заметить, что сходные теоретические позиции и искания можно найти не только в отечественном языкознании. Приведем в качестве примера одно малоизвестное движение в Германии, как-то увядшее в течение периода между войнами, так называемых лингвистов-телеологов. Это Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорц, печатавшиеся в Вене, Геттингене, Страсбурге. Вене и др. Центром внимания, ядром языкового происхождения и ареной эволюции это направление также считано **синтаксис**. (Ср. с этим внимание к морфологии, парадигмам, частям речи у компаративистов и структуралистов.) Именно из «синтаксического дыма», по их мнению, рождались звуковые комплексы, затем слова, затем — фонемы.

И все же лингвистика концептов, лингвистика, построенная на абстракции, т. е. валоризованных обобщений языковой данности, развивалась в это время и практически победила. И победила неслучайно. Такое описание начинается с фонемы и идет далее «по уровням», складывающимся по принципу: из мелких кирпичиков — в большие.

В подобном, бесконечно более удобном для описания и преподавания, построении языка, никак не могло найтись места интонации. Неслучайно, что именно в эту межвоенную эпоху появились и стали регулярными созываемые специальные Фонетические конгрессы

(первый конгресс состоялся в 1932 г. в Амстердаме под руководством Й. ван Гиниекена), в то время как для других языковых «уровней» таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.

Таким образом, в по-уровневой системе интонации и партикулам места не нашлось, а в первой, побежденной, системе метаописания, низшие и первичные единицы языка тонули в тумане высказывания-фразы. То есть, иначе говоря, побежденному метаописанию трудно было перейти от интуитивно мерцающей реальности к абстрагированному метаотображению. Любопытно, только на уровне словаря лексем, т. е. минимальных единиц, все-таки оказалось возможным приписывать слову его интонационные характеристики, но в общей системе на уровне описания интонации и партикулам места не нашлось.

Формулируя более четко, подчеркнем, что описание, начинающееся с фонологии, не сосуществует с интонацией и частицами в той же системе и сосуществовать не может. Важно, что и приверженцы, создатели новой теории И. С. Трубецкой и Р. Якобсон на самом деле постепенно охладели к просодическим заданиям. Р. Якобсон занимался только ударением и стихом, то есть тем, что поддается графическому воплощению, а И. С. Трубецкой нашел выход в полной секуляризации просодии, выделяя ее в «Основах фонологии» в особый, весьма эклектичный, раздел.

Итак, говоря проще, оба представленных описания языка находятся в отношении «дополнительности». Подобные отношения «дополнительности» вполне известны в таких науках, как, например, физика или биология, и почему-то оказываются совершенно нетерпимыми в лингвистике, видимо, еще не подошедшей к самым первым кризисам «нормальной науки», по Т. Куну.

Итак, мы говорили о том, что многие лингвисты считали, что язык (речь) человека начинается с высказываний, т. е. синтаксиса. И только «нормальная наука» сделала синтаксис уровнем высшего класса. И вот, например, мы читаем у биологов [Зорина, Смирнова 2006: 165]: «Эта способность комбинировать символы не случайным образом, а в порядке, который передает вполне определенный смысл, заставляет предполагать, что антропоидам доступно наиболее важное свойство языка человека, то, что в лингвистике считается его вершиной, — синтаксис».

Все сказанное выше есть попытка показать, что нелюбовь к интонации и постижению новых находок эксперименталистов в этой сфере у лингвистов другой специализации отнюдь не является случайной, а имеет глубокие и многофакторные основания.

Список литературы

- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Уровни лингвистического анализа // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Зорина, Смирнова 2006 — *Зорина З. А., Смирнова А. А.* О чем рассказали «говорящие» обезьяны. М., 2006.
- Карцевский 2000 — *Карцевский С. И.* О формально-грамматическом направлении // *Карцевский С. И.* Из лингвистического наследия. М., 2000.
- Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон Д.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.
- Кун 1975 — *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1975.
- Лефельдт 2007 — *Лефельдт В.* Акцент и ударение в русском языке. М., 2007.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слова в тексте и в словаре: Сб. статей к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000.
- Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения // Русский яз. в науч. освещении. 2002. № 3.
- Тестелец 2001 — *Тестелец Я. Г.* Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Фрумкина 1996 — *Фрумкина Р. М.* «Теория среднего рода» в современной лингвистике // *Вопр. языкознания.* 1996. № 2.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность: Сб. статей. Л., 1974.
- Havers 1931 — *Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931.
- Hermann 1923 — *Hermann E. Berthold Delbrück.* Ein Gelehrtenleben aus Deutschland grosser Zeit. Jena, 1923.
- Lehfeldt 2003 — *Lehfeldt W.* Akzent und Betonung im Russischen (Vorträge und Abhandlungen zur Slawistik. Bd. 45). München, 2003.

**УДАРЕНИЕ — В ОТЛИЧИЕ
ОТ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СХЕМЫ.
АКЦЕНТНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ —
В ОТЛИЧИЕ ОТ «ФРАЗОВОГО УДАРЕНИЯ».
ИЗОМОРФИЗМ МОДЕЛЕЙ**

Итак, мы уже не раз говорили о потенциальной вторичности ударения как позднего эволюционного явления в пространстве словесной просодии. Тем самым в этом словесно-просодическом пространстве наметилось два измерения: просодическая схема — это как бы арена действия, нечто нейтральное и потому нормативное, обязательное, и, с другой стороны, ярко маркированный когнитивно-перцептивный факт: ударение, феномен, которого в языке в принципе может и не быть.

Как показывают исследования, можно утверждать параллельность отмеченной многомерности также и для просодии высказывания.

Далее будут рассматриваться два уровня — уровень фразовой интонации, нормативный и обязательный, без которого фраза не может являться таковой, и уровень акцентного выделения (подчеркивания, *prominence*, «логического ударения» и под.), которого также может не быть, но которое и является, на наш взгляд, основным просодическим средством создания дополнительных смысловых строк.

Подобное смысловое подчеркивание меняет нашу точку зрения, дает иную трактовку привычным текстам. Например,

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Как можно понять эти слова Пушкина? — На самом деле, позитивистские факты — это явление низменное, а ложь (во спасение?) помогает нам жить и дает надежду.

А если прочесть так:

Тьмы **низких** истин мне дороже
Нас **возвышающий** обман.

Тогда мысль поэта можно понять как горькое разочарование в иллюзиях обмана, который дороже только низких истин. А ведь есть истины высокие!

А если:

Тьмы **низких** истин мне дороже
Нас **возвышающий** обман.

Тут человек всегда эгоцентричен и страстно жаждет услышать о себе только хорошее, даже если это и не совсем так.

Мы постараемся доказать, что «логическое ударение» есть факт, сосуществующий с фразовой интонацией и «фразовым ударением» — так же, как ударение словесное сосуществует с словесной просодической схемой.

Итак, было предложено различать просодическую схему слова (автоматизированный феномен, интроспективно не замечаемый) и ударение (факт воспринимаемый, когнитивно осознаваемый, перцептивно значимый). Это можно показать на самом простом эксперименте. На вопрос: «Скажите, где в этом слове ударение?» или даже: «Где Вы слышали ударение в этом слове?» средний носитель языка ответить должен. Но просьба: «Опишите движение интенсивности и длительности в слове» или вопрос: «Где в слове более громкие и более растянутые участки?», как представляется, могут быть осознаны только изоциренным исследователем-специалистом.

Различие перцептивного статуса двух описанных феноменов словесной просодии строго параллельно отношению двух фразовых просодических феноменов [Николаева 1982]. Было предложено разделение фразовой интонации с фразовым центром и «автоматизированным» (термин И. И. Ковтуновой) оформлением и потенциально возможного выделения слова или составляющей — акцентного выделения (АВ). Акцентное выделение предлагалось считать таковым при соблюдении двух условий. Первое: оно должно быть слышимым, каждый носитель языка должен понять, где было подчеркивание, и воспринять это правильно. Второе условие объясняется более высоким семантическим статусом высказывания в отличие от слова. Перцептивно яркое акцентное выделение создает вокруг

себя дополнительную смысловую ауру, теневое высказывание: *Это был мой первый неудачный брак* (остальные тоже были неудачными); *Витя поехал в Москву* (были какие-то препятствия или колебания); *Даже Петя не решил задачи* (Петя обычно решает их хорошо); *В школу пойдет папа* (а не кто-то другой, как обычно) и т. д.

В такой же степени, как трудно носителям сильноударных языков представить себе, что слово может быть без ударения, лингвистам оказалось сложным представить высказывание без яркого «фокуса», столь обязательного в фонологических представлениях высказывания. Собственно говоря, возможность наличия двух гетерогенных центров в высказывании: 1) автоматизированного, показывающего терминальный контур фразы и ее коммуникативный тип, и 2) отчетливого по восприятию и демонстрирующего сознательное подчеркивание — является сейчас в мировой интонологии наименее воспринимаемой. Так, сообщение на XI Международном конгрессе фонетических наук Н. Торсен-Гроннум [Torsen-Grønnum 1991] о том, что не во всяком датском предложении есть «фокус», а возможны простые описательные предложения без теневой семантики, было воспринято как сообщение о некоей датской экзотике. Таким образом, почему-то оказывается легче принять идею особенности языка (ср. характерную фразу английской фонетистки Э. Катлер: «In a language which has sentence accent...») [Cutler 1991]), чем идею нескольких функционально различающихся интонационных самовоплощений.

Акцентное выделение — это обозначение, может быть и неудачное, активной для восприятия выделенности просодическими средствами какого-либо слова во фразе: *Вам не с кем пойти? Пригласите Леночку. — Вот с ней я и не хочу идти!; Это довольно просто. — Для Вас* и т. д. Оказывается, что наличие и/или место такого выделения меняет картину описываемого мира, даже и не включаемого в очевидной форме в текст, где располагается акцентное выделение. В интересной книге С. Шмерлинг, посвященной трактовке акцентного выделения на англоязычном материале [Schmerling 1976], приводятся, в частности, такие примеры: *John called Mary a Republican, and then she insulted him* — акцентное выделение во втором предложении зависит от того, считаться республиканцем — это оскорбление или нет: если да, то ударение ставится на *him*; если нет — по правилам английской фразовой просодии фразовое ударение помещается на глаголе. Рассмотрим другой пример: *This is the man I was telling you about; This is the doctor I was telling you about* [Schmerling 1974: 72].

Нужно ли выделять *the man* и *the doctor*? Оказывается, что в обычной обстановке не требуется *выделять the man* и где-нибудь в госпитале *the doctor*. Но там, где мужчина (или доктор) редкость, реально, как пишет С. Шмерлинг, выделение *the man* или *the doctor*. Таким образом, вокруг акцентного выделения создается ореол коммуникативных коннотаций.

Принимая или отвергая любое из предложенных определений акцентного выделения, необходимо прежде всего обратить внимание на ту особенность АВ, которая в наибольшей степени затрудняет и запутывает вопрос о его лингвистическом статусе.

Будучи по своей сути явлением функциональным, коммуникативным знаком, АВ в концепциях разноязычного толка непостижимым образом связывается именно с явлениями плана выражения, не совпадающими функционально с АВ, — с интонационной структурой высказывания, прежде всего с проблемой интонационного центра. Как нам представляется, теория АВ, его функциональной трактовки, может (или должна) относиться к фонетической стороне воплощения АВ так, как морфонология (в виде теории акцентных парадигм) относится к фонетическим данным словесно-просодического характера о типе воплощения словесного ударения в зависимости от его позиции. И в самом деле, для морфонологии достаточно знать, что *вода* и *страна* различаются по месту ударения в Ace. Sing.: *вóду*, но *страну́*, и совсем не обязательно знать, как именно выражается просодически ударение, расположенное на первом или втором слоге, морфонология занимается функциональным аспектом словесного ударения.

Как представляется, требуемые рамки могут быть наложены исходя из специфики АВ как коммуникативного явления. А именно, предлагается описывать АВ через его характерные особенности: 1) АВ резко выделяет слово по сравнению с другими его соседями по высказыванию: *Какой-нибудь еды дайте; Ее я никогда не понимала* и пр. 2) АВ создает вокруг высказывания, в которое оно входит, определенный коммуникативно-текстовый и достаточно объективный для данного социума ореол: *Ее я никогда не понимала* (а других — да); *Сегодня не так холодно* (до сегодняшнего дня было холодно) и т. п.

Но гипнотическое воздействие идеи неразрывной связи АВ и интонационно-просодического центра высказывания до сих пор оказывается непреодолимым. Как и многие прописные истины, эта сентенция имеет сложноопределимый генезис. Как и другие истины,

кажущиеся непреложными, она родилась, вероятно, путем легких логических сдвигов в формулировке сентенции. А именно: во всяком законченном высказывании должен быть коммуникативно оформленный правильно интонационный центр — фразовое ударение. Безусловно, это фразовое ударение выделяет данное отмеченное слово — его носитель — из числа других, его можно считать интонационно маркированным. Все это так. Но как и каким образом из вышесказанного следует, что: 1) выделенным в высказывании может быть только одно слово, или если выделение приравнять к ударению, то ударным может быть только одно слово; 2) всякое выделенное слово и есть интонационный центр речевого отрезка.

Строго говоря, интонационная теория, точнее, интонационные факты, не предлагают этих положений теории функционально-синтаксической. Однако последняя формулирует их именно так. Большое распространение в лингвистике получило «понимание термина фразовое ударение, при котором этот термин становится обобщающим, поскольку выражает понятие акцентной организации всякого предложения в языке... О таком понимании термина говорят общепринятые термины: *Satzakzent*, *sentence stress*, *accent syntactique*» [Черкасова 1976]. Фразовое ударение приравнивается к АВ. См., например, тезис о том, что если перемещается ударение и меняется порядок слов, то актуальное членение не меняется: *Он говорит правду — Правду он говорит* [Адамец 1966]; или «во всех языках фокус предложения обычно есть носитель нормального фразового ударения» (*the main sentential stress*).

Как нам представляется, воедино смешиваются при этом несколько проблем: 1) тождественны ли в функционально-синтаксическом отношении АВ и нейтральное фразовое ударение, т. е. являются ли они категориями одного функционального слоя? 2) тождественны ли они в функционально-интонационном отношении? 3) находятся ли они в отношении дополнительного распределения в рамках одного и того же высказывания?

Мы говорим о двух отличиях высказываний с АВ от высказываний с нейтральным фразовым произнесением: резком для слуха выделении компонента с АВ и создании вокруг высказывания особой тексто-коммуникативной ауры. Обоих этих качеств нет у высказываний с нейтральным просодическим воплощением. Однако в теоретическом плане вопрос стоит так: имеет ли при этом место противопоставление плюса нулю — тогда это факты одной категории (как факты одного плана, компоненты одной парадиг-

мы типа *стол + ø → стол-а*) или это факты не соотносимых между собой разноплановых функциональных явлений? Оказывается, что при такой постановке вопроса понятие нейтрально произнесенного высказывания и понятие фразового ударения в нейтрально произнесенном высказывании отнюдь не оказываются синонимичными. Ср. два высказывания: *Я принес для мамы новую книгу* и *Я принес для мамы новую книгу*. Первое и второе высказывания (без АВ и с АВ) противопоставляются как отсутствие — наличию, т. е. факты однокатегориальные. Но выделенное *я* противопоставляется *я* невыделенному или высказывание с АВ противопоставляется высказыванию без АВ глобально? Между тем интонационным центром или фразовым ударением (ФУ) в высказывании без АВ является зона последнего ударного слога, т. е. слово *книгу*. На основании чего мы можем как-то сопоставлять АВ в слове *я* во втором высказывании и ФУ на слове *книгу*? Никакая логика лингвистического рассуждения как будто таких оснований не дает. АВ — факт тексто-коммуникативной сферы, ФУ — факт собственно интонационной сферы.

Но, может быть, они тождественны именно в функционально-интонационном отношении? Это и будет ответом на второй вопрос.

Интонационный центр высказывания, или ФУ, как это принято считать в интонологии, выполняет следующие функции: 1) показывает коммуникативный тип высказывания: утверждение — вопрос — незавершенность — переспрос — восклицание и т. п.; 2) выполняет делимитативную функцию, заканчивая высказывание, отделяя его от других.

Разберем предложения с АВ: *Петя забыл нам позвонить* (с ударением контраста: Петя, а не кто-то иной). Ср.: *Петя забыл нам позвонить, когда все это произошло. Петя забыл вам позвонить? Не верю.*

Просодическое оформление, показывающее тип высказывания и его конец, совсем не концентрируется на слове *Петя*, конец высказывания все равно оформлен в соответствующем месте — ср. слуховое ощущение от мелодики слова *позвонить*: особенно характерно делимитативное продление ударного слога у слова *позвонить* в утверждении.

Фразовое ударение предлагается иногда называть «нормальным» ударением. Без этого ударения фраза не имеет цельнооформленности. Его позиционная обусловленность видна из серий типа:

Он завернул за угол дома.

Он завернул за угол дома дяди.

Он завернул за угол дома дяди матери.

Он завернул за угол дома дяди матери приятеля.

Добавляемые слова, на которые переносится интонационный центр, не являются самыми важными, центральным ядром, не выделяются они и на слух.

Таким образом, АВ и ФУ — функционально разноплановые явления, они поэтому не противопоставляются и не совмещаются.

Ответ на третий вопрос как будто очевиден из сказанного: функционально разноплановые явления не могут быть в дополнительном распределении, находясь в отношении и/или.

Следовательно, они могут сосуществовать в рамках одного и того же высказывания. И даже АВ не должно рассматриваться как «сдвинутое фразовое ударение» или «смещенный интонационный центр»!

Однако, как говорилось во вводной части, просодическим фактам в их функциональном плане в отношении к плану непосредственно фонетическому не хватает того лингвотейоретического статуса, которым обладает морфонология в ее соотношении с фонетикой альтернантов.

Итак, АВ и ФУ в лингвистическом плане несоотносимы.

Отвлекаясь от вопросов обсуждения акцентного феномена как такового, легко увидеть ключ к расхождениям подобного рода в явлениях чисто терминологических, поначалу как будто бы и несущественных. Речь идет, конкретно, о разном понимании слова «фраза» в английской и русской лингвистической традициях. Для исследователей английского языка «фраза» (phrase) есть некоторый аналог словосочетанию, но не фразы, например, в понимании А. М. Пешковского, поэтому для англиста «фразовым ударением» в принципе могут, причем в той или иной степени, быть отмечены все знаменательные или даже служебные слова в высказывании.

Представляется, что метод соотнесения АВ-высказываний с потенциальным или реально обнаруживаемым (или однозначно конструируемым) контекстом справедливо подчеркивает основное свойство АВ: выводить данное высказывание в более широкую прагматическую сферу, сообщать информацию, дополнительную к той, которая непосредственно в этом высказывании содержится. Однако существовавший в течение долгого времени запрет на объяснение лингвистических явлений нелингвистическими феноменами заставляет обязательно вводить высказывание с АВ в рамки такого же язы-

кового факта, хотя бы даже и гипотетического. Теория пресуппозиций в некотором смысле облегчает эту задачу, давая возможность отделять реальный контекст, в который входит высказывание с АВ, от контекста-тени, однако столь же коммуникативно объективного. Так, за фразой с АВ — *Только он не вернулся* — стоит «тень» *Остальные вернулись*, совсем необязательно присутствующая в контексте. И при методе подхода к высказыванию с АВ как контекстно включенной реплике сложность создает представленное неразличение АВ и ФУ. Так, инициальная фраза типа *Кто купил синюю машину?* может сопровождаться ответом *Ее купил Петр* (без АВ) и ответом *Ее купил Петр* (с АВ и теневым сопровождением типа *Да, именно Петр, а не кто-то другой* или *Представьте себе, Петр и купил машину* и т. п.). Смещение АВ и ФУ снимает и спутывает эти различия: ведь оформленная по всем интонационным нормам реплика-ответ *Ее купил Петр* (без АВ и с ФУ на *Петр*) не вносит теневого сопровождения.

Содержательной характеристикой АВ, также связывающей его с реальным речевым потоком — текстом, является распространенное соотнесение АВ с категорией определенности/неопределенности (см. [Николаева 1979]). Оказывается, что имена определенные вполне могут быть отмечены АВ, например: *Я вчера вновь увидел своих друзей, поэта и гусара. Поэт очень постарел; Это мог сделать либо Ваш сын, либо Ваш брат! — Ну, за сына я ручаюсь.* Здесь мы имеем контраст за пределами одного высказывания, контраст парадигматический. Как писалось неоднократно (см. [Там же]), такого рода контраст как раз и связан с кореферентностью, с известностью. «Использование в предложении контрастной темы предполагает, что сообщаемое в остальной части предложения не будет справедливо для остальных членов множества. Контрастные темы вводятся, когда то множество, из которого берется каждая тема, представляет информацию старую и предсказуемую (old predictable information)», например:

A — Among John, Bill and Tom, who teaches high school

B — *John* does [Kuno 1976].

Контрастное ударение синтагматическое также может наслаиваться на упомянутые имена: *Две сестры, старшая и младшая, занимались спортом. Старшая сестра увлекалась плаванием, младшая сестра — велосипедом.*

Таким образом, можно делать следующий фундированный вывод: АВ не связано с категорией определенности/не-

определенности; АВ может накладываться на имена обеих категорий.

Тогда в чем же дело? Неужели все ошибались, связывая неопределенность с ударностью? Обратимся к примерам Н. С. Поспелова: *Поезд пришел* (сообщение о приходе поезда) — *Пришел поезд* (какой-то, которого не ждали). Эти примеры не сопоставимы с примерами *Пришел поезд* и *Поезд пришел*. Почему же? Потому что в примерах первой группы нет АВ, а второй — есть. Таким образом, здесь возможна шестичленная совокупность, а не четырехчленная: 1) *Поезд пришел* (только с ФУ, но без АВ); 2) *Пришел поезд* (то же); 3) *Поезд пришел* (а ждали чего-то другого, с АВ); 4) *Пришел поезд* (наконец-то, с АВ); 5) *Поезд пришел* (все-таки пришел — с АВ); 6) *Пришел поезд* (а не то, что вы думали — также с АВ).

Из шестичленного ряда видно, что АВ, как и всегда, создает коммуникативную ауру вокруг высказывания, расширяет его пределы в коммуникативном плане.

С категорией определенности / неопределенности связано не акцентное выделение, а фразовое ударение.

Действительно, индоевропейское предложение, особенно для группы славянских языков, устроено таким образом, что в большинстве случаев именно неопределенное имя — объект (или субъект) — располагается в конце высказывания, в той позиции, куда по правилам интонационного фразового оформления и помещается фразовое ударение. Более всего к нейтральному фразовому ударению тяготеет специфическое неопределенное имя. Специфическое неопределенное имя — это имя конкретного объекта, только не идентифицированного; неспецифическое неопределенное имя — это данный класс вообще (различие этих видов имени важно и прагматически: *Mary wants to marry a Swede* — за конкретного или любого? *John and Jack are looking for a pretty girl* — ищут одну девушку или две? [Kasher, Gabbay 1976]).

Нейтральное, без АВ, произнесение чаще всего связано с повествованием, с сообщением о некоторой ситуации — либо в одном высказывании, либо в цепочке высказываний, дополняющих одно другое. Итак: 1) нейтральным ФУ характеризуется обычно конец высказывания; 2) повествование (описание) есть очень распространенный способ сообщения; 3) в повествовании характерно введение специфических, т. е. конкретных, неопределенных имен; 4) по правилам и.-е. (особенно славянского!) порядка слов эти имена обычно помещаются в конце высказывания; 5) таким образом они связываются с нейтральным ударением, с ФУ (но не с АВ!).

Обратим внимание еще на одну особенность АВ. Как правило, акцентное выделение манифестируется через интенсивность и единообразно в тех языках, интонационные модели которых в целом нисколько не сходны. Так, довольно значительно различаются мелодические фигуры основных контуров в английском, французском, немецком и русском языках. Однако типы смыслового функционирования акцентного выделения в этих языках и лексико-грамматические способы «привязки» этих подчеркиваний к тексту высказывания заставляют говорить о возможности неслучайного схождения на эволюционном пути подобных просодических моделей, поскольку они в целом передают те же смыслы и практически теми же средствами.

Список литературы

- Адамец 1966 — *Адамец П.* Порядок слов в современном русском языке. Прага, 1966.
- Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Словосочетания с лексемой *один*: форма, значение и их контекстная маркированность // Синтаксис текста. М., 1979.
- Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Черкасова 1976 — *Черкасова В. И.* Интонация простого повествовательного предложения с разными видами фразового ударения при постпозиции ремы // Вопросы фонетики и фонологии. Иркутск, 1976.
- Culter 1991 — *Culter A.* Prosody in situations of communication: salience and segmentation // Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques. Aix-de-Provence, 1991.
- Kasher, Gabbay 1976 — *Kasher A., Gabbay D. M.* On the semantics and pragmatics of specific and non-specific indefinite expressions // Theoretical linguistics. V. 3. 1976. № 1/2.
- Kuno 1976 — *Kuno S.* Subject, theme and speaker's empathy — a reexamination of relativization phenomena // Subject and Topic. 1976.
- Schmerling 1974 — *Schmerling S. F.* Re-examination of «normal stress» // Language. V. 50. 1974. № 2.
- Schmerling 1976 — *Schmerling S. F.* Aspects of English sentence stress. Austin; London, 1976.
- Torsen-Grønnum 1991 — *Torsen-Grønnum N.* Terminality and completion in Danish, Swedish and German // Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.

ТИПОЛОГИЯ ИНТОНАЦИИ И АКЦЕНТНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ

Наблюдения и предположения, высказываемые в настоящей статье, являются результатом собственных исследований автора, с одной стороны, и результатом чтения научной литературы по фразовой интонации с анализом приводимых на разных языках примеров — с другой.

Как известно большинству интонологов, многие примеры часто кочуют из одной работы в другую, поэтому мы не считаем необходимым указывать источник каждого примера: важно, что ни один иноязычный пример не был сконструирован автором, более того, число приводимых примеров невелико, так как они служат чисто иллюстративным целям. В данной работе различаются; 1) реальная фразовая интонация данного языка (высказывания на данном языке) с просодическим наполнением фразы, лингвистически значимым; 2) обобщенная, схематизированная структура фразы с указанием на наличие-отсутствие акцентированных компонентов, т. е. акцентная структура фразы. Акцентная структура фразы мыслится как перечень в ней меток смысловых подчеркиваний и их позиций: какими именно параметрами просодии (интонации) фразы выражается каждый тип подчеркивания, в данном случае не обсуждается, хотя эта реальность воплощения необходима для решения всех прикладных задач, а также задач описания семантики восприятия и даже задач просто описательных.

Наконец, существенно изложить позиции автора по поводу функциональной сути акцентного выделения [Николаева 1982]. Предлагается различать два принципиально разных феномена: делимитативный интонационный показатель, традиционно называемый «фразовым ударением», обязательно представленный в каждом отдельном языковом отрезке, и особое смысловое подчеркивание — «акцентное выделение», наличие которого факультативно. У акцентного выделения есть отличительные черты как в плане выражения,

так и в плане содержания. В плане выражения оно манифестируется таким образом, что обязательно воспринимается, т. е. его слышно и не воспринять его нельзя. В плане содержания оно обычно связано с выходом из замкнутой коммуникативной ситуации и создает дополнительную смысловую ауру. Например, *А вот Вы ко мне не обрашались* (другие — обращались); *Я каждую неделю туда посылаю человека* (слишком много и слишком часто); *Даже он не приехал* (а должен был бы) и т. д. Акцентное выделение часто бывает связано с отходом от стандартной ситуации нормы: случилось нечто неожиданное, чего-то слишком много или слишком мало, вообще — ситуация не соответствует исходным пресуппозициям и т. д.

Итак, основное, на что мы хотим обратить внимание читателя, — это практическая тождественность, переводимость конструкций с акцентным выделением в разных языках. Иначе говоря, многие примеры, приводящиеся в работах по акцентному выделению, скажем, на английском языке, могут быть переданы и на русском языке (примеры будут приводиться далее). Случаи совпадений настолько очевидны, что они могут казаться чем-то априорным и тривиальным.

А между тем над этим стоит задуматься. Ведь, как известно, система фразовых интонаций русского и английского, английского и немецкого, немецкого и французского, французского и чешского и т. д. языков различна по очень многим основаниям (нет необходимости останавливаться на этих действительно очевидных и многократно описанных фактах). Различаются и правила и принципы порядка слов в этих языках; очень отличаются грамматические системы.

Рассмотрим широко обсуждаемый пример так называемого акцента за недостатком (default accent):

Английский пример

Русский смысловой эквивалент

— Has John read Slaughterhouse-5?

— Петя читал «Плаху» Айтматова?

— No, John doesn't *read* books.

— Нет, он не *читает* романов.

Проблемой для иноязычных интонологов оказывается явность постановки акцента на глаголе *read*, не имеющая никакого значения контрастивности, но организующая в целом это полемическое высказывание — ответную реплику.

Рассмотрим поочередно разные семантические типы подобных акцентных совпадений, переходя от семантически более простых к более сложным.

1. Контраст — синтагматический и парадигматический. Референты противопоставляются на уровне слов:

Bill didn't achieve his aim,
but *John* succeeded.

Je n'ai pas dit qu'il *aimait* ça: il *adore* ça.

Bury *the man* you killed.

It was difficult *for Tony*

Билл не добился своего,
а *Джон* добился.

Я бы не оказал, что он это
любит, он это *обожает*.

Похороните убитого Вами *человека*.

Для *Тони* ограбить лавку было
непросто.

2. Подтверждение того, о чем уже выше говорилось:

Get busy and study. — I *am* studying.

Why doesn't he sell those products?

— He *sells* them.

I've already *told* you about that.

Иди и занимайся. — А я и *занимаюсь*.

А почему бы ему не продавать
овощи?

— Он и *продает* их.

Я уже *говорил* Вам об этом.

3. Опровержение того, о чем говорилось выше:

— I suppose your back aches?

— You're wrong. My *head* aches.

— По-моему, у Вас болит спина?

— Да нет, у меня болит *голова*
(*Голова* у меня болит).

4. Анафорическое отождествление, связанное также функционально и с категорией определенности / неопределенности:

She sent a/the book to *Mary* /
She sent *a book* to *Mary*.

Она послала книгу Мери / Она
послала Мери *книгу* (в русском
языке в последнем случае также
возможен и неопределенный
статус для слова *книга*).

This is *the doctor* I was telling you about.

Это *врач*, я Вам о них рассказывала
(речь идет о социальном
классе; соответствующий смысл
английского предложения подтверждается
исследователями).

5. Пояснение с оттенком противопоставления в ситуации актуального настоящего:

That's a *poisonous* snake.

Это *ядовитая* змея (Это *ядовитая змея* было бы сказано, скорее, в зоопарке при демонстрации).

6. Противопоставление ситуации глобальной, экстраординарной, актуальной ситуации ожидаемой, нейтральной, нормативной. Первая ситуация передается через ударность начального имени; число языковых совпадений здесь особенно велико и особенно удивительно, если учитывать все фразово-интонационные, грамматические и синтаксические языковые расхождения:

An accident happened.

The sun is shining!

De Gaulle ist gestorben!

Präsident Kennedy ist ermordet worden!

Paul gent!

*Бед*а случилась,

Солнце сияет!

Де Голль умер!

Президента Кеннеди убили!

Пауль идет!

Во многих работах, посвященных этой проблеме, воссоздаются специальные «поясняющие» контексты; эти контексты также совпадают по языкам:

My head aches (What's the metter?)

The doctor called (Did anything happen while I was out?)

My mother's coming (Why are you in such a hurry?)

Голова заболела (восстанавливаемый вопрос: Что с Вами?).

Врач звонил (Что-нибудь было, пока я выходил?)

Мать моя приезжает (Что это Вы так спешите?)

В моей работе подобные русские примеры трактовались в качестве инвертированного варианта нейтральных описательных ситуаций, где порядок слов с начальным глаголом на самом деле мы считаем исходным: *Звонил врач; Убит президент Кеннеди; Приезжает моя мать* и т. д. В этом случае инверсия обычно вызывает ударение (на начальном имени), и это имя становится ударным, хотя оно не является ни новым, ни контрастивным, ни неопределенным, ни важным. Английские примеры заставляют углубить предложенную интерпретацию, возможно, не отменяя ее. Так, в английском языке различается нейтральное описание: *The sun is shining* и экстренное сообщение актуальной ситуации: *The sun is shining*, хотя порядок

слов здесь один и тот же. Возможно тогда считать акцентную модель экстренного сообщения «самостоятельной» и не зависящей от языкового синтаксиса.

7. Активно обсуждаемый сейчас в интонологической литературе «акцент за недостатком»:

John doesn't *read* books.

Джон не *читает* книг.

There are guys who *want* to be dentists.

Есть люди, которые *хотят* быть зубными врачами.

В этом плане есть одно системное различие; оно состоит в том, что английский язык обычно располагает «акцентом за недостатком» на вспомогательном глаголе, в русском же языке ударным будет основной глагол:

What time *are* you meeting your parents?

Когда *приезжают* Ваши родители?

How many languages *do* you speak?

Когда Вы *встречаетесь* с ними?
А на скольких я языках Вы *говорите*?

8. Приказы-командования особого актуального типа:

Lie down: Put *a pillow* under your head!

Ложитесь! Положите под голову *подушку!* (здесь важен определенный тип положения, а не то, положить ли под голову подушку или что-нибудь другое).

9. Условно относящиеся к этой же группе подчеркивания двух акцентных составляющих в высказывании; по нашему мнению, в подобных случаях, имеет место совмещение двух глубинных смыслов: экстранормальной, неожиданной ситуации + подчеркивание темы, о которой ранее уже напоминалось. Например, *Мой зонтик нашелся!* (неожиданная радость, но неизвестно, говорилось ли ранее о зонтике) и *Мой зонтик/ нашелся!* (мой зонтик, помните, мы о нем говорили, все-таки нашелся!).

My *umbrella* has been found.

Мой зонтик/ нашелся.

They were *choked to death*.

Они были *напуганы* — до смерти.

I have *instructions* to leave.

Инструкции мне нужно выбрать.

10. Акцентирование слов, сочетающихся с так называемыми усилительными частицами. Последний феномен столь регулярен, что это акцентирование считается как бы неизбежным спутником высказываний с частицами:

Even *John* is tall for a Watusi.
 Hier sei nur auf *einige Arbeiten*
 hingewiesen.
 Tylko ta *czarownica* to zrobila!

Duri *včera* se vrati.
 Even *John* likes Mary.
 Ho has only *one* will.
 Sogar für *Paul* was es klar.

Даже *Джон* высок для Ватуси.
 Здесь указано только на *некоторые*
 работы.
 Только эта *волшебница* сделала
 такое!
 Только *вчера* он вернулся.
 Даже *Джон* любит Мэри.
 У него только *одно* желание.
 Даже *Паулю* было это понятно.

На самом деле это априорная связь слова, связанного с частицей, и обязательного его подчеркивания, не кажется столь изначально обязательной. Не вызывают, например, подчеркивания многие другие классы коммуникативной семантики. Все это говорится с учетом сложных классификационных группировок частиц, их акцентных корреляций со связанными с ними по смыслу словами и определения глубинной семантики этих отношений [Николаева 1985]. Ср. в качестве примера *Даже **Сергея** не решил задачу* и *К общему удивлению, **Сергея** не решил задачу*. Однако эта связь — частиц особого типа и акцентирования — несомненна, и она наличествует практически во всех языках, об особенностях акцентной структуры которых сообщалось.

Что же можно предположить на основании вышеприведенных примеров?

1) Существует некая корреляция между введением акцентного выделения, местом его манифестации, типом лексем, притягивающих это выделение и общим смыслом высказывания, модифицирующимся благодаря этому акцентному выделению.

2) Характерно, что во всех случаях (кроме контрастивного выделения — самого простого и обычно служащего единственным типом иллюстрации для синтаксистов) акцентное выделение располагается на одном каком-либо компоненте высказывания, а меняется (или определяется) при этом смысл высказывания в целом.

3) Эта корреляция разделяется всеми описываемыми языками — безотносительно к различию их интонационных систем, грамматических систем и правил порядка слов (хотя реальное воплоще-

ние типов акцентного выделения в языках вполне может быть различным).

К оказанному необходимо прибавить наблюдения несколько иной сферы. А именно — коллектив авторов под руководством О. А. Лаптевой в течение нескольких лет работал над созданием монографии «Современная русская устная научная речь» (1985). Очень много времени было потрачено на то, чтобы выработать классификацию типов терминальных единиц (конец синтагмы, конец высказывания, большая пауза, малая пауза, мелодический тип окончания и т. д.). Оказалось, что для описания типов акцентного выделения в устной научной речи эти столь мучительные по критериям и таксономии проблемы не имели значения, были не важны.

Описание акцентных выделений и их функций было составлено, исходя из данных текста, не взирая на критерии членения отрезков, а как бы вообще без них. Приведем несколько примеров из конкретных материалов — подготовленных для работы расшифровок (сознательно приводятся примеры из разных областей знания):

1) Экспериментальная психология... как я уже говорил// это качественно был новый /шаг/ в истории психологии// Качественно новый/ потому что вместо /самонаблюдения/ вместо рассуждений о душе... абстрактной и внеисторической/ внесоциальной /общечеловеческой душе... в психологию хлынули// объективные/ наблюдения/ объективные /экспериментальные/ исследования/ восприятия/ памяти / мышления/ и так далее/ и тому подобное /Изменилась сама позиция ученого-психолога /Он уже стал смотреть/ не изнутри // на психику человека а так оказать снаружи...

2) Теперь я хотел бы/ э/ еще/ одно замечание/ сделать/ относительно/ значения/ вот этой/ типологии/ норм... Во-первых/ и типология/ эта типология норм/ помогает/ в общем как-то /решить вопрос/ об ошибках// об ошибках/ вообще в русской речи русских/ и об ошибках в русской речи/ иностранцев... Нужно сказать/ что вопрос/ о таких понятиях как ошибка/ или речевой недостаток/ не нашел еще/ окончательного/ решения// вот/ в// как в курсе/ практической стилистики/ так и в литературе посвященной этим вопросам/ хотя и предпринимались попытки/ более четко/ и более дифференцированно/ представить/ эти понятия.

3) Второе аспект// вопроса о точности физических законов// связан/ с допущением так называемых/ редких событий // Ну/ ... физика не запрещает редкие события/ Известны например/ в качестве примера Гинзбург приводил/ э/ космологическую модель Хойла// Зна-

чит/ в этой модели/ неомотря на расширение Вселенной / плотность вещества остается постоянным.

4) Возьмем ленточку магния // при взаимодействии магния с кислородом/ выделяется с большой // теплотой образования /окись магния// Вот разогрел / теперь она горит/ Получается из/ блестящего белого металла / белая окись /Магний плюс кислород/ получается магний / плюс/ какое-то там большое/ количество /калорий /Калории ушли / к окружающим телам в воздух/ Для того чтобы пошел обратный процесс/ их нужно вернуть.

5) Я скажу почему получается правильный ответ// Когда мы пользуемся// представлением / об интер интерференции/ Это чудо что получается правильный ответ/ потому что наш рассуждения / как я / сейчас постараюсь доказать/ неверны/ а ответ/ всегда /получается/ верным.

Совершенно очевидно, что можно определить функциональную нагрузку акцентных выделений: стремление к выделению «опорных: точек» (терминов, имен собственных и т. д.), собственную семантику акцентных выделений (оценка, модалность, отрицание и результат [Николаева 1982]), даже если и убрать в расшифровке все виды косых вертикалей и заглавные буквы.

А между тем именно свойство быть делимитатором является ведущим для собственно фразовой интонации, во многом реализующей свои параметрические коммуникативные «задания» именно к концу отрезка: завершение мелодемы, усиление длительности, понижение интенсивности.

Таким образом, акцентное выделение в связном тексте относительно безразлично к типам терминальных интонационных отношений. Тем самым еще раз демонстрируется параллельность, независимость акцентного выделения и фразовой интонации (включая «фразовое ударение»).

Представляется, что делать какие-либо глубокие и четкие выводы из всего оказанного было бы поспешно. Прежде всего совершенно неизвестны пока пути решения важной в данном случае диахронической стороны вопроса: являются ли эти удивительные кросс-языковые корреляции в области акцентного выделения инновациями просодической структуры или реликтами более ранних и более близких просодических систем?

В настоящее время можно констатировать лишь то, что эти виды акцентного выделения связаны с живой коммуникацией, с каким-то

контекстом, создаваемым или реальным текстом или возникающими пресуппозициями — дополнительными семантическими строками общения. Создается впечатление, что они фиксируют и отражают какие-то «кванты смысла», параллельного тому, который формируется нейтральной фразовой интонацией. Нечто подобное уже отмечалось для архаических и поэтических текстов, когда для текста оказывались важными отдельные «ключевые» компоненты, смысловая переключка которых как бы формирует ассоциации и возникающие дополнительные значения. Эти компоненты текста оказываются независимыми от реальной грамматической формы своего воплощения (т. е. принципиально это могут быть разные части речи: *взгляд — смотреть, могила — умирать*), разные этимологические лексемы (*гр-убый, гр-язный, бл-едный, блеклый* и т. д.).

Итак, существует какая-то особая, шагающая через языковые барьеры и в то же время невозможная без языковой формы семантика высказывания. В случае указанных акцентных выделений эта универсальность выражения не совпадает с отмечавшимся универсальным слоем фразовой интонации, а параллельна ему.

Список литературы

- Николаева 1982 — Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
Николаева 1985 — Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании. М., 1985.

МЕСТО УДАРЕНИЯ И ФОНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЛОВА

I

Тот факт, что для русского языка нельзя говорить о так называемом фиксированном ударении, означает по существу, что вместо одного-двух факторов выбора места ударения в русском слове определяется множеством факторов. Факторы эти и многочисленны, и многообразны. Сюда относится и принадлежность слова к той или иной акцентологической парадигме, и наличие в слове морфемы определенного типа: так, существуют всегда ударные префиксы, всегда ударные суффиксы и т. д. Важно и наличие акцентуемой финали; играет роль и тип контекста, стилистическое чутье в выборе варианта; существенной бывает также и социальная принадлежность говорящего.

Сказанное относится к словам русского лексического состава. Однако место ударения в заимствованных словах также определяется множеством аналогий и ассоциаций. Ударение слова в языке-источнике сложным образом налагается на ударения в ранее заимствованных словах или на исконные русские акцентологические модели¹. Возникающие новые ассоциации закрепляются в сознании — так, человек, услышавший впервые слова *антаблемент* и *сигнарант*, наверняка прочтет их с ударением на последнем слоге. Однако в словах иностранного происхождения тоже возможны разночтения, отклонения от рекомендуемой нормы, причем иногда довольно упорные. Так, стойко держится *шо́фер, до́цент, по́ртфель, мага́зин*. Может быть, сдвиг ударения в этих словах объясняется тем, что ударение в заимствованных словах тяготеет к предпоследнему слогу? Эта гипотеза опровергается произношением слов типа *ха́ос* и *Форум*. И по-

¹ Насколько сложны и разнообразны пути таких акцентных столкновений см. [Суперанская 1968].

том сдвиг ударения происходит не во всех словах с одним и тем же суффиксом: так, *шобфер* распространено, но *гример* — нет.

Настоящая работа была задумана как попытка определить на очень ограниченном материале, не управляют ли выбором места ударения в заимствованных словах какие-то чисто фонетические принципы организации слова. С этой целью нами был произведен небольшой эксперимент. А именно — были отобраны слова из «Словаря иностранных слов» [Словарь 1954] и даны для прочтения десяти информантам. Отобранные слова должны были быть неизвестными информантам (в случае, если слово оказывалось известным, оно исключалось из эксперимента). Кроме того, не привлекались к эксперименту также слова, хотя и неизвестные, но содержащие однозначно акцентируемые финалы (морфемы) типа *тура*, *-ант*, *-аж* и т. п. Выбор слова считался удачным, если оно не вызывало никаких акцентных ассоциаций или вызывало противоречивые ассоциации. Так, слово *рабат* могло ассоциироваться и с *Арбат*, и с *робот*; слово *мазар* — и с *мазать*, и с *базар*.

Каковы были фонетические критерии, по которым обрабатывались полученные результаты?

1. Число слогов в слове (отбирались двусложные, трехсложные и четырехсложные слова).

2. Тип конечной огласовки — кончается слово на гласную или на согласную.

3. Тип гласных, входящих в состав слова: передние и непредние.

4. Тип согласных в слове: твердые и мягкие.

5. Имеется ли в данном слове зияние на стыке слогов?

6. Имеются ли в данном слове дифтонги?

7. Имеются ли в данном слове скопления согласных?

Фонетические особенности, указанные в пп. 3—7, могли по-разному реализоваться в слове, а именно — быть представленными в разных по месту слогов. При отборе слов мы старались учесть все возможные комбинации.

Всего для первичного эксперимента было отобрано 218 слов². Число это объяснялось соображениями удобства проведения эксперимента — большее число слов дало бы более достоверные сведения, но тогда чтение из-за усталости информантов пришлось бы

² Список слов в той последовательности, в которой осуществлялось чтение, приводится в приложении.

осуществлять в несколько приемов, что было бы нежелательно по психолингвистическим соображениям. В этом виде чтение с карточек 218 примеров занимало в среднем 10 минут.

Все отобранные слова неосторожно было бы называть заимствованными — большинство из них, конечно Fremdwörter, а не Lehnwörter. Итак, более точно, речь шла, как и сказано в подзаголовке, о расстановке ударения в неизвестных словах иностранного происхождения:

Какие требования предъявлялись к информантам первичного эксперимента:

Они должны были: 1) бегло и без запинки читать по-русски, т. е. сам процесс чтения не должен был вызывать затруднений.

Они не должны были: 1) знать иностранные языки (критерием тут было самоосознание этого факта, так как иностранный язык входит в программу средней школы); 2) иметь высшее образование; 3) заниматься умственным трудом.

II

Единицей подсчета считалось одно произнесение. Каждое слово имело, таким образом, десять возможных произношений — по числу информантов: 218 слов дали 2180 произношений.

По числу слогов отобранные слова распределялись следующим образом: двусложных слов — 110, трехсложных слов — 72, четырехсложных слов — 36.

1. *Критерий качества последнего звука слова — гласный или согласный.* Покажем полученные результаты поочередно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов.

Таблица 1

Двусложные слова

Число слов		Число произнесений с ударением	
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге
на гласный	16	25	135
на согласный	94	594	346

Таблица 2

Трехсложные слова

Число слов		Число произнесений с ударением		
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на начальном слоге
на гласный	25	52	183	15
на согласный	47	356	85	29

Таблица 3

Четырехсложные слова

Число слов		Число произнесений с ударением			
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на втором слоге	на начальном слоге
на гласный	22	1	169	50	0
на согласный	44	64	70	5	0

Какие наблюдения можно сделать на основании первого подсчета?

1) Ударение в основном осуществляется на последнем и предпоследнем слогах, т. е. акцентологически релевантной оказывается последняя часть слова.

2) Обнаруживаются различия между словами на гласный и словами на согласный, а именно:

а) в словах, оканчивающихся на гласный, отчетлива тенденция делать ударным предпоследний слог (так, все испытуемые читали *просперити*, *шнэка*, *пиасава*, *пиккóло*);

б) в словах, оканчивающихся на согласный, различаются трехсложные и двусложные слова, а именно — для трехсложных более вероятно ударение на последнем слоге, для двусложных, а также и для четырехсложных слов, которые были представлены незначительным количеством, были равновероятны ударения и на последнем и на предпоследнем слоге;

в) приведенные цифры показывают значительное число отклонений от принципа ударения на предпоследнем слоге для слов на гласный и на последнем слоге для слов на согласный. Таким образом, критерий гласности / согласности, а также количественный критерий числа слогов для однозначного предсказания выбора оказываются недостаточными.

2. *Критерий зияния.* Проверялось, не притягивает ли ударение один из компонентов зияния. Зияние наблюдалось в следующих комбинациях на стыке слогов: *ea, ya, ia, oa, eo, io, аз, ау, иу, оу, ай.*

Не приводя табличные данные из-за небольшого их количества (зияние наблюдалось лишь в 33 словах), можно по поводу данного критерия сообщить лишь следующие наблюдения:

- 1) стык гласных (зияние), расположенный далее второго-третьего слогов от конца слова, не оказывает влияния на выбор ударения;
- 2) особо выделяется подгруппа сочетаний *ау, оу*, с тенденцией к ударению на первой части сочетания (*ра́ут, га́усс, кра́уч, джа́уль, та́у, ка́упер*);
- 3) про остальные сочетания ничего определенного сказать нельзя.

3. *Критерий наличия сочетаний ай, ей*, являющихся дифтонгами в языке-источнике. При этом учитывалось положение данного дифтонга в слове.

Данные подсчета показали следующее:

- 1) *ей, ай*, расположенные в начале многосложного слова, как правило, не перетягивают ударения;
- 2) *ей, ай*, расположенные в последнем слоге слова, перетягивают на себя ударение. Так, например, *гризайль* давало результат 9 : 1, *дедвейт* — 9 : 1³ и т. д. Такие данные именно для двусложных слов существенны, так как по данным двусложных слов (табл. 1) число ударений на последнем слоге относится к числу ударений на предпоследнем слоге как 5 : 3, т. е. число ударений на предпоследнем слоге весьма значительно;
- 3) *ей, ай*, расположенные в предпоследнем слоге слова, также оказывали влияние на выбор ударения. Так, *кайман* дало 3 : 7, *стайер* — 0 : 10;
- 4) в словах с *ай, ей*, расположенных между (или перед) гласными, ударение чаще не падало на эти дифтонги. Так, *дуайен* — 7 : 3, *сабайон* — 8 : 2, *пайол* — 9 : 1.

Таким образом, наибольшее влияние оказывал дифтонг *ай, ей*, расположенный в последнем слоге слова, особенно трехсложного. Так, *плейстосейст* — 10 : 0.

³ Здесь и в дальнейшем цифры означают следующее: первая цифра — число ударений (произнесений) с выбором последнего слога, вторая — число произнесений с ударением на предпоследнем слоге, третья — на третьем и т. д.

4. *Критерий скопления согласных.* Таковы скопления в словах *ротанг, одельстинг, талреп* и т. д. Возможность «перетягивания» проверялась для всех трех ситуаций:

1) скопление согласных находится в конце слова — *реверс, са-линг* и т. д.;

2) скопление согласных находится между последним и предпоследним слогом — *мертель, дарбар*;

3) представлены оба типа скоплений — *линкруст, нистагм* и т. д.

Всего таких слов со скоплением всех трех видов было представлено 50 для двусложных слов и 22 для трехсложных. Получены следующие результаты:

1) для двусложных слов оказалось 319 произнесений с ударением на последнем слоге и 181 произнесений с ударением на предпоследнем слоге;

2) для трехсложных слов оказалось 200 произнесений с ударением на последнем слоге, 18 произнесений с ударением на предпоследнем слоге и 2 произнесения с ударением на начальном слоге.

Таким образом, полученные данные не отличаются в своих пропорциях от общего распределения произнесений (см. табл. 1—3). Критерий скопления оказывается нерелевантным, так как изменение положения скопления — любая их описанных выше позиций — не оказало влияния на выбор места ударения.

5. *Критерий твердости/мягкости конечного согласного слова.* Рассматривалась возможность распределения произнесений с ударением в зависимости от типа конечного гласного слова. При этом получились следующие результаты:

1) двусложные слова были представлены 16 словами на мягкий согласный; из них было 98 произнесений с ударением на последнем слоге и 62 произнесения с ударением на предпоследнем слоге. В двусложных словах было 78 слов на твердый согласный; для них оказалось 496 произнесений с ударением на последнем слоге и 284 произнесения с ударением на предпоследнем слоге;

2) трехсложные слова были представлены 42 словами на мягкий согласный и 5 словами на твердый согласный. Для слов на мягкий согласный оказалось 311 произнесений с ударением на последнем слоге, 80 произнесений с ударением на предпоследнем слоге и 29 произнесений с ударением на начальном слоге. Для слов на мягкий согласный оказалось 45 произнесений с ударением на последнем слоге

и 5 произнесений с ударением на предпоследнем слоге. Таким образом, и этот критерий не вносит принципиально ничего нового в общие данные о распределении ударений в двусложных и трехсложных словах.

6. *Критерий качества гласных в слоге.* Этот критерий был подобран на основании интуитивного противопоставления гласных переднего типа (*e, u*) гласным непереднего ряда (*a, o, y*)⁴. Эти гласные обозначались через Н (непередние) и П (передние). Рассматривались четыре возможных комбинации Н и П в слове:

1) Н — Н, т. е. и в последнем, и в предпоследнем слогах представлены непередние гласные — *наваб, тургор, макадам, гастропор, анаколупф* и т. д.

2) П — П, т. е. и в последнем, в предпоследнем слогах, представлены передние гласные — *мелис, мидель, кипрегель, интерим, тердесиен* и т. д.

3) П — Н, т. е. в последнем слоге представлен передний гласный, в предпоследнем слоге представлен непередний — *салеп, домен, сподумен, цинубель, килопарсек* и т. д.;

4) Н — П — в последнем слоге представлен непередний гласный, в предпоследнем — передний: *редан, тифдрук, стивидор, утлегарь, пролегомен*. Покажем в табличной форме полученные данные соответственно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов на согласный (см. табл. 4—6).

Таблица 4

Двусложные слова

	Тип комбинации гласных в слове			
	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	36	19	22	17
Число произнесений с ударением на последнем слоге	240	116	117	121
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	120	74	103	49

⁴ Напоминаем, что речь идет об эксперименте по чтению заимствованных слов. Гласный *y* в данных словах не был представлен.

Таблица 5

Трехсложные слова

	Тип комбинации гласных в слове			
	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	13	9	15	10
Число произнесений с ударением на последнем слоге	114	66	94	82
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	16	22	41	6

Таблица 6

Четырехсложные слова

	Тип комбинации гласных в слове			
	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	5	2	6	1
Число произнесений с ударением на последнем слоге	28	6	21	9
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	22	14	33	1

Этот критерий в отличие от двух предыдущих, как будто бы дает новые факты распределения ударения, а именно — создает впечатление, что гласные непереднего ряда оказываются «сильнее» гласных переднего ряда и перетягивают ударение на себя. Полученные впечатления необходимо проверить. Как было выяснено вначале, самая сильная тенденция для слов на согласный — это тенденция к ударению на последнем слоге. Если гласные типа Н являются действительно более сильными, то для разного типа комбинация Н и П в последнем и предпоследнем слогах должны получиться также разные, причем заранее предсказуемые, результаты, а именно:

1) в сочетании Н — П, где сильные гласные представлены на конечном слоге, т. е. работают в одном направлении два сильных фактора, число произнесений с ударением на последнем слоге должно быть значительно больше числа произнесений с ударением на предпоследнем слоге;

2) в сочетании П — Н, где сильные гласные находятся в предпоследнем слоге и оба фактора работают в разных направлениях, распределение ударений на последнем и предпоследнем слогах должно

быть примерно равным, с перевесом на последнем слоге в трехсложных словах, в которых (см. табл. 2) фактор последнего слога наиболее сильный.

Проверяем полученные данные, извлекая их из вышеприведенных таблиц; первая цифра показывает число произнесений с ударением на последнем слоге, вторая цифра — число произнесений с ударением на предпоследнем слоге:

Н — П = 121 : 49 (двусложные слова); 82 : 6 (трехсложные слова); 9 : 1 (четырёхсложные слова).

П — Н = 117 : 103 (двусложные слова); 94 : 41 (трехсложные слова); 21 : 33 (четырёхсложные слова).

Таким образом, предполагаемые результаты как будто бы подтверждаются. Возможно, именно этим обстоятельством объясняются произношения *мага́зин*, *по́ртфель*, *до́цент*, *доку́мент*, *шо́фер* — гласные непереднего ряда в предпоследнем слоге оказываются сильнее гласных переднего ряда и в последнем слоге. Именно поэтому, возможно, новеллу П. Мериме называют «Лóкис», в противоречии с французским и литовским произношением, но царя *Мидáса* не называют *Мидасом*.

Однако это объяснение, хотя и говорит о силе действия данного фактора, не является универсальным. Им не объясняются случаи типа П — П и Н — Н, где имеет место такое же разнообразие произнесений. Здесь, вероятно, играют роль факты следующего, не уловленного нами уровня распознавания.

Окончательно подтвердил бы данную закономерность эксперимент со специально подобранными или придуманными словами, отличающимися по гласным, о не по согласным — типа *милас* — *малис*, *редан* — *раден* и т. д.

III

Таким образом, оказались существенными следующие черты:

- 1) наличие гласного или согласного в абсолютном конце слова;
- 2) число слогов — для слов на согласный;
- 3) тип гласного в последних слогах — для слов на согласный;
- 4) наличие сочетаний *ай* и *ей* — для слов на согласный;
- 5) наличие сочетаний *ау*, *оу* — для слов на согласный.

Несущественными для расстановки ударения оказались следующие черты:

- 1) фонетика начала слова в многосложных словах (если не рассматривать особо проблему побочного ударения);
- 2) наличие скопления согласных в разных позициях;
- 3) твердость или мягкость последнего согласного — для слов на согласный.

Существенно также понять механизм иерархии для полученных позитивных признаков, так как раскрытие внутренних подчинений признаков помогает раскрыть и определить число возможных исключений.

В нашем случае критерии располагаются по важности следующим образом:

- 1) критерий гласности / согласности конечного звука;
- 2) критерий числа слогов — для слов на согласный;
- 3) и 4) критерий качества гласного и наличия сочетаний *ай, ей*;
- 5) критерий наличия зияния *ау, оу*.

Таким образом, важно определить соотносительное место третьего и четвертого критериев. Приведем примеры слов с разными комбинациями гласных переднего и непереднего ряда, с одной стороны, и наличием дифтонгов в этих же словах, с другой стороны. Полученные данные: *виндзейль* — 9 : 1; *кайман* — 3 : 7; *стайер* — 3 : 7; *дедвейт* — 9 : 1; *гризайль* — 9 : 1; *найтов* — 6 : 4; *клевейт* — 9 : 1; *свейтинг* — 6 : 4; *стейер* — 0 : 10; *крейтон* — 6 : 4; *сайзель* — 5 : 5. Создается впечатление, что эти критерии приблизительно равноценны. На основании приведенных данных можно сказать только, что каждый из дифтонгов оказывается сильнее, чем аналогичная гласная — *а* или *е* в другом слоге, см.: *стайер* — 3 : 7 и *стейер* — 0 : 10; *дедвейт* — 9 : 1 и *свейтинг* — 6 : 4.

IV

Все сказанное выше относилось к специфическому фрагменту языка — фонетике заимствований (чужой) лексики. О том, что фонетика иноязычных слов, а также соответствующая фонологическая система, составляет специфическую подсистему, писалось неоднократно⁵. При этом не исключено и дальнейшее расслоение этой системы. Так, в одном из последних исследований, посвящен-

⁵ См. [Поливанов 1968; Гловинская 1967; Калнынь 1968; Mathesius 1947; Kučera 1958; Fries, Pike 1949].

ных чтению аббревиатур [Мамаев 1968], показывается устойчивая тенденция к чтению аббревиатур с произношением ударения на последнем слоге. Таким образом, МКХ (*эм-ка-ха*), несомненно, будет читаться с ударением на *ха*, но *эмкаха* как слово будет прочитано с ударением на *ка*.

Полученные данные очень сложным образом соотносятся с данными собственно русской акцентологии. Однако некоторое объяснение критерию передних / задних гласных, быть может, можно предложить, основываясь именно на русских данных. Так, *а, о, у* — гласные, более длительные по абсолютной продолжительности звучания, чем *и, е* (см. [Бола 1968; Николаева 1969]). Между тем доказано, что именно длительность является ведущим фактором русского ударения [Златоустова 1953]. Возможно, что произношение *шóффер, пóртфель* вызывается инстинктивным желанием «опереться» на более длительный гласный.

Список литературы

- Бола 1968 — Бола К. К вопросу о соотношении длительности гласных и фонетических структур слова // *Studia slavica*. Budapest, 1968. Т. 14. Fasc. 1—4.
- Гловинская 1967 — Гловинская М. Я. Фонологическая подсистема редких слов в современном русском литературном языке (на материале заимствований): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.
- Златоустова 1953 — Златоустова Л. В. Фонетическая природа русского ударения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1953.
- Калнынь 1968 — Калнынь Л. Организация фонемного состава иноязычных заимствований в диалектном языке // *Сов. славяноведение*. 1968. № 2.
- Мамаев 1968 — Мамаев Г. А. Ударение в сложносокращенных словах // *Русская речь*. 1968. № 5
- Николаева 1969 — Николаева Т. М. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Поливанов 1968 — Поливанов Е. Д. Фонетика интеллигентского языка // *Статьи по общему языкознанию*. М., 1968.
- Словарь 1954 — Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. 4-е изд. М., 1954.
- Суперанская 1968 — Суперанская А. В. Ударения в заимствованных словах в современном русском языке. М., 1968.
- Fries, Pike 1949 — Fries Ch. C., Pike K. L. Coexistent phonemic systems // *Language*. 1949. XXV.

Kučera 1958 — *Kučera H. Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages. s'Gravenhage, 1958.*

Mathesius 1947 — *Mathesius V. K vyslovnosti cizich slov v češtině // Cestina a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.*

Приложение*

клевейт 9 : 1	ципубель 8 : 2 : 0
дуайен 7 : 3 : 0	корпускула 0 : 10 : 0 : 0
метазоа 1 : 9 : 0 : 0	мелис 0 : 10
базилика 0 : 3 : 7 : 0	стейер 0 : 10
голоцен 10 : 0 : 0	апраксия 0 : 4 : 6 : 0
тотем 9 : 1	гемоторакс 0 : 10 : 0 : 0
веджвуд 10 : 0	салеп 8 : 2
снейтинг 6 : 4	николь 5 : 5
маркетри 4 : 6 : 0	скудо 0 : 10
празеодим 8 : 2 : 0 : 0	диплекс 7 : 3
виндроуэр 4 : 0 : 6 : 0	тоу 0 : 10
гиатус 4 : 6 : 0	салинг 6 : 4
сизаль 7 : 3	лантан 9 : 1
инцухт 9 : 1	альпари 6 : 4 : 0
сподумен 6 : 3 : 1	гекахорд 10 : 0 : 0
аддендум 7 : 2 : 1	крейтон 6 : 4
нистагм 10 : 0	эпифора 0 : 8 : 2 : 0
мульда 2 : 8	килопарсек 2 : 8 : 0 : 0
ноумен 2 : 3 : 5	пролапс 9 : 1
мангольд 8 : 2	панду 0 : 10
брокколь 5 : 5	огон 9 : 1
шнека 0 : 10	фалинь 6 : 4
монтанвакс 10 : 0 : 0	микрופиле 0 : 9 : 1 : 0
пикколо 2 : 8	азалея 0 : 8 : 2 : 0
мазар 7 : 3	скрупул 7 : 3
преамбула 0 : 9 : 1 : 0	бейдевинд 9 : 0 : 1
гаррига 0 : 9 : 1	нобиль 4 : 6
рабат 8 : 2	пролегомен 2 : 8 : 0 : 1
окапи 2 : 8 : 0	аллод 9 : 1

* Первая цифра показывает число произнесений с ударением на первом слоге от конца, вторая — на втором и т. д.

дизажио 0 : 4 : 6 : 0	серум 7 : 3
ротанг 8 : 2	дроссель 4 : 6
облиго 1 : 8 : 1	полдер 3 : 7
каупер 1 : 0 : 9	астрая 0 : 10 : 0 : 0
жеода 1 : 9 : 0	паунус 3 : 7
тердесиен 2 : 8 : 0 : 0	гэнро 3 : 7
лори 0 : 10	скорбут 5 : 5
тандем 7 : 3	ордалия 0 : 7 : 3 : 0
маракас 10 : 0 : 0	тобогган 10 : 0 : 0
примутрок 10 : 0 : 0	ваца 0 : 10
момме 3 : 7	ойдиум 5 : 1 : 4
мидель 5 : 5	ригодон 10 : 0 : 0
генро 4 : 6	иксия 1 : 3 : 6
агреман 10 : 0 : 0	берсим 7 : 3
базилик 3 : 7 : 0	торако 8 : 2
нотогей 0 : 10 : 0 : 0	раут 2 : 8
сезаль 9 : 1	имаго 1 : 9 : 0
аланбик 6 : 4 : 0	лаглинь 7 : 3
мелос 6 : 4	тургор 10 : 0
эспарто 0 : 10 : 0	мотто 0 : 10
думпар 6 : 4	эпифиз 9 : 0 : 1
сапропель 8 : 2 : 0	пиасава 0 : 10 : 0 : 0
оксиморон 9 : 1 : 0 : 0	пайол 9 : 1
топинамбур 5 : 5 : 0 : 0	дарбар 7 : 3
кромлех 4 : 6	диспаша 3 : 7 : 0
кипрегель 9 : 1 : 0	зальбанд 10 : 0
сайзель 6 : 4	бластула 1 : 7 : 2
маркато 0 : 10 : 0	гризайль 9 : 1
тальвег 8 : 2	гевей 0 : 10 : 0
гомруль 7 : 3	стопор 3 : 7
зигоспора 0 : 10 : 0 : 0	жакерия 0 : 1 : 9 : 0
стивидор 7 : 2 : 1	центатлон 10 : 0 : 0
миттель 6 : 4	найтов 6 : 4
гуанако 0 : 10 : 0 : 0	интерим 9 : 1 : 0
катрен 6 : 4	литота 3 : 7 : 0
скатол 6 : 4	донжон 7 : 3
каик 5 : 5	неоген 0 : 10 : 0 : 0
анапест 8 : 2 : 0	гаусс 2 : 8
сарос 8 : 2	демиург 10 : 0 : 0
квипу 0 : 10	буриме 7 : 3 : 0

мертель 5 : 5	ботдек 5 : 5
фольконер 8 : 2 : 0	коннетабль 10 : 0 : 0
хедив 3 : 7	гест 2 : 8
тримурти 1 : 9 : 0	панагия 0 : 4 : 6 : 0
декувер 7 : 3 : 0	рефери 6 : 4 : 0
колон 7 : 3	археорнис 4 : 6 : 0 : 0
гикорд 2 : 8 : 0	редан 9 : 1
эргастул 10 : 0 : 0	плейстосейст 10 : 0 : 0
кильсон 8 : 2	наваб 10 : 0
эпидернис 6 : 4 : 0 : 0	просперити 0 : 10 : 0 : 0
клаузула 0 : 10 : 0 : 0	демурредж 10 : 0 : 0
макадам 10 : 0 : 0	тифрук 6 : 4
ритор 2 : 8	габбро 6 : 4
гарига 0 : 9 : 1	флортимберс 10 : 0 : 0
примас 5 : 5	сабайон 8 : 2 : 0
гиля 0 : 10 : 0	гасоренор 9 : 1 : 0
ступор 2 : 8	пиллерс 4 : 6
котиледон 9 : 1 : 0 : 0	демен 3 : 7
гевея 1 : 9 : 1	пончо 4 : 6
польдер 3 : 7	гезенк 5 : 5
крауч 2 : 8	аблаут 4 : 6
одельстин 10 : 0 : 0г	гарда 5 : 5
валгалла 2 : 8 : 0	анаколуф 2 : 8 : 0 : 0
чайрикер 0 : 10 : 0	гавиал 10 : 0 : 0
джауль 5 : 5	внидаейль 9 : 1
мадия 1 : 8 : 1	инфикс 5 : 5
реверс 6 : 4	утлегарь 10 : 0 : 0
югер 1 : 9	анабасис 1 : 9 : 0 : 0
ротор 0 : 10	дрифтар 4 : 6
диатриба 0 : 10 : 0 : 0	пониус 3 : 1 : 6
махайродус 2 : 8 : 0 : 0	оверарм 10 : 0 : 0
фетва 0 : 10	дефибрер 7 : 3 : 0
талреп 8 : 2	дуплекс 5 : 5
пандус 6 : 4	приор 8 : 2
спарринг 5 : 5	кейман 3 : 7
вакуф 6 : 4	стайер 3 : 7
патуа 6 : 2 : 2	линкруст 5 : 5
синопсис 5 : 5 : 0	пентаэдр 8 : 2 : 0
битенг 4 : 6	дедвейт 9 : 1
диастола 0 : 10 : 0 : 0	кунгас 8 : 2

ТРИ ИНТОНАЦИОННЫХ СЛОЯ ЗВУЧАЩЕЙ ФРАЗЫ

Смешение универсального и специфического в описании интонации не есть результат одной недостаточности лингвистической теории; это смешение проистекает из самой специфики материала, т. е. из суперсегментных свойств звучащего потока.

Во всех этих концепциях представлена или одна оппозиция: слово / фраза (т. е. фразовая интонация представляет собой как бы всю просодию высказывания минус словесная просодия), или если и рассматривается интонация предложения, то только с точки зрения ее фонетической структуры. Типологические проблемы при этом не ставятся.

Все конкретные наблюдения над фактами интонации отдельных языков говорят о том, что во всяком звучащем отрезке представлены три интонационных слоя, каждый из которых может быть расчленен, описан отдельно, а сама интонация фразы таким образом стратифицирована. Именно нерасчлененный подход к этим трем слоям и приводит к тем противоречиям интонационного описания, о которых говорилось выше. Эти три слоя следующие: 1) универсальный слой; 2) слой словесной просодии данной фразы; 3) специфический интонационный слой, отражающий фразовопросодические особенности данного языка.

Как видно, интонация предложения не просто противопоставлена просодии слова, а распадается сама на две части: универсальную и специфически языковую. Идеальным результатом развития интонологической теории явилось бы унифицированное и точное перечисление универсальных свойств интонации, которое было бы известно каждому исследователю в той же степени, в какой известны, например, сведения по морфологической типологии или транскрипции Международной фонетической ассоциации. Тогда исследователи интонации отдельных языков могли бы стремиться найти инто-

национную специфику своего языка или внести коррективы в набор интонационных универсалий.

Остановимся на каждом из трех слоев более подробно, стараясь хотя бы эскизно наметить их состав и специфику.

Универсальный слой

В интонационный универсальный слой, как нам представляется, также включаются три разных аспекта, касающихся трех разных сфер интонации:

- 1) сфера первая — структура и функции плана содержания;
- 2) сфера вторая — отношение плана содержания к плану выражения;
- 3) сфера третья — структура плана выражения.

План содержания, т. е. собственно смысловая сторона фразовой интонации, в своей универсальной части оказывается более объемным, чем это обычно предполагается исследователями одного языка. В него входит прежде всего сама смысловая структура уровня в целом: так, во всех языках темп передает отношения важности / неважности, мелодика показывает связность / несвязность и т. д. Такое явление, как смысловая градуальность пауз между синтагмами, несомненно, универсально; заранее можно сказать, что причинно-следственные отношения и отношения результата будут передаваться большей паузой, чем отношения непосредственно примыкающих друг к другу событий. Во всех языках фразовая интонация, помимо знаково-интонемного содержания, передает еще и эмоционально-оценочное значение, при этом эмоциональная сторона речи раздваивается — одни эмоции передаются одинаковыми для всех языков средствами, другие специфически языковыми, находящимися в компенсаторных отношениях с интонемными показателями.

Та общая семантика бинарных противопоставлений, которую предложил С. И. Карцевский для двусинтагменной фразы, также представлена во всех языках. Выше говорилось о том, что семантика интонационного слоя еще остается неописанной и список интонемных отношений — это открытый список. Это остается справедливым, однако в наборе интонационных значений всех языков присутствуют и такие смыслы, как пояснение, вводность, эмфатическое выделение, логическое подчеркивание, противопоставление, перечисление, предикативность и т. д.

К сфере соотношения плана содержания и плана выражения относятся передача вопросительного предложения восходящей мелодикой, общего сообщения — понижающейся мелодикой, сходство типа оформления восклицательного предложения, передача логического ударения усилениями акустических характеристик и т. д. В эту же сферу входит различие вопроса и переспроса, различие общего вопроса и вопроса с вопросительным словом и т. д.

Сходство в структуре плана содержания представлено для естественных языков и на других уровнях. Так, например, во многом совпадает набор грамматических категорий, передаваемых словообразовательным уровнем, глубинным значением падежа и т. д. В области же фразовой интонации исследователей издавна поражало чисто фонетическое сходство субстанционной категоризации, которое не могло быть объяснено через смысловую структуру. Это сходство давало основания для объявления всего интонационного уровня явлением универсальным, покоящимся на общефизиологической речевой основе¹.

К общим фонетическим явлениям (т. е. явлениям плана выражения) относится само членение звукового потока на интонационные единицы, по-разному называющиеся в разных интонационных школах (ритмическая группа, дыхательная группа, тоновая группа, речевой такт, синтагма) и т. д. Мелодический параметр, изученный для интонационного уровня в разных языках, дал основания для выведения общеканонической формы интонации простого предложения, названной «шляпой» (a hat), в разных языках эта форма варьируется [Cohen, t'Hart 1967].

Распространено мнение, что в ряде языков в конце повествовательного предложения представлено повышение. Однако в специально посвященной этому работе К. Хаддинг-Кох вводит представление вторичной незаконченности, наложенной на первичную универсальную модель понижения [Hadding-Koch 1965]. Выше говорилось об особом типе вопросительной интонации с понижающимися заударными слогами. Как отмечает И. Фонадь, такое проникновение понижения тона в *yes/no* вопрос наблюдается во всех языках [Fonagy 1969]. Во всех языках, по его данным, в конце повествовательного предложения появляется и абсолютно конечный подъем, ориенти-

¹ Именно на этой общефизиологической основе настаивали: [Болинджер 1972; Lieberman 1967]. Однако оба автора видят в интонации и конвенциональное начало.

рованный на коммуникативную связь (см. выше о К. Хаддинг-Кох), особенно у женщин и молодежи.

Несомненно, сама структура просодического уровня такова, что при соединении синтагм в предложении восходящая мелодика будет сочетаться с более краткой паузой, а нисходящая мелодика первой синтагмы — с более длительной паузой. В самом конечном же понижении общий интервал падения будет зависеть от числа заударных слогов и по-разному распределяться в зависимости от их количества.

Общезыковые интонационные модели накладываются на абсолютные индивидуальные модели, с внесением при этом соответствующих корректировок. При этом возникают межъязыковые зональные просодические объединения — так, например, можно отличить в целом интонационные особенности севера и юга.

Многочисленные примеры, приводимые Д. Л. Болинджером, относятся именно к фонетической стороне интонационного уровня. Эффект не только в том, что выявляются мелодические сходства типологически далеких языков, но и в том, что становится очевидной эклектическая пестрота интонационных описаний. Заканчивая перечень некоторых фактов, составляющих универсальный слой звучащей речи, мы можем, сославшись на Д. Болинджера, еще раз подчеркнуть, что «число и детализированность полученных аналогий заставляет предполагать, что если бы адекватные описания были составлены и для других языков, то некоторые из них, считающиеся столь специфическими, на деле оказались бы совсем не такими» [Болинджер 1972: 221].

Слой словесной просодии

Вторым интонационным слоем звучащей фразы, как говорилось выше, мы считаем те просодические явления, которые обязаны своим появлением просодии конкретных слов, входящих в данную фразу или синтагму.

При этом словесные просодические сведения также неоднородны — они представляют собой факты двух видов. Первый комплекс фактов — это совокупность общих сведений о словесной просодии в данном языке. Например, это знания о том, является ли ударение в данном языке фиксированным или нет, и если фиксированным — то на каком именно слоге. Так, при ударении, фиксированном на пер-

вом слоге, интенсивность слова не будет сильной; при вопросительной мелодике или мелодике незавершенности ударный слог может быть выделен; при конечной понижающейся — скорее всего будет подавлен. При ударе, фиксированном на последнем слоге, антикаденция и полукаденция в данном языке может нейтрализоваться (т. е. дифференцирующих заударных здесь нет), повествовательная мелодика конца будет, скорее всего, иметь понижение перед ударным слогом.

Для языка существенны также сведения о том, есть ли в нем заударные и ударные фонологические долготы; представлено ли в данном языке музыкальное ударение или нет и т. д. К числу таких общих сведений принадлежат также и знания о том, какова средняя длина слова в данном языке. Так, например, специфический рисунок словенской фразы во многом объясняется средней краткостью словенских слов, обеспечивающих именно тот вид предложения, когда «ударение ныряет во фразе, как каное в волнах» [Bolinger 1955].

Кроме общих сведений, характеризующих словесную просодию языка в целом, в словесно-просодический слой входят и конкретные факты данной фразы. Например, от числа заударных слогов зависит распределение мелодического интервала в терминальном тоне, а также возможность реализации той или иной мелодической фигуры. Исследователь, расшифровывающий данные осциллограммы русской фразы-вопроса с падающими заударными, может, не зная текста, принять это предложение за повествовательное, так как конец здесь понижающийся. Существенно также, есть ли в данном слове — носителе фразового или синтагматического ударения — долгота, где она представлена: так, например, по нашим наблюдениям, в сербском слове с восходящими акцентами постударное повышение тона может полностью реализоваться на первом заударном слоге, если он долгий, или, напротив, перейти на второй слог, если первый заударный слог оказывается слишком кратким, таким образом оказывается существенной длительность слова в целом.

Структура начала фразы, ее мелодическая форма, часто бывает представлена повышением, однако, если начальное слово имеет ударение на первом слоге, мелодика повышается на нем, затем наступает понижение; если же начальное слово имеет ударение на втором или третьем слоге, то повышение может быть до ударного слога, он же сам будет в этом случае занимать высокую позицию.

К конкретным сведениям относятся и данные о типе акцента в словах в тех языках, где они представлены. В частности, в сербском

языке в вопросительной мелодике при наличии долгого нисходящего акцента будет выбрана антикаденция с падающими ударными, при восходящем акценте — с восходящими ударными.

В целом, говоря о конкретных словах, составляющих фразу и, особенно, формирующих каденционный участок, можно сказать, что здесь прежде всего существенна ритмическая структура слова (т. е. число слогов и место ударения). Многие мелодические и акцентные кривые фраз, кажущиеся при первичной расшифровке различными, на самом деле отличаются только за счет разных ритмических структур входящих лексем.

Третий интонационный слой

Это слой собственно языковой, составляющий фразовую интонацию языка X, именно его и должны обнаруживать интонационные исследования каждого конкретного языка. Но существует ли он вообще? Может быть, интонация каждой фразы состоит лишь из двух слоев — универсально-языкового и конкретного слоя словесной просодии, которая модифицирует универсальные черты, создавая для каждой фразы ее интонационную специфику? Авторы обычно говорят лишь о двух слоях — словесном и фразовом, не расщепляя последний далее.

И все же, как представляется, этот третий слой существует. Но обнаружить его иногда удастся только косвенными средствами.

Приведем примеры того, что мы считаем явлениями этого третьего слоя. Прежде всего о его существовании говорит факт влияния интонации одного языка на интонацию другого языка. Для славянских языков такое влияние отмечалось неоднократно, например влияние немецкой интонации на словенскую, венгерской — на словацкую и т. д. Особенно интересным является факт, зарегистрированный для словацкого языка, где в ряде говором с ударением на первом слоге фразовое ударение оказывается на предпоследнем слоге: под несомненным влиянием фразовой интонации соседящего польского языка.

Ни с универсальным, ни со словесным слоем не связаны такие явления, как величина частотного диапазона в подъеме и падении. К специфическим интонационным явлениям относятся и такие факты, как монотонность слогов в одних языках (украинский, белорусский, словацкий языки) и модулятивность их в других (русский,

польский, сербский). Словенский язык, будучи также тональным языком, отличается от сербского именно этой малой модулятивностью безударных слогов, в результате чего ударные слоги вырисовываются во фразе очень ярко. В целом деление языковой интонации на ориентированную на ударные и фигурно ориентированную (ср. русский язык, в котором существенная информация располагается на ударных, и немецкий язык, где важно выполнить некоторую мелодическую фигуру, как бы накладывающуюся на терминальный участок) также не зависит от универсальной модели и конкретного словесного наполнения фразы. Типологически различающая форма повествовательной фразы с непосредственным падением тона или с восходяще-нисходящим движением также входит в интонационную специфику языка.

Все упомянутые факты относятся к конкретному выражению интонации. Однако в инвентарь специфических интонационных средств входят и явления, определяемые косвенным путем. Например, к таким явлениям относится сила воздействия словесной просодии на тенденцию к выделению ударного слога (т. е. *strong stress / weak stress*), а также сила воздействия фразовой интонации на фонетическое слово. Эта сила воздействия может по-разному выражаться на уровне разных просодических параметров. Так, фраза может быть сильно или слабо структурирована во времени, иметь сильно (слабо) выраженную акцентную линию, сильное или слабое мелодическое воздействие — причем разное на разных участках фразы.

Со всеми этими проблемами связан сложный и тонкий вопрос: образуют ли эти специфические факты систему, т. е. системны ли те специфические факты, которые остаются, если мы «вычтем» из фразовой интонации данного языка все универсально-языковое?

Некоторые экспериментальные данные по этому поводу все же есть. Так, например, в научной литературе по русской интонации подробно описан специфический тип русского вопроса — с падающими заударными (Е. А. Брызгунова — ИК-3). Отдельно от этого в ряде конкретных описаний (особенно в зарубежных работах) упоминается о крайне высоком положении ударного слога в русском языке именно в этом типе мелодики. На основании экспериментальных данных оказалось, что оба этих признака можно объединить — высота слога; «супервысокость» оказывается компенсаторным вариантом неподнятого мелодически конца фразы. Это подтверждается тем разделом работы М. Г. Радиевской [Радиевская 1973], где иссле-

дается чтение русских текстов иностранцами (в интонационной системе которых при вопросе обязателен конечный подъем мелодики); интонационная система этих дикторов не требует высотной компенсации для различения вопроса и ответа, и потому очень высокий частотный подъем в русском языке именно в этой вопросительной интонационной конструкции достигается при преподавании русского языка с наибольшим трудом.

Естественный вопрос, встающий перед исследователем, пытающимся стратифицировать предложенным нами тройным способом интонацию любой фразы, это вопрос о том, где же типологические характеристики интонации данного языка, т. е. характеристика не универсальная и не индивидуальная? Самый простой ответ, собственно и предлагаемый в данной работе, это — включить в третий слой характеристики типа собственно языковые данные. Дело в том, что, как это ни парадоксально, по мере развития типологии как науки понятие типа начинает исчезать из сферы языковедческих интересов [Greenberg 1973]. С идеей типа соотносятся и такие элементы анализа, как замкнутость / открытость системы изучаемых объектов и число признаков, дифференцирующих эти объекты. В связи с этим возможны следующие ступени трактовки понятия типа. Наиболее простая представлена тогда, когда объекты различаются по одному какому-либо признаку, например, такова морфологическая классификация прошлого столетия, таково деление языков на консонантные и вокалические и т. д. При замкнутом числе объектов возможен и такой путь, когда сами языки, обычно полярные в этом ряду, объявляются типами, а остальные языки — промежуточными, тяготеющими к этому типу-эталону.

Возможен и третий путь, когда набор признаков задан до анализа объектов и каждый объект соотносится с этим набором или пространством признаков. В этом случае тип есть обычно некоторое идеальное соответствие заданной части выбранных признаков.

Но наиболее сложна практически и теоретически ситуация, наиболее частая, когда необходимо всесторонне классифицировать — в их отличии друг от друга — заданную совокупность объектов, не имея ранее данного дифференцирующего набора. В этом случае признаки обычно выбираются в соответствии с данными языков анализа. Именно с такой ситуацией мы и имеем дело в нашем случае. Интонационные факты славянских языков группируются самым различным способом: поэтому если считать ведущими одни признаки, языки могут группироваться одним способом (например, по типу

мелодического решения), если другие признаки — иным (например, по роли временного фактора) или третьим (по силе словесного ударения). В заключительной части нами предлагается некоторая иерархия признаков и в связи с этим градация их типологизирующей силы, однако при самом первичном подходе — групповые характеристики целесообразнее включать в индивидуальные. О трудности их различения пишет в указанной работе и Дж. Гринберг («Исследование того, что специфично или особенно, на практике бывает трудно отличить от присущего по крайней мере нескольким языкам»).

В заключение мы хотим сказать, что вся история изучения фразовой интонации разных языков говорит о том, что многие факты, познанные и сопоставленные, увеличивают сферу «универсального», все большее число интонационных фактов переходит из частноязыкового в общезыковое. Поэтому можно предполагать, что факты, воспринимаемые пока как специфические, будучи организованными в систему, утратят свою специфичность.

Список литературы

- Болинджер 1972 — *Болинджер Д.* Интонация как универсалия // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Радиевская 1973 — *Радиевская М. Г.* Проблемы бинарного описания интонационных характеристик речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1973.
- Bolinger 1955 — *Bolinger D. L.* The melody of language // *Modern language forum*. V. XI. 1955. № 1.
- Cohen, t'Hart 1967 — *Cohen A., t'Hart J.* On the anatomy of intonation // *Lingua*. V. XIX. 1967. № 2.
- Fonagy 1969 — *Fonagy I.* Métaphores d'intonation et changement d'intonation // *Bulletin de la société de linguistique de Paris*. 1969. T. 64, fasc. 1.
- Greenberg 1973 — *Greenberg J. H.* The typological method // *Current trends in linguistics*. V. 11. The Hague; Paris, 1973.
- Hadding-Koch 1965 — *Hadding-Koch K.* On the physiological background of intonations // *Studia linguistica*. V. XIX. 1965.
- Lieberman 1967 — *Lieberman Ph.* Intonation, perception and language. Cambridge (Mass.), 1967.

«ЭКСТРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЮ»: ОСОБЫЙ ВИД ПРОСОДИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ

В своей книге «Aspects of English sentence stress» (1976) С. Шмерлинг приводит интересный рассказ о том, как она узнала — в течение месяца — о смерти двух американских президентов [Schmerling 1976: 41]. Сначала она услышала от матери: *Truman died*. Через несколько недель ее муж сказал: *Johnson died*. Почему же в одном случае был выделен глагол, в другом — имя (точнее, почему в одном случае есть выделение на имени, в другом — нет)? С. Шмерлинг дает нетипичное для лингвиста объяснение: смерть Джонсона не была неожиданностью, смерть Трумэна — была («Truman's death was expected; Johnson's was not»). В другой своей работе, полемизируя с понятием «нормального» ударения, С. Шмерлинг приводит два примера: *John died, John died* [Schmerling 1974: 70]; оба они, по ее мнению, «нормальны» по ударению, но второе есть как бы ответ на вопрос о Джоне, тогда как первое — ответ на более общий вопрос типа *Why are you looking so glum?*

Как же связаны воедино известия об ожидаемой / неожиданной смерти, глобальный вопрос об общем состоянии, примеры типа *Что-то сон одолевает; Еще фотоаппарат мне тогда купили; Только улыбка у нее неприятная* и пр. и непременно постановка ударения на начальном имени?

Примеры такой акцентно-синтаксической структуры всегда интересовали синтаксистов и интонологов (см. об этом [Николаева 1989; 1980]). Встречаются примеры типа *Тише! Бабушка спит* или *Открой! Папа пришел*. Случаи такого рода отмечены в разное время и на разном материале: *De Gaulle ist gestorben!* [Harweg 1972], *Präsident Kennedy ist ermordet worden!* [Fuchs 1976]; *Mach die Tür auf. Paul ruft* [Harweg 1970].

Чем же интересны приведенные примеры? Обратимся к ним снова.

Во всех этих примерах сообщается о некоторой глобальной ситуации, важной в целом: я на поезд опаздываю, а не тороплюсь просто так; бабушка спит, и шуметь не надо; пришедшему отцу нужно открыть дверь и т. д. Таким образом, от проблемы непонятной для интерпретации ударности первого имени мы переходим к идее некоторой общей характеристики всего высказывания, называемой нами *глобальностью*.

Идея связанности языковой единицы некоторым общим признаком, сквозной характеристикой, оформляющей компоненты этой единицы, давно уже утвердилась для низших языковых уровней. Это, например, факты объединения слова (слога) такими параметрами, как назализованность, придыхательность, влияния качества гласного на соседящий согласный и наоборот и т. д. Между тем в сфере анализа содержательных единиц объединенность общим признаком и, соответственно, связанность часто не принимаются во внимание и даже не обсуждаются. В основном подобные явления привлекают внимание лингвистов при исследовании исторических феноменов: общеизвестны факты превращения наречий в предлоги, предлогов в провербы; свободно употребляемых местоимений в глагольные клитики и т. д. В области же современного речеупотребления и построения высказываний как бы доминирует презумпция некоторой обоймы со свободно заменяемыми местами; при этом ограничения на факт выбора того или иного компонента осуществляются в основном в лексическом или референционном плане.

Между тем объединенность большого речевого отрезка, комбинированного из разных грамматических классов некоторой общностью смысла, может грамматикализироваться, а процесс категориального объединения идти и дальше — по новым смысловым параметрам. «На протяжении истории языка одни и те же (или весьма сходные) грамматические категории могут быть выражены сначала с помощью синтаксических средств, а затем с помощью средств морфологических, которые частично могут развиваться из синтаксических» [Иванов 1980].

Представляется, что именно глобальность является такой сквозной морфолого-синтаксической характеристикой, которую язык умеет и стремится выразить в определенных коммуникативных условиях.

Заемствованная от таксономического описания языкового механизма презумпция гомофункциональности единиц одного языкового уровня и идея равенства единиц низшего уровня перед лицом

высшего уровня (морфемы складываются из фонем, словоформы из морфем, словосочетания из слов, предложения из словосочетаний и т. д.) предопределила трактовку всех почти высказываний как равноделимых на компоненты. Исключения составляла обычно очень небольшая группа высказываний с перечислимым набором предикатов типа *Наступила весна, Идет дождь* и т. д., признаваемых нечленимыми.

Как нам представляется, о некоторых средствах выражения этой сквозной характеристики — глобальности уже можно говорить.

1. Для славянских языков свойством различения глобальной / неглобальной ориентированности высказывания служат показатели аспекта. В применении к прошедшему времени свойство совершенного вида способствовать передаче события в целом, а несовершенного — концентрироваться на самом действии уже описывалось неоднократно. В частности, эта мысль является одной из ведущих в книге О. П. Рассудовой [Рассудова 1968]. Она отмечает, что основным фактором, влияющим на видовое употребление, является коммуникативная нагрузка говорящего, «один и тот же факт действия может быть представлен в зависимости от коммуникативной потребности говорящего» [Там же: 19]. При этом диапазон несовершенного вида шире, он лишен дополнительного семантического признака, «добавочный признак, выражаемый совершенным видом, связан с особым представлением целостности (целостного охвата действия)». Поэтому неограниченный процесс выражается только несовершенным видом, факт единичного действия ограниченного процесса, ограниченной повествовательности передается совершенным видом, если есть установка на указание целостности, и несовершенным — если ее нет. Сходные положения высказываются и зарубежными исследователями русского вида: см. «Основное значение совершенного вида — это представление действия как глобального события, коммуникативно однозначного» (the presentation of the action as a total event related to a specific single juncture) [Forsyth 1970: 347]. Напротив, имперфективная форма не составляет события целиком, «не сообщает нам всего, что произошло, а только часть этого» [Galton 1976: 167]. Особенно интересно в этом плане наблюдение над употреблением видов в их прагматико-ситуативной проекции в неличных формах глагола, в частности в императиве и инфинитиве. Так, высказывается предположение, что совершенный вид употребляется при передаче глобальной ситуации, не контролируемой актантом: *Не простудитесь; Не споткнитесь; Не попадитесь ему*

на глаза и т. д. Но — *Не разговаривайте, Не продавайте дом* и т. д. Таким образом, различается прескрипция (*Нельзя разговаривать на уроках*) и факт (*Нельзя заказать шляпу*). Поэтому если ситуация не фактивна, а контролируема, обсуждаема, употребляется несовершенный вид глагола: *Зачем давать ему деньги?* и **Зачем дать ему деньги?*

Это различие видов в отрицательных конструкциях с императивом обсуждается и в одной из работ Т. В. Булыгиной [Булыгина 1980]. Т. В. Булыгина также говорит о несовместимости форм совершенного вида в этих конструкциях с глаголами, обозначающими действие, зависящее от воли субъекта (*Носов не отморозьте — ? Не отмораживайте носов; Не поскользлись; Не стукнись*, но **Не защити диссертацию; *Не плюнь в колодез, *Не поиди за хлебом* и т. п.). Т. В. Булыгина делает далее тонкое замечание о том, что «прежние переводы евангельских заповедей: “не убий”, “не укради” — не соответствуют современной норме; в новом издании фигурируют формы несовершенного вида: “не убивай”, “не кради”» [Там же: 341]. Существенно, что примеры, приводимые затем Т. В. Булыгиной как примеры оппозиции контролируемого / неконтролируемого действия, могут быть проинтерпретированы и с позиций противопоставления глобальной / расчлененной ситуации: *Не обгори — солнце очень горячее — Не загорай, тебе это вредно; Ты там ненароком не влюбись — Не влюбляйся, тебе это помешает в занятиях; Не выпей то, что в бутылке, — это метиловый спирт — Не пей сырой воды; Не прозевай поезд — Не зевай*, т. е. «будь внимателен», и т. п. [Там же: 342].

Коммуникативное различие в употреблении видов обнаруживается и в их отношении к событиям, реальным и описываемым в тексте, т. е. дискурсивным отрезкам. Так, Хоппер [Hopper 1979] связывает перфективное значение с подлинными событиями (actual story line), а имперфективное — с собственно нарративным компонентом текста, принадлежащим основной его (а не реальности!) структуре, — первый язык, реальных событий, характеризуется как foreground, второй — как background; первый аспект всегда реален, второй — может быть связан с ирреальностью. Рассмотренный с иной точки зрения, этот тезис соотносится с утверждаемым в этой работе положением о большей контекстной независимости высказываний глобальной семантики.

Обобщая подобные наблюдения, О. Даль приходит к выводу о том, что все, что происходит в окружающем нас мире, «может быть

описано либо в терминах процесса, либо в терминах события» [Dahl 1974]. Несовершенный вид корреспондирует процессу, который дуративен, совершенный вид — тотальному событию. О. Даль пишет далее: «По-видимому, существует тенденция пользоваться языковым изображением события — там, где это возможно».

Все это также соотносится с гипотезой о передаче глобальной ситуации как сквозной характеристики: *Только в вагоне я чувствовал себя хорошо* и *Только в вагоне я почувствовал себя хорошо*, как представляется, в первом случае обстоятельство есть только локализатор места, во втором — оно включает в себя и время до вагона, т. е. приобретает хронотопический характер. Это дополнительное значение, увеличивающее охват события, полноту его передачи, определяется меной несовершенного вида на совершенный. Помогает в этом создании комплексного обстоятельства здесь и частица *только*. Сходные функции при глаголе отмечаются для *еще* и *уже*. *Об этом он узнал еще в батальоне* — без *еще* обстоятельство в *батальоне* было бы просто обстоятельством места [Гойдина 1979].

Понятие глобальности связывается и с порядком слов. Чаще всего глобальной, если можно так выразиться «голографической», передаче ситуации свойствен порядок [] + V + S, где V есть вся глагольная группа либо один глагол, а [] может быть представлен обстоятельством — *На холмах Грузии лежит ночная мгла, частицей — Вот едет могучий Олег со двора* — или нулем — *Горит восток зарею новой*; или [] + V + O — *Продают помидоры* и т. п.

Нетрудно заметить, что именно препозиция сказуемого отличает все типы нерасчлененных высказываний в [Русской грамматике-80], существенно при этом, что демонстрируются высказывания нейтральной просодической структуры, т. е. с ФУ, но без АВ.

Таким образом, можно высказать мысль о двух принципиально равноправных, но разнофункциональных «ordines naturales» в языках типа русского: один передает ситуацию в целом, другой — бифокальность, членимость события.

Глобальный порядок слов, где глагол предшествует субъекту, очень распространен при описании последовательности событий и совсем не связан с эмфазой, которую почему-то непременно приписывают «инвертированности»:

«Пади, пади!» — раздался крик; / Морозной пылью серебрится / Его бровровый воротник. / К Талон помчался: он уверен, / Что там уж ждет его Каверин.

Нарушение порядка [] + V + S при описании глобальной ситуации, например [] + S + V может привести к возникновению непредвиденного контраста. См., например, русский текст начала одной из глав романа О. Бальзака «Об Екатерине Медичи»: *В 1560 г. улица Вьель-Пельтри проходила вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и мостом Менял*, — можно подумать, что потом эта улица проходила где-то в другом месте; в действительности эта улица исчезла: после того как были снесены выходившие к реке дома, была образована набережная. Таким образом, необходима последовательность: *В 1560 г. вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и мостом Менял, проходила улица Вьель-Пельтри* (У О. Бальзака: *En 1560, les maisons de la rue de la Vieille-Pelletrie bordaient la rive gauche de la Seine, entre le pont Notre-Dame et le pont au Change*).

При признании двух гетерофункциональных порядков слов возникает очень важный вопрос о первичности одного из них. Разумеется, вопрос этот очень специален и требует компетентного рассмотрения.

2. То, что глобальность в языковом сознании отчетливо противопоставляется расчлененности, показывает интересный пример, полученный для неславянского материала. Так, в англоязычных ситуациях подбирались примеры с субъектом и объектом с разными артиклями (*The policeman — The gangster, A policeman — A gangster, The policeman — A gangster, A policeman — The gangster*). В рамках этих четырех комбинаций составлялись фразы, в конце которых сообщаемый факт отрицался. Испытуемым предлагалось продолжить текст, конструируя истину (*I thought that the policeman has been injured by the gangster, but I was mistaken. In fact...*).

Оказалось, что при совпадении артиклей (*the... the; a... a*) отрицался факт в целом (например, *Я думал, что полицейский схватился с гангстером, в действительности старушка бросилась под машину* и т. д.), при несовпадении заменялся тот компонент, который сопровождался неопределенным артиклем (не гангстер, а пьяный; не полицейский, а прохожий и т. п.). Таким образом, активное членение на тему и рему здесь опять же различно для глобальных vs. бифокальных высказываний [Нурет 1975].

Высказывания с ударным определенным именем входят, на наш взгляд, в общий комплекс выражения глобальности как сквозной характеристики высказывания. Они демонстрируют синтактико-акцентологический аспект воплощения этой категории. Но когда

же воплощается именно этот аспект? Обратимся к тезису, неоднократно высказывавшемуся И. И. Ковтуновой и четко сформулированному в ее статье «Порядок слов в стихе и прозе» [Ковтунова 1976]. Высказывается тезис о том, что инверсия влечет за собой особое «экспрессивное» ударение: *Наступила весна — Весна наступила; Отец работает — Работает отец; Люблю я книги читать* и т. д.

Мы говорили о том, что высказывания типа *Бабушка спит, Отец пришел* как будто бы неинверсивны. Однако этот тезис вполне может быть пересмотрен. Представим некое повествование, плавный рассказ о ситуации. В нем возможны фразы типа *Пришел отец; Спит бабушка; Звонит Павел; Умер президент* и т. п. Однако по существующей семантико-синтаксической традиции круг таких «нерасчлененных» предложений очень ограничен. В него входят так называемые «бытийные» предложения типа *Наступила весна; Пошли дожди* и т. п. А если этот круг сильно расширить? Тогда фразы типа *Звонит Павел* тоже войдут в эту сферу. И высказывания *Бабушка спит; Де Голль умер* и т. д. есть также инверсивный и экспрессивный вариант, параллельный варианту спокойно-описательному. Когда же вводится этот вариант? Очевидно, тогда, когда необходима быстрая реакция адресата сообщения и необычная форма высказывания должна привлечь его внимание. Таким образом, этот вид акцентного подчеркивания мы предлагали назвать «выделением экстренного введения в ситуацию».

Как же этот тип выделения связан с нормальным фразовым ударением, частым для глобальной ситуации? Во-первых, если высказывания такого типа признать инверсивными вариантами, то тогда они являются как бы симметричным отражением лексической и просодической структуры этих нерасчлененных высказываний, и акцент подчеркивания падает именно на то слово, которое в нерасчлененном высказывании находится в конце и отмечено, по интонационным нормам, нормальным фразовым ударением: *Бабушка спит — Спит бабушка*.

Категория глобальности бывает самым частым сопроводителем такого коммуникативного жанра, как описание. Следовательно, возникает идея некоторой поправки к принятой теории актуального членения: рема, как мы указывали, связана с неопределенным, новым именем и с фразовым нейтральным ударением не всегда, а в заданных коммуникативно текстах, в частности при описании, сообщении. В этом свете просодическая модель выделения в языке

оказывается более сложной и тонкой и более гибко реагирующей на коммуникативные установки говорящего. Этот вывод ведет к дальнейшим исследованиям, цель которых — установление корреляции между типом сообщения и его акцентно-просодическим оформлением.

3. Являются ли высказывания с акцентом «экстренного введения в ситуацию» сообщением или описанием? Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание еще на одну, на этот раз текстовую, особенность этих фраз: они не только выражают некоторое глобальное противопоставление ситуации, но и оказываются минимально связанными с предшествующим текстом — в такой же степени, как мало связывается с предшествующим развернутое описание с нейтральными фразовыми ударениями. Таким образом, *Смотри-те, гроза начинается* есть как бы сокращенное до минимума ситуативное описание.

Именно о связи подобных акцентологически «аномальных» предложений с комплексностью сообщаемого пишет Я. Фирбас: здесь сигнал «по своей природе независим от контекста. Скорее, он преподносит весь пучок новостей, как независимый контекст» [Firbas 1975].

Таким образом, существуют как бы синтактико-акцентологические варианты: *Бабушка спит* — ответ на вопрос *Что делает бабушка?* и *Бабушка спит!* — призыв к тишине. Необходимо при этом еще раз вернуться к нашей теме: акцентному выделению. Между тем во фразе *Бабушка спит* выделения нет; его и не должно быть по нашей концепции, так как оно не выходит за пределы описываемой ситуации и не выходит за пределы нормы.

Фраза *De Gaulle ist gestorben!* означает выход за пределы стабильности, она создает инвертированный вариант глобальности (которая сама по себе не обязательно воплощается в инвертированном ударном варианте), ударная фраза такого типа есть целое, глобальное, но экстраординарное сообщение. Экстраординарность, как известно, есть отход от нормы. В этом плане можно обратиться к приведенным примерам с частицами, относящимися к ситуации в целом и влекущими за собой акцентное выделение первого имени — *Что-то сон одолевает; Только улыбка у нее неприятная; Еще моя мать заболела* и пр.

Подобного рода конструкции представляют собой добавление частицы к инвертированной глобальной ситуации, входящей в некоторое понятие отклонения от нормы: *Что-то сон одолевает* вряд

ли будет сказано человеком, ложащимся спать в обычное для него ночное время. (Вообще сочетания местоимений с *-то* со словами-названиями эмоций имеют место тогда, когда описываемое состояние неадекватно ситуации: *С каким-то чувством грусти смотрел я на веселящуюся молодежь*, но **С каким-то состраданием смотрел я на умиравшего в муках больного*.) Фразы же типа *А еще девушек беретесь провожать; Вот пива не могу; Еще пальто я себе искал* — представляют собой инверсию более обычного типа с подчеркнутым инвертированным членом.

Так, глобальность как сквозную характеристику раскрывают не только показатели вида и времени, свойства обстоятельств и входящих частиц, порядок слов, но синтактико-акцентологические характеристики. Поэтому теория актуального членения должна, по-видимому, принципиально по-разному применяться к глобально-ситуационным и бифокальным высказываниям: искать рему в первых, даже при случаях экстренно-коммуникативной инвертированности, возможно, было бы излишне прямолинейно и схематично.

Список литературы

- Булыгина 1980 — Булыгина Т. В. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Гойдина 1979 — Гойдина В. В. Частицы *еще, уже, только (и только)* в составе обстоятельства времени // Лингвостилистические исследования научной речи. М., 1979.
- Иванов 1980 — Иванов Вяч. Вс. Структура гомеровских текстов, описывающих психические состояния // Структура текста. М., 1980.
- Ковтунова 1976 — Ковтунова И. И. Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Николаева 1980 — Николаева Т. М. «Событие» как категория текста и его грамматические характеристики // Структура текста. М., 1980.
- Николаева 1989 — Николаева Т. М. Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи-2. Л., 1989.
- Рассудова 1968 — Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.
- Русская грамматика-80 — Русская грамматика. Т. I—II. М.: АН СССР, 1980.
- Dahl 1974 — Dahl Ö. Topic-comment structure revisited // Topic and comment. Contextual boundness and focus. Papiere zur Textlinguistik. Bd. 6. Hamburg, 1974.

- Firbas 1975 — *Firbas J.* On «existence / appearance on the scene» in Functional sentence perspective // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica.* 1975. 1.
- Forsyth 1970 — *Forsyth J.* A grammar of aspect. Cambridge, 1970.
- Fuchs 1976 — *Fuchs A.* «Normaler» und «kontrastiver» Akzent // *Lingua.* V. 38. 1976. № 3—4.
- Galton 1976 — *Galton H.* The main functions of Slavic verbal aspect. Skopje, 1976.
- Hopper 1979 — *Hopper P. L.* Aspect and foregrounding in discourse // *Syntax and semantics.* V. 12. N. Y., 1979.
- Hupet 1975 — *Hupet M.* Definiteness and voice in the interpretation of active and passive sentences // *Quarterly journal of experimental psychology.* V. 27. 1975. № 2.
- Schmerling 1974 — *Schmerling S. F.* Re-examination of «normal stress» // *Language.* V. 50. 1974. № 2.
- Schmerling 1976 — *Schmerling S. F.* Aspects of English sentence stress. Austin; London, 1976.

ГРУБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НАЗОЙЛИВАЯ ЯЗЫКОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?

1

Выплеснувшаяся на телеэкраны и радио спонтанная речь людей самого разного образования продемонстрировала нам и режущие интеллигентное ухо неприятные ударения. С некоторыми из них нас приучали бороться с детства. *ЗвОнит* неправильно, нужно *звонИт* и т. д. А как смеялись над *нАчать* М. С. Горбачева, даже анекдоты сочиняли!

Но прилипчивая зараза начала расплзаться. Русский язык стал портиться? Но почему именно в этом направлении? Значит, ему хочется портиться.

Но почему?¹

Причины могут быть разнообразны:

- Говорящие мало слушали «правильно выражающихся» интеллигентных людей или просто равнодушно им не подражали (вспомним концепции нормы у Г. О. Винокура);
- За этими ошибками стоит какое-то ритмическое правило;
- За этими ошибками стоит какое-то перераспределение фонетики слова;
- Причины перераспределения ударения семантические;
- Причины этих ошибок лежат в как будто далекой от лингвистики области информатики.

Попробуем отобрать частотные слова (то есть не единично употребленные) и подумать над ними.

Отбираем 10 слов, самых обыденных по значению. Гласная неправильного ударения выделяется мной жирным шрифтом.

¹ О других, столь же очевидных и столь же объяснимых явлениях в современном русском языке мы здесь говорить не будем.

1. *Включить, отключить*
2. *Звонит, звонишь*
3. *Облегчить*
4. *Объяснить*
5. *Положить*
6. *Начать*
7. *Осужденный*
8. *Приведена*
9. *Принесена*
10. *Добры*

Отнесемся к каждому слову внимательно и проследим его кодификационный статус по трем словарям: 1) Русское литературное произношение и ударение. Под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. М., 1960; 2) Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1965; 3) М. А. Каленчук, Р. Ф. Касаткина. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

Посмотрим в них пометы при этих словах.

Словарь 1960 г.:

Включить — есть помета: не *включить*;

Звонить — есть помета не *звонишь*;

Облегчить — есть помета: не *облегчить*;

Объяснить — пометы нет;

Положить — есть помета: не *положил*;

Начать — есть помета в прош. вр. не *начала*;

Осужденный — пометы нет;

Приведенный — есть помета: не *приведенный*;

Принесенный — есть помета: не *принесенный*;

Добрый — дается два устойчивых сочетания с разными ударениями: *Они очень добры* и *Будьте добры*.

Таким образом, интересно, что, во-первых, большинство из выбранных нами слов уже в 1960 г. имеет специальные пометы, а во-вторых, то, что эти пометы иногда относятся к специальным формам, а не ко всей категории.

Словарь 1965 г.:

Включить — есть помета: неправ. *включенный*;

Звонить — есть помета: не рек. *звонит*;

Облегчить — есть помета: неправ. *облегчить*;

Объяснить — пометы нет;
Положить — пометы нет;
Начать — есть помета: неправ. *начавший, начала*;
Осужденный — пометы нет;
Приведенный — есть помета: неправ. *привéденный*;
Принесенный — есть помета: неправ. *принéсенный*;
Добрый — приводятся две формы: *дóбры* и *добрý*.

Словарь 1997 г.:

Включить — этого слова нет;
Звонить — этого слова нет;
Облегчить — с каноническим ударением, помета относится к консонантному кластеру;
Объяснить — помета относится к консонантному кластеру;
Положить — этого слова нет;
Начать — этого слова нет;
Осужденный — слово представлено без помет, в канонической форме, авторы обращают внимание на двойное [н];
Приведенный — этого слова нет;
Принесенный — этого слова нет;
Добрый — этого слова нет.

Таким образом, мы можем пока сделать два как будто противоречащих друг другу вывода.

1. Колебания в ударении многих из выбранных нами слов были отмечены еще почти полвека назад;

2. Для авторов недавнего Словаря трудностей «правильное» произношение, точнее, правильное ударение, казалось очевидным.

Обратимся к возможным причинам такого «неправильного ударения».

• Все эти слова не относятся к так называемым «динамически неустойчивым словам», к слабоударным и безударным словам, которые легко теряют свое ударение в потоке речи и о которых так замечательно написала Н. Н. Розанова работу, ставшую классической по сути и еще недостаточно — по признанию [Розанова 1973]. Однако в этой большой работе Н. Н. Розановой мелькает фраза, на которой хотелось бы остановиться. Так, «Слова в разговорном высказывании являются неоднородными по своей информативной значимости» [Там же: 19]. Но она пока пишет только о словах.

Еще раз возвращаясь к ее положениям, можно утверждать, что перечисленная нами десятка слов не является динамически неустой-

чивой и не зависит от ритма потока речи. Правда, я должна сделать одно личного характера замечание. Много лет назад я ехала в троллейбусе, и мой сосед просил передать деньги, все время повторяя: «Будьте дОбры, будьте дОбры». Я спросила его: «А как Вы скажете потом: «Спасибо, Вы так...». Он понял меня и легко ответил: «Спасибо, Вы так добры!». Недаром только одно это слово дается Р. И. Аванесовым в двух вариантах.

- Вся перечисленная мною десятка (а на самом деле таких слов гораздо больше) не относится к территориальным особенностям говорящих — они могут быть москвичами и не москвичами, занимать большую должность и маленькую. Пожалуй, они не бывают излишне интеллигентными. Но в любом случае эта мена ударения не подходит под те территориальные особенности разговорной фонетики, которые так подробно описаны О. Б. Сиротининой [Сиротинина 1974].

- Г. М. Богомазов пишет: «...место ударения в слове (словоформе) не зависит от субъективной воли говорящего» [Богомазов 2001: 70]. Но, может быть, дело обстоит сложнее. Разумеется, шлейхеровские представления о языке как почти живом и саморазвивающемся организме, действительно, сейчас кажутся слишком наивными, но, может быть, система все-таки на самом деле оказывает давление, и говорящий и волен, и не волен прислушаться к этому давлению.

- Именно такой гибкой точки зрения придерживается В. А. Воронцова, автор главы «Активные процессы в области ударения» [Воронцова 1996: 306]. Опираясь на процессы, в основе которых лежит антиномия узуса и возможностей языковой системы, Воронцова вводит интересное понятие «языковая совесть» — то есть ситуация, когда говорящий вполне уверен, что близкий слушающий его поймет, и только виртуальные толпы будут недовольны. Она связывает многие акцентологические процессы с реальной обстановкой 80—90-х годов, когда «Новые возможности публичного речеведения включили в этот круг множество людей, которые из-за недостаточных знаний литературных норм не отвергали ненормативную форму, принимали ее и, при отсутствии жесткого контроля, редактуры, обязательных в значительной степени для выступления в средствах массовой информации в условиях доперестроечного периода, факты употребления ошибочных форм, ошибочных ударений постоянно умножались» [Там же: 307].

Ценно то, что В. А. Воронцова прямо называет «медленно идущий» процесс: это перемещение ударения на корневую часть, особенно в глагольных формах. Среди множества приводимых ею пер-

сонально верифицированных примеров мы видим: *Включим эту кандидатуру, Включится в реформу, Микрофон включен; Договор заключен; Работа проведена; Вклад внесен; Углубить анализ* и т. д.

Замечательно то, что В. А. Воронцова говорит о новом ударении в формах *осужденный* и *возбужденный* и пишет далее: «Факт этот заслуживает внимания в связи с тем, что свидетельствует о “прорыве” еще одной цепочки в традиционной “языковой обороне”» [Воронцова 1996: 313]. Напоминаю, что этих слов (словоформ) нет в проанализированных выше трех словарях.

2

Но как охарактеризовать это явление, встав на позиции передаваемой через речь информации? Выделение через ударение, то есть акустически лучше всего воспринимаемую часть слова, корневого элемента, есть по сути выделение самой важной по смысловой значимости части слова. Это именно то, что в экспериментальной фонетике называется *recognition point*, то есть та распознаваемая часть слова, «конвой» которой уже не важен. От ударения освобождаются суффиксы, флексии, частицы вроде *-ся* и т. д. Тем самым становится возможной некоторая компрессия речи и — как следствие — стирание границ между словами. Но это, как уже говорилось, «процесс медленный».

В 1991 г. я писала о том, что эволюция языковой системы состоит в том, что увеличивается количество информации, передаваемой через язык в единицу времени [Николаева 1991]. Все явления, указанные выше, подтверждают это.

Забавно только то, что акцентологические процессы, имевшие место много сотен лет тому назад, воспринимаются как предмет самой серьезной и уважаемой науки, тогда как происходящие у нас на глазах изменения места ударения — как грубые и вульгарные ошибки.

Список литературы

- Богомазов 2001 — *Богомазов Г. М.* Современный русский литературный язык. Фонетика. М., 2001.
- Воронцова 1996 — *Воронцова В. А.* Активные процессы в области ударения // *Русский язык конца XX столетия (1985—1995)*. М., 1996.

- Николаева 1991 — *Николаева Т. М.* Диахрония или эволюция // *Вопр. языкознания*. 1991. № 2.
- Розанова 1973 — *Розанова Н. Н.* Суперсегментная фонетика // *Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика*. Жест. М., 1973.
- Сиротинина 1974 — *Сиротинина О. Б.* Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
- Словарь 1965 — Орфоэпический словарь русского языка Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1965.
- Словарь 1960 — Русское литературное произношение и ударение / Под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. М., 1960.
- Словарь 1997 — *Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф.* Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

«КОМПЕНСАЦИОННЫЙ» ЗАКОН А. М. ПЕШКОВСКОГО

Компенсационный закон, названный А. М. Пешковским «принципом замены», упоминается в большинстве его работ, относящихся к проблемам интонации [Пешковский 1956; 49—52; 1959; 1918]. Этот ставший общеизвестным принцип сводится к следующему тезису: языковые средства, служащие формальным способом выражения той или иной категории, могут разным образом комбинироваться, будучи распределенными в самом языке по степени эффективности выражения. А именно отсутствие в реальной речи одного из более действенных средств вызывает усиление того же формального качества в наличествующих остальных средствах выражения той же грамматической категории¹. Так, интонация и порядок слов суть вспомогательные средства, компенсирующие основные синтаксические средства (по Пешковскому, формы слов и служебные слова). Например, в приводимом ниже трехчленном ряду ударность слова «читал» возрастает: *Читал ли ты это?— Читал ты это?— Ты читал это?*

Исследование справедливости принципа замены в первую очередь требовало ясного осознания того, что же имел в виду А. М. Пешковский, говоря о компенсирующей роли интонации. При этом, как обычно при более детальном анализе внешне очевидных вещей, всплыли на поверхность некоторые довольно принципиальные неясности, не разрешимые до конца и при внимательном чтении высказываний А. М. Пешковского. А именно неясными оказались следующие вопросы.

I. Что понимал А. М. Пешковский под «интонацией»? Сопоставление терминологических его высказываний по этому поводу говорит о том, что это понятие употреблялось им в двойном смысле: а) интонация — это мелодика, т. е. движение основного тона на

¹ Иногда указанный принцип называют «принципом Пешковского—Макаева». Имеется в виду статья [Макаев 1956].

протяжении фразы. В этом смысле речь может идти о восходящей, нисходящей, обрывающейся и т. д. интонациях; б) интонация — это не только мелодика. Так, говоря об изменениях интонации, Пешковский говорит об усилении силы звука (интенсивность), о величине пауз, о ритме звучащего отрезка, о тембре и о темпе речи.

II. Что понимал А. М. Пешковский под словом «яркость», говоря о большей или меньшей «степени яркости» интонации в разных случаях? Ответить на этот вопрос оказалось очень сложно по следующим причинам. В русском языке слово «яркий» означает (в грубом приближении) две разные вещи: 1) *яркий* — говорят о более интенсивном качестве чего-то по сравнению с менее интенсивными признаками у предметов того же класса (*бледная зелень* — *яркая зелень*); 2) *яркий* говорят о выделяющемся объекте, не таком, как остальные. Так, яркие одежды противопоставляются неярким, уже безразлично какого цвета.

В первом значении антонимом будет *бледный, слабый*, во втором — *незаметный, стандартный, невыдающийся*.

В применении к характеристикам интонации эти два толкования, весьма близких на лексикографическом уровне, будут интерпретироваться уже совсем по-иному. А именно: при первом толковании более яркая интонация — это большая интенсивность, большой частотный диапазон, большая длительность и т. д. При втором толковании более яркая интонация — не такая, как обычно, резко отличная, например, не повышающаяся мелодика, а понижающаяся и т. д.

Что же имел в виду сам А. М. Пешковский? Как это ни парадоксально, оба толкования. Первое: «...утвердительные (по форме. — Т. Н.) предложения могут произноситься и вопросительно, но степень вопросительного повышения голоса должна в них быть тогда гораздо больше (разрядка А. М. Пешковского. — Т. Н.), чем в тех случаях, когда интонации помогает грамматика» [Пешковский 1959: 181].

Второе: «Когда мы произносим *Который час?* мы словами спрашиваем, а голосом как бы сообщаем. Наоборот, когда мы говорим *Он там был? Земля вращается вокруг Солнца?* — мы словами как бы сообщаем, а голосом спрашиваем» [Пешковский 1956: 50].

III. Каковы те «синтаксические значения», которые остаются инвариантными при слуховом восприятии в тех случаях, когда основные синтаксические средства отсутствуют, а интонация выполняет их функцию? Все ли служебные слова и союзы могут при опущении компенсироваться интонационными средствами или возможна ней-

трализация ранее различных синтаксических конструкций в одной интонационно-синтаксической структуре?

Если подходить к высказываниям А. М. Пешковского буквально, то, очевидно, все союзы могут компенсироваться интонацией. «Различные фразные интонации могут иметь совершенно те же значения, что и все прочие синтаксические признаки» [Пешковский 1918: 180] (разрядка моя. — Т. Н.), и далее — п. 5 — там, где говорится о замене союзов. Однако конкретные примеры, приводимые А. М. Пешковским для иллюстрации принципа замены, — это всегда вопросительные или условные предложения (*Если назвался груздем, то полезай в кузов* — *Назвался груздем — полезай в кузов*), т. е. предложения с достаточно четкими синтаксическими функциями, синтаксически простые.

IV. Непосредственно с этим связан следующий вопрос: сколько же, в понимании А. М. Пешковского, существует типов интонаций? На этот вопрос крайне затруднительно ответить. В книге «Русский синтаксис в научном освещении» Пешковский говорит (на протяжении всей книги) об очень большом числе (22 вида) интонаций, называя их разными терминами, но не говоря в каждом случае о тех фактических данных (акустико-физиологических или слуховых), которые бы дали основание считать каждый выделенный им тип интонации специфическим. В целом его концепцию по данному поводу обобщить трудно. С одной стороны, интонация, в понимании А. М. Пешковского, — это особая сторона речевой деятельности, которая «блуждает по поверхности языка», иногда сливаясь с его сегментными формами, образуя законченный речевой оборот. В этом смысле Пешковский сближается с С. И. Карцевским, прямо утверждавшим, что «интонация не имеет ничего общего с грамматикой» [Karcevskij 1931].

С другой стороны, если интонация компенсирует отсутствие союза или другого служебного слова, создавая эквивалентную по смыслу звучащую конструкцию, а союзы при этом определенным образом классифицированы, то не напрашивается ли вывод, что типы интонации а priori классифицированы согласно замещаемым синтаксическим конструкциям?

V. Есть ли разница между компенсацией чего-то и просто «большей выразительностью»? Если мы и докажем, что интонация бессоюзного предложения более ярка (в любом смысле), чем интонация союзного, то не может ли это просто означать, что бессоюзное предложение как таковое имеет иную интонацию, скажем, более подчерк-

нутую, чем союзное, но при этом нет никакой замены как средства выражения того же значения? В этом смысле характерно, что говорят о большей выразительности бессоюзных предложений как класса, противопоставляя его союзным предложениям в целом. Сам А. М. Пешковский пишет то о большей выразительности, то о замене, употребляя эти выражения синонимически; на самом же деле — это отнюдь не синонимы. Большая выразительность — понятие количественное; компенсирующая замена — не только количественное, но и качественное, требующее идентификации, проверки на тождественность. Несомненный интерес должна была вызвать проверка отдельных акустических компонентов интонации на компенсирующую синтаксическую функцию. В качестве основных компонентов, релевантных для такого изучения интонации, были приняты следующие величины.

1. Величина паузы. Исследовалась на границе между предложениями, составляющими союзное и соответственно бессоюзное предложение.

2. Темп речи. Исследовалась средняя продолжительность звука сопоставительно в частях, составляющих сложное предложение.

3. Мелодика фразы (интонация в узком смысле). Исследовалось движение основного тона в частях предложения (максимальная амплитуда колебаний в пределах одной тоновой единицы в *гц*).

4. Изменение интенсивности в тех же пределах (в *мм*).

В качестве объекта исследования были выбраны двусоставные сложные предложения русского языка. Такие сложные предложения, безусловно, должны входить в сферу действия компенсационного закона именно потому, что маркированный показатель синтаксических отношений — союз — может здесь отсутствовать или присутствовать, и, следовательно, принцип замены может проявляться в полной степени.

Были взяты предложения разных типов. Из академической грамматики русского языка [АГ-52—54: ч. II. Синтаксис] заимствовались (в несколько упрощенном виде) предложения представленных там типов, по одному на каждый тип. Затем союзы опускались. Например, предложение *Хотя уже темно, я все равно поеду* представало в виде *Уже темно, я все равно поеду*, предложение *Ясно, что ты ошибся* — в виде *Ясно, ты ошибся*. Полученные пары предложений (111 пар) читались тремя дикторами — носителями русского языка (дикторы Х и М — мужские голоса, диктор Н — женский). Перед опытом при-

меры были перемешаны. Цель опыта была известна диктору. Чтение записывалось на магнитофон, магнитофонная запись переводилась затем на осциллографическую. Эксперимент производился в 1964 и 1965 гг. в фонетической лаборатории ЛГУ им. А. А. Жданова. Осциллограммы обрабатывались и представлялись в графической записи согласно указаниям, приводимым в книге Л. В. Бондарко «Осциллографический анализ речи» [Бондарко 1965]. Для большей убедительности одни и те же фразы прочитывались и анализировались в двух вариантах: 1) с препозицией главного предложения и 2) с препозицией придаточного.

Таким образом, предполагалось получить ответ на следующие вопросы:

1. По-разному ли проявляют отдельные компоненты интонации компенсирующую способность интонации, отмеченную А. М. Пешковским?
2. Каковы по своему составу те примеры, в которых не проявляется действие компенсационного принципа (при условии если его действие не окажется абсолютным)?
3. Можно ли таким образом предсказать произнесение бессоюзного варианта союзного предложения?

Полученные результаты

Поскольку сопоставление действия компенсационного принципа рассматривалось для отдельных компонентов интонации, то полученные данные будут также описываться для каждого из параметров по отдельности в следующем порядке: данные паузы, данные темпа, данные мелодики и данные интенсивности.

Данные паузы

Средние величины пауз даются в бессоюзных и союзных предложениях в м/сек (с/с — союзное предложение, б/с — бессоюзное)

Диктор Х		Диктор М		Диктор Н		
с/с	б/с	с/с	б/с	с/с	б/с	
276	373	636	689	270	303	<i>препозиция придаточного</i>
242	340	357	488	342	364	<i>препозиция главного</i>

Как видно из приводимых данных, величина паузы в предложениях без союза у всех трех дикторов по обеим позициям больше величины паузы в союзных предложениях. Однако нужно заметить, что в процентном соотношении расхождение в величине паузы колеблется от значительного увеличения — до 35 % у диктора X (при препозиции придаточного) до увеличения на 6 % у диктора Н (препозиция главного).

Приведенные выше цифры отражают средние величины пауз в союзном и бессоюзном предложении. Существенно выяснить также количественное соотношение тех пар бессоюзного и союзного вариантов одного (лексически) предложения, где принцип замены соблюдается — пауза увеличивается, и тех случаев, где принцип замены не соблюдается — пауза не увеличивается или даже уменьшается. В процентном соотношении число примеров, в которых принцип замены соблюдается, оказалось следующим: у диктора X — 72 % рассмотренных пар, у диктора М — 73 %, у диктора Н — 78 %.

Таким образом, на основании обоих типов данных можно сделать вывод о том, что принцип замены, сформулированный А. М. Пешковским, для паузы соблюдается.

Данные темпа

При анализе второй временной просодической характеристики — темпа — вставал ряд трудностей методического характера. Прежде всего существенно было определить, что же в данном случае считать более яркой интонационной структурой. Вначале предполагалось, что более яркая характеристика означает больший разрыв между темпом первой и второй частей сложного предложения. Однако такой принцип явно не годился для предложений с равновесным темпом обеих частей, а таких предложений было довольно много. В конечном итоге считалось, что соблюдение принципа замены имеет место, если при опущении союза происходит компенсация длительности за счет удлинения какой-либо части отрезка, лишившегося союза. Естественно, что удлинение какой-либо части текста должно привести к увеличению средней продолжительности звука во всем отрезке. Поэтому был проведен сопоставительный подсчет средней продолжительности звука в части предложения с союзом и в той же части бессоюзного предложения — варианта союзного. При этом были получены следующие результаты: увели-

чение средней продолжительности звука (начиная от одной мсек) у диктора Х наблюдалось в 78% пар, у диктора М — в 75%, у диктора Н — в 74%.

Однако при учете средней продолжительности звука в отрезке, утратившем союз, появлялась опасность утраты объективного критерия за счет действия совершенно иной, не имеющей отношения к смыслу и синтаксису тенденции — так называемой тенденции к изохронности речевых тактов. А именно ликвидация союза ведет иногда к резкому изменению размера придаточного предложения, которое при этом становится значительно короче главного. Например, предложение *Несмотря на то, что я здесь, дела обстоят плохо* превращается в предложение *Я здесь, дела обстоят плохо*, где первая часть представлена всего шестью звуками. В таких случаях и начинает действовать тенденция к изохронности, к более или менее равному по времени звучанию отдельных синтагм в пределах одного высказывания — и короткий отрезок произносится медленнее при всех смысловых перестановках и комбинациях². Однако отчетливое выражение эта тенденция находит не при всяком уменьшении числа звуков в отрезке. В целом полученные нами данные полностью согласуются с экспериментальными данными И. Фонадя и К. Магдич, показавшими, что тенденция к изохронности (увеличение длительности при уменьшении числа слогов) функционирует не прямо пропорционально числу слогов, а по экспоненте ($y = a + be^{ax}$) [Fonagy, Magdics 1960]. Тенденция эта действует с уменьшающейся силой при многосложных отрезках, а наиболее яркое ее проявление — на отрезках из 2—3 слогов. Такие

² Об этом писал еще В. Н. Всеволодский-Гернгросс [Всеволодский-Гернгросс 1922], а также А. М. Пешковский, описывающий стремление произносить обособленные отрезки за одно время независимо от их величины (Русский синтаксис в научном освещении. XXII. Обособленные второстепенные члены). На конкретном материале эта гипотеза подтверждается авторами коллективного доклада о просодии и грамматике на IX Международном конгрессе лингвистов ([Quirk et al. 1964], см. также: [Daneš 1957]).

Эта тенденция одно время казалась как бы универсальным ключом, разрешающим закономерности темпа. Однако несомненно, что эта тенденция функционирует параллельно со смысловым распределением темпа в контрастно сопоставляемых синтагмах, то подчиняясь ему, то подчиняя его. Очевидно, отношения именно такого типа имел в виду А. М. Пешковский, говоря о том, что «интонация блуждает по поверхности языка».

случаи были специально рассмотрены. В целом и по отношению к темпу представлялось возможным говорить о соблюдении принципа замены.

Данные мелодики

При изучении мелодики сложного предложения в союзном и бессоюзном вариантах принимались во внимание две величины: движение основного тона в первой, неконечной, синтагме (т. е. то, что принято называть полукаденцией) и движение тона во второй, конечной, синтагме³. В обоих случаях учитывался частотный размах (в *гц*), а в первой синтагме существенным также являлся и тип движения основного тона (т. е. была возможна как нисходящая, так и восходящая мелодика), во второй же синтагме, завершающей, движение основного тона было нисходящим. Считалось, что принцип замены соблюдается, если частотный размах движения основного тона на разрешающем участке в бессоюзном предложении был больше, чем в той же синтагме союзного предложения. Например, если в предложении с союзом в неконечной синтагме отмечалось движение основного тона на участке от 120 до 150 *гц* (для мужского голоса), а в бессоюзном варианте того же предложения отмечалось на том же участке движение основного тона в диапазоне от 109 до 163 *гц*, то в случаях такого типа (в разном количественном решении) считалось, что принцип замены подтверждается.

Каково же общее число случаев, в которых частотный диапазон бессоюзного предложения больше, чем частотный диапазон того же отрезка в союзном предложении?

По нашим данным, принцип замены соблюдается:

у диктора X — 24 %,

у диктора М — 14 %,

у диктора Н — 12 % пар.

Таким образом, в данном случае говорить о соблюдении принципа замены не представляется возможным. Что же касается слуховых впечатлений противоположного характера, то он

³ Благодаря выбору минимальных по усложненности состава двучленных сложных предложений, в наших случаях первая и вторая синтагмы совпадали с первой и второй частями сложного предложения, что в принципе совсем не обязательно.

может объясняться комплексным восприятием текста, при котором значительная разница в паузе и длительности отрезка может создавать глобальное, нерасчлененное впечатление «увеличения всего», и стабильность мелодики может не улавливаться. Кроме того, восприятие людей — активных носителей языка (лингвистов) бывает психологически обусловленным не непосредственным восприятием просодического материала, а знанием системы языка. Эту особенность восприятия показал экспериментальным путем Ф. Либерман [Lieberman 1965].

Так как мелодика является центральной просодической характеристикой (недаром ее часто и называют интонацией), интересно будет в данном случае более подробно остановиться на тех случаях, в которых компенсационный принцип А. М. Пешковского не соблюдается. Такие предложения распадаются на два класса. Первый класс — это те примеры, в которых мелодика союзного и бессоюзно-го предложений полностью совпадает⁴.

Второй класс примеров — случаи, когда в союзном и бессоюзном вариантах одного предложения принципиально различная мелодика. Например, в союзном варианте — восходящая, в бессоюзном — нисходящая. В этом случае имеет место принципиально иная интерпретация отношений между частями, входящими в одно сложное предложение. Они воспринимаются (при нисходящей полукаденции) как два самостоятельных процесса, два параллельных события. С ликвидацией союза исчезает релятивная связь двух предложений. Например, предложение *Для того чтобы дочь училась, мы поселились в городе* (с мелодикой в первой синтагме от 209 до 375 гц, диктор Н) в бессоюзном варианте произносится с мелодикой 330—150 гц, т. е. общий рисунок меняется.

⁴ Существенно при этом заметить важную особенность, которая сама по себе является отнюдь не второстепенным фактом исследования. Часто отмечалось совпадение мелодического рисунка у предложений с придаточными разного синтаксического уровня — дополнительных, определительных, условных, уступительных и т. д. Создаются определенные мелодические фигуры с восходящей и нисходящей мелодикой, варьирующиеся от диктора к диктору, но не соответствующие распространенной презумпции о наличии для каждого синтаксического типа своего мелодического рисунка. Такие основные мелодические типы описаны Е. А. Брызгуновой [Брызгунова 1963], а ранее Г. М. Кузнецовой [Кузнецова 1960].

Данные интенсивности

Данными интенсивности служили амплитудные характеристики (в мм). При этом более дробно учитывались следующие показатели:

- 1) данные о наиболее интенсивном звуке в первой синтагме;
- 2) данные об интенсивности ударного звука (т. е. носителя синтагматического ударения) в первой синтагме;
- 3) данные об интенсивности наиболее интенсивного звука во второй синтагме.

По каждому из этих показателей в отдельности сопоставлялись данные союзного и бессоюзного вариантов одного предложения. Соблюдением закона А. М. Пешковского считалось увеличение интенсивности. Были получены следующие результаты. Закон Пешковского соблюдается:

- 1) по наиболее интенсивному звуку в первой синтагме:
 - у диктора Х — для 34 % предложений,
 - у диктора М — для 29 % предложений,
 - у диктора Н — для 25 % предложений;
- 2) по интенсивности ударного гласного в первой синтагме:
 - у диктора Х — для 40 % предложений,
 - у диктора М — для 25 % предложений,
 - у диктора Н — для 25 % предложений;
- 3) по наиболее интенсивному звуку во второй синтагме:
 - у диктора Х — для 29% предложений,
 - у диктора М — для 25% предложений,
 - у диктора Н — для 17% предложений.

В целом эти показатели значительно ниже временных показателей.

* * *

Таким образом, наши данные говорят о различном отношении отдельных показателей интонации к компенсационному принципу, выдвинутому А. М. Пешковским. Показатели паузы и темпа подтверждают этот тезис, показатели мелодики не подтверждают, показатели интенсивности в целом не подтверждают, располагаясь между временными и мелодическими характеристиками. Итак, можно наметить следующую нисходящую (по числу примеров, подтверж-

дающих этот тезис) линию просодических параметров: 1) временные характеристики, 2) силовые, 3) мелодические.

Разные компоненты интонации по-разному соответствуют или не соответствуют принципу замены А. М. Пешковского, а поскольку этот закон относится к соблюдению и компенсированию синтаксического смысла, то возможно продолжить эту мысль в следующем виде: целесообразно в связи с этим делать вывод о разном типе передачи смысла разными компонентами интонации.

Обсуждение полученных результатов

Вывод о разной реакции акустических параметров на ликвидацию служебного слова — союза — сам по себе (если это в дальнейшем подтвердится другими исследователями) может служить конечным результатом исследования. Однако выведение этой закономерности по существу ничего не объясняет в самом принципе замены, выдвигавшемся А. М. Пешковским не с акустических, а с грамматико-синтаксических позиций. Поэтому необходимо остановиться далее на ряде вопросов, более непосредственно связанных со смыслом:

1. Почему имеет место такое различие в реакции акустических компонентов интонации на ликвидацию союза?

2. Чем объясняется столь значительное (в самом лучшем случае — при анализе паузы до 30%) число отклонений от принципа замены?

3. Какие выводы дает исследованный материал о строгости соблюдения принципа замены в целом?

Остановимся на каждом из этих вопросов в отдельности.

Загадочный разноречивый в реакции отдельных компонентов интонации остается таковым, если не выходить за рамки чисто акустического анализа. Однако на более широком фоне — если рассматривать интонацию и ее компоненты прежде всего как смысловоразличители — возможно какое-то объяснение. Исследование функционирования темпа разными учеными и в разных странах привело к более или менее единодушному мнению о смысловом функционировании темпа: функция темпа есть различение важного / неважного в сообщаемом — синтагма, содержащая более важную часть сообщаемого,

произносится медленнее; синтагма, несущая менее важную часть сообщения, — быстрее⁵.

Для иллюстрации покажем различие в темпе обеих синтагм, составляющих сложное предложение, и обратим внимание на средние продолжительности звуков в синтагме в части, содержащей союз (рассматриваются только союзные предложения). Привлекаются данные диктора X (данные темпа приводятся в мсек).

Знак препинания (ЗП)	Препозиция союзной части		Постпозиция союзной части	
	темп до ЗП	темп после ЗП	темп до ЗП	темп после ЗП
,	64,04	79,4	73,16	68,76
—	70,3	71,8	72,26	64,55
:	57,3	62,3	72,32	67,3

Согласно приведенным данным, союзная часть есть носитель менее важной части сообщаемого (если правило о том, что менее важная часть сообщения произносится быстрее, обратимо). С ликвидацией же союза может происходить изменение в интерпретации смысловых отношений — в этом случае предложения становятся равновесными, или, напротив, более значительной представляется часть его, имевшая ранее союз. Тогда, очевидно, начинает «работать» принцип замены, и различие в средней продолжительности звука отрезка с союзом и того же отрезка, утратившего союз, становится ощутимым.

Сходные положения можно высказать и о паузе. Привлечем данные того же диктора (данные паузы приводятся в мсек).

Знак препинания	Препозиция союзной части	Постпозиция союзной части
,	27,6	25,1
—	318,9	278,8
:	550	420

⁵ Специально выяснению смысловой функции темпа посвящена экспериментальная работа М. Г. Кравченко [Кравченко 1960]. Об этой же функции темпа как основной пишет В. Н. Всеволодский-Гернгросс [Всеволодский-Гернгросс 1922] и др.

Очевидно, что величина паузы перед союзной частью меньше, чем величина паузы после союзной части: к центральному месту сообщения необходимо подготовиться! С ликвидацией союза менее важная часть сообщения перестает быть отмеченной столь очевидным образом, как наличие служебного слова, и происходит иное распределение частей по смыслу, о котором будет говориться ниже.

Что же касается данных мелодики, то ее смыслоразличительная функция обычно определяется как задача быть средством связи между отрезками звучащего текста, т. е. показывать, составляют ли отдельные синтагмы одно целое или они представляют два параллельных события. В последнем случае обычно фиксируется нисходящая мелодика неконечной синтагмы. Естественно, что такими не связанными смысловой связью параллельными частями может представляться скорее бессоюзное предложение, чем союзное (*Травка зеленеет, солнышко блестит*). В тех же случаях, когда обе части сложного предложения осознаются связанными, эту связь показывает одна и та же просодема как в бессоюзном, так и в союзном предложении (так сказать, «связаны — и ничего более!»).

Полученные нами данные в целом подтверждают принцип А. М. Пешковского, формулируемый как принцип замены. А именно можно сказать, что бессоюзные предложения имеют увеличенные (яркие) просодические характеристики по сравнению с соответствующими союзными предложениями.

В данную формулировку вносится уточнение — этот принцип распространяется только на временные просодические характеристики!

Однако этот вывод не говорит ни о чем, если рассматривать принцип Пешковского как принцип компенсации. Обратясь к аналогиям, почерпнутым из данных другого языкового уровня, полученные нами данные можно сопоставить с таким рядом фактов: известно, что в русском языке флексии множественного числа представлены большим числом звуков, чем флексии единственного числа (ср. *-а, -у, -о, -и, -е*, с другой стороны, — *-ов, -ами, -ах*). Таким образом, если продолжить аналогию, удлиненные флексии более выразительны (более отчетливы в речи). Однако утверждение того, что это количественное увеличение флексии компенсирует утрату единственного числа, было бы по меньшей мере странным.

Итак, если рассматривать принцип замены как принцип также и компенсации, то сказать о нем, судя по нашим данным, ничего нельзя, несмотря на проделанный эксперимент. Дело в том, что, как

указывалось выше, компенсация предполагает отождествление компенсируемого. В наших же данных и ряда других исследователей совпали мелодические рисунки предложений, синтаксически различных, с разными типами придаточного предложения, а также в ряде случаев интонация бессоюзных и союзных предложений. Таким образом, не оказалось возможным произвести отождествления одних и тех же структур, проверив лишь их количественное увеличение.

Как указывалось, цель эксперимента была неизвестна двум дикторам. Однако напоминаем, что предложения с союзом и без союза имели один и тот же лексический состав. Перед чтением все примеры несколько раз просматривались дикторами. Таким образом, некоторое отождествление, попарное осознание двух вариантов одного и того же предложения имело место. Требовать же от диктора обязательного «вкладывания» одного и того же содержания в оба текста было методически опасно по следующим причинам.

Сам А. М. Пешковский говорил о «точно таких же синтаксических значениях», которые могут компенсироваться интонацией. Однако анализ наших примеров, взятых с союзом и без союза, говорит о наличии некоторых синтаксических отношений, более «крупных», чем традиционно выделяемые типы сложноподчиненных предложений. Не случайно Пешковский, говоря о принципе замены как об универсальном принципе, обычно сам приводил примеры с ярко выраженным значением смысловой связи, остающимся и после ликвидации союза. На соблюдение или несоблюдение принципа замены, несомненно, оказывает влияние не только служебное слово (основное синтаксическое средство, по Пешковскому), но и лексический состав всего предложения в целом. Так, если сравнить, с одной стороны, предложения *Как мне говорили, отец ее уже умер* и *Если требовали обстоятельства — он был любезен* и, с другой стороны, предложения *Мы пошли домой, потому что пошел дождь* и *Он так покраснел, словно его уличили во лжи*, то очевидно, что опущение союза во второй группе коренным образом меняет смысл предложения, тогда как при ликвидации союза в первых двух предложениях этого не происходит. Из этого следует, что возможно по-новому поставить вопрос об экспериментальной проверке закона Пешковского, пойдя далее его автора и следуя его духу, а не букве, т. е. выявить сначала эти укрупненные смыслы, остающиеся инвариантными при опущении союза или другого формального показателя, и затем проверить интонацию полученных пар. Именно сохранения этих пока еще никак не определенных смысловых отношений необходимо тогда будет

требовать от диктора, идентифицировав их предварительно. Однако решение этих задач есть по существу выяснение всех основных проблем синтаксического функционирования просодических единиц.

Список литературы

- АГ-52—54 — Грамматика русского языка. Т. 1. М., 1952; Т. 2. М., 1954.
- Бондарко 1965 — *Бондарко А. В.* Осциллографический анализ речи. Л., 1965.
- Брызгунова 1963 — *Брызгунова Е. А.* Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.
- Всеволодский-Гернгросс 1922 — *Всеволодский-Гернгросс В. Н.* Теория русской речевой интонации. Пг., 1922.
- Кравченко 1960 — *Кравченко М. Г.* Соотношение длительности различных компонентов предложения и его роль в определении синтаксических и логических связей // Вопросы фонетики. Л., 1960.
- Кузнецова 1960 — *Кузнецова Г. М.* Мелодика простого повествовательного предложения в современном русском языке // Ученые записки ЛГУ. 1960. № 237. Вып. 40.
- Макаев 1956 — *Макаев Э. А.* К вопросу о соотношении фонетической и грамматической структуры в языке // Ученые записки 1 МГПИИЯ. Т. IX. 1956.
- Пешковский 1918 — *Пешковский А. М.* Знаки препинания и научная грамматика // *Пешковский А. М.* Школьная научная грамматика. М., 1918.
- Пешковский 1959 — *Пешковский А. М.* Интонация и грамматика // *Пешковский А. М.* Избранные труды. М., 1959.
- Daneš 1957 — *Daneš Fr.* Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha, 1957.
- Fonagy, Magdicz 1960 — *Fonagy I., Magdicz K.* Speed of utterance in phrases with different length // «Language and speech». 1960. V. 3.
- Karcevskij 1931 — *Karcevskij S. I.* La phonologie de la phrase // Travaux de cercle linguistique de Prague. IV. 1931.
- Lieberman 1965 — *Lieberman Ph.* On the acoustic basis of the perception of intonation by linguists // Word. V. 21. 1965. № 1.
- Quirk et al. 1964 — *Quirk R., Duckworth F. D., Svartvik J., Rusiecki J. P. L., Colin A. J.* Studies in the correspondence of prosodic to grammatical features in English // Proceedings of IX-th Congress of linguistics. 1964.

СХОДСТВО «СТЕРЕОТИПОВ» И СУПЕРСЕГМЕНТНЫХ ПРОСОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Мы уже не раз останавливались на том, что при сопоставлении примеров с акцентным выделением на английском, немецком, отчасти французском, и русском языках совпадают и место, и функция акцентных выделений — настолько, что этот факт кажется чем-то обыденным и тривиальным. Между тем над этим стоит и задуматься. Ведь система фразовой интонации в этих языках не совпадает, и это было описано многократно. Совпадение типов акцентного подчеркивания и совпадение выбранных этим подчеркиванием лексем наводит на мысль, высказанную раньше: что существует еще некий просодический слой, который как бы «шагает» через собственно интонационные различия, и передает он то, что, на наш взгляд, очень удачно, называет Ю. Д. Апресян «семантическими кварками». Длинные ряды подобных нетривиальных совпадений (а примеры взяты из разнообразных интонационных исследований) приводятся в нашей работе [Николаева 1989]; сейчас можно привести хотя бы несколько случаев.

1) Акцент «за недостатком» (default accent):

Has John read Slaughterhouse-5? — Петя читал «Плаху» Айтматова?
No, John doesn't read books. — Нет, он не читает романов.

2) Контраст — синтагматический и парадигматический:

Je n'ai pas dit qu'il aimait ça: il adore ça — Я бы не сказал, что он это любит: он это обожает.

3) Подтверждение сказанного выше:

— Why doesn't he sell those products? — А почему бы ему не продавать это?

— He sells them. — Он и продает это.

4) Анафорическое отождествление, связанное с категорией определенности / неопределенности:

This is the doctor I was telling you about. — Это врач, я вам о нем рассказывала.

5) Противопоставление ситуации глобальной и экстраординарной — ситуации нейтральной и ожидаемой: обнаруженное здесь совпадение уже 25 лет удивляет интонологов:

An accident happened! — Беда случилась!

De Gaulle ist gestorben! — Де Голль умер!

Paul geht! — Пауль идет!

Близка к этому и модель «торопливого пояснения»:

My mother's coming (Why you are in such a hurry?) — Мать моя приезжает (Что это Вы так спешите?)

My head aches (What's the matter?) — Голова заболела (Что с Вами?)

Прекращаем перечень, описанный только на треть.

Все интонологи сходятся сейчас и на том, что это акцентное подчеркивание («логическое ударение», prominence, акцентное выделение, АВ — по нашей терминологии; существуют и другие названия) является особым средством просодического уровня, не совпадающим ни с мелодико-тональным оформлением фразы, ни с так называемым фразовым ударением — интонационными каденциями и антикаденциями, демонстрирующими коммуникативный тип высказывания и являющимися для него чем-то вроде аналога флексии в слове. Экспериментальным образом доказано, что при передвижении «логического ударения» ударение фразовое продолжает выполнять свои функции, не меняя своей позиции — как правило, это зона последнего ударного слога в синтагме или высказывании.

Не-интонологи же считают, что акцентное выделение совпадает с фразовым, и достаточно равнодушны к убедительным доводам эксперименталистов. К настоящей идее эти внутрилингвистические расхождения не имеют отношения, и причины такого «упорства» не-интонологов мы разбирать подробно не будем. Хотя они выявляются довольно просто. Во-первых, сам термин «ударение» в словосочетании «фразовое ударение» наводит на мысль о чем-то «ударном», т. е. выделенном, тогда как для фразового ударения был бы более удачен термин вроде «интонома», «просодическая морфема» и под. Во-вторых, не совпадает семантика русского слова «фраза», т. е. «це-

лостное высказывание», и английского phrase, которое соответствует, скорее, синтагме, по Л. Щербе, или словосочетанию. В-третьих, не-эксперименталистам трудно отделаться психологически от картины интонации как некой «проволочки» или нити, которая находится над графически представленным высказыванием и по ней что-то передвигается. Представить интонацию многомерным пространством сложной автономной структуры не очень просто.

Однако это явление существует, смысл его понятен всем носителям языка и его восприятие не требует специальной подготовки.

Обратимся теперь к некоторому явлению, имя для которого, несмотря на уже ряд подготовленных и опубликованных работ, я найти так и не смогла. Речь идет об идиомах, клише, речевых штампах, речевых стереотипах, «крылатых словах», популярных цитатах и проч. В обобщающей монографии В. Н. Телия [Телия 1996] не все сказанное принимается в качестве объекта фразеологии. Если использовать ее классификацию, то мы будем говорить о Фразеологии 1 (изучает идиоматичность сочетаний слов), Фразеологии 3 (изучает клишированность речи), Фразеологии 5 (раздел паремиологии) и Фразеологии 6 (коллекционирует крылатые выражения, цитаты, афоризмы и т. д.) [Там же: 75].

Условно мы называем эту область речеупотребления употреблением **речевых стереотипов**.

Под **речевыми** стереотипами мы понимаем отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в контекст, представленный «свободными» компонентами высказывания (высказываниями).

Еще раз возвращаясь к вопросу о том, где граница между свободой/несвободой в селекции речевых фрагментов при речеворении, мы предлагаем обратиться к самому простому, но, на наш взгляд, доказательному критерию — критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно — говорящий употребляет этот фрагмент как **чужую речь** и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий. Поэтому и *Велика Федора да дура*, и *Счастливые часов не наблюдают*, и *Командовать парадом буду я*, и *Знаешь что, давай подробности!* равно продуцируются как кусочки чужого текста. Как правило, адресат воспринимает это адекватным образом. (Хотя при этом возможны два типа исключений: 1) реципиент воспринимает текст, отдаленный по времени, или текст, переведенный с другого языка, и не может «распознать» введенные чужие блоки; 2) реципиент принадлежит к иной социальной группе и тем самым функции чужого текста не выполняются.)

Только клишированными речениями (интересно, но не знаю, возможно ли сейчас понять, были ли они индивидуальными или распространенными) говорила Эллочка Щукина-людоедка. Это блестящая находка И. Ильфа и Е. Петрова и блестяще найдено ими слово: «людоедка», поскольку ее речь — это не речь homo sapiens'a.

Необходимо, однако, сказать, что именно пример Элочки Щукиной подводит еще к одной группе стереотипов, которую мы назвали **коммуникативными** стереотипами.

Разумеется, это название условное, его можно считать рабочим. Под употреблением коммуникативного стереотипа мы понимаем те случаи речеговорения, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты-клише. См. у современного философа Э. Канетти: «Человека можно опознать по часто им употребляемым определенным словосочетаниям» [Канетти 1997: 396]. Анализ таких стереотипов представлен в замечательной и очень актуальной статье Л. В. Кнориной [Кнорина 1989]. Она приводила там собранные ею коммуникативные стереотипы четырех индивидуумов-интеллектуалов. Это математик 38 лет, излюбленные обороты: *Я вижу, вас миллионы* (если в комнате более трех человек); *Такая мысль мне и в голову не забежала*; *Ему под хвост попала прогнозная вожжа*; *Дщерь моя укатила*; *Древний, черт знает какого года издания* (о предметах быта) и под.

Библиограф-женщина 42 года, обороты-штампы: *Пошла искать у моря погоды*; *Живыми не дадимся*; *Обижаете*; *У ти какая!*; *С вами все ясно* и т. д.

Математик 51 года: *Это другой Милославский*; *Кожей чувствую*; *Впадать в ступор*; *Она такая интеллигентная, что с нее капает*; *Молчит как рыба об лед*; *Сделать андайк* и др.

Студентка 18 лет: *Во глубине сибирских руд*; *Главное, ребята, сердцем не стареть*; *Похоже на то*; *Пятачок, чтоб не обидеть* и проч.

Интересно, что Л. В. Кнорина приводит набор «излюбленных оборотов» и у филолога-лингвистики: *Теперь ты знаешь все* (при завершении рассказа); *Не всякий вас, как я, поймет*; *Что бы это ни значило*; *И ничего, и ничего, и ничего*; *Замерз к чертовой матери* (об утраченной актуальности); *Об этом бы знали*; *Сольемся в экстазе*; *По-русски сказать* (при введении иностранного слова) и т. д. [Кнорина 1989: 118].

И все-таки понять внутренние потребности именно в коммуникативных стереотипах еще сложнее, поэтому далее ограничимся только общепонятными клише, **речевыми** стереотипами.

Несмотря на огромную литературу, посвященную речевым стереотипам, мы нигде не встретили ответа на самый простой вопрос:

А какова их функция? Зачем вообще люди их употребляют?

Очевидно, что их смысловая компактность и емкость берегут время говорящего и его умственные силы. Очевидно также, что авторы (включая и народное авторство) этих стереотипов бывают остроумны и точно подмечают суть явления (иначе эти стереотипы бы не выжили). Интересно также, что вселенная и человек отражаются ими неравномерно (см. [Телия 1996: 154—176]) и что загадка этой неравномерности как-то может быть решена.

И все-таки остается непонятным, какая сила заставляет людей вводить в свою речь подобные клише, выбирая такую «склеенную» речь вместо свободных конструкций. По нашей гипотезе, одна из причин возникновения клише-паремий — в том, чтобы не только объяснить мир, но и избавить человека от ощущения неплотно вокруг него сформированной социальной среды. См. у Э. Канетти: «...человеку страшнее всего прикосновение неизвестного. И только в массе человек может освободиться от страха перед прикосновением» [Канетти 1997: 18—19]. Именно эту функцию в широком смысле выполняют паремии, в особенности, конечно, пословицы. Пословицы направлены на человека и на его социализацию, в отличие от архаических загадок, направленных на объяснение мира. Но эту же функцию выполняют и так называемые «автонимические» загадки типа *От чего утка плавает?*; *Что находится в середине Парижа?* и под. Они возникают поздно и, как правило, загадываются в среде детей и подростков. Именно подобные загадки, маскирующиеся под шутки, часто служат средством унижения «непосвященных» детей и подростков. См. о сходном функционировании в коммуникации шуток вообще: «Следует особо отметить, что шутка подчиняется закону, который всегда направляет наше рассмотрение душевной жизни, а именно связь с чувством общности. И здесь мы видим стремление понизить ценность других» [Адлер 1995: 234].

Идея схождения подобного речеупотребления с употреблением средств просодического подчеркивания возникла у меня неоднократно, и дальнейший текст будет посвящен выявлению этого схождения.

1. Первая общая их черта — **необязательность употребления.**

А именно — говорящий может произнести речь достаточно длинную и не употребить ни разу ни одного «акцентного выделе-

ния». Это будет вполне самодостаточная нейтральная речь, снабженная всеми интонационными показателями. Быть может, только — при отсутствии АВ — она будет несколько более протяженной во времени. *Это был мой первый неудачный брак = И тогда я женился неудачно впервые; У него дача своя = У него своя собственная дача* и т. д.

Точно так же можно сказать: *Он с утра до вечера бьет баклуши = Он с утра до вечера бездельничает; Она из него веревки вьет = Он делает все, что она захочет; Сегодня праздник со слезами на глазах = Сегодня праздник очень печальный* и т. д.

То есть, иначе говоря, и в случае просодического выделения, и в случае употребления клишированного речения говорящий всегда может обойтись без этих языковых явлений, всегда подобрать нейтральный вариант.

Тогда возникает вопрос самый интересный, который мы пока оставляем, переходя к следующему пункту: а зачем вообще в коммуникации возникает потребность в таком употреблении?

2. Вторая общая черта — **возможность их существования только на фоне синтагматически нейтрального «остатка»**.

Представим себе, что высказывание произносится со всеми равно ярко подчеркнутыми словами. Так выкрикивают на митингах, так иногда читают поэты. Тогда слова будут звучать весомее, но нужного эффекта — возникновения всем понятного дополнительного смысла — не получится. Именно об этом свойстве поэтического языка писала И. И. Ковтунова [Ковтунова 1976]. Именно это свойство поэтической речи (как и ряд других ее просодических особенностей) подчеркивает возможность диахронической первичности стихотворной, а не прозаической строки.

Можно и говорить только клишированными речениями. Но тогда это не будет обычной человеческой коммуникацией, а будет языковой игрой. Так беседовали трактирщик и Пугачев в «Капитанской дочке». Так характеризуется речь Санчо Пансы, оруженосца Дон-Кихота. Именно этим ужасает речь Элочки Щукиной-людоедки: она говорила только клише, штампами, не чередуя их с обычными речевыми компонентами.

Итак, и акцентное выделение, и употребленный речевой штамп требуют для своей правильной интерпретации синтагматического контраста, соседства с нейтральными компонентами.

3. Третья общая черта — **они должны быть адекватно восприняты теми, к кому они адресованы**.

Акцентное выделение должно быть произнесено по правилам просодической модели именно этого языка: если произносить слишком громко, это будет звучать только странно, если произносить слишком тихо, нужный дополнительный смысл опять-таки сообщаться адресату не будет. (Я лично столкнулась с этим, читая лекцию финнам об изменении значения русского слова *один* в зависимости от места акцентного выделения в словосочетании. Оказалось, что мои примеры не были поняты, так как финны, хотя и русисты, не «слышали» этих акцентных выделений.) Наконец, необходимо учитывать, что акцентное выделение может иметь и национально-языковое типологическое различие, реализуясь по-разному в разных языковых интонационных системах. То есть акцентное выделение существует постольку, поскольку оно «слышится».

Это же нужно сказать и об употреблении клишированных речений, «чужого слова». Они живут также постольку, поскольку они известны носителям языка и могут быть верно поняты. Без этого они мертвы и странны. Поэтому нам не смешны, как правило, в чужой стране «их» юмористические передачи, построенные на злободневных цитатах, непонятны диалоги замкнутых эзотерических социумов. Зато при понимании источника «чужого слова» и верном ощущении этого инкрустированного чужого речения семантическая емкость коммуникации стремительно увеличивается. Например, по ТВ сообщается о первом выезде в «капстрану» генерала А. Лебедева с женой. Они летят в Париж и парижская индустрия прекрасного хочет их всячески фасцинировать. Реплика одной из смотрящих: «Ой, Сань, гляди, какие маечки!» — мгновенная реакция полного понимания.

А вот всем ли понятна фраза на капустнике по поводу юбилея «ефремовского» МХАТа, приписанная как бы Т. Дорониной: «*Враги сожгли родную мхату*»?

И, наверное, уже мало нашлось понимающих аллюзии заголовка в газете «*Над всей Италией безоблачное небо*».

Поэтому и слово, акцентно выделенное, и «чужое слово» должны быть восприняты именно в этом их статусе, иначе оба языковых приема утрачивают свой актуальный смысл.

4. Четвертая черта — самая главная, но сознательно нами в изложении отодвинутая. **Они должны сообщать дополнительный смысл** высказыванию. В этом состоит их основная функция в речепотреблении. Например, значение результата, значение оценки, значение контраста (часто почитающееся единственным), значение

‘а именно’. Например, «*Войну и мир*» я не читал — сообщение, «*Войну и мир*» я не читал — значит, читалось хотя бы что-то другое; *Я был там три раза* — неизвестно, это много или мало, *Я был там три раза* — говорящий считает, что это много. Очевидно, что семантика такого типа акцентных подчеркиваний связана и с понятием нормы, и самооценкой, и с характеристикой — когда говорящий невольно «выдает себя», вводя дополнительную строку.

Говорить о типах дополнительной семантики клишированных речений намного сложнее. Как уже указывалось выше, цель их, на наш взгляд, это социализация личности. Начальная функция паремий, безусловно, состояла именно в этом. Но, как известно, значимость паремий для социализации стирается, и эту функцию начинают выполнять вновь возникающие «чужие слова». В нашей совместной работе с И. А. Седаковой мы выделили четыре типа функционирования клишированных речений: 1) свое для своих, 2) чужое для своих, 3) свое для чужих, 4) чужое для чужих; там же приводились попытки описания высказываний этих четырех типов [Nikolayeva, Sedakova 1994]. Не отказываясь от предложенной там классификации, в настоящей работе сведем эти типы к двум: а) функция согласия и б) функция протеста.

В случае когда стереотип употребляется по принципу **согласия**, он выполняет функцию указания на то, что говорящий принадлежит к некоей социальной группе. «Я — ваш!» или «Я — из такой-то группы!» См. у С. Е. Никитиной о народной культуре: «Главное — это невыделенность личности из социума, обусловленная прежде всего традиционным образом жизни» [Никитина 1989: 35].

Именно поэтому так много общих стереотипов находят в языке молодежи (во всех странах обнаруживают так называемое молодежное арго), так как молодежь, до социального распада конкретных молодежных «стай», максимально конформна, особенно «тинэйджерская» ее часть. (Как представляется, о бунтарстве можно говорить только в том случае, если человек выступает против **своей** возрастной или социальной среды.)

Случаи употребления речевых стереотипов в функции неприятия, отталкивания, культурного протеста разделяются на несколько подвидов. Так, во-первых, говорящий употребляет клише буквально, но часто с некоторой особой «цитатной» интонацией, давая понять, что для него это ЧУЖОЕ.

Во-вторых, клише может быть трансформировано и тем самым модернизировано. Именно этот прием используется в современных

рекламах и особенно в заголовках газет. Например, *Тень Грозного меня остановила* («Московский комсомолец»); аллюзий, как видно, здесь множество: это и монолог Бориса Годунова, довольно мрачный, если можно так сказать, это и отношение к чеченской войне, так как Грозный — столица чеченцев, это и сообщение о прекращении огня.

Именно такая модернизация может служить средством более или менее мягкого протеста, иронии — собственно именно на этом приеме строились тексты телевизионной передачи «Куклы».

Одно и то же клише, вроде *Согласно пожеланиям трудящихся*, в речи, скажем, номенклатурных функционеров могло быть позитивно-нейтральным компонентом, а в речи демократической интеллигенции — стереотипом отталкивания, протеста. И сейчас по-разному будет восприниматься *Оттянись со вкусом!* в молодежной речи и в речи пожилой дамы — специалиста по русскому языку.

5. Поэтому для функционирования единиц в обоих случаях должен существовать некий обязательный для социума-адресата общий фонд знаний.

Как иначе можно оценить семантику акцентного выделения, если дополнительная сообщаемая смысловая строка «не доходит до аудитории»? Как можно воспринять многоярусную остроту газетного заголовка «*Крутые мэры*», если читательская аудитория не знает речения *крутые меры* и не слышала о современном употреблении слова *крутой*?

Разность общего культурного фона, как можно наблюдать теперь, уже разделяет поколения. Например (разговор филолога с молодым человеком-немосквичом тоже филологом): *А вот у нас у Никитских ворот дом Огарева, затем кинотеатр «Повторный», там лежали юнкера. Знаете: «И швырнула в священника обручальным кольцом»?* — Он: *А почему? Почему она швырнула?*

Отмеченные сходства не кажутся притянутыми за уши. Как представляется, в обоих случаях речь идет о существовании (формировании?) в речепотреблении совершенно особого слоя языковых средств, возможно и определено, гетерогенных, цель которых и их функция — сообщать адресату нечто дополнительное, нечто сверх того, о чем сообщает нейтральное высказывание. Точнее, нечто сверх того, что сообщает на денотативном уровне это же самое высказывание, если из него «вычесть» оба разобранных средства. То есть оба эти явления — в широком смысле **суперсегментны**.

В целом же существование широко понимаемого суперсегментного языкового слоя, основная функция которого — создавать до-

полнительные смыслы, семантическую ауру вокруг сообщаемого сегментными средствами, и служит, на наш взгляд, основному закону языковой эволюции, — **увеличению сообщаемой информации в единицу времени.**

Список литературы

- Адлер 1995 — Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.
- Канетти 1997 — Канетти Э. Массы и власть. М., 1997.
- Кнорина 1989 — Кнорина Л. В. Словоупотребление — компонента индивидуального стиля (на материале разговорной речи) // Язык и личность. М., 1989.
- Ковтунова 1976 — Ковтунова И. И. Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Никитина 1989 — Никитина С. Е. Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность. М., 1989.
- Николаева 1989 — Николаева Т. М. Фонетическая природа греческого и латинского ударения // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
- Телия 1996 — Телия В. Н. Русская фразеология. М., 1996.
- Nikolayeva, Sedakova 1994 — Nikolayeva T. M., Sedakova I. A. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études slaves. T. 66. Fasc. 3. Paris, 1994.

ПОНЯТИЕ «ВАЛОРИЗАЦИИ», ОППОЗИЦИИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО И МЕНТАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВИД РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Как выделить объект нашего интереса, изучая его в синтагматике? Считаем, что ответ на этот вопрос можно получить лишь после того, как мы введем некую классификацию стереотипов, более подробно объясняемую далее, с одной стороны, и эксплицируем исходные теоретические посылки автора — с другой.

А. **Классификация** предлагается следующая: стереотипы делятся на Речевые, Коммуникативные и Ментальные.

Б. **Основные посылки работы:**

1) и в языке, и в сознании старые модели не всегда исчезают, заменяясь более новыми; они сосуществуют с ними или «всплывают», более или менее очевидным образом;

2) распространенная несколько десятилетий назад «привычка» объяснять, называть и интерпретировать через собственно лингвистические термины и феномены факты иных гуманитарных областей не изжила себя, поскольку лингвистика до сих пор остается наиболее виртуозно разработанной таксономически гуманитарной наукой; более того, такой метод позволяет приблизиться к общей интерпретации явлений, связанных с человеком;

3) извлекаемый пласт «случайных» фактов речеупотребления желательно в исследовании минимизировать, предполагая, что зона случайного очень мала — просто велик диапазон от сознательного до бессознательного в речеворении;

4) в настоящее время лингвистам необходим опыт социальной психологии, в особенности — социально ориентированного поведения.

Под **речевыми** стереотипами мы понимаем отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в контекст, представленный «свободными» компонентами высказывания (высказываниями).

Еще раз возвращаясь к вопросу о том, где граница между свободой / несвободой в селекции речевых фрагментов при речеворении, мы предлагаем обратиться к самому простому, но, на наш взгляд, доказательному критерию — критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно — говорящий употребляет этот фрагмент как **чужую речь** и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий. Именно такой критерий применялся в наших работах о фонологизации словесного ударения — когда ударение квалифицировалось прежде всего как перцептивный, распознаваемый факт, т. е. ударение есть то, что воспринимается как ударение. Речевые стереотипы и их функции в тексте вообще могут быть сопоставлены с функционированием суперсегментных интонационных моделей, и это далеко не случайно.

Итак, речевые стереотипы вполне соответствуют более крупным или менее точно переданным фрагментам «чужого текста» в литературном произведении; именно этими компонентами так интересуются в последние десятилетия исследователи «интертекста» и деконструктивисты.

Дополнительная семантика речевых стереотипов возникает, по нашему мнению, лишь на фоне синтагматического контраста с не-стереотипизированной тканью текста. На особую семантику таких контрастирующих по стереотипизированности сочетаний обращал внимание Л. Витгенштейн: «Можно было бы представить себе, что некоторые работы, имеющие форму эмпирических предложений, затвердели бы и функционировали как каналы для незастывших, текучих эмпирических предложений; и что это отношение со временем менялось бы, то есть текучие предложения затвердевали бы, а застывшие становились текучими» [Витгенштейн 1994: 335].

Вторая группа стереотипов, по нашей классификации, — **коммуникативные** стереотипы.

Разумеется, это название условное, его можно считать рабочим. Под употреблением коммуникативного стереотипа мы понимаем те случаи речеворения, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты-клише. Сразу нужно сказать, что сюда относятся и так называемые «этикетные модели» — формулы вежливости, формулы поведения в разных социализированных ситуациях и под. Сюда же относятся и формулы делового языка, формульные клише конференций, заседаний, этикетных встреч и т. д. Однако, как кажется, они не так интересны для социолингвистического

анализа, хотя и много изучаются в последнее время. Более интересны те случаи, когда коммуникативные стереотипы индивидуальны. Так, индивидуальной была манера острить у героя рассказа Чехова, обращавшегося к уходящему гостю: «*Вы не имеете никакого римского права...*». Распознать коммуникативные индивидуальные клише не всегда легко — они могут совпадать с нестереотипизированными высказываниями: например, если человек встречает любое сообщение других об уходе словами: «*С какой целью?*» и адресат слышит это впервые. Они могут совпадать и с разобранными выше речевыми стереотипами. Релевантной является именно их **коммуникативная повторяемость**. Поэтому клишированные реплики А. А. Реформатского не были коммуникативными стереотипами, так как они каждый раз были неожиданными, варьировались, поэтому их употребление входило в сферу речевой игры, которая характерна для «речевых» стереотипов¹. Сходны по функционированию с коммуникативными стереотипами рассказы стариков, которые кажутся интересными свежему гостю и которые в тысячный раз слышат родные, рассказывание одних и тех же анекдотов, привычные для окружающих реплики в очередях былых лет, в транспорте и т. д. Эти привычные клише коммуникативного характера совсем в человеческом общении не безобидны, многолетние отношения могут, как это иногда наблюдается, распадаться потому, что коммуниканты (муж—жена, подруги и под.) не могут выйти за пределы обмена одними и теми же накопившимися за годы коммуникативными клише. В пьесах драматургов XX века это часто обыгрывается: см. реплики у Э. Ионеско, С. Беккета, Л. Петрушевской и др. Глубинное понимание таких индивидуализированных клише, вероятно, еще впереди. Безусловно, они служат и средством защиты от непредвиденных ситуаций, от «выяснения отношений», являясь в то же время и орудием упрощения коммуникативных коллизий. Именно поэтому коммуникативные клише часто бывают «поданы» как шутка, как привычная шутка, хотя функции таких шуток могут легко прочитываться как желание отгородиться от коммуниканта.

Третий вид стереотипов мы предлагаем называть **ментальными**, хотя, строго говоря, они реализуются (манифестируются) также

¹ См. о языке А. А. Реформатского большую подборку из двенадцати работ (Опыт описания языковой личности. А. А. Реформатский // Язык и личность. М., 1989).

на вербальном уровне². Именно введение подобного класса стереотипов можно считать наиболее дискуссионным положением настоящей работы. Для лучшего понимания того, что имеется в виду, приведем простые примеры манифестаций таких стереотипов. Довольно часто приходится слушать диалоги типа: «Как она растолстела! — А что, селедка лучше, что ли?»; «По-моему, зря этот указ приняли! — А Вы что, за коммунистов?». Многолетний опыт в восприятии подобных диалогов привел к выводу, что и к ментально-речевой структуре человека вполне можно приложить знаменитые типы оппозиций, введенные ранее Н. С. Трубецким первоначально для фонологических противопоставлений. Гипотеза состоит в том, что и человеческие реактивные структуры можно описать в терминах тех же оппозиций. То есть одни мыслят (или экстраполируют свои мысли) бинарными оппозициями, другие — градуальными. И в рамках бинарных (дуальных) различаются, согласно Н. С. Трубецкому, привативные и эквиолентные оппозиции. «Кто не с нами — тот против нас» — привативная. «Более или менее»-мышление — градуальная оппозиция. «Красные — Белые» — эквиолентная. Однако, эквиолентные, как правило, тяготеют к привативным (см. об этом в применении к литературному процессу: [Николаева 1995]). Разумеется, в соответствии все с теми же фонологическими теориями, для дуальных оппозиций выделяется маркированный член, определяемый маркирующим признаком. Поэтому один и тот же человек может оказаться и плохим, и хорошим, и «никаким», обыкновенным — в зависимости от того, к какой группе принадлежит говорящий. «Плохой» формируется по признаку — «А что в нем хорошего? Что он кому хорошего сделал?». «Хороший» характеризуется по признаку: «Очень хороший, порядочный человек! Никогда никому никакой гадости!». Очевидно,

² Очень показательным явился в этом отношении текст современного журналиста: «В чем конкретно проявляется этот стереотип? В том, например, что советский человек не привык сопоставлять доходы государства, из которых ему должны какие-то льготы, и свои собственные доходы <...> На этом стереотипе держится вся система перераспределения и все трудности реформирования.

Если все хотят получить положенное, но меньше дать, а человечество не придумало до сих пор никаких источников доходов государства, кроме как от нас, то откуда же оно возьмет? И вот здесь проблема языкового барьера (выделено нами. — Т. Н.) между властью и людьми становится ключевой» (Олег Витте, беседа с Л. Великановой, «Литературная газета», 16.VII.1997).

что в первом случае маркировано как обязательное благое действие, а во втором — действие негативное.

Нейтральная же характеристика, как можно судить по многим примерам, связывается с неким центром — понятием **нормы**. Именно отталкиваясь от этой нормы, люди рассматривают отклонения в ту или иную сторону: к плюсу или минусу. Это предложенное нами деление людей по принадлежности к ментальным стереотипам и сама классификация этих стереотипов кажутся одновременно и тривиальными и, напротив, чересчур смелыми. Тривиальными — потому что подобные диалоги слышатся беспрестанно и как будто все знают о существовании «норм»; смелыми — так как за этим просвечивает идея, что люди и мыслят, и воспринимают не одинаково — в зависимости от привычной перцептивной модели. Между тем это различие представляется очень важным для жизни современного общества, когда необходимо учитывать модель перцептивного типа у реципиента: для убеждения, перетягивания на свою сторону, разъяснения сложных ситуаций, рекламы и т. д. Иными словами, иллюкативный успех предполагает хорошую социоперцептивную ориентацию.

Таким образом, существенно не только увеличение **знаний**, увеличение **информации**, что, конечно, может изменить внутреннюю бинарную модель, но и предварительное ознакомление, с каким именно типом ментального стереотипа мы имеем дело в каждом конкретном случае — хотя бы путем простых наводящих вопросов.

Наиболее сложным является ответ на вопрос о том, обусловлены ли социолингвистические стереотипы ментальными и наоборот. Ответить на него, очевидно, можно только после разработки этой проблемы совместными усилиями целого ряда научных дисциплин, связанных с изучением человека вообще.

Однако в настоящей работе нам хочется предложить на обсуждение некую обобщенную модель речевой коммуникации, несомненно связанную с уровнем ментальной структуры (сейчас не обсуждаем, функцией чего это является — типа общей культуры, личных особенностей, социального окружения и т. д.). Совершенно условно эту модель можно назвать **моделью речевого поведения обывателя**. Отдельные фрагменты речевой культуры (речевого поведения) этого условного класса нами описывались в предыдущих публикациях, как правило предваряемых докладами; обсуждение их показало верность нащупываемых коммуникативных структур — во всяком случае, такова была реакция коллег-филологов. В настоящей работе

впервые предлагается обобщенное (в пределах наших данных) описание этой коммуникативной структуры; очевидно, что ряд излагаемых гипотез окажется дискуссионным.

Можно предположить, что речевое поведение описываемого типа является стереотипизированным в целом и, скорее, связано с дуальным устройством ментальных моделей.

Более того, многие положения лингвистического характера обобщаются в результате изучения «модели мира» в грамматике паремий, т. е. используются данные так называемого языка «традиционной народной культуры». Это и естественно, так как язык обывателя — это язык, как правило, неиндивидуализированный, основывающийся на чувстве социальной солидарности, плотно заполненного социального окружения. В качестве гипотезы предполагаем также, что эта модель, которую можно считать более «архаической», чем модель речевого поведения элитарной интеллигенции (при этом употребление «модных» новых словечек не меняет эту модель), в постепенно все более оттесняемом, но не уничтожающемся полностью виде сохраняется и у носителей элитарной культуры — так же, как и в суперсегментном просодическом слое по-синтагменная и по-словная модель произнесения не уничтожает до конца более древнее деление по слогам.

Напоминаем далее, что развитие языка и человеческой ментальности рассматривается нами в эволюционном плане, а в связи с данной темой — как движение от **дуальной** модели к **градуальной**.

Итак, как уже говорилось, дуально устроенная стереотипическая модель связана с маркированностью одного из членов оппозиции. В свою очередь, идея маркированности кажется неотъемлемо связанной с перцепцией, с порогом восприятия. Опять и опять возвращаясь к суперсегментному просодическому уровню, можем сказать, что именно так устроено восприятие ударения — то есть увеличение физических характеристик слога (высоты, длительности или интенсивности) достигает некоторого критического перцептивного порога, после чего данный слог воспринимается как ударный.

Легко видеть, что эти идеи связаны, в свою очередь, со знаменитым понятием валоризации, сформулированным Н. С. Трубецким и Р. Якобсоном по отношению к единицам фонологии. То есть «фонологизируется», становится единицей системы, а не фактом эмпирии, то, что валоризовано. А валоризуется то, что перцептивно маркировано, то есть часто — чисто количественно — превышает порог нейтрального немаркированного восприятия.

В применении к описываемой коммуникативной модели можно говорить о следующих наблюдаемых крупных категориях:

- 1) тенденции к «укрупнению» факта или события;
- 2) нелюбви к конкретному единичному факту;
- 3) нелюбви к точной информации.

Все три феномена тесно связаны между собой и — при внимательном рассмотрении — могут быть прогнозированы социолингвистически.

Рассмотрим каждую из описанных тенденций с позиций стереотипизированного лингвистического факта.

Тенденция к укрупнению факта или события

Данная тенденция, на наш взгляд, формируется тремя категориальными коммуникативными рядами. Условно предлагаем их называть: 1) мультипликацией, 2) разведением градуальных явлений по полюсам, 3) увеличением масштаба отдельного факта.

О *мультипликации* явления можно говорить, например, в следующих коммуникативных ситуациях. Это наблюдается, когда на самом деле имел место один-единственный факт, одно событие (или довольно редкое), но коммуникант его представляет в качестве совокупности однородных (и, возможно, регулярных) событий. Например, человека как-то видели в театре — *Вот Вы по театрам ходите, а я...; Я знаю, Вы на воздухе любите бывать* (коммуникант один раз выехал на дачу). Мультипликация сопровождается и формируется не только множественным числом имени, но и наречиями типа *всегда, все время, с утра до вечера, как ни посмотришь* и т. д. *Ты всегда недоволен; Она вечно жалуется; Как ни посмотришь — ты все в новом платье* и т. д. Как правило, мультипликации подобного рода вызывают раздражение или обиду, иногда сопровождаемую речевым отпором.

К мультипликации можно отнести и многократно описанное явление употребления множественного числа как альтернативы неопределенности: *Ну, я вижу, у вас гости* (сидит одно «гостевое» лицо); *Смотрите, она с кем-то в театре — до сих пор мужчины?; Ты там какие-то статьи пишешь, оскорбительные* и под.

Как показала жизнь, формы этого социолингвистического стереотипа могут и меняться — так, на глазах исчезает такой подвид мультипликации, как «разговор на «ОНИ»», вроде *Я был в изда-*

тельстве, они хотят мою книгу переиздать или Вы были в дирекции? — Да, они говорят, что со сборником ничего не выйдет. Разговор на «они» был очень характерен для 70—80-х годов; тогда одна известная лингвистка сказала, в частности, по этому поводу: «У нас» — это значит «У них», то есть тогда, когда полюса СВОИХ и ЧУЖИХ были максимально разведены.

Средства мультипликации широко используются и в языке газет и телевидения. Можно возразить, что эти, как будто бы современные, средства далеки от моделей традиционной паремийной культуры, но нельзя забывать, что это средства массовой информации, и тем самым ориентированы на нерасчлененную массу реципиентов — как и паремии. Например, такие заголовки характерны для газеты «Вечерняя Москва» — см. *В метро все чаще падают* (об одном случае, когда один непострадавший пьяный упал на рельсы), *На Ленинградском шоссе убивают* (об одном случае нападения, не окончившемся трагедией) и под.

При помощи мультипликации, которой в целом, как правило, присуща пейоративная окраска в описываемой модели, создаются и очевидным образом негативные образы, например, такой, который можно назвать «фантомообразным противником». Например, *В отличие от тех ученых, которые не уважают конкретные знания; Трудно было бы согласиться с теми, кто...* То есть «фантомообразный противник» во многих случаях отражает то, что в математике называется «пустым множеством».

Именно созданию мультиплицированного пустого множества служит, на наш взгляд, и такая речевая модель, когда не адресант, а адресат в ответ на какое-то конкретное обвинение или упрек отвечает: *А никто с Вами и не спорит; Да никто так и не считает; Никто Вас тут не оскорблял* и под., хотя бы в разговоре вообще было бы только два участника.

Мультипликация может рядиться и под похвалу или восхищение: *У вас всегда такие туалеты!* или *У него такие остроумные шутки, что...*, но, как правило, пейоративная окраска присутствует, хотя бы и в скрытом виде.

О разведении по градуальным полюсам говорилось выше вообще в связи с идеей ментальных стереотипов, ориентированных на дуальные оппозиции. Подобные речевые структуры можно регулярно слышать в толпе, ранее — в очереди, теперь — при обсуждении отношения к властям и/или к разным группировкам, когда обсуждающие каждый раз предлагают некий «крайний» вариант — *Ну, уж эти вас*

всех до единого Америке продадут. — А эти ваши всех, кто не чисто русский, в лагерь посадят и т. д.

Увеличение масштаба отдельного факта является, по нашим наблюдениям, одним из наиболее типичных явлений речевой коммуникации — и не только для протонародной речевой культуры.

Несомненно, это увеличение связано с валоризацией феномена и, тем самым, с порогом перцепции, для которого такое преувеличение оказывается необходимым.

Легко заметить, например, что если А и Б говорят о В, уехавшем, например, в командировку на несколько дней, и оба знают сроки, то часто приходится слышать: *Как, да он еще в Париже!* или *Он же в Париже!* или: *Не звоните ему, он сейчас в Париже*, или — *Как, Вы уже вернулись?* Иначе говоря, отсутствие, как правило, перцептивно затягивается. Именно так можно объяснить часто встречающуюся реакцию на смерть знакомого: *Как, да я позавчера еще с ним говорил!*; *Да он на днях мне звонил!* (то есть предполагается в модели, что умирание как самая важная вещь должно быть долгим, хотя все знают и априори, и на уровне эмпирических наблюдений, что умереть можно мгновенно).

Увеличивается также и различие возраста между мужем и женой, особенно если **она** старше. *Она гораздо старше его — лет на десять или больше*, — говорят в тех случаях, когда разница составляет лет пять-шесть.

Увеличивается возраст поздно родившей женщины: *Да ей уже под сорок было*, — говорят о родившей в тридцать пять. Вообще увеличивают возраст человека, но не абсолютно, а начиная с какого-то порога, примерно лет с семидесяти. Разумеется, от поколения к поколению этот возраст меняется. Лет тридцать назад говорили: *Ей за семьдесят*, а теперь говорят: *Да ей под сто!*

Можно подумать, что речь идет в основном о женщинах, но это преувеличение касается и мужчин — как при увеличении, так и при уменьшении — например, когда говорят о вундеркиндах и т. д.

Преувеличиваются и явления природы — например, жара (*Будет сильно за тридцать градусов!* — если объявляют «около тридцати») или мороз.

Сюда же относится и наблюдение Е. А. Земской о том, что если учительница, например, в очень мягкой форме сказала на родительском собрании, что ребенок X «не совсем внимателен иногда на уроках математики», то, придя домой, мать скажет что-нибудь вроде:

«Учительница тебя страшно ругала, ты, оказывается, ужасно невнимателен на математике» [Ермакова, Земская 1994].

Таким образом, мы подводим еще раз читателя к тому выводу, что нащупываемая нами обывательская модель не знает середины, не знает расположенной между плюсом и минусом нормы. Напомним, что идеи «золотой середины» у Горация — это ментальная установка элиты римской культуры в ее вершине.

В соответствии с этим в категорию укрупнения факта естественно должна входить и преувеличенная по коммуникативной частотности **оценка**. Как предполагает Э. Канетти, говоря о реакции на инфляцию, хотя бы компенсированную, «масса чувствует себя обесцененной, потому что обесценился миллион» [Канетти 1997: 203], то есть, иначе говоря, обыватель себя отождествляет где-то с чем-то большим. Предмет беседы часто не описывается, а оценивается, оценка является удобной коммуникативной реакцией (собственно говоря, описание в преувеличенных масштабах не всегда отличимо от оценки). Как отмечает М. В. Ляпон: «Специфику оценки по принципу “люблю — не люблю” усматривают в том, что она обладает параметром субъективной истины, не нуждается в мотивировке и не пользуется понятием нормы» [Ляпон 1989: 27]. Более того, можно наблюдать и доминирование оценки отрицательной, негативной. При этом ощущается, что обыватель как бы боится хвалить, боится не совпасть в похвале с собеседником, в то время как негативная оценка делает его восприятие как бы критическим и, как предполагается, более тонким. Тот же Э. Канетти вводит интересное наблюдение о «радости от негативного суждения»: «Лучше всего начать с явления, всем хорошо знакомого, — радости от негативного суждения. Не раз мы слышали суждения типа “плохая книга” или “плохая картина”; говорящий при этом делал многозначительную мину, будто высказал нечто содержательное. Форма высказывания обманчива, скоро в таких случаях происходит переход на личности, говорится “плохой писатель” или “плохой художник”, и звучит это совсем как “плохой человек”. Легко поймать знакомого, незнакомца, себя самого на таких фразах. Радость от негативного суждения очевидна» [Канетти 1997: 321]. Интересно, что именно такие выводы были сделаны еще в 30-е годы группой немецких ученых-телеологов, о которых говорилось выше (Херманн, Хаверс, Хорн). В этом отношении метким является формулировка о *Negationfreudigkeit des Volkes* («радости негативной оценки у простого народа»). Однако понятие «народ» явно у них не совпадает

с привычным русским словоупотреблением. По мнению телеологов, народ (*das Volk*) — это обозначение некой людской общности на примитивных ступенях развития, это и низовые слои у культурных народов (*als Volk gilt die Gesamtheit auf primitiven Stufen, die Unterschicht bei Kulturvölkern* [Havers 1931: 30]). Поэтому в одном смысле народ — это нация (древняя) или масса, простонародность — на позднем уровне.

Действительно, критиковать легче, чем созидать и, в сущности, основной миф индоевропейцев о борьбе антропоморфного героя с териоморфным противником можно в наши дни считать трансформировавшимся в противостояние: ЛИЧНОСТЬ — ТОЛПА.

Именно в свете замечаний Э. Канетти и «телеологов» интересны наблюдения Е. В. Какориной [Какорина 1996] над языком так называемой оппозиционной прессы. Стереотипов в этом языке больше, чем в официальном и нейтральном, и, как пишет Е. В. Какорина, «образный мир оппозиционной прессы несет в себе черты “эстетики безобразного”, в котором гипертрофирована область отрицательных оценочных номинаций» [Там же: 425]. К сходным выводам приходит и Л. П. Крысин [Крысин 1996], проанализировавший оценочный уровень современной обывательской массы, освободившейся от многолетнего страха и молчания: «...в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей <...> Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата — от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и обценной лексики» [Там же: 386]. Итак, тяготение к оценке — черта обывательская и неизбежно просторечная: «Наиболее общие признаки просторечия — это малая часть отвлеченной лексики и большое количество экспрессивных слов и оценочных словообразований» [Капаназе 1984: 29] (см. также о стереотипизированных штампах оценки в городской речи Урала в [Клычников 1990]).

Можно высказать также и гипотезу о том, что в широком аспекте именно эта обывательская тяга к укрупнению факта и, тем самым, к доведению его до того порога перцепции, когда факт воспринят, то есть валоризован, воплощается — уже на вербальном уровне — в некоторой особенности, отличающей речь обывателя, особенно поднятого судьбой на высокую должность.

Речь идет о явлении очень характерном, но, как кажется, еще никем не описанном, а именно о стремлении сделать слово более длинным и потому — как бы более весомым. Несомненно, что интеллектual выбирает более короткое слово в ниже приводимых парах, а обыватель — более длинное (часто удлинение вербальной единицы ограничивается хотя бы одним слогом).

См. такие пары: *Муж — супруг; Жена — супруга; Есть — кушать; Жить — проживать; Будьте добры — Будьте любезны; Учить язык — Изучать язык; Сообщать — информировать; Спать — отдыхать*³ и т. д.

Интересно то, что этому удлинению подлежат самые простые слова, передающие базовые жизненные понятия. Иначе говоря, обыватель интуитивно хочет повысить значимость таких базовых понятий, увеличивая объем эквивалентных им лексических единиц. Вероятно, прежде такую «удлиняющую» роль играло «слово -ерс» и другие добавки подобного типа. Интересно, что сходное явление было отмечено японской писательницей XI века Сей Сенагон («Записки у изголовья»), которая, будучи придворной дамой при дворе императора, заметила, что японские придворные стремятся увеличить простые слова, вставляя в них какие-то дополнительные элементы, и, по ее мнению, придают себе этим значимость.

Нелюбовь к конкретному единичному факту

В данном случае под конкретным единичным фактом понимаются лингвистически неидентичные явления. Во-первых, это тот вид неопределенности объекта, который в русском языке приблизительно соответствует неопределенному артиклю в артиклевых языках. Например, *Вчера в электричке одна женщина рассказывала...* Существенно, что при этом в общении фигурирует один феномен или некое неопределенное, но конкретное множество этих феноменов. Нелюбовь к такому единичному факту, как уже говорилось, характерна для газет массовой ориентации (особенно для заголовков), мгновенно преобразующих единичный факт в множественный (разумеется, это явление сопрягается и с мультипликацией). См. уже упоминавшийся заголовок «Вечерней Москвы»: *В метро все чаще падают* — об упавшем на рельсы и не пострадавшем пьяном. По-

³ В последнем случае речь идет, конечно, не только об удлинении выбираемой ритмической единицы, но и об эвфемистической перифразе.

добного рода конструкции нередко являются поводом для волнения масс, стихийного террора и проч. под лозунгом «*Наших убивают!*» (может одновременно быть и мультипликацией, и укрупнением факта!) и им подобным.

В текстах традиционной культуры также мы имеем дело не с единичным, но неопределенно обозначенным фактом, а с фактом генерализованным. *По горам по долам ходит шуба да кафтан* — это и вообще баран, и, так сказать, Первобаран, но никак не конкретный неизвестный баран. Разнообразные по экспериментальной установке трансформации статуса референции имени в русских паремиях (переводы на артиклевые языки, переводы с артиклевых языков, интерпретации разного рода) показали невыявленность (точнее, невыявляемость) референциального статуса имени в грамматике паремий, тяготение не к оси обобщенность—конкретность, а к оси обобщенность—неопределенность (см. об этом подробно [Николаева 1994]). Именные структуры в основном были выражены через квантор всеобщности, что, как известно по многим современным семантическим исследованиям, свидетельствует о том, что подобные структуры номинации неverifiedируемы в принципе и безразличны к конкретности действующего актанта.

Интересно отметить, что в русской традиционной культуре зло выражается в виде представителей низшей мифологии, описываемых, как правило, с *плюрализованными* показателями — русалки, лешие, домовые и т. д., но не уникальным понятием на грани имени собственного, вроде Вельзевула или Люцифера. В этом отношении можно вполне согласиться с Н. И. Толстым в том, что языческий Пантеон на Руси просуществовал недолго [Толстой 1987], но и объяснить это так, что боги Пантеона были уникальными, конкретными и единичными.

Таким образом, все описанные способы реализации обывательской (массовой) модели сводятся еще и к преференции в употреблении **категории неопределенности**, по развитости и по числу категориальных единиц превышающей в русском языке другой член оппозиции — категорию определенности. Об этом свойстве русской грамматики как о русской грамматической доминанте в последние годы писали немало, в том числе и автор этих строк.

Естественно, что описанные коммуникативные категоризации подводят к третьему признаку.

Нелюбовь к сообщению информации

Наблюдать это качество могли все представители более старшего возраста еще лет пять-шесть тому назад. Все эти *Там написано* или *Вы что, ценник не видите?* на самом деле не случайны. Приведем несколько примеров наших записей беседы обслуживающего с обслуживаемым в московских магазинах и учреждениях (необходимо уточнить, что записи были сделаны в конце 1989 — начале 1990 гг.)

1. Касса Малого театра. Середина февраля 1990 г.:
Х (кассирше). — *Вы уже продаете на март?*
Кассирша. — *А зачем? Смысл какой? Зачем на март продавать? Разве что в училище театральное? Ведь театр закрывается на ремонт с 23 февраля!* (Единственно необходимая информация в этом и следующих примерах нами подчеркивается. — Т. Н.)
2. Музей редкой книги в Библиотеке им. Ленина. Читатель здесь впервые.
Читатель. — *Где можно взять библиотечные требования?*
Библиограф. — *А там нет?*
Читатель. — *А где «там»?*
Библиограф. — *А где всегда лежали!*
Читатель. — *А я не знаю.*
Библиограф. — *В ящике у каталога всегда были.*
3. Химчистка.
Звонит телефон.
Х (звонящий). — *Это химчистка?*
Сотрудница. — *Обед!*
4. Аптека.
Х. — *У вас есть валокордин, и в какой упаковке?*
Фармацевт. — *Можете платить 30 копеек.*
Х. — *А это таблетки или жидкий?*
Фармацевт. — *Я же сказала, можете взять по тридцать копеек.*
5. Магазин «Гастроном».
Х. — *Спички — по две копейки коробок?*
Продавщица. — *И когда это было?*
6. Булочная. Обеденный перерыв.
Х. — *После обеда у вас будет сахар?*
Продавщица. — *У нас обед!*

Цель «обслуживающего» в подобных диалогах была показать покупателю, что, незнающий, он является социальным аутсайдером (а, как я говорила, быть таковым — это самое страшное в массовой культуре), что в ее руках — воспитание (через возможное унижение) такого аутайдера. Но и сообщать информацию не хотелось. Видно, как в настоящее время это нежелание отчаянно борется с требованиями «рыночной экономики» — когда, например, в дорого оплачиваемых рекламах или рекламирующих заметках в газетах все-таки не сообщается адрес (например, рекламируемого парикмахера, врача), не сообщается имя, в кафе не вывешиваются цены на улице, как в других странах, и т. д.

В разговорах частного характера нередко информация, то есть чисто денотативный феномен (видимо, обсуждение бывает на денотативном уровне затруднено), переводится в другие коммуникативные планы. Например, обсуждение информации переводится в план эмоциональный: говорящий спокойно сообщает нечто, а в ответ слышит: *«Ну, не стоит так волноваться по этому поводу»*. Чаще всего стараются подвергнуть сомнению источник информации: *«X сказал, что... — Да все врет, небось и т. д.* (хотя в принципе этот X никогда не имел репутации лгуна).

Таким образом, вырисовывается некая стереотипизированная модель, в которой происходит **вытеснение конкретной информации, царит неопределенность, явления мультиплицируются, а конкретный факт, для того чтобы быть отмеченным (валоризованным), должен быть сильно укрупнен.**

Какому же социальному классу соответствует эта валоризованная модель речеупотребления? Мы говорили об «обывателях» как о некоем обобщенном классе; думается, что она помещена также внутри каждого из нас, но образование и четкость разума помогают ее вытеснить. Возможно — но это уже вопрос для социопсихолога, — именно эта модель как-то сводится к феномену так называемого коллективного бессознательного.

Список литературы

- Витгенштейн 1994 — *Витгенштейн А.* Философские работы. М., 1994. Ч. 1.
Ермакова, Земская 1994 — *Ермакова О. П., Земская Е. А.* К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного рус-

- ского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
- Какорина 1996 — *Какорина Е. В.* Трансформации лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.
- Канетти 1997 — *Канетти Э.* Массы и власть. М., 1997.
- Капанадзе 1984 — *Капанадзе Л. А.* Современное городское просторечие и литературный язык // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.
- Клычников 1990 — *Клычников Н. Н.* Фразеологизированные оценочные конструкции разговорного типа (структурно-семантический анализ) // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990.
- Крысин 1996 — *Крысин А. П.* Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.
- Ляпон 1989 — *Ляпон М. В.* Оценочная ситуация и словесное само моделирование // Язык и личность. М., 1989.
- Николаева 1994 — *Николаева Т. М.* Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст. М., 1994.
- Николаева 1995 — *Николаева Т. М.* Просодия Балкан. М., 1996.
- Толстой 1987 — *Толстой Н. И.* Христианизация как фактор усложнения структуры древнеславянской духовной культуры // Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси: Сб. текстов. М., 1987.

ИНТОНАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ИНТОНАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ

1. Уровни типологического сопоставления фразовой интонации

Типологическое направление в языкознании в том виде, в каком оно существует в настоящее время, может, как представляется, быть сведено к трем кругам поисков, не исключающих, а, напротив, дополняющих друг друга. Это — поиски универсалий, поиски типа и поиски индивидуально-специфических особенностей.

При работе над теоретической программой типологического исследования славянских языков было отмечено, что тщательно выполненные и единообразные описания отдельных языковых систем явятся надежной базой для общетипологических результатов (см. [Бурлакова и др. 1962]). Однако установки типологические и установки на описание отдельного языка переплетены между собой изначально таким образом, что начать то или иное исследование, соблюдая все требования верности теоретическим посылкам, оказывается практически невозможным.

Под универсалиями тоже понимаются вещи далеко не однородные.

Универсалиями в современном понимании считаются как элементы соотношения плана содержания и плана выражения, так и узкие, не поддающиеся содержательной интерпретации закономерности плана выражения ([Гринберг, Осгуд, Дженкинс 1970]; см. также [Успенский 1965: 182—222]). Для направления поиска универсалий оказывается ценным, что «языки как бы созданы по единому образцу».

Поиски типа языковой структуры обращены в сторону большей индивидуализации — «единый» образец распадается на некоторое число моделей, через которые описываются отдельные языки,

причем в принципе допустимо, чтобы один и тот же язык входил, по разным основаниям, в различные типы¹. Строго говоря, тип — это не только не конкретный язык, рассмотренный в качестве эталона, но и не класс языков, а некоторое идеальное и вовсе не обязательно представленное во всех своих проявлениях соотношение определенных лингвистических свойств, взятых в их совокупности².

Третье направление поиска — поиски индивидуально-специфических особенностей — как будто бы было всегда целью лингвистического описания. Однако речь идет о том индивидуальном описании, при котором всегда присутствует — явно или в сознании исследователя — установка на такое представление языка, когда в центре внимания оказывается не полное, монографическое описание, а выявление именно специфики данного языка (обычно эта специфика понимается как отличие от некоторого общего «ядра», характеризующего группу родственных языков или языковую совокупность).

Объект нашего исследования — замкнутая и перечислимая группа славянских языков. На этом материале естественным образом получают все три группы данных — универсалии, типы (пусть нигде не представленные в чистом виде) и, наконец, индивидуальные особенности каждого языка. Для этого каждый язык должен быть сопоставлен с набором данных-вопросов, которые оказываются типологически значимыми.

Конкретное изучение фразовой интонации близкородственных языков привело нас к выводу, что сопоставление интонологических данных не может (в той степени, в какой речь идет о системах интонации) производиться по одному какому-нибудь критерию, как, например, различаются консонантные и вокалические языки, но должно быть ответом на перечень вопросов, причем последовательность элементов перечня иерархически упорядочена. Таким образом, этот перечень есть иерархия уровней типологического анализа при сопоставлении фразовой интонации.

Как показывают конкретные результаты, движение с более высокого уровня на более низкий удовлетворяет тем изменяющимся требованиям, которые возникают при переходе от более далеких генетически членов одной языковой семьи к близкородственным языкам.

¹ О принципиальной типологической гетерогенности одного языка см. [Uspensky 1972].

² В этом понимании типа языка мы солидаризируемся с позицией П. Сгалла [Sgall 1971].

1. Первым типологическим уровнем можно считать языковое различие по месту интонации в различении функциональных типов предложения³. Это различие, безусловно, связано со строевой структурой предложения в данном языке. Так, например, русский язык допускает, по-видимому, максимальное различие, и поэтому функциональная нагрузка интонации в нем очень велика. Например, предложение *Он был здесь* допускает как повествовательное, так восклицательное и вопросительное прочтение (причем с разными вопросительными центрами — *Он был здесь?* — *Он был здесь?* — *Он был здесь?*). Употребление в других языках частиц при неместоименном вопросе (*czy* — польское, *чи* — украинское, *щ* — белорусское, *дали* — болгарское и др.) снижает различительные возможности интонации. Это направление — сопоставление функции интонации в языке — в первую очередь занимается структурированием лексико-грамматического состава предложения, рассматриваемого с совершенно новой для синтаксиса точки зрения, а именно: классификации состава предложения по тем различительным возможностям, которые он представляет интонации (см. пример Е. А. Брызгуновой — *Вы были на Волге* и ограничивающее *когда-нибудь: Вы были когда-нибудь на Волге?*).

2. Второй уровень, в нашем понимании, — это сопоставление интонационных систем, рассматриваемых на содержательном уровне. Выше говорилось о том, что интонымы есть знаки, передающие определенные единицы смысла. Именно эта совокупность смысловых единиц и есть система содержательных категорий интонационного уровня, аналогичная, например, категориям падежа, числа, уменьшительности, вида — на морфемном уровне. Выявление содержательных категорий в их неразрывной связи с выражающими их формальными единицами и есть, на наш взгляд, основная, и конечная, задача описания интонационной системы каждого языка. Однако реально эта система пока не описана ни для одного языка. Кроме того, весьма возможно, что полученные системы содержательных категорий оказались бы крайне близкими для языков разных групп — в той степени, в какой большинству языков присуща, например, категория глагольного времени, организованная определенным образом⁴.

³ Первыми в этой области являются работы Е. А. Брызгуновой, а также работы, выполненные под ее руководством [Брызгунова 1967; 1971].

⁴ Сообщая конкретные сведения, мы сознательно придерживаемся данных славянских языков. Другие языки будут привлекаться только в иллюстративных

К сфере различения системных смысловых отношений относятся два важных вопроса славянской фразовой интонации: 1) различение интонации незавершенности (в неконечной синтагме) и интонации чисто вопросительной, т. е. различение полукаденции и антикаденции, 2) совпадение движения тона в вопросительном предложении с вопросительным словом с движением тона в повествовательном предложении или в вопросительном предложении без вопросительного слова.

Противопоставление антикаденции и полукаденции представлено в славянских языках по-разному. В противоположность немецкому языку с очень четким различием этих двух интонационных фигур (см. об этом [Светозарова 1970]), о каждом славянском языке можно говорить в этом плане с определенными оговорками.

3. Различение систем интонации и различение степени ее функциональной нагрузки относятся к содержательной стороне сопоставления интонационных уровней. Для сопоставления существенны также и формальные средства. Не случайно Ф. Данеш подчеркивал (и в этом мы полностью с ним солидаризуемся), что при исследовании интонации одного языка центр внимания интонолога обычно направлен на функциональные отличия, при типологическом же исследовании прежде всего существенно сопоставление формальных средств. Именно эти формальные средства, описанные на «фонетическом» уровне, явятся базой для генетических и ареальных сопоставлений, это фонетический «инвентарь» интонационных средств (см. [Wodarz 1960]).

Хотя интонация понимается как комплексное явление, методический подход к трем параметрам, формирующим языковую специфику просодии, в принципе, очевидно, различен. Так, при описании мелодических характеристик различаются количественный и качественный методы. Количественный метод предполагает сопоставление диапазона возможных частотных модуляций для данного языка в его обычной речи. В частности, наиболее широкий диапазон отмечается для русского языка, резко отличающегося по этому свойству от других славянских языков. При изучении же акцентных характеристик существенную роль приобретает именно количественный фактор⁵.

целях, иначе пестрота приводимых языковых данных затемняла бы картину типологического исследования, намеченную именно для родственных языков.

⁵ Сложность организации акцентных данных в виде рядов дискретных единиц отмечал П. С. Кузнецов, подчеркивая различие в музыкальной нотации для

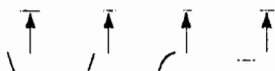
Качественный подход к мелодике предполагает формальное сопоставление смысловозначительных мелодических фигур — каденций (т. е. конклюдивной каденции, антикаденции и полукаденции). В состав такой мелодической фигуры обычно вводят три компонента — высотное положение ударного слога, высотное положение предударных слогов, высотное положение заударных слогов. По реальному числу слогов эта трехэлементная модель может быть как угодно велика: это зависит от величины заударной части, где часто тип мелодической фигуры находит свое разрешение в абсолютно конечном слоге заударной части. Для определения некоторых специфических мелодических характеристик речи бывает важна и значительная часть предударных слогов. При отсутствии заударной или предударной частей некоторые мелодические фигуры могут совпасть, так как создаются условия для их нейтрализации. Список всех мелодических фигур указанного типа явится перечнем-инвентарем славянских фразовых каденций. Многие типы каденций, как показывают конкретные описания, по всем славянским языкам совпадают, а именно — большинство зафиксированных каденций есть в каждом славянском языке.

Однако степень существенности тех или иных признаков для формирования типа каденции тоже произвольна и часто определяется эмпирическими данными. (Необходимо помнить, что при всей объективности анализа данных набор типологических признаков всегда в известной степени произволен и определяется исследователем.)

Обратимся, например, к тому виду восходящей мелодики, когда заударный слог располагается выше ударного. Уже на этом уровне более абстрактной констатации наличие такого типа является типологически характеризующим: например, он не характерен для русского и белорусского языков; в словацком языке заударный слог расположен на одном уровне с ударным и т. д.

Однако если ввести дополнительное понятие типа движения тона в этом высоком заударном слоге, то мы получим четыре типа каденции, каждый из которых отличает отдельный славянский язык (т. е. в этом случае мы имеем дело с явлением «языкового алломорфизма»).

мелодики и интенсивности: расчлененные указания в виде гаммы при мелодических характеристиках и неопределенные типа *forte*, *piano* — при указаниях силы звука [Кузнецов 1966: 105].



Этот тип восходящей мелодики предстает в виде следующих аллофигур:

Как известно из соответствующих описаний, первый тип характеризует чешский язык [Daneš 1957: 48—49], второй — польский [Jassem 1962: 56—60], третий — словенский язык [Wodarz 1963: 181], четвертый — ляхские говоры. Это различие четко осознается — так, резкое повышение в заударном слоге воспринимается как полонизм в чешском и словацком языках [Uhlár 1958: 335]. Отвлекаясь от славянского материала, можем напомнить, что именно это различие в типе движения заударного слога при восходящей мелодике разделяет интонационные системы столь близких языковых структур, как американский и британский английский [Шахбагова 1970].

Таким образом, на фонетическом уровне каждый каденционный тип представлен рядом подтипов (выше мы говорили о виде движения в заударном слоге, но это же можно сказать об ударных и предударных слогах).

После составления такого максимального набора форм мы предлагаем на этом уровне сопоставления (третьем по счету и первом — по анализу формальных средств) выявить типы форм, присущие только одному языку и отсутствующие в других, т. е. определить формы, представляющие языковые раритеты, не переводимые друг в друга даже с учетом алломорфизма. Так, например, многие формы французской интонации, приводимые П. Делаттром [Delattre 1970], вполне — с определенной перекодировкой — соответствуют русским, но формы *echo* в русской системе нет. Р. Лид считает несуществующей в английском языке характерную русскую фигуру восходящей мелодики с падающей заударной частью [Leed 1965] и т. д. Итак, на этом уровне речь идет не о несовпадении функций, не о несовпадении фигур в их распределении по смысловым оппозициям, а о простой языковой исключительности формы одного языка, неизвестной другим языкам.

Как и можно предположить, таких форм в славянском инвентаре немного. Например, к ним принадлежит тип конклюдивной каденции с подъемом на ударном слоге, он не существует в русском языке. Далее, только для украинского, сербского и македонского языков нами была отмечена особая форма восходящей мелодики с восхо-

дяще-нисходящими заударными (в сербском языке она реализуется после долгого нисходящего акцента).

Особое место занимают диалектные разновидности, например, «пльзенское пение» [Jančák 1966], вршовицкая мелодия [Skoumál 1970] и т. д. Для русского языка, в частности, известны факты певучего подъема на последнем слоге конклюдивной каденции в северных говорах. Для их исследования нами был прослушан материал, собранный в лаборатории экспериментальной фонетики ИРЯ РАН⁶. Материал не интонографировался; однако слуховой анализ показал следующие особенности этого произносительного типа: 1) конечное повышение встречается далеко не всегда даже в речи одного диктора, а возникает в потоке высказываний внезапно после целого ряда «обычных» терминальных исходов и, вероятно, выполняет какую-то сложную тексто-терминальную нагрузку; 2) конечное повышение представлено на последнем, не обязательно ударном слоге, так что ударный слог (если он неконечный) в этих случаях осуществляет понижение тона; 3) если же ударный слог — конечный, то, как казалось на слух, на нем происходит нисходяще-восходящий перелом тона.

Итак, при выявлении интонационных раритетов необходим иерархический подход к материалу⁷. Даже без детального разбора типа движения тона в восходящем заударном можно сразу сказать, что славянские языки условно делятся на две группы: 1) языки, где существенно движение заударного (польский, словенский, чешский), и 2) языки, где существенно движение ударного (русский, болгарский, македонский, белорусский, сербский)⁸. Остальные славянские языки промежуточны. Конечновосходящие языки — западные. Параллелей с языками южнославянскими на этом уровне нет. Исходя из этого можно высказать гипотезу об относительно позднем становлении интонационных стереотипов. Косвенные данные об изменении порядка слов в русском языке и русской разговорной речи

⁶ Были прослушаны записи, сделанные в Архангельской и Вологодской обл. (всего шесть дикторов). Отмечались конечные повышения типа *Это хорошо; ...развесят к ушатú; Не могу прогнать никак; В лесу эти бараки* и т. п.

⁷ На таком сопоставлении настаивает также М. Ромпорта в своих статьях о типологии интонационных систем [Romportl 1965; 1957].

⁸ Сказанное выше не отменяет существование каденции как некоторой фигуры-рисунка. Указанный признак (важен заударный или важен ударный) является более общим, каденция же включает в себя все три элемента — предупредный, ударный и заударный.

говорят о том, что этот процесс стабилизации еще не прекратился [Баринова 1973].

Итак, на описанном уровне типологического сопоставления фразовой интонации основной задачей является определение типов интонационных фигур, не входящих в основное ядро инвентаря славянских просодических конструкций.

4. На следующем этапе сопоставления (при совпадении различаемых содержательных единиц и при общем совпадении формального инвентаря) целесообразно сравнивать языковые интонационные системы по тому, какие именно фигуры соответствуют каким именно единицам плана содержания⁹. Так, например, тип каденции, употребляемый в русском языке в основном при вопросе с А (низкий ударный, высокий заударный), в чешском языке является обычной нормативной формой неместоименного вопроса; другой пример — форма вопроса с вопросительным словом с повышенным концом в русском языке допустима лишь для переспроса, а в польском языке — это нормативный вариант вопроса с вопросительным словом. Более того, подъем в абсолютном конце повествовательного предложения, в славянских языках с немзыкальным словесным ударением обычно воспринимаемый как показатель незаконченной коммуникативной связи, в сербском и словенском языках есть показатель типа словесного акцента в слоге-носителе фразового ударения, и такая конклюдивная каденция в этих языках не несет никакой дополнительной коммуникативной нагрузки.

5. При совпадении и набора форм, и их соответствия смысловым категориям может возникнуть еще одна проблема типологического описания — вопрос о разном соотношении нормы и не нормы в разных языках. А именно — в рамках общего упорядоченного множества форм-смыслов могут различаться дополнительные системы: литературный vs. разговорный язык, и эти подсистемы могут по-разному распределять в разных языках свои единицы, совпа-

⁹ Аналогичную картину являет собой система славянской морфологии, когда одному и тому же набору содержательных категорий, например имени существительного, может соответствовать в целом (с элементарным фонетическим пересчетом) один и тот же инвентарь флексий в разных языках, но распределяться эти флексии могут по-разному. Из этого еще раз видно, что принципы типологического описания разных уровней родственных типологических языковых систем должны совпадать: специфика определяется лишь конкретностью языкового материала.

дающие в целом¹⁰. Это различие относится к следующему уровню описания.

Наиболее показательным в этом отношении для славянских языков является тип восходящей мелодики с высоким поднимающимся ударным слогом и падающими заударными (в терминологии Е. А. Брызгуновой — ИК-3). Выше уже говорилось, что в русском языке этот тип очень яркий, с резким подъемом тона на ударном и с непривычным для европейского уха конечным понижением; он труден для иностранцев, в том числе и носителей славянских языков. В русском языке этот тип нормативен; только такой тип принят в белорусском языке, вполне допустим он в литературной украинской и сербской речи. В целом же — этот тип известен всем славянским языкам, но нормативные поправки при этом различны. Обратимся к чешскому языку. Фр. Данеш называет этот тип нисходящей полукаденцией (для русской традиции, ориентирующейся на ударный слог, это, конечно, восходящая мелодика), причем полукаденцией признаковой, т. е. маркированной, необычной. М. Ромпортл считает этот тип разговорным. При этом по говорам оказывается, что разное проявление этого типа мелодики встречается и в соседящих между собой селениях. Именно как разговорный описывает его Х. Кржижкова.

Для словацкого языка В. Ухлар также считает этот тип разговорным, употребляющимся преимущественно в тех случаях, когда заударные слоги кратки. В польском языке этот тип описан В. Яссом, но не встречается в перечнях польских мелодических фигур, приводимых другими авторами. При этом в речи советских поляков, записанных нами в г. Вильнюсе, считающих польский язык родным и основным, этот тип мелодики уже значительно больше распространен, чем «классический» польский вариант с резким движением на заударном слоге. В словенском языке этот тип нормативен, но допустим лишь при определенном типе ударного гласного — с долгим нисходящим акцентом.

Говоря о других типах фразовой мелодии, можно заметить, что тип конклюдивной каденции с подъемом тона перед ударным, нор-

¹⁰ Мы сознательно говорим о мелодическом компоненте, поскольку именно он может быть наиболее простым образом описан в рамках не количественных отношений, но качественных моделей — каденций и интонационных фигур. Однако в общей форме все сказанное относится и к другим интонационным параметрам — временным и акцентным характеристикам.

мативный для русского языка, согласно сообщению Фр. Данеша, в чешском языке является фамильярным вариантом.

М. Грепл описывает как «народный» тип антикаденции с резким подъемом на конечном слоге, который является вполне нормативным в польском языке [Grepł 1967: 85].

Таким образом, следующий уровень типологического сравнения интонаций — различие языков по оппозиции норма / не-норма, точнее «литературно / нелитературно» в применении к алломорфному набору интонационных фигур.

6. Однако возможна и такая ситуация, когда в сопоставляемых языках для одной и той же единицы плана содержания представлен один и тот же набор синонимических формальных единиц, причем этот набор для каждой смысловой категории по языкам совпадает и все синонимы при этом нормативны. Тогда следующим уровнем сопоставления будет уровень употребления, а именно — определение того, какой из нормативных вариантов в том или ином языке более употребителен.

Так, в русском языке из двух типов восходящей мелодики употребительнее вариант с пониженными заударными (если не касаться вопроса о стилях произношения). В украинском же языке оба типа равноправны.

Не выходя за пределы лингвистических отношений, выраженных интонационными средствами, мы можем считать этот уровень — уровень употребления — последним уровнем сопоставления интонационных систем.

7. Однако описывать и сопоставлять интонационные системы невозможно, игнорируя эмоциональную сферу, которая выражается просодическими средствами двойственным образом. Во-первых, часть эмоций передается таким способом, что их трактовка универсальна для носителей любого языка, чаще всего это тембральные средства, определенные типы модуляций и т. д. [Николаева, Успенский 1966]. Горе, радость, человеческая симпатия не требуют знания языка, они неконвенциональны. Во-вторых, существуют эмоции, которые могут быть правильно поняты носителями одного языка и превратно истолкованы носителями другого языка. Сейчас мы не касаемся вопроса о том, как и почему эмоции разделяются на эти две группы; представляется, что конвенциональная сторона выражения эмоций гораздо шире — она охватывает и другие языковые сферы: сегментную фонетику, словообразование, порядок слов в предложении и словосочетании и т. д.

Для описания интонационных систем разных языков существенным является и тот факт, что эмоциональные варианты одного языка, воспроизведенные в другом языке, оказываются нейтральными. Поэтому для выявления систем «смыслы — формы» в разных языках необходимо уточнить их экспрессивную однородность (особенно это существенно для тех описаний, которые ориентированы на преподавание интонации). Эмоциональные варианты, так же как и нелитературные или диалектные, могут быть ценным материалом для сравнительно-исторического изучения фразовой интонации, для выявления генезиса ее форм, поскольку иногда только в этих формах может фиксироваться та или иная интонационная фигура, уже (или еще!) не употребляющаяся в нейтральной системе.

Говоря об эмоциональных вариантах, мы имеем в виду не эмоциональную деформацию фразы, появляющуюся, в частности, под влиянием эмфазы или усиленного ударения, речь идет только о типах мелодических фигур, которые, в зависимости от языка, могут быть эмоциональными или нейтральными.

Обоснование причин расхождения одного и того же формального типа по эмоциональному и нейтральному вариантам в разных языках было сформулировано Р. Якобсоном, связавшим эмоциональные (или, в его терминологии, внеграмматические) элементы с общим синхронным состоянием системы данного языка, но не с какой-либо природной экспрессивностью [Якобсон 1923: 39—40]. Экспрессивные элементы используют те формальные возможности, которые не реализуются системой грамматических элементов. Поэтому для эмфазы русский язык использует фонологически свободную долготу, а чешский язык — интенсивность [Там же: 46]. Эта же закономерность вытекает из описания русского языка, предложенного Е. А. Брызгуновой. Так, стандартные ИК способны выражать эмоции, если они лексико-синтаксически избыточны. Например, типы полукаденций ИК-3, ИК-4, ИК-4а могут различаться, выполняя эмоционально-стилистическую нагрузку [Брызгунова 1969: 179—184].

Строгое различение эмоциональных и нейтральных интонационных фигур проводилось на чешском и словацком материале¹¹, однако для нас существенны эмоциональные варианты одного языка, совпадающие с нейтральными вариантами другого языка.

¹¹ См. [Petrik 1938; 1939—1940; Mihal 1958; Wodarz 1963; Romportl 1958: 51].

Наиболее интересна в этом отношении мелодия «печали», единообразно описываемая всеми чешскими исследователями и состоящая в резком понижении на ударном при ровном заударном. Это — обычный тип русской конклюзивной каденции, причем факт его неэмоциональности и нормативности кажется аномальным даже для носителей английского языка, в котором движение тона на слогах более резкое, чем в чешском.

Второй тип отмеченной эмоционально фигуры чешского языка с восходяще-нисходящей фигурой в повествовании регулярно отмечался нами в нейтральном произношении белорусского языка.

В ляхских говорах в вопросе с вопросительным словом в качестве нейтральной формы употребляется двуцентровый рисунок, отмечаемый как эмоциональный для литературного чешского языка и недопустимый (т. е. нелитературный) для русского языка.

Эмоциональная форма незавершенности в ляхских говорах есть нейтральная форма чешского языка. Та же форма незавершенности, которую М. Грепл считает эмоциональной для чешского языка (с ровным заударным), есть нормативная форма полукаденции для словацкого языка. По нашим наблюдениям, особенно сложно соотносятся эмоциональные и неэмоциональные формы в близких по родству языках или диалектах одного языка. А именно: неиспользованные в данном языке формы мелодических фигур, будучи использованы в близком языке, кажутся эмоционально окрашенными, в более далеком языке — кажутся просто чужими.

Итак, мы предлагаем следующий список типологических критериев сопоставления фразовых интонаций славянских языков⁴.

1. Типология терминальных отрезков — каденций, с учетом всех уровней сопоставления, о которых говорилось выше.

2. Типология высказываний, для которых недостаточен анализ одних каденций — глобальных высказываний (вопросительное предложение с вопросительным словом, восклицательное предложение).

3. Типология мелодической линии фразы.

4. Типология акцентной линии фразы.

5. Типология временной структуры фразы.

6. Типология мелодической линии слова — для языков с музыкальным ударением.

7. Типология акцентной линии слова.

8. Типология временной структуры слова.

9. Типология тенденции к выделению ударного слога в слове.

10. Типология воздействия линии слова (схемы) на тенденцию к выделению ударного слога.

11. Типология воздействия фразовой просодии на словесную — на разных участках фразы и разными акустическими параметрами.

2. Трудные проблемы типологического описания фразовой интонации

Подлинное изучение интонационных фактов не укладывается, однако, в рамки идеальных описаний, на базе которых и возможна истинная типология. Проблемы эти изначальны, это проблемы двойного плана — проблемы типологии как ветви науки и проблемы описания, т. е. описания одной какой-либо системы. В данном случае не предполагается, что интонационный уровень обладает какими-то специфическими трудностями, не разрешимыми для описания; напротив, знакомство с изучением других языковых слоев, вплоть до словообразования или морфонологии, показывает, что эти трудности в целом едины. Однако интонационные факты (и с этим, очевидно, согласятся все исследователи конкретного материала) мучительно и трудно добываемы, сама первичная недискретность речевого потока обязывает внимательнее отнестись к конечной задаче описания. Кроме того, одна удивительная особенность фразовой интонации требует особенно пристального внимания к индивидуальной языковой специфике. А именно — дело в том парадоксе, согласно которому нет языкового слоя, столь близкого к универсальности в своих категориях, как интонация, и в то же время нет языковой формы, столь сложной для усвоения и столь специфичной, как та же фразовая интонация.

Какие же объективные трудности и вытекающие из них дефекты описания можно считать первоочередными, создающими заколдованный круг для исследователя, пытающегося быть методически безупречным?

1. Отсутствие системы содержательных единиц, с которыми соотносятся интонационные формы.

Уже говорилось, что интонационный уровень характеризуется своими собственными единицами плана содержания — интонемами. Интонема определялась как пучок содержательных единиц — просодем, а значение интономы — как реализующееся на синтагматической оси. Как указывалось выше, интономы не имеют названия, хотя

обозначения типа «интонация перечисления», «интонация противопоставления», «интонация пояснения» приближаются к сущности передаваемого смысла. Однако как исчислить эти содержательные единицы, как определить их конечный список при том состоянии интонационной теории, когда мы не знаем главного — универсален ли этот список или выявляется только для конкретного языка? По существу нет критериев: 1) как обнаружить новую смысловую единицу, передаваемую интонацией, 2) как доказать, что эта единица есть действительно лингвистическая единица, 3) как попытаться передать словами — или на метаязыке — значение этой единицы. Например, очень сложно определить значение, передаваемое первым членением в известных примерах типа *Недавно / приехавший доктор прочел нам лекцию* и *Недавно приехавший доктор / прочел нам лекцию*. В случаях такого типа обычно пользуются термином «актуальное членение», по существу ставшим в настоящее время абстрактным ярлыком для всех неясных дроблений текстового целого. В этом смысле «актуальное членение» как термин вернулось к своей внутренней форме, т. е. членение, которое осуществляется сейчас — и ничего более. Но существуют явно не укладывающиеся в рамки актуального членения случаи типа *Кабинет истории / Московского университета* и *Кабинет / истории Московского университета*.

Что же передает членение на синтагмы в этих примерах? Как будто бы — это просто членение. Тогда *Лес рубят — щепки летят* является, не просто членением, а добавлением к нему некоторого смысла. Интонационная теория не может дать ответа на вопрос о смысловой идентификации такого рода членений.

Специалисты по интонации самых разных языков предлагают списки основных интонационных значений; наборы этих значений как будто сильно отличаются друг от друга, однако внимательный анализ показывает, что эти отличия есть отличия не языков, но теорий. Интонационные описания не достигнут требуемого единообразия до тех пор, пока исследователь каждого отдельного языка не сможет аргументированно ответить, почему он выделяет, например, десять основных интонационных единиц, а не девять и не одиннадцать (хотя бы в рамках предлагаемой системы выявления и описания этих содержательных единиц). В данном случае классический метод описательной лингвистики — считать содержательной единицей лишь ту, которая выражается посредством формальных оппозиций, — не всегда оказывается пригодным, так как сами формальные

единицы интонационного уровня по-разному определяются в зависимости от смысловой «установки». Специфика экспериментально-фонетического исследования состоит в том, что оно всегда имеет некий результат. Именно поэтому многочисленные работы, исходящие из чисто синтаксической семантики (типа «Интонация придаточного определительного», «Интонация придаточного дополнительного» и т. д.), всегда давали, особенно при усреднении большого числа примеров, исходно разнородных на «глубинном уровне», некие количественные факты. Однако только сопоставление с данными и примерами другого исследователя может привести к выводу: данное смысловое отношение имеет или не имеет специфическую интонационную фигуру в исследуемом языке.

Сказанное относится к тем ситуациям, когда перед исследователем стоит задача — описать интонацию одного языка. При сопоставительном изучении данных родственных языков существенна другая опасность: опуская какую-либо смысловую оппозицию, пропустить в языке X некую формальную единицу, интонационную фигуру, которая широко представлена в языках Y и Z. Между тем выводы ареально-генетического плана во многом могут зависеть от наличия / отсутствия в языке X этой фигуры, которая может выражать периферийные смысловые оппозиции и потому не окажется обнаруженной исследователями. Обращаясь к конкретным примерам, мы можем назвать для русского языка интонацию переспроса, которая соотносится с аналогичной фигурой обычного общего вопроса в западнославянских языках. Безусловно, эта фигура переспроса была выведена нами эмпирическим путем, и нет никакой гарантии, что в русском языке не упущены какие-либо лингвистически значимые интонационные противопоставления.

2. Отсутствие формальных критериев определения границ и признаков интонационных конструкций.

Разбирая возможные типы языковых типологических соответствий формальных интонационных единиц, мы пользовались выше понятием каденции (включая сюда полукаденцию и антикаденцию). Каденция в целом соответствует тому, что в английской традиции называется терминальным тоном или у нас — интонационной конструкцией.

Какова же протяженность этой фигуры, достаточная для того, чтобы полученные по разным языкам данные были типологически сопоставимы? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы снова вступаем в сферу закодированного круга: сведения о том объеме каденции,

который достаточен для сопоставления, мы можем получить, уже имея нужные данные. Так, например, всеми исследователями включается в интонационную конструкцию ударный слог, обычно включаются и заударные слоги (причем их число ограничивается рамками последнего слова), но число включаемых предударных слогов варьируется. При этом в ряде случаев не представляются сведения, достаточные для описания формальных конструкций, различающих смысловые оппозиции в одном языке, и те знания, которые необходимы для выявления фигур, существующих в этом языке А — для сопоставления их внутри группы языков, куда входит А. В частности, для различения вопроса / повествования может оказаться в одном языке достаточно знания о типе движения тона в ударном слоге, но для описания каденции и антикаденции в данном языке нужны сведения, большие по объему. Так, в белорусском языке в повествовательном предложении представлена в каденции некая восходяще-нисходящая фигура, место которой в каденции не фиксировано. Она легко выявляется в пределах ударного и заударного слогов, но для того, чтобы ее обнаружить в предударной позиции, необходим анализ по крайней мере двух предударных слогов — таким образом, те фиксации каденций, при которых рассматривается лишь первый предударный слог, могут оказаться неполноценными для нужд сопоставления. Другой пример — из украинского языка, в котором есть полукаденция с восходяще-нисходящими заударными слогами. Только знание того, что данный вид полукаденции регулярно представлен в сербском языке (после восходящих акцентов), заставило нас выделить эту фигуру в особый вид полукаденции. Только сопоставление, уже проделанное «начерно», как бы сопоставление первичного поиска, заставляет вводить в качестве типологических такие критерии, как резкость / нерезкость движения тона в конечном заударном слоге, как понятие монотонности слогов, как наличие / отсутствие второго центра в вопросительном предложении с вопросительным словом и т. д. Даже, казалось бы, ясный вопрос о конце интонационной конструкции становится неопределенным при сдвиге интонационного центра, при его переносе в середину или начало отрезка.

Известно, что сопоставительный анализ требует единообразности отдельных описаний. Вместе с тем известно также пожелание ко всякому описанию, предполагающему системность, включать лишь релевантные, дифференцирующие признаки. При более внимательном подходе эти два критерия оказываются в сложных, почти противоречивых отношениях (кроме банальных и неинтересных

случаев одно-однозначных систем), что затрудняет поиски формальных средств: исследователь должен как бы заранее решить, какие признаки ему нужны — интер- или интрасистемные. В первом случае полученные данные будет трудно сопоставить, во втором — нужно заранее знать типологические факты, в том числе и о исследуемом языке.

3. Отсутствие критериев тождественности сегментного языкового материала.

Сказанное выше с некоторыми коррективами можно отнести не только к типологическому исследованию интонационного уровня, но к любой совокупности языковых фактов. Однако у интонации есть своя специфика, заключающаяся в том, что она, хотя бы на первичном уровне исследования, должна изучаться на базе сегментного языкового материала. Выше говорилось о маркированности / немаркированности языкового материала, сказывающейся на выборе интоном.

Также очевидна и бесспорна неоднородность материала, возникающая при замене пунктуационных знаков (типа *Я вышел, стало душно; Я вышел — стало душно; Я вышел: стало душно*). Более сложна, но также поддается классификации неоднородность сложных предложений, как бессоюзных, так и с союзами разного типа; в данном случае ясно, что не существует сложного предложения вообще, а под этим названием скрывается перечень принципиально разных смысловых корреляций его членов. Однако существует более сложная и коварная вещь: смысловая неоднородность простых предложений. В книге «Интонация сложного предложения в славянских языках» мы пытались показать, какое значение для выбора интонации при чтении имеет лексическое наполнение предложений [Николаева 1969: 119—124]. Например, *Уйти незаметно было нельзя, он вышел открыто* содержит в своем лексическом составе указание на иной смысл отношений между синтагмами, чем *Он в роскоши, я здесь* или *Мне говорили, отец ее уже умер*. В простом предложении мы имеем дело с еще более неясной картиной. Так, опыт ряда исследователей говорит о том, что восклицательное предложение есть по существу лишь конгломерат классов восклицательных предложений. Интонационные модели не совпадают с синтаксическими, а соотносятся с ними сложным образом. Поэтому всякий исследователь интонации, занимавшийся повествовательным предложением на примерах типа *Я купил книгу*, и исследователь, делавший работу на примерах типа *Это дом*, могут делать вывод строго лишь о своем типе повест-

вовательного предложения, всякая экстраполяция выводов может оказаться слишком грубой. Таким образом, возможно, что внимательный подход к пересечению сегментного состава и интонационных моделей будет толчком для создания новой ветви синтаксиса, который явится синтаксисом смысловых отношений сегментного состава, рассмотренного «с точки зрения» интонации. Именно такой новый синтаксис предлагается Е. А. Брызгуновой, показывающей потенциальное расслоение предложения с некоторым лексико-грамматическим составом на разное количество сопоставляемых с ним «смыслов».

4. Смещение универсальных и специфически языковых показателей.

Это смещение является самым распространенным недостатком и самым неизбежным в большинстве интонационных описаний. Оказывается, что найти специфику одного языка можно лишь в том случае, если известны данные остальных языков. Обратимся к чисто славянским данным и сопоставим их с некоторыми сведениями, полученными на базе изучения языков других групп и семей (в данной ситуации сознательно отбиралось небольшое число примеров, взятых из малоизученных языков; число языков и примеров можно легко умножить).

Пример 1. Все славянские языки, согласно данным других исследователей и нашим собственным данным, по типу движения тона в общем вопросе были расклассифицированы на языки, в которых восходящее движение осуществляется до конца и часто в абсолютно конечном слоге, и те языки, где это восходящее движение затрагивает в основном зону последнего ударного слога. Ср.: «Другой особенностью азербайджанского языка является своеобразная мелодика речи. В азербайджанских вопросительных предложениях, не имеющих в своем составе вопросительного слова, последние слоги выделяются восходящим музыкальным (т. е. мелодически. — Т. Н.) движением голоса, независимо от того, является ли последний слог ударяемым» [Языки народов СССР, 2. Тюркские языки. 1966: 70]. Итак, «своеобразная азербайджанская мелодика» напоминает польскую, словенскую, немецкую и даже — украинскую, как ее описывал О. Брок.

Пример 2. Говоря о вопросительном предложении с вопросительным словом, мы замечали, что в некоторых случаях мелодика его может быть как равной повествовательной, так и иметь подъем в конце, как в чистом вопросе. Именно это отмечается для якутского

языка (фраза *Кто поймал? — Ким тут-та?* может произноситься именно этими двумя способами) [Алексеев 1970: 42].

Пример 3. Общий вопрос и переспрос в славянских языках различались в основном по тому, что переспрос имеет резко выраженную конечно-восходящую структуру. Это же различие выявлено в казахском языке [Туркенбаев 1968].

Пример 4. Как будто бы славянской спецификой является особый вид общего вопроса с падающим концом, в особенности спецификой русского языка. Точно такая модель общего вопроса (в нотации К. Пайка — 1231) оказывается разговорной формой вопроса испанского языка в отличие от более литературной 1222 [Bowen 1956].

Пример 5. Х.-В. Водарц отмечал функцию двух последних слогов — ударного и безударного — в ляхских говорах: они, соответственно, носители эмоций и синтаксических реляций. Так же, по данным А. К. Оглоблина, распределяются функции двух последних слогов в индонезийском языке [Оглоблин 1967].

Итак, судя по этим примерам, реальна опасность увидеть специфику там, где ее нет. Именно это рождает интонационные исследования, на которые тратится большое число сил и времени и которые, однако, содержат известные факты и не содержат ничего подлинно специфического. Например, сообщается, что особенностью тагальского ударения является «повышенная частота, большая амплитуда и большая длительность», что спецификой повествовательного движения в хауса является «восходяще-нисходящее движение тона» [Вишневская 1968] и т. д. Выше уже говорилось о «своеобразной» мелодике азербайджанского языка; далее, тот факт, что начало фразы более интенсивно и это повышенное начало представлено во всех видах повествовательного предложения, оказывается, «является признаком фразовой интонации узбекского языка» [Ниязов 1969]. Или — заранее очевидно, что предложения декларативного характера (объявления) будут произноситься более громко и более медленно, чем обычное повествовательное предложение. Однако на молдавском материале была проделана большая экспериментальная работа, чтобы получить эти данные как специфически молдавские [Ченушэ 1971]. Представляется, что трудности — в самом материале. Как это ни парадоксально, возможно, что чисто типологическое описание с уже известной конкретной целью сопоставления может оказаться более методически точным, чем описания одного языка. Например, О. фон Эссен говорит о том, что в английском и немецком

языках безударные слоги произносятся на более низком уровне, чем ударные, а в датском языке наблюдается обратная картина — та же, что и в южнонемецких диалектах [Essen 1957: 298]. Сообщая такого рода сведения, исследователь не берет на себя ответственность за всю интонационную специфику языка, а только говорит об узких локальных отличиях.

В этом же общем круге неразличения специфического и универсального можно выделить и микроситуации той же проблематики. Например, выше достаточно говорилось о разговорной специфике в разговорных вариантах. Приведем несколько примеров сложности соотношения универсально-разговорного, специфически разговорного и неразговорного.

Пример 1. Общеразговорное vs. специфически разговорное.

В работе, посвященной интонации русской разговорной речи, Г. А. Баринава [Баринава 1973] отмечает наличие полукаденции особого типа — понижающейся. Это входит в специфику русской разговорной речи и, действительно, отличает ее от литературного языка. Однако эта обрывистость, малая связность разговорной речи в целом, когда связи частей сложного предложения уподоблены связям отдельных предложений, когда интенсивность повышена, когда широко осуществляется сдвиг терминального тона и т. д., — свойственна разговорной речи вообще и не является специфически русской. См., например, сходные данные, полученные из исследования разговорной речи американских студентов.

Пример 2. Разговорное vs. диалектное.

Сообщая сведения об интонационной специфике ряда поволжских русских говоров, А. Кугаевская пишет о том, что эти говоры отличаются конечным легким подъемом в абсолютном конце и понижением в конечных синтагмах (там, где в литературном языке повышение); эти говоры отличаются и более сильным продлением конечных гласных [Кугаевская 1969: 124—127]. Все эти сведения характеризуют разговорный вариант русской интонации и очень характерны для него, не являясь специфически диалектными.

Пример 3. Разговорное vs. словесно-просодическое. В сербском и словенском языках в тех случаях, когда ударный слог — носитель фразового ударения — представлен восходящими акцентами, имеет место повышение тона на следующем слоге. Если общая мелодика фразы понижающаяся, то ударный слог покажет это понижение, акцент же дает «рефлекс» в виде легкого подъема на следующем слоге.

3. Основные интонационные модели славянских языков

А. Общие характеристики

Общие факты, отличающие фразовую интонацию всех рассмотренных славянских языков, — это как бы некий каркас, модифицируемый индивидуальными наслоениями. В данном случае общие характеристики — это не универсальные интонационные факты, а следующий слой признаков. Важно при этом установить — это признаки собственно славянские или нет.

Мелодика начального участка фразы, заканчивающегося каденциями, характеризуется начальным подъемом в зоне первого ударного слога; при этом если ударный слог открывает фразу, то на нем осуществляется мелодический подъем, а следующий слог будет расположен на уровне ударного; если же ударный слог не является начальным, то он занимает высокое положение, а модуляции тона в его пределах незначительны.

Каденционное понижение во всех славянских языках может быть выражено следующими факультативно варьирующимися реализациями¹: 1) ударный слог может быть представлен либо резким понижением тона от уровня предударного, либо низким расположением ударного слога по сравнению с предударным слогом; 2) заударные слоги могут располагаться либо на нижнем уровне ударного, либо ниже ударного слога. При этом они могут быть на одной ноте, либо понижаться «лесенкой».

Все славянские языки знают тип восходящей мелодики с высоким ударным и падающими заударными и тип с низким положением ударного слога и восходящими заударными (различие определяется их функциональной нагрузкой).

Во всех славянских языках число мелодических фигур полукаденции больше числа мелодических фигур антикаденции.

Местоименный вопрос имеет более цельную глобальную структуру, без неопределенной середины, как во фразах с каденцией, ан-

¹ Говоря о факультативности варьирования, мы понимаем, что более внимательное изучение повествовательного предложения, рассмотренного со всей спецификой синтаксиса устного высказывания, поможет выделить несколько типов внутри повествовательных фраз, семантика которых и определит выбор мелодической фигуры. См. у Д. Болинджера: «Интонация соответствует не утверждению как таковому, но разным его видам» [Bolinger 1970: 112].

тикаденцией и полукаденцией. Он двуцентров: первый центр — это ударный слог вопросительного слова, второй — конечный ударный слог. Второй центр более продлен, чем первый. К вопросительному слову осуществляется значительный подъем мелодики и интенсивности.

Восклицательное предложение характеризуется более высоким основным тоном, повышенной интенсивностью, увеличенной длительностью и наличием некоторой дугообразной фигуры.

Акцентная линия фразы стремится к понижению, однако в зависимости от типа мелодического задания эта направленность может и не реализоваться.

Длительность имеет три сильные позиции: начало, ударный слог — носитель фразового или синтагматического ударения, абсолютно конечный слог. В средней части звучащего отрезка все слоги более кратки.

Слово (т. е. микрофраза) характеризуется сильной акцентной точкой — первый слог и сильной временной точкой — ударный и заударный конечные слоги².

Сила давления фразы на слово оказывается наиболее значительной в позиции фразового ударения. Это воздействие не нужно понимать как буквальное подавление; оно осуществляется при помощи достаточно сложного механизма. Например, ударный слог слова, ставшего носителем фразового ударения, не укорачивается, а продлевается. Напротив, интенсивность ударного слога, оказавшегося носителем фразового ударения, при нисходящей мелодике (каденции) будет более низкой, чем, например, интенсивность ударных слогов середины. Поэтому распределение f (частоты), t (длительности), i (интенсивности) на протяжении фразы будет варьироваться по определенным законам.

Несомненна связь между типом фразовой интонации и конкретной просодией слов, наполняющих звучащий отрезок. Эта связь однотипна для всех исследованных языков. По общим типам этих закономерностей можно предсказать конкретный рисунок

² Речь идет о естественно конкретной просодии слова, а не о просодических возможностях слова (или акцента), т. е. способности различать тип и место ударения разным числом комбинаций. Именно этим комбинаторным возможностям посвящена статья Г. Якобссона, рассмотревшего эти возможности для сербских и скандинавских акцентов (оставляя в стороне вопросы чисто фонетических совпадений, например с.-х. 1 и акцента 2). См. [Jakobsson 1972].

просодии данного отрезка. Например, о слове типа — — и слове типа — —, находящихся в конечной нисходящей позиции и под фразовым ударением, можно заранее сказать, что у слова — — длительности обоих слогов будут близки (будут представлены две сильных точки: ударный слог и абсолютно конечный слог), а у слова типа — — ударный слог будет значительно более продленным, чем предупредительный, и более продленным, чем ударный слог слова — — (так как две сильных временных точки совместились здесь в одном слоге). Так же можно предсказать, что линия интенсивности в обоих этих словах будет понижающейся, но для — — разрыв между интенсивностью первого и второго слогов будет больше, чем для — —, поскольку в первом случае самая пониженная точка фразы и безударность совпадают. Очевидно, что в начале звучащего отрезка мелодика ударного слога структуры — — будет восходящей, с отчетливым движением тона, а ударный слог структуры — — в начале отрезка будет сам занимать высокое положение, а движение тона на нем может быть незначительным.

Четко осознавая правила соотношения сильных и слабых точек фразовой просодии, с одной стороны, и типа ритмической структуры слова — с другой, можно — в любом исследовании славянской интонации — отделить фразовую модель от словесного наполнения.

Признание определенной просодической структурированности славянской фразы и синтагмы имеет значение не только для теории фразовой интонации как таковой, но и для исследования других языковых явлений, в частности вопросов историко-лингвистического характера. А именно — работы по исторической акцентологии и по историческому синтаксису обычно строятся без учета фразово-интонационной структуры: синтаксис рассматривается как внезвуковой факт, а слова — в изолированном, на самом деле не существующем состоянии.

Между тем при фиксированном порядке слов одни и те же классы (например, предикативные элементы)³ оказываются в одной и той же позиции во фразе — позиции исхода или начала и, подвергаясь регулярному и единообразному фразовому воздействию, могут предсказуемым образом модифицировать свой облик в каждой из фразовых позиций.

³ См. о фиксированности синтаксической позиции отдельных классов слов в индоевропейском предложении и о связанных с этим проблемах акцентологии [Иванов 1965: 185—256].

Точно так же в тех исследованиях, где модификации словесных акцентов как будто бы рассматриваются во фразе, на самом деле фразовым окружением считаются лишь соседящие проклитики и энклитики, а слова, подлежащие анализу, не изучаются в их фразовом положении; экспериментальные исследования демонстрируют, что для анализа модификации просодии слова важно знать следующие характеристики исследуемых слов:

находятся ли они под фразовым ударением или нет;

на какой тип мелодики они ложатся — восходящий или нисходящий;

где они располагаются: в начале, середине или конце отрезка (причем существенно, есть ли у них постоянное синтаксическое место или они вводятся в высказывание свободно).

Б. Анкета. Описание интонации

Проблемы описания мелодического параметра фразы

А. Нисходящая мелодика (конечная часть повествовательного высказывания):

1. Наблюдается ли повышение тона в первом предударном слоге по сравнению со вторым предударным слогом?

2. Есть ли повышение тона в самом ударном слоге? Если есть, то где именно: на границе предударного и ударного слогов, в центре ударного слога, на границе ударного и заударного слогов?

3. Возможно ли повышение тона в конечных заударных слогах?

Б. Мелодика вопроса с вопросительным словом:

1. Наблюдается ли конечный подъем в вопросах такого типа? Где он реализуется: в последнем ударном слоге и/или в конечных заударных слогах?

2. В случае отсутствия этого подъема происходит ли плавное понижение тона от начала до конца или на последнем ударном слоге происходит резкий перепад мелодики?

3. Как осуществляется начальный подъем тона?

1) самая высокая точка — это абсолютное начало?

2) подъем тона идет к вопросительному слову?

3) подъем тона ведется к ударному слогу вопросительного слова?

4) подъем тона идет к какому-то слогу высказывания (например, ко второму), какая бы лексема на нем ни реализовалась?

В. Мелодика восклицания:

1. Отмечается ли в таких высказываниях некая дугообразная фигура?

2. Если да, то как она реализуется:

- а) на ударном слоге главноударного слова?
- б) на всем этом слове?
- в) на всей фразе в целом?
- г) просто в центре фразы?
- д) таких фигур — одна или несколько?

Г. Мелодика вопроса с А?

1. Как завершается вопрос с А — повышением или понижением тона (если есть заударные слоги)?

2. Есть ли подъем на начальном А с последующим понижением?

3. Как расположен ударный слог — выше предупредного, ниже или на одном уровне с ним?

Д. Собственно восходящая мелодика (общий вопрос, переспрос, незавершенность):

1. Сколько фигур восходящей мелодики можно выделить, исходя из комбинаций следующих признаков:

- а) положения ударного слога по отношению к предупредному и заударным;
- б) повышения — понижения — ровности заударных слогов;
- в) резкости / нерезкости движения тона в ударных и заударных слогах.

2. Различаются ли эти фигуры для общего вопроса (*Он понял?*) и незавершенности (*Он понял, что было уже поздно?*)!

3. Если они не различаются по рисунку, то есть ли отличия в числе этих фигур (например, для незавершенности число фигур больше, чем для общего вопроса)?

4. Где наблюдается резкое восхождение: в ударном слоге и/или в заударном слоге? Важен абсолютно последний слог.

5. Если после ударного слога наступает понижение, то где оно начинается: в непосредственно заударном слоге или во втором (третьем) заударном?

6. Происходит ли повышение тона обязательно в конце фразы или эта фигура может перемещаться к началу?

7. Если такой сдвиг происходит, то имеет ли место второе повышение или в конце мелодика понижается?

8. Есть ли особая мелодика в переспросе?

9. Есть ли особая мелодика при перечислении?

10. Каков набор мелодических фигур-синонимов?

Е. Общая оформленность фразы:

1. Как оформлено начало фразы — подъемом или нет? Если подъем, то как он осуществляется:

а) к первому слогу?

б) ко второму слогу?

в) к первому ударному слогу?

2. Как распределяется информация о типе фразы — по ударным слогам или существенны и безударные слоги?

3. Ударные слоги монотонны?

4. Безударные слоги монотонны?

Проблема описания немелодических параметров

А. Длительность:

1. Существенно отношение трех слогов: первого ударного слога, последнего ударного слога и абсолютно конечного заударного. Как они соотносятся по длительности:

а) при нисходящей мелодике?

б) при восходящей мелодике?

Есть ли здесь какое-либо различие?

2. Сильно ли сокращены ударные слоги в середине фразы или синтагмы (это определяется посредством фраз, где одно и то же слово помещается в разные фразовые позиции)?

3. Сколько временных центров:

а) в вопросе с вопросительным словом?

б) в общем вопросе с центром, сдвинутым к началу?

в) в восклицании?

Как соотносятся эти центры?

4. Может ли деформироваться ритмика слова во фразе (например, предударный или заударный будет длительнее ударного). На каких участках фразы это происходит: начало, середина, конец?

5. Какова семантика сверхсильного продления какого-либо слова во фразе?

6. Сильно ли деформируется (сокращается) слово при особой смысловой установке?

Б. Интенсивность.

1. Понижается или повышается линия интенсивности к концу при восходящей мелодике?

2. Наблюдается ли при восходящей мелодике некая дуга, при которой ударный слог оказывается самым низким?

3. Какова семантика усиления интенсивности слова во фразе?

Факты просодии слова (для нетональных языков)

1. Фиксировано ли место ударения в данном языке?

2. Есть ли в данном языке фонологическая неударная долгота?

3. Чем (преимущественно!) выражается словесное ударение в данном языке?

4. Происходит ли компенсаторная замена показателей ударения на разных фразовых позициях: начало, середина, конец восходящий или конец нисходящий? Или ударение всегда выражается единообразно?

5. Имеет ли место сближение по интенсивности двух первых слогов трехсложного слова?

6. В двухсложных словах типа —́ —, трехсложных словах типа — —́ —, четырехсложных типа — — —́ —, — — — —́ — как соотносятся интенсивность первого и ударного слогов?

7. В двусложных словах типа —́ —, трехсложных типа — —́ —, четырехсложных типа — — —́ —, — — — —́ — как соотносится длительность ударного и конечного слогов?

Как выражается словесное ударение слов структуры —́ —?

8. Сильно ли в данном языке фразовая просодия подавляет словесную? Это можно определить следующими проверками-вопросами:

1) сохраняется ли выделение ударения частотой и интенсивностью в нисходящем конце у структур типа —́ —, — —́ —;

2) сохраняется ли выделение ударения частотой в восходящем конце у структур типа —́ —, — —́ — (у языков с восходящей до конца мелодикой);

3) сохраняют ли слова свою структуру во фразе, а именно:

а) много ли нулевых показателей ударения слов во фразе (если учитывать параметры f , t , i);

- б) есть ли структуры Верх-Низ-Верх для (— — —) и Низ-Верх-Верх для (— — —) в середине и начале фразы;
- в) есть ли структуры интенсивности Верх-Низ-Низ для типов — — — и Верх-Низ для — — — на всем протяжении фразы?
- 4) сильно ли структурирована фраза по длительности (см. выше «Длительность»);
- 5) сильно ли структурирована фраза по интенсивности (т. е. насколько нарушается пиками словесных ударений общая линия фразы)?

В. Некоторые гипотезы

По предлагаемым данным, как представляется, можно сделать более широкие выводы-гипотезы.

1. Наблюдения над включенностью слова во фразовую интонацию в том или ином языке показывают, что можно говорить о языках, в которых слова нанизываются, как бусины, на линию фразовой интонации, мало при этом модифицируясь. Напротив, в других языках слова как бы растворяются во фразово-интонационных единицах, подчиняясь им. Из славянских языков ближе всего к последней ситуации именно русский язык. Эта оппозиция — оппозиция слабости / силы воздействия фразовой интонации на словесную — и вытекающее из этих данных противопоставление силы и слабости фразовой интонации в данном языке — фактор, на котором мы хотим остановиться подробнее. А именно: если обратиться к самым элементарным положениям исторической фонетики и исторической акцентологии с точки зрения законов современной русской звучащей фразы и вспомнить тот факт, что и в древности говорили не пословно, а более или менее связно, и изолированные слова всегда были фикцией, то ряд этих неоспоримых фактов покажется небесспорным. Прежде всего это количественные характеристики типа многочисленных «компенсаторных продлений» и т. п. При посинтагменном решении фразы многие из этих процессов не осуществились бы или осуществились бы иначе.

Однако и другие факты истории языка подтверждают данные исторической фонетики. Естественно вытекающим отсюда решением вопроса будет принятие тезиса о пословном интонационном решении в славянских языках древней поры.

Подтверждением этого могут служить и свидетельства неинтонационного свойства. Возвращаясь к положениям, высказанным ранее,

мы видим, что фразовая интонация включается в систему текстовых средств, объединяющих в себе три совокупности величин: 1) интонацию, 2) тектонические средства, порядок элементов, 3) эксплицитные сегментные средства — в частности, частицы. В первой главе говорилось также о том, что эти средства могут, выполняя смысловые функции, быть в компенсаторных отношениях.

Таким образом, можно представить себе как гипотезу идею о том, что существует ряд связанных пучков-признаков, характеризующих два типа языков.

Тип 1

1. Интонация распределяется пословно.
2. Порядок слов жесткий.
3. Семантически усилен конец.
4. Обязательны или часты частицы-актуализаторы предложения.

Тип 2

1. Интонация не пословна (слово в сильной степени подчинено высшей просодической единице).
2. Порядок слов более гибкий.
3. Семантически усилено начало.
4. Частицы-актуализаторы предложения мало представлены.

Представляется, что первый тип — это языки древние или архаизированные, а также языки с менее разветвленной литературной традицией. Таким образом, получается, что древнерусский язык и современный русский литературный язык по этим признакам группируются по-разному.

Как уже говорилось, текстовые средства реализуются там, где есть выбор, где есть употребление. Именно история литературного языка есть проблема развития системы выборов со все более четким осознанием смысловых возможностей реализации той или иной единицы из числа употреблений, подлежащих выбору, и развитием умения пользоваться этими возможностями выбора.

Таким образом, за такой общей идеей, как понятие сила / слабость фразовой интонации, стоит мысль о большей или меньшей грамматикализованности интонационных фигур.

Список литературы

- Алексеев 1970 — *Алексеев И. Е.* Мелодемы односоставных и двусоставных нераспространенных предложений якутского языка // Языки и литература народов Сибири. Новосибирск, 1970.
- Барина 1973 — *Барина Г. А.* Некоторые особенности интонации разговорной речи (РР) // Русская разговорная речь. М., 1973.
- Брызгунова 1967 — *Брызгунова Е. А.* Интонация и смысл предложения // Русский язык за рубежом. 1967. № 3.
- Брызгунова 1969 — *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонация русской речи. М., 1969.
- Брызгунова 1971 — *Брызгунова Е. А.* О смысловозначительных возможностях русской интонации // Вопр. языкознания. 1971. № 4.
- Бурлакова и др. 1962 — *Бурлакова М. И., Николаева Т. М., Сегал Д. М., Топоров В. Н.* Структурная типология и славянское языкознание // Структурно-типологические исследования. М., 1962.
- Вишневская 1968 — *Вишневская Л. Я.* Интонация повествовательного предложения и интонационного вопроса в языке хауса // Zeitschrift für Phonetik. 1968. Bd. 21. Hf. 6.
- Гринберг, Осгуд, Дженкинс 1970 — *Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж.* Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Иванов 1965 — *Иванов Вяч. Вс.* Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965.
- Кугаевская 1969 — *Кугаевская А.* Повествовательная интонация и синтаксическое членение фраз в поволжских говорах сравнительно с литературным языком // Вестник студенческого научного общества. Вып. 2—3. Казань, 1969.
- Кузнецов 1966 — *Кузнецов П. С.* К вопросу об ударении и тоне в фонологическом и фонетическом отношении // Теоретические проблемы прикладной лингвистики. М., 1966.
- Николаева 1969 — *Николаева Т. М.* Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Николаева, Успенский 1966 — *Николаева Т. М., Успенский Б. А.* Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.
- Ниязов 1969 — *Ниязов Д. М.* Интонация повествования в современном узбекском литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1969.
- Оглоблин 1967 — *Оглоблин А. К.* Слово и интонация в индонезийском языке // Филология и история стран зарубежной Азии и Африки (тезисы конференции). Л., 1967.

- Светозарова 1970 — *Светозарова Н. Д.* Реализация основных методических характеристик в словах различной ритмической структуры // *Иностранные языки в школе*. 1970. № 3.
- Туркенбаев 1968 — *Туркенбаев Н.* Об интонации коммуникативных видов простого вопроса // *Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft*. 1968. Bd. 21. Hf. 6.
- Успенский 1965 — *Успенский Б. А.* Структурная типология языков. М., 1965.
- Ченушэ 1971 — *Ченушэ А. Т.* Интонация некоторых видов повествования в современном молдавском языке // *Ученые записки I МГПИИЯ*. 1971. Т. 60.
- Шахбагова 1970 — *Шахбагова Д. А.* Интонация общего вопроса в американском варианте английского произношения в сопоставлении с британским вариантом // *Ученые записки I МГПИИЯ*. 1970. Т. 57.
- Языки народов СССР 1966 — *Языки народов СССР*. Т. 2: Тюркские языки. М., 1966.
- Якобсон 1923 — *Якобсон Р.* О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским // *Сборники по теории поэтического языка*. Вып. V. Прага, 1923.
- Bolinger 1970 — *Bolinger D. L.* Relative height // *Prosodic feature analysis*. Ottawa, 1970.
- Bowen 1956 — *Bowen J. D.* A comparison of the intonation patterns of English and Spanish // *Hispania*. V. XXXIX. 1956. № 1.
- Daneš 1957 — *Daneš Fr.* Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha, 1957.
- Delattre 1967 — *Delattre P.* La nuance de sens par l'intonation // *French review*. V. XVI. 1967. № 3.
- Essen 1957 — *Esen O. von.* Rhythm and melody in Germanic languages. Amsterdam, 1957.
- Grepl 1967 — *Grepl M.* Emocionálne motivované aktualizace v syntaktické structuře výpovědi. Brno, 1967.
- Jakobsson 1972 — *Jakobsson G.* The prosodic pattern in isolated words in a Slavic and a non-Slavic language // *The Slavic word*. The Hague; Paris, 1966.
- Jančák 1966 — *Jančák P.* Zapadočeský intonační typ // *Slavica pragensia*. 1966. 8.
- Jassem 1962 — *Jassem V.* Akcent języka polskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962.
- Leed 1965 — *Leed R. L.* A contrastive analysis of Russian and English intonation contours // *The Slavic and East European Journal*. V. IX. 1965. № 1.
- Mihal 1958 — *Mihál J.* Vplyv melodie na zmysel vety // *Slovenská reč*. 1958. № 2.
- Petrik 1938 — *Petrik St.* O hudební stránce středočeské věty. Praga, 1938.

- Petrik 1939—1940 — *Petrik St.* Zur Satzintonation der mährisch-schlesischen Mundarten // *Slavia*. 1939—1940. R. XVII.
- Romportl 1957 — *Romportl M.* Zum vergleichenden Studium der Satzphonetik // *Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft*. 1957. Bd. 10. Hf. 4.
- Romportl 1958 — *Romportl M.* Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšinsku // *Publicace slezského ústavu ČAV*. Ostrava, 1958.
- Romportl 1965 — *Romportl M.* Zum Problem der Fragemelodie // *Lingua*. V. V. 1965.
- Sgall 1971 — *Sgall P.* Type of language // *Travaux linguistiques de Prague*. 4. 1971.
- Skoumál 1970 — *Skoumál J.* K melodii koncového useku věty v češtině a v ruštině // *Československá rusistika*. 1970. № 2.
- Uhlár 1958 — *Uhlár Vl.* O vetnej melodii v slovenčine // *Slovenská reč*. 1958. T. 6. R. XXII.
- Uspensky 1972 — *Uspensky B. A.* Subsystems in language, their interrelations and their correlated universals // *Linguistics*. 1972. № 88.
- Wodarz 1960 — *Wodarz H.-W.* Über vergleichende satzmelodische Untersuchungen // *Phonetica*. V. 5. 1960. № 2.
- Wodarz 1963 — *Wodarz H.-W.* Satzphonetik des Westlächischen. Köln, 1963.

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СООТНОШЕНИЕМ СЛОВЕСНЫХ АКЦЕНТОВ И ФРАЗОВОЙ МЕЛОДИКИ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Введение

Основная задача — понять механизм распределения в речи тех или иных вариантов фразовой интонации сербского языка и — в соответствии с этим — соотношение фразовой интонации и интонации слова, а еще более точно — модификацию во фразе четырех сербских словесных акцентов.

Необходимо заметить, что только ориентация на русского читателя дает основания для публикации настоящих результатов столь подробно (еще и в комбинации со сведениями о чужих исследованиях¹ и данными историко-библиографическими)², так как хорошо известно, что по этому вопросу до сих пор ломаются копья специалистами-сербистами³.

С реализацией фразовой интонации в сербском языке прежде всего связаны проблемы типологического характера. Для всех славянских языков выделяется несколько видов фразовой интонации как восходящей (антикаденции, полукаденции), так и нисходящей интонации (каденции)⁴. Впервые эти типы были описаны в общем виде О. Брокком [Брок 1910], и с тех пор по существу не рассматривались в типологическом плане.

¹ Данная работа была выполнена в 1968—1969 гг. За это время на русском языке были опубликованы следующие работы по этой проблематике [Булатова 1971; Склярченко (рец.); Исследования... 1972; Николаева 1971а; 1971b; Сантен 1971].

² Эти сведения приводятся в недавно вышедшей монографии [Magner, Matejka 1971].

³ См. работы П. Ивича и И. Лехисте последних лет.

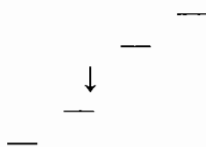
⁴ Важно уточнить, что речь идет не о функциональных, а о предфункциональных сущностях.

Резюмируя данные разных авторов, а также данные эксперимента, можно говорить о следующих трех типах восходящей мелодики:

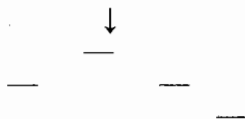
I. Ударный слог находится на самом низком уровне:



II. Ударный слог расположен между предударным и заударным⁵.



III. Ударный слог расположен на самой высокой позиции, после него начинается спад:



Также выделяется три вида конечной нисходящей мелодики.

I. Падение тона начинается с ударного слога:



II. Ударный слог расположен между предударным и заударным:



⁵ При этом, как будет видно в дальнейшем, возможны различные модификации положения заударных слогов.

III. Ударный слог расположен ниже предупредного, заударный расположен на том же уровне (или несколько выше):



Дополнительная оппозиция, накладываемая на все перечисленные типы, — вопрос о том, как осуществляется движение тона в слогах, — резко или постепенно, незначительно (/ или —).

На тип движения оказывают влияние позиции ударного слога (абсолютное начало, абсолютный конец, наличие / отсутствие предупредных или заударных).

Разные комбинации всех этих условий создают внешне пеструю картину интонационных типов.

Перечисленные выше типы интонаций известны всем славянским языкам. Однако наиболее характерным в каждом языке бывает тот или иной тип (так, для чешского языка более типична восходящая интонация с абсолютно низким положением ударного слога, для украинского — с средним положением, для русского языка — с высоким положением ударных; для польского языка типично резкое движение тона в заударных слогах, для русского — в ударном и т. д.)⁶. Но при этом ни один тип не является настолько количественно преобладающим, чтобы остальные можно было бы считать случайными.

Основная лингвистическая задача типологического изучения просодии, таким образом, состоит в том, чтобы выяснить, чем объясняется это разнообразие типов. Ответ может быть двойкий:

- 1) фонетикой (т. е. фонетическими условиями дистрибуции),
- 2) функцией (т. е. смыслом или грамматикой). Большинство авторов просто констатирует наличие этих типов, не говоря о причинах их различия [Брок 1910]⁷. Для русского языка наиболее подробно разные сферы употребления каденций и антикаденций разобраны Е. А. Брызгуновой, однако и она отмечает свободное варьирование

⁶ Напомним, что речь идет сейчас только о мелодике. Специфика живой речи данного языка создается еще разными сочетаниями мелодических вариантов с вариантами интенсивности и длительности.

⁷ См., например [Daneš 1957; Jassem 1962; Wodarz 1963; Buning, Schooneveld 1960]

ряда моделей, называя их стилистическими вариантами [Брызгунова 1967]⁸.

Однако распределение в речи носителей одного и того же языка указанных фразовых каденций может быть связано и с типом просодии слова — носителя фразового ударения.

Впервые такая мысль о принципах распределения (и возникновении типов славянских интонаций) была высказана И. Манкен именно в связи с сербским языком, в котором также представлены все эти типы [Mahnen 1964]. И. Манкен связывает каждый тип с тем, какой именно из четырех возможных новоштокавских словесных акцентов реализуется в слове — носителе фразового ударения. Таким образом, просодия предложения непосредственно связывается с просодией слова.

Нет необходимости доказывать, какие огромные и интересные возможности открывает этот подход для изучения славянской просодии в целом. Поэтому крайне важно, хотя бы в общих чертах, убедиться в справедливости гипотезы Манкен еще на группе примеров.

Непосредственно с этим связана и другая сторона той же проблемы — как модифицируются словесные акценты под воздействием фразовой мелодики. Для этого, в свою очередь, необходимо знать, как они манифестируются в нейтральном состоянии, как проявляются на просодическом уровне по всем параметрам. По этим вопросам существует огромное число исследований.

Кратце речь идет о следующем: известно четыре вида словесных ударений в современном сербском литературном (новоштокавском) языке⁹: долгий нисходящий (∩); краткий нисходящий (∩∩), долгий восходящий (/), краткий восходящий (∩)¹⁰. Эти различия реализуются в ударных слогах. На выбор акцента оказывает воздействие и место ударного слога: нисходящие акценты могут быть только в первом слоге от начала, восходящие не могут быть в конечном слоге¹¹. Таким

⁸ См. более ранние публикации [Брызгунова 1963; 1965].

⁹ Здесь и в дальнейшем мы сознательно отвлекаемся от данных общеславянской и сербохорватской исторической акцентологии и современных сербохорватских диалектов.

¹⁰ Т. е. реализуются одновременно два противопоставления — тона и длины; именно так — как двусистемную — описывает сербскую акцентуацию Д. Трэдджер [Trager 1940].

¹¹ Это означает, что сербский язык отмечает только ударные, внутри них реализуются различия по тону, однако эти различия существуют и в кратких,

образом, например, для односложного, двусложного, трех- и четырехсложного слова представляются следующие акцентные возможности (табл. 1).

Таким образом, выбор восх./нисх. существен для первого слога неодносложных слов.

Какие же концепции о сущности этих четырех акцентов можно выделить в настоящее время?

I. Первый комплекс вопросов связан с проблемой сферы реализации акцента, а именно — реализуется ли он в одном или в нескольких слогах. Существуют следующие точки зрения:

1) все четыре акцента различаются только в ударных слогах¹²; 2) акценты реализуются не только в ударных, но и в последующих слогах, т. е. они двусложны [Masing 1876]; 3) нисходящие акценты односложны (в ударных слогах), восходящие двусложны [Ivić 1967].

Таблица 1


Акцентные возможности слова в сербском языке

Вид слова	Слоги — от начала			
	1	2	3	4
Четырехсложное слово	восх.	восх.		
Трехсложное слово	или	восх.	восх.	∅
Двусложное слово	нисх.	∅	∅	
Односложное слово	нисх.			

II. Второй круг вопросов связан с отношением мелодики и интенсивности при реализации акцентов: 1) считалось, что нисходящие акценты выражаются интенсивностью, а восходящие — тоном. Таким образом, ˘ и \ \ — экспираторные акценты [Arpel 1950]. Тогда подлинные акценты — это восходящие, а нисходящие есть показ-

и в долгах, т. е. это ни *solution grèque*, ни *solution chinoise* (см. об этом [Jakobson 1931]). Указанные особенности дали полные основания П. Гарду считать сербский язык уникальным в этом смысле [Garde 1966].

¹² Это так называемая «классическая» точка зрения; ее эволюцию см. в работе [Pollok 1957].

тели отсутствия тона (Tonlösigkeit), это — пограничные сигналы¹³; 2) по противоположной точке зрения — только нисходящие акценты и существуют, а восходящие — это предупредительные слоги слов с нисходящим акцентом, ставшие ударными благодаря новоштокавскому сдвигу. Движение тона осталось тем же¹⁴ (в истории языка нисходящие акценты первичны, примарны, восходящие вторичны, секундарны); 3) специфику нисходящих акцентов видели и в том, что долгий нисходящий акцент отличается не только экспираторностью, но и двувершинностью ( динамическая линия этого акцента), в особенности в словах с контракцией (Cō → Соо — 'соль')¹⁵.

III. Существенны концептуальные различия и по отношению к роли фразовой мелодики. При этом высказаны четыре несовпадающие теории:

1) в литературном языке мелодика фразы не влияет на слово, так как «линия фразы и линия слова совпадают». Противоречия их есть лишь в диалектах [Belić 1931: 184]; 2) фразовая интонация реализуется лишь в конечной части слова; начальная не меняется (для сохранения лексического единства) [Ivić 1959]; 3) фразовая мелодика очень сильно подчиняет себе словесный акцент, вплоть до полной его ассимиляции [Miletić 1926; Chlumský 1925—1926: 16]; 4) фразовая мелодика подчиняет словесную, но при этом акценты выступают в своих вариантах, не сливаясь друг с другом [Mahnken 1964].

IV. Есть и такая точка зрения, что в настоящее время различаются лишь долгие акценты, а краткие (\ \ и \) почти совпали [Lehiste 1963].

Более подробно все эти точки зрения будут рассматриваться в соответствующих разделах. Экспериментальные данные представлены по тем параметрам, которые были признаны специфическими для данного языка. — Это: 1) мелодика, 2) интенсивность, 3) соотношение мелодики и интенсивности, 4) длительность (ударных, безударных — долгих и кратких), изменение длительности в зависимости от позиции во фразе.

В работе не будет рассматриваться вопрос о смысловой, функциональной стороне фразовой интонации. Это определяет и от-

¹³ Эта точка зрения излагается Н. С. Трубецким [Трубецкой 1960]. Также см. [Isačenko 1939].

¹⁴ В конечном итоге эта теория, как мы постараемся показать далее, также восходит к Л. Мазингу. См. [Garde 1966].

¹⁵ Впервые это высказал на основе собственных экспериментальных данных Р. Готьо [Gauthiot 1900].

каз от обсуждения данных по ряду конкретных акустических параметров. Так, в частности, бессмысленно сообщать данные о различной величине пауз на границе между синтагмами, так как паузы показывают синтактико-смысловые отношения и от языка не зависят [в любом языке отношения следствие / результат будут переданы большей паузой, чем у синтагм, связанных отношениями дополнительности («что»), определительности («который» и т. п.)]. Точно такую же функцию, передавая распределение важного./неважного во всем предложении, несет темп речи¹⁶. Впрочем, возможно, что сербы говорят медленнее, чем русские или поляки, но для того, чтобы говорить об этом с достоверностью, необходим очень большой материал (не менее сотни дикторов разного пола и возраста).

Всего было прочитано 60 предложений, каждое из которых читалось тремя дикторами-сербам. Все три диктора отчетливо ощущали себя носителями литературного (новоштокавского) произношения. Два из них — преподаватели сербской фонетики, третий — профессор филологии в Белградском университете. С целью дополнительного контроля было произведено прослушивание «друг друга»; задача этого прослушивания — ликвидировать примеры с неудачным (по разным причинам) чтением. Отобранные таким образом всеми примеры были сняты на осциллографическую пленку, которая и явилась основным объектом анализа¹⁷.

Примеры были переведены на сербский язык самими информантами. Каждый пример представлял собой сложное предложение, состоящее из двух частей — главного и придаточного предложений¹⁸. Например: *Он је отпутовао због тога што овде њема посла; Ја читам, а он пише; Да би кћи могла да иде у школу, ми смо се населили у граду; Њему се учинило као да нас завија; Она је прећутала, и то је био прекор; Вредело је да уће, сви су се умирили; Прође мало времена, и сан га савлада; Он је отпутовао да добије посао; Мада је већ мрак, ја ипак одлазим; Снажно су га ударили кад је ушао.* Именно такие двуэлементные сложные предложения были выбраны в соответствии с определением и пониманием интонаемы, которая, по нашему представлению, реализуется именно как синтаксическая единица, т. е. при передаче смысловых отношений между сегментными зву-

¹⁶ Определение этих указателей см. [Николаева 1968].

¹⁷ Технические вопросы обработки осциллограммы см. [Николаева 1969].

¹⁸ Или двух частей сложносочиненного предложения.

ковыми группами — синтагмами. В сложных предложениях такого типа членение на синтагмы обычно бывает уже задано. Преобразования, произведенные над предложениями с чисто синтаксическими целями (перестановка элементов, например: *Мада је већ мрак, ја ипак одлазим* → *Ја ипак одлазим, мада је већ мрак*; опущение союза — *Ја читам, а он пише* → *Ја читам, он пише*), оказались в данном случае удачными для анализа внешне фонетической стороны, а именно благодаря таким перестановкам — трансформациям, мы имели возможность наблюдать одно и то же слово в разных мелодических ситуациях, но при сохранении того же лексического окружения. Например, слово *мрак* или *граду* появлялось в абсолютном конце фразы, в неконечной синтагме при восходящей мелодике, в неконечной синтагме при нисходящей мелодике; слово *он* появлялось то в абсолютном начале, то «под прикрытием» союза и т. д.¹⁹

Мелодика

В настоящей работе, как указывалось выше, рассматривались только связные тексты — предложения. Несомненным методическим просчетом явилось то, что не рассматривались отдельно все анализируемые слова, произнесенные вне контекста. Этот дефект эксперимента был обусловлен первоначальным синтактико-грамматическим подходом к интонации, при котором (в соответствии с установкой) анализ отдельных слов был излишним.

Для описания мелодики вся фраза (синтагма) разделялась на две части: часть фразы (или синтагмы), передающая фразовое или синтагматическое ударение, и часть мелодики до фразового перелома, на каденцию и участок до нее²⁰. Внутри каденции (см. выше) различаются: предударная часть — ударный слог-носитель ударения и заударные слоги. В части предкаденционной различаются начало и середина синтагмы. Различаются также конечная и неконечная синтагмы.

В соответствии с различными подходами, о которых говорилось выше, тип мелодического движения в слогах-носителях сербских акцентов рассматривается в двух планах: 1) движение в самом этом

¹⁹ Сходная методика применялась В. Милетичем (см. [Miletić 1926]).

²⁰ Слово «каденция» употребляется далее в обобщенном значении, включая и полукаденцию.

слоге; 2) высотное положение данного слога по отношению к окружающим слогам.

Остановимся на первом пункте.

Выделялось четыре типа движения мелодики в слоге: 1) восходящее, 2) нисходящее, 3) ровное (обозначалось —) и 4) сложное. Сложное движение — это движение многопереломное, которое нельзя назвать ни восходящим, ни нисходящим. Пример сложного движения см. на рис. 1 (долговосходящий акцент в слове *олу́жа* в фразе *почела је олу́жа* в произношении дикторов ВВ и ВВ).

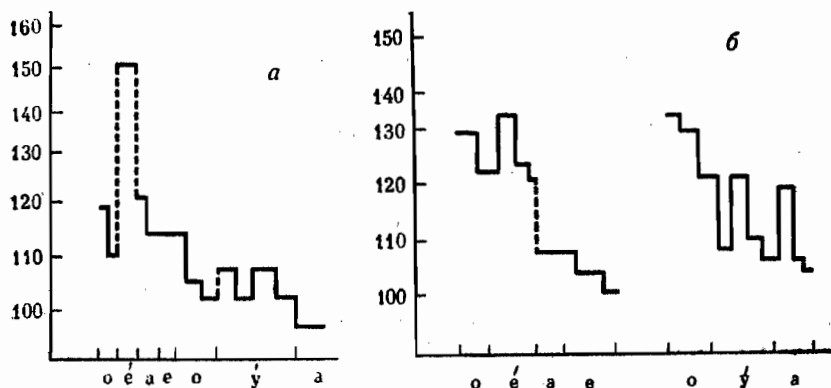


Рис. 1. Сложное движение в слоге с акцентом / слова *олу́жа* из синтагмы *Почела је олу́жа* при нисходящей мелодике

а — диктор ВВ; *б* — Диктор ВВ

Для четырех типов движения фиксировались следующие возможности / ответы: 1) является ли данный слог носителем фразового ударения — нет (+ / -); 2) где он находится — в конечной синтагме или неконечной (К/Н); 3) является ли фразовая мелодика в данном месте восходящей или нисходящей (В или Н); 4) где расположен данный слог — в начале, середине или в конце синтагмы (Н, С, К); 5) каков диапазон движения тона в слоге — в *гц*.

Таким образом, как бы заполнялась некоторая анкета-вопросник, что давало возможность анализировать материал с разных точек зрения. Благодаря указанным выше перестановкам частей предложения, одно и то же слово попадало в разные позиции внутри фразы, что давало возможность проследить изменение акцента для одной и той же лексемы. Так, например, фиксировалось изменение слова *Он* (табл. 2, Диктор ВВ).

Таблица 2

Позиционные изменения слова Он в синтагме. Акцент

Слово	Конечная/ неконечная синтагма	Тип мелодики в синтагме	Фразовое ударение/нет	Место в синтагме			Тип движения тона	Диапазон движения в гц
				Н	К	С		
Он	К	В	-	-	-	+	восх.	50
Он	К	Н	-	-	-	+	сложный	15
Он	К	Н	-	+	-	-	сложный	15
Он	К	Н	-	-	-	+	нисх.	8
Он	Н	В	-	+	-	-	восх.	10
Он	Н	В	-	+	-	-	восх.	35
Он	К	Н	-	+	-	-	нисх.	25
Он	К	В	-	+	-	-	нисх.	15
Он	К	Н	-	-	+	-	сложный	7
Он	К	В	-	+	-	-	нисх.	15
Он	К	В	-	+	-	-	восх.	37
Он	К	В	-	-	-	+	восх.	30

Как видно из приведенного фрагмента со словом *Он*, движение тона в пределах одного и того же слова с одним и тем же акцентом бывает (внутри фразы) крайне разнообразным. Покажем в табличной форме все полученные данные по движению тона в пределах ударного слога (табл. 3—14).

Таблицы показывают общее число примеров с каждым типом акцента, из них — число случаев с восходящим, нисходящим, нулевым и сложным типом движения тона. Эти же данные приводятся отдельно для ударных слогов-носителей фразового ударения. Эти же данные подсчитываются при различении типа фразовой мелодики — восходящей и нисходящей (тоже по отдельности для слов в потоке речи и слов под фразовым ударением). Такой тройной подсчет помогает выделить роль фразового ударения, роль фразовой мелодики и общую тенденцию в целом.

Табл. 5 и 6 показывают движение тона при восходящей и нисходящей мелодиках (в этих — и аналогичных таблицах — верхняя строка при каждом акценте показывает число случаев при восходящей мелодике, нижняя — при нисходящей).

Очевидно, что данные первых двух таблиц, взятых для каждого диктора (а каждый диктор представлен в четырех таблицах) суммируются из данных двух последующих таблиц, где движение тона рассматривается в соответствии с мелодикой фразы.

Таблица 3

**Средние показатели движения тона в слогах под ударением.
Диктор ВВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	53	21	24	1	7
∥	79	24	44	9	2
/	49	17	19	2	11
\	53	21	26	4	2

Таблица 4

Движение тона в словах под фразовым ударением. Диктор ВВ

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	14	4	10	—	—
∥	22	3	15	3	1
/	34	5	18	1	10
\	30	8	19	2	1

Таблица 5

**Показатели движения тона в слогах
при восходящей и нисходящей мелодике в потоке речи
(не под фразовым ударением). Диктор ВВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
◡	29	17	7	—	5
	10	—	7	1	2
∥	35	21	10	3	1
	22	—	19	3	—
/	14	12	—	1	1
	1	—	1	—	—
\	12	6	4	1	1
	11	3	7	1	—

Таблица 6

**Движение тона в словах под фразовым ударением
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор ВВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
◡	4	4	—	—	—
	10	—	10	—	—
∥	6	3	2	1	—
	16	—	13	2	1
/	6	5	—	—	1
	28	—	18	1	9
\ 	10	8	—	1	1
	20	—	19	1	—

Таблица 7

**Средние показатели движения тона в слогах под ударением.
Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
◡	58	13	23	—	22
∥	86	19	52	2	13
/	55	20	11	1	23
\ 	56	22	20	—	14

Таблица 8

**Движение тона в словах под фразовым ударением.
Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∪	15	2	10	—	3
∥	25	5	16	1	3
/	38	12	9	—	17
\	29	11	12	—	6

Таблица 9

**Средние показатели движения тона в слогах
при восходящей и нисходящей мелодике в потоке речи. Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∪	23	9	4	—	10
	20	2	9	—	9
∥	16	8	5	—	3
	45	6	31	1	7
/	14	8	1	—	5
	3	—	1	1	1
\	13	4	3	—	6
	14	7	5	—	2

Таблица 10

**Движение тона в словах под фразовым ударением
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∪	2	2	—	—	—
	13	—	10	—	3
∥	9	5	2	1	1
	16	—	14	—	2
/	13	8	—	—	5
	25	—	9	—	12
\	14	10	2	—	2
	15	1	10	—	4

Таблица 11

**Средние показатели движения тона в слогах под ударением.
Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	58	20	24	2	12
∥	83	36	39	2	6
/	48	21	19	—	8
\	51	23	22	2	4

Таблица 12

**Движение тона в словах под фразовым ударением.
Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	14	4	8	2	—
∥	26	9	14	1	2
/	34	12	15	—	7
\	28	13	12	2	1

Таблица 13

**Показатели движения тона в слогах
при восходящей и нисходящей мелодике в потоке речи. Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	18	11	5	—	2
	26	5	11	—	10
∥	14	9	3	—	2
	43	18	22	11	2
/	11	9	1	—	1
	3	—	3	—	—
\	13	8	4	—	1
	10	2	6	—	2

Таблица 14

**Движение тона в словах под фразовой ударением
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
◡	4	4	—	—	—
	10	—	8	2	—
∥	10	8	—	—	2
	16	1	14	1	—
/	14	10	2	—	2
	20	2	13	—	5
\	18	10	5	2	1
	10	3	7	—	—

Рассмотрим обобщенные данные для всех трех дикторов (табл. 15 и 16).

Из приведенных таблиц можно сделать следующие выводы: движение фразовой мелодики подчиняет себе словесную мелодику.

Однако это подчинение не абсолютно. Приблизительно треть случаев сохраняет мелодику, противоположную фразовой. При этом обращает на себя внимание тот факт, что и в тех случаях, когда мелодика «соответствует» акценту (например, мелодика нисходящая и акцент тоже нисходящий), находятся случаи противоречия мелодики и акцента²¹.

Таблица 15

**Обобщенные данные для всех дикторов по движению тона
в потоке речи при восходящей и нисходящей мелодике**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
◡	70	37	16	—	17
	56	7	27	1	21
∥	65	38	18	3	6
	110	24	72	5	9
/	39	29	2	1	7
	7	—	5	1	1
\ 	38	18	11	1	8
	35	12	18	1	4

²¹ Таким образом, небесспорно утверждение, что нисходящие акценты полностью соответствуют фразовой мелодике повествовательного предложения [Appel 1950: 63].

Таблица 16

**Обобщенные данные для всех дикторов по движению тона
в словах под фразовым ударением
при восходящей и нисходящей мелодике**

Акцент	Общее число случаев	Тип движения тона в слогах			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∩	10	10	—	—	—
	33	—	28	2	3
∥	25	16	4	2	3
	48	1	41	3	3
/	33	22	2	—	9
	73	6	40	1	26
\<	42	28	7	3	4
	45	4	36	1	4

На рис. 2 показана полная ассимиляция акцентов ∩ и ∥ в одной фразе — *Мада је већ мрак, ја ипак одлазим*; 2) кроме того, очевидно по данным слов в потоке речи, что утверждение о том, что все ∥ в потоке речи имеют тенденцию быть равнотонными [Gauthiot 1900: 337], не всегда точно, хотя число случаев в графе «нулевое движение» у них самое большое.

Существенным критерием оказался абсолютный подсчет движения тона в *гц*, так, ∩ и ∥ при восходящей мелодике изменялись меньше, чем / и \<, и наоборот. Особенно ярко эта значимость абсолютного высотного интервала проявилась при понижающейся фразовой мелодике, наложенной на долгий восходящий акцент (/). Рис. 3 показывает незначительность движения в ударном слоге слова *граду*.

Таким образом, фразовая мелодика оказывается сильным фактором. Напомним, что некоторым образом словесные акценты оказываются в неравном положении, так как нисходящие акценты не могут быть не на первом слоге, а восходящие не могут быть на последнем²². Й. Хлумский был одним из лингвистов, ранее других осознавших роль фразовой интонации. Так, он повторил опыт Р. Экблома, меняя «настроение» и силу высказывания, и показал легкость преобразования словесного акцента в «древний вид» [Chlumský 1925—1926; Ekblom 1924—1925] в соответствии с общемелодической установкой. Именно незнание того факта, что под логическим ударением всякое

²² См. об этом [Pollok 1964: 41].

слово приобретает подчеркнутый (повышенный) характер, заставило Р. Экблума сделать слишком категорический вывод о том, что краткий нисходящий акцент при подчеркивании становится восходящим, воспроизводя, таким образом, прежнее ударение — старый акцент [Ekblom 1924—1925].

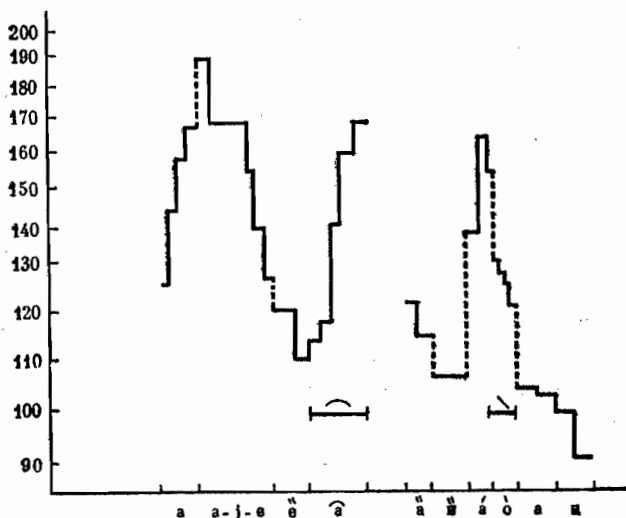


Рис. 2. Ассимиляция \circ в слове *мрѣк* при восходящей мелодике и ассимиляция \backslash в слове *одлазѣм* при нисходящей мелодике во фразе *Мада је већ мрѣк, ја ипак облазим* (Диктор ВВ)

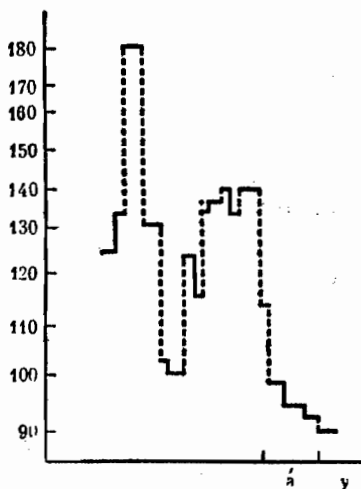


Рис. 3. Незначительное движение тона в слове *с / граду* (Диктор ВВ)

Некоторая наивность свойственна при решении вопроса об эмфазе в сербском языке и О. Брок²³. Отвлекаясь от литературного языка, приведем крайне интересное замечание М. Павловича о том, что в говорах с ослабленным ощущением словесного акцента именно фразовой интонации и порядку слов принадлежит роль ведущего фактора в выборе акцента²⁴.

Выше рассматривались две обобщенные таблицы (15 и 16) слова в потоке речи и слова под фразовым ударением. Совершенно очевидно, судя по данным этих таблиц, что фразовая мелодика не распространяется диффузно по всей фразе или синтагме, а локализуется — если отвлечься от эмфазы — в зоне последнего ударного слога, являющейся переломным местом, где и происходит мощное воздействие на акцент слова²⁵.

Факт этот — роль последнего ударного слова в функционировании фразового ударения — описан многократно и для многих языков [Schubiger 1953; Hultzen 1964; Isačenko, Schädlich 1964; Златоустова 1963; Гордина, Быстров 1961].

Однако для фразовой каденции существенно также движение тона в предупредных и особенно заударных слогах. Эта важность движения заударной части неодинакова для разных языков, что определяется длительностью ударного слога, который «успевает» или не успевает выполнить мелодическую фигуру. Для сербского языка, очевидно, движение заударных слогов более существенно, чем для русского, что и дало, как видно, П. Ивичу основания для утверждения о существенности именно конца слова для реализации фразовой мелодики [Ivić 1959]. Итак, в рамках отдельного слога фразовая мелодика оказывает влияние на тип словесного акцента. По нашим данным, не наблюдалось совпадения кратких акцентов. Однако, как это ни парадоксально, наибольшее влияние оказывалось на долгие акценты, как представляется, по причинам, о которых будет сказано ниже.

Сопоставим полученные нами и другими авторами данные. Наиболее детально этот вопрос разработан Б. Милетичем и К. Х. Поллоком [Miletić 1937; Pollok 1964].

²³ О. Брок пишет о связи эмфазы и типа словесного акцента. При / эмфаза выражается удлинением, при \ — экспирацией; при «экспираторных» нисходящих — редупликацией — *vřlo — vřl* [Брок 1910: 195].

²⁴ Так, в говоре возможно (Janjevo): *golèma je sòba* и *sòba je golèma*; *donèja slàmu* и *slàmu je donèja* [Pavlović 1966].

²⁵ См. об этом еще [Трубецкой 1960: 248].

Данные Милетича нами оформлены (у него они представлены как мелодические кривые) в виде таблицы (табл. 17).

Таблица 17

Данные Б. Милетича

Акцент	Общее число	Тип движения тона			
		восх.	нисх.	нулевой	сложный
∪	5	—	—	—	5
	4	—	2	—	2
∥	4	—	2	—	2
	7	—	2	—	5
/	2	2	—	—	—
	2	2	—	—	—
∖	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

Несмотря на тезис Б. Милетича о сильном влиянии мелодики фразы, данные его как будто бы свидетельствуют о сохранении словесного акцента. Однако мелодические кривые, приводимые Б. Милетичем, обнаруживают резкое различие в абсолютном движении тона (скажем / для *реке*, под восх. интонацией и ∖ — под нисходящей).

Соотношению акцента и фразовой мелодики посвящает значительный по объему раздел своей монографии и К. Х. Поллок. Однако приводимые им данные по существу несопоставимы с «традиционными», так как автор принадлежит к «Геттингенской школе» изучения интонации²⁶. Согласно основной концепции этой школы, предложение представляет собой сложную иерархическую совокупность дуг-парабол, принадлежность к одной параболе определяется синтактико-смысловыми отношениями, причем элементы одной параболы могут разделяться другими словами — нечто вроде т. н. «прерывных морфем». (Разумеется, это изложение крайне упрощенно.) Более непосредственные отсылки есть в других разделах его книги, где указывается общее число случаев восходящей — нисходящей мелодики для каждого акцента. К. Х. Поллок выделяет две сильные позиции — начало и конец предложения. Восходящие акценты и долгий нисходящий подчиняются фразовой интонации, краткий

²⁶ См. работы этого направления [Mahnken 1953; 1962; Braun 1953].

нисходящий занимает совершенно особую позицию (об этом будет сказано ниже).

Все сказанное выше относилось к движению тона в пределах одного ударного слога. Однако относительно сербского языка и реализации его словесных акцентов существен анализ оригинального (по отношению к другим языкам) мнения о двусложности (а не односложности!) сербских словесных акцентов. Теория эта обычно связывается с именем Л. Мазинга [Masing 1976: 58]. (Эта оговорка обусловлена некоторыми критическими замечаниями по поводу приоритета в теории двусложности, появившимися вскоре после публикации диссертации Л. Мазинга²⁷).

Л. Мазинг выделяет два основных типа акцентных форм: 1) двусложный (Zweisybenaccent); 2) односложный (Einsybenaccent).

Односложный (падающий) может быть на любом слоге (Мазинг обозначал его как долгонисходящий и долгий слог, следующий за ударным восходящим, т. е. как носитель примарного нисходящего акцента). Двусложный не может быть на последнем слоге. В односложных акцентах происходит падение тона с высокой точки (а в долгих слогах — иногда и подъем на эту точку) в пределах одного слога, в двусложных — в ударном слоге подъем, а понижение на втором слоге.

При этом возможны разные комбинации долготы и краткости в ударных и заударных слогах. Л. Мазинг приравнивает краткий слог к одной мере, долгий — к двум мерам.

Однако по мере чтения книги становится ясным, что Мазинг имел в виду не столько двусложность, сколько двуэлементность мелодических фигур (повышение — понижение), которые могут по-разному осуществляться в слове.

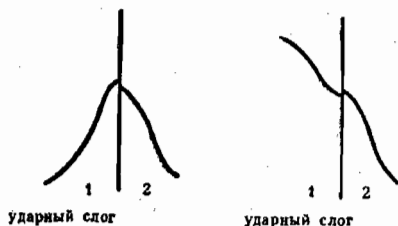
Второй слог двусложного акцента, по Мазингу, повторяет фигуру односложного, нисходящего акцента, но только в ослабленном в мелодическом и силовом отношении виде. Таким образом, нисходящий акцент первичен, а восходящий представлен подступом к нисходящему плюс нисходящий. Завершающая таблица Л. Мазинга показывает движение этой фигуры по слову в зависимости от места нисходящего акцента (т. е. отождествляет нисходящий акцент и заударную долготу).

Более поздние исследования во многом подтвердили тезис о двусложности восходящих акцентов.

²⁷ [Maretić 1883]. Т. Маретич приписывает открытие двусложности акцентов Дж. Даничичу.

А. Мазинг различал две мелодические фигуры:

Однако если ввести понятие нулевого слога, то можно говорить



об одной фигуре — первой. Во второй восходящая часть приходится на нулевой предударный слог (речь идет о современных нисходящих акцентах, располагающихся на первом слоге). В потоке речи слова сливаются, и этот нулевой слог перед нисходящим акцентом реализуется. Поэтому для правильного различения акцентов важно знать позицию данного ударного слога по отношению к окружающим его слогам. Этот критерий дает новую группировку акцентных слогов. Так, слоги с разным внутренним движением тона могут иметь одно и то же высотное распределение. Например:



Таблица 18

Вид мелодических фигур для слов в потоке речи при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор ВВ

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
∩	29	8	11	—	10
	10	2	—	8	—
∥	35	16	12	1	6
	22	2	4	16	—
/	7	—	1	—	6
	8	—	7	1	—
∖	12	7	2	—	3
	10	—	6	4	—

Таблица 19

Вид мелодических фигур для слов под фразовым ударением при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор ВВ

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
˘	4	—	3	—	1
	10	—	1	9	—
˝	6	3	2	—	1
	16	—	6	9	1
/	6	—	5	—	1
	28	15	6	7	—
\	10	1	4	—	5
	20	14	3	3	—

Были составлены для трех дикторов таблицы числового распределения мелодических фигур для слогов с разным типом акцента (табл. 18—23). При этом в связи с общей задачей учитывалась роль фразовой мелодики. Таблицы составлялись для слов в потоке речи и (отдельно) для слов под фразовым ударением.

Всего выделялось четыре типа распределения трех слогов — предударного, ударного, заударного. Эти типы обозначались посредством сокращений В, т. е. «выше», и Н — «ниже» (по отношению к ударному слогу). Ударный слог обозначался через отношение к предшествующему слогу. Это — ВНВ, НВН, НВВ, ВНН.

При этом необходимо отметить, что эти мелодические фигуры могут располагаться как на общем восходящем, так и общем нисходящем движении тона. Например, НВН может выглядеть как

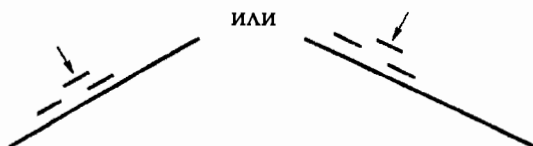


Таблица 20

**Вид мелодических фигур для слов в потоке речи
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
◡	23	5	5	—	13
	20	2	3	15	—
∥	16	3	4	—	9
	45	2	3	40	—
/	14	3	1	—	10
	3	1	2	—	—
\	13	5	—	—	8
	14	6	5	3	—

Таблица 21

**Вид мелодических фигур для слов под фразовым ударением
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор АП**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
◡	2	—	1	—	1
	13	3	4	6	—
∥	9	1	3	—	5
	16	1	9	6	—
/	13	—	7	—	6
	25	11	9	5	—
\	14	2	—	—	12
	15	5	5	5	—

Таблица 22

**Вид мелодических фигур для слов в потоке речи
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
◡	18	—	13	—	5
	26	1	4	21	—
∥	14	—	10	—	4
	43	2	11	30	—
/	11	1	1	—	9
	3	1	2	—	—
\	13	—	1	1	11
	10	4	3	3	—

Таблица 23

**Вид мелодических фигур для слов под фразовым ударением
при восходящей и нисходящей мелодике. Диктор РВ**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
◡	3	—	1	—	2
	9	1	3	5	—
∥	10	—	7	—	3
	16	—	5	—	11
/	14	1	4	—	9
	20	12	3	5	—
\	18	2	4	—	12
	10	2	3	4	1

Как и для предыдущего подсчета, суммируем результаты всех трех дикторов, различая слова в потоке речи и слова под фразовым ударением (табл. 24—25).

Таблица 24

**Обобщенные данные по виду мелодических фигур
для слов в потоке речи при восходящей и нисходящей мелодике**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
◡	70	13	29	—	28
	56	5	7	44	—
∥	65	19	26	1	19
	110	6	18	86	—
/	32	4	3	—	25
	14	2	11	1	—
\ /	38	12	2	—	22
	34	10	14	10	—

Таблица 25

**Обобщенные данные по виду мелодических фигур для слов
под фразовым ударением при восходящей и нисходящей мелодике**

Акцент	Общее число случаев	Вид мелодической фигуры			
		ВНВ	НВН	ВНН	НВВ
∩	9	—	5	—	4
	32	4	8	20	—
∥	25	4	12	—	9
	48	1	20	26	1
/	33	1	16	—	16
	73	38	18	17	—
\	42	5	8	—	29
	45	21	11	12	—

Итак, какие типы характерны для каждого акцента? Перечисляем по степени убывания.

I. ∩	в потоке речи,	восх. мелодика	— НВН, НВВ, ВНВ;
	фразовое ударение,	»	— НВН, НВВ;
II. ∥	в потоке речи,	нисх. мелодика	— ВНН, НВН, ВНВ;
	фразовое ударение,	»	— ВНН, НВН, ВНВ;
III. /	в потоке речи,	восх. мелодика	— НВВ, ВНВ, НВН;
	фразовое ударение,	»	— НВВ, НВН, ВНВ;
IV. \	в потоке речи,	нисх. мелодика	— НВН, ВНВ;
	фразовое ударение,	»	— ВНВ, НВН, ВВН;
IV. ∥	в потоке речи,	восх. мелодика	— НВВ, ВНВ, НВН;
	фразовое ударение,	»	— НВВ, НВН, ВНВ;
	в потоке речи,	нисх. мелодика	— НВН, ВНВ, ВВВ;
	фразовое ударение,	»	— ВНВ, ВНН, НВН.

Из полученных факторов можно сделать следующие выводы: 1) для каждого ряда представлены только три мелодические фигуры. При восходящей мелодике не встречается фигура ВНН, при нисходящей — НВВ. Это не случайно, так как первая фигура представляет понижающийся тип движения, а вторая — повышающийся, т. е. очевидно их соответственное противоречие типу фразовой мелодики — восходящей и нисходящей; 2) полностью совпадают данные у ∩ и ∥,

с одной стороны, и у / и \ — с другой; 3) данные слов в потоке речи совпадают с данными слов под фразовым ударением; 4) а — для обоих нисходящих акцентов наиболее характерны следующие фигуры: при восходящей фразовой мелодике — НВН, при нисходящей фразовой мелодике — ВНН, т. е. это означает, что слог, следующий за ударным, при обеих фразовых мелодиках располагается ниже ударного; б — для обоих восходящих акцентов наиболее характерны следующие фигуры: при восходящей фразовой мелодике — НВВ, при нисходящей — ВНВ, т. е. это значит, что слог, следующий за ударным, при обеих фразовых мелодиках располагается выше ударного.

Таким образом, гипотеза о двусложности акцентов как бы подтверждается; 5) для всех акцентов при обеих мелодиках представлена общая фигура НВН (т. е. это не что иное, как мелодическое выделение ударного слога); 6) сказанное выше относится лишь к наиболее характерному, количественно далеко не абсолютному явлению.

Как видно по табличным данным, распределение фигур более разнообразно и пестро.

Как выглядят эти фигуры, видно на рис. 4, где показаны в произношении разных дикторов (при нисходящей фразовой мелодике) фигуры НВН и ВНВ.

На приводимых рисунках, действительно, очень наглядно сходство мелодического рисунка у второго слога восходящего акцента и ударного слога при нисходящем акценте.

Особое место занимает акцент \, который, обладая даже нулевым движением, обязательно (больше, чем ∩) выдается из мелодического потока. Это дало основания К. Х. Поллоку называть его как бы «торчащим» (Stosston)²⁸. Этот тип движения сохраняется и при различии движения в самом слоге, которое может быть ровным, восходящим или нисходящим²⁹ (см. рис. 5, показывающий характерный вид \ в потоке речи). При этом падение тона может происходить и на следующем слоге, т. е. и эта фигура становится двусложной [Lehiste, Ivić 1963: 131—132].

Все сказанное об акценте \ относится и к долгому нисходящему акценту ∩, но вследствие временной протяженности его мелодическая фигура раскладывается на больший участок движения тона и тем самым больше подчиняется фразовой мелодике. Акцент \,

²⁸ В сербской традиции он называется «острым» (ostar).

²⁹ Т. е. существенна его реализация на фоне других слогов.

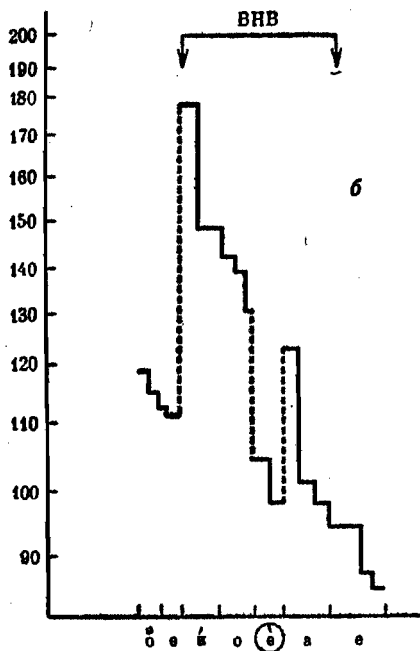


Рис. 4
 а — тип движения НВН в слове с \\
 слова *кйша* из синтагмы *Удари кйша*
 (Диктор АП);
 б — тип движения ВВН в слове с \\
 слова *нѣправѣдно* из синтагмы *што је*
било неправѣдно (Диктор ВВ)

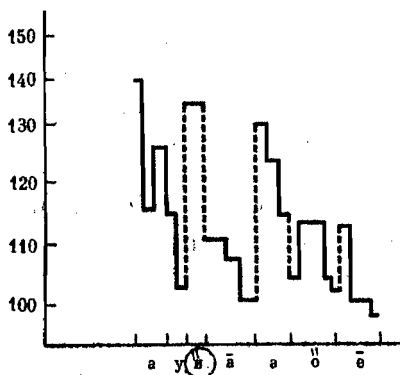
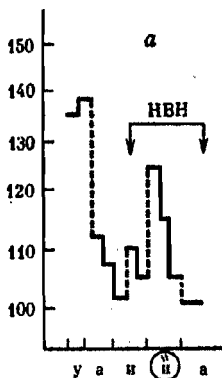


Рис. 5. Высокое положение слога с \\
 в потоке речи.

Слово *йтак* из синтагмы *Ј*
а њу итак да одем (Диктор АП)

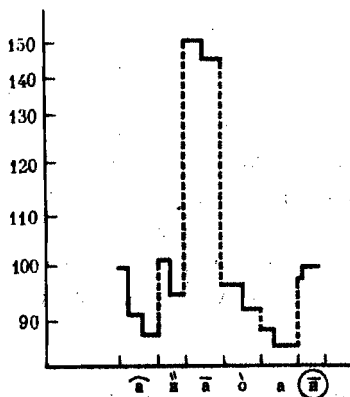
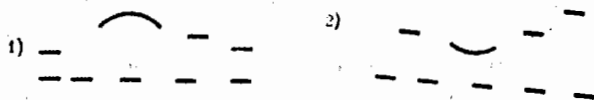


Рис. 6. Подъем тона
 во втором заударном слоге слова
одлазим из синтагмы
Ја итак одлазим
 при нисходящей мелодике
 (Диктор АП)

осуществляющийся за краткий промежуток времени, кажется на графике более ярким (недаром его называли *jaki* 'яркий').

Для восходящих акцентов при нисходящей мелодике фразы приведенные выше табличные данные показывают почти равное число ВНВ (заударный слог выше) и НВН (заударный слог ниже). Это справедливо для такого описания, которое фиксирует движение тона лишь в непосредственно заударном слоге. Однако как падение тона в словах с нисходящими акцентами может осуществляться не в ударном, а в следующем, заударном слоге, так и восхождение тона в словах с восходящими акцентами может осуществляться не в непосредственно заударном, а во втором заударном слоге³⁰ (см. рис. 6), т. е. тип НВН превращается в НВНВ. Таким образом, речь идет, собственно говоря, о наличии в сербском языке некоторой сложной мелодической фигуры, реализующейся при ударном слоге. Для осуществления этой фигуры требуется определенное время. Разная длительность звуков и темп речи, возможно, и определяют разное послоговое распределение этой фигуры³¹.

Последний вопрос, связанный с анализом мелодики, — вопрос о фразовых каденциях. О. Брок в своей книге мало уделяет внимания сербским каденциям в отличие от других славянских языков. Он выделяет (весьма схематично) два вида восходящей каденции — с абсолютно высоким и абсолютно низким положением ударного слога



и один тип нисходящей каденции — с низким положением ударного слога.

Как уже говорилось, наиболее подробно вопрос о типах сербской фразовой мелодики разработала И. Манкен: Она выделяет следующие типы неконечной синтагмы [Mahnken 1964: 72—90]:

³⁰ Об этом же пишут [Lehiste, Ivić 1963].

³¹ Эта гипотеза связана более с временем как параметром, чем с распределением по слогам и числом слогов. Наличие такой фигуры связывается и с промежуточным состоянием, когда было как бы двусложное ударение (*нога, рука*). См., например [Wijk 1944]. Именно о времени говорится в указанной работе И. Лехисте — П. Ивича ($\cap = \cup + \cup$). Быть может, имеет смысл иногда рассматривать «ударную» мелодическую фигуру не как точно делящуюся на число слогов «без остатка».

1) ударный слог ведет к вершине. Заударные слоги остаются примерно на том же уровне. Тип реализуется при акцентах / и \; 2) ударный слог образует вершину. Заударные слоги располагаются ниже. Тип реализуется при акцентах ∩ и \; 3) ударный слог показывает резкий подъем, но располагается между предударным и заударным; 4) ударный слог занимает самое низкое положение, но подъем начинается с него.

И. Манкен отмечает также разные (два) типы нейтральной каденции.

Они различаются по виду акцента в слове. При ∩ и \ самое сильное падение тона происходит в ударном слоге, заударные располагаются на том же уровне. При / и \ заударные продолжают тип движения ударного.

Типы фразовых каденций в наших таблицах отражены в данных о распределении мелодических фигур в словах под фразовым ударением. По этим данным, наблюдается очень приблизительное соответствие гипотезе И. Манкен [Mahnken 1964], однако число отклонений крайне велико.

Говоря о типах фразовых каденций, необходимо упомянуть один своеобразный, именно сербский алломорф восходящей фразовой каденции, не наблюдавшийся в анализированных ранее славянских языках. Речь идет о следующем явлении. В современном русском языке все более преобладающим становится такой тип восходящей мелодики, когда релевантным является лишь движение тона в ударном слоге, а заударные слоги резко понижаются. В комбинации с качественной и количественной модификацией заударных слогов (т. н. «редукцией») это придает характерное звучание современной русской речи. Этот тип мелодического движения, видимо, новый. Так, Е. А. Брызгунова фиксирует, что этот тип характерен для речи молодого поколения и для разговорной речи в целом, а для речи старой интеллигенции он заменяется типом с промежуточным положением ударного слога [Брызгунова 1963: 195]; этот тип как наиболее нейтральный представлен во всех славянских языках [Jassem 1962: 24—69; Romportl 1951], хотя еще О. Брок его совсем не отмечает. Для сербского языка И. Манкен связывает его с нисходящими словесными акцентами. В наших примерах такое чтение осуществлялось и в случаях с восходящими акцентами. Однако при этом и реализуется тот особый сербский тип восходящей каденции, когда понижение начинается не со следующего за ударным слога, а через слог и более. Это объясняется тем, что при восходящих словесных

акцентах восходящее движение распространяется на следующий слог. Рис. 7а показывает «русский тип» при восходящем акценте в чистом виде, рис. 7б — сербскую модификацию этого типа. В целом этот тип движения тона (условно «русский») в наших сербских примерах был представлен очень широко³². Для более точных данных необходимо, однако, учитывать, что слова, находящиеся под фразовым ударением, имеют разное число слогов. Проще говоря, если представлено односложное слово под нисходящим акцентом или двусложное под восходящим, то нельзя говорить о том, какой тип каденции представлен, так как диагностические «хвосты» как бы отрезаны.

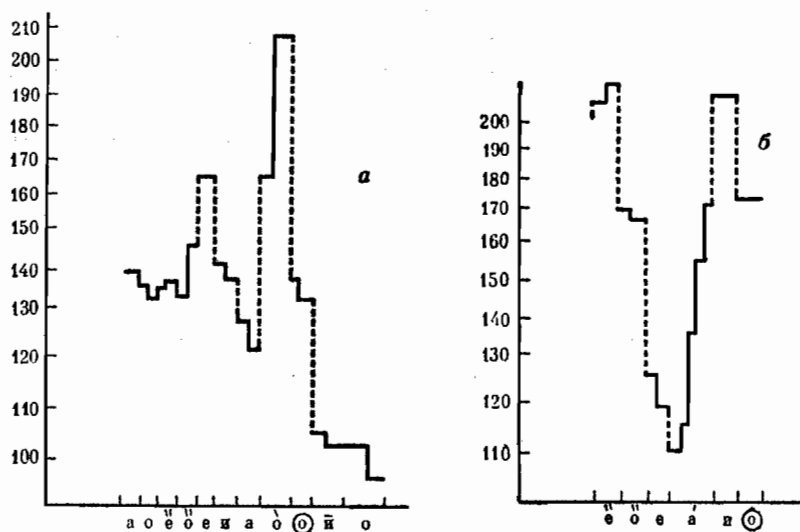


Рис. 7

а — падение тона в синтагме *Кад смо већ почели да говоримо* в первом заударном слоге фразового ударения при восходящей мелодике (Диктор РВ);

б — падение тона в синтагме *Тек што се смрачило* во втором заударном слоге фразового ударения при восходящей мелодике (Диктор ВВ)

³² См. также данные [Bray 1960; 1961].

Интенсивность

Различное отношение словесных акцентов к динамическому выделению также является одной из общеизвестных особенностей сербского языка. Основной тезис — в том, что нисходящие акценты экспираторны, восходящие — музыкальны³³. Конкретно это выражается в том, что интенсивность первого слога при нисходящих акцентах гораздо больше интенсивности второго слога; при восходящих акцентах гораздо меньше различаются интенсивности ударного и заударного слогов (при \cap и $\backslash\backslash - \overline{\quad}$, при $/$ и $\backslash - \overline{\quad}$).

Наиболее эффектно этот тезис подтверждается в работе Дж. Костица, специально посвященной данной проблеме [Костић 1949—1950]. Дж. Костиц рассматривал интенсивность слогов в двусложных словах, отличающихся только акцентом (*ùgra* — *ùgra*, *snòsi* — *snòsi*, *kòsa* — *kòsa* и т. д.). Сначала сопоставлялись данные по первому слогу, затем — по второму. В результате получились схемы, показанные выше.

Данный вопрос имеет две разные стороны. Первая — проблема относительно большего разрыва по интенсивности между первым и вторым слогом при нисходящих акцентах. Как представляется, это явление имеет отношение не к сербскому языку, а к физиологии просодических явлений³⁴. Так, доказано, что интенсивность сама по себе (точнее, предоставленная сама себе) имеет тенденцию понижаться к концу речевой единицы. Однако мелодика этих речевых единиц воздействует на интенсивность, подчиняя ее себе (более подробное углубление в эту тему приводит к сфере функционирования голосовых связок и повышению/понижению субглоттального давления). Мелодика, при восходящем движении тона, как бы «тащит» за собой динамическую структуру. Так, в частности, в работе «Интонация предложения в славянских языках» автор отчетливо обнаружил, что при нисходящей мелодике движение интенсивности было резко нисходящим, при восходящей — слабо нисходящим [Николаева 1969]. Некоторые неясные случаи несовпадения этих двух движений объясняются еще одним обстоятельством: гласные не равны по своим динамическим возможностям; одни могут сильно увеличивать интенсивность, устремляясь за мелодикой, другие — нет, т. е. они

³³ См., например [Ekblom 1917; Trager 1940; Appel 1950; Miletic 1926].

³⁴ См. об этом [Bolinger 1964; Lieberman 1967].

разногромки³⁵. Именно этот факт (разногромкость гласных) послужил основой для гипотезы Н. Водарца об экспираторном характере польского ударения [Wodarz 1964] (то, что заударный гласный может иметь интенсивность больше ударного, часто объясняется именно этими внутренними возможностями гласных).

Таким образом, соотносительная величина интенсивности ударного и заударных слогов при разных словесных акцентах сербского языка есть производное от движения мелодики, явления первичного³⁶.

Вторая проблема, связанная с экспираторностью акцентов, — вопрос об абсолютном различии первых слогов при разных акцентах.

В нашей работе изолированные слова не рассматривались. Рис. 8 показывает, как сильно могут отличаться по интенсивности в реальной речи слова с одним и тем же акцентом (*paš lajē*). Поэтому и не рассматривались интенсивности всех слов в потоке речи. Вопрос об экспираторности словесных акцентов решался на базе фразового и синтагматического ударений, где гласный обычно бывает выделен. Таким образом, соединялись три типа данных: 1) тип акцента, 2) отмеченность / неотмеченность ударного слога синтагмы³⁷, 3) тип мелодики синтагмы (см. табл. 26—28).

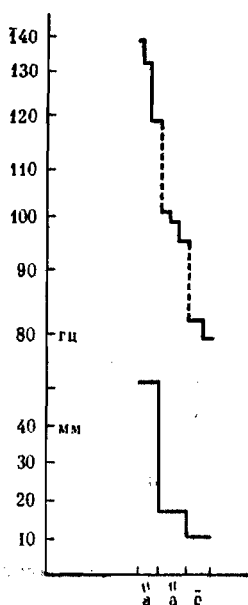


Рис. 8. Разная интенсивность во фразе у слов с одним и тем же акцентом (Диктор ВВ).
Paš lajē. Верхняя линия показывает мелодику

³⁵ См. для русского языка [Жинкин 1954].

³⁶ Именно так и понимал различие акцентов П. Ивич [Ivić 1967], а также [Pollok 1964: 129]; см. также [Hodge 1958].

³⁷ Т. е. его выделенность силовыми средствами.

Таблица 26

Акцентная отмеченность ударных слогов. Диктор ВВ

Мелодика	Число отмеченных случаев				Число неотмеченных случаев			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	2	6	6	5	2	—	—	5
Нисходящая	—	5	2	3	10	11	22	17

Таблица 27

Акцентная отмеченность ударных слогов. Диктор АП

Мелодика	Число отмеченных случаев				Число неотмеченных случаев			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	1	5	8	6	1	4	5	8
Нисходящая	6	9	8	6	7	7	17	9

Таблица 28

Акцентная отмеченность ударных слогов. Диктор РВ

Мелодика	Число отмеченных случаев				Число неотмеченных случаев			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	3	3	10	11	1	7	4	7
Нисходящая	3	6	7	1	7	10	13	9

Суммируем полученные результаты (табл. 29).

Таблица 29

Акцентная отмеченность ударных слогов. Обобщенные данные

Мелодика	Число отмеченных случаев				Число неотмеченных случаев			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	6	14	24	22	4	11	9	20
Нисходящая	9	20	17	10	24	28	52	35

I. Всего отмеченных акцентов:

для ∩ и ∥ — 49, для / и \ — 73.

Неотмеченных акцентов:

для ∩ и ∥ — 67, для / и \ — 116.

II. При восходящей мелодике всего отмеченных акцентов — 66, неотмеченных — 44.

При нисходящей мелодике отмеченных случаев 56, неотмеченных — 139.

III. При восходящей мелодике: у нисходящих акцентов отмеченных случаев 20, неотмеченных — 15; у восходящих акцентов отмеченных случаев 46, неотмеченных — 29.

При нисходящей мелодике: у нисходящих акцентов отмеченных случаев 28, неотмеченных — 52, у восходящих акцентов отмеченных случаев 27, неотмеченных — 87.

Таким образом, можно по этим результатам сказать следующее: 1) среди слов с нисходящими акцентами динамически отмеченных случаев больше, но это превышение незначительно; 2) при восходящей мелодике отмеченных акцентов больше, чем при нисходящей.

Следующий этап — это определение совпадения движения мелодики и движения интенсивности. Этот подсчет также проводился с учетом различия акцентов, но, так сказать, с «обратным знаком» — большее число несовпадений должно свидетельствовать о динамической самостоятельности акцента. Результаты подсчетов приводятся в табл. 30—32.

Таблица 30

Совпадение движения мелодики и интенсивности. Диктор ВВ

Мелодика	Число совпадений				Число несовпадений			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	1	3	1	4	3	3	5	6
Нисходящая	10	15	23	9	—	1	1	11

Таблица 31

Совпадение движения мелодики и интенсивности. Диктор АП

Мелодика	Число совпадений				Число несовпадений			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	1	4	11	14	1	5	2	—
Нисходящая	8	11	16	10	5	5	9	5

Таблица 32

Совпадение движения мелодики и интенсивности. Диктор РВ

Мелодика	Число совпадений				Число несовпадений			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	2	5	11	15	2	5	3	3
Нисходящая	10	15	18	7	—	1	2	3

Суммируем полученные результаты (табл. 33)

Таблица 33

Совпадение движения мелодики и интенсивности.
Обобщенные данные

Мелодика	Число совпадений				Число несовпадений			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
Восходящая	4	12	23	33	6	13	10	9
Нисходящая	28	41	57	26	5	7	12	19

Итак, подведем итоги данной группе таблиц:

I. При нисходящих акцентах число совпадений — 85, число несовпадений — 31; при восходящих акцентах число совпадений — 139, число несовпадений — 50.




II. При восходящей мелодике число совпадений — 72, несовпадений — 38; при нисходящей мелодике число совпадений — 152, число несовпадений — 43.

III. При восходящей мелодике: у нисходящих акцентов число совпадений — 161, число несовпадений — 19; у восходящих акцентов число совпадений — 56, несовпадений — 19; при нисходящей мелодике: у нисходящих акцентов число совпадений — 69, несовпадений — 12; у восходящих акцентов число совпадений — 83, несовпадений — 31.

Из этого делаем выводы:

1) при нисходящей мелодике больше совпадений движений тона с динамическим движением, чем при восходящей (это, очевидно, объясняется упоминавшимися выше физиологическими причинами); 2) у нисходящих акцентов больше (относительно!) несовпадений, чем у восходящих.

Таким образом, некоторая выделенность нисходящих акцентов экспираторными средствами отмечается и при другом подходе, но в очень низких количественных показателях.

Особым вопросом, связанным с экспираторно-динамической стороной воплощения сербских акцентов, является вопрос о т. н. двувершинности долгого нисходящего акцента, т. е. гипотеза, что динамическая кривая слога-носителя акцента имеет вид не , а  или . Эта гипотеза, как говорилось вначале, восходит к Р. Готью, видевшему причину двувершинности в генетической сложности таких слогов. Впоследствии двувершинность стали находить в слогах с разными акцентами и основным источником ее стали считать количественную (временную) протяженность слога³⁸.

В нашей работе мы также рассматривали число случаев с двувершинным динамическим движением. Покажем полученные данные в табл. 34—37.

Таблица 34

Число случаев с двувершинным динамическим движением в ударных и безударных слогах. Диктор ВВ

Мелодика	Число случаев двувершинности					
	○	∥	/	\	долгий б/у	краткий б/у
Восходящая	5	—	7	—	1	2
Нисходящая	1	—	2	—	1	—

Таблица 35

Число случаев с двувершинным динамическим движением в ударных и безударных слогах. Диктор АП

Мелодика	Число случаев двувершинности					
	○	∥	/	\	долгий б/у	краткий б/у
Восходящая	5	5	9	—	3	4
Нисходящая	2	—	1	—	—	—

Таблица 36

Число случаев с двувершинным динамическим движением в ударных и безударных слогах. Диктор РВ

Мелодика	Число случаев двувершинности					
	○	∥	/	\	долгий б/у	краткий б/у
Восходящая	14	10	9	5	2	3
Нисходящая	1	1	2	2	2	2

³⁸ К. Х. Поллок приводит специальную таблицу двувершинности по разным типам словесных акцентов в абсолютных числах и в процентах, но только в изолированно произнесенных словах, т. е. без учета мелодики.

Таблица 37

**Число случаев с двувершинным динамическим движением
в ударных и безударных слогах. Обобщенные данные**

Мелодика	Число случаев двувершинности					
	∩	∥	/	\	долгий б/у	краткий б/у
Восходящая	24	15	25	5	6	9
Нисходящая	4	1	5	2	3	2

Таким образом, очевидно следующее: 1) двувершинность присуща всем типам слогов; 2) двувершинность реализуется главным образом при восходящей мелодике — причиной этого можно считать ту же физиологию речеговорения; 3) для ударных слогов двувершинность характерна особенно в том случае, когда они долгие.

Сложность взаимоотношений мелодики и интенсивности сказывается и в неясности распределения принципов компенсации и параллелизма при совпадении и несовпадении этих двух параметров³⁹. Так, в одних и тех же по лексическому составу примерах может быть и почти полное их повторение по рисунку (рис. 9а) и полное несовпадение (почти зеркальное) мелодики и интенсивности (см. рис. 9б и 9е).

Длительность

Применительно к сербскому языку интерес к данным длительности объясняется двумя разными аспектами.

Первый аспект — определение абсолютной и относительной длительности долгих (∩, /) и кратких (∥, \) словесных акцентов, когда важно: 1) есть ли противопоставление долгих кратким; 2) какова соотносительная длительность всех четырех акцентов и существует ли она в нормативном плане.

³⁹ См. об этом [Николаева 1969: 249—253].

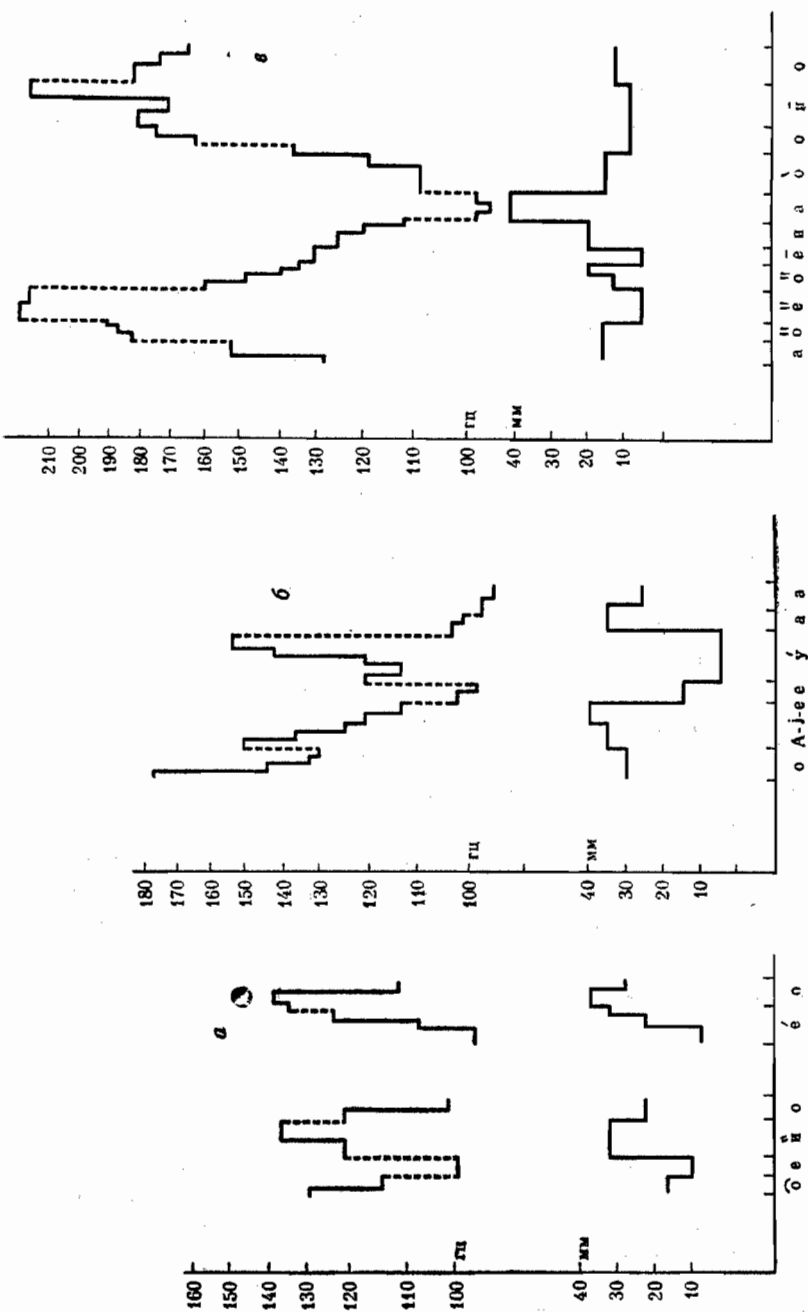


Рис. 9

а — совпадение мелодики и интенсивности в синтагме *To je bio prekor* (Диктор РВ);
 б — несовпадение мелодики и интенсивности в синтагме *Ona je preputala* (Диктор АП);
 в — несовпадение мелодики и интенсивности в синтагме *Kad mo veš počeli da govoremo...* (Диктор АП)

Связан с этим и вопрос о так называемых долгих заударных⁴⁰.

Второй аспект — определение длительной или, точнее, ритмически-временной организации речи как показателя национально-языкового своеобразия. Напомним, что мы выделили три национально-речевых параметра: 1) движение мелодики, 2) интенсивность, 3) длительность.

Под длительностью имеется в виду свойственное данному языку относительное распределение временных значимостей звуков. «Количественные характеристики являются не менее значительными для типологического описания языков, чем, например, описание звукового и фонемного составов, грамматического строя и т. д.» [Болла 1968].

Эта длительность звуков сложным образом соотносится с ритмической организацией синтагм, т. е. с распределением длительности звуков относительно ударения, а более широко — с т. н. «временной организацией синтагмы»⁴¹.

Организация ритмической структуры и ее инвариантность (с учетом обязательных позиционных изменений) для русского языка разработана А. В. Златоустовой [Златоустова 1970].

Ритмическая организация синтагмы не эквивалентна темпу ее произнесения — явлению смысловому, относящемуся к «грамматике просодии» и отмечающему противопоставление более важного менее важному в пределах одного высказывания (которое в принципе может состоять из нескольких предложений). Однако, как показали наши исследования других языков, синтагмы разных языков по-разному «поддаются» темпу; полярными в этом отношении были русский и чешский языки. Отрезок речи русского слова, скажем, при требовании передать пояснение мог произноситься очень быстро, гораздо быстрее среднего (например, 80—90 мсек → 50—60 мсек для звука); конечно, необходимо помнить, что при любом увеличе-

⁴⁰ Так, Й. Попович связывает все возможные для сербского языка долготы (два типа ударных, преударные и заударные) в пучки возможных комбинаций и выделяет 7 таких пучков [Роровић 1955]. Наиболее консервативным, по Поповичу, оказывается именно изучаемое нами литературное произношение, что он объясняет географическим положением центра, наиболее удаленного от иноязычных (не знающих долготы) влияний.

⁴¹ Речь, артикуляция и восприятие. М.; Л., 1965. С. 85. Данному вопросу посвящена специальная экспериментальная глава («Организация временной программы синтагмы», с. 78—122).

нии / уменьшении темпа внутренняя временная организация синтагмы ритмической структуры сохраняется.

В чешских фразах при соответственном изменении смысловой нагрузки фразы темп изменялся незначительно не только относительно, но и абсолютно, причем был близким у разных дикторов, что наводило на мысль о некоторой музыкальной «заданности» чешской речи. Причину этого различия, очевидно, можно предполагать в релевантности временной проработки заударных слогов в чешском языке и относительной вариативности их временной редукции — в русском.

Исследование длительности сербских гласных велось в следующих направлениях: 1) подсчитывалась длительность ударных гласных для разных типов акцента. При этом различалось фразовое и нефразовое ударение (с целью проверки силы воздействия фразовой просодии на словесную); 2) подсчитывалась длительность гласных в предударном слоге (отдельно — в слоге перед фразовым ударением); 3) подсчитывалась длительность заударных слогов (при этом выделялась для отдельного подсчета позиция абсолютного конца)⁴²; 4) подсчитывалась величина заударных долгих.

Сначала приводим данные для ударных гласных (все длительности приводятся в мсек). См. табл. 38—40.

Таблица 38

Длительность ударных гласных. Диктор ВВ

Тип гласного	Под фразовым ударением				В потоке речи			
	∩	∥	/	\	∩	∥	/	\
А	151	87	148	88	177	83	—	90
О	175	106	138	82	97	55	103	61
У	105	60	115	73	100	70	—	71
Е	—	81	121	60	98	66	90	52
И	123	54	126	56	82	62	108	67

⁴² Почти универсальной считается регулярность предпаузального продления гласного, расположенного в конце речевого отрезка (см. об этом [Гейтенби 1967]).

Таблица 39

Длительность ударных гласных. Диктор АП

Тип гласного	Под фразовым ударением				В потоке речи			
	◌	◌◌	/	\	◌	◌◌	/	\
А	176	111	157	91	119	95,5	—	92
О	190	92	161	10,6	118	75,5	102	88
У	172	83	146	108	112	93	—	69
Е	—	95	116	99	100	83	108	69,5
И	155	88	157	72,6	72,6	56	98	87

Таблица 40

Длительность ударных гласных. Диктор РВ

Тип гласного	Под фразовым ударением				В потоке речи			
	◌	◌◌	/	\	◌	◌◌	/	\
А	158	76	178	84	154	104	—	90
О	174	90	179,5	97	98,6	79,5	162	77,6
У	209	96	156,6	83,4	142	79,5	—	60
Е	112	83	106	78	—	77	115	67,6
И	139	77	145	83	97	68,5	77	58,6

Приводим данные по долгим гласным (табл. 41)⁴³.

Таблица 41

Длительность долгих безударных гласных

Тип гласного	Под фразовым ударением		
	Диктор ВВ	Диктор АП	Диктор РВ
А	66	116	78
О	72	108	110
У	—	—	—
Е	72,6	89	72
И	76	71	64

⁴³ Незначительное число данных позволило расположить долгие гласные по четырем акцентам.

Посмотрим данные заударных гласных (табл. 42).

Таблица 42

Длительность кратких заударных гласных

Тип гласного	Диктор ВВ		Диктор АП		Диктор РВ	
	абс. конец	в потоке речи	абс. конец	в потоке речи	абс. конец	в потоке речи
А	66	65	102	79	115	76
О	72	54	71	54	94	72
У	72	64	103	51	75	59
Е	70	51	113	47	105	58
И	67	50	77	58	92	60

Табл. 43 показывает длительность предударных гласных.

Таблица 43

Длительность предударных гласных

Тип гласного	Диктор ВВ		Диктор АП		Диктор РВ	
	перед фразовым ударением	не перед фразовым ударением	перед фразовым ударением	не перед фразовым ударением	перед фразовым ударением	не перед фразовым ударением
А	80	65	99	65	112	71
О	64	69	76	71	90	61
У	65	76	67	41	77	62
Е	57	48	50	52	65	48
И	44	62	40	57	46	45

Проанализировав показатели длительности, мы можем сделать следующие выводы: 1) по данным наших трех дикторов, различаются последовательно две группы акцентов — долгие (∩ и /) и краткие (\\ и \). Четырехэлементной иерархии выделить не удалось; 2) фразовое ударение видоизменяет словесное, увеличивая его длительность. В первую очередь это относится к долгим акцентам; 3) в абсолютном конце гласные продлены, что соответствует данным других славянских языков; 4) перед словами-носителями фразового ударения регулярное продление предударных имеет место только

у диктора РВ⁴⁴; 5) долгие гласные у всех дикторов длительнее заударных и преударных, но не длительнее гласных в позиции абсолютного конца; 6) намечавшееся для других языков последовательное противопоставление двух групп гласных — длительных (а, о, у) и кратких (е, и) — выдерживается, по приведенным данным, только для преударных гласных⁴⁵.

Как согласуются наши данные с данными других авторов?

В. Аппель [Appel 1950]⁴⁶ определял следующие временные ряды: 1) \cap (195 мсек); 2) / (187 мсек); 3) \ (108 мсек); 4) \\ (96 мсек); 5) — (240 мсек); 6) безударные гласные в ауслауте (107 мсек); 7) безударные гласные в потоке речи, в инлауте (71 мсек).

И. Лехисте и П. Ивич [Lehiste, Ivić 1963: 25, 75] выделяют следующие ряды: 1) \cap (200 мсек); 2) / (200 мсек и меньше); 3) \\ (120—140 мсек) и 4) \ (120—140 мсек и меньше); 5) долгие посттоники после восходящих; 6) долгие посттоники после нисходящих; 7) краткие посттоники.

Долгие посттоники у них значительно короче ударных гласных.

В другой работе [Lehiste 1961] И. Лехисте на первое место ставит длительность /, на последнее — длительность \.

В работе Х. Р. Поллока на первом месте длительность /, на последнем — длительность \\ [Pollok 1964].

Таким образом, общим для всех работ является именно деление на две группы — долгие (\cap и /) и краткие (\\ и \).

Долгие посттоники, очевидно, имеют тенденцию укорачиваться; (это вполне соответствует упоминавшейся концепции И. Поповича).

⁴⁴ А. В. Златоустова отмечает для русского языка удлинение и первого преударного в конце фразы (а также продление ударного и абсолютного конечного, т. е. ритмическая структура деформируется за счет удлинения конца слова).

⁴⁵ К. Болла отмечает то же соответствие для русского языка: гласные верхнего подъема короче гласных неверхнего подъема (т. е. а > о, е). В пределах одного подъема передние гласные короче непередних (о > е, ы > и) [Болла 1968: 76].

⁴⁶ Нам важно относительное соотношение величин. Абсолютная же большая их продленность объясняется произнесением изолированных слов.

Выводы

Проделанный эксперимент, даже при статистически недостаточном числе фактов, подтверждает реальность и относительную регулярность реализации сербских словесных акцентов.

Однако необходимо отметить, что только многомерность анализа показывает специфику каждого из них, которые, вероятно, и реализуются, и воспринимаются в многоплановой сущности.

Так, для мелодики очевидно, что анализ изолированных слогов оказывается недостаточным. Анализ положения ударных слогов по отношению к окружающим добавляет ряд характерных черт, свою лепту вносят и данные интенсивности. Единственным параметром, работающим с абсолютной регулярностью, явилась длительность (большая у долгих, меньшая у кратких, но всегда большая у ударного слога в слове). Именно эта регулярность длительности послужила основой для концепции И. Лехисте — П. Ивича о развившейся длительности предударного слога как единственном активном факторе т. н. новоштокавского сдвига [Lehiste, Ivić 1963: 134]. Не случайно именно длительность определяется в последнее время как основной фактор, формирующий ударение для ряда славянских языков (в первую очередь русского и украинского⁴⁷). Большая длительность непосредственно предударного слога, иногда равная длительности ударного, наблюдается также, в частности, в русском языке. Это явление могло фонологизироваться. Таким образом, на фонетическом уровне «сдвиг» состоял лишь в продлении предударного слога, мелодика которого «прояснилась», сама же мелодическая фигура осталась прежней (см. соответствующие рассуждения в разделе «Мелодика»).

Доминирующая роль длительности сказывается и в том, что фразовая мелодика, по нашим данным, модифицировала наиболее очевидным образом именно долгие слоги. Так как мелодическая фигура фразовой каденции успевала реализоваться целиком на долгом слоге, в случае кратких слогов она раскладывалась на большее число слогов, менее заметно видоизменяя каждый. Неслучайно в русском языке развиваются две тенденции: 1) передача ударности длительностью, 2) понижение заударных слогов в восходящей каденции, т. е. при длительном ударном движении в заударных слогах становится нерелевантным.

⁴⁷ См. соответствующую литературу в [Николаева 1969: 70, 251—252].

Именно с длительностью связана и реализация мелодической фигуры — показателя ударения (как мы старались показать, в сербском языке она одна); она может реализоваться в одном, двух и более слогах, что, очевидно, объясняется конкретным звуковым составом слогов, так как все гласные и согласные звуки языка имеют свою относительную длительность⁴⁸.

То, что не было выведено иерархической модели длительности для четырех акцентов, объясняется, вероятно, тенденцией языка к устранению избыточности: оппозиции долгий / краткий и оппозиции восходящий / нисходящий тон оказывается достаточно для различения четырех языковых единиц.

Отношения двух видов мелодики (интер- и интраслоговой) и интенсивности более сложны. Как мы показывали, эти три характеристики могут комбинироваться самым различным образом, реализуя то параллельные, то компенсаторные отношения; при этом ударный слог может выделяться как всеми тремя способами, так любыми двумя или одним, либо не отмечаться никак (в последнем случае, очевидно, играет роль психоакустический фактор)⁴⁹.

В разделах «Мелодика» и «Интенсивность» неоднократно говорилось о значимости чисто физиологического аспекта речевой фонации, об универсальности ряда его действий. Именно это и имел в виду Й. Хлумский, когда повышением мускульного напряжения делал чешские гласные похожими на сербские и т. д. Однако, строго говоря, ссылки на физиологическую интерпретацию не есть доказательство, так как не доказано, что сила напряжения не есть языковой фактор — через речевую деятельность язык связан с физиологией голосовых связок и с антропологией: известен факт разного частотного диапазона для языков разной группы.

В заключение остановимся на фонологических и предфонологических аспектах сербского звучания. Несомненно, что смысловое функционирование акцентов, их различительная роль поддерживает дифференциацию речи. Однако, если обратиться только к внешней форме просодического воплощения и предложить обратный эксперимент — расставить акценты на графиках или осциллограммах,

⁴⁸ К сожалению, нами не был проведен анализ действия акцента на словах с разным числом слогов. Так, И. Лехисте и П. Ивич резко различают двусложные и трехсложные слова.

⁴⁹ Из последних исследований, показывающих сложность явления, называемого «ударением», см. [Кодзасов, Отряшенков 1968].

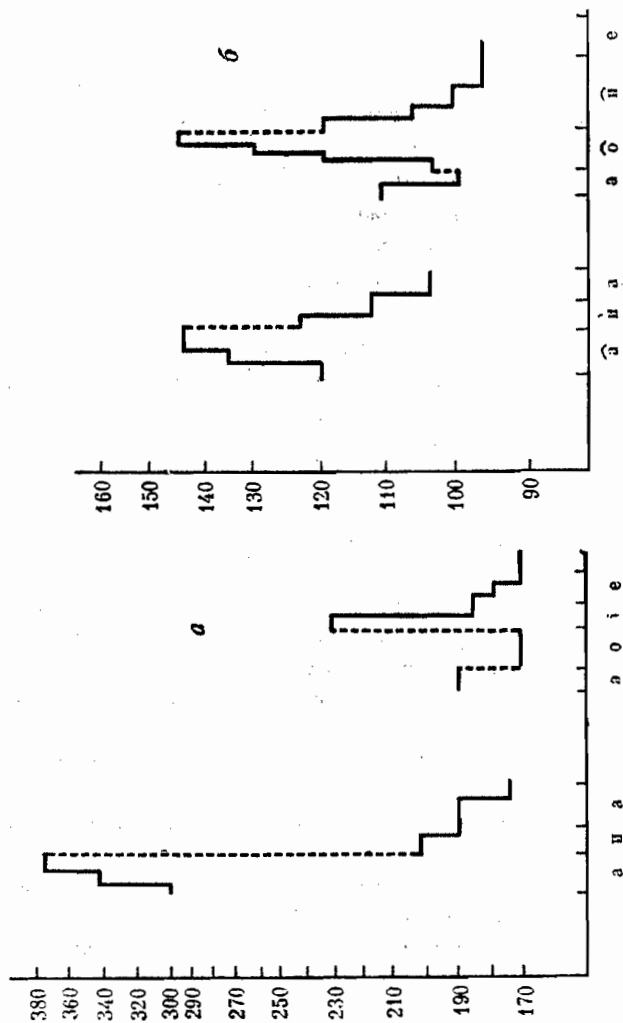


Рис. 10

а — мелодика польской фразы *ja czytam, a on pisze* (Диктор АВ);
 б — мелодика сербской фразы *Ja читам, а он пише* (Диктор ВВ)

указав тип и место акцента, то можно предвидеть, что во многих случаях опыт будет неудачным. Это же можно сказать и об эксперименте другого типа — прослушивании сербских фраз лицом, не знающим о существовании четырех акцентов, — в большинстве случаев будут отмечены долгие гласные. И, напротив, сербские слушатели довольно единообразно расставляют свои четыре типа акцентов при прослушивании русских диалектных записей. Для иллюстрации вышесказанного продемонстрируем сходство мелодических структур для фразы *Ja читам, он пише* на сербском и польском примерах (рис. 10). Иллюстрируется положение о том, что фонологические и фонетические данные связаны крайне сложным образом: фиксируется в сознании лишь то, что может быть осмыслено, фонологически значимо. Однако и нефонологическое может быть столь же регулярно воспроизводимым и существенным — сербские акценты мы различаем потому, что знаем о них, а знаем потому, что они различают смысл (в некотором виде эта проблема соотносится с вопросом о различении системы и нормы и различении анализа и синтеза).

Список литературы

- Болла 1968 — Болла К. К вопросу о соотношении длительности гласных и фонетической структуры слова // *Studia slavica*. 1968. 14. № 1—4.
- Брок 1910 — Брок О. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910.
- Брызгунова 1963 — Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.
- Брызгунова 1965 — Брызгунова Е. А. Материалы по курсу «Фонетика и интонация русской речи». М., 1965.
- Брызгунова 1967 — Брызгунова Е. А. Интонация и смысл предложения // Русский язык за рубежом. 1967. № 1.
- Булатова 1971 — Булатова Р. В. Новые исследования по сербохорватской акцентологии // Сов. славяноведение. 1971. № 6.
- Гейтенби 1967 — Гейтенби Дж. Эластичные слова // Исследования речи. Труды Хаскинской лаборатории. Новосибирск, 1967.
- Гордина, Быстров 1961 — Гордина М. В., Быстров И. С. Признаки синтаксического членения во вьетнамском языке // Учен. зап. ЛГУ. 1961. Вып. 15. № 305.
- Жинкин 1954 — Жинкин Н. И. Восприятие ударения в словах русского языка // Изв. АПН РСФСР. 1954. Вып. 54.
- Златоустова 1963 — Златоустова Л. В. О фонологических функциях фразовых акцентов // Тезисы конф. по структурной лингвистике, посвященной базисным проблемам фонологии. М., 1963.

- Златоустова 1970 — *Златоустова А. В.* Фонетические единицы русской речи: Автореф. дис. ... док. филол. наук. М., 1970.
- Исследования... 1972 — Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972.
- Кодзасов, Отрященко 1968 — *Кодзасов С. В., Отрященко Ю. М.* Экспериментальные исследования ударения // Исследования по речевой информации. М., 1968.
- Николаева 1968 — *Николаева Т. М.* О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств // Вопр. языкознания. 1968. № 6.
- Николаева 1969 — *Николаева Т. М.* Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Николаева 1971a — *Николаева Т. М.* Соотношение словесной и фразовой мелодики в сербском языке // Памяти Виктора Владимировича Виноградова. М., 1971.
- Николаева 1971б — *Николаева Т. М.* Соотношение фразовой и словесной просодии. Некоторые аспекты проблемы // Сборник за филологију и лингвистику. XIV. 1971.
- Сантен 1971 — *Сантен Я.* О фонетической и фонологической природе ударения в сербохорватском языке // Сов. славяноведение. 1971. № 4.
- Скляренко (рец.) — *Скляренко В. Г.* [Рец. на:] *Lehiste I., Ivić P.* Accent in Serbo-croatian. Ann. Arbor, 1963.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
- Appel 1950 — *Appel W.* Gestaltstudien A. Untersuchungen uber den Akzent in der serbokroatischen Sprache // Wiener slavistisches Jahrbuch. Bd. 1. 1950.
- Bolinger 1964 — *Bolinger D. L.* Intonation as a universal // Proceedings of the 9-th International congress of linguists. The Hague, 1964.
- Braun 1953 — *Braun M.* Beobachtungen zur russischen Sprachmelodie // Festgabe fur P. Diels. Munchener Beitrage zur Slavenkunde. München, 1953.
- Bray 1960 — *Bray R. G. de.* The pitch of Serbo-Croatian word accents in statements and questions // The Slavonic and East European review. Vol. XXXVII. 1960. № 91.
- Bray 1961 — *Bray R. G. de.* Some observations of the Serbo-Croatian musical accents in connected speech // Study of sounds. 1961. IX.
- Belić 1931 — *Belić A.* L'accent de la phrase et l'accent du mot // TCLP. IV. 1931.
- Buning, Schooneveld 1960 — *Buning J. E., Schooneveld C. H. van.* The sentence intonation of contemporary standard Russian as a syntactic structure. 's-Gravenhage, 1960.
- Chlumsky 1925—1926 — *Chlumsky J.* La melodie des voyelles accentuees en tcheque avec une mention d'état en serbe et en allemande // Slavia. 1925—1926. R. IV.
- Daneš 1957 — *Daneš Fr.* Intonace a věta vespisovne češtině. Praha, 1957.

- Ekblom 1917 — *Ekblom R.* Beitrage zur Phonetik der serbischen Sprache // Le monde orientale. 1917.
- Ekblom 1924—1925 — *Ekblom R.* Zur cechischen und Serbischen Akzentuation // Slavia. 1924—1925. R. III.
- Garde 1966 — *Garde P.* Fonctions des oppositions tonales dans les langues slaves du sud // BSLP. T. 61, fasc. 1.
- Gauthiot 1900 — *Gauthiot R.* Etude sur les intonations serbes // Memoires de la societe de linguistique de Paris. Paris, 1900.
- Hodge 1958 — *Hodge C. T.* Serbocroatian stress and pitch // General linguistics. 1958. Vol. III. № 2.
- Hultzen 1964 — *Hultzen L.* Grammatical intonation // Daniel Jones papers contributed on the occasion of his 80-th birthday. London, 1964.
- Isačenko 1939 — *Isačenko A. V.* Zur phonologischen Deutung der Akzentverschiebung in slavischen Sprachen // TCLP. VIII. 1939.
- Isačenko, Schadlich 1964 — *Isačenko A. V., Schadlich H.-J.* Untersuchungen über deutsche Satzintonation. Berlin, 1964.
- Ivić 1959 — *Ivić P.* Die Hierarchie der prosodischen Phänomene in serbokroatischen Sprachraum // Phonetica. Vol. 3. 1959. № 1.
- Ivić 1967 — *Ivić P.* Srpskohrvatski akcenti i istina // «Delo». G. XII. 1967. Br. 2.
- Jakobson 1931 — *Jakobson R.* Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie // TCLP. IV. 1931.
- Jassem 1962 — *Jassem W.* Akcent języka polskiego. Wrocław; Warszawa; Krakow, 1962.
- Lehiste 1961 — *Lehiste I.* Some acoustic correlates of accents in Serbocroatian // Phonetica. 1961. Vol. 7. № 2/3.
- Lehiste 1963 — *Lehiste I.* Some acoustic correlates of accent in Serbocroatian // Michigan slavic materials. 1963. № 4.
- Lehiste, Ivić 1963 — *Lehiste I., Ivić P.* Accent in Serbocroatian // Michigan Slavic materials. 1963. № 4.
- Lieberman 1967 — *Lieberman Ph.* Intonation, perception and language. Cambridge (Mass.), 1967.
- Magner, Matejka 1971 — *Magner Th. F., Matejka L.* Word accent in Modern Serbo-Croatian. (Pennsylvania), 1971.
- Mahnken 1953 — *Mahnken I.* Formenelemente des Sprechrhythmus // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. 1953. Bd. 7. Hf. 5—6.
- Mahnken 1962 — *Mahnken I.* Die Struktur der Zeitgestalt des Redegebildes. Göttingen, 1962.
- Mahnken 1964 — *Mahnken I.* Studien zur serbokroatischen Satzmelodie // Opera slavica. Bd. III. Göttingen, 1964.
- Maretić 1883 — *Maretić T.* O nekim pojavima kvantiteta i akcenta u jeziku hrvatskom ili srpskom // Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1883. Kn. LXVII.

- Masing 1876 — *Masing L.* Die Hauptformen des serbisch-chorvatischen Accents // *Memories de l'Academie imperiale.* VII serie. T. XXI, 5. SPb., 1876.
- Miletić 1926 — *Miletić B.* O srbo-chrvatskych intonacich v nařeči stokavskem. Praha, 1926.
- Miletić 1937 — *Miletić B.* Utičaj rečenicke melodije na intonaciju reči // *Zbornik u čast A. Belića.* Beograd, 1937.
- Pavlović 1966 — *Pavlović M.* Intonation des Satzes und Wortakzent // *Die Welt der Slaven.* 1966. Jg. XI. Hf. 4.
- Pollok 1957 — *Pollok K.-H.* Zur Geschichte der Erforschung des serbokroatischen Akzentsystems // *Die Welt der Slaven.* Jg. 11. Hf. 3. 1957.
- Pollok 1964 — *Pollok K.-H.* Der neustokavische Akzent und die Struktur der Melodiegestalt der Rede. Göttingen, 1964.
- Popović 1955 — *Popović J.* Zur heutigen serbo-kroatischen Vokalquantitat // *Wiener Slavistisches Jahrbuch.* 1955. Bd. 4.
- Romportl 1951 — *Romportl M.* Melodie (tonovy průběh) otázky zjstovaci v horovove střední češtině // *Listy filologicke.* 1951. R. 75. № 5—6.
- Schubiger 1953 — *Schubiger M.* Notes on the intonation of coordinate sentence and syntactic groups // *English studies.* 1953. Vol. XXXIV. № 6.
- Trager 1940 — *Trager G. L.* Serbocroatian accents and quantities // *Language.* 1940. Vol. 16. № 1.
- Wijk 1944 — *Wijk N. van.* Zur Geschichte der serbokroatischen Polytonie // *Zeitschrift fur slavische Philologie.* Bd. XVI. Hf. 3—4. 1944.
- Wodarz 1963 — *Wodarz H.-W.* Satzphonetik des Westlachischen. Köln, 1963.
- Wodarz 1964 — *Wodarz H.-W.* Ist der polnische Akzent melodisch? // *Phonetica.* 1964. Vol. 6. № 1—3.

«НЕОШТОКАВСКИЙ» СДВИГ

Для балканского ареала можно говорить о некоторой тенденции к симметричности по отношению к общеславянской просодической модели. А именно: интенсивность может не понижаться к концу речевого отрезка, а длительность может иметь в качестве сильной точки начало слова.

Учитывая факт значительного по времени турецкого владычества на Балканах (см. выше данные тюркских языков в этом плане), можно высказать некую гипотезу по поводу имевшего место в XV веке так называемого «неоштокавского сдвига», на котором далее остановимся подробнее.

В применении к сербохорватским фактам полученные данные и общая теория просодической схемы дают основания для обсуждения фонетических причин «неоштокавского сдвига».

Старая штокавская акцентуация знала два акцента: долгий и краткий. В XV в. два старых акцента $\grave{}$ и \circ не в начале слова перешли на слог к началу слова и создали $\grave{}$ и $\acute{}$.

Почему это произошло? «Зашто је удовица, селџ, писати, девојка, неправда, рѹкѹм, планина и сл. дало: удовица, село, писати, девојка, неправда, рѹкѹм, планина» [Белић 1960: 160]. Как пишет А. Белич: «Одговор је врло прост». Тон ударного $\grave{}$ и \circ не в начале опадал: понижалась и частота, и интенсивность. П. Ивич дает фонологическую трактовку акцентного сдвига: противопоставление ударений по качеству, которое возникло на первом слоге, явилось лишь компенсацией за потерянную возможность акцентировки последнего слога [Ивич 1958: 19]. В более поздней статье И. Лехисте и П. Ивич [Lehiste, Ivić 1982: 200] показывают сложность и многоэтапность штокавского акцентного сдвига. В частности, неоштокавский сдвиг, по их описанию, на первом этапе развивал более высокую F₀ и большую интенсивность на первом предупредном слоге. Повышение этих двух важных для ударения характеристик привлекло к предупредному (становящемуся ударным!) две другие необходимые характеристики:

темпоральное продление и переход к полному, а не редуцированному, воплощению гласного. В дальнейшем необходимость различать «старые» инициальные акценты и акценты, сдвинутые к началу, привела к перестройке в суперсегментной системе языка: арена акцентной реализации сместилась с односложной на двусложную структуру [Lehiste, Ivić 1982]; их исследование части чакавских и кайкавских акцентов демонстрирует как бы состояние штокавских диалектов перед сдвигом, диалекты Славонии осуществляют множество переходных этапов.

Иными словами, в словенско-сербско-хорватском ареале происходило усиление конечной зоны слова. Но, как указывает В. Вермер, в чакавском и штокавском процесс этот прервался после этапа 1, в кайкавском и резьянских говорах — после стадии 2. К сожалению, неясно, когда же именно сербские говоры прекратили это движение вправо.

Богатый материал по *t*-параметру просодической схемы слова дает описание современных сербских, хорватских, словенских и македонских говоров по системе ОА [Fonološki opisi 1981].

Возможные варианты у чакавских говоров:

1) Безударная долгота возможна только в слоге перед ударным. Акцент может быть в любом месте слова. Тоны различаются только в долгих. В слове может быть два долгих: ударный и перед ним (Žminj, Sali).

2) Долгие только под ударением: тон — фонологически нерелевантен; ударение может быть в любом месте; долгий в открытом конечном слоге может укорачиваться до квантитета краткого (!). Это — Крес. См. также для этого региона описание системы Орлец [Houtsagers 1985], где нет фонологических долгот и только ударные могут быть долгими / краткими, и лишь долгие различают тон. В более ранней работе П. Хоутзагерс отмечает для этого же региона [Houtsagers 1982] поразительное для слуха многообразие долгих акцентов, не достигающее до того, однако, чтобы смешиваться с краткими. В работе о диалектах Креса и Лошинь [Houtsagers 1984—1985] он окончательно приходит к выводу об отсутствии фонологически безударных долгот.

Сюда же входят Трогир, Чемба.

3) Все гласные могут быть долгими и краткими; фонологически релевантного тона нет; дистрибуция ударения и квантитета в слове свободная — вплоть до последнего слога. Важно, что может быть несколько долгих подряд (Dobrinj).

4) Слоги могут быть долгими (полудолгие) и краткими; акцент может быть на любом слоге; если есть восходящий акцент, то не может быть безударной долготы (Котіжај, Врбањ).

5) Все слогИ могут быть долгими и краткими. Восходящий тон не может быть на последнем слоге. Долгими могут быть три слога подряд: ударный, претоник и посттоник (Ластово).

6) Долгие безударные могут быть только перед слогом с кратким и перед ударным с нисходящим акцентом; в последнем слоге возможна только нисходящая интонация (Штињаки).

7) Долгота может быть только после ударного (Пайнърт).

Такова пестрота долготной системы чакавских говоров, демонстрируемая только хотя бы на примере этих семи систем. В кайкавских говорах все же заметно некоторое изменение параметра слова:

1) Ударный может быть долгим и кратким; безударный всегда краток; краткий не бывает на конце многосложного слова (Мочила, Домагович).

2) Долгие и краткие могут быть ударными и безударными; долгий безударный может быть непосредственно перед ударением; в акцентной единице может быть только одна долгая (Домасловец, Зачреје).

3) Краткие могут быть ударными и безударными; долгие гласные — только под ударением; последний слог не может быть ударным (Кубинец).

4) Краткие могут быть ударными и безударными; долгими могут быть только ударные; на последнем слоге может быть только долгий (Прелог) и т. д.

Таким образом, выявляется для чакавских и кайкавских диалектов разнообразие систем, основывающееся на следующих корреляциях квантитета и ударения:

Квантитет (по типам диалектов)

- 1) Ударный — всегда долгий, и, наоборот, безударный — всегда краткий.
- 2) Ударный может быть и кратким, и долгим, безударные — всегда кратки.
- 3) Ударный — всегда долгий, а безударные могут быть и краткими, и долгими.
- 4) Безударный может быть долгим перед ударным (если ударный краток).

- 5) Безударный может быть долгим перед ударным в любом случае.
- 6) Безударный может быть долгим только после ударного.
- 7) Безударный может быть долгим и перед ударным, и после него; в слове возможен подлинный трехсложный ансамбль.

Место ударения (возможные варианты)

- 1) Может быть любым.
- 2) Не может быть конечным.
- 3) Зависит от типа акцента.

Еще более интересными представляются долготно-ударные структуры различных штокавских наречий:

1) Все гласные могут быть долгими и краткими. В словах без восходящего тона ударение автоматически падает на первый слог.

Восходящий тон может быть и на конечном слоге, и в односложных словах.

Долгие безударные могут идти только после ударения (Трновац, Оток).

2) Восходящий тон может быть на любом слоге, кроме последнего, и вообще в односложных словах.

Долгие могут быть ударными или постударными (Мала Пертовица, Вальпово, Губер, Дрветине, Тратошница, Добретичи).

3) Все акценты могут стоять на любом слоге.

Долгие могут быть ударными, быть претоником и посттоником (Круч).

4) Все слоги могут быть долгими и краткими.

Ударные могут быть долгими и краткими.

Восходящий может быть на любом слоге, кроме последнего и в односложных.

Долгие безударные могут быть и до ударного, и после него.

В одном слове могут быть ударными два контактных слога таким образом, что первый — носитель восходящей, а второй — нисходящей интонации: *ženà, ví:kù, pé:tàk* (Бујака).

5) Все синтагмы могут быть долгими и краткими, акцентированными и неакцентированными.

В просодической единице могут быть два долгих слога.

Однако долгий безударный может быть перед ударным только в предшествующем слоге (*ka:zàli, pi:tàli*), тогда как после акцента он может выступать на любом слоге (*kazí:vo, pòora:la, sùncokre:t*).

Не перебирая все возможности до конца, можем и так убедиться, что говоры демонстрируют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута. Но только в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе предударного слога, а в штокавских — в постударной долготе. Примечательно, что хорошо известен факт очень длительного предударного в русских словах типа *водá*, «сохранивших» исконное место ударения. Таким образом, по нашему мнению, в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов. В одном случае первый из них так и оставался долгим предударным, в другом — его долгота перешагивала порог перцепции, необходимой для фонологизации ударения, т. е. был усилен «начальный ансамбль» и этот слог становился «ударным», а второй в долготном ансамбле — долгим посттоником. Вероятно, это движение к началу и было той причиной, которая приостановила для сербскохорватских говоров распространившееся движение регрессивного, т. е. правоориентированного долготного сдвига, который успел осуществить только словенский.

Трудно говорить о том, случайно ли нештокавское перемещение ударения к началу совпало с увеличением контакта с тюркскими элементами, хотя выше говорилось о своеобразии просодической схемы в тюркских языках. Создается впечатление, что сложным движением долготы в просодической схеме слова была охвачена значительная часть Балкан. Фонетически же в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных начальных слогов, однако предположить точные топохронологические датировки слишком сложно.

Возвращаясь к нашей гипотезе, можно сказать далее, что долготное балансирование временного параметра просодической схемы слова «прояснило» в штокавских говорах первый слог до порога ударности (тоновое движение), но новый ударный не оторвался от своего контактного соседа-посттоника, в результате чего возникла двусложная структура восходящих тонов.

Таким образом, можно предложить новую терминологию, базирующуюся на классическом представлении о фонологизации. А именно — мы имеем дело не с переносом ударения, а с увеличением просодических характеристик на новом участке слова, в результате чего другой слог, с увеличенными характеристиками до нужного порога перцепции, после фонологизации становится ударным.

О причинах перестройки просодических схем слова говорить можно: они связаны с общим изменением функциональных устано-

вок языковой системы, и в частности просодии, тогда как назвать объективную причину «переносов» ударения, не выходя за плоскость непосредственной эмпирики, часто бывает затруднительно.

Список литературы

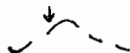
- Белић 1960 — Белић А. Основы истории српскохорватског језика. I. Фонетика. Београд, 1960.
- Ивич 1958 — Ивич П. Основные пути развития сербского вокализма // Вопр. языкознания. 1958. № 1.
- Fonološki opisi 1981 — Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.
- Houtsagers 1982 — Houtsagers H. P. Accentuation in a few dialects of the island of Cres // South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1982.
- Houtsagers 1984—1985 — Houtsagers H. P. Vowel system of the ekavian dialects spoken on Cres and Lošinj // Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku. XXVII—XXVIII. Novi Sad, 1984—1985.
- Houtsagers 1985 — Houtsagers H. P. The čakavian dialect of Orlec on the island fo Cres. Amsterdam, 1985.
- Lehiste, Ivić 1982 — Lehiste I., Ivić P. The phonetic nature of the Neo-Stokavian accent shift in Serbocroatian // Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV. Amsterdam, 1982.

ОБ ОДНОМ СХОДСТВЕ СЛАВЯНСКОЙ И ФИННО-УГОРСКОЙ ФРАЗОВОЙ ИНТОНАЦИИ

1. Разнообразные исследования по типологическому изучению интонации высказывания показывают, что восходящая мелодика и ее функциональные варианты в гораздо большей степени дифференцируют языки, чем нисходящая мелодика¹. Тип различия восходящей мелодики оказался значимым и для семьи близко родственных языков [Николаева 1977]. Так, для славянских языков особенно явно противопоставленными оказались две доминантных фигуры восходящей мелодики; они как бы разбивают славянские языки на две группы: западную и восточно-южную. Первая фигура характеризуется низким положением тона на ударном гласном и повышением тона на заударном (заударных) вплоть до самого последнего слога:



Вторая фигура — это резкий подъем на ударном слоге (или его повышенное положение) с последующим падением тона, начинающимся на этом же ударном или на заударных слогах:



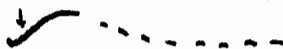
Для передачи общего вопроса в западнославянских языках в основном используется первая фигура, вторая же передает переспрос и сопоставительный вопрос с А. Напротив, в южнославянских (и особенно — в восточнославянских языках) ситуация противоположная: вторая фигура передает общий вопрос, а первая — переспрос и сопоставительный вопрос с А. По нотации Е. А. Брызгуновой, первая фигура может быть обозначена как ИК-4, а вторая —

¹ Так, широкая гамма типологического разнообразия представлена мелодикой общего вопроса в интонации языков Африки [Петрянкина 1981].

как ИК-3 [Брызгунова 1969]. Разумеется, речь идет о количественном преобладании типа фигур, поскольку обе фигуры известны всем славянским языкам, на функциональном же уровне известны промежуточные случаи.

В группе восточнославянских языков в максимальной степени тип общего вопроса с терминальным падением тона представлен в русском языке. Употребление этого типа становится все более частотным (на очень интересных, по нашему мнению, причинах его распространения мы не останавливаемся, чтобы не отвлекаться от чисто типологических проблем). Еще одно свойство интонации русского высказывания — легкость перенесения интонационного центра, точнее, интонационного максимума, на начало фразы, ее второй сильный участок, сочетаясь с фигурой ИК-3 в общем вопросе, способствует в целом тому, что интонация общего вопроса напоминает по графической репрезентации повествовательную: *Были вчера на концерте?*

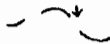
Именно такой тип русского вопроса часто воспринимается носителями тех языков, где восходящая мелодика идет в общем вопросе до конца, как тип повествовательного высказывания, а не вопроси-



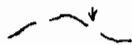
тельного, что создает хорошо известные и описанные сложности в общении и в обучении русской интонации. В восточнославянской системе это совпадение контуров мелодики вопроса и повествования компенсируется очень высоким положением главноударного слога, так что вопрос—ответ отличаются не конфигурацией, а уровнем: *Гуляли?*

и *Гуляли.*

Интересно, что именно такое регистровое противопоставление для интонации вопроса-ответа в севернорусских говорах описыва-



ет Р. Ф. Пауфошима. К ее положениям мы еще вернемся.



Анализ типологии мелодических фигур славянского ареала заканчивался в нашей книге 1977 года сопоставлением фактов

славянской интонации и фактов интонации неславянского окружения славян. Выявилось, что фигура мелодики общего вопроса с заударным падением (ИК-3) объединяет восточнославянские языки с финно-угорскими, тогда как, что существенно, не только западные языки Европы, но и тюркские языки употребляют при общем вопросе тип мелодики с конечным повышением. Эти типологические результаты тогда показались неожиданными, однако, работы других исследователей, после 1977 г., подтвердили эти выводы [Gósy 1979a; 1979b; Földi 1980; Vende 1980—1981].

2. Вместе с тем несомненно, что подобные типологические сопоставления должны быть верифицированы посредством новых, специально проведенных экспериментальных наблюдений. Важны и соображения универсальной и типологической интонологии в целом.²

Выше говорилось о том, что русское вопросительное предложение с падающим мелодическим исходом и начальным интонационным центром может по слуховому восприятию и по рисунку контура напоминать повествовательное². Поэтому, строго говоря, вывод о том, что вопросительные предложения со значением общего вопроса в финно-угорских языках кончаются мелодическим понижением, еще не свидетельствует о том, что в этих языках вообще существует интонационное различие вопроса и утверждения. Именно на такой негативной позиции стоит А. Ивонен, обследовавший интонацию общего вопроса в финском языке и пришедший к выводу о том, что в этом языке вопрос и утверждение интонационно совпадают [Iivonen 1978]. См. также подобную точку зрения на типы интонации в эстонском языке: «В эстонском языке интонация слова и всякого предложения всегда нисходящая. В русском же языке употребляется и восходящая интонация в некоторых особых случаях»³.

Априорным свидетельством в пользу важности не только контура, но и регистровых противопоставлений явились опублико-

² В этой связи важно и другое наблюдение Р. Ф. Пауфошима относительно просодии слова и фразы в севернорусских говорах. Она пишет о тенденции «не усиливать конец фразы замедлением темпа и не нагружать его фразовым ударением», этой тенденции, возможно, «отвечает характерное для севернорусских говоров размещение в конце фразы семантически “пустых” слов — частиц, союзов» [Пауфошима 1984: 18].

³ Высказывание П. Аристэ. Цит. по [Ваараск 1969: 13].

ванные в последнее время интересные работы по интонации вопроса-утверждения в универсальном человеческом аспекте. На универсальности языкового разделения общего вопроса и интонации повествования неоднократно настаивал Д. Болинджер [Bolinger 1964; 1978]. В одной из своих последних работ, обследуя множество языков самой различной генетической принадлежности, он еще раз приходит к выводу, что восходящая интонация при вопросе обязательна. В его интонологическом мировоззрении восходящая интонация — это подъем мелодики. И однако очень интересным оказалось его же собственное мимолетное замечание о том, что «долго живущие за границей русские заменяют свое “подъем — падение” (rise — fall) простым конечным подъемом» [Bolinger 1978: 502]. Как видим, Д. Болинджер не повсюду наблюдал универсальный конечный подъем при вопросе, с одной стороны; с другой стороны, неслучайно это замечание относится именно к русскому вопросу.

Более широко функциональная дистрибуция восходящего и нисходящего тонов обсуждается в работах известного фонетиста Дж. Охала [Ohala 1983; 1984], который связывает низкий тон с уверенностью, независимостью, высокий — с подчиненностью, слабостью и неуверенностью.

Поэтому высок голос самок, поэтому на высоком тоне реализуются слова с семантикой «маленький», поэтому же, априори, и должен быть высоким тон вопроса: говорящий не уверен в себе и поэтому спрашивает.

Как же можно сочетать в непротиворечивом единстве эти три утверждения: 1) концепцию универсальности восходящего тона при общем вопросе; 2) несомненность наличия в славянском мелодики общего вопроса не с восходящим, а с падающим конечным исходом; 3) утверждение А. Ивонена об отсутствии общего вопроса как мелодемы в финском языке?

Представляется, что на самом деле эти три положения никак не противоречат друг другу. Как это часто бывает, внимательное распространение как будто бы противоречивых положений обнаруживает некоторую сначала безобидную подмену терминологии, из которой уже далее следует очень существенная подмена реалий. Да, действительно, вопрос и утверждение интонационно различаются по оппозиции: высокий—низкий. Однако конкретные языковые формы реализации этой оппозиции могут быть различными: интонация, как и другие уровни языка, подлежит структурированию. По-

этому *Гуляли?* — *Гуляли* по интонации различаются, и различаются точно по указанной оппозиции: высокий—низкий, но форма этой русской реализации отличается не только, например, от германских языков, но и от языков западнославянских. В русском варианте высокий—низкий есть в первую очередь (на других особенностях мы сейчас не останавливаемся) не реализация терминального контура, а реализация положения ударного слога — носителя фразового ударения: высокое в вопросе и низкое в ответе. Таким образом, высокий—низкий есть понятие более общее, чем восходящий—нисходящий. Последнее не есть синоним первого, но только одно из его воплощений.

Таким образом, славянские факты полностью укладываются в провозглашенную концепцию универсальности интонационного противопоставления вопроса и утверждения.

Обратимся в этом плане к финноугорской интонации. Здесь значимым и доказательным является не «падающий конец», а то, различаются ли вопрос и ответ хотя бы регистром, т. е., в частности, положением главноударного слога. Именно это различие демонстрируют работы К. Венде по восприятию синтезированных высказываний эстонского языка: «...утверждение выражается понижением тона со среднего уровня голоса... вопрос и восклицание выражаются высоким подъемом тона в начале слога» [Vende 1980—1981: 107].

Таким образом, вопрос и утверждение в эстонском различаются именно положением главноударного слога, который во многих финно-угорских языках начальный, поэтому перцептивно это регистровое различие может не реализоваться. Э. Фолди [Földi 1980] сравнивает фразовый контур польского и венгерского языков, однако ее анализ направлен лишь на терминальный участок контура и потому может свидетельствовать лишь о том, что терминальные контуры в этих двух языках различаются, но не о том, что в одном из них общий вопрос вообще просодически не выражен.

3. С целью проверить указанные выше типологические сходения славянской и финноугорской вопросительной интонации нами был проведен эксперимент на специально подобранном лингвистическом материале. Были составлены дифференцирующие типы вопросов, интонационные фигуры которых в русском языке различаются. За основу была взята классификация вопросительных предложений и их интонационных типов, предложенная С. В. Кодзасовым [Кодзасов 1985]:

1а. Общий вопрос с однозначно трактуемым семантическим центром:

Вы эстонец!

1б. Общий вопрос с неоднозначно трактуемым семантическим центром:

Вы были раньше в Сыктывкаре?

Вам нравится здесь?

1в. Общий сопоставительный вопрос:

Вам нравится здесь. А в Москве?

1г. Общий уточняющий вопрос:

Говорите по-фински? Или по-эстонски?

2. Альтернативный вопрос:

Говорите по-фински или по-эстонски?

3. Специальный вопрос:

Откуда Вы приехали?

Какой язык Вы изучаете?

4. Переспрос:

Откуда?

На основании вопросов составлен небольшой квазисвязный текст:

Вы были раньше в Сыктывкаре? — Да, был. — А в Москве?

Откуда Вы приехали? Откуда?

Вы эстонец?

Какой язык Вы изучаете?

Говорите по-фински или по-эстонски? ...

Говорите по-фински?

Или по-эстонски?

Вам нравится здесь?

Этот текст был прочитан (перевод был выполнен носителями соответствующих языков) на эстонском, финском, саамском, горномарийском, эрзямордовском, удмуртском и коми языках на VI Международном конгрессе финноугроведов (г. Сыктывкар, 24—30 июля 1985 г.). Все дикторы, кроме коми, были филологами — участниками конгресса. Чтение на языке коми осуществлялось артистами Коми республиканского драматического театра им. Виктора Савина (мужской и женский голос). Для более точного сравнения с русским языком была проведена запись русского текста в чтении трех дикторов — участников конгресса. На основе магнитофонной записи

в Лаборатории экспериментальной фонетики ИРЯ АН СССР были сделаны осциллограммы с эталонной частотой 500 мм сек и отметчиком времени 0,02 мсек. Была также сделана осциллографическая запись финского, эстонского и коми языков в Лаборатории экспериментальной фонетики Университета дружбы народов им. П. Лумумбы (скорость 250 мм/сек и отметчик времени 0,02 мсек). Там же была осуществлена в студийных условиях интонаграфическая запись русского текста в чтении женского голоса⁴.

По данным осциллографического анализа были сделаны графики движения основного тона (F_0).

Обработка и интерпретация указанных данных должна была служить ответом на следующие вопросы:

1. Какие интонационные фигуры реализуются в вопросительных предложениях финно-угорских языков?
2. Какова дистрибуция этих фигур?
3. Единообразна ли эта дистрибуция у всех анализировавшихся финно-угорских языков?
4. Совпадает ли инвентарь этих фигур с инвентарем интонационных фигур славянских языков?
5. Совпадает ли дистрибуция фигур финноугорского и славянского?

Необходимо при этом отметить, что в имплицированном виде ответы на эти вопросы заключают в себе ответы на другие, конкретные, но не менее важные для наших целей вопросы. Например, за вопросом № 1 (Каков набор интонационных фигур в вопросительных предложениях) скрывается следующая проблема: известна ли финно-угорским языкам только одна интонационная фигура вопроса (с падающим концом), как утверждалось рядом исследователей, цитировавшихся выше, или известны интонационные фигуры вопроса с идущим до конца восхождением тона. Только в последнем случае мы имеем право говорить о парадигматическом наборе вопросительных мелодик.

Полученные результаты.

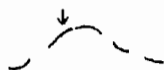
Общий вопрос с однозначным центром: 'Вы эстонец?'
 Коми: *Ti эстонец?*; Удмуртский: *Tii эстон пи-а?*; Саамский: *Ляк тонн*

⁴ Пользуюсь случаем выразить самую искреннюю признательность за помощь и предоставление возможности получения соответствующих данных Р. Ф. Пауфошине и В. И. Петрянкиной.

эстонка?; Мордовский: Ты эстонец?; Марийский: Те мари улыда?; Венгерский: *On ész?*; Финский: *Oletteko virolainen?*; Эстонский: *Olete eestlane?*

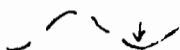
Реализация этого типа осуществлялась тремя мелодическими фигурами:

1) вершиной мелодического пика является ударный слог слова со значением «эстонец»; до него осуществляется подъем, после него — резкое понижение тона. Фигура:



Именно этот тип мелодики характерен для русского языка. В удмуртском языке этим центром являлась фонетически примыкающая к этому слову частица *a* 'ли';

2) ударный слог начинает восхождение к пику, в предшествующем до него слоге осуществляется падение тона, второе понижение представлено после пика. Фигура:



(См. рис. 1. Саамский: *Ляк тонн эстонка?* и эстонский: *Olete eestlane?*). Этот тип мелодики представлен в саамском, мордовском, коми (женский голос), финском, эстонском и удмуртском языках. Эту фигуру можно характеризовать как двугорбую, двувершинную. Русскому общему вопросу эта двувершинность мелодики несвойственна. Именно это отличие мелодики русского общего вопроса отмечает и В. И. Петрянкина, говоря о двувершинности мелодики общего вопроса с нетональных языках Африки [Петерякина 1981].

3) ударный слог является последним, на нем осуществляется повышение, без завершающего понижения. Фигура:



Представлено в венгерском и марийском языках.

Общий вопрос с неоднозначно трактуемым семантическим центром: 'Вы были раньше в Сыктывкаре?'

Коми: *Ті вöлінныд водзин Сыктывкарын?*; Удмуртский: *Азьвыл Сыктывкарын вал-а?*; Мордовский: *Ульниде седе икела Сыктывкарос?*; Саамский: *Лийек тонн эвтэль Сыдктыфкарэсьт?*; Марийский: *Сыктывкарыште ончыч лийында?*; Эстонский: *Olete te varem*

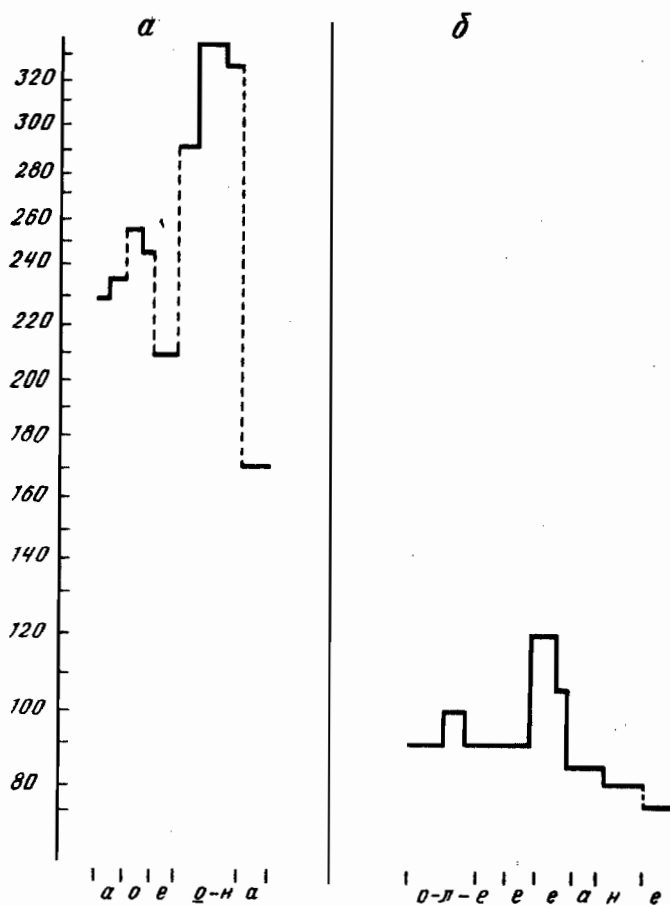


Рис. 1

- а) Саамский — Ляк тонн эстони́ка? (Диктор АВ);
 б) Эстонский — Olete eestlane?

Sõktõvkaris käinud?; Финский: *Oletteko ollut aikasemmin Syktõvkarisa?*

Семантическими центрами являлись в разном прочтении слова 'раньше', 'были', 'Сыктывкар'. Мелодическое воплощение было единообразным: резкий подъем осуществлялся к ударному слогу слова — семантического центра, после чего следовало столь же резкое падение тона. (См. рис. 2. Коми: *Ti vólinnyd vodzin Syktõvkarын?*). 'Вам нравится здесь?'

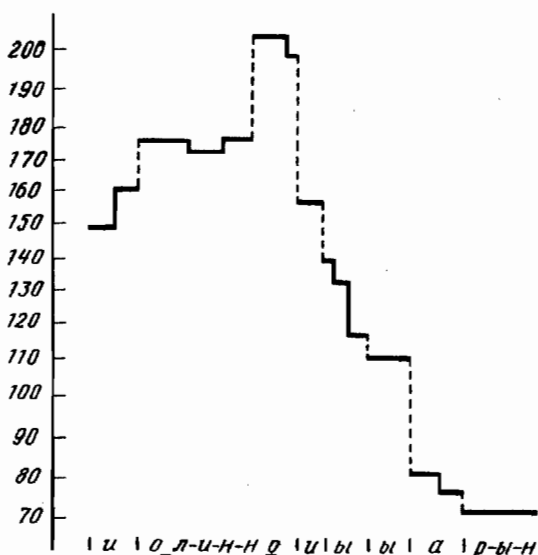


Рис. 2. Коми (мужской голос) — *Ти волинныйд Сыктывкарын?*

Коми: *Тянлы кажитчö тани?*; Удмуртский: *Тунсыко-а тилед-лы татын?*; Саамский: *Милясьт тоннэ тысти?*; Мордовский: *Тон мельс тезэ тусь?*; Марийский: *Кузе вара немпа?*; Венгерский: *Jöl érzi magát itt?*; Эстонский: *Kas Tesle meeldib siin olla?*; Финский: *Onko teista täällä mielenkiintoista?*

В этом случае представлена точно такая же, как и в предыдущем примере, мелодическая конфигурация, центрами были — от диктора к диктору — слова 'здесь' и 'нравится'.

Общий сопоставительный вопрос: 'А в Москве?'

Коми: *А Москваын?*; Марийский: *Москваште?*; Удмуртский: *Нош Москваын?*; Мордовский: *А Московсо?*; Саамский: *А Москвасьт?*; Финский: *Oletteko ollut Moskovassakin?*; Венгерский: *És Moszkvaban?*; Эстонский: *Aga Moskvas?*

Этот тип вопроса (как указывалось в начале, типологически важный) был представлен двумя фигурами. Первая фигура — это мелодика общего вопроса, т. е. различия не было. Вторая — это фигура с низким начальным положением ударного слога и дальнейшим последовательным повышением (см. рис. 3, где эта фигура реализуется в коми, марийском, удмуртском). Обнаружение этого типа мелодики важно по двум причинам. Во-первых, тем самым обнаруживается на-

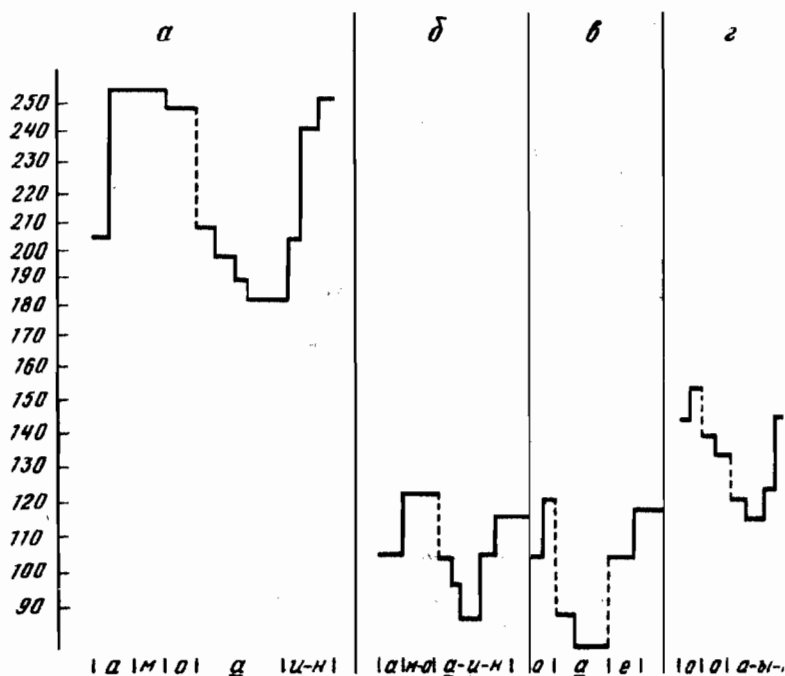


Рис. 3

- а) Коми (мужской голос) — *А Москвашын?*
 б) Коми (мужской голос) — *А Москвашын?*
 в) Марийский — *Москваште?*
 г) Удмуртский — *Нош Москвашын?*

личие в финно-угорских языках восходящей вопросительной мелодики, что ранее отрицалось. Во-вторых, именно такая модель считается нормативной и для русского сопоставительного вопроса (ИК-4, по Е. А. Брызгуновой. Тип А *Наташа?*).

Общий уточняющий вопрос: 'Говорите по-фински? Или по-эстонски?'

Коми: *Сернитанныд финской кывион? Голико эстонской кыв вылин?*; Мордовский: *Коранань финнэс кельсэ? Эни эстонецкэс кельсэ?*; Удмуртский: *Финн сямен вераськиськоды? Эстон сямен вераськиськоды?*; Марийский: *Финла ойледа? Але эстонла ойледа?*; Саамский: *Сарньнак тонн руцас? Эле эстонское?*; Венгерский: *Beszél (on) finnul? Hat észtul?*; Эстонский: *Kas te säägite soome keeles? Vol eestir?*; Финский: *Suomeako? Vai viroa?*

Во всех языках анализа была выражена модель



где как бы два сдвоенных общих вопроса, нерезкое падение в конце осуществлено было только в коми (оба диктора). Мелодическое сходство с русским типом общего уточняющего вопроса несомненно, особенно наглядно это видно в венгерском примере (см. рис. 4). Данные венгерского языка особенно важны, так как в данном случае исключается русское влияние.

Альтернативный вопрос: 'Говорите по-фински или по-эстонски?'

Коми: *Сернтанныд финской кывион али эстонской кыв вылын?*; Удмурдский: *Вераськиськоды-а три финн яке эстон кылын?*; Мордовский: *Кортасато эстонецэко эли финнэн кельсэ?*; Саамский: *Сарньнак тонн руцас эле эстонскас?*; Венгерский: *Beszél (on) észtul nagy finnül?*; Эстонский: *Kas te säägite soome kas eësti keeles?*; Финский: *Puhutteko suomea vai viroa?*

Первый интонационный центр общего альтернативного вопроса произносился во всех случаях по общей модели ИК-3. Произнесение второго центра осуществлялось в двух вариантах. В первом случае мелодика второго центра повторяла по рисунку мелодике первого, так что получилась двувёршинная кривая, при этом второй центр мог быть ниже первого, быть выше его или располагаться с ним на одной высоте. Эта модель реализовалась в венгерском, удмуртском, эстонском, мордовском языках. Она же была представлена в чтении русских дикторов. Во втором случае на втором центре мелодика понижается, а далее идет постоянное повышение:



т. е. это та же модель, что и в сопоставительном вопросе с А. Это прочтение было в коми, финском и саамском языках.

Специальный вопрос: 'Откуда Вы приехали?'

Коми: *Кысь тй воынныд?*; Марийский: *Ты кушеч толын улыда?*; Удмуртский: *Кытысь ты вунды?*; Саамский: *Кассьт ляк тонн пуадтма?*; Мордовский: *Косто тезэнь согде?*; Венгерский: *Honnan jött?*; Финский: *Mista olette tullut?*; Эстонский: *Kust te tulite?*

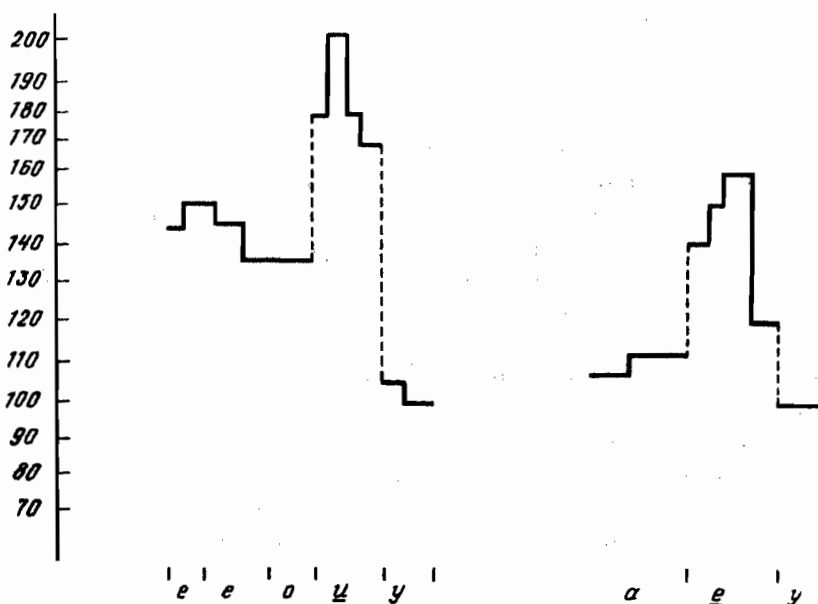


Рис. 4. Венгерский *Beszél on finnül? Hat észtul?*

Во всех языках мелодика специального вопроса была понижающейся, начало отмечено подъемом к ударному слогу вопросительного слова. Однако сглаженность ударных слогов и общая компактность мелодической конструкции была меньшей, чем в русском языке. Таким образом специальный вопрос в финно-угорских языках оказался ближе к контуру повествовательного предложения, отличаюсь от него высоким положением начальной части.

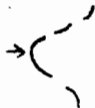
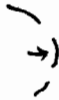

‘Какой язык Вы исследуете?’

Предложение читалось по указанной выше мелодической модели. Реальная вариативность контура определялась тем, было ли выделяемой составляющей слово ‘какой’ или группа ‘какой язык’.

Переспрос:

Мелодика переспроса изучалась на основе повторения вопросительного слова ‘Откуда’ (Марийский: *Кушеч?*; Удмуртский: *Кытысь?*; Саамский: *Кассьт?*; Коми: *Кытысь?*; Мордовский: *Косто?*; Венгерский: *Honnan?*; Финский: *Mista?*; Эстонский: *Kust?*).

Таблица 1

Мелодическая фигура	Общий вопрос	Сопоставительный вопрос	Общий уточняющий вопрос	Альтернативный вопрос	Переспрос
	коми, удмуртский, эстонский, финский, мордовский, саамский	эстонский, венгерский, мордовский	удмуртский, марийский, финский, саамский, коми, мордовский, эстонский, венгерский	венгерский, удмуртский, эстонский, мордовский	финский, эстонский, мордовский
	марийский, венгерский	коми, марийский, удмуртский, финский		коми, финский, саамский, марийский	
		саамский			марийский, саамский, коми, венгерский

В восточнославянских языках этот тип вопроса всегда выражается последовательно повышающимся контуром мелодики.

В анализированных финноугорских языках переспрос был представлен тремя интонационными фигурами.

Фигура, аналогичная восточнославянской. Была произнесена в марийском, удмуртском, саамском, коми, венгерском языках.

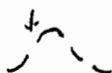
Фигура общего вопроса с повышением на ударном и понижением. (ИКЗ). Была произнесена в мордовском и финском языках.

Фигура с мелодическим понижением, близкая по форме к специальному вопросу. Была представлена в эстонском языке.

4. Полученные данные явились основой для построения таблицы дистрибуции типов вопросительной мелодики для финноугорских языков, проанализированных в нашей работе. Единообразно реализованный специальный вопрос целесообразно было исключить из рассмотрения, хотя в связи с этим встает интересный вопрос о почти универсальном тяготении языков всех генетических групп именно к такой форме мелодики специального вопроса.

Рассматривалась дистрибуция трех мелодических фигур.

1. Ударный слог расположен высоко, на заударных осуществляется падение тона:



2. Ударный слог занимает низкое положение, после него начинается повышение тона:



3. Ударный слог является центром последовательного повышения мелодики:



Судя по данным таблицы, анализированные финно-угорские языки делятся на две группы: 1) те языки, для которых ни для одного типа вопроса не засвидетельствована восходящая мелодика в конце. Это эстонский и мордовский. Обнаруженное отсутствие восходящего тона в эстонском языке соответствует тем исследованиям, на которые были сделаны ссылки выше; относительно мордовского языка необходимы дальнейшие уточнения; 2) языки с двумя типами

терминального контура в вопросительных предложениях: нисходящим и восходящим: коми, удмуртский, финский, саамский, марийский, венгерский.

Существенным является вывод о том, что большинству финно-угорских языков известен восходящий терминальный контур в вопросах. Какова же дистрибуция этих двух мелодических типов по типам вопросов? Насколько можно видеть из таблицы, она близка к восточнославянскому распределению типов мелодики: конечное падение заударных тяготеет к общему вопросу, конечное повышение — к сопоставительному вопросу и переспросу. Однако общая картина представляется гораздо более пестрой, что объясняется двумя обстоятельствами. Одно из них — чисто языковое: в анализированных языках возможна синонимия интонационных форм и их свободное варьирование. Второе обстоятельство — лингвистическое: финно-угорские языки рассматривались нами как некое целое, что возможно только для начального этапа исследования, каковым наша работа и является.

Но и на этом этапе сходство с русской (восточнославянской?) интонационной системой несомненно.

5. Гораздо более сложными представляются пути к интерпретации этого сходства. Типов этой интерпретации, как представляется, может быть три (причем они не исключают друг друга): 1) генетическое; 2) интерференционное; 3) типологически-фонетическое.

Отсутствие необходимой компаративистской подготовки не дает нам возможности обращаться всерьез к интерпретации первого типа. Вторая попытка объяснения осложнена лингвистически не всегда ясной историей взаимовлияния и контакта русского и финно-угорских языков. Финно-угорские языки связаны с русским большим числом еще не полностью выявленных схождений [Kiparsky 1969]. Однако и русский язык оказывал сильное влияние на контактные финноугорские. Сложнее всего то, что в данном случае эти взаимовлияния могли быть цикличными. Поскольку описанная интонация общего вопроса отмечается и для венгерского, и для финского, и для эстонского, говорить об исключительном русском влиянии не приходится. Но не приходится говорить и об одностороннем влиянии финно-угорских языков. Так, обращаясь к таблице, мы видим как бы две модели (или два варианта) для саамского: в одном из них явно тяготение к восходящему мелодическому концу. Нечто подобное отмечено Р. Ф. Пауфосимой для

севернорусских говоров [Пауфошима 1984], соседствующих с финно-угорскими: наблюдается терминальное повышение, не ИК-3, а ИК-4, или произнесение в повышенном регистре.

Фонетическое объяснение связывает интонацию фразы с типом просодии слова. Безусловно, тип с высоким ударным и падающими заударными может реализоваться только в том случае, если ударный гласный слова-носителя фразового ударения отмечен усиленной длительностью. Иначе интонационная фигура этого «циркумфлексного» типа просто не успеет реализоваться. Это продление ударного слога, судя по ряду уже бесспорных данных, характеризует русское ударение. И именно длительность, как показал ряд экспериментальных исследований⁵, отличает ударный слог слова у финно-угорских языков Поволжья. Вообще квантитативная система слова нигде не представлена в такой многоступенчатой и фонологически значимой реализации, как в финно-угорских языках (анализировать здесь все работы об эстонской и финской длительности и ее фонетической и фонологической сути не представляется необходимым).

Второй существенный фактор, формирующий русское слово и позволяющий ярко реализовать указанную мелодику общего вопроса, — это редукция неударных гласных, делающая ударный слог все подавляющим центром слова [Бондарко и др. 1973]. Эта просодическая черта русского слова в свою очередь неотделима от общего решения вопроса о русском «аканье», что в свою очередь возвращает к многократно обсуждавшейся проблеме финно-угорского субстрата.

Итак, вопрос о чисто структурных сходствах мелодем вопроса в финно-угорских и славянских языках, а также сходства их дистрибуции может быть пока решен в чисто описательном плане. Корни подлинного решения — в обсуждении вопроса о контактах этих семей на различных этапах как языковой, так и этнической истории.

Список литературы

- Бондарко и др. 1973 — Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Щербакова Л. П. Об определении места ударения в слове // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1973. Вып. 3.

⁵ См., в частности [Денисов 1980].

- Брызгунова 1969 — *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонация русской речи. М., 1969.
- Ваараск 1969 — *Ваараск П. К.* Тонические средства речи. Т. 2. Таллин, 1969.
- Денисов 1980 — *Денисов В. Н.* Фонетическая характеристика ударения в современном удмуртском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980.
- Кодзасов 1985 — *Кодзасов С. В.* Интонация вопросительных предложений: форма и функции // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. Новосибирск, 1985.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Пауфошима 1984 — *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах М., 1984.
- Петрянкина 1981 — *Петрянкина В. И.* Функциональный аспект интонации и типология языков // Просодия слога — слова — фразы. М., 1981.
- Bolinger 1964 — *Bolinger D. L.* Intonation as a universal // Proceedings of the 9-th International congress of linguists. The Hague, 1964.
- Bolinger 1978 — *Bolinger D. L.* Intonation across languages // Human language. Standford, 1978.
- Földi 1980 — *Földi E.* Intonational means of expressing questionhood in Hungarian and Polish // Hungarian papers in phonetics. 1980. № 5.
- Gosy 1979a — *Gosy M.* Acoustic parameters and linguistic function in the perception of speech melody and stress // Hungarian papers in phonetics. 1979. № 4.
- Gosy 1979b — *Gosy M.* The perception of intonation from a confrontative point of view // Hungarian papers in phonetics. 1979. № 4.
- Iivonen 1978 — *Iivonen A.* Is there interrogative intonation in Finnish? // Nordic prosody. Lund, 1978.
- Kiparsky 1969 — *Kiparsky V.* Gibt es ein Finnoougrisches Substrat in Slavischen? Helsinki, 1969.
- Ohala 1983 — *Ohala J. J.* Cross-language use of pitch: ethological view // Phonetica. 1983. № 1.
- Ohala 1984 — *Ohala J. J.* An ethological perspective on common cross-language utilization of F⁰ of voice // Phonetica 1984. № 1.
- Vende 1980—1981 — *Vende K.* Intonation of question and answer in Estonian // Estonian papers in phonetics. 1980—1981.

Татьяна Михайловна Николаева

ЛИНГВИСТИКА
Избранное

Корректор Г. Эрли

Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой

Художественное оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 09.08.2013. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Бумага офсетная № 1. Гарнитура Times.

Усл. печ. л. 39. Тираж 300. Заказ № 3034.

Издательство «Языки славянской культуры».

№ госрегистрации 1027701010435.

Phone: 8-495-959-52-60. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com.

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в ОАО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».

117342, Москва, ул. Бутлерова, 17Б, офис 313.

Тел.: (499) 793-57-01, e-mail: gnozis@pochta.ru

Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).



Татьяна Михайловна Николаева родилась в 1933 г. Училась в МГУ. С 1957 г. — Академия наук. С 1960 г. — Институт славяноведения РАН. 1962 г. — кандидатская степень. 1976 г. — докторская. 1992 г. — звание профессора. В 2000 г. избрана членом-корреспондентом РАН. 2002 г. — главный редактор «Вопросов языкознания». Иностраный член Геттингенской академии наук. Автор около 500 публикаций, из них монографии: «Опыт описания русского языка в его письменной форме» (1965, в соавт.); «Интонация сложного предложения в славянских языках» (1969); «Фразовая интонация славянских языков» (1977); «Семантика акцентного выделения» (1982); «Функции частиц в высказывании» (1985); «Просодия Балкан» (1996); «"Слово о полку Игореве": лингвистика текста и поэтика» (1997); «"Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты» (1997); «От звука к тексту» (2000); «Непарадигматическая лингвистика: (История "блуждающих частиц")» (2008); «О чем на самом деле написал Марсель Пруст?» (2012); «О чем рассказывают нам тексты?» (2012). Ею подготовлены к изданию и сопровождаются вступительной статьей книги: «Лингвистика текста» («Новое в зарубежной лингвистике», вып.8, 1978); «Из работ Московского семиотического круга» (1997); «Славянские языковые и этноязыковые системы в контакте с неславянским окружением» (2002); «Имя: семантическая аура» (2007); «Семантика имени» (2010). Основные интересы: общее языкознание, семиотика, типология языков, анализ текста, славистика, русистика, просодия слова и фразы, содержательные грамматические категории.

Т. М. Николаева

ЛИНГВИСТИКА

Избранное

ISBN 978-5-9551-0609-0



9 785955 106090 >